ПОВЕСТИ О ЛЕНИНЕ

БИБЛИОТЕКА «ПЯТЬДЕСЯТ ЛЕТ СОВЕТСКОГО РОМАНА»

ПОВЕСТИ О ЛЕНИНЕ

ТОМ ПЕРВЫЙ

ИЗДАТЕЛЬСТВО «ИЗВЕСТИЯ»
МОСКВА ● 1970

Р 2
П 42

Составитель Борис ЯКОВЛЕВ

Художник В. КРАСНОВСКИЙ

7-3-2
51-70

МАРИЯ ПРИЛЕЖАЕВА

Удивительный год

1

Редко встретишь человека вполне довольного своей судьбой. Одному денег не хватает для счастья, все-то он беднее других, все кажется ему, у других и квартира лучше, и солиднее обстановка, оттого и в обществе те, другие, держатся увереннее и легче достигают успехов. Тот несчастлив в семье: жена нехороша, транжира или, напротив, мещанка. У третьего плохо со службой, не угадал призвания и тянет лямку всю жизнь.

А вот Прошка был доволен всем, хотя не было у него ни жены, ни квартиры, ни денег. До жены по молодости еще не скоро, а богатства у Прошки, наверное, никогда и не будет, о богатстве он не думал. Единственно, что не нравилось Прошке в своей судьбе,— имя. Особенно столичному жителю не подходит такое дурацкое имя.

— Как тебя зовут?

— Прошка.

— Эй ты, Прошка, топай своей дорожкой!

Или:

— Эй ты, Прошка, глазищи, как плошки.

Глазищи действительно у него были большие, серые, чуть подсиненные, и всегда стояло в них любопытство, будто постоянно им открывается новое. Он был любопытным парнем, как бы специально созданным для своей редкой работы. Поищите такую работу!

«Типолитография А. Лейферта. При скромной администрации, принимает по крайне дешевым ценам заказы, как-то: книги, брошюры, отчеты, журналы и всевозможные конторские бланки». Такая вывеска красовалась на Большой Морской у входа в полуподвал с маленькими закопченными оконцами. Сырые стены там от воды и химических растворов еще более сырели, по углам ползла

склизкая плесень, воздух стоял тяжкий, смрадный, к концу дня ныла грудь, как простуженная, но Прошка своей работой был горд. Его работа — печатание книг. Правда, он не постоянно печатал на машине, потому что ходил еще в учениках и иной раз целый день занят был на побегушках. Прошка, туда! Прошка, сюда! Возьми, принеси! Его звали Прошкой оттого, что по виду он казался моложе своих семнадцати лет, был невысок и сложения довольно некрепкого. Плечи узкие, шея длинная. Вообще вид он имел не очень рабочий. Скорее, смахивал на бедного студента. Не хватало очков. Нацепи очки и — типичный бедный студент. Тем более, что редко его увидишь без книги: если не на работе, так с книгой. Книги он любил страстно. Всякие, с иллюстрациями и без иллюстраций, о животных и людях, о путешествиях, чужих странах, о России, о политике. Все ему подходило!

Отсюда понятно, как повезло Прошке с работой, на которую с немалым трудом его устроила бабушка через знакомого мастера Фрола Евсеевича. Печатание книг в типографии до сих пор представлялось Прошке таинственным делом, похожим на чудо. Не было книги и вот появляется. Как она появляется? Сейчас, например, в типографии Лейферта печатается книга Владимира Ильина. Ее долго будут печатать, весь март. Где-то какой-то ученый человек пишет свои мысли, высказывает знания о том, как устроена жизнь. Одна тетрадка, вторая тетрадка, третья тетрадка исписаны. А книги нет. Книга будет, когда тетрадки Владимира Ильина попадут в типографию, наборщики наберут и Прошка и другие рабочие отпечатают их на машинах. Две тысячи четыреста штук разойдутся по белому свету!

Конечно, если печатается новая книга, Прошка обязательно постарается узнать, о чем она. Приятно взять в руки едва сошедший с машины лист, еще влажный, тяжелый, впиваться в него глазами. Никто не читал только-только отпечатанные строчки, ни один человек на свете, ты первый. Но книгу Владимира Ильина «Развитие капитализма в России» мудрено было Прошке читать. На начальном листе и застрял бы, да мастер Фрол Евсеевич, сам не ведая того, раззадорил.

— Бро-о-сь, не для твоего ума произведение это,— сказал однажды, заметив уткнувшегося в свежий лист Прошку.

«Не для моего? Для чьего же? Э! Если так, осилю «Развитие капитализма в России»!»

Нет, не осилил. Трудно. Но отдельные листы прочитал, ухватил кое-что.

Удивительно подробно автор описывал разные русские губернии и уезды. Будто пешком всю Россию обошел. Вот пишет о посевах конопли на Орловщине. А вот о кружевных промыслах в Московской губернии. Вот один мужик похитрее сообразил: зачем мне землю пахать, дай-ка буду скупать кружева да продавать с прибылью. И появляется в деревне торговец, капиталист. Или попалось Прошке на одном листе описание подгородных овощных хозяйств. А Прошка знает, в его родном городишке тоже огородники гряд по двести капусты для продажи насаживают. Или читает Прошка, что в России все больше изготовляется сельскохозяйственных машин и орудий. И ведь дотошный какой автор Владимир Ильин: докопался, что в городе Сапожок Рязанской губернии и в окрестных селах сельские капиталисты нажили хорошие денежки на производстве молотилок и веялок!

И странно, именно про город Сапожок Рязанской губернии прочитав, Прошка вроде и понял про капитализм, что входит в Россию.

А для чего знать надо об этом?

— Для правды,— объяснил Фрол Евсеевич.

Фрол Евсеевич — главный в их типографском цехе. Задает наборщикам уроки, назначает рабочим, что и сколько на день печатать, наблюдает, красивы ли и аккуратны сходят с машины листы. Фрол Евсеевич ездит на извозчике в издательство за рукописями, а наборщики и печатники переводят те рукописи в книги.

Когда Прошка еще дома, за сотни верст от Санкт-Петербурга, бегал в церковноприходскую школу, у них был учитель. Сухопарый, лысоватый, в очках с золотыми ободочками. Поблескивали сквозь стекла глаза, когда он говорил перед классом, торжественно поднимая в обеих руках книги:

— Они наша совесть. Достояние наше!

Прошке особенно нравилось, что они — достояние наше. Это похоже было на колокольный пасхальный звон, когда над городком и окрестными полями весь день висит медный гул, а по реке, вздувшейся от весенней

воды, шурша плывут льдины, толкаются и вылезают на берег...

Фрол Евсеевич напоминал Прошке учителя. Очки у него были тоже в тоненькой золотой оправе. И говорил он немного и не зря.

— Капитализму больше в России да больше, а бедному люду хуже да хуже,— так коротко объяснил Прошке книгу.

И строже:

— Больно-то не шуми! Допечатать надо да выпустить книгу.

— Фьюты! — сообразил Прошка.

— Но-но, рассвистелся, щегол! Мальчишество свое наружу все так и выказываешь. Идем, поручение есть.

Он кивнул, зовя Прошку следовать за собой в тесную каморку возле типографского цеха. Здесь хранились рукописи и прочие важные бумаги и, как в цехе, углы цвели зеленью, а на стене висел Пушкин художника Кипренского, со сложенными в глубокой задумчивости руками.

Фрол Евсеевич сказал:

— Поручение касается печатания книги. Отнесешь одной особе листы на корректуру или, проще говоря, на проверку, нет ли ошибок в печатании. Особу зовут Анной Ильиничной. Она в обмен вернет другие листы, проверенные. Те проверенные листы привезешь в типографию.

Фрол Евсеевич спустил очки на нос, внимательно поглядел поверх очков:

— Уразумел?

— Уразумел. А писатель Владимир Ильин той особе знаком?

Фрол Евсеевич не спеша поднял с носа очки, будто прикрывая глаза.

— Чего не знаю, того не знаю.

«Знает! — подумал Прошка.— Видно, тут какой-то секрет».

— Что Анна Ильинична сама сочинительница, это известно,— сказал Фрол Евсеевич.— Сочиняет стихи. А то, может, приходилось читать итальянского писателя Амичиса «Школьные товарищи» книжку? Ее перевод с итальянского. Занятная книжица, для ребят. Ну лети.

Прошка полетел. Он всегда был быстр, а тут выскочил из подвала как из пушки. А за воротами стал. За во-

ротами, мягко покачиваясь на рессорах, по Большой Морской улице катил экипаж. Экипаж был Прошке знаком. Каждый день в тот же час крупный чин департамента полиции подъезжал в нем к дому № 61 по Большой Морской улице. В этом доме с зеркальными окнами, пальмами, ковровыми лестницами и швейцаром в подъезде была канцелярия Горемыкина, министра внутренних дел, ведавшего полицией, жандармерией, тюрьмами, ссылками, цензурой, политическим сыском — все это было под властью министра. Полицейский чин следовал к управлению горемыкинской канцелярии с ежедневным докладом.

Стоял редкий для петербургского марта ясный, солнечный день. Из-под колес брызгали лужи, воробьи разлетались с громким чириканьем в стороны. Полицейский жмурился от солнца, углубленный в мысли, должно быть, приятные. Его холеное, с аккуратной бородкой лицо выражало довольство, он даже негромко напевал какой-то мотивчик.

Лошадиные копыта: «Цок-цок».

— Тири-ри-ри,— долетало до Прошки чиновничье пение. Экипаж проследовал мимо типолитографии Лейферта.— Тири-ри-ри.

А печатные машины стучали да стучали в типографском цехе типолитографии Лейферта, и с машин сходила лист за листом, являясь миру, книга неизвестного автора Владимира Ильина «Развитие капитализма в России».

Прошка свистнул по-щеглиному и понесся к конке, придерживая ладонью под курткой листы.

Книги Прошка печатал, а живого писателя в глаза не видал. Интересный получается сегодня денек. Вечером пойдет в один особенный дом, увидит особых людей. А тут нежданно писательница...

Анна Ильинична представлялась Прошке важной пожилой дамой с лорнетом, с пышной прической и кольцами на белых пальцах. Таких дам видывал он на иллюстрациях в «Ниве» и такой рисовало ему воображение писательницу Анну Ильиничну. А она оказалась совсем не такой. Прошка дернул у двери колокольчик. Отворила довольно молодая невысокая женщина, стройная, складная, в сером платье. Темные волосы курчавились надо лбом и у висков, и темные-темные глаза глядели пытливо

из-под бровей, узеньких и будто чуть сломленных. Она настороженно остановилась у порога.

— Из типолитографии Лейферта,— сказал Прошка.

— А я жду! — воскликнула Анна Ильинична.— Входите. Входите. Как вас зовут? Прош... И давно вы там, в типографии? В учениках? Входите, Прохор. Давайте, я жду.

Она нетерпеливо наблюдала, как он расстегивал пальто и куртку, вытаскивал из-под куртки пачку листов.

— Спасибо, прекрасно! Молодец, и не смял. Спасибо большущее! — сказала она и прижала всю пачку к груди сложенными крест-накрест руками.

Прошка по лицу ее понял, как она довольна, что листы будущей книги в сохранности, здесь, у нее. Она даже с облегчением вздохнула.

— Вам ничего, Прохор, не велели?

— Велели. Проверенные листы в обмен привезти.

— Правда. Сейчас.

Она вышла из комнаты, унеся пачку с собой. Он огляделся. Комната низкая, небольшая, с овальным столом посреди и плетеными стульями. У стены комод. И ничего больше. А он думал, писатели богато живут. Ну, не богато, так особенно как-то, не похоже на обыкновенных людей.

— Я думал, писатели необыкновенно живут,— сказал он, когда Анна Ильинична вернулась, неся проверенные листы.

Сказал, чтобы как-то вступить в разговор, потому что не хотел уходить, не поговорив. Ни за что он так не уйдет!

— Какие писатели? — удивилась она.

— Да хоть бы вы.

— Ах, я? Батюшки мои, ведь верно. Вот он каких писателей имеет в виду!

Она рассмеялась. Глядя на нее, и он засмеялся.

— Да, правда, пишу немного.., А вы что же, читали что-нибудь?

— Пока не пришлось.

— Милый вы чудак, Прохор! — улыбнулась она.— А у вас неплохая работа, печатником?

— Очень подходящая даже! Анна Ильинична, а как писатели пишут? Владимир Ильич, к примеру, как пишет?

Вдруг она стала другой, какая-то сдержанность появилась в лице.

— К сожалению, не знаю. Пожалуйста, Проша, спрячьте листы вот так, под кургку, как бы не выпали! Передайте, что все отлично, скажите Фролу Евсеевичу...

Прошке ужасно не хотелось уходить так скоро от Анны Ильиничны.

— Я отчего спрашиваю,— пряча под куртку листы и нарочно медленно застегивая пуговицы, рассуждал он.— Книгу печатаешь, знать охота, про что она, как. Мне один знакомый человек объяснил, что в этой книге про Россию вся правда написана. Капитализму прибывает в России, а рабочему народу не лучше.

— Он правильно вам объяснил,— ответила Анна Ильинична с улыбкой.

А Прошке все больше она нравилась. Хотелось говорить с ней откровенно о самом важном и душевном.

— Книга «Развитие капитализма» научная, но про политику. Я хоть и мало листов прочитал, а что политическая, это я понял.

— Да? — вопросительно сказала она.

Хотела что-то добавить еще, но сдержалась.

— Может быть. Может быть. Но не будем обсуждать.

— Ясно. Допечатать надо успеть, пока жандармы не доискались.

— Что?! — тихонько ахнула Анна Ильинична и кончиками пальцев прикоснулась к щекам. А они разгорелись, на взгляд видно, горячие! — Сейчас надо меньше об этом говорить.

— Понял. Я почему про жандармов вспомнил. Иду к вам с листами от книги, а он мимо в коляске. Он каждый день мимо нас ездит. Важный, по сторонам не глядит. А не чует, какую мы книжку о России печатаем. Она хоть и разрешенная, а все-таки, если вникнуть... Анна Ильинична, вы Владимира Ильина знаете?

Наступило молчание. Несколько секунд было молчание. Длинных несколько секунд. Зачем ты спрашиваешь, Прошка? Ведь со всех сторон намекают тебе: пока помолчим. Прошка видел милое, темноглазое и немного встревоженное лицо Анны Ильиничны. «Надо на другое перевести разговор!»

— Анна Ильинична, я вашу книгу «Школьные товарищи» в библиотеке возьму.

— Это не моя книга, Проша. Я ее с итальянского перевела.

— Во-о, с итальянского! Во какая вы образованная!

Она рассмеялась. Как хорошо она смеется!

— Вы тоже можете образованным стать. Надо захотеть. Вы умеете хотеть? Вы много читаете, Проша?

— Читаю. С малых лет. А вы?

— И я с малых лет. У нас дома все книгочеи. В юности я в деревне живала. Каждое лето. В деревне Казанской губернии. Домик у нас старенький был, запущенный сад, обрыв над речушкой. У меня любимая аллейка березовая, в ясные ночи вся лунным светом расписана... А в безлунные сад темный, старый сад, глухой, а мы — на крылечке под лампой, все с книгами.

— Анна Ильинична, мне один знакомый человек говорил, вы стихи сочиняете.

— Какой у вас знакомый всеведущий! Сочиняла, когда ваших лет была.

— Скажите свой стих, Анна Ильинична, а?

— Вот чудак! Далеко это все.

— Все равно скажите, пожалуйста!

— Право, чудак... Ну вот... «Ночь давно уж, все-то дремлет, все кругом молчит. Мрак ночной поля объемлет, и деревня спит... В хуторке лишь, на крылечке, светит огонек, и за чтением серьезный собрался кружок...» Незатейливые мои стихи.

— «И за чтением серьезный собрался кружок...» Это ваши сестры, братья? Хорошая у вас, видно, семья?

— Правда, хорошая, в этом я счастлива. Пора вам в типографию, Проша. Листы не выроните? Нет? Надежно? И знаете, что я вам посоветую? Будьте осторожны в разговорах с чужими. Особенно о политике.

А он только собирался рассказать ей о сегодняшнем особенном вечере! Так и подмывало его поделиться с Анной Ильиничной. Теперь, после предупреждения, он не решился. Скажет, болтун.

И ушел, не поделившись.

Анна Ильинична, заперев дверь, подошла к окну. В окно видно, как Прошка, перебежав улицу, бодрым шагом направился к конке. Узкоплечий, в драповом коротком пальто до колен.

«Славный мальчишка. Совсем мальчишка еще. А неглупый. И славный,— думала Анна Ильинична.— Значит,

политическая книга? Что же, верно знакомый человек ему объяснил. Володе было бы радостно знать, что рабочие самую суть в книге улавливают».

Анна Ильинична постояла, пока Прошка вскочил в подошедшую конку, и ушла в соседнюю совсем уже крохотную комнатку с железной кроватью под белым пикейным одеялом и небольшим письменным столиком. Накинула на плечи теплый шарф — в комнатенке прохладно,— и развернула отпечатанные вчерне листы. Теперь она будет их читать много часов, проверять каждое слово и цифру. Пропустит обед и очнется от работы, лишь когда стукнет за окном, оборвавшись с карниза, мартовская певучая льдинка. Ночь. Спит каменный Петербург. Пора спать.

2

После работы надо было идти в тот «особенный» дом, но сначала Прошка побежал в библиотеку. Что за книга? Название, правда, ребяческое, но хотя Прошка чаще читает научные, политические и вообще серьезные книги, однако и «Школьные товарищи» итальянского писателя Эдмондо Амичиса не прочь почитать. Тем более в переводе Анны Ильиничны.

Именно оттого особенно хотелось Прошке поскорее взять в библиотеке книжку, что ее перевод! Какое-то светлое чувство осталось у него от встречи с Анной Ильиничной. А спросите, что такого в ней исключительного, не ответит. Не знает. Только чувствует, поговорила, приоткрыла что-то важное, а еще многое неоткрытым осталось! Прошку тянуло и звало к тем людям, о которых Анна Ильинична сочинила стихи:

И за чтением серьезный
Собрался кружок.

У Прошки кружка не было. Ходил в одиночку. Не с кем поделиться сокровенными мыслями. Вот только, может, сегодня... На сегодняшний вечер у Прошки были большие надежды!

С такими мечтами он шагал по знакомой дороге к публичной библиотеке, не так далеко от типолитографии Лейферта. Библиотекарша, стриженая, требовательная

барышня в черной юбке и белой кофточке, застегнутой на много меленьких пуговичек до самого горла, любила «идейных» читателей и простым пареньками, вроде Прошки, старалась давать деревенские очерки Глеба Успенского, или статьи Шелгунова о рабочем классе, или другие содержательные произведения о беспросветной жизни народа.

Поэтому, услыхав: «Мне «Школьные товарищи» итальянского писателя Амичиса»,— она в удивлении подняла круглые, как дужки, брови.

— Верно, для младшего брата? — спросила она.

— Нет у меня брата. Для себя самого.

— Для себя самого?

Круглые дужки на маленьком лобике поехали выше, а две курсистки в бархатных шапочках, как по сигналу, обернулись от каталогов у стены, где копались. Две пары глаз изучающе и чуть свысока поглядели на Прошку.

— Ведь это детская книга, вы знаете? — сказала библиотекарша.

Прошка чувствовал, его авторитет как «идейного» читателя падает, но не хотел отступать, и вообще надоело ему читать по указке.

— Детскую мне и надо.

— Детскую? Хм!

Минуты три библиотекарши не было, она разыскивала в библиотечных помещениях «Школьных товарищей», а Прошка стоял с равнодушным видом, не оглядываясь на курсисток.

— Классическая повесть для читателей младшего возраста,— сказала библиотекарша, принеся Прошке не особенно большую книгу в пестреньком переплете с коричневыми наугольниками.

— Классическая? Мне такую и надо.

Прошка взял книгу. Все-таки у него радостно стукнуло сердце при виде пестренького переплета: «Школьные товарищи». Сочинение Эдмондо д'Амичиса. Перевод с итальянского А. Ульяновой».

Он сунул за пазуху повесть д'Амичиса.

Курсистки в бархатных шапочках сочувственно переглянулись, мол, парень рабочий, в университетах не учился, пускай себе читает.

«Эх вы, знали бы, какие я книжечки читывал!»

Он мог бы познакомиться с ними. В библиотеке не-

редко знакомства завязываются у каталогов, где постоянно толкутся читатели, ищут названия нужных книг и обмениваются мнениями, будто в каком-нибудь клубе.

Именно здесь, в библиотеке, возле каталогов, Прошка познакомился со студентом Петром Белогорским, лобастым, растрепанным.

«Из горного института»,— определил Прошка по петлицам и пуговицам тужурки. Выбрали книги, вышли из библиотеки вместе. Разговорились. В первый же вечер Белогорский спросил:

— Ты слышал, как мы, студенты, бастовали против правительства?

Прошка слыхал, но не очень. Смутно слыхал. Петр Белогорский рассказал Прошке, как смело бастовали студенты, требуя от правительства свободы слова и сходок, а министр внутренних дел Горемыкин выпустил на студентов отряд конной полиции с плетками.

— Горемыкин — подлец и палач! — оглянувшись, сказал Белогорский. За разговорами они весь вечер проходили по улицам. Вечера три так ходили, и Белогорский говорил о студенческих сходках и стачках, о светлых личностях Карле Марксе и Энгельсе, о блестящем талантливом публицисте Михайловском, но другого направления, чем Маркс. Потом Белогорский спросил:

— Желал бы ты встретиться с революционерами?

Прошка так весь и замер. Все в нем так и запело.

И вот он идет на встречу с революционерами, и неизвестно, что там его ожидает и чем все это кончится. Но какой, однако, неорганизованный он человек! Зачем его понесло в библиотеку? Неужели нельзя было потерпеть до завтра? Теперь на целый час опоздал из-за книжки Амичиса.

Твердя про себя адрес и имя, кого надо спрашивать, он одним махом взбежал на третий этаж и остановился отдышаться. На двери, обитой для тепла коричневой кожей, табличка. На табличке полное имя и фамилия: «Екатерина Дмитриевна Кускова». Открыто так и написано. А у нее сегодня собирается революционный кружок! Не таясь? Но так как с революционными кружками Прошка до сих пор не знавался, то, недолго раздумывая, нажал кнопку звонка.

В прихожую выбежал Петр Белогорский, разгоряченный, в студенческой тужурке нараспашку.

— Явился? Молодчина! А я беспокоюсь, отчего его нет, струсил мой пролетарий?

И потащил Прошку в комнату с пестрым ковром во весь пол, роялем и камином, где в жарком ворохе углей вспыхивали и ползли синие змейки.

— Господа! — прокричал Белогорский, вводя Прошку.— Знакомьтесь, мыслящий представитель российского рабочего класса! Екатерина Дмитриевна!

Он подвел Прошку к Кусковой. Это была молодая статная дама, черноволосая, в черном шелковом платье. Стояла, окруженная молодыми мужчинами в студенческих тужурках и пиджаках с манишками, и курила тоненькую папиросу, стряхивая пепел прямо на ковер.

— Покажите мне его! — звучным голосом сказала Екатерина Дмитриевна.— Вы — Прохор? Слышала, говорил о вас Белогорский. Господа! Какое имя, глубинное, русское! Из типографских рабочих? Господа! Как раз для типографских рабочих типично тянуться к нашему движению. Наиболее думающая публика среди русского рабочего класса. Здравствуйте, Прохор! Я — Кускова. Будем знакомы. Идите к нам. Мы вам рады. Товарищи, кто-нибудь, дайте ему чаю.

Кто-то из студентов вышел в соседнюю комнату, принес стакан черного чаю. Прошка побоялся оставить свою библиотечную книгу в прихожей, ему неудобно и непривычно было пить чай стоя да еще с книжкой под мышкой и стеснительно от взглядов незнакомых людей.

— Не будем его смущать,— сказала Кускова.— Пейте чай, Прохор. Осваивайтесь. Господа, не смущайте его. Потом он расскажет нам, что, по его мнению, нужно рабочему, к чему стремится рабочий.

Но она не стала ждать Прошкиных мнений и сама принялась говорить:

— Господа! Рабочего не интересует политика.

«Вот так так!» — удивился Прошка. Как раз его интересовала политика. Из-за политики он сюда и пришел.

— Да! Да! — восклицала Кускова, читая на его лице несогласие.— Я говорю о массе, я не имею в виду исключения. Господа! — сверкая глазами, призывала она.— Наша священная цель добиваться лучшей жизни для рабочего класса! Наш рабочий темный, забитый...

Прошку кольнуло: «темный». Может, и темный, но его кольнуло. Он поставил стакан с чаем на стол, пригла-

дил волосы на затылке: «Вот сейчас я отвечу». Но Кускова на всех парах неслась дальше. Она говорила, как тяжко, жестоко живется рабочему классу в России. Что русский рабочий неграмотен, что в первую очередь надо добиваться для рабочего человеческой жизни. Чей долг бороться за человеческую жизнь пролетария? Наш долг. Стыдно нам, интеллигенции, что наш рабочий недосыта ест, не умеет имя свое написать. При таком положении мечтать о политической партии, о завоевании власти? Наивно, наивно. Грамоте надо сначала рабочего выучить, да чтобы не вповалку спали. Разве не правда?

Она ходила по комнате, шурша шелковым платьем, то курила, то, бросив папироску, прижимала руки к высокой груди, обтянутой шелком.

— Мы, интеллигенты, мыслящий класс, должны взять на себя...

— Но позвольте, Михайловский показал, что в России главное не рабочий, а деревенский мужик,— высоким голосом возразил тонколицый студент, румяный, как барышня.

— Какой Михайловский? Вы безбожно отстали со своим Михайловским. Народился пролетариат.

— Россия — это деревня, мужик! Будущее России в мужике и деревне,— упрямился тонколицый студент.

Петр Белогорский, напротив, поддакивал Кусковой.

— Да! Народился пролетариат. Но мы, интеллигенты, решаем судьбу России! — и на ухо Прошке: — Она всю Европу объездила. Ей все титаны мысли знакомы. О Бернштейне слыхал?

— Друзья! — призывала Кускова, закинув руки на затылок, будто в каком-то порыве: — Не жить нам тихой, мирной жизнью, не по натуре она нам! Хочется дела, живого, бодрящего. Где это дело?

Вокруг зашумели.

— Вы читаете в душе интеллигенции. Интеллигенция жаждет!..

— Чего она жаждет? — услышал Прошка сердитый голос.— Наш гимназический инспектор, например, жаждет повышения в чине.

— Стыдитесь! — закричал Петр Белогорский. И Прошке тихо: — Ну как? Слышишь, стычки какие, а? А она? Уловил темперамент? Вот кто может зажечь, повести...

— Для пропаганды надо хотя бы набросок взглядов, программу применительно к русскому обществу,— требовал кто-то.

— Безусловно, необходима программа.

— Господа! Господа! — восклицала Кускова, беря с рояля тетрадку и вырывая страницы.— Господа! Давайте сочиним сообща, пусть это будет наше совместное. Мы с Прокоповичем думали... Итак...

— Прежде всего надо заявить, что мы против всех и всяких революций! — резко выступил чей-то бас.

— Разумеется. Но...

— Никаких «но». Мы за постепенное развитие общества. Революция — гибель.

— Постойте, господа! — ворвался подвизгивающий от возбуждения голос Петра Белогорского.— Я предлагаю...

Но его перебили. Кто-то произносил ученую речь об отчаянном положении русского рабочего класса. Кто-то убеждал, что образованному классу буржуазии история предназначила роль спасителя родины. Кто-то, перебивая, кричал:

— Агитировать рабочих к созданию партии, значит, толкать в пропасть, в пропасть!

Все жалели рабочих. Были шум, беспорядок, споры, и Прошка ничего уже не мог понять, кроме того, что госпожа Кускова и гости беспокоятся за участь рабочих, но не совсем твердо знают, как надо рабочих спасать.

— Господа! — возвысился голос Кусковой.— Начать следует с оценки рабочего движения Запада. Мы — лишь слабое повторение Запада.

— Надо начать с того, что революция не для России. России рано. Нам, русским социал-демократам, помалкивать надо про революцию,— басил, как в бочку, все тот же неуступчивый бас.

— Нет, господа, главное и в первую очередь...

У Прошки сумбур в голове. Было очень беспорядочно это собрание.

— Господа,— сказала наконец Кускова.— Оставим, господа. Я подумаю после. Оставим до следующей встречи.

Она бросила на рояль исписанные и перечеркнутые накрест странички. Все как будто с облегчением вздохнули.

— Верно, верно, нельзя с налету. Такие вещи на ходу не делаются.

— Господа, к следующему разу я набросаю...

Кускова зажгла новую папироску и, пустив колечко, приблизилась к Прошке.

— Вы согласны, что рабочему в первую очередь, самую первую, надо досыта еды, жилье и... культуру?

Конечно! Каждый скажет, что надо. Убедительно она говорит. Но про рабочую партию и революцию Прошка не мог сразу сказать свое мнение. Убедительно она говорит, а что-то в сознании Прошки смутно шевелится против.

— Что за книга? — увидала Кускова.— Ну-ка, что вы читаете? Амичис? — И дальше Прошка услышал: — О! Постойте... Перевод А. Ульяновой? Так и есть. Господа! С Анной Ульяновой я за границей встречалась. Это она. Ее перевод. Господа, вы слышали об Ульяновых?

— Убедился, что Кускова со всеми на свете знакома? — восторженно шепнул Белогорский.

— Как! Вы не знаете? Господа! Неужели не знаете? У Анны Ильиничны был брат Александр, тот самый, которого казнили повешеньем за покушение на царя.

Студенты задвигались, загудели басами:

— Тот самый? Не может быть!

— Почему не может? Именно тот! Александр Ульянов, кажется с Волги...

А у Прошки сердце заныло. Про покушение однажды в откровенную минуту ему рассказывал Фрол Евсеевич, но что среди казненных революционеров был брат Анны Ильиничны, Александр Ульянов — родной брат улыбчивой и ласковой Анны Ильиничны! Этого Прошка не знал.

— Господа! А о втором брате слышали, о марксисте Ульянове? Вот кто поспорил бы с нами!

— Отчего?

— Мы практики, он — фантазер. В нашей темной России мечтать о марксистской партии разве не фантазия?

— Знаю о Владимире Ульянове, слышала,— задумчиво говорила Кускова.— Опасный был спорщик.

— Почему был?

Она развела руками:

— В ссылке. А интересно бы поспорить с вами, Владимир Ильич!

«Владимир Ильич. Владимир Ильин,— мелькнуло у Прошки.— Владимир Ильин. «Развитие капитализма в России». Анна Ильинична. Владимир Ильин...»

— Вы новичок среди нас,— сказала Кускова, уловив его замешательство.— Вам надо расти и выбрать свой путь. Мы зовем вас к реальной борьбе за улучшение жизни рабочих. А есть политики...

— ...которые соблазняют фантазиями, как Владимир Ульянов,— договорил Белогорский.

«Владимир Ульянов, Владимир Ильин. Это он, брат Анны Ильиничны! «Развитие капитализма в России». Где там фантазия?»

Но Прошка молчал. Ни слова не сказал, что в типолитографии Лейферта печатают книгу Владимира Ильина. «Владимир Ильин. Владимир Ильич!»

— Семья Ульяновых сошла с политической сцены,— пуская из папироски дымки, говорила Кускова.— Сестра переводит детские повести. Брат в далекой Сибири без дела.

«Без дела? А книга?»

Но Прошка молчал. Чутье подсказало ему, что про Анну Ильиничну, которая в этот час, может быть, проверяет листы из книги Владимира Ильина, надо молчать. И про книгу надо молчать, хотя Петр Белогорский, Кускова и все здесь целый вечер обсуждают вопрос, как лучше бороться за рабочую долю. Кускова понравилась Прошке. Понравилась ее красота и решительный вид.

— Мы сила! — говорила Кускова.— Мы поведем рабочий класс за собой, нашей дорогой.

— Браво! — кричали студенты.

«Владимир Ильин. Владимир Ильич. Анна Ильинична. У них другая дорога? А у меня?»

Конечно, он против капиталистов, против царя Николая Второго, против министра Горемыкина, приказавшего полицейским стегать студентов плетками. Но не так-то легко разобраться, кто прав, Кускова или Владимир Ильин. Вроде и она за рабочих, и он за рабочих...

— Приходите еще! — позвала на прощание Кускова.— Надо нам держаться вместе. Господа! Больше привлекайте рабочих.

— Типичная Жанна д'Арк! А? Ты не находишь? Камень способна зажечь, лед растопить, столько страсти, огня! — полушепотом восклицал Петр Белогорский,

когда они с Прошкой поздно вечером шли от Кусковой.— Ну как? Задался вечерок? Содержателен, а?

Голова Прошки была полна впечатлениями и самыми противоречивыми мыслями. Студенты из кружка Кусковой и она сама были умны и речисты и так заботились о нуждах рабочих, просто диво! Прошка завидовал их образованности. Эх, образования бы ему! А студенты учены, учены. Пока слушал на кружке, Прошка соглашался со всеми их выводами. Убедительно они рассуждают! И все же...

3

Корректура окончена. Тексты и таблицы книги проверены, отосланы в типографию. Больше делать в Петербурге нечего. Анна Ильинична расплатилась с квартирной хозяйкой, взяла свой маленький саквояжик и оставила дом. Просидев почти безвыходно все дни за работой в низеньких комнатках, с радостью вдохнула она свежий воздух на улицах. Чуточку закружилась голова, так неожиданно остро, волнующе пахнет весной!

До поезда оставалось почти полдня и еще целый вечер. Надо побывать у Александры Михайловны Калмыковой в ее книжном складе на Литейном проспекте. Но прежде побродить по петербургским улицам, досыта находиться по дорогим местам. Мест дорогих, счастливых, горьких, мучительных было много во всех концах Петербурга. Дорогим местом был Васильевский остров! Приезжая в Петербург, Анна Ильинична уж непременно хоть ненадолго забегала сюда. Или приезжала на конке. Конка все так же кряхтит и трясется, словно сейчас грозит развалиться, так же надтреснуто звонит на остановках колокол. Даже пузатые лошаденки, усердно тянущие конку по рельсам, Анне Ильиничне кажутся прежними. Будто и не пролетело двенадцати лет! Анна Ильинична была тогда курсисткой, брат Александр студентом университета. Марк Елизаров тоже студент. Были совсем молодыми. Читали, учились. Без конца читали, учились.

...Вдоль Университетской набережной на Васильевском острове розовато-желтое университетское здание с балкончиками, с художественной лепкой балконных перил. Здесь проходила Сашина петербургская юность. А невдалеке приземистые, словно приплюснутые корпуса

солдатских казарм. Весь день на казарменном плацу маршировали солдаты.

— Ать-два, ать! — хрипло надрывался офицер.

От хриплого офицерского «ать» холодело сердце. Громада Зимнего дворца тревожаще брусничного цвета виднелась на том берегу Невы. Высился Александровский столп, на вершине его ангел вскинул крест, то ли благословляя людей, то ли страша. Стены, шпили, колонны. Все было каменно, твердо, громадно. Незыблемо.

Раньше Анна Ильинична не могла сдержать слез, когда приходила к университетскому зданию на Васильевском острове. Она любила брата Сашу любовью, полной восторга. Он был самым умным, даровитым, чистым, несравнимым ни с кем! Все, что в ней самой было лучшего — поэтичность, мечтательность,— вплеталось в ее любовь к брату Саше. Он был талантлив. Все профессора говорили, Александр был талантлив. Каким благородным он был человеком! Смелым! «Вознесся выше он главою непокорной Александрийского столпа». Тогда ей пришли на память эти стихи. Теперь Анна Ильинична не плачет, когда думает о своем брате Александре, на душе у нее печально и будто поют торжественные хоры. «Вознесся выше он главою непокорной...»

Вот Бестужевские женские курсы на Васильевском острове. Тогда она здесь училась. Вот сквер. В сквере под старыми липами, где глубокая, тихая тень, они часто встречались с Марком Елизаровым. Марк стеснительно брал ее руку в мужицкую ладонь с жесткими буграми мозолей, они садились на скамейку под этими липами и говорили. Лучшим существом на земле, безупречным и возвышенным, для них обоих был Саша. Они говорили о нем, о своей дружбе с ним.

Шпалерная. Угол Шпалерной и Литейного. Мучительное место. Знаете ли вы, что это за дом на углу Шпалерной улицы, угрюмый и закрытый, где в глухих, будто ослепших окнах никогда не мелькнет живое лицо? Дом предварительного заключения.

Ее заключили сюда 1 марта 1887 года. Был весенний день, солнечный, с бурными ручьями на улицах. Она помнит его весь. Она напрасно прождала в тот день Александра и вечером в беспокойстве сама пошла к брату. В окнах увидела свет. Обрадовалась: значит, ты дома, Саша!

А там была полиция.

— Анна Ульянова? Курсистка? Сестра Александра Ульянова?

Только в тюрьме она узнала о том, что случилось. Она не имела понятия о замыслах Саши, за что его взяли. Ужас ее охватил. Что его ждет? В одиночной камере, запертая ото всех людей, она припоминала день за днем до его ареста первого марта. Каким в это время был Саша? Можно ли было что-то заметить? Как она пропустила беду? Они встречались постоянно. Он был обычным. Нет, если бы хоть отдаленно она представляла, что он готовится убить царя, могла бы заметить... Погруженный в себя, какой-то особенный, скорбный и значительный взгляд. На мгновение. Потом все рассеивалось. Отрешенность и строгость в выражении лица, словно человек отходит от родного порога, направляясь куда-то далеко-далеко... Нет, это было редко. Он был обычным.

Она могла бы заметить в самые последние дни внезапность и нервность его приходов к ней и уходов. Она не знала ничего. Ее забрали у него на квартире как сестру студента Александра Ульянова, покушавшегося на священную особу государя. «Мамочка! Наша удивительная мама, ты навещала нас обоих в тюрьме. Брата Сашу. И меня. Я не знала того, что ты знала, что он приговорен к казни. Он утешал тебя на свиданиях, обнимал твои колени, говорил, что любит тебя, любит нас, но долг его перед родиной... Брат мой Саша! Когда Сашу казнили, мама, ты пришла ко мне в камеру. Ты пришла потрясенная и даже тогда не сказала мне, что его казнили. Пожалела меня, мама, родная».

Анна Ильинична, как ни крепилась, не выдержала. Рыдания подступили к горлу. Она быстро пошла по Литейному.

«Не плакать. Не плакать. Это было давно».

Ах, как бы ни было это давно, никогда не уляжется ужас.

Но постепенно взрыв боли утих, и она вернулась обратно, к Шпалерной. Еще раз пройти мимо этого жестокого места.

Через восемь лет после Сашиной казни сюда был заключен брат Володя. Они приехали с мамой в Питер в смертельной тревоге. Они не знали, чем это кончится. Надо было действовать и скрывать страх и беспокойство

от мамы. Но, мама милая, ты снова всех ободряла! Шла иа свидание с Володей в Дом предварительного заключения. Здесь последний раз перед казнью ты видела Сашу. Теперь шла к Володе. Спокойная. Улыбалась. Мама, ты улыбалась! Только взгляд потухший как будто не хотел отвечать жизни.

Но что это? Стемнело? Уже зажглись фонари? Анна Ильинична и не заметила, как кончился день. Литейный проспект принял вечерний праздничный вид. Появились франтоватые пешеходы, спешащие провести время в каком-нибудь избранном или неизбранном обществе. Слышался цокот копыт. Потянулись экипажи, везя в театры и концертные залы образованную и богатую петербургскую публику.

Надо до поезда успеть к Калмыковой. Александра Михайловна Калмыкова жила на Литейном проспекте у Невского. Там был ее книжный склад, откуда снабжались книгами уездные и деревенские школы на самых дальних окраинах. При складе была книжная лавка. Продавцами в лавке служили опрятные и скромные женщины, помощниками у них были тоже скромные, смышленые мальчики, аккуратно одетые в одинаковые курточки. Все это было необычно, привлекательно и, как небо от земли, отличало лавку и книжный склад Калмыковой от других петербургских магазинов и складов.

Она жила при складе в квартире из нескольких комнат.

«Разузнаю о книжных новинках и политических новостях,— думала Анна Ильинична, спеша к Калмыковой.— Вообразите, вдова сенатора, важная светская дама, а с рабочим движением как прочно дружит и с Володей очень близка! Странно? А не придумано, правда».

Анна Ильинична любила столовую комнату в квартире Калмыковой, с плотными занавесками на окнах и тяжелыми портьерами на двери, чтобы заглушать голоса, с круглым столом, за которым охотно и часто собирались молодые марксисты. Какие шумели здесь споры, какие громы гремели, пока в ночь на 9 декабря 1895 года не забрали почти всех друзей Калмыковой!

— Сколько лет, сколько зим! — говорила Калмыкова, идя навстречу Анне Ильиничне.

Она была легка и подвижна, черты лица у нее были неправильные, но живость и ум придавали ей прелесть.

Всегда деятельная, чем-то всегда занятая: учительством в вечерней школе рабочих, книжным складом, делами, связанными с марксистской партией.

— Какая вы молодая! — улыбнулась Анна Ильинична.

— Как же! Полвека позади. Пятьдесят годиков пройдено.

— Не верю, не верю!

— Сама не верю.

Это были не слова. Действительно, она не придавала значения своим пятидесяти годам. Годы не отражались на ней. Первый верный признак нестарения души — интерес к жизни и людям, а это у Калмыковой не переводилось. Не сосчитать дружб с молодыми и старыми, учеными и рабочими, марксистами и немарксистами, разными людьми, но непременно наделенными живинкой.

С Владимиром Ильичем была давняя, очень дорогая ей дружба. Давняя? Постойте, а в каком году Владимир Ильич приехал сюда, в Петербург?

Встречаясь с кем-нибудь из милого ее сердцу семейства Ульяновых, последнее время чаще с Анной Ильиничной, Калмыкова любила «попраздновать».

— Попразднуем? — говорила она.

И усаживалась с гостьей за большой круглый стол у самовара, и начинались разговоры. Не о делах. Это потом. Вечерняя школа за Невской заставой, журнальные статьи, явочные адреса и политические новости, печатание книги — это потом.

Сначала повспоминаем, «попразднуем».

Владимир Ильич приехал в Петербург в 1893 году. Русский капитализм набирал силу, шел к расцвету, полный надежд. Дом Романовых царствовал под охраной бесчисленных армий жандармов, полицейских чиновников. Гранитный чиновный, дворянский Санкт-Петербург на берегах величественной холодной Невы.

И приезжает с Волги молодой человек. Ему всего двадцать три года. Здесь, в Петербурге, казнили его брата за то, что он хотел убить царя. Саша! Если бы ты даже убил, на престол встал бы следующий, мстительный, от страха еще более жестокий новый царь из дома Романовых.

Нет, марксисты ставят другие задачи: соединить марксизм с рабочим движением, вооружить рабочих ре-

волюционной теорией. И что же? Не прошло и двух лет после приезда Владимира Ильича — сильное рабочее марксистское движение поднялось в Петербурге.

Анна Ильинична улыбалась, глядя на смуглое, полное энергии лицо Калмыковой, и слушала. Она любила это Володино время, его петербургскую молодость, когда он приехал сюда начинать.

Потом они припомнили Володиных друзей и товарищей.

— Помните Глеба Кржижановского? Какой-то он сейчас, в ссылке? Володя пишет, все тот же. Живчик, глазки, как черные смородинки, кудрявый, начитанный, по знаниям рядом с Володей первый марксист.

— А Ванеева Анатолия помните?

— Тоже волжанин, из Нижнего. Можно бы целое землячество в Питере из нижегородцев составить: Ванеев, Сильвин, сестры Невзоровы. Из Шушенского пишут, Ванеев болеет, бедный... Какой-то он весь одухотворенный...

— Михаил Сильвин — тот другой.

— Сильвин? Почему? Ну, разумеется, другой, больше земной, вы хотите сказать?

— Более, пожалуй, жизнеспособный, а тоже надежный.

— У Володи много надежных друзей,— сказала Анна Ильинична.

— Каков поп, таков и приход,— ответила Калмыкова.— Владимир Ильич умеет собирать возле себя умы и таланты. Разве не так?

— Так,— согласилась Анна Ильинична.

Она об этом не думала, но сейчас, припоминая товарищей Володи по «Союзу борьбы», подумала: «Так».

Известно, чем меньше времени, тем оно быстрее летит, и Анна Ильинична, взглянув на часы, убедилась, что до отхода поезда осталось недолго.

Пора поговорить о деле. О пересылке книг в Шушенское. Владимир Ильич пишет, что совестно даже, все забирает да забирает книги из калмыковского склада, все в долг.

— Свои люди — сочтемся,— сказала Калмыкова.

Поговорили о последних журнальных статьях, печатании рукописи в типолитографии Лейферта, письмах из Шушенского.

— Работают оба, Владимир Ильич и Надя, вовсю! Владимир Ильич книгу закончил, статья на очереди. Оба переводят с немецкого. А Новый год встречали у Кржижановских в Минусе, повеселились. А каким охотником, представьте, заделался Владимир Ильич! Читают уйму. Сколько ни шли им, еще и еще требуют книг. Требуют, елико возможно, держать в курсе политических новостей...

Тут Калмыкова вспомнила:

— Стойте! Есть новость. Кускова из странствий вернулась.

— Ну уж важная новость! — возразила Анна Ильинична.

Она знала Кускову. Не близко, но знала. Красивая, бойкая дама. Служила переписчицей бумаг у известного адвоката Плевако, научилась от Плевако ораторствовать. Любит заниматься политикой, поскольку в наше время модно рассуждать о политике. Вместе с теперешним мужем своим Прокоповичем изъездили почти все европейские страны, занимались пропагандой... только чего?

— А вот стойте, что я вам покажу.

Калмыкова вышла и через минуту вернулась, неся несколько отпечатанных на «ремингтоне» листков.

— Читайте их пропаганду. Студент один передал. Кусковой взгляды. Ее да Прокоповича сочинение. Не одни они. Группа их, да, может, немалая.

Анна Ильинична пробежала начало листка. Нахмурилась. Стала читать.

— Что такое? Странные тут вещи написаны. Рабочим недоступна политика? Рабочие не способны к борьбе? Надо ладить с хозяином? Вот так их кредо!

— Как? Как вы назвали?

— Кредо.

— Их верование. Их пропаганда. Такая, что совсем прочь от марксизма ведет. Может, следует известить Владимира Ильича?

— Как же не следует? Разумеется, следует. Ну-ну, куда они тащат рабочих! В болото!

Анна Ильинична спрятала листы в ридикюль. Пора уже ей на вокзал.

— Меня шпики кругом сторожат,— говорила Калмыкова.— Во дворе под окошком один, против ворот на Ли-

тейном другой, на углу Литейного и Невского третий. Я их по мерзейшим физиономиям узнаю. Наверное, уж углядели, что гостья у меня. Ничего, в крайнем случае один из троих дураков до вокзала проводит. До свидания, милая Анна Ильинична! Всем Ульяновым низкий поклон.

Анна Ильинична не стала разглядывать на улице шпиков. Пусть провожают до поезда.

Мартовский день с капелью и солнцем внезапно сменился студеным, совсем не весенним вечером. Резкий ветер подул с моря, мча темные, с седыми краями, клубящиеся, как дым, облака. Невский быстро пустел. Стало холодно. Прощай, Петербург, до будущей встречи!

Она пришла на вокзал за пятнадцать минут до отхода поезда. Прозябла, устала. Мечталось занять скорее местечко в купе, согреться, уснуть под стук колес, а завтра проснуться в Москве. Она заторопилась к вагону. На платформе обычная сутолока. Носильщики в белых фартуках, с бляхами, по чемодану под мышками, по чемодану в руке. Восклицания, прощания. Среди сутолоки мелькнула чем-то знакомая худощавая фигурка парнишки в коротком пальто. Длинная шея. В большущих глазах вопросительный знак.

— Анна Ильинична! — гаркнул он на всю платформу.

Прошка! Из типографии Лейферта.

4

Он орал во все горло «Анна Ильинична!», без церемонии расталкивая народ возле поезда и протискиваясь к ней.

А если шпик провожает ее от дома Калмыковой? Ничего за ней нет, к чему могли бы придраться чины из министерства внутренних дел Горемыкина, но зачем все же орать во все горло? Что за дурачина! Зачем он привлекает внимание? Глупый Прошка! Или?.. Ведь она совсем не знает его...

После того вечера у Кусковой Прошка поздно вернулся домой. Очень хотелось тут же начать читать книгу «Школьные товарищи», он ее в ночь прочитал бы! Но

Прошке редко удавалось читать по ночам, хотя это самое счастливое чтение! Тихо, будто ты один во всем свете не спишь. Разворачивается чья-то жизнь перед тобой, будто живые люди пришли, окружили тебя, интересно с ними, печально и радостно.

Но бабка не давала жечь ночью лампу. Десять часов пробило, гаси. Прошка приехал к бабушке в Питер три года назад, когда умерла его мать. После смерти мамы отец скоро привел мачеху. Может, встречаются где неплохие мачехи, Прошкина же точь-в-точь, как в сказке рассказывают, молодая, губы подобраны в нитку, глаза глядят жадно, а тебя словно не видят, словно тебя нет. Мачеха забрала над отцом полную власть. Потерял отец волю. Пишет в Питер, так и так, остались мы с сыночком без мамы родной... Пришел от бабушки ответ: «Сама в сиротстве живу, а внучонка не кину, пускай приезжает, приставлю к мастерству, а он старость мою будет беречь».

Беречь бабкину старость пока нужды не было, бабка была здоровехонька. Ходила по людям мыть полы, постирать, выстаивала по воскресеньям в приходской церкви обедню, знала все происшествия в доме и осуждала Прошкино чтение. Каждая книжка для Прошки все равно что бастион, взятый с бою.

«...Но и не для одних детей, мне кажется, хороша эта книга: она хороша и для нас, взрослых друзей их»,— прочитал Прошка в предисловии к «Школьным товарищам», сладко вздохнул, от удовольствия причмокнул губами и переселился в Италию. Там синьоры и дамы, рабочие и бедные женщины, разные ребята, душевный и грустный учитель. Прошка весь ушел в их жизнь, не заметив, как пронеслось время и послышалось неумолимое:

— Поздно! Лампу гаси.

— Бабушка, миленькая. Христа ради, дай почитать!

Он не очень-то к ласковым словам был способен, а тут, глядите, пожалуйста, миленькой у него бабка стала. И «Христа ради» и «миленькая».

— Ладно, читай уж,— растрогалась бабка.

Эта книга про добрых людей. Хоть в Италии, хоть в России — худая жизнь без добрых людей!

Прошка начал читать не подряд. Знаете, какая это любопытная книга? Идет-идет рассказ о школьных това-

рищах, вдруг оборвался. Вставная история. Про героев-мальчишек.

Прошке пошел восемнадцатый год, давно уж он работает типографским подручным, печатает «Развитие капитализма в России» и суть понимает, значит, человек с головой, а между тем любит читать о героях-мальчишках!

Одну вставную историю в книге «Школьные товарищи» сочинила сама А. Ульянова. Прошка начал с нее.

«Карузо». Так в Сицилии называли мальчишек, которые работают в копях.

Прошка читал этот трогательный рассказ, и из мыслей его не уходила Анна Ильинична. Прошка чувствовал, как она жалеет итальянских рабочих-мальчишек, любит их товарищество, плачет над смертью бедного маленького Паоло, ненавидит хозяина копей! И Прошка вместе с ней и жалел, и любил.

После рассказа «Карузо», после всего, что узнал на кружке у Кусковой, Прошка захотел еще раз повидаться с Анной Ильиничной. Проверять листы Фролу Евсеевичу больше не требовалось. Прошка решил идти сам по себе. Не таким уж был он смельчаком, чтобы ходить в гости незваным, но непременно надо ее повидать, и однажды после работы он отправился по знакомому адресу. Работа в этот день, как на грех, кончилась поздно. Был вечер, когда он пришел. Позвонил, как тогда. Открыла не Анна Ильинична, а строгая прямая старуха в темном капоте.

— Мне Анну Ильиничну.

— Съехала сегодня с квартиры.

— Как съехала? Куда?

Старуха строго поглядела на Прошку:

— Не знаю. Вероятно, домой. Комнаты сдаются с сегодняшнего дня.

— А-а,— сказал Прошка.— Прощайте.

И выбежал на улицу по своей привычке всегда спешить и лететь. Но куда? Значит, она не питерская. Значит, надо ее искать на вокзале. Может, поезд еще не ушел. Поезда уходят из Питера поздно.

Прошка пошагал к Николаевскому вокзалу, откуда поезда идут на Москву. А может, ей не в Москву? Прошке не явились эти сомнения, и оттого он бодро шагал, а частью бежал — не было денег на конку. Все нужнее было Прошке видеть Анну Ильиничну! Дело в том, что в

его голове подсознательно шла работа, и вдруг он понял: «Мне не нравится в кружке у Кусковой. Не нравится? Почему? Не знаю. Что-то не то, что-то неверно. Если бы Анне Ильиничне не уезжать! Если бы такой человек был в кружке, как Анна Ильинична! Успеть бы с ней повидаться!»

На вокзале была суета, носильщики с бляхами тащили к поезду вещи, паровоз шумно фыркал, толчками пуская вверх белый пар, у подножек вагонов прощались. Прошка увидел Анну Ильиничну. Подскочил. И сразу заметил в ней перемену, упал духом и понес, что не надо.

— Анна Ильинична, я вашу фамилию знаю. В книжке прочел. Еще, что он вам родной брат...

— Зачем вы пришли? — оборвала Анна Ильинична. Коротко, сухо.

У Прошки похолодело в груди. Совсем не та — незнакомая, неласковая Анна Ильинична. А как презрительно сдвинулись брови, как все в ней будто заперлось на замок, а он не мог сообразить, что так чуждо ее изменило. Он не мог вымолвить слова, все забыл, что хотел ей сказать, и даже не понимал, зачем очутился здесь, на вокзале.

— С этого вокзала на Подольск уезжают,— сказал он.

— Мне пора,— ответила Анна Ильинична и торопливо пошла к вагону. Ушла, не кивнув.

Паровоз тонко свистнул. Скоро тронется поезд.

«Что это значит? Что это значит? — думала Анна Ильинична, войдя в купе и тихо сев в уголок у окна.— Зачем он прибежал? Намекнул о Воло... Зачем он сказал о Подольске? Что это значит?»

Она сидела в уголке с бесстрастным лицом, а кровь пугливо стучала в виски: «Зачем он прибежал? Что это значит?»

Поезд тронулся. Она поглядела в окно. Прошка стоял на платформе. Узкоплечий, с длинной шеей.

«Какие большие у него уши, мальчишеские»,— заметила Анна Ильинична.

Было холодно. Дул резкий ветер. Прошка жался в своем коротком драповом пальтишке. Анна Ильинична успела увидеть его озябшие руки, которые он старался засунуть в узенькие обшлага рукавов.

Вагон прокатил мимо. Громче, быстрее, громче, бы-

стрее застучали колеса. Прошка теперь уже далеко, на платформе.

«Боже мой, а вдруг я ошиблась? — подумала Анна Ильинична.— Зачем я с ним так обошлась?»

5

— Снегу-то, снегу! Чистый, нехоженый, весь в искрах! Снегу-то, по пояс лес завалило! А вон заячья тропка, петляет, юрк в кусты! Эй, зайчишка, ау! Небось дрожит под кустом. Не дрожи, мы не тронем. Леопольд, не пали в него, если выскочит. А тут что? Скорлупок под елкой насыпано, словно в базар. Белка тут орешками щелкает. Наверно, у нее склад на елке в дупле. Старая елка рада небось, что беличье семейство приютила до лета, все-таки польза. А что, скучно без пользы жить? Если ни для кого от тебя радости нет? Скучно? А белкам приволье у нас. Зимы на три в запас орехов накапливают, живи-поживай без заботы. Щелкай скорлупки, сколько душа пожелает. Ой, гляди, солнце низко. Не забранились бы хозяйки, боюсь. Ушла до вечера, а работать кому?

— Не все же работать,— сказал Леопольд.

— Работы-то хватит, да я спорая. Елизавета Васильевна хвалит меня не нахвалится. А я взяла да ушла в лес до вечера. Ты увел. Поглядеть захотелось, как ты охотничаешь, а ты и не стрельнул ни разочку. Умеешь ли? Может, зря ружье носишь, для виду?

— Ах, для виду?

Леопольд скинул с плеча ружье.

— Вон та сосенка, заметь, как срежу макушку.

Пли. Сосенка закачала ветвями, осыпая снежную пыль, а макушки как не было. Леопольд повесил ружье на плечо. Пошли дальше.

— Не забранились бы дома,— вздохнула Паша.

— Разве твои хозяйки бранятся? И не похожи они на хозяек, хозяйки строжат, приказывают, а твои? — сказал Леопольд.

— На всем свете других таких не найти, как мои! Чем бы к делу с первых дней приучать, а они грамоту мне объясняют. Диковинно даже.

— Про меня ничего не говорили, что я у вас каждый день? — спросил Леопольд.

— Ой, что ты! Что ты! Они страсть как любят тебя! А ты не упускай, ты ходи, ты разуму у нас навек наберешься.

— Я не затем только хожу, чтобы разуму у вас набираться,— сказал Леопольд. И вдруг покраснел, вся кровь хлынула в лицо. И Паша вспыхнула, отвернулась и закричала радостно:

— Гляди, солнце багровое! Оно к ветру такое! Ветер завтра с Енисея задует. Домой поторапливаться надо. Наши ужину скоро запросят. Пишут, пишут свои книги, да и проголодаются.

— Паша! — позвал Леопольд.

— А? — негромко уронила она.

Они стали отчего-то посредине дороги. Молчание. Шумно и радостно билось сердце у Паши.

— Знаешь, как матка моя тебя называет? Старшо́го сына нашего ясна пане́нка,— сказал Леопольд.

— Еще чего? Смеешься? Смеется твоя мать. Придумываешь все ты!

Паша зашагала вперед, в смущении дергая и теребя на груди толстую косу и ожидая нетерпеливо, чтобы он еще говорил, еще называл ее ясной паненкой.

— Не придумываю,— идя рядом с ней, говорил Леопольд.— Матка тебя зовет ясной паненкой. Плохо?

— Неплохо. Да ко мне не пристало. Ты книжки читаешь, а я что?

— Что ты? Тебя выучили грамоте, и ты читай.

— Ну, стану читать, а дальше? Читай не читай, чего мне здесь ждать-то?

В цветном полушалке, с переброшенной на грудь толстой пшеничного цвета косой, синеглазая, сердитая, она спрашивала требовательно:

— Чего мне здесь ждать? У вас рано ли, поздно кончатся сроки, а мне чего ждать?

— Как чего? Ты не веришь, что это настанет?

Они шли лесом, поредевшим — в просветы между деревьями уже виднелись поля самого Шушенского,— шли молчаливым, пустым, зимним лесом, никто не мог их услышать, но слово «это» Леопольд сказал тихо.

— Ты ему веришь? — еще тише и значительнее спросил Леопольд.

— А он мне про это и не говорил ничего. Он со мной не говорил.

— Я тебе говорю. Умеешь молчать?

— Вот те крест!

— Не крестись. Ведь знаешь, что бога нет! Бога нет, креста нет, того света нет!

— Ну, ладно, ладно. Ты о том говори.

— О том? Могу поклясться, что это будет. Может быть, осталось недолго. Царь падет, жандармы, купцы, ксендзы, попы, мы прогоним всех.

— И нашего батюшку?

— Опять зовешь батюшкой? Зови попом. И ваших шушенских богатеев прогоним. Чего ждать? Новой жизни. Тогда все будет ново. Если захочешь, поезжай учиться в Красноярск или даже Петербург, куда душа пожелает.

— Так меня и пустили! Деревенскую-то девчонку разве пустят?

— Тогда не будет разницы, деревенский ты или городской человек, дворянин ты или крестьянин, русский или поляк...

Он умолк. Оборвал. Словно туча нашла. Нахмурились брови. У него упрямые брови. Все в нем упрямое.

Давно уже дядя Ян Проминский с семьей живут у них в Шушенском ссыльными, а у Леопольда Проминского все городской гордый вид. Лицо светлое. К нему и загар не пристает, он и летом все светлый. Шушенские девки завидуют: нас бы так на жнитве солнышко миловало. Тонкий, высокий. И странный, однако.

— Леопольд, что ты уж больно о Польше своей убиваешься? Наши ребята ни в жизнь не скажут про сторону свою, что родимая, у нас засмеют...

— Потому что вы... они... ведь вы не в ссылке. И я, когда жил дома, в Лодзи...

Леопольда послушать, нет города лучше, чем Лодзь. Вот отчего он ходит за ней, думается Паше. Она слушает Леопольдовы рассказы о Польше. Вовсе не оттого, что Паша «ясна паненка», ходит за ней Леопольд, а оттого, что тоскует о Польше.

— Нет у нас Польши!

Он зло подшвырнул носком снег. Когда Леопольд сердится, у него бледнеет лицо, сдвигаются над переносицей брови. Паше боязно и жалко его.

— Ладно, Леопольд.

— Что ладно? Нет у нас Польши! Нас разорвали на части. Немцы нас захватили. Русский царь захватил. Испытала бы ты... как это, если бы тебе приказали: забудь, что ты русская. Я поляк и не хочу забывать!

— Ладно, Леопольд.

— Когда-нибудь мы добьемся свободы. Когда в Лодзи была забастовка, мой отец показал им. Недаром его сюда, в Сибирь, упекли. Мой отец — революционер.

При этих словах Леопольд вскинул голову. Как он вскидывает голову, неприступно, будто какой королевич! Будто не старенькая на нем козья дошонка, не стоптанные ичиги на ногах. На нем незаметна одежда, даже в старой дохе похож на королевича

— Мой отец — революционер. Владимир Ильич моего отца уважает.

— Владимир Ильич хороших людей уважает.

— Отец не просто хороший. Революционер и марксист.

Паша промолчала. Она плохо разбиралась в марксизме.

Между тем солнце спряталось за деревьями. Февральское солнце, потому что этот поход Леопольда и Паши в шушенский лес случился раньше описанных в первых главах петербургских событий.

Они вышли из лесу. Вдали величественно поднимались снеговые громады. Тяжелые, вечные. Подставили небу плечи-хребты. Небо прилегло на хребты. Край вершин был еще светел, а по склонам стекали синеватые тени, густели в складках расщелин, сбиваясь темнее и глуше у подножия громад. Саяны. Все стало иным, торжественным, важным. Могучим спокойствием наполнилось все.

Красный, слегка затуманенный шар спускался к закату. Над горизонтом разлился розовый свет. Вечернее солнце не слало на землю лучей, сверкание снега утихло, снег медленно голубел. Хмурели Саяны, затягиваясь фиолетовыми сумерками. Солнце ушло. Заря быстро остыла. Наступил вечер.

— Леопольд, почитай,— сказала Паша.

Она знала, чем его рассеять. Когда на него внезапно налетала эта тоска, утешать его надо Мицкевичем.

Три у Будрыса сына, как и он, три литвина.
Он пришел толковать с молодцами.

Паша знала эти стихи наизусть. Леопольд то и дело читал: «Три у Будрыса сына...»

Одного посылает отец за добычей, второго посылает отец за добычей, а у третьего в Польшу дорога. Не за добычей дорога.

Сыновья с ним простились и в дорогу пустились.
Снег на землю валится, сын дорогою мчится,
И под буркою ноша большая.
«Чем тебя наделили? Что там? Ге! Не рубли ли?»
«Нет, отец мой, полячка младая».
Снег пушистый валится, всадник с ношею мчится,
Черной буркой ее покрывая
«Что под буркой такое? Не сукно ли цветное?»
«Нет, отец мой, полячка младая».
Снег на землю валится, третий с ношею мчится,
Черной буркой ее прикрывает.
Старый Будрыс хлопочет и спросить уж не хочет,
а гостей на три свадьбы сзывает.

Паша любит слушать, как Леопольд читает стихи Мицкевича про молодых полячек. Отчего-то грустно ей от этих стихов.

— Леопольд! Кончится у отца ссылка, уедете в Польшу, и забудешь про Шушенское.

— Татусь вторую зиму бьет зайцев, братьям-сестрам шубы шить из заячьих шкурок. Сколько нас у отца, посчитай. Шестеро. Подготовиться в дорогу дальнюю надо, одеться. Непросто.

— Уедете, и забудешь про Шушенское,— повторила Паша.

— Не забуду.

— Не зарекайся, забудешь. Ой, поздно, наши небось хватились меня.

И она быстро-быстро побежала вперед, похрустывая на снегу новыми валеночками. Кажется, во всю жизнь лучших не было, вот что значит своим трудом заработаны валенки! Необыкновенные все-таки ссыльные люди, к которым, на счастье, привела Пашу бедность. Не была бы бедной семья, не отдала бы мать Пашу помогать по хозяйству к Ульяновым и не узнала бы Паша этих лю-

дей, Владимира Ильича, Надежду Константиновну, Елизавету Васильевну. И с Леопольдом, может, не встретилась бы.

На лугах траву не косит, на гумне не молотит, безземельные они, безлошадные, бескоровные, где встретиться? Еще загвоздка, из ссыльных он. На ссыльных у нас осторожно поглядывают. Чужаки, пришлые.

6

Незаметно они дошли до села. За спиной у них непроглядная темень полей. В Шушенском неярко желтели огоньками окошки, зажгли в избах камельки и лампы. Со двора доносился скрип журавлей колодцев. Поили скотину.

Но вот позади заслышался звон колокольцев, ближе, звонче, и пара седых от изморози коней, запряженных в кошеву, догнала их у въезда в село.

— Стой!

Заиндевевшая лошадиная морда едва не легла на плечо Леопольду, дохнула теплом в ухо.

— Гей, охотник! — натянув вожжи, сипло крикнул ямщик.— Как тут проехать...

— ...К ссыльному Владимиру Ильичу Ульянову,— договорил другой голос.

Леопольд увидел барашковую шапку, из лисьего воротника глянуло лицо, молодое, широкое, с наведенными инеем белыми усами и бородой.

— Что ты молчишь? Как проехать к Ульянову?

Леопольд молчал, поправляя на плече ружье.

— Что за чудак, молчит! Ямщик, трогай. На селе спросим, скачи! — нетерпеливо горопил приезжий в кошеве.

— Прямо поезжайте,— как подтолкнутый, живо сказал Леопольд.— Все прямо, на край села поезжайте.

Ямщик дернул вожжи — кони помчали кошеву.

— Ой, Леопольд! Зачем ты не туда их послал?

— Надо. Бежим!

Они пустились бежать по селу.

— Скорей беги, Паша.

— Бегу.

Село Шушенское — большое волостное село. Дальше

версты тянется главная улица. Нерушимо стоит на главной улице кирпичная церковь. От церкви отступив, питейные заведения, полные пьяным народом и гамом, дальше купеческие лавки с товарами, заезжий двор, из ворот несет теплым навозным запахом, слышится лошадиное ржание. Вдоль главной улицы бревенчатые кулацкие избы, каждая — двести лет простоит. Заборы высокие, калитки на запорах. А то рядом с хоромами горбатится вросшая в землю избенка. Впрочем, такие захудалые избенки ютятся больше в проулках да на задворках. Веснами и от осенних дождей грязи в Шушенском: ни пройти, ни проехать!

Есть в селе Шушенском маленькая аккуратная улочка, прямо ведет к реке Шуше. Над рекой Шушей есть дом.

Паша с Леопольдом прибежали сюда. А кошевы не видно.

— Что там у нас, ой, батюшки-матушки! — шепнула Паша, потихоньку от Леопольда крестясь мелким крестом.

Тревога Леопольда передалась ей. Уж не жандармы ли с обыском? Или иной лихой человек! А где же кошева? Да ведь Леопольд на край села ямщика отослал. Сейчас прискачет обратно ямщик, злющий, что дорогу неверно сказали. Наших скорее упредить.

Они вошли в сени. Непонятный звук мерно и часто доносился из кухни.

— Ой, батюшки-матушки, что там?

А там Елизавета Васильевна присела на корточки у печки и тукает косарем, смолевые чурочки колет. Рыжая Женька сидит рядом, с хитрой мордой поколачивает об пол хвостом.

— Елизавета Васильевна! Да что вы? — кинулась Паша.— Да у меня их за печкой на всю зиму запасено, да я в минуту, ступайте из кухни, я в минуту самовар вздую, гости, что ли, у нас?

— Петербургский товарищ Михаил Александрович Сильвин. В село Ермаковское ссыльным едет, по дороге к нам завернул,— поднимаясь, сказала Елизавета Васильевна.

— А мы у околицы встретили их, испугались с Леопольдом, не жандармы ли скачут. Ан, это гость. Рады наши-то?

— Как же не рады! Паша, деточка, пельменей из кладовки достань. Угостим гостя сибирским кушаньем.

Сказано — сделано. Закипела работа. Зашумел под трубой самовар. На шестке разложили огонь — варить стукающие, как камушки, с морозу пельмени. Постелили на столе чистую скатерть, расставили тарелки.

— Елизавета Васильевна, однако, готово. Зовите.

— Уже и готово? Быстрая, умница! Зову, сейчас.

За стеной, где у Владимира Ильича рабочая комната, задвигали стульями. Встали, идут.

Паша навстречу из кухни с глиняной миской, полной пельменями. Из миски валил вкусный пар, и вся торжественность момента отражена была на сияющем лице Паши

— Михаил Александрович, пожалуйте к ужину! — приглашал Владимир Ильич.

— Удивительно, что вы делаете, Владимир Ильич! В условиях ссылки такое исследование, в глуши, в Сибири, вся обстановка ваша такая творческая, по-ра-зи-тельно!

Гость говорил, говорил. Разводил руками, размахивал. Вскидывал плечи.

— Что касается будущего, Владимир Ильич...

Он стоял у порога, загородив ход к столу, все говорил. Владимир Ильич тоже стоял. Слушал и щурился. Видно было, гость ему близок. Но случайно повел взглядом на Пашу, увидел миску с пельменями и сейчас догадался, как она волнуется, бедная, что остынут пельмени.

— Этот человек,—кивнув на Пашу и улыбаясь, сказал Владимир Ильич,— это Паша Мезина, наша помощница, от нее зависит, закончим мы с Надей в срок нашу работу или нет.

Паша смутилась, и Надежда Константиновна вся закраснелась от его слов и стала румяной, хорошенькой, ах, как Паша любила свою молодую хозяйку!

— Ты пишешь книгу, Володя. А я негромкая сила, всего переписчица,— сказала Надежда Константиновна. И от застенчивости, торопясь перевести разговор на другое, захлопала в ладоши: — За стол, товарищи! Пашенька, умница, ставь пельмени.

Все уселись за стол и без лишних проволочек принялись за пельмени, похваливая:

— Ай да Паша! Ай да стряпуха!

Пашу звали за стол, но она ни за что не соглашалась садиться, не до еды ей, какая еда! От переживаний она лишилась аппетита, да и бегать надо за добавкой на кухню, хлопот по горло!

Леопольд тоже отказывался, но его усадили.

— Этот товарищ интересуется вопросами социализма и уже порядочно знает,— сказал Владимир Ильич.

Леопольд чуть не подавился пельменем. Он любил слушать, наблюдать жизнь в доме Ульяновых, но, когда его самого замечали, стеснялся мучительно. Трудно представить, до чего он был самолюбив и застенчив!

Он не ответил Владимиру Ильичу, не подыскал слов для ответа, а гость взглянул на Леопольда внимательнее и вдруг узнал их с Пашей.

— Позвольте, ведь это вас мы нагнали у села? Вы были с ружьем, да, это были вы. Вы не туда показали ямщику дорогу. Почему?

Несколько секунд Леопольд сидел онемевший.

— Просто мы... пошутили.

Вот так нашелся, умник-разумник!

— Ой! — выскочило у Паши. Она зажала ладонью рот. Владимир Ильич положил вилку и пристально на нее поглядел. На Леопольда. Еще на нее. И ничего не сказал. Только доброта и задумчивость прошли по лицу.

«Ничего мимо не пропустит. Обо всем угадает. Ровно колдун»,— подумала Паша.

— Гм! Хорошенькие шутки,— усмехнулся Сильвин.

Михаилу Александровичу Сильвину не терпелось вернуться к разговору. От Владимира Ильича он ждал ответа на все кипевшие в нем вопросы. Наши планы на будущее. Наша деятельность. Не вечно же ссылка! Что дальше? Как дальше?

Паша носила на кухню посуду, притащила самовар, расставила чашки для чаю, убегала, вбегала и ловила разговор хозяев с гостем урывками, а Леопольд весь ушел в слух. Приличие требовало встать из-за стола, сказать хозяйкам спасибо. Но он словно к месту прирос. Страсти разгорались. Говорил Владимир Ильич.

— Именно сейчас, пока мы здесь как будто в бездействии, необходимо продумать каждый шаг, точно наметить путь, а когда время настанет, без колебаний приступить к выполнению плана. На многие годы. На многие, многие годы!

Он не сказал слово «партия». Но говорил о партии. Все понимали, о чем он говорил. Партия раздроблена, расшатана, в сущности ее надо создавать снова. Весь вечер он говорил об этом.

Леопольд слушал, не спуская с Владимира Ильича взгляда.

«Сейчас выйдет из-за стола, будет ходить». Так и есть, встал, начал ходить. Леопольд знал все его привычки. Всегда волновался, слушая его. Владимир Ильич говорил прямо ему, только ему, чтобы он, Леопольд, знал, понимал, делил с ним его долю и дело, не боялся тюрьмы и жандармов, не боялся страха и верил, революция будет! Они сделают революцию. Они должны сделать, они! Владимир Ильич говорил это ему, Леопольду.

Вошла в комнату Паша. И с недобрым в глазах огоньком:

— Там проверка к нам.

Елизавета Васильевна чиркнула спичку, закурила, медленно пустила сизый дым.

— А сердиться незачем, детка. Бесполезно сердиться.

— Мамочка, ты наш Ушинский! — засмеялась Надежда Константиновна.

Дверь запищала, приоткрылась. Как-то боком, словно нарочно стараясь войти неудобнее, протиснулся в щель неказистый мужик с реденькой, как из мочала, бороденкой. Надзиратель Заусаев, исполнявший слежку за ссыльными. Оглядел людей за столом. Приметил чужого. Вытащил из-за пазухи тетрадь в переплете. Выпятил для важности грудь.

— Политический ссыльный Владимир Ильин Ульянов на месте?

Он приходил сюда каждый день, два раза в день, утром и вечером, проверять, на месте ли ссыльные. Обычно обходилось без казенных вопросов — подсунет тетрадку Владимиру Ильичу, Надежде Константиновне и дальше. Надо всех ссыльных на селе обойти, а еще есть и по хозяйству работа. Своя рубашка ближе к телу, не упустить бы свое. Но сейчас в доме была неизвестная посторонняя личность. Надзиратель считал, перед посторонней личностью надо себя показать, кто он таков, какие его права и обязанности.

— Политический ссыльный Ульянов на месте?

— Нет на месте Ульянова.

Заусаев оторопел от такого ответа, не понял.

— К-а-к? А-а... это кто такой тут стоит?

— Вы не видите, кто тут стоит?

Надзиратель услышал за столом смех. Надежда Константиновна и Елизавета Васильевна смеялись обидно, но не громко. Громко, нахально смеялся мальчишка с упрямыми и злыми бровями и таращил глаза. Этого мальчишку надзиратель не терпел за его дерзкий, вызывающий взгляд. Избил бы за смех. Но... смолчал. Не посмел. Ссыльного Ульянова Владимира Ильича устыдился. Нет у Владимира Ильича Ульянова над ним власти, наоборот, он, Заусаев, вроде как над Ульяновым власть. А робеет Ульянова. Отчего? Какая-то сила в нем. Держит тебя его сила, не дает воли. Не только ударить — замахнуться не дает на мальчишку!

«А что Владимир Ильич посмеялся над тобой, так за дело, не кочевряжься, простой ты сибирский мужик и должен правильному человеку сочувствовать».

Надзиратель переступил ногами, помялся:

— Владимир Ильич, распишись. Требуют. Что ты будешь делать, начальство велит.

Владимир Ильич взял тетрадь, расписался. Молча. Без шутки. Молча расписалась Надежда Константиновна. Сильвин вынул из кармана свидетельство, утверждающее его личность и маршрут до села Ермаковского. Надзиратель повертел бумажку так и сяк и вернул.

— До свиданья, однако.

Когда в кухне захлопнулась входная дверь, Надежда Константиновна сказала:

— Он неплохой, по существу, человек. Почти неграмотный он.

Никто не ответил. Елизавета Васильевна объявила, что пора стелить постели на ночь.

Гость оставался ночевать. Надежда Константиновна с Пашей стали готовить гостю белье.

Леопольд простился, взял в углу кухни ружье и вышел из дому. Огромное небо мерцало звездами над селом. Кому-то он был благодарен. Кого-то любил. Предчувствие чего-то большого и высокого, как это небо над Шушенским, поднялось в нем. Жадно дышала грудь. Дул ветер. Паша угадала, красный закат к ветру. Ветер поднялся, летел и спешил и нес к Шушенскому чуть внятный запах еще не близкой весны.

7

«Найти бы предлог, для чего к ним закатиться»,— думал на другой день Леопольд.

Дом Ульяновых он навещал каждый день. Известно, в Варшаве и Петербурге есть университеты, где юноши учатся избранным наукам, слушают лекции. Леопольд ходил к Ульяновым, как в университет. Но не с утра же. Нынче стал собираться с утра, боясь пропустить случай: наверное, за чаем Владимир Ильич опять разговаривает с товарищем Сильвиным перед его отъездом в село Ермаковское. А! Вот и предлог вполне уважительный — «Господа Головлевы», сочинение Н. Щедрина. Книжку за ремень под дохой и к двери.

Голос от окошка:

— Куда?

У окошка тощий, высокий отец сутулится над заячьей шкуркой, шьет заказчику шапку. В Лодзи отец был шляпочником, валял и выкраивал разные модные шляпы, шапки, фуражки, цилиндры, кепи. Отец был мастером в Лодзи. Здесь, в Шушенском, редко перепадали заказы. Перепадет — отец старался подучить Леопольда: хоть какое дать в руки дело на будущее.

— Татусь, можно я потом тебе помогу? Очень мне надо идти.

Отец поднял от работы медленный взгляд.

— Надо — иди.

Отец неразговорчив. Болит у отца душа за семью: шестерых детей обуй, одень, накорми. А в будущем что? Но оханья и ругани в доме не слышно. Отец не жалуется на свою несправедливую долю. Мама иногда поворчит.

Леопольд пришел к Ульяновым, как всегда, в радостном ожидании нового. У них не бывает скучно и буднично. Всегда у них интересные разговоры.

Возле порога лежала Женька, вытянув морду на лапы, и зорко глядела. У Женьки бурно активный характер. Охотник и сторож живут в ней рядом. Неизвестно, кто держит верх. Когда Леопольдов отец и Оскар Энгберг заходят за Владимиром Ильичем с ружьями, Женька вмиг соображает, куда они собрались, охотничий инстинкт мощно в ней поднимается. Нестерпимое волнение охватывает Женьку. Она егозит, подскуливает, виляет хвостом, скребется в дверь, с надеждой заглядывает в

глаза Владимиру Ильичу, тычется мордой в колени, молит: возьмите меня на охоту, возьмите!

Как счастлива, когда Владимир Ильич свистнет:

— Дженни! Идем.

А когда надо сторожить — сторожит, серьезно и рьяно.

Завтрак у Ульяновых кончили, но все оставались за столом. Елизавета Васильевна с папироской над остывшей чашкой чаю. Владимир Ильич неторопливо прохаживался по комнате. Говорили о товарище Анатолии Ванееве. Многих товарищей Владимира Ильича Леопольд знал по рассказам. Особенно Анатолия Ванеева. Владимир Ильич очень его любил. Его и Глеба Кржижановского. Кржижановский здоров и не так далеко от Шушенского, а Ванеев далеко и болен. Опасно, кажется, болен.

— Нужно что-то предпринять! Необходимо вытащить его, нельзя его там оставлять, у черта на куличках, в холодном ледяном Енисейске! — говорил Владимир Ильич. И прохаживался медленными шагами по комнате.— Поразительно цельный человек! — сказал Владимир Ильич, остановившись возле деревянного дивана с высокой спинкой, где сидел Сильвин.— О ком, однако, я вам рассказываю! О земляке, нижегородце, ведь вы в Питере все студенчество в одной комнате с Ванеевым прожили, да?

— С Ванеевым можно жить,— сказал Сильвин.

— Случилась мне позарез нужда в некоторых статистических сборниках,— рассказывал Владимир Ильич,— это когда еще мы в Петербурге в предварилке сидели, так Ванеев узнал, из тюрьмы в Нижний знакомым писал, чтобы достали. И отсюда, из Сибири, заказывал книги, когда была надобность. Я ему напишу, он в Нижний напишет. Вот человек активного добра и истинный товарищ, а, Леопольд? — неожиданно быстро обернулся Владимир Ильич.

Как всегда, Леопольд не нашелся ответить. Нахмурил брови, будто обдумывая трудноразрешимый вопрос. Уж эта его стеснительность, или попросту трусость, беда его!

— Умная книжица? А? — увидел Владимир Ильич у Леопольда за ремнем Салтыкова.— Принес поменять? Что на этот раз тебе выбрать? Снова Салтыкова? Нет? Что же? Политику? Прекрасно! — Он вышел, разыскал

на полке у себя книгу Энгельса «Развитие научного социализма».— Получай. Смотри осторожнее с этой книгой. Со-ци-а-лизм! Они от одного слова «социализм» в набат бить готовы. Читай не спеша. Это произведение нельзя торопливо читать.

— Михаил Александрович,— обратился он к Сильвину,— что мне в голову пришло: там в Ермаковском, куда вам лежит дорога, у меня есть знакомый доктор, Арканов Семен Михеевич, напишу-ка я ему письмецо о вас.

— Спасибо, Владимир Ильич, может, не стоит?

— Отчего же не стоит? Очень даже стоит! Мало ли какие по приезде затруднения встретятся! Он там всех местных жителей знает. С квартирой может вам посоветовать. Сейчас и напишу.

И дверь затворилась за ним в его комнату. Женька поднялась от порога, не спеша перебралась к закрывшейся двери, там затихла.

— Как у вас хорошо! — внезапно воскликнул Сильвин.— Как вы счастливы, что у вас семья!

— Милый Михаил Александрович! — в один голос ответили мать и дочь.— А вас что останавливает?

Паша не понесла посуду на кухню, поставила на край стола и сама с загоревшимися глазами приткнулась на кончик дивана.

— Что держит? Признаться?—колебался Сильвин.— Держит любовь! Слишком сильная любовь, может быть. Держит боязнь доставить ей неудобства и трудности. Страх за нее. Ведь сломается жизнь, привычки, быт — все! Слишком я люблю ее, чтобы принимать ее жертвы, не хочу подвергать ее превратностям судьбы, какие могут выпасть на долю жены политического ссыльного в неизвестном сибирском...

Он не договорил, споткнувшись о взгляд Надежды Константиновны, немного грустный, немного насмешливый.

— Непонятная у вас любовь.

— А не у нее ли любовь непонятная? — спросила мать.

— Мамочка! Может быть, она не уверена... может быть ждет, чтобы он... чтобы вы, Михаил Александрович, открылись. Вы не уважаете ее, Михаил Александрович.

— Что вы говорите! — оскорбленно воскликнул Сильвин. Вскочил. Сел. Опрокинул недопитый стакан.

— Ой!—вырвалось у Паши. Но не побежала за тряпкой.

— Разве уважение это, если вы думаете, что она боится кинуть город, привычки, устроенный быт? Любовь и — привычки? Разве это сравнимо? А делить судьбу мужа, политического ссыльного? Разве не гордость и счастье для женщины делить такую судьбу? Быть участницей его планов и замыслов, его дела. Служить вместе делу! Или, может быть, она вас не любит? Скорее, скорее забудьте о ней, она вас не любит.

— Она меня любит.

— Что-то не верится,— усмехнулась Елизавета Васильевна.— Вас в кошеве мчат в село Ермаковское, а она... А вот и лошадь подали.

Правда, под окном завиднелась дуга с нарисованной алой розой, призывно пробренчал колоколец.

— Она меня любит,— сказал Сильвин.— У меня миллион доказательств.

— Нужно одно — желание делить судьбу мужа.

— При нужде и щи сварить, не все только высокие материи,— вставила Елизавета Васильевна.

— Делить труд, угрозы, опасность. И если смерть...

Мать перебила:

— Не будем о смерти. Это еще что за мрачные мысли?

Дверь из комнаты Владимира Ильича распахнулась, он быстро появился на пороге.

— Получайте письмецо, вы не с тяжелым сердцем уезжаете, Михаил Александрович?

— Уезжаю с сердцем, полным счастья и безумных надежд! — пылко ответил Сильвин.

Владимир Ильич даже понягился.

— Что тут у вас? Тайна? Знаю, обожаете тайны. Но дудки! Давайте выкладывайте. Ну, ну, давайте, давайте!

Он обвел всех выпытывающим взглядом, задержался на Леопольде.

— К Михаилу Александровичу скоро приедет невеста! — выпалил Леопольд неожиданно для себя самого.

Что началось!

— Браво, браво! Отлично, преотлично! — принялся поздравлять Владимир Ильич, хлопая Сильвина по плечу.— Ко всем нашим невесты приехали. Разве ваша хуже других, что оставит вас в одиночестве? Молодец, умница!

Милостивый государь, что же вы такую важную новость под конец берегли?

— Как я вам благодарен! — с чувством сказал Сильвин.

Теперь он знал, это решилось. Вчера еще было неизвестно, а сегодня решилось, твердо решилось оттого, что они помогли и подсказали ему, его друзья и товарищи. Один он еще колебался бы, рассуждал бы и взвешивал: как ей будет, да не жертва ли это с ее стороны? А хоть бы и так? Что за любовь, когда боится жертв?

— Всему вашему дому спасибо, Владимир Ильич! И тебе!

Он обнял Леопольда так, что у того косточки хрустнули.

С улицы долетел колокольчик. Дуга с алой розой под окном напомнила о необходимой дороге.

Елизавета Васильевна распорядилась перед отъездом присесть. Сели. Женька положила морду Владимиру Ильичу на колени. Он почесал ее за ухом. Женька благодарно стукнула об пол хвостом.

— Когда ваша невеста соберется сюда, попросите, пожалуйста, чтобы, елико возможно, заехала к нашим,— сказал Владимир Ильич.

— Непременно, Владимир Ильич!

«Они уже говорят о ее приезде, как о деле решенном»,— удивленно и радостно подумал Сильвин.

Ну, можно вставать. Стали прощаться, что-то приветливо и сумбурно наказывать Сильвину.

— Не унывайте, не болейте. Устраивайтесь.

— Желаю удачно закончить книгу, Владимир Ильич!

И на крыльце все прощались:

— До свиданья. Хорошо у вас, по-семейному.

— А вы торопите невесту, и у вас по-семейному будет. Пишите, как там, в Ермаковском!

— Ступайте, ступайте в дом. Простудитесь! До свиданья.

Женщины ушли. Смотрели в окно, улыбались, кивали, махали. Владимир Ильич, накинув шубу на плечи, стоял на крыльце.

— Дом-то какой у вас, Владимир Ильич. Вчера вечером второпях не заметил.

Сильвин занес ногу в кибитку, но не садился, с любопытством разглядывая дом. Что-то в этом доме отличное,

особинка какая-то, поэтический штрих. Два точеных столба, как колонны, поддерживают крышу крыльца. У крыльца нет перил, три длинных ступени. И все. А среди всех — дом особенный.

— Верно, особенный,— подтвердил Владимир Ильич.— Строили по чертежам декабриста Александра Фролова. После каторги в Шушенском жили на поселении два декабриста. Потом польские революционеры ссыльные жили. Теперь мы. Пусть бы на нас и кончились сибирские ссылки, а? Ну, поезжайте. Ермаковское почти рядом, верст пятьдесят. Что для нас, сибиряков!

— И-их, вы, родименькие! — занес кнут ямщик.

— Стой! — крикнул Сильвин.— До свидания, Владимир Ильич! Леопольд, а ты проводи.

Он втащил Леопольда в кошеву. Через минуту кони вымчали ее из проулка и несли по раскатанному следу по улице. Морозный ветер свистел в ушах, резал лицо. Видно, не близко еще до сибирской весны.

— Декабристы, поляки, мы...— в раздумье перечислил Сильвин.— «Мне грустно и легко. Печаль моя светла»,— бормотал он стихи.

Но разговора с Леопольдом не получилось. Мешала маячившая перед глазами спина ямщика в бараньем тулупе.

— Пожалуй, до свиданья, дружок,— решил скоро Сильвин.— Ты мне нравишься. Авось еще увидимся. А сочинение это,— он кивнул, подразумевая книгу Энгельса, сунутую Леопольдом за ремень под шубейкой,— весьма для нашего брата полезная штука!

Он сказал: «для нашего брата». Услыхал бы отец, какого о Леопольде мнения профессиональный революционер, товарищ Ульянова! Леопольд во сне и наяву мечтал стать действительно «нашим братом», у которого одна цель в жизни — бороться за волю родной, дорогой Польши! Дрога Польска. Свента Польска!

Он стоял посреди улицы и смотрел вслед кошеве, которая уносилась дальше и дальше, вздымая позади себя белое облако снега. И скрылась.

А ямщик не узнал Леопольда. Было бы Леопольду, если б узнал!

Но тут Леопольд заметил, что стоит против волостного правления и что с крыльца его манит писарь в одной жилетке поверх рубахи, с заложенным за ухо пером.

— Эй, ты, подь сюда, ты!

Леопольд подошел, удивляясь, зачем понадобился писарю.

— В контору ступай. Унтер требует.

После сегодняшнего тихого светлого утра в доме Ульяновых Леопольд словно в болото свалился, очутившись в замусоренной конторе, где в углу брошен был обшарпанный голик, горький дым стоял от махорки, на стене висел загаженный еще прошлогодними мухами портрет царя и царицы в коронах, а под царским портретом, расставив ноги, сидел жандармский унтер-офицер с шашкой. Сидел курносый, с рыжими глазами кот. Золотистые прямые усы перечертили его отвислые щеки. Он еще их прямил и расправлял пальцами, то один, то другой ус.

— Государственного преступника провожать ездил? — спросил унтер, слегка громыхнув шашкой об пол.

Леопольд смешался. Он не мог сообразить, надо или нельзя спорить против того, что Михаила Александровича Сильвина назвали преступником. Не знал, как на этот вопрос отвечать.

— Брови супишь? — строже громыхнула шашка.— Засажу в кутузку, чтобы знал, как противу начальства хмуриться.

Леопольд снова смолчал. Леопольд ужаснулся. Если они его засадят в кутузку, не скрыть, что у него за ремнем. За ремнем у него книга Энгельса «Развитие научного социализма». Чья? Откуда? Нетрудно отгадать. А Владимир Ильич предупредил: «Они от одного слова «социализм» в набат бить готовы».

Леопольду показалось, книжка сползает у него из-под ремня. Ползет, ползет, сейчас шлепнется на пол. Он стоял ни жив ни мертв.

— Ах, попалась птичка, стой, не уйдешь из сети,— сипло промурлыкал унтер, прямя за кончики усы.— О чем между ссыльным Ульяновым и проезжим Сильвиным был разговор? — спросил он грозным голосом, от которого у Леопольда прошел по коже мороз, спросил тихо, ибо они не одни были в конторе: писарь, вынув из-за уха ручку с пером, старательно что-то писал, а на краешке лавки бочком ютился шушенский учитель, человек с толстым, как картофелина, носом, разрисованным лиловыми жилками.

— О чем был разговор? Отвечай без утайки.

— Об охоте.

— Несущественно. Дальше?

— О климате.

— О чем? О чем?

— О шушенском климате.

— То для отвода глаз. Дальше.

— О пельменях говорили. Как в Сибири на всю зиму пельмени морозят.

— Врешь! — выходя из себя, гаркнул унтер.

«Вру. И буду врать. И ни крошки правды не узнаешь, ори не ори»,— думал Леопольд, дерзко глядя на унтера.

— Имя! — Унтер стукнул кулаком по лавке.— Имя, фамилие, спрашиваю!

— Леопольд Проминский.

— Леопольд! Что за кличка такая собачья?

— Поляки. Отец за недозволенность политического поведения выслан. Из таковских,— угодливо подсказал учитель, весь вытягиваясь в сторону унтера.

— Из шельм, стало быть, хе!

— Отец працовити работник, здольни, одважни! — бешено закричал Леопольд.

Он терял голову. Он на него бросится. Надает по морде унтеру.

Вдруг Леопольд почувствовал, книжка едет из-под ремня. В самом деле едет, он почувствовал. Это его спасло. Он не успел броситься на унтера. От одной мысли, что книжка Владимира Ильича попадет им в руки, внезапная бледность разлилась у него по лицу, он обессилел, у него задрожали ноги от слабости.

«Струсил»,— понял унтер.

И, сознавая неограниченность своей силы и власти, сказал почти милостиво:

— Ты на собачьем своем языке не лопочи, когда начальство с тобой разговаривает. На русской земле русский хлеб ешь. Позабудь про свое лопотание.

Что они сделали с Леопольдом! Как ему теперь быть? Куда деваться? Подскажите, люди, товарищи, как ему быть!

Молчи, молчи. Пересиль себя. Они только и ловят, чтобы ты сплоховал. Не сделай ошибки! Им только и надо. Не попадайся им в яму. Они волки. Они тебя слопают.

— У меня не собачий язык, мой язык польский,—

прыгающими губами сказал Леопольд.— Когда нашего великого Адама Мицкевича выслали из Польши в Россию, он не продал польский язык.

— Догрубишься, что отцу срок ссылки набавят. Мицкевича приплел, Адама какого-то. Тоже, чай, был... Ступай, брысь покамест. Да помни.

Леопольд вышел из конторы. У него были сухие, холодные, как льдины, глаза, но внутри он плакал навзрыд, когда шел из конторы. Если бы можно было заплакать! Если бы можно прибежать к Владимиру Ильичу, рассказать, как унизили его! Бежать к Владимиру Ильичу? Книжка здесь, за ремнем. Бежать? Рассказать? Посоветоваться? Спокойно, Леопольд. Рассудим спокойно. Он работает, пишет книгу «Развитие капитализма в России». Лишнего часа нынче утром с товарищем не позволил себе посидеть. Беги. Выбивай его на целый день из работы. А если не стерпит, сцепится с унтером? Набавят в наказание срок ссылки. Нельзя. Татусь! Милый татусь, и тебе не скажу. Никому не скажу.

Леопольд быстрым шагом шагал по улице, тонкий, как прут, высокий и прямой. Крупная соленая слеза поползла по щеке. Он вытер варежкой щеку. Прикусил губу. Слез больше не было.

А Михаил Александрович Сильвин тем временем ехал да ехал в кибитке по направлению к селу Ермаковскому. После шушенских встреч на душе Сильвина было бодро и смело, так всегда на него действовали разговоры с Владимиром Ильичем. В то же время было одиноко и грустно. Грустней, чем всегда.

«Они любят друг друга! — думал Сильвин о Владимире Ильиче и Надежде Константиновне.— Им интересно и нескучно вдвоем, хорошо, что они вместе, благородный, прекрасный союз!»

Так думал Сильвин, а перед глазами у него была его Оля. Маленькая, хрупкая.

«Разве это любовь, если человек не может ради любимого человека отказаться от удобств, не от чего-нибудь, а всего лишь от привычки к удобствам?» — вспомнились ему недоумение и насмешка Надежды Константиновны.

«Вы правы, Надежда Константиновна, вы правы. Но это любовь».

«Я люблю тебя, Оля! — мысленно сочинял Сильвин к ней письмо.— Если бы тебе выпали испытания, я сделал бы все, чтобы облегчить твою жизнь. И мне совсем было бы это нетрудно. Потому что без тебя нет мне счастья. А ты любишь меня, Оля?»

Он сочинял ей письмо. Кошева летела. Снег брызгал из-под копыт, комья снега обжигали лицо. Ямщик молчал. Велено много не разговаривать с ссыльными.

Темнее, суровее подступала к дороге со стороны хребтов Саянских тайга, и когда кони поднесли кошеву к селу, приподнятому на обширном пустом плоскогорье, у Сильвина сжалось сердце, такой холодный и жесткий был облик у села Ермаковского, где предстояло ему поселиться.

«Ольгуша, родная моя!..»

8

«Ольгуша, родная моя! Пишу из нового места, из села Ермаковского. Большое хмурое село! Поодаль тайга, возможно, не первого класса тайга, но близко к тому. Во всяком случае, забираться вглубь без ружья не советуют: рискуешь повстречаться с Топтыгиным. Говорят, зимами в село забегают волки. В тихие ночи слышен их вой, выходят в поле и воют.

В первые дни в честь моего появления в Ермаковском разыгралась пурга. Проснулся утром, в окне мутная, белая мгла, несет, крутит, воет, свистит. Из сеней не открыть двери, намело гору снега, и все метет и метет, валит и валит! А в душе похоронный колокол: отрезан навек, навсегда от мира, от любимых людей, от тебя. Не сердись, что я ною и жалуюсь. Ты знаешь, я оптимистичный и земной человек, но иногда на меня нападает хандра, и я не могу с собой совладать, надо высказать, вылиться, а кому? Конечно, тебе! Ты умеешь так ласково слушать, представляю твои чуткие глазки в густых, темных-темных ресницах, глубокие, как два лесных озерца.

Оля, делаю тебе предложение: будь моей женой, смилуйся, согласись, не отказывай. Олюшка! Ольга Папперек, будь моей женой, другом и спутником на всю жизнь. Я бродяга по натуре, милая Ольга Папперек, нет у меня ни кола ни двора, но в селе Ермаковском я нашел на время избу довольно сносную, без тараканов, с широки-

ми отмытыми добела половицами, лучшее украшение моей (нашей) новой квартиры — чистейший, белейший пол! Из хозяйства у меня, признаюсь, одна пепельница. Симпатичная пепельница, стоит себе посредине стола и всей избе придает интеллигентность. Можешь не беспокоиться, цветик, для окурков посудина есть, окурки не будут тыкаться в чайное блюдце или в угол подоконника, обещаю соблюдать идеальный порядок! Если моя маленькая Олюшка не захочет нюхать табачный дым — отводятся для курения сени. Подписываю договор: курить только в сенях. Еще строже: только на улице!

Шутки в сторону. Оля, я тебя люблю. Ты знаешь мои убеждения, взгляды и планы на жизнь. Согласна? Не боишься связать свою юность с моей рискованной жизнью, полной лишений и трудностей?

Не то я говорю! Ты отважная. Тихая. Тихая отвага не дрогнет. А спрашивать тебя нужно: любишь ли? Вот о чем надо спрашивать, потому что я не уверен. Любишь? Если любишь...

Оленька, село Ермаковское неприветливо. Во всем селе ни одного сада. Ни одной вишни, ни яблони. Каково придется тебе после твоего утопающего в сиренях такого русского городишка Егорьевска? После твоей реки Гуслинки. Название-то какое: Гуслинка! Жалко расставаться с Гуслинкой.

В общем-то, в Ермаковском жить можно. Здесь есть доктор Семен Михеевич Арканов. У него сын двенадцати лет. Мне предложили готовить сына в гимназию. Как-никак заработок, и довольно приличный по здешним краям. Ты тоже могла бы давать уроки сыну Арканова...»

На этой строке письма Ольга Александровна прервала чтение и стала смеяться. Смеялась, смеялась чуть слышно, пока вдруг не всхлипнула и, выхватив из-за корсажа платочек, не закусила кружевную оборку.

«Не много ли учителей для одного сына доктора Арканова?»

На этом месте Ольга Александровна всегда прерывала чтение. Он придумывает ей эти уроки. Утешает ее. Может, и доктора Арканова на свете вовсе нет, все он придумывает, добрый Сильвин, одинокий Сильвин в селе Ермаковском! Почему-то на этом именно месте, когда она дочитывала до уроков, становилось невыносимо печально. Все могло бы быть по-другому. Могла быть

обыкновенная счастливая жизнь. Ведь она совсем не героиня, Ольга Александровна Папперек, совсем ординарная девушка.

И все же она ответила «да». Она давно получила от Сильвина это письмо и ответила «да». Не жалко Гуслинку. Милый Сильвин! Знаешь, какая Гуслинка? Самая простая речонка, невзрачная, по берегам вся уставлена фабриками. Не искупаешься из-за фабрик, надо идти за город. Ничего хорошего нет в Гуслинке. А леса в Егорьевске близки, леса хороши. И их не жалко, пускай остаются. Не жалко лиловых сиреней в палисаднике. Только девочек жалко.

Ольга Александровна убрала письмо в комод, заперла ящик на ключ. Только девочек жалко...

В соседней хозяйской комнате низким голосом важно пробили стенные часы. Девять утра.

— Прощай, сад,— сказала Ольга Александровна, вернувшись к раскрытому окну.— Теперь совсем уже скоро прощай!

Под окном цвела сирень, сильно, празднично; росистые гроздья тянулись на подоконник, нежный запах плыл в комнату, вились над цветами пчелы; в кустах и деревьях свистели и вспархивали птицы. Было чудесное майское утро.

«Прощайте!» — подумала Ольга Александровна.

Постояла перед зеркалом, внимательно себя оглядела, поправила воланчик на кофточке. Она была одета в юбку из легкой черной шерсти и белую кофточку с кружевными воланами. Это была неофициальная форма в их прогимназии для праздничных вечеров или утренников. Сегодня утренник для выпускниц, ее девочек. Прощайте, прощайте.

Ольга Александровна вышла из дому пораньше, чтобы не встретить хозяйку. Хозяйка все выспрашивает, вздыхает:

— Вы из приличной семьи. У вашего папеньки в Саратове хорошее место. Ваш братец Георгий Александрович...

Все так. Ольга Александровна Папперек из приличной семьи.

«Родная моя Ольгуша, не обещаю богатств, не обещаю удобств, ни даже спокойствия, ничего не обещаю, только любовь».

Она знала письмо Сильвина наизусть и мысленно все время читала.

Оставалось недалеко до прогимназии на берегу Гуслинки, отгороженной забором, чтобы девочки не удирали в перемены на речку. Прогимназия в два этажа — низ белокаменный, верх деревянный, покрашенный в желтое, у высокого крыльца кусты жимолости, сирень, тополя с грачиными гнездами. Грачи орут и галдят. На том берегу Гуслинки шумит бумагопрядильная фабрика Хлудовых. Башенные часы отбивают время.

Учительница Ольга Александровна, тебе дорого это? Ты привязалась к своей прогимназии рядом с тюрьмой? Одна-единственная в городе Егорьевске прогимназия для обучения девочек. Отцы города выбрали место. Возле тюрьмы.

Оставался квартал до прогимназии, когда от забора отделилась фигура и загородила ей путь. Филипп Иоганнович, помощник механика с фабрики Хлудовых. Негромкий, почтительный, из обрусевших англичан — когда-то дед его приехал из Манчестера на Егорьевскую прядильную фабрику мастером.

— Погоди, он еще будет главным инженером на фабрике,— говорил отец, когда, приезжая в Егорьевск, познакомился с ним и облюбовал в женихи Ольге.— Через пять — десять лет у него будет особняк и собственный выезд. А смекалка и порядочность и сейчас при нем.

— Доброе утро,— сказал Филипп Иоганнович.— Умоляю вас,— настойчиво говорил он, идя рядом с ней.— Пока не поздно, умоляю вас, не уезжайте в Сибирь! Я готов упасть на колени. Не уезжайте. Не губите себя.

— Не падайте на колени, Филипп Иоганнович, пыльно, поберегите костюм.

— Вы всегда подшучиваете надо мной, а у меня разрывается сердце при мысли...

— Напрасно, Филипп Иоганнович.

Ольга Александровна старалась идти быстрее, но стайка девочек в белых передниках и пелеринах обогнала их. Оглянулись, щебеча, побежали вперед, к площади, где возле тюрьмы среди грачиных гнезд стоит бело-желтый дом с просторными окнами. Со всех сторон сюда сходились группки веселеньких девочек в накрахмаленных пелеринках.

— Вон она! Вон она! Вон она, видите,— услышала Ольга Александровна.

— На вас почти показывают пальцем,— дрожащим голосом сказал Филипп Иоганнович.— Между тем ваш отец управляющий. Ваш брат учитель гимназии. И вы сами...

— Нам никогда не понять друг друга, Филипп Иоганнович!

Она быстро пошла через заросшую мелким просвирником площадь по тропке к крыльцу.

Коридоры пусты. Девочки ожидали по классам, когда классные дамы поведут их парами на молебен и утренник.

Ольга Александровна не заглянула к своим выпускницам. Кто знает, что могло бы получиться из этого. Как они отнесутся...

В учительской при ее входе смолкли. Замешательство воцарилось в учительской. Одна учительница, пожилая и всегда добрая к Ольге, громко простучала каблуками мимо нее, отвернувшись, и хлопнула дверью.

«Глупа, как все,— подумала Ольга Александровна. Но что-то оборвалось и заныло внутри.— Ты пишешь, что я отважная. Я не отважная. Мне ужасно среди них тоскливо».

— Это верно? — спросила другая.

— Что?

— Говорят, вы уезжаете в Сибирь! Что ваш жених политический ссыльный?

— Хотя бы так?

— О-о!

И эта улизнула. Подозрительно скоро учительская опустела. Лысый, страдающий одышкой учитель рисования, кряхтя, поднялся из глубокого дивана и, колыхая толстым животом, подошел.

— Голубушка моя, зачем вы? Ведь самого Бардыгина ожидают. Ведь я намекал. Марья Петровна приказали, уф-пуф, чтобы я... Вам намекали...

— Не люблю намеков.

— Голубушка моя, пуф-пуф, зачем осложнять? Начальница тактичный человек...

Он жалко моргнул. Ольга Александровна знала, учитель рисования мечтает дотянуть до пенсии. Пожалейте его! Погладите на его толстый живот!

— Вы передали, благодарю, я все поняла, никто не в ответе, что я здесь, я сама...

Ольга Александровна скорее ушла из учительской от учителя рисования с его животом и одышкой.

Значит, ожидают Бардыгина, миллионера-фабриканта, всесильного Никифора Михайловича, в мундире, с цепью городского головы на всю грудь, при шпаге, в белых перчатках, как обычно появляется он в торжественных случаях.

Бардыгин не прибыл. Супруга городского головы оказала честь прогимназии. Окруженная приседаниями, поклонами, расшаркиваниями, супруга, затянутая в корсет, с жемчугами на шее, проследовала в переднюю часть зала, где для почетной гостьи и начальницы были приготовлены кресла.

Девочки уже заполнили зал, построенные, как полагается, в четыре ряда по классам: первый класс, второй, третий. И четвертый, выпускной, ее класс. Возле каждого класса навытяжку классная дама. Никто не подошел к Ольге Александровне. Изредка она ловила на себе любопытные, пугливые взгляды.

Может, не надо было приходить на сегодняшний выпускной утренник? Ведь ей намекнули, не надо. Но неужели уехать, не повидав в последний раз своих девочек? Когда их связывает столько светлых часов, столько важных разговоров, мыслей, так много связывает! Уехать? Не повидать на прощание?

В зале от пелеринок было бело. Священник в золоченой ризе, размахивая кадилом, возглашал строгие и пышные слова молитв. Хор из тонких девичьих голосов сопровождал молитвы священника. Солнце било в окна, мешая горячие лучи с синим чадом ладана и посылая сияние на склоненные русые, светлые, каштановые, курчавые и гладенькие головы девочек.

Ольга Александровна стояла сзади одна. Все тяжелее ей становилось. Одна. Будто не прожито вместе с этими девочками много дней, много месяцев, будто не встречались с этими учителями ежедневно в учительской.

— ...Слышали, говорят, к нам опять из Москвы собирается Собинов?

— Неужели? Ох, душка Собинов! Опять вам на весь город красоваться, Ольга Александровна!

— Почему, почему?

— Да ведь в прошлый раз Ольга Александровна аккомпанировала Собинову. С того раза к нашей Олюшке и повалили поклонники.

— А вы книжку Надсона видели, в магазин наш прислали?

— Какие там Надсоны, у меня голова десятичными дробями забита.

— Фи, Павел Максимович, разве можно так узко существовать!

— А супруге директора бардыгинской фабрики, слышали, из Петербурга получено платье, прелесть, чистый Париж!..

— Многая лета! Многая лета! Мно-о-огая лета-а!

Молебен кончился. После молебна произносила речь Марья Петровна. Две девочки под руки ввели ее на подмостки, сооружавшиеся всякий раз заново по случаю редких празднеств. Маленькая, с болезненно желтым лицом, в синем шелковом платье, начальница говорила, обращаясь к супруге городского головы. Супруга с жемчугами на шее важно кивала из кресла.

В середине речи начальница подняла к глазам лорнет. Что такое? Кто там, в конце зала? Бывшая учительница Ольга Папперек! Как она смеет! По мертвой тишине, наступившей в зале, Ольга Александровна поняла, что девочки знают, что она тут. Начальница взяла себя в руки. Не опуская лорнета, устремив леденящий взор в конец зала, продолжала свою речь.

Теперь она говорила не о щедрости отцов города, благодеяниями которых существует вверенная ей прогимназия, а об отверженных обществом, преступивших закон, о неизбежной каре, которая не минует тех, кто оскорбил отчий дом ослушанием.

Шорох прошел среди пелеринок. Но никто не оглянулся. Классные дамы стояли на страже, каждая возле своего класса.

— Mademoiselles! — окончив речь, бесстрастно сказала начальница.— Вы услышите сейчас небольшой концерт, исполненный своими силами, вечером же, по обычаю, выпускницам будет дан бал.

— Mersi! — раздалось из колонны выпускниц. Белые пелеринки по знаку классной дамы опустились в плавном реверансе.

Ольга Александровна смотрела на все это уже отку-

да-то издали, расставалась и не грустила. А отданы лучшие силы и волнения души! Неужели напрасно? Неужели сегодняшним балом с музыкой и кавалерами-гимназистами все и окончится?

Концерт открылся вальсом Шопена. Розовая пышная дочка одного из текстильных тузов города села к роялю. Ученица Ольги Александровны. Многих дочек в городе Егорьевске учила музыке Ольга Александровна, а мало радости доставалось ей от этих уроков. «Господи! Что она вытворяет из Шопена, эта сдобная булка! Полно, не уйти ли мне?»

Но уже представлялся следующий номер. Две сестрицы, незатейливые и простенькие, обучавшиеся на попечительский счет дочки старого сторожа бардыгинской фабрики, пели из «Пиковой дамы»:

Мой миленький дружок,
Любезный пастушок...

«Вы мои славные,— думала Ольга Александровна, растроганно слушая,— ваше будущее я знаю, ясное, как ваше пение. Уедете обе в уезд учить в сельскую школу и не позабудете наши книги, наши клятвы».

— Стихи Фета «На заре ты ее не буди»,— объявила на смену певицам кокетливая девочка в локончиках.

«И твое будущее знаю,— думала Ольга Александровна о девочке в локончиках,— довольно скоро Филипп Иоганнович или другой помощник механика сделает тебе предложение...»

А на подмостках стояла исполнительница Фета. Темноволосая, бледнолицая, с упавшими вдоль тела руками и каким-то сумрачным светом в глазах. В зале среди пелеринок возникло движение. Ольга Александровна увидела, девочки торопливо и бегло оборачиваются к ней, посылают ей взгляды, и она схватывала в их взглядах участие и смятение и что-то чистое и ясное, что любила и лелеяла в них.

— Я не буду читать Фета,— громко, отчетливо послышалось со сцены.— Я буду читать про Ольгу Александровну, нашу учительницу.

...Прости, прости!
Благослови родную дочь
И с миром отпусти!

Бог весть, увидимся ли вновь,
Увы, надежды нет.
Прости и знай: твою любовь,
Последний твой завет
Я буду помнить глубоко
В далекой стороне...
Не плачу я, но не легко
С тобой расстаться мне!
О, видит бог!.. Но долг другой
И выше и трудней
Меня зовет... Прости родной!
Напрасных слез не лей!
Далек мой путь, тяжел мой путь,
Страшна судьба моя,
Но сталью я одела грудь...
Гордись — я дочь твоя!
Прости и ты, мой край родной,
Прости, несчастный край!
И ты... о город роковой,
Гнездо царей...

— Молчать! — Начальница вскочила с кресла, где сидела возле супруги городского головы. Взмахнула лорнетом, вся трясясь и топая: — Молчать! Не сметь! Вон со сцены! И вы, вы, вон сейчас же! — Она тыкала издали в сторону Ольги Александровны лорнетом.— Вон сейчас же, чтобы духу вашего не было в учебном заведении, вверенном мне! А ты! — кричала начальница, визжа и замахиваясь лорнетом на девочку на сцене.— Негодница! Кто тебя подучил? — И супруге: — Ради бога! Умоляю, не придавайте значения!

Среди пелеринок поднялся шум, вскрики. Классные дамы метались между рядами.

— Не сметь! Прекратить! Не сметь! Становитесь в пары!

Вызванный кем-то, появился швейцар в позументах, как в набат, зазвонил в колокольчик.

Бледная, страшно бледная девочка все стояла на подмостках, вытянув руки вдоль тела.

Ольга Александровна выбежала из зала. Набросила в учительской тальму на плечи, вырвалась на улицу, задыхаясь от счастья и любви к своим девочкам. Она едва удерживалась, чтобы не бежать по городу.

«Спасибо вам, девочки! Теперь я знаю, не зря здесь прожито время. Я счастлива, я ничего не боюсь, я молода, я верю: доброе не пропадет. Теперь спокойно в дорогу, скорее в дорогу!»

9

Но лишь в середине июля Михаил Александрович Сильвин встретил в городе Минусинске невесту и привез к себе в село Ермаковское.

Отъезд в Сибирь задержался. Перед отъездом надо было побывать в Подольске у матери товарища Михаила по Питеру, теперь соседа по ссылке. Кто сосед Михаила, почему его мать в Подольске — родина ее там или привели обстоятельства,— этого Ольга Александровна не знала. Сильвин чуть не в каждом письме писал: обязательно, всенепременно надо заехать! Ехать в Подольск надо было через Москву.

В те времена от Егорьевска до Москвы ехали через Воскресенск. До Воскресенска двадцать пять верст. Из Воскресенска в Коломну, а тогда уже в Москву. Одним ранним утром Ольга Александровна тронулась в путь. Паровоз свистел, выплевывал клубы белого пара, изо всех сил сновал шатунами, но вагончики тащились: плюх-плюх. Навек оставался позади уездный город Егорьевск, оставались соломенные деревеньки Лаптево, Комариха, Огрызково, Глуховское, где жили ткачи и прядильщики с егорьевских фабрик.

Железнодорожная ветка шла лесом. Хорошо ехать, глядеть по сторонам, прощаться со знакомыми местами. Вон растрепанные березки на белых ногах качают ветками, провожают. И она им в ответ: «Уезжаю, оставайтесь, живите здесь без меня». Или к самой дороге выступят дремучие ели, нагонят тень, сыростью, неуютом повеет из леса. Вдруг пестрая от ромашек поляна, а на ней стал в круг кудрявый орешник. «Как я любила осенью ходить по орехи, лазить в чаще, хрупать зелененькие, еще не очень твердые ядрышки!»

Ей вспомнился школьный концерт и ученица на сцене, с сумрачным светом в глазах. Это была нелюдимая, редко открывавшаяся девочка, казалось, какой-то огонь тайно сжигает ее и необычайная, драматическая ожидает судьба. Такие страстные и скрытные натуры, не дрогнув, идут за убеждения в тюрьму, на казнь.

Но долг другой
И выше и трудней
Меня зовет...

«Ведь это она о себе говорила, о своей, может быть, доле,— думала Ольга Александровна.— А я обыкновенная, еду в Сибирь, потому что люблю его, вот и все».

Ей представлялась тайга, глухая и темная, куда темнее и глуше дремучего ельника, мимо которого они проезжали железной дорогой из Егорьевска. Она воображала Саяны и неведомое село Ермаковское, и как они будут там жить с Михаилом и с крыльца их избы видны будут хмурые отроги Саян.

«Только не требуй от меня, милый, никаких особых поступков и подвигов. Я обыкновенная, люблю тебя, вот и все...»

Хорошо ехать в летний день и видеть из окна вагона то темный глубокий лес, то полосы ржи с синеющими васильковыми глазками и всем своим существом предчувствовать встречу, улыбаться втихомолку, ждать, мечтать.

Из Москвы в Подольск она поехала на другое утро. С весны из Подольска присылали один адрес. Летом стал адрес другой. «Городской парк, дача номер три». Ольга Александровна повторяла: «Городской парк, дача три. Городской парк...»

Она любила узнавать людей, но сейчас душа ее была поглощена ожиданием нового, так необыкновенно и круто изменившего всю ее жизнь, и она не думала об Ульяновых, к которым ехала, а думала о себе и о том, что через три дня — всего через три! — уезжает в Сибирь.

Поезд остановился. Подольск. Со своими мечтами она не заметила, много ли прошло времени. Вокзал кирпичного цвета, длинный и низкий, глядел множеством полукруглых окон через рельсы прямо в лес. По другую сторону вокзала зеленой деревянной улицей начинался Подольск. Три извозчика стояли на привокзальной маленькой площади. Все трое, завидев приехавшую с поездом даму, хлестнули лошаденок и резво подали экипажи к подъезду. Ольга Александровна села на первую попавшуюся пролетку. Пролетка затряслась сначала по булыжнику площади, потом мягко покатила немощеной улицей. Сразу было видно, это другой город, совсем не Егорьевск. Нет фабричных труб, не слышно фабричных гудков, не движутся толпы рабочих к воротам, за которыми безостановочно стучат станки.

Бревенчатые одноэтажные домики с деревянными кружевами наличников аккуратно выстроились вдоль улицы. Позади домиков огороды, овсяные и ржаные поля, неистовая зелень лугов. Где же центр? Центр дальше. Там по Большой Серпуховской улице днем и ночью идут обозы из Москвы на юг и с юга в Москву. Скачут тройки с купцами. Трубят, расчищая путь, на козлах трубачи. На Большой Серпуховской постоялые дворы с сотнями лошадей, трактиры, чайные, лавки, базары — вот где центр! Центр нам не нужен. Нам нужен Городской парк, дача три.

— Не извольте беспокоиться, доставлю!— бойко ответил извозчик в ватной шапке, несмотря на жару. Повернул своего рысака в боковую, кривую и пыльную улочку под громким названием Дворянская, пересекли крутой овраг с заросшими кустарником склонами, за оврагом на высоком берегу извилистой Пахры лес, тенистый, полный певчих птиц, белок, дятлов, кузнечиков, муравьиных куч и голубых колокольчиков.

— Городской парк, дача три. Прикажете ждать?

Извозчик оказался разбитным и бывалым. Про Ульяновых слышал.

— У нас не скроешься. Велик ли городишко, вся жизнь на глазах. Опять же к Ульяновым жандармы захаживают. Как посмотришь, жандармы-то больше над хорошими людьми наблюдение ведут.

— А причина в чем? — спросила Ольга Александровна, начиная догадываться, отчего в Подольске живет Мария Александровна Ульянова. Так и есть. Студент Дмитрий Ульянов выслан в Подольск. Вот отчего!

— Мамаша ихняя — сударыня обходительная, нешумливая, а люди говорят, все дети у ней по тюрьмам да ссылкам. Что ты будешь делать, какая судьба материнская, а?

Ольга Александровна не стала поддерживать рассуждений извозчика, расплатилась, назначила час, когда приезжать, чтобы успеть к вечернему московскому поезду, и через садик с посыпанной желтым песочком дорожкой, клумбой и кустами жасмина прошла на террасу дачи номер три. Пусто, никого не слыхать. Дверь в комнату открыта. Она перешагнула порог. Теперь в доме Ульяновых все любопытно было ей, по-особенному было ей любопытно. Один сын в сибирской ссылке, другой...

В комнате скромно и чисто, ни одной лишней вещи. Обеденный стол под накрахмаленной слепящей белизны скатертью. Висячая лампа над столом. Стенные часы с важным медленным маятником. Пейзаж, изображающий волны в северном море, где-то у чужих берегов. И пианино. Обычное. У нее в Егорьевске такое пианино. Нет, у нее не такое пианино. На этом барельеф Моцарта в профиль. С высоким покатым лбом, глядящий вдаль Моцарт.

«Как славно!» — подумала Ольга.

И увидела входящую в комнату женщину, пожилую, строго одетую в темное, с кружевной наколкой на белых волосах.

— Мы получили телеграмму и ждем вас. Здравствуйте, Оля!

— Здравствуйте,— ответила Ольга Александровна, не в силах оторвать от нее глаз. Что в этой хрупкой, маленькой женщине так притягивает с первого взгляда? В этой старой женщине. Разве она старая? Не знаю, нет, может быть. Красивая? Да, наверное, была очень красивой. Несутулая, прямая, изящная. Тонкое лицо. Все в ней изящно. Но не это же, не изящество ее поражает! Что же? Вдруг Ольга поняла — вот что! Волосы. Белые, как только выпавший снег. И тихие, с глубоко запрятанной печалью глаза. Что-то значительное и тревожащее было в ее облике.

— Садитесь, пожалуйста,— сказала она.— Анюта скоро выйдет. Анюта готовит посылку Володе. Моя посылка готова, а она собирает книги Владимиру Ильичу. Скоро три, в три часа мы обедаем. И Митя придет из больницы, Дмитрий Ильич. Садитесь.

Они сели к столу, друг против друга. Мария Александровна положила на край стола узкие руки и, поглаживая чистую, без морщинки скатерть, говорила:

— Владимир Ильич пишет, вы едете к Сильвину. Мы знаем его. Когда Володю арестовали в Петербурге в декабре тысяча восемьсот девяносто пятого, мы жили в Москве. Сильвин приехал к нам рассказать. Раньше приехала Надя, а за ней он. Не очень легко приезжать с печальной вестью, приятнее с радостной. Он много важного тогда нам сообщил. Мне кажется, он мужественный и добрый человек, берегите его.

У Ольги Александровны защипало в горле. Она

кашлянула в платочек. Удивительно белые волосы, как выпавший снег. И глаза. Улыбаются, тихие, а тревога в них остается...

— Сильвина арестовали позднее,— ровным голосом говорила Мария Александровна,— Тогда же, одновременно с ним, схватили очень многих рабочих. И нашу Надю арестовали тогда, Надежду Константиновну.

— Вы ее любите? — внезапно спросила Ольга Папперек. «Как нетактично, нелепо! — спохватилась она.— Эх ты, учительница!»

Но мать не удивилась.

— Мы все любим Володину жену. Вы увидите, как они подходят друг к другу. Как бы вам о Наде сказать... небудничная она. Не то, чтобы празднична или эффектна, нет, не то. Пожалуй, незаметная даже, не сразу заметная, но в ней ничего нет обыденного и мелкого... вы понимаете?

— Да, да!

— Такую и надо Володе жену. Он ведь сам человек совсем нешаблонный. Они очень сошлись и сдружились. Она и друг ему, и жена, и помощник. Володя очень ценит ее образованность. Действительно, такая умница, знающая. Взгляды у них общие. Я ей так благодарна, что она там, с Володей.

Мария Александровна задумалась, неторопливо разглаживая скатерть по краю стола. Ольга тоже молчала. «Что со мной будет? Что меня ждет?»

— Вы не волнуйтесь, его мать вас полюбит,— сказала Мария Александровна.

— Как вы поняли! — вся вспыхнула и смутилась Ольга Папперек.

— Родная моя, оттого что вы едете туда и увидите наших Володю и Надю, я уже всем сердцем чувствую вас как родную. Сердце понятливо. Понимаю, что все мысли ваши там, возле него... А я ясно так помню, входит Сильвин с той несчастливой вестью, тискает шапку в руке, не может начать говорить, большой такой, добрый! Он мешковато скроен, а душа у него щедрая...

Мать неторопливо поглаживала скатерть и говорила не о сыне Володе, а о Сильвине, его жизнерадостном и добром характере. Ольге Александровне хотелось вскочить, обнять ее, поцеловать ее узкие руки с длинными пальцами! Отчего у нее такие глаза?

— Скоро три,— сказала мать, поглядев на стенные часы.— К обеду они оба придут. Что-то Аня замешкалась.

Анна Ильинична между тем торопилась вовсю. Посылка, то есть книги и новые журналы для отправки Владимиру Ильичу, была собрана и давно готова, задерживало другое. Анна Ильинична писала в Шушенское письмо, не простое, а секретным способом. Это было кропотливым занятием. Еще во время пребывания брата в тюрьме она в совершенстве обучилась писанию таких писем, но все-таки получалось канительно и долго. Анна Ильинична писала о кредо. О том самом кредо, которое ей передала Калмыкова, когда Анна Ильинична приезжала в Петербург держать корректуру и проверять издание книги «Развитие капитализма в России». В тот приезд в Петербург она познакомилась с молодым печатником Прошкой. Совсем мало видела Прошку, но отчего-то запомнился. Пытливый, нетронутый. Для рабочего, пожалуй, слишком ребячливый. Правда, молодой еще совсем. Что-то в нем располагающее. Зря она оттолкнула его тогда на вокзале. Определенно она ошиблась. Что делать! Теперь не исправишь.

«Кредо» (она сама и дала листкам Кусковой наименование «Кредо») Анна Ильинична перечитала внимательно, когда вернулась домой.

Чем внимательнее вчитывалась Анна Ильинична в отпечатанные на ремингтоне листочки, тем беспокойнее и хуже становилось у нее на душе. Какое ничтожество мысли и трусость взглядов! Какая низость, ведь это измена!

Она помнила Кускову. Когда-то она казалась Анне Ильиничне неглупой и честной. Когда-то... Должно быть, с тех пор растеряно все. А было ли что и терять? Скорее, и не было ни убеждений, ни честности. Были поза, игра.

«Милый Володя,— писала в секретном письме Анна Ильинична,— сообщи мне, когда получишь «Кредо» Кусковой. Послала его тебе, чтобы ты сам разобрался, так ли оно опасно для дела рабочего класса, как мне представляется. Говорят, оно ходит среди молодежи. Но ведь оно внушает, что не надо бороться! И никто с ним не спорит.

Не знаю, надо спорить или, может быть, нет? Послала тебе это «Кредо» потому, что стараюсь, Володя, передать тебе все, что знаю о политической жизни...»

Она дописала. Да, да, важно, чтобы он об этом узнал! Важно, чтобы был в курсе всех крупных и мелких политических новостей!

Для этого письма она выбрала самую незаметную по содержанию и заглавию книгу. Какие-то экономические очерки. Разрешено цензурой. Если даже книжка попадет в дороге жандармам, кто обратит внимание на разрешенные цензурой экономические очерки? Когда едешь в Сибирь, к тому же невестой политического ссыльного, всякое может случиться, все может быть. Ни с того ни с сего тебя приглашают в жандармское управление, делают обыск, перетряхивают в чемодане каждую рубашку и кофточку, перелистывают каждую книжку. Экономические очерки? Дозволено цензурой? В сторону. Непосвященный не заметит значок на заглавном листе. Малюсенький знак. Владимир Ильич заметит. Значит, здесь, в этой книге, что-то надо искать. Второй значок скажет, на какой странице искать. Черточки — точки. Крошечные точки и черточки в буквах, и слово за словом Владимир Ильич там, в Шушенском, прочитает письмо.

— Ох, и нудное это занятие! — потягиваясь, сказала Анна Ильинична, окончив наконец черточки-точки, черточки-точки.

Мезонинчик, где она писала письмо, был жаркий от раскалившейся крыши, низкий. Человек даже среднего роста стукнулся бы о потолок, если бы забыл пригнуть голову.

Дмитрий Ильич был выше среднего роста и, входя в кабинет, как назывался у них мезонинчик с письменным столом, стулом и узкой кушеткой, здорово должен был нагибаться и потому старался сразу присесть на кушетку.

Больше всех похожий на мать, Дмитрий Ильич был красив. В свои двадцать пять лет он казался юношей задумчивым и мечтательным, мало приспособленным к практической жизни. Когда его арестовали за участие в московском «Союзе борьбы» мать не сразу поверила. «Ведь он еще мальчик!»

Саша еще был моложе. Но Саша рано уехал из дому, жил в Петербурге самостоятельной жизнью, а Митя все дома, все с мамой. Деликатный, домашний. И вдруг!.. Таганская тюрьма. «Государственный преступник» — написано было на двери камеры Дмитрия Ульянова.

Снова пришла нужда носить передачи в тюрьму. Носила мать передачи Александру, Анюте, Володе. Теперь младшему, Мите... После тюрьмы выслали в Подольск под гласный надзор. И мать переселилась в Подольск. Невеселой была зима 1898 года. Володя и Надя в Сибири. Марк, Анютин муж, опора семьи, любимый Марией Александровной, как сын, на службе в Москве, занят по горло. Она с Митей в Подольске.

Постоялые дворы, трактиры, купеческие тройки, круглые сутки скачущие по Большой Серпуховской, огороды, базары — как все чуждо в Подольске. Не привыкнуть. Они с Митей одни. И Анюта. Если матери трудно, всегда рядом Анюта...

— Готово. Можешь упаковывать, Митя, и тащить вниз,— сказала Анна Ильинична, показывая с довольным видом основательную охапку книг на полу.

— Письмо посылаешь? — полюбопытствовал брат. Он спрашивал, потому что знал: с оказией письмо посылается особенное.

— А найди,— засмеялась Анна Ильинична.

— Найду.

Дмитрий Ильич взялся рыться в книгах.

— Не стоит. Проищешь, пожалуй,— остановила сестра, давая ему экономические очерки.

Некоторое время он вглядывался в строчки.

— Для посторонних незаметно мое письмо? — спросила Анна Ильинична.

— Что ты! Идеальная конспирация.

Он опустился на колени упаковывать и завязывать книги шпагатом. Анна Ильинична присела возле на корточки.

— Мамочка с утра волновалась. И ночь, мне кажется, плохо спала,— сказала Анна Ильинична.

— О Володе скучает.

— Готовит им печенье, изюм, всякие сладости, а у самой такая горечь в лице. Мы привыкли, что мама силь-

ная, а как трудно достается ей ее сила! Если бы можно было взять на себя хоть половину...

— Анюта! — строго остановил младший брат, услыша ее сдавленный голос.

— Ничего. Не беспокойся.

Анна Ильинична поднялась и ушла на балкончик, узкий и маленький, даже стул не поставить. Можно только войти, протянуть руку и тронуть ветку клена, который растет рядом с домом. Анна Ильинична протянула руку и, не отрывая, обмахнула кленовой веткой лицо. Жалко маму. Всю жизнь то передачи в тюрьму, то посылки...

Скоро они спускались с Митей по крутой лестнице вниз, неся посылку, и с боем часов, ровно в три, явились в столовую. Стол был накрыт. Мария Александровна, стоя возле своего места, ожидала детей к обеду.

— Дочь, Анна Ильинична. Сын, Дмитрий Ильич,— представила мать.

Села, приглашая всех сесть.

«В этом доме чистота, точность, порядок»,— мелькнуло у Ольги.

«Здесь душевные люди, интересные, умные!» — думала она позже.

За обедом шел разговор о Сибири, о далекой дороге, предстоящей Ольге Папперек. Ульяновых не удивлял отъезд Ольги к жениху в Сибирь. Как же иначе? В порядке вещей. Брат и сестра наперебой говорили о Владимире Ильиче, которого Ольга Александровна узнает в Сибири.

— Помнишь, Анюта?

— Помнишь, Митя, когда тебя засадили в тюрьму, Володя в каждом письме из Шушенского диктовал, как надо тебе там жить.

— Как же, как же! Надо работать! Чем-то регулярно заниматься, не просто так читать, а по системе читать. Просто так читать — мало проку.

— Верно! Мамочка, а помнишь: соблюдает ли Митя диету в тюрьме? Занимается ли Митя гимнастикой? Помнишь, Митя, целую инструкцию Володя прислал, как делать гимнастику, бить земные поклоны, по пятидесяти поклонов, не меньше, да чтобы ног не сгибая, да чтоб рукой пол доставать... Володя замечательно выработал в себе дисциплину ума, тела, быта, работы! Мамочка, это у него от тебя.

Мать молчала. Сидела после обеда в качалке, протянув на колени руки, сомкнув губы, и молчала.

На прощание обняла Ольгу.

— Поезжайте, родная. Обнимите их там за меня.

Дмитрий Ильич отправился с Ольгой Александровной к поезду усадить гостью в вагон. После вокзала снова на службу, вести счетоводство у земского санитарного врача Вячеслава Александровича Левицкого.

Отъезжая, Ольга Александровна оглянулась, увидела Марию Александровну. Она стояла в калитке, освещенная заходящим солнцем, грустной улыбкой провожала ее.

10

Было первое августа. Скоро задует северный ветер, закружат над Саянами бури, ударят заморозки, дохнет холодом осень. Сейчас еще лето, последние летние дни. В лесу на некошеных полях еще можно изредка встретить заблудившиеся с лета золотые жарки или похожие на кошелечки сиреневые и розовые кукушкины сапожки. А марьин корень не встретишь. Почти в половину человеческого роста бордовый, с желтой, как солнце, сердцевиной роскошный сибирский цветок. Марьин корень зацветает во время половодья, когда идет коренная вода. Первое половодье на Енисее бывает весной. Летом, когда в горах тает снег, бурно, с бешеной скоростью помчится вниз снеговая — коренная вода, сильнее, чем весной, разольются от воды Енисей и притоки. В это второе половодье и зацветет марьин корень. Цветет пышно, долго. Но в августе уже не встретишь марьин корень.

...Признаки близкой осени все же улавливаются. Не тот лес. Поредел. Шумят под ногами упавшие раньше срока листья. Молнией перелетают с ветки на ветку бельчата-детеныши, руля рыжим хвостом. Студенее утренние туманы над Шушей. Реже цветы. В зеленой путанице березовых листьев вдруг увидишь желтую прядь...

На огороде Проминских с весны почти до самого снега работа. Огородом Проминские кормятся. Капуста своя, огурцы свои, картошка своя, лук свой. За лето насолят, насушат грибов. Отец с Леопольдом настреляют дичи. Ведь восемь человек садятся за стол. До ссылки

Проминский не имел огородного опыта. Заядлый горожанин, свое мастерство знал отлично, а землю не знал. Огородное дело Иван Лукич стал осваивать в Шушенском, изучая пособие, которое выписал Владимир Ильич из книжного склада Калмыковой. В пособии все расписано, когда какую справлять огородную работу. Сегодня полив репчатого лука и рыхление почвы. Леопольд с утра перетаскал на гряды ведер сорок воды, губы соленые стали от пота! Теперь вдвоем с отцом рыхлили почву. Леопольд в шляпе из лопухов, искусно прошитой ивовыми прутиками,— передался ему отцовский талант!

Отец был сегодня особенно как-то угрюм. И вчера. И давно уж замечает Леопольд, что-то с ним неладное творится. Заболел? Только не это! Чем старше растет Леопольд, больше читает книг, которые надо нести от Владимира Ильича под рубахой, прячась от приезжего унтера, тем дороже и ближе Леопольду отец. Мама, устав от стирки, стряпни и всяких бессменных работ по огороду и дому, корила отца:

— Жили бы в Лодзи! Несладко, а дома. Забастовки твои до чего довели! Вся семья в ссылке.

— По своей охоте семью в Сибирь привезла. Уж очень ты у меня ревнивая, женка!

— Что? Что? Иисусе Христе, матка боска! Что этот человек говорит! Как язык на такие слова поворачивается! А лучший мастер был в Лодзи по шляпам.

В общем-то, мать, хоть и ворчала, гордилась отцом. Не только тем, что мастер по шляпам.

Вот был случай в тюрьме. Революционеров-поляков перегоняли из Варшавы на поселение в разные северные местности. В Москве в пересыльной Бутырской тюрьме отец попал в одну камеру с молодыми марксистами из петербургского Союза борьбы. Тоже гнали в Сибирь. Один, по происхождению полуполяк, умный, красивый, Глеб Кржижановский, был весельчаком, вся камера покатывалась со смеху, когда он заводил свои шутки. Но когда Ян Проминский запевал польские песни, Кржижановский смолкал. Сядет на койку, обхватит колено руками и слушает, покачиваясь из стороны в сторону. Однажды схватил карандаш.

— Пойте, Ян, пойте!

Отец Леопольда пел, уносясь сердцем в ненаглядную горькую Польшу, а Глеб Кржижановский писал, сро-

шил черные кудри, морщил улыбкой губы, нахмуривал лоб и писал. Переводил на русский язык польские революционные песни.

Вихри враждебные веют над нами,
Темные силы нас злобно гнетут,
В бой роковой мы вступили с врагами,
Нас еще судьбы безвестные ждут.

Не шутки: отец в тюрьме на своем языке пел эти песни, а теперь русские революционеры на воле по-русски поют:

На бой кровавый,
Святой и правый,
Марш, марш вперед,
Рабочий народ!

И мать, хоть и жаловалась перед иконой Иисусу Христу на трудную жизнь, а любила отца. Каков есть, таким и любила. «На бой кровавый, святой и правый...»

— Леопольд, куда думой залетел, хоть из пушки пали?

Отец воткнул тяпку в землю, разогнулся.

Леопольд тоже воткнул тяпку в землю и стал.

— Гляди, татусь, сколько луку обрыхлили! Теперь еще толще нальются луковки.

— Так-то так...

У отца коричневое от солнца и ветра лицо. Узкое, бритое, с длинными усами. Морщины на бритых щеках видны глубже и резче.

— Так-то так...— Помолчал и еще: — Так-то так.

— Татусь, о чем ты?

— Осенью кончится ссылка, сынок. Можно бы домой подыматься. Луку в плетушки навязали бы, пригодился бы дома.

Они редко говорили об этом. Боялись верить, что осенью кончается ссылка. Что скоро домой.

— Татусь, о чем ты все словно горюешь? Ведь недолго осталось.

— Э-э! — сказал отец.

Поплевал на ладони и принялся рыхлить землю. Темный, лопатки торчат. Отчего он придавленный, будто гиря на нем?

А из проулка звонко неслось:

— Дядя Ян! Тетенька Текла! Леопольд, Леопольд!

По проулку бежала Паша. В голубом сарафане, в платке с голубыми каемками, бежала, едва касаясь ногами земли, придерживая на груди перекинутую через плечо косу пшеничного цвета.

— Дядя Ян! Леопольд! Угадайте, кто к нам в гости приехал?

На ней сарафан до травы. Девичья фигурка робко рисуется под голубым сарафаном. Леопольд видит Пашу каждый день, синеглазую, загорелую, с пшеничной косой. И сердце ухает, как во сне, когда летишь высоко-высоко...

— Незабудочка паненка Паша,— улыбнулся отец.

Отец редко бывает ласков, татусь, хороший мой человек!

— Незабудочка! — Паша фыркнула в рукав.— Уж и скажете, дядя Ян. А я рук от картошки никак не отмою. Ну, про гостей угадали? Не угадать нипочем. Владимир Ильич посылку схватил да как бегом к себе в кабинет! Затворился. Что уже в письмах там ему написали? Выходит из кабинета довольный, ладони потирает, на что-то вроде сердит, а вроде и рад. Надежде Константиновне подмаргивает, что, мол, новости важные привезли из России. К Владимиру Ильичу товарищ приехал, к Надежде Константиновне подруга. Ничего себе, аккуратненькая. А наша видней. Наша, как глянет, всю тебя насквозь и увидела. Улыбка у нашей больно приятная. А еще гостинцев нам привезли. Посылку из Подольска, от бабушки. Слыхали, в Подольске у нас еще бабушка есть, его мать, заботливая, обо всех позаботилась, никого не забыла и ваших ребятишек, дяденька Ян, не забыла. Меня за вами прислали. В гости зовут. А еще, дядя Ян, Владимир Ильич велел сказать, что по делу.

— По делу? Какому же? Общее или... Сейчас, сей момент!

Отец воткнул в борозду тяпку и крупным шагом заторопился в избу вымыть под рукомойником руки.

— Беспокойный какой-то он,— заметила Паша.

Беспокойный. Наверное, все об осени думает. Паша не знает, что осенью кончится ссылка. У Леопольда впервые мелькнуло: «Паша! Ведь, может быть, скоро...»

Эта мысль оглушила его.

— Ты так, как есть, пойдем Леопольд. И так хорошо. В Шуше от огорода отмоешься,— говорила Паша,—

ой, нет. Лучше дома умойся да ту рубаху надень, для гостей.

«Та» рубаха полотняная, воротник у «той» рубахи вышит красным и черным крестом — Пашина вышивка, в зимние вечера, когда нечего делать. Леопольд в «той» рубахе светлый, праздничный, брови разгладятся, станут не упрямыми. И вид негордый.

Паша болтала:

— Я и домой уж сбегала, от Марии Александровны из Подольска своим конфеты к чаю снесла. Еще к дяде Оскару зайдем, кликнуть велели. Не ушел бы на охоту, незадача-то будет! Что ему не уйти, того и гляди что уйдет. Холостой. Холостому-то много ли надо? Картошку на зиму запас и гуляй.

От ее болтовни Леопольд делался беззаботным и легким. Все на свете понятно и просто. Знаете что! Пока он, конечно, ничего ей не скажет, но... Татусь добрый человек. Татусь, ты добрый? И матка. И если мы отсюда уедем... татусь, все равно у нас большая семья...

Тут он увидел вдали человека. Человек был в клетчатом пиджаке и шел по улице шаткой походкой, видимо не очень трезв.

— Учитель! — узнал Леопольд. На душе у него потемнело. Учитель не любил Леопольда. Леопольд презирал его и боялся. Боялся, не сдержится, наделает вреда. И всячески старался избегать этого невзрачного и щеголеватого мужчину, у которого толстый нос разрисован лиловыми жилками.

Свернуть бы с дороги, да некуда. Загребая сапогами пыль, учитель в клетчатом пиджаке шел серединой улицы прямо на них.

— Чего не здороваешься?

— Здравствуйте.

Леопольд не сдержался. Вложил в свое «здравствуйте» насмешку, надменность, все свое презрение к учителю.

— Поздоровался! А волчонок волчонком. Православные крестьяне в поте лица... а эти, как вас, социалисты, вы кто? Богопротивники вы! Ваша проповедь, чтоб все по команде, под одну крышу всех согнать, чтобы равенство, то есть. А человек создан разно, неравно...

— Ничего вы не знаете про социализм. Слушать стыдно!

— Ты того стыдись, что социалисты душу народную губят. А все полячишки мутят. Эй, ты, полячишка, потише. Лишку вас здесь у нас развелось.

У Паши все внутри застонало от помертвелого лица Леопольда. Он без рассудка сейчас. Беды бы не сделалось!

— Пойдем, пойдем! — заторопила Паша.— Леопольдушка!

Она схватила его руку и тащила, лепеча что-то без толку, лишь бы не дать говорить учителю. Учителя от водки качнуло.

— Леопольдушка, видишь, он пьяный!

Паша почувствовала, какой тяжелой стала у Леопольда рука, шершавая от огородной работы.

— Леопольд, не убивайся. Позабудь про него!

Он выдернул руку. Отвернулся.

«Справлюсь сам. Справлюсь. Сейчас. Погодите». Он научился в одиночку сносить оскорбления. «Эй ты, полячишка!» Нет, нет, нет! Никогда не забуду! Но он научился терпеть и скрывать. Жалел отца. Щадил самолюбие отца. Отец не знал, как над ним издевается учитель. Или приезжий унтер. Им смешно, что у него прыгают губы. Он не может с собой совладать, у него прыгают губы...

— Паша, ты знаешь, кто был муж у Елизаветы Васильевны?

— Ой, да к чему ты о нем?

Она испугалась. С ума своротил? К чему он о нем? К тому, Паша, что Леопольду надо вспомнить — и скорее, скорее! — поручика Константина Игнатьевича Крупского.

Представить, что поручик Крупский живой. Представить, что поручик Крупский приезжает в Польшу служить. Его не насильно туда послали. Он сам, когда окончил Военно-юридическую академию, захотел, чтобы его послали туда. Тогда русскому офицеру нетрудно было выслужиться в Польше: не так давно расстреляли польское восстание против императора, самодержца, царя польского, великого князя финляндского и прочая и прочая... Ого, как взнуздали после восстания Польшу! Некоторые думали, поручик Константин Игнатьевич Крупский приехал в Польшу делать карьеру, дослужиться до генеральского чина.

Из семьи Ульяновых Леопольд долго влюблен был в одного Владимира Ильича. Вся хорошая семья, но влюблен он был в одного. Он вспыхивал, когда Владимир Ильич обращался к нему с самым обычным вопросом. Мечтал быть умным, блестящим, чтобы Владимир Ильич удивился: вот каков Леопольд Проминский! Показать безумную храбрость, чтобы Владимир Ильич знал, что Леопольд Проминский надежен. Он мечтал когда-нибудь каким-нибудь образом спасти Владимира Ильича от опасности. Могли прискакать из уезда жандармы. Был в мае обыск? Еще может быть. С полки пошвырены книги. Валяются на полу раскрытые книги.

Никто не слышит, шуршит тальник над Шушей. Владимир Ильич сует Леопольду секретные рукописи. Надо закопать. Леопольд крадется. Что так страшно стучит в висках, будто маятник взбесился и колотит, колотит?.. Это кровь бьется в висках. А это что? Бегут. Топот сапог. Кто-то ломится сквозь тальник. Шашка жикнула над головой. Она жикает, когда ее заносят. «Не надо! Не рубите меня. Я не хочу умирать!» — «Тогда признавайся!» — «Ни за что!»

Раньше Леопольд посвящал свои фантазии Владимиру Ильичу. Теперь делил между ним и Елизаветой Васильевной. Совсем недавно он опасался ее насмешливого языка, готовый на каждую насмешку обидеться. Совсем недавно. Теперь... Его мальчишеская преданность началась с того, что однажды она рассказала ему о себе молодой. И о поручике Крупском.

У них была крохотная дочка Надя, когда он приехал служить начальником в один польский уезд. Что касается Нади, девочка немного соображала тогда. А жена, Елизавета Васильевна, положила руки на плечи мужу и, спокойно глядя в лицо, сказала:

— Знай, что я всегда вместе с тобой.

Он снял с плеча ее руку, поцеловал и поклонился церемонным поклоном.

— Скажите пожалуйста,— засмеялась она,— я не знала, что вышла замуж за рыцаря из романов Сенкевича.

— У твоего рыцаря немного другие взгляды,— ответил он.

В городе, куда его прислали служить, подлые дела устраивали царские правители. Время от времени рано утром на городской площади раздавался барабанный бой, резкий, жесткий, поспешный. Люди бежали на площадь. Мужчины, женщины, дети, лавочники, служители костела все бежали, несмотря на раннее утро. На площадь приводили старых евреев. Они упирались. Их тащили, вязали за спины руки. Барабаны били... Под барабанный бой у евреев остригали пейсы.

Однажды в разгар процедуры на площадь прискакал начальник уезда поручик Крупский. Выхватив на скаку револьвер, выпалил в воздух.

— Барабаны, молчать! Кру-гом марш! Долой с площади! И чтоб никогда!

Может быть, это происходило не так. Может быть, он не стрелял. Леопольду хотелось, чтобы он стрелял. Леопольду нравилось, что в гневе он был бешен и крут и прискакал на коне. Конь кружил под ним, вставал на дыбы, мел булыжник площади длинным хвостом.

Немного попадалось таких справедливых начальников в царской Польше. Он без пощады выгонял взяточников из контор и присутственных мест. Не терпел, когда царские чиновники унижали поляков. Однажды чиновники распорядились не огораживать польские кладбища. Свиньи стадами бродили по ним и разрывали могилы.

Старики слали проклятия на головы обидчиков, женщины плакали. Начальство — никакого внимания. Тут-то поручик Крупский и вмешался: прекратить безобразие, огородить кладбища!

Поляки заговорили: какой-то особенный этот русский начальник, не как другие, справедливый! Нас, поляков, за людей считает, не дает в обиду.

Но правительство судило иначе.

Много грехов против русского правительства накопилось у поручика Крупского.

Чиновники говорили: «Не обязательно знать польский язык. Пусть они знают русский».— «Если ты приехал в Польшу служить, обязательно!» — отвечал Крупский.

Константин Игнатьевич знал польский язык превосходно. Велел учить польскому дочь. А как танцевал мазурку! Лучше поляков.

В этом месте рассказа Владимир Ильич вставил:

— Лишку хватили, Елизавета Васильевна, ей-ей! Не хуже поляков, и то хорошо.

Елизавета Васильевна и не подумала уступить.

— Мне ли не знать, как он мазурку танцевал! Дама-то кто была у него?

Тут, конечно, Владимиру Ильичу пришлось сдаться. Против такого аргумента не поспоришь.

Недолго позволили Крупскому служить в Польше. Обвинили: ведет вредную для русского правительства линию. Крупского отдали под суд. Десять лет разбирались в суде его преступления. Перед самой смертью только был оправдан сенатом...

Между тем Паша, забегавшая по дороге за Энгбергом, которого Владимир Ильич велел кликнуть, уже тараторила снова:

— Леопольд, Леопольд, дядя Оскар бреется, галстук налаживает, ждать не велел, сам, однако, придет. Ладно, что дома! Утро охотился, полную сумку уток набил, хвалится, хвалится, а мне не в диковинку, я и лебедей видывала. А кто к нам приехал, Леопольд, и не спросишь, больно уж гордый, слова не вымолвишь лишнего. Сильвин к нам приехал, вот кто!

— Сильвин? Что же ты молчишь!

И они задами помчались к улочке, где над Шушей был дом с двумя колоннами. На крылечке Женька встретила их радостным лаем. Еще Минька дожидался их на крыльце, соседского поселенца мальчонка лет шести, бескровный и хиленький, как увядающий цветок, которому недолго оставалось качаться от ветра на тоненьком стебле, недолго. Облизывал вяземский пряник, жалея куснуть.

— Опоздали! Все гостинцы раздарены. Мне пряник дали да карандаши разноцветные, а вам шиш.

— Врешь, однако,— хладнокровно ответила Паша.

Они вбежали в кухню. Из кухни в столовую комнату. И там Леопольд очутился в крепких объятиях Сильвина.

— Здравствуй, здравствуй, дружок! Ба! Да ты вырос, на пол-аршина прибавился. А мускулы где? А с Энгельсом справился? Владимир Ильич в тот раз

снабдил тебя Энгельсом, осилил? А мускулов мало. Мало.

И одновременно хорошенькой своей, любопытной ко всему и смущенной жене:

— Заметь, Ольгуша, этот юноша в нашу первую встречу при всем честном народе объявил, что ты ко мне приезжаешь. Интуиция ему подсказала, а мне что оставалось? Срочно слать тебе объяснение.

— Я и не подозревала, однако, что вы сыграли такую важную роль в моей судьбе,— улыбнулась она.

— Слушайте! Слушайте! — завопил Сильвин.— Она уже «однако» усвоила. Она уже сибирячкой успела заделаться!

— Пока сибирской зимы не понюхала, до тех пор не признаем сибирячкой,— заявил Владимир Ильич.— Вот и Иван Лукич!

Вошел отец. Леопольд удивился: никого не заметив, отец шагнул к Владимиру Ильичу.

— Владимир Ильич, не ответ ли прислали?

Боязнь и надежда были во взгляде отца. Владимир Ильич смешался.

— Дьявольская медленность почты! Или начальство медлит. Так или иначе, вопрос этот решится, потерпите елико возможно, Иван Лукич, а? Они ответят на письмо так или иначе. Непременно ответят!

Отец улыбнулся виновато и весь сразу потух. Увидел Сильвиных. Поклонился. Погладил ладонью макушку.

— Важное дело, Владимир Ильич?

— Чрезвычайно важное дело! До крайности важное. А что касается того, подождем еще немного, Иван Лукич...

Они ушли к нему в комнату, отец, Сильвин и Надежда Константиновна.

— А мы, непартийная публика, идемте на лоно природы,— позвала Елизавета Васильевна, уводя гостью в огород показывать гряды.

Леопольд стоял у окна, глядел на зеленый лужок. Сюда, в проулок, мало заезжало телег и возов, невытоптанный лужок зеленел. Что за письмо? О чем? Куда они его посылали? Чего отец ждет? Ждет и боится. Почему дома молчит о письме? Даже с ним, старшим сыном, не делится. Хмурый, что у него на душе?

11

Наверное, Леопольд долго простоял бы так у окна, раздумывая о неизвестном письме, если бы не Оскар Энгберг. Энгберг явился слегка смущенный опозданием, но тщательно выбритый, в наглаженной чистой рубашке и галстуке. Все у него аккуратно. И одежда и внешность аккуратная. Светло-русые волосы с левым пробором, будто линеечкой вымеренным. Ровные усики. Выбритый крутой подбородок.

И тут же из комнаты появился Владимир Ильич.

— Куда вы пропали, Оскар? Мы все ждем-дожидаемся.

— Ну и охота сегодня, Владимир Ильич! Перово озеро все живое от птицы...— принялся расписывать Энгберг, но, заметив сдержанность Владимира Ильича, догадался, что сейчас не до уток, смолк и отчего-то на цыпочках прошел в кабинет.

— Леопольд,— внимательно на него поглядев, сказал Владимир Ильич,— и тебе сугубо полезно это узнать. Давайте не волынить, товарищи!

Леопольд самому себе не решался признаться, что, стоя у окошка и рассматривая знакомую-презнакомую лужайку, думал не только о письме. Гнал прочь обиду, а она комом застряла в горле. Перед носом захлопнули дверь! Разве он, Леопольд, так уж совсем «непартийная публика»? А кто, скажите, недавно весь «Коммунистический Манифест» прочитал? Насквозь, от корки до корки! Выучил наизусть. Кто раньше «Манифест» прочитал, я или Энгберг? Ладно, он был рабочим, путиловцем, так я еще не успел стать рабочим, еще буду. Разве только он, Энгберг, хочет быть революционером? Я тоже хочу... Не мальчишка я!

Леопольд вспыхнул как спичка от слов Владимира Ильича: «...тебе сугубо полезно». Вмиг в нем ожил мальчишка. Он вошел не на цыпочках, как Оскар Энгберг, желавший показать, что раскаивается, что ухлопал целое утро на уток, нет, Леопольд вошел не так, он вскочил в комнату, будто спасаясь от погони, и шмыг, и спрятался за книжную полку, в глубине души опасаясь, как бы Владимир Ильич не опомнился: «Стой, стой, любезный, рано тебе!»

Надежда Константиновна улыбнулась его суматошности.

— Правильно Леопольда позвали. В Петербурге в рабочих кружках у нас еще моложе товарищи были.

— Когда я на Путиловском работал...— начал Энгберг.

Он постоянно по всякому поводу любил похвастать, как работал в Петербурге на Путиловском заводе и Владимир Ильич под именем Николая Петровича приходил за Нарвскую заставу объяснять им политику и как его уважали рабочие. А теперь судьба свела в Шушенском. Энгберг позже Владимира Ильича попал в ссылку. Потом уже через год они и Надежду Константиновну в Шушенском дождались, и Оскар Энгберг выковал им из медных пятаков по кольцу для венчания. Об этом Энгберг мог рассказывать сколько хотите, но сегодня с рассказами ему не везло.

— Товарищи, к делу! — прервал Владимир Ильич, приближаясь к деревянной конторке, за которой обычно стоя писал. Нигде не видывал Леопольд такой конторки с покатой, как у парты, крышкой, обнесенной по спинке перильцами. К перильцам поставлена лампа. Эту лампу с зеленым абажуром Надежда Константиновна привезла из Москвы Владимиру Ильичу в подарок, когда приехала в ссылку. В вагоне везла, пароходом везла, пятьдесят с лишним верст тряслась на телеге от Минусинска до Шушенского, держа в руках лампу. Уберегла, не разбила. Зимними вечерами рано гаснут в Шушенском окна, только светит до поздней ночи зеленый огонек у Ульяновых.

В комнате Владимира Ильича Леопольда особенно привлекала книжная полка. Правда, свободного доступа к ней ему нет, но попросишь, что надо, пожалуйста. Иногда Владимир Ильич сам выберет книгу и даст: «Сугубо важно прочесть. Советую».

Из бокового окна видно Шушу. Сделав излучину, она протекает возле самого дома. За Шушей — луга, давно убранные и снова зеленые и яркие от осенней отавы. За лугами Енисей и синие ленты проток. Вдалеке величавые громады Саян. Наползет фиолетово-сизая туча, накроет крышей хребет, раскинет рваные лохмотья по склонам, нагонит сумрак, вдруг... примчится ветер, заклубит, поднимет тучу, понесет, свалит по ту сторону

гор, и белый-белый снег сверкнет на вершине, брызнет светом, и все вокруг станет радостно, чисто, и солнце веселее засветит.

«Когда уедем домой, буду помнить всегда эту комнату, конторку, книги, буду помнить окно Владимира Ильича, боковое окно, из которого видны Саяны. И Шушу, и остров... Но что это я, вот так дурак, пропустил, о чем говорит Владимир Ильич!»

Он ничего не пропустил. Владимир Ильич только успел вынуть из конторки книгу и, листая в ней страницы, сказал:

— Товарищи, очень хорошо, что мы собрались. Я воспользовался приездом Михаила Александровича и позвал вас обсудить одно дело. Весьма важное дело! В этом послании содержатся чрезвычайно интересные для нас вещи и сведения.

«В послании? Где же оно?» — удивился Леопольд, но, конечно, не стал спрашивать, а внимательно сдвинул брови и усердно стал слушать.

— Я не успел точно набросать на бумагу содержание присланного, изложу основные мысли,— говорит Владимир Ильич, приводя все больше Леопольда в волнение.

Ясно, здесь была конспирация. Леопольд был захвачен. Так странно было то, что он узнавал, о чем говорил Владимир Ильич.

То, что Леопольд узнавал, было кредо, привезенное Анной Ильиничной из Петербурга в Подольск, а потом присланное в шифрованном письме из Подольска в Шушенское.

— Подведем итоги. Они против рабочей политической партии. Они против борьбы за политическую свободу рабочего класса. Они не верят в революцию. Не верят, что пролетариат способен взять власть в свои руки. Не верят в социалистическое общество. Итак?

Владимир Ильич захлопнул книжку, которую держал раскрытой, пока излагал содержание кредо. Положил на конторку. Поднял плечи. Всунул руки в карманы. Остро и холодно блеснули глаза. Леопольд никогда не видел Владимира Ильича таким. Ледяным, сдержанным, гневным.

Все сильнее забирало Леопольда волнение, но он не смог сообразить, что делать, как «им» отвечать. «Они»

на свободе, а мы в ссылке. Леопольд в беспокойстве ожидал, что скажут другие. Как решат? Кто заговорит первым? Заговорил бы отец! Нет, отец молчаливый и, наверное, тоже не знает, как об этом судить.

Но отец-то и знал. Сказал кратко. Он всегда говорил понятно и кратко.

— На нет хотят рабочее движение свести,— сказал отец.

— Вот именно! — воскликнул Владимир Ильич. Казалось, он ждал услышать эти слова, но не был уверен и теперь, услышав, ободрился: — Вот именно! Чего им надо? Им надо отнять у рабочего движения революционную цель.

— Черта лысого! — сказал Оскар Энгберг.— Извиняюсь, конечно.

Энгберг — финн и не так уж досконально усвоил русский язык, что же касается крепких словечек, Энгберг знал их по-фински и по-русски достаточно.

«Извиняюсь, конечно!» — слышалось довольно часто, пока Энгберг рассказывал, как полиция разгоняла на Путиловском тайные сходки; мастера рыскали по цехам, вынюхивали, нет ли где разговоров про политику; одного такого сыщика-доброхота путиловцы сунули в холодный ушат остудиться, за то и полетел Оскар Энгберг в Сибирь. А все равно, черта лысого, никто не выколотит из нас революционную цель!

— А они как раз и выколачивают,— говорил Владимир Ильич.— И начисто. Чтобы ничего не осталось, ни капли революционной идеи. Идите на поклон к буржуазии. Господа капиталисты, смилуйтесь, подсобите елико возможно рабочему классу! Вот они чего добиваются: чтобы рабочие забыли о политике и революционной борьбе. Нет, мы не согласны! Мы не хотим, не можем, не будем молчать, нет и нет! Не будем, хотя мы и в ссылке.

Владимир Ильич сердито говорил, прохаживаясь по комнате взад и вперед.

«Сейчас придумает, что надо делать,— мелькнуло у Леопольда.— Зашагал, значит, скоро придумает».

Никто не велел Леопольду молчать, о чем был разговор в комнате Владимира Ильича. Он узнал тайну. Тайну надо хранить, понятно без слов. Ужасно хотелось хоть чуть намекнуть Паше о «Кредо», в котором «они»

(Леопольд так до конца и не понял, какие эти «они») призывают рабочих не бороться, а ладить с капиталистами. Но намекнуть даже нельзя.

Потом был обед, и Паша с Елизаветой Васильевной кормили всю честную компанию молочной лапшой, свежим картофелем и малосольными огурцами, такими крепенькими, вкусными, только хруст стоял за столом. Блюдо вмиг опустело, и Елизавета Васильевна сказала:

— Голубчики мои, можно подумать, вы с молотьбы. Паша, не сходить ли за добавлением в погреб?

— Да здравствует гостеприимство Елизаветы Васильевны, известное нам с петербургских времен! — громогласно объявил Сильвин.

— Да уж и там, бывало, договоритесь до голоду.

А Владимир Ильич с задорной искрой в глазах:

— Уважаемые гости, предлагаю после обеда совершить прогулку на луг.

«Конспирация! — в восторге понял Леопольд.— Выдержка! А?»

— Вам гулять, а мне с посудой управляться,— сказала Паша, таща со стола ворох тарелок на кухню.

— Ну уж нет! Ну уж нет! — в один голос постановили Надежда Константиновна с Ольгой Александровной. Надели фартуки, Леопольд подвязался тряпкой. Оскар Энгберг засучил рукава выглаженной парадной рубашки — в полчаса убрались, посуда чистехонькая стояла на полке.

— Миром-то хорошо,— сказала Паша.

И все со спокойной совестью отправились по мостику через Шушу на луг.

Елизавета Васильевна одна оставалась дома с рассказами Чехова, которые читала со вкусом, не торопясь, растягивая удовольствие.

— Бабушка, я с тобой нынче не буду, я с ними на луг пойду,— сказал Минька, зажав в кулаке обмусоленный вяземский пряник.

— Ступай, детка.

— Завтра опять к вам приду.

— Приходи.

«Голубенькая моя травинка»,— грустно подумала Елизавета Васильевна, глядя на его прозрачное личико и рахитичный живот.

Луг зеленый, просторный.

— Сюда, сю-да, сю-у-у-да-а! — кричал Владимир Ильич, раньше всех очутившийся в глубине луга у огромных зародов, узких и длинных кладей свежего сена, выложенных поверху ветками, вроде крыши от ветра. Запах здесь у зародов стоит сенной, крепкий, кружащий голову, глазам небесная открывается ширь, а Саяны кажутся близкими, сияют снегами.

— Сю-у-да! — звал Владимир Ильич.

Если Владимир Ильич веселился, так уж веселился вовсю, всех заражал своим смехом и радостью. Чинных праздников Ульяновы не признавали. Праздник, значит, прогулки верст за десять в леса или на луга, где можно нарвать охапки цветов, или игра в городки, когда чешутся руки одним ударом выбить из города фигуры, или катание на лодке, или пение песен и полная, полная радость, чтобы никто в стороне не остался, чтобы всех захватило и закружило.

Паша и Леопольд примчались первыми на зов. Крупными скачками подбежал длинноногий Оскар Энгберг и встал, любопытно оглядываясь и приглаживая вздыбленные волосы. Последним притрусил Минька.

Владимир Ильич без пиджака, пиджак брошен в траву, с отлетевшим на плечо галстуком, поднял сухую ветку:

— Будем петь. Ян, дирижирую. Товарищ Ян, будем петь!

Иван Лукич откашлялся. Оттянул на шее воротник и запел. Невеселую песню запел.

Слезами залит мир безбрежный,

выводил глуховатый, низкий голос Проминского-отца.

Вся наша жизнь — тяжелый труд,
Но день настанет неизбежный,
Неумолимо грозный суд.

Паша вытянулась, зажала на груди косу в руке, жадно ловила слова, шевеля губами. Наверное, сердце колотится у нее под рукой. Леопольд чувствовал, что заплачет от этой песни на лугу, где они одни возле темных молчаливых зародов да Саяны, громадные, вечные, в снеговых ярких шапках.

Лейся вдаль, наш напев! Мчись кругом!
Над миром наше знамя реет...

«Сейчас заплачу»,— чувствовал Леопольд.

А отец все пел, пел и вел за собой хор и эти огненные грозовые слова:

Скорей, друзья! Идем все вместе,
Рука с рукой, и мысль одна!..

«Буду революционером,— думал Леопольд.— С сегодняшнего дня, навсегда! Владимир Ильич, татусь, обещаю!»

Песня спелась. Стало тихо. Маленькая Ольга Александровна Сильвина, держа мужа за рукав, глядя на него снизу верх, возбужденно говорила:

— Спасибо, что я приехала к вам сюда! Какие вы... Не думала я, что вы такие.

— Товарищи, споем еще! — звал Владимир Ильич. Он был весел и счастлив, у него горели глаза.— Товарищи, поглядите, как мы собрались. Проминские — поляки. Оскар — финн. Мы — русские. Вы — украинка, Ольга Александровна.

— А я? — спросил Минька.

— А ты — латыш, наш маленький товарищ Минька. Настоящий интернационал у нас здесь собрался. Давайте петь еще!

Он первым начал:

Дружно, товарищи, в ногу!
Духом окрепнув в борьбе...

Все с какой-то особой охотой подхватили зовущую песню:

В царство свободы дорогу
Грудью проложим себе.

«Товарищ» Минька тоже пел, топая и маршируя на месте, размахивая руками в такт песни, выводил, отставал, торопился:

Гру-у-дью про-оло-жим...

Уехали Сильвины поздно. Давно вернулось стадо. Не слышно дзиньканья подойников в хлевах и бабьих голо-

сов у колодцев, по дворам угомонилась скотина. Остыла оранжевая заря. Потемнели и дальше отодвинулись горы. Пополз от проток молочный туман, встал стеной, загородил от Шушенского луг.

— Итак,— прощаясь с Сильвиным, сказал Владимир Ильич,— в назначенное время у вас в Ермаковском празднуем день рождения Оленьки Лепешинской. Пусть пекут именинный пирог.

Ямщик перебрал в руках вожжи. Жеребец выгнул шею. Бубенчики колыхнулись под дугой и зазвенели громко и дружно и, уходя дальше и дальше, где-то на окраине Шушенского постепенно утихли.

— Совсем ночь,— сказала Надежда Константиновна.

Они остались вдвоем, сидели в беседке. Владимир Ильич соорудил эту беседку из прутьев, недалеко от крыльца, во дворе. Надежда Константиновна с матерью насадили хмель. Хмель разросся, увил беседку. Днями здесь было прохладно и зелено, как на дне морском, а сейчас, ночью, сквозь кудрявые ветви смотрели звезды. Полно звезд августовское небо!

— Видишь Большую Медведицу? — сказала Надежда Константиновна.— Ковш из семи звезд. Когда я была маленькой, отец спросил: видишь Большую Медведицу? У отца была сказка про Большую Медведицу. Она мать, а все остальные звезды — дети. Мать пошлет какую-нибудь свою звездочку проведать Землю. Как там живут на Земле, не очень ли скверно живут на Земле? Видишь, летит проведать...

— Неважно пока живут на Земле,— усмехнулся Владимир Ильич.

— Еще звезда пролетела,— сказала Надежда Константиновна,— августовские звезды падучие.

— Мне запомнился в детстве один звездопад,— сказал Владимир Ильич,— наверное, тоже было в августе. Отчего-то мы поздно всей семьей были на Волге. Возвращались с парохода, очевидно, с прогулки. Отец нес меня на руках. И мама шла возле. Я обнимал отца за шею и глядел на Волгу, огромную, ночную, черную, как разлитые чернила. Вдруг сестра Аня кричит: «Ловите звезды!» И я вижу, все звезды падают, все небо движется, осыпается, идет звездный дождь. Изумительное зрелище! Но странно, никто не помнит, кроме меня.

— Наверное, это был твой детский сон,— сказала Надежда Константиновна.— А знаешь, ведь мы одно время были с тобой земляками, задолго до Петербурга, когда вы жили в Симбирске, а мы одно время в Угличе, тоже были волжанами. После Польши отец служил там на бумажной фабрике Варгунина, на другом берегу, против Углича. Как-то мы поехали в Углич. На пароме переехали Волгу и пришли с отцом к церкви царевича Димитрия. А там колокол. Отец говорит: смотри, у него вырван язык. И ухо отбито. Это опальный колокол. В него били в набат, он звал народ к бунту. За это у него вырван язык, а сам колокол надолго сослали в Сибирь. Я была совсем поражена этой историей. Как я сочувствовала бунтовщику-колоколу! Я его, как живого, любила! Что-то мы, Володя, сегодня развоспоминались о детском...

— Хорошо мне с тобой,— сказал Владимир Ильич.

— Я счастливая,— ответила она.— Самые мои любимые люди, ты и мама, рядом. Тебе труднее, твои далеко.

— Мои далеко.

Они замолчали. Темное небо, полное звезд, глядело в беседку сквозь крышу из хмеля. В тишине с берегов Шуши доносилось лягушиное кряканье.

— Мои далеко,— задумчиво повторил Владимир Ильич.— Что сегодня у них? Где они? Может быть, собрались у мамы в Подольске у маминого старого пианино. Мама играет...

12

Так и было. Он угадал. В этот вечер на подольской даче Марии Александровны Ульяновой все собрались. Анна Ильинична вообще жила с матерью. Приехали из Москвы Маняша и Марк Тимофеевич, они работали в управлении Московско-Курской железной дороги. Дмитрий Ильич привел к вечернему чаю санитарного врача Левицкого, у которого во время подольской высылки служил счетоводом.

Чаепитие затянулось. Было оживленно. Разговоры перекидывались с одного на другое. Говорили о книгах и журнальных новинках, о недавней жизни и учении Маняши в Брюсселе. Левицкий рассказывал истории из

быта подольских купцов, которых по службе обязан был навещать, наблюдая за санитарным состоянием лавок и складов.

Конечно, вспомнили Шушенское. Как-то там наши, Володя и Надя? Мария Александровна отвернула кран самовара и наливала чашку, не отрываясь следя за струей.

Всегда казался самым любимым тот, кто всех дальше. Кому труднее живется. Кому угрожают опасности. Кого сейчас нельзя приласкать. «Володя, стосковалась я о тебе! Когда ты был маленьким, у тебя были мягкие шелковистые волосы... Вспоминаю ваше детство, мои милые дети, и улыбаюсь от счастья...»

Она налила чашку. Лишнюю, потому что все уже напились.

— Уф! Спасибо, настоящий легний чай с клубничным вареньем, роскошная жизнь! — сказал Марк Тимофеевич.— Позвольте встать из-за стола, Мария Александровна?

Он встал, большой, бородатый, и пошел на террасу покурить.

— Вечер,— сказала Анна Ильинична.— Лампу пора зажигать. Поиграй нам, мамочка. Митя, унеси самовар. Маняша!

Общими силами быстро убрали со стола. В комнате должно быть чисто и прибрано, ни морщинки на скатерти, ни забытой чашки, ни брошенной книги, ни в чем нигде беспорядка. Тогда мама сядет к пианино. Не надо зажигать лампу. Не надо свечей. Она играет по памяти. Сидит за пианино, сухонькая, прямая, красивая, и играет по памяти Грига.

«Солнышко наше»,— думает Анна Ильинична о матери. На душе у нее чисто, вольно, душа полна силы и нежности, и это все — музыка, с детства мамина музыка.

Дверь на террасу открыта. Анна Ильинична стоит у двери. Она не видит, но знает, Маняша, закинув руки за голову, неподвижно полулежит в качалке, наслаждается музыкой и текущим из сада ароматом цветов. Опершись на крышку пианино, в задумчивости стоит возле матери Митя. Мужа своего, Марка Тимофеевича, Анна Ильинична видит. Он присел на перила террасы и курит. «Крестьянский сын»,— шутя зовет мужа Анна

Ильинична. Верно, крестьянский сын и университетский Сашин товарищ. Он легко и естественно вошел в их семью и стал для всех необходимым и дорогим человеком! Мамин советчик. Мой деловитый, разумный, добрый Марк. Наш чемпион по шахматам! Не шутите. Володя уж какой шахматист заядлый, и то пишет, что теперь страшно, пожалуй, с Марком сражаться, когда он самого Ласкера победил. И знаменитого Чигорина Марк обыграл, об этом даже в «Русских Ведомостях» писали.

«Ах, расхвасталась мужем!» — засмеялась про себя Анна Ильинична.

Тут она увидела: светлячок папиросы угас, Марк встал с перил, бесшумно шагнул к лестнице и, пригнувшись, всматривался в глубину темного, почти уже ночного сада, откуда наплывали пряные и густые запахи флоксов.

— Марк, что ты там наблюдаешь? — тихонько подойдя, спросила она шепотом.

— Смотри. Вон, за калиткой. Видишь?

— Не вижу.

— Смотри внимательно. Видишь?

— Ничего, абсолютно. А! Вот, кажется, вижу. Нет, ничего... А! Вижу, да.

Глаза пригляделись к темноте и различили шатры лип в саду, узенькую дорожку от террасы между кустами, клумбу с флоксами, калитку, за калиткой силуэт человека. Он прислонился к забору, наполовину укрытый разросшимся возле калитки шиповником.

— Этот тип давно тут торчит, — проворчал Марк Тимофеевич.

— Пусть торчит. Разве ты не привык к наблюдателям?

— Привык, да ах, чешутся руки отвадить! Погоди здесь, Анюта.

Он живо спустился с террасы и неслышно подкрался к калитке. Анна Ильинична осталась. Но что-то толкнуло ее, и она тоже торопливо сошла в сад.

«Ты у нас горячка, Марк, а руки у тебя увесистые, как у Васьки Буслаева», — думала Анна Ильинична, следуя за мужем.

Он вырос у калитки как из-под земли, рывком отворил, рявкнул:

— Вам что тут угодно?

Кто-то метнулся в сторону. Анна Ильинична поймала взгляд, сверкнувший дико и злобно, увидела перекошенное страхом лицо, и человек бросился прочь.

— Не убегай! Не уходи! Стой, стой, стой...— отчаянно закричала Анна Ильинична и побежала за ним, спотыкаясь, едва не падая в темноте. — Стой, пожалуйста, Проша!

Он остановился. Слышно было, как прерывисто дышит.. Анна Ильинична подбежала, придерживая путающуюся в ногах длинную юбку. Подошел Марк Тимофеевич.

— Кто? Говори! Кто ты? Ну?

— Не надо, Марк, милый. Я его знаю. Проша, ведь я здесь живу. Ты знал? Ты ко мне приходил?

— Нет.

Что с ним стало? Худ, как скелет. Скрытный, недоверчивый взгляд. Злая усмешка на губах. Его подменили. Полно, Прошка ли это?

— Ты меня узнаешь?

— Как же! Писательница А. Ульянова, хэ!

«Никто не ответил бы, что писательница, только он. Как жалко у него получилось его защитное «хэ»! Верить ему? Откуда ты знаешь, что ему можно верить?» — колебалась Анна Ильинична.

Он стоял и глядел исподлобья. Одичалый какой-то, затравленный. Ведь почти мальчишка еще! Он несчастен, это видно. Ему надо помочь. Анна Ильинична перестала колебаться. Взяла за локоть и повелительным тоном:

— Идем.

Боже, какой худой локоть! Можно уколоться о его локоть. Что с ним сталось? Зачем он здесь? Что ему надо?

— Как ты хочешь, ни за что не отпущу тебя, Проша, пока не поговорим. Тогда на вокзале нескладно получилось...

Он промолчал. Но шел рядом с ней по дорожке сада. Навстречу им лилась нежная, немного грустная музыка. Прошке казалось, страшно грустная, такая грустная, что заломило сердце. Зажегся свет в комнате. Выхватил из темноты грядку с настурциями перед террасой. А сад стал еще чернее и тише.

Марк Тимофеевич, ничего не понимая, шел сзади.

Музыка оборвалась, когда они появились. Мария Александровна встала навстречу приведенному дочерью юноше. Его худоба и угрюмый взгляд удивили ее, но она ни о чем не спросила, доверяясь Анюте.

— Здравствуйте.

Он не ответил. Во все глаза глядел на нее. На ее черное платье и белые волосы.

— Садитесь, пожалуйста,— приветливо сказала Мария Александровна.

Странный, нелепый парень! Но что-то в нем вызывало у нее приязнь и участие.

— Мамочка, сейчас ты узнаешь кое-что интересное о нашем госте,— сказала Анна Ильинична.— Сейчас, друзья, я вам представлю его, моего старого петербургского знакомого.

Она подошла к самодельной книжной полочке, висевшей у стены на длинных шнурах, достала толстый том.

«Зачем ей понадобилась Володина книга?» — в удивлении подумала мать.

Эта книга по-особенному была ей дорога. Она начиналась у нее на глазах. Володю арестовали. Они с Анютой переехали в Петербург, поселились вблизи от тюрьмы. Каждую передачу Анюта тащила кипы литературы для брата. Уйму справочников и всякого рода научных материалов прочитывал он от передачи до передачи! Володя в тюрьме готовился писать эту книгу. Писал он ее в ссылке. В письмах Володина книга называлась у них «рынками».

«Теперь Володя ушел уже решительно и окончательно в свои рынки, жадничает на время страшно... Сегодня ночью во сне толковал что-то о г-не Н-оне и натуральном хозяйстве...» — писала Надя из Шушенского.

«...Володя торопится с рынками»,— в другом письме писала она. И в другом, и в другом.

Затем пошло от Володи.

«Я кончил четыре главы, и сегодня даже переписка их набело заканчивается, так что на днях посылаю вам еще III и IV главы», — в декабре 1898 года писал он из Шушенского Анюте и Марку.

Через неделю:

«Посылаю сегодня же на мамино имя заказной бандеролью 3-ю и 4-ю главы рынков».

Через три недели:

«Шестая глава моей книги кончена (еще не переписана); надеюсь недели через четыре кончить все».

Через две недели:

«Посылаю с этой почтой заказной бандеролью на твое имя еще две тетради своей книги (главы V и VI) [+ отдельный листок, оглавление]; в этих двух главах около 200 тыс. букв да еще приблизительно столько же будет в двух последних главах. Интересно бы знать, начали ли печатать начало...»

Через две с половиной недели:

«Посылаю тебе сегодня, дорогая мамочка, остальные две тетради своих рынков, главы VII и VIII, затем два приложения (II и III) и оглавление двух последних глав. Наконец-то покончил я с работой, которая одно время грозила затянуться до бесконечности».

Через четыре дня:

«Посылаю сегодня еще небольшую бандероль (заказную) на твое имя, дорогая мамочка... Со следующей почтой пошлю еще маленькое добавленьице к VII главе».

Книга писалась за тысячи верст, а мать знала о появлении каждой главы. Она первой держала в руках каждую главу, вчитывалась в быстрый, бисерный почерк.

— Узнаешь? — протянула Анна Ильинична Прошке.— «Развитие капитализма в России». Владимир Ильин.

У него посветлело лицо, на миг стало прежним, ребяческим.

— Мамочка! Он ее печатал в Петербурге в типолитографии Лейферта. Тогда мы и познакомились. Проша, помнишь, ты приносил мне на корректуру листы? Ты еще говорил, что здесь все правда в этой книге написана, ты еще тогда политической ее называл.

Внезапно он омрачился, рывком шагнул к двери, схватил скобку.

— Прощайте. Я пойду. Мне пора.

Он улизнул бы, если бы широкая ладонь Марка Тимофеевича не накрыла на дверной скобе его руку:

— Постой, парень. Успеешь уйти.

Мария Александровна приблизилась:

— Отпустите мальчика, Марк Тимофеевич.

Он отпустил.

— Вы уйдете, у нас не держат насильно,— произне-

сла Мария Александровна с достоинством.— Но сначала мне хочется угостить вас чаем и домашней булкой. Такой у нас обычай, обязательно угостить гостя.

Она указала на стол, покрытый скатертью. Посредине стола в вазочке стояли оранжевые и красные астры. Вдруг они покачнулись, наклонились набок и бешено завертелись, сто красных и оранжевых солнц раскололись вдребезги и усыпали осколками стол. Марк Тимофеевич успел подхватить Прошку.

— Что с тобой, парень?

— Сядьте! Пусть он сядет! — послышались голоса.

В комнате было много людей, но Прошка узнавал только женщину с белыми волосами и слышал ее голос:

— Вам плохо? Надо выпить кофе и непременно что-нибудь съесть.

Но он боялся их ослепительной скатерти.

— Не хочу я, некогда мне. Прощайте, отпустите меня,— просил он хриплым голосом. И озирался исподлобья. Что за люди? Куда он попал? Как во сне. Давно, в Петербурге, приснился Прошке сон про Анну Ильиничну...

— Мамочка, мне надо побыть с ним вдвоем,— что-то надумав, решительно сказала Анна Ильинична.

Мать поглядела на Прошку.

— Не бойтесь, Проша.

Анна Ильинична повела его низеньким коридорчиком, мимо маленьких комнат с желтыми полами. На окнах тюлевые занавески, в горшках цветы, на шнурках подвешены книжные полки. Анна Ильинична привела его в кухню. Зажгла керосиновую лампу. Осветились плита, деревянная лавка, дощатый, чисто вымытый стол. В кухне не было никого.

— Сядь,— велела Анна Ильинична.— Дам сейчас тебе есть. Давно не ел?

Прошка не ответил. Он не ел двое суток. От голода у него ломило живот, в глазах стреляли искры. Забыла Анна Ильинична оставить или нарочно не оставила книгу в комнате, принесла в кухню, положила на край стола и быстро принялась хозяйничать. Достала из шкафа кусок мяса, масло, молоко, початый пшеничный каравай, ноздреватый, пышный, с коричневой коркой. Прошка глядел на каравай, не мог скрыть волчью жадность.

— Ты поешь, а я скоро вернусь,— сказала Анна Ильинична. И ушла.

Прошка огляделся, вмиг оценил обстановку. Окно низко, не заперто ставней. Хлеб и мясо за пазуху и — поминай как звали! Он схватил каравай. Пышный, легкий каравай смялся в руке. Нечаянно взгляд упал на оставленную Анной Ильиничной книгу. «Развитие капитализма в России». Владимир Ильин. Лицо Прошки, желтое и некрасивое от худобы, сморщилось, стало старым грибом. А, не побежит он в окно вором с добычей! Сел на лавку. «Не надо мне вашей еды, больно мне надо!»

Но голод был сильнее самолюбия, и он торопливо, жадно принялся есть, отрывая зубами куски хлеба и мяса, давясь. Наелся. Хотел спрятать остаток каравая в карман, почему-то не спрятал. «Теперь убегу». Подошел к окну, потрогал раму. «Нет, не побегу. Все равно».

Тут вернулась Анна Ильинична.

— Поговорим, Проша?

Он угрюмо глядел на нее. О чем говорить?

— Почему ты в Подольске? Что ты делал у нашего дома?

Прошка молчал.

Анна Ильинична придвинула книгу «Развитие капитализма в России».

— В ней есть и твой труд. Спасибо тебе. Эта книга нас связывает.

Он вздрогнул, ошеломленно уставился на нее.

— Ты заметил, у мамы белые волосы? — спросила Анна Ильинична.— Знаешь, когда это с ней стало? Ее старшего сына, Сашу, Александра Ульянова, революционера, царь осудил к повешению. В то утро она поседела. С того рассвета, когда... Ну, Проша... что случилось с тобой?

И он рассказал.

...Помните вечер на петербургском вокзале, когда поезд тронулся, покатились вагоны, проплыло в окне растерянное, что-то спрашивающее лицо Анны Ильиничны, и Прошка остался один? Проводил поезд и пошел домой.

Все холоднее задувал с севера ветер. Раскачал Неву. Длинные волны с ревом бились о гранитную набережную, вскидывая фонтаны ржавой пены и брызг. Неуютно на улицах. И дома некуда деться. Прошка, как обычно, направился в библиотеку. Кстати книгу Амичиса «Школьные товарищи» сдать. На этом и кончится все. Что? Он сам не понимал. Но что-то оборвалось и кончится...

В библиотеке был Петр Белогорский. Ничего в этом особого не было. Белогорский, как обычно, рылся в каталогах. Обрадовался Прошке, затряс шевелюрой.

— Хочешь, давай пошатаемся? Хочешь, поговорим, а? Меня к тебе тянет, а? Ты ведь мой крестник, так сказать, я тебя вовлек в наш... впрочем, не будем об этом. Ты какой-то нетронутый, какой-то князь Мышкин или на Алешу Карамазова смахиваешь, а у меня накопилось, хочется вылиться, не первому встречному, человеку с душой хочется вылиться!

И они очутились на улице, на холоде, на ветру, под петербургским грифельным небом.

— Скажи откровенно,— сразу начал Белогорский.— Как тебе показалась Кускова? Как ты ее аттестуешь? Что она, по-твоему, собой представляет?

— Не знаю,— нехотя ответил Прошка.

— Нет, я в тебе ошибся! — яростно вскричал Петр Белогорский.— Оказывается, ты эмоционально не одарен, если она не произвела на тебя впечатления. У тебя слабо развита сфера чувств. Неужели ты не понял, что она выдающаяся женщина нашего времени?

Он в возбуждении принялся говорить о Кусковой. Что она талант и исключительный ум. Что она одна знает верный путь спасения рабочего класса. Она всей Европе известна. Она передовая во всем, как Жорж Санд, за свободу любви, третий раз замужем, гражданским браком, конечно, определила сына на воспитание какой-то из свекровей, а сама живет свободно, ради революционных задач. Стой! Хочешь, открою секрет? Давай лапу.

Он взял Прошкину руку, сунул к себе в карман. Рука Прошки наткнулась в кармане на сверток бумаг.

— Листовки,— оглядываясь по сторонам, секретно прошептал Белогорский.— Не наши. Их. Понял? О классовой борьбе и политике, против чего мы и спорим.

С риском страшенным раздобыл для нее, я для нее на все готов, она просила, нужно ей знать досконально их позиции, чтобы опять положить на лопатки, так их! На лопатки их! Хочешь прочесть?

Прошка хотел. Очень хотел своим умом разобраться в рабочих листовках, потому что слова Петра Белогорского не совсем ему были ясны. Читать листовки на улице нельзя, таким образом Прошка попал к Петру Белогорскому, который, как оказалось, жил в большом барском доме. Поднялись на третий этаж.

— У нас об этом ни слова, молчок. Папахен мой министерский чиновник, так что ни гугу. Разумеешь? — приложив палец к губам, предупредил Петр Белогорский.

Открыли дверь ключом. Вошли.

— Что это? — отшатнувшись, вскрикнул Петр Белогорский.

Здоровенный жандарм встречал их в прихожей.

— Пожалуйте-с в комнаты, вас ожидают,— обратился жандарм к Петру Белогорскому.

Второй дюжий детина в жандармских погонах стоял у входа в комнаты и тоже:

— Пожалуйте.

Прошка увидел посеревшее разом лицо Петра Белогорского. Прошка и сам испугался жандармов.

— Что такое, я не понимаю... чепуха какая-то... вы ошиблись,— бессвязно бормотал Петр Белогорский, незаметно между тем вытаскивая из кармана и, не оглядываясь, тыча за спиной Прошке листовки.

Прошка, не думая, взял, сунул за пазуху.

— Ну, идемте, раз надо, идемте, идемте! — заспешил Белогорский и кинулся в комнаты.

Прошка хотел уйти.

— Никак нет, не дозволено,— вырос перед дверью жандарм.

Второй дюжий жандарм в два шага очутился возле Прошки.

Вот так штука!

— Меня-то к чему зацепили? Я сюда и зашел-то случайно,— пытался Прошка уговорить жандармов.

Они сторожили его полчаса или час. Прошка стал нервничать и терять терпение, когда из комнаты появился жандармский полковник.

— Тэк-с,— просвистел он, скользнув небрежным взглядом по Прошке и вытянув в его сторону длинный белый палец с розовым ногтем: — Обыскать.

В мгновение оба жандармских молодца накинулись на Прошку, обшарили, общупали, нашли за пазухой свернутые в трубку листовки.

— Тэ-эк,— сказал полковник, пробегая глазами одну из листовок, постукивая об пол носком сапога.— Т-э-эк,— с размышляющим видом повторил он.

Листовки оставил себе, Прошку приказал увести.

Прошка не понимал, что произошло. Когда двое жандармов, ухватив за локти, сводили его с лестницы, он не понимал, куда его тащат, зачем. Куда, зачем везут его в извозчичьей пролетке? И даже когда захлопнулась дверь и зловеще повернулся в замочной скважине ключ, запирая его в камере, он не поверил. Потом на него нашло исступление, и он стал колотить в дверь кулаками, биться, кричать. Скрежетнул в скважине ключ. Просунулась голова надзирателя:

— Тихо. Карцеру захотел?

Прошка утих. Железный откидной стул, железный стол, железная койка. Под потолком решетка оконца. Что они хотят с ним делать? В чем он виноват? За что его судить? Прошка не придал значения отобранным у него листовкам и думал, что его судить не за что. Он лег на тюремную койку, накрылся с головой тоненьким одеяльцем и, всхлипнув, как кутенок, от одиночества и обиды, уснул.

На следующее утро Прошка ждал, вот вызовут, разберутся, отпустят. Его беспокоило, что прогулял из-за жандармов работу. Но ничего, авось Фрол Евсеич заступится...

Весь день не вызывали. Прошка истомился от ожидания. Не мог есть, плохо спал ночь, метался.

На другой день с утра начал ждать. Опять не позвали. Еще прошел день. Еще. В первую же тюремную неделю Прошка утратил прежний доверчивый ребяческий вид. Уже не глядели глаза его открыто и удивленно, жадно ловя впечатления жизни. Взгляд стал неспокоен и скрытен. Скулы обтянулись.

Его вызвали через неделю. Молодой следователь допрашивал вежливо и неумолимо. Это было его пер-

вое дело, он старался изо всех сил, надеясь себя показать.

— Где вы взяли листовки? Кто вас вовлек в организацию? Назовите товарищей.

У Прошки не поворачивался язык сказать, что листовки у него от Петра Белогорского.

— Признавайтесь, что ваша цель возбудить рабочих к борьбе против правительства.

— Нет.

Но в камере, оставшись один, Прошка думал. Вот о чем были листовки. О рабочей борьбе. Прошка вспоминал, что говорилось на кружке у Кусковой. Рабочим не до борьбы. Рабочие к политической борьбе не способны. Образованный класс буржуазии способен. А листовки, которые Петр Белогорский раздобыл для Кусковой, о рабочей борьбе. Прошка думал, думал.

— Напрасно вы упираетесь, улики против вас,— сказал следователь на втором допросе и дал Прошке познакомиться с показаниями Петра Белогорского.

— Враки! — заорал Прошка.

Они врут на Петра Белогорского! Он не верил, что Петр Белогорский может... Прошка так бесновался, что следователь почел нужным засадить его в карцер. В карцере сыро, темно. Осклизлые от плесени стены. Утром кусок черствого хлеба и кружка воды. Вечером кусок хлеба и кружка воды. Дощатые нары без подстилки. Нечем укрыться, холодно. Сутки. Вторые, третьи.

Прошку вызвали на очную ставку.

— Напрасно вы упираетесь,— сказал Прошке следователь, вежливо предлагая кресло Петру Белогорскому, сутулому, тихому, с серым лицом (раньше он не был сутулым, раньше не был таким тихим, серым, дрожащим). — Подтвердите ваши свидетельства, господин Белогорский.

— Подтверждаю...

Ни разу не посмел он взглянуть на Прошку. Нервно откидывая плоские пряди волос (раньше у него не были такие плоские волосы), он повторил показания, что такой-то ученик-наборщик типолитографии Лейферта соблазнял его листовками, призывающими к свержению власти...

— Гад! — с презрением сказал Прошка.— Все вы гады, мерзавцы.

И снова угодил в карцер.

Бедный Прошка! Они сломили его. Через полгода он вышел из тюрьмы, тусклый, погашенный. Ненавидел весь мир. Забыл все хорошее, что было в его жизни. Не было хорошего! Он не верил никому. Ни на кого не надеялся. Никто не поможет.

Нашелся все же человек, который помог. Однажды в тюрьме Прошку вызвали на свидание к дяде.

— Нет у меня дяди. Ловите? Дудки!

Бедный Прошка. Напрасно отказался он от свидания. Под видом дяди приходил Фрол Евсеевич.

Фрол Евсеевич и выхлопотал разрешение Прошке перед высылкой заехать на родину на три дня для прощания с отцом. После чего надлежало Прошке заарестоваться в Москве в Бутырской тюрьме и этапом в Сибирь. Фрол Евсеевич купил Прошке билет до Подольска. Бабушка навязала «арестантику» пышек в косынку, перекрестила поминальной за здоровье просвиркой, велела каяться, чтобы бог простил грехи, и Прошка поехал к отцу в город Подольск.

Сердце горько и сладко заныло, когда он вступил на свою детскую деревянную улицу с зелеными огородами и белыми овсами на задворках. Все стало меньше, чем было. Дома низенькие, мизерные. А отцовский дом стал новее. Крыша покрашена, рамы побелены, в окнах герань.

Было воскресенье, отец с мачехой пили чай, когда он вошел. И их ребеночек, девочка лет четырех, русоголовая, кругленькая, смирно ела что-то деревянной ложкой из миски.

Прошка остановился у порога, снял картуз. «Как нищий»,— мелькнуло у него. Он бурно покраснел и стал неловок, и голос у него охрип.

— Здравствуйте.

Как ни странно, первой узнала его мачеха.

— Глянь-ка, сын твой объявился.

Отец охнул, взмахнул рукавами праздничной сатиновой рубашки, засеменил к порогу, вытер усатый рот, стал целовать Прошку в щеки — все суетливо, мелкими, какими-то пугливыми движениями. А она сидела молча, с тяжелыми плечами и пышной, как подушка, грудью.

— Ты что стоишь-то, ты садись, чай давай будем пить, у нас вон лепешки из печки, теплые еще,— по-ба-

бьи суетился отец, усаживая Прошку за стол.— Наружность-то как твоя изменилась, тощой да нехороший, из тюрьмы будто.

— Из тюрьмы и есть,— хрипло ответил Прошка.

Отец осекся, разинув рот. А мачеха, повернув к отцу полное, налитое, молочной белизны лицо с подрисованными бровями, сказала, не удивляясь, не гневаясь, ровно и твердо:

— Чтоб каторжного в моем дому не было. Откель пришел, пущай туда и идет.

Прошка встал из-за стола, не успев откусить теплой лепешки. Русоволосая девочка не взглянула на Прошку, продолжала, как заведенная, есть деревянной ложкой из миски. Отец семеня проводил его до калитки. Там всхлипнул, вцепился в него.

— Ты не серчай. Она уж таковская. Ты уж смирись. Ты пошатайся до обеда по городу, а я ее уломаю. В тюрьму-то за что тебя упекли? Политический, ох беда! Ты обедать-то приходи. До смерти не прощу, ежели не придешь. Ты отца уважать должон, приходи, слышь?

Прошка пришел потому, что забыл в отцовском доме одежду свою в деревянном сундучке. Они уже отобедали. Мачеха сидела у окошка, глядела на улицу и щелкала семечки. Русоволосая девчонка неслышно нянчила в углу куклу. Отец ухватом достал из печки чугунок с похлебкой. Руки у отца тряслись, он едва не расплескал похлебку. У Прошки ком стоял в горле. От жалости и неуважения к отцу. От страха перед жизнью.

— Ну вот что,— сказала мачеха, когда он покончил с похлебкой,— больше не приходи. Каторжные нам не надобны. А то в полицию заявлю. Прощай. Иди с богом.

Опять отец проводил до калитки. Мялся, вздыхал. От него пахло водкой. Вышли со двора. Отец прикрыл калитку и, озираясь, вытащил из-под рубашки серенькие варежки из овечьего пуха, с вывязанными по серому белыми звездочками, славные варежки, будто игрушечные.

— На! Материны, мамочки нашей покойной. Сберег. Возьми памятное, жадина-то наша все в укладку себе, одни только их утаить и сумел. Мамка была у тебя, Прохор! Что имеем, не храним, потерявши, плачем.

И ушел, пьяно спотыкаясь и всхлипывая.

Прошка засовал в деревянный сундучок мамину память. Куда идти с сундуком? Третий год, как Прошка из Подольска уехал. Где искать товарищей? Где они? Нет, не в том причина, что растерялись товарищи. Стыдно под чужой крышей приюта искать. Спросят, что же тебя дома не приняли?

За отца стыдно. Тятька, тятька, как скрутили тебя!

К одному товарищу все-таки он постучался. Сдал сундучок на хранение.

Бабушкины подорожные съедены, в кармане ни копейки. Первую ночь ночевал в городском парке. Вторую под лодкой на реке, как читал недавно в рассказе у Максима Горького.

Целый день искал, где бы заработать на хлеб. Никому его рабочие руки не нужны. Он хотел есть. К концу второго дня начал подумывать, где бы украсть. Булку, селедку, круг колбасы, что-нибудь! Он мечтал о колбасе. В хорошие времена в получку он покупал и, если был день не постный, они с бабушкой ели колбасу, нарезав тонкими ломтиками. Вот была жизнь! Под конец отпуска, с таким трудом выхлопотанного для него Фролом Евсеевичем, Прошка ни о чем не мог думать, кроме еды. Украл бы что хотите, да не сумел, слишком уж был простофиля. Да и вид у него подозрительный, Прошку гнали отовсюду из-за вида.

Оставалось сесть безбилетником в поезд и раньше срока заарестоваться в московской Бутырской тюрьме, откуда его по этапу погонят в ссылку. Нет, он не хотел идти в тюрьму раньше срока! Он еще спорил со своей злой судьбой. Еще гневался, где-то на самом донышке души в нем жила еще гордость.

А потом упал духом. «Кому я нужен? А мне чего нужно?»

Черное, неотвязное зашевелилось в мозгу: «Чего мне нужно?» Он ждал ночи. Ночью решил выйти на железнодорожную насыпь за городом, подстеречь скорый ночной и...

В последний раз сходил поглядеть мост через Пахру. Интересный мост, крытый. Серединой едут обозы, скачут коляски, по бокам проходы для пешеходов. Даже в Питере нет такого моста, как наш подольский, под тесовой крышей...

И в Питере никто не заплачет о Прошке. Никого нет у Прошки, ни единого родного человека на всем земном шаре.

Он шел берегом Пахры, смотрел на ее крутые извивы, в последний раз смотрел на заходящее солнце. Вскарабкался на высокую гору. Побрел городским парком. Над крутизной вдоль Пахры, посреди лип и берез и сиреневых кустов стояли дачи. Из одной дачи послышалась музыка...

13

— Ты как хочешь, Пантелеймон, без твоей помощи я пропадаю, в полном смысле, как хочешь, или помогай, или я пропадаю,— говорила мужу Ольга Борисовна Лепешинская. Стриженая, в пенсне, с продолговатым лицом, она была решительной и деятельной женщиной.

Окончила в Петербурге фельдшерские курсы. А еще раньше начала работать в нелегальных марксистских кружках, была образованной и страстной марксисткой. Но в Сибирь приехала не ссыльной, а женой ссыльного, готовой хоть на край света следовать за мужем, и уже здесь, в Сибири, навсегда определила свой жизненный путь. А в то же время была семьянинкой, неспокойной и нежно заботливой матерью. Во всем сказывался ее бурный и живой темперамент. Вот и сейчас:

— Пантелеймон, помогай или я пропадаю!

— Сохрани бог, не пропадай, милочка, лучше я помогу. Что требуется? Воды принести?

— Какое воды! Взгляни, оно лезет и лезет, никак его не уймешь.

— Действительно, лезет,— согласился Пантелеймон Николаевич.

Они в смущении стояли над квашней, полной пузырчатого теста, которое поднималось все выше и действительно начинало вылезать через край.

— А ей хоть бы что! — ласково кивнула Ольга Борисовна на розовенькую дочку, спящую в белых простынках в самодельной кроватке из корзины.

— Едва дожить до полугода и уже участвовать, пусть косвенно, в политической деятельности,— пошутил Лепешинский.

— Никакой политической деятельности! Празднуем неотпразднованное рождение нашей дочурки, нашей перненькой! Лучше поздно, чем никогда. А вон и тезка моя идет, Сильвина. Спасибо, Пантелеймон, не требуется твоей помощи. Воображаю, каких мы налепили бы с тобой пирожков!

В дверь постучалась Ольга Александровна Сильвина. Невелика ермаковская колония политических ссыльных, а подите ж — две Ольги есть. Сильвина Ольга Александровна, правда, тоже не ссыльная, она здесь добровольно, как и Ольга Борисовна. Уже второй месяц. Перезнакомилась и подружилась со всеми, весела и счастлива. Вот и судите, что это, счастье? В чем оно? Какое оно?

Угрюмо подтаежное село Ермаковское. Пустынна широкая улица. Избы сложены из лиственничных, темных от времени бревен — двести лет простоят, хоть бы что! На окнах ставни с железными болтами. Заборы высокие, прочные. Ворота под навесами. На ночь запрутся, что там за заборами, за ставнями, не видать, не слыхать. Близко к селу Ермаковскому подступила тайга. В осенние ночи страшно в тайге от глубокого векового гула, скрипа стволов, похоронного завывания ветра. Саяны высят снеговые сверкающие хребты над увалами или укутаются сизыми тучами, и, кажется, отгородилось село Ермаковское непроходимой стеной от всего белого света. И жутко приезжему, одиноко.

А Ольге Александровне хорошо. В избе Сильвина с белыми половицами устроила дом. Повесила занавески на окна, прибила к стене фотографию матери и копию Левитана «Над вечным покоем», соорудила из табуретки столик к постели, на столике сочинения Пушкина, всегда за делом, чем-нибудь всегда занята, скучать некогда.

Вот топают ее каблуки на крыльце Лепешинских. Прибежала.

— Не поздно?

— В самый раз. Повезло тебе, Пантелеймон. Ступай к своим книгам. А мы за стряпню.

Две Ольги взялись лепить пирожки и обсуждать насущные житейские и бытовые вопросы. Как животик у девочки? Остерегайтесь августа, последний мушиный месяц. Уж эти мухи, сладу нет! А что в больнице? А ваши уроки как?

Ольга Лепешинская служила в больнице фельдшерицей. Ольга Сильвина готовила докторского сына в гимназию. Доктора Арканова Сильвин не придумал. Доктор Арканов на самом деле был в селе Ермаковском. И сын у доктора был, и Ольге Александровне, к великой ее радости, предложили давать сыну уроки. Обо всем надо переговорить. А между тем и с обедом поторапливаться надо.

Волостному начальству известно: у Лепешинских сегодня семейный праздник. Съедутся гости, ссыльные из Минусинска, села Теснинского, Шушенского, в пятидесяти, ста верстах от села Ермаковского. Высшими властями уездному и волостному начальству дано указание: строжайше следить, чтобы ссыланные социал-демократы не занимались политикой, и, наоборот, семейную жизнь и отвлекающие от политики семейные радости велено поощрять.

Звенят колокольцы по дороге в село Ермаковское. Трясутся на ухабах двуколки и ходки на тонких колесах. Спешат гости.

В то время, когда у Лепешинских готовились к встрече гостей, Ванеевы тоже были заняты хлопотами. Вернее, была занята Доминика Васильевна. Вместе с хозяйкой они перетащили кровать из маленькой комнатушки, называемой кабинетом Ванеева, в большую. Поставили поближе к окну, застелили всем чистым, и Доминика Васильевна уложила мужа на свежую постель, на высоко взбитые подушки и вытерла со лба у него обильно выступивший пот.

— Черт возьми, ослабел,— виновато улыбнулся Ванеев.

— Ничего, пустяки, милый.

Живя между отчаянием и надеждой, она научилась управлять собой, когда темнеет в глазах от тоскливых предчувствий.

— Серденько мое,— сказал Ванеев, с любовью глядя на ее потяжелевший стан в свободном платье-капоте.

— Хитрец, по-малороссийски заговорил, чтобы как-нибудь подольститься.

— Малоросcияночка моя,— медленно выговорил он, закрывая глаза.

Он слег дней десять назад. Все шло ничего — после разных болезней, не отпускавших от самой тюрьмы,

здесь, в Ермаковском, куда недавно их перевели наконец из студеного, с колючими ветрами Енисейска, он немного поправился, ожил, как вдруг ни с того ни с сего хлынула горлом кровь. Доминика испугалась, закричала:

— Спасите! Спасите!

Он тоже испугался. Побежали за доктором. Участковый доктор Семен Михеевич Арканов, человек сердечный и расположенный к ссыльным, немедля пришел. Велел достать из погреба льду. Давал глотать маленькими дольками. Что-то еще делал, чтобы остановить кровотечение. От потери крови Ванеев обессилел, не мог поднять руки. Жизнь уходит, почувствовал он.

— Умираю?

— Еще чего! Больно торопитесь. У внуков на свадьбе отпляшете, тогда и помирайте с богом.

Доктор Арканов был флегматичен и неуязвимо спокоен. Его спокойствие ободряюще действовало. «Не умру,— поверил Ванеев.— Не умру. Справлюсь. Встану».

Он лежал на чистой постели, на высоких подушках, ощущая свою легкость, почти невесомость. Представлялось детство в Нижнем, на Волге. Закрыл глаза, и тотчас закачало, понесло, и он поплыл в лодке по реке. Лодка резала носом воду, у бортов шумело, волны мерно откатывались к берегу, набегали на песок. Он плыл под высоким ярко-зеленым откосом. Долго, долго. Без конца, без конца...

...Детство. Уездное училище в Нижнем Новгороде, еще в мальчишках работа писцом, книги, друзья, закадычный товарищ Миша Сильвин, споры, дискуссии, снова книги, Карл Маркс. Началась новая жизнь.

По-настоящему она началась в Петербурге, со встречи с Ульяновым. Ульянов его поразил. Всего на два года старше, он был зрелым человеком, когда все они еще оставались юнцами. Он ясно знал путь и цели борьбы, что революция неизбежна, что рабочий класс победит. После встречи с Ульяновым Ванеев стал марксистом и революционером не в мечтах, а на деле. Работы по горло! «Союз борьбы за освобождение рабочего класса». Пропаганда марксизма в рабочих кружках, листовки, стачки. Рабочий класс Петербурга был захвачен борьбой. Их жизнь была полна практических забот и огня. Они жили прекрасно и трудно.

— ...Толь!

Лодка, в которой он плыл, задела днищем за песчаную отмель, в борт толкнулась вода, лодка стала...

Он открыл глаза. Доминика склонилась над ним, спасительница его Ника, черноглазая малороссиянка его, с охапкой диких причудливых и пестрых цветов.

— Толь, это тебе. Они приехали. Собрали тебе по дороге букетище. Привет друзей и дар тайги. Получай.

Она поставила букетище в кринку с водой. Провела платком по его лбу.

— Тебе лучше, ты меньше потеешь,— сказала она, торопливо пряча влажный платок.

— Все приехали? — спросил Ванеев.

— Все. Завтра соберемся у нас.

— Завтра у нас?

Он приподнялся на локте. Его глаза почти василькового цвета блестели сухим жарким блеском. Доминика пугалась этого блеска.

— Толь, тебе нужно лежать.

— Ты сказала сама, что мне лучше, я чувствую прилив сил и такой подъем жизни, все во мне всколыхнулось, все жаждет действия, ум мой просит и молит работы, я живу, Ника, я весь нетерпение, я мечтаю, чтобы в этом деле, таком важном, была моя часть и помощь.

Он закашлялся и упал на подушки. Она в ужасе следила, как содрогается его грудь, клокочет в груди. Что делать? Вдруг опять хлынет кровь? Спаси, спаси, боже! Кто-нибудь, прибегите! Товарищи, где вы?

Она опустилась на колени и с болью глядела на него минуту, пять минут, вечность, не зная, чем помочь. Наконец он утих. Обошлось. От напряжения кашля на щеках у него выступили два резких алых пятна. Она встала с колен, осторожно приподняла его голову, на подушке остался мокрый след, она перевернула подушку на другую сторону.

— Отдохни, Толь, мой любимый, родной, мой единственный!

— Говори.

— ...мой любимый, единственный...

Она вышла на цыпочках, считая, что он уснул. Ванеев с задумчивой улыбкой слушал ее умолкнувший, а для него все звучащий голос. Бывает так, в ушах звучит и звучит, не умолкает не слышная другим музыка. Ванеев

повернул голову и стал глядеть в окно. Хочется, чтобы под окном качала ветвями береза с шумными листьями. Чтобы шелестели листья.

Во всем селе Ермаковском ни березы, ни яблони. Ни даже маленького садочка возле чьей-то избы нет в угрюмом подтаежном селе Ермаковском.

Запрокинув голову, Ванеев следил за движением облаков. Они спешили, толпились, еще летние, белые, с яркими краями. «Тучки небесные, вечные странники...» Мы с тобой странники, Ника.

Он вспомнил, как увидел ее впервые.

— На свидание. К невесте! — под звон ключей раздалось возле камеры. Он знал, оставшиеся на воле товарищи непременно позаботятся о «невесте», чтобы было кому навестить и принести передачу. Пока оставались на воле сестры Невзоровы, землячки из Нижнего. Значит, они и подыскали в «невесты» кого-нибудь из подружек-курсисток. Для какой-то незнакомой девушки это будет важным партийным поручением. И все. После тюрьмы и повидаться, может, не придется с «невестой». И все же, когда его позвали, он заволновался, пригладил волосы, нервно одернул тужурку, заспешил и, пока шел гулким коридором, придумывал первые умные фразы и забыл все в комнате для свиданий, увидев ее.

При его появлении она поднялась со скамьи, довольно высокая, статная, черноглазая, с полным, девически миловидным лицом. С одного взгляда он почувствовал симпатию и влечение к ней. Она поднялась и... смешалась. На табурете сидел жандарм. Он привык быть свидетелем свиданий, но для них оно было первым, жандарм им ужасно мешал!

Она колебалась всего секунду. Легко подошла.

— Милый! Я так скучаю о тебе! — и поцеловала в губы.

Он не помнил, что ей отвечал. Как они сели рядом на скамью. Как он держал ее руку и глядел в ее лицо, стараясь отгадать, кто она, какая она.

«В ней есть энергия, и задушевность, и детская наивность, и сила, и мягкость, она чудесная, мне ее послала судьба...» Так он думал, оставшись один, опять запертый в камере, восстанавливая слово за словом все их свидание. Их удивительную, долгую и мгновенную встречу. Они успели узнать кое-что друг о друге.

— Я ждал тебя, очень ждал! — сказал Ванеев.

Она ответила:

— Теперь я буду приходить к тебе всегда.

— Как я мог так долго жить без тебя?

— Ты не будешь больше без меня. Я буду приходить.

— Ох! Какая это радость!

Она нахмурилась, что-то соображая, и, просияв через мгновение, сказала:

— Меня не сразу к тебе пустили. А сегодня слышу: Доминика Васильевна Труховская, на свидание!

«Ага, Доминика Труховская,— понял Ванеев.— Необычное имя, как мне нравится ее имя! Умница, как она сообразила, как мне сказать, чтобы не догадался жандарм, что мы никогда не виделись. Доминика. Никогда не встречал женщин с таким именем».

— Я люблю, когда ты зовешь меня Никой,— сказала она.

«Ах, вот что, я зову тебя Никой Моя Ника. Моя милая Ника. Моя невеста Ника».

— А мне нравится называть тебя Толем.

Никто не называл его так. Она придумала называть его Толем. Изобретательница Ника!

Он мерил шагами камеру. Из угла в угол. От двери к окну. Взад и вперед. «У меня есть Ника. У меня есть Ника».

С этого дня его тюремная жизнь изменилась. Его жизнь наполнилась ожиданиями. Он ждал понедельника. В понедельник разрешалось свидание продолжительностью в тридцать минут. Полчаса. Знаете ли вы, что такое полчаса? Неделя одиночества — и полчаса, всего полчаса! Так мало, так много! Один миг и — почти бесконечность.

Он ждал четверга. В четверг они виделись через решетку.

— Вчера у нас на Бестужевских была интересная лекция! — кричала она через решетку, всеми пальцами вцепившись в нее.

«Ты курсистка, ты учишься на Бестужевских курсах, умница моя! — он тряс головой, показывая, что понял.— Все понял, говори дальше».

— Землячки твои шлют привет,— кричала она.

«Так и есть, она их подруга. Моя Ника — подруга моих землячек Невзоровых. Хочется смеяться, шутить, хо-

чется расцеловать кого-нибудь, больше всего тебя, Ника!»

В понедельник и в четверг, как ни коротки встречи, они ухитрялись поговорить о друзьях и товарищах, о воле, о книгах. Они спешили. Скорее, скорее, больше, больше сказать!

— Всю неделю читал Бальзака. Запоем, Ника! Какой своеобразный, поэтичный художник! Какие разноречивые отклики будит в душе.

— Да, да! Я тоже восхищаюсь Бальзаком. Меня восхищают его сильные типы.

— Ты сама сильная! — кричал через решетку Ванеев.

Она умолкла. Замкнулась. И даже ему показалось, ушла со свидания чуточку раньше.

Чем ближе к окончанию его тюремного срока, тем сдержаннее становилась она. Замкнутей, суше. Но ведь он уже знает, Ника дала ему знать, что она революционерка, распространяет листовки, связана с рабочими, дружит с Невзоровыми и Крупской, она член «Союза борьбы», она близка им всем по духу, по делу, по целям, его Ника, почему она умолкает, уходит куда-то, оставляет его? Почему?

Внезапно он догадался. «Ты дурачина, Ванеев. Неужели тебе не понятно? Ты мальчишка, ты никогда не любил, ты не знаешь женщин. Ты не разглядел, что она была ласкова по долгу. Она равнодушна к тебе, она выполняла партийный долг и теперь, когда твое тюремное заключение кончается, спокойно, с чистой совестью уйдет от тебя. Может быть, там, на воле, у нее есть действительный жених и ей уже тягостно встречаться с тобой. А ты вообразил! Нет у нее к тебе чувства, она не любит тебя».

Ванеев бегал по камере или, сжав кулаками виски, сидел за откидным железным столом, переживая муки разочарования и ревности к кому-то неизвестному, отнимавшему у него Нику.

Новая беда. Ее арестовали. Он был еще в заключении. В эти несколько месяцев, когда они были в разлуке, никто не приходил крикнуть через решетку: «Толь! Здравствуй, Толь!» Он понял, как она ему нужна, как воздух, как небо.

— Скажи мне всю правду, одну правду,— просил он, когда они снова увиделись перед его ссылкой в Сибирь.

— Я скажу тебе правду, Толь! Ты хороший. Может быть, самый лучший. Я не знаю человека лучше тебя! Но мы из разных миров. Я скрывала от тебя, что я из чуждого класса. Разве ты можешь назвать женой девушку из такого чуждого, непонятного тебе мира, темного и алчного! Мой отец торговец. Он хочет наживать. Нажива — смысл его жизни. Он ненавидит все, во что веришь ты. Ты всегда будешь помнить это. Это всегда будет как бездонный ров между нами. Но там мое детство, мать, я оттуда... Разве можем мы быть вместе, Толь? Нет.

Она ушла.

Ванеев всю ночь писал ей письмо. Рассудительно, трезво, стараясь ее убедить.

«Голубчик мой! Неужели ты думаешь, что сословные предрассудки могут изменить мое отношение к тебе? Разве мы в ответе за свое социальное происхождение? Я заклеймил бы печатью презрения всякого, кто увидел бы в твоем прошлом что-то позорящее тебя. Пройденная тобою школа еще более возвышает тебя в моих глазах. Она ручается мне, что я найду в тебе лучшего товарища в той беспощадной борьбе, которой я посвятил свою жизнь. Если ты нашла в себе достаточно силы, чтобы разбить семейные цепи, которые тяготели над тобой с детства, то борьба с рабством общественным не может уже устрашить тебя. А это единственное требование, какое я ставлю подруге моей жизни...»

Прошло три года. Она подруга его жизни, жена. Скоро станет матерью. Ванеев вспоминает ту ночь, когда он писал ей и каждая буква в его письме звала и молила ее, и он не знал, что она ответит.

...Багряный шар солнца за окном, пересеченный, как стрелой, дымчатым облаком, коснулся горизонта и стал медленно уходить за черту. Последнее время на Ванеева вечерами необъяснимо налетала тоска. Он беспокойно приподнялся на локте. Где Ника? Он не любит вечерами оставаться один. Что-то душное наваливалось на него, что-то грозило, подкрадывалось. В окно уже глядели сумерки... Он хотел крикнуть Нику, но в дверь постучали.

Быстрой, знакомой с Петербурга походкой вошел Владимир Ильич. Внезапно ослабев, Ванеев опустился

на подушку. Пока Владимир Ильич шел к нему от порога с выражением встревоженной доброты на лице, Ванеев глядел на него без улыбки, с почти суровой серьезностью.

— Здравствуй, дорогой, дорогой Анатолий! — сказал Владимир Ильич, обеими руками беря его руку и крепко держа.

— Я знал, что ты приедешь,— ответил Ванеев.— Знаю, вы из-за меня сюда приехали все в даль, в Ермаковское.

14

Надежда Константиновна и Зинаида Павловна Невзорова рано собрались на другое утро к Ванеевым. Доминику они знали еще в те времена, когда все были членами петербургского «Союза борьбы» и учительницами в вечерних рабочих школах. Три подруги. У каждой своя и общая у всех трех судьба. Они сами избрали ее. Избрали дорогу, которая привела их в ссылку, в Сибирь, и сулила впереди еще ссылки, тюрьмы, лишения, эмиграцию, жизнь вдали от родины, труд. О как много нужно труда, чтобы подготовить для родины революцию! Они участвовали в труде для революции. Каждая в меру таланта и сил, молодые привлекательные женщины, собравшиеся в то августовское утро у Доминики Ванеевой.

Вскоре присоединились две Ольги. Досталось двум Ольгам в эти дни с устройством обедов и ночлегов для гостей! Похозяйничали, можно сказать, до упаду, а теперь, сняв фартуки, выкинули из головы бытовые и домашние заботы. Хотя разговоры пока велись на обыкновенные темы, настроение у всех чувствовалось особенное.

Надежда Константиновна в окружении подруг, не нарадуясь встрече, все чаще поглядывала в сторону Владимира Ильича. Он один стоял у окна, с ушедшим в себя, таким знакомым чуть прищуренным взглядом. Собирается с мыслями.

«Хороший у нас народец, Володя, понятливый»,— подумала Надежда Константиновна.

И он думал об этом. Хороший, верный революционным задачам «народец»! С какой охотой все съехались,

только он дал знак, в село Ермаковское! Раз требует дело,— они здесь и сейчас вместе решат окончательно, как им отвечать на кусковское «Кредо». Отвечать ли?

Он любил товарищей глубокой и сильной любовью. Глеб Кржижановский. У постели Ванеева рассказывает что-то, Ванеев беззвучно хохочет. Печально живет последнее время наш милый Ванеев, пусть забудет о своей беде, посмеется. Глеб кого хочешь развеселит. Что всего более дорого в Глебе? Талант, вот что в нем особо красиво и дорого! Талантлив! В работе, в шутках, в жизни, в дружбе, во всем. Когда мы победим, революции необходимы будут таланты. Нельзя представить, чтобы революцию делали ограниченные, унылые люди...

Оскар Энгберг. Свой, шушенский. Э! Мы принарядились ради сегодняшнего случая, Оскар Александрович. Мы праздничны, выбриты, как всегда ровненький у нас левый пробор, аккуратны усики и как мы строго настроены в ожидании обсуждения «Кредо»! Мы неразговорчивы, но твердо знаем, на чьей стороне. Не на стороне «Кредо».

Вон товарищ Оскара, Николай Николаевич Панин, рабочий с тонким лицом, похожий на Гаршина, с гаршинской скорбинкой в глазах, выросший в наше время, с нашим движением. А уж кто безусловно рабочий нового типа — это Шаповалов! Владимир Ильич очень симпатизировал ему, особенно после того, как однажды попал к Шаповалову в гости. Одним прекрасным утром, получив разрешение волостного начальства, они с Надеждой Константиновной сели в двуколку и без долгих сборов покатили в село Тесинское проведать ссыльных товарищей, в первую очередь Ленгника, с которым у Владимира Ильича постоянно велись философские споры. Путь дальний, глухой, через тайгу, но Владимир Ильич, хотя и без опыта, смело правил конем — с дороги не сбились, приехали.

Навестили и петербургского слесаря — Александра Сидоровича Шаповалова. Шаповалов был членом петербургского «Союза борьбы», но познакомились они с ним только в ссылке и как обрадовались, увидя в скромной комнатушке ссыльного рабочего заваленный книгами стол! Умник Шаповалов! Как читает Маркса. Конспекты, целая гора исписанных тетрадей. Да он весь «Капитал» проштудировал! И стихи. Лермонтов, Некрасов. Любит

стихи! А это что? Немецкий словарь. Переводит с немецкого «Коммунистический Манифест», молодчина! Именно такие рабочие, образованные и думающие, как петербургский слесарь Александр Сидорович Шаповалов, нужны нашей партии. Как хорошо, что их все больше...

Владимир Ильич встретился взглядом с Надеждой Константиновной. Она улыбнулась ему глазами,— прочитала его мысли, вместе с ним порадовалась. Какое это счастье — понимать друг друга без слов!

С невольной гордостью он подумал, глядя на нее и ее подруг: «Наши жены. Хороши, умны, образованны. Любят искусство, музыку. Отказались от всего для революционного дела. Наши жены и товарищи. Наши декабристки».

Все эти мысли и благодарная любовь к товарищам нахлынули на него в те короткие минуты, когда он один стоял у окна.

— Товарищи, пора, откроем собрание,— сказал между тем Лепешинский.

Лепешинский — ермаковец, хозяин, ему и пристало объявлять начало собрания.

— Кто председатель? Ульянов. Голосуем. Единогласно. Владимир Ильич, займите председательское место.

Лепешинский и Сильвин заранее притащили стол, табуреты, скамьи. Расставили. Сели, чтобы не загораживать кровать Ванеева, чтобы он был прямо против председательского места.

«Кредо» уже читано и перечитано всеми. Поработала Надежда Константиновна: переписала по числу участников сбора. Все знали «Кредо». Всем ясно: «Кредо» зовет рабочих прочь от марксизма, уводит рабочий класс от революционных битв и революционных задач. Кто-нибудь из семнадцати политических ссыльных, собравшихся в этот августовский день 1899 года в сибирском селе Ермаковском, соглашается с «Кредо»? Никто. Что же обсуждать?

Однако обсуждение началось еще вчера у Лепешинских. Сегодня, чтобы участвовал наш Анатолий, перебрались к Ванееву. Что «Кредо» — вздорная и злая ложь об европейском и русском рабочем движении, на этом сошлись все.

— Вздор с важничающими фразами! Жалкий набор бессодержательных слов! — говорил Владимир Ильич.

Но если это фразистое сочинение столичной дамы пустая мелочь и вздор, стоит ли и внимание на него обращать? Кто-то злобствует. Назовем кого-то: Кускова плюс супруг ее и единомышленник, помещичий сын Сергей Прокопович, плюс два-три дворянских студентика — вот и все создатели «Кредо». Объявлять бой крошечной группке, которая не имеет и не будет иметь никакого влияния? Зачем?

Примерно такие мысли высказал Фридрих Вильгельмович Ленгник. Они спорили с Владимиром Ильичем о философии каждую встречу. Спорили в письмах. Из села Шушенского в село Тесинское и обратно слались почтой десятки мелко исписанных страниц, полных ума, доказательств, блеска, иронии. Немало усилий потратил Владимир Ильич, чтобы обратить в истинную марксистскую веру сурового на вид человека с черной бородой, черными мрачными бровями, из-под которых внимательно взирали на мир угольной черноты глаза.

Владимир Ильич уважал ум, знания, честность Фридриха Ленгника, но в спорах о философии неизменно припирал его к стенке. С Ленгником стоило спорить.

— Итак, объявлять ли бой?

Владимир Ильич ухватил пальцами проймы жилета, остро прищурил глаза. Резче прочертились морщинки к вискам.

Он никогда не говорил округло и размеренно.

— Стоит ли объявлять бой? Марксистское рабочее движение в самом начале. И уже народились противники в среде социал-демократов. В Германии опасный противник, критик марксизма Бернштейн, неоригинальный, трусливый. Опаснейший. Чем пошлее и трусливее проповедь, тем легче находит последователей. Проповедь Эдуарда Бернштейна — «экономизм», как зараза, ползет по Европе. Проповедь его — оппортунизм, то есть, господа хозяева, давайте нам маленькие реформочки, мы сами удушим свою революцию. Вот что значит оппортунизм! Наша российская Кускова и иже с ней всего лишь позорные повторители «экономизма» и оппортунизма Бернштейна. Оппортунизм растет. Сбивает рабочих с пути. Вступать ли нам в борьбу? Непременно! При любых обстоятельствах. Если не хотим потерять революцию.

«Так, Володя!» — взглядом подбодряла Надежда Константиновна.

Она привыкла делить его планы, вникать во все его замыслы, и его сегодняшняя речь задолго до ермаковского сбора была ей известна, но все равно, она волновалась, горячее чувство любви, благодарности и гордости поднималось в душе.

В ссылке Владимир Ильич стал ей еще ближе. Она узнала его простоту и сердечность. Никогда, никогда он не бывал сухим и равнодушным, никогда ни с кем не был небрежным. Всегда внимательный, добрый, заботливый. Яркий, неожиданный. Бесконечно интересно ей с ним!

Но всякий раз, когда видела и слышала его на революционной трибуне,— пусть эта трибуна дощатый стол в избе Ванеева,— его энергия, сила, предвидение, доводы, его воля и талант заражали, покоряли ее снова!

«Я счастлива, что всегда с тобой,— повторяла про себя Надежда Константиновна.— Счастлива, что у нас одна цель, одно дело, что моя помощь нужна тебе».

— Дайте мне слово,— попросил Ванеев, вытягивая руку, сам весь подаваясь вперед. Доминика приподняла подушки, чтобы он лег повыше. Он полусидел, у него раскраснелось лицо, он был молод и одухотворенно красив!

— Шесть лет назад мы, петербургские студенты, Глеб, Миша Сильвин, Зина Невзорова, ты, Старков,— все мы читали Карла Маркса, запершись для конспирации в собственных комнатах. Приехал Владимир Ульянов. Поставил задачу: не сидеть, запершись, по комнатам, а идти к рабочим, вооружить рабочий класс революционной наукой, марксизмом, и тогда разбудятся непобедимые силы. Что это? Предвидение? Да. Мы должны предвидеть. «Кредо» опасно. «Кредо» — первый шаг российского оппортунизма. Если не остановим, будет второй, третий, десятый. Надо остановить. Мы обязаны не дать оппортунистам расшатывать революционные силы! Надо суровее их осудить. Еще суровее...

— Я согласен,— коротко сказал Фридрих Ленгник.

— Кроме того, что важно,— обращаясь к Ванееву, а говоря всем, продолжал Владимир Ильич,— важно за-

явить, что мы и наше направление, хоть нас и сослали в Сибирь, не умерли и не собираемся умирать, а наоборот, собираемся жить и действовать...

Говорили Шаповалов, Кржижановский, Лепешинские, и Владимир Ильич первым подписал протест против кредо.

Протест начинался так:

«СОБРАНИЕ СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТОВ ОДНОЙ МЕСТНОСТИ (РОССИЯ) В ЧИСЛЕ СЕМНАДЦАТИ ЧЕЛОВЕК ПРИНЯЛО ЕДИНОГЛАСНО СЛЕДУЮЩУЮ РЕЗОЛЮЦИЮ И ПОСТАНОВИЛО ОПУБЛИКОВАТЬ ЕЕ И ПЕРЕДАТЬ НА ОБСУЖДЕНИЕ ВСЕМ ТОВАРИЩАМ».

Владимир Ильич подписался первым и, взяв лист и чернильницу, подошел к кровати Ванеева. Ванеев медленно, крупно вывел свою фамилию вслед за Ульяновым.

Когда «семнадцать социал-демократов одной местности» разъедутся по селам и займутся обычными своими делами, Владимир Ильич и Надежда Константиновна однажды вечером, тщательно занавесив окна шушенской комнаты, зажгут лампу с зеленым абажуром и химическим способом несколько раз перепишут протест социал-демократов. Запечатают в письма. Сельский почтарь перешлет письма очередной почтой в Туруханск, Вятку и другие места, где есть политические ссыльные, с которыми шушенцы держат связь. Так было решено и постановлено на сборе в селе Ермаковском. На одном из конвертов будет адрес: Подольск, А. И. Ульяновой-Елизаровой. Обычное письмо с подробным описанием шушенского житья-бытья, с приветами, расспросами: «Как у вас? Здорова ли мама?»

Анна Ильинична прочитает письмо, знакомо подписанное «Надя», и по условным, известным только ей знакам поймет: надо здесь искать «химию». И тоже плотно занавесит окно и проявит химию. Они сойдутся к вечернему чаю в столовой комнате, она, Митя, Маняша, Марк Тимофеевич, мама. У стены на длинных шнурах подвешена книжная полочка. На полочке книги Владимира Ильича «Экономические этюды...» и «Развитие капитализма в России», изданные легально в типолитографии Лейферта. На черном пианино с барельефом Моцарта раскрыты ноты.

Анна Ильинична будет негромко читать: «Собрание социал-демократов одной местности...» Мать будет внимательно слушать, несгорбленная, сдержанная, и только сухонькие узкие руки, теребящие бахрому скатерти, может быть, выдадут ее беспокойство, которому нет конца. Когда Анюта кончит читать, мать скажет:

— Как виден Володин стиль!..

Потом протест против «Кредо» отправится среди других писем, посылок и бандеролей в почтовом вагоне за границу и будет издан на русском языке в заграничном издании, в сборнике Г. В. Плеханова «Vademecum» («Путеводитель»). И вернется на родину. И переписанный или тайно отпечатанный на гектографе или в заграничном издании разойдется по всем городам, где только есть рабочие и марксистские группы. И рабочие социал-демократы, революционеры поймут: где-то есть центр нашей политической жизни, где-то ярко бьется политическая мысль, зреют революционные планы, поднимаются могучие силы. Где?

Разве мог кто подумать, что этот центр, эти зреющие силы и планы в далекой Сибири, в неведомом никому селе Шушенском?

15

— Оставь меня, пожалуйста, здесь, в этой комнате,— попросил Ванеев жену. Он лежал у окна.

После вчерашнего возбуждения он был в страшном упадке сил. Он лежал, закрыв глаза, с бледным лицом, точно высеченным из мрамора, если бы не оживляла его улыбка, тихая и какая-то кроткая, от которой подрагивали веки. Доминике хотелось кричать от этой улыбки с закрытыми глазами, но она вспомнила его вчерашнее выступление, очень пришедшее на помощь Ульянову, и, кусая кромку платка, молчала.

«Не боюсь ничего. Никакие невзгоды не сломят. Только бы он жил».

Владимир Ильич так и застал ее на крыльце, с закушенным платком, с резкой складкой между бровей. Он нарочно сильнее зашаркал ногами по тропке, чтобы вывести ее из задумчивости.

— Вы приводите к нам в дом надежду,— сказала Доминика Васильевна.

Владимир Ильич склонился и поцеловал ей руку. Он никогда никому не целовал руки, только матери и жене.

Ванеев узнал Владимира Ильича по шагам и, пока он брал табурет, усаживался возле кровати, Ванеев, как в прошлый раз, глядел на него пристальным и внимательным взглядом, но светлым и сияющим.

Легкий ветерок залетал в раскрытое окно. Белые облака плыли в небе. «Тучки небесные, вечные странники...». Дома, в Нижнем, так же плывут над Волгой облака. С высокого откоса видны заволжские луга с раскиданными по ним голубыми озерцами. Голубая шестидесятиверстная даль. Голубые леса на горизонте. Неоглядная ширь, плавные линии, тихие, спокойные краски — стоишь очарованный, весь охваченный счастьем. Моя величавая Волга с заливными лугами, мои деревеньки вдоль берегов, ласточкины гнезда по глинистым обрывам, несравненная родина, любовь моя!..

Ванеев нетерпеливо заговорил, словно боясь, что не успеет вылить все, что есть у него на душе, в чем-то бесконечно важном открыться, а нужно успеть, нельзя уносить с собой... Боже! Что ему лезет в голову, какой мрак туманит глаза — не позволять себе! Не сметь! Он потому торопится, что Владимир Ильич сейчас уезжает, вон колокольчики слышны, а когда-то теперь случится увидеться, дело к осени, оттого он спешит...

— Мне кажется иногда, что я много-много прожил на свете. И в самом деле, двадцать семь лет — разве мало? Лермонтову было двадцать семь лет! А Чернышевский в эти годы уже создатель смелых исследований в критике. А Маркс! Уже философ, материалист, революционер, взрывающий старье в философии. А ты, Владимир, каким был в двадцать семь лет! Нет, не останавливай меня, я и не сравниваю, я просто говорю, я, может, после-то и не признаюсь никогда, сколько ты значил для меня, потому что ведь это под настроение только бывает, когда признаешься... У меня с детства были самые высокие мысли о дружбе. Мечтал! Ночами не мог спать, до рассвета, до слез, все представлял, какой у меня будет лучший друг и товарищ и как я жизнь за него отдам, я все жизнь отдавал... Ни с какими мечтами не сравнить, что я тогда в Петербурге встретил! Я обыкновенный человек, только твердый, я сам знаю, что я в убеждениях твердый. Но обыкновенный. А жизнь моя сложилась необык-

новенно оттого именно, что я в Петербурге вступил в «Союз борьбы за освобождение рабочего класса». Вся жизнь моя из-за этого стала особенной. Вот я думаю, когда нас давно не будет на свете, историки подивятся, как это стать могло, чтоб в огромной казенной столице — против Зимнего дворца Петропавловская крепость, вбок подале для политических Дом предварительного заключения, еще подале Шлиссельбургская крепость,— в этой столице каменной, полной жандармских и гвардейских мундиров, такое большое и новое рабочее движение поднялось.

— А все оттого... вот ты говоришь, Анатолий... ведь это закон развития, ведь русский рабочий класс созрел...

— Удивятся историки, может быть, будут исследовать нашу петербургскую эпоху. За два с половиной года поднялось марксистское рабочее движение. Ужасно как хочется жить! Со вчерашнего дня волна жизни накатила на меня, подняла, понесла и понесет, не кинет на дно... Хочу громадного счастья, громадной работы!

— Будет громадная работа, будет громадное счастье! — заговорил Владимир Ильич.— Осталось нам ссылки пять с немногим месяцев. Виден конец. Надо дотянуть. Разумно и расчетливо дожить эти пять с немногим месяцев, чтобы не прибавили срока, но прибавка не предвидится, кажется. А там... Милый Анатолий, надо тебе выздороветь, напрячь все усилия... Слушай, попробуй пить парное молоко. Как можно больше, от молока толстеют, тебе надо потолстеть, вернемся в Россию, там тебя прочно поднимут на ноги, и тогда... Анатолий, я откровенен. С тобой не надо держаться настороже, ты не болтун, помню, мы были в Питере квалифицированными конспираторами, ты был Мининым, так вот, милый Минин, какая работа ждет нас, хочешь знать?

— Хочу.

— Партию объявили без нас. Мы были в тюрьмах и ссылках...

— Мы подготовили партию.

— Но мы были в тюрьмах и ссылках, когда в Минске был Первый съезд. Партия не успела встать на ноги, как ее стали губить, налетел ураган: аресты, аресты. С другой стороны разные немецкие бернштейны и русские кусковы. Что делать нам? Бороться за создание партии, ис-

тинной, пролетарской. Вот что делать нам прежде всего. Мы объявили это вчера в нашем протесте. Анатолий, как нам дальше бороться?

— Ну, говори скорей!

— Как нам бороться? Я думаю целые дни напролет, думаю, думаю, обсуждаю со всех концов и сторон и, Анатолий, я уверен: путь один. Единственный. Создать газету! Как только мы вернемся из ссылки, тотчас надо создавать газету. Нелегальную, конечно! Мы будем выпускать ее за границей. А здесь, в России, в каждом промышленном центре, в Орехове, Иванове, Ярославле, Баку, Киеве, Нижнем, не говоря уж о Питере и Москве, у нас будут агенты по распространению нашей газеты, наши тайные корреспонденты, с которыми у нас будет неразрывная связь. Мы будем через нашу газету раскрывать рабочим все, что происходит в России, агитировать и звать всех рабочих, крестьян и передовую интеллигенцию к революционным боям. Мы создадим новую, революционную, пролетарскую партию с помощью нашей газеты. Слушай, Анатолий... Многие, слишком многие погублены проклятым режимом. Декабристы, народовольцы, десятки тысяч лучших рабочих. И у нас были и будут жертвы, но мы победим...

С белых подушек на него глядело лицо. Прекрасное, с глазами василькового цвета, исполненными восторга и жизни. В душе Ванеева вновь ожили надежды. Снова этот человек, его удивительный товарищ, открывал ему путь. Дерзостно смелый, реальный и практический. «Мы еще в ссылке. Но мы уже знаем, что будет дальше. Газета. Партия. Революция. Новое общество. Мы будем строить наше новое общество добрым, благородным, разумным! Если оно не будет разумным и добрым, если подлость и чванство останутся в нем — кто виноват? Вы, будущие жители нового общества, знайте, мы хотим вам добра! Вы, кто будет жить в этом обществе, помните, помните, оно отвоевано нашей работой и кровью. Будьте смелыми, будьте добрыми, люди, будущие жители социалистического общества!»

Так думал Ванеев, мечтатель! Теперь он не мог и не хотел быть просто учителем или просто литератором. Он мог быть только революционером, революционером прежде всего!

— Необходимо подумать о том, какое название дать

нашей газете,— сказал Владимир Ильич.— Важно, чтобы уже в названии заключалась идея. Знаешь, Анатолий, я так много думаю о ней, нашей газете, так много и, чем ближе к концу ссылки, волнуюсь и нервничаю, надо взять себя в руки, ведь весь труд впереди. Я предлагаю назвать «Искра», как ты смотришь?

Он ближе придвинулся к Ванееву, острый огонек блеснул в его глазах. Владимир Ильич давно обдумал это название. Хорошее название, емкое, с политическим и вместе прелестным поэтическим смыслом, Владимир Ильич был доволен.

Во глубине сибирских руд
Храните гордое терпенье...

— Мы с Надей поклонники Пушкина,— говорил Владимир Ильич.— Нет, не то слово. Трудно представить, как жить без Пушкина. Нельзя жить без Пушкина и Бетховена, хотя иногда приходится надевать на себя узду и отодвигать в сторону и Бетховена и Пушкина. Здесь, в Сибири, даже в нашем захолустном Шушенском чувствуется дух декабристов.

Оковы тяжкие падут,
Темницы рухнут — и свобода...

Я с юности себе представлял: Чита, ураганные ветры, мороз, леденящий дыхание. Частоколы лагеря, декабристы в оковах. И ослепительное послание Пушкина. И ответ...

— И ответ! — перебивая, повторял, торопился Ванеев:

Наш скорбный труд не пропадет,
Из искры возгорится пламя...

— Итак, «Искра», Анатолий! Из искры возгорится пламя. Ну, мчись скорей, время! Но будем расчетливы и благоразумны, осторожно переживем оставшиеся месяцы, пять с немногим, лишь бы не вышло прибавки. Поправляйся, Анатолий, дорогой, умный друг. Не поддавайся болезни. Очень важно не поддаваться. У нас громадный труд впереди. У нас впереди наша «Искра» и партия. Партии нельзя без таких людей, как ты, Анатолий.

Ты нужен партии и рабочему классу, милый друг Анатолий!

Он пожал ему руку. Поправил на нем одеяло. Отвел с его лба тяжелую влажную прядь.

...Опять поплыла лодка. Последнее время, едва он закрывал глаза, его качало и уносило в лодке вдоль крутого берега Нижнего. Суетливо снуют вокруг лодчонки; медлительный, важный паром отчаливает от пристани, направляясь на ту сторону с десятком телег и стаей баб в разноцветных платках, приезжавших в город торговать лесной малиной и грибами; белый пароход фирмы «Кавказ и Меркурий» идет снизу, бархатный звук гудка задумчиво виснет над Волгой. Покатится к берегу от парохода волна, и лодка ухнет, падая с гребня.

— Толь, родной мой!

Он открыл глаза. Ника.

— Тебе не плохо было, Толь, милый? Мне показалось... Какая я глупая, ты просто уснул.

— Я не спал. Они уехали? Важные дни были у меня! Я снова понял, Ника, я нужен, а это живительнее всяких лекарств. Вот увидишь, как скоро теперь пойдет у меня на поправку. Я хочу участвовать в наших планах. Скучно, противно жить, только заботясь о себе да о своем здоровье. Верно? Я весь захвачен...

— Давай я посижу с тобой, Толь. Я очень люблю тебя, Толь. Жить без тебя не могу.

Он улыбнулся и, вытянув руку, бережно притронулся к ее животу.

— Скоро наш малыш появится на свет. Нас будет трое. Что я хочу попросить тебя, Ника. Если родится мальчишка...

— Я уже сама давно решила. Если родится мальчик, у меня будет два Толя. Большой Толь и маленький. Так я и буду вас звать.

— Хочется услышать его голосок.

— А если он будет орать по ночам?

— Пусть орет. К тому времени я поправлюсь, станем по очереди нести вахту. Ника, Владимир Ильич основательно зарядил меня жизнью! Я люблю, когда ясно и прямо знаешь, куда тебе идти и что делать. Возможно,

наш маленький Толь будет жить при других обстоятельствах. Скорее бы он появился.

— Хочешь послушать? — спросила Доминика, беря его руку и положив себе на живот.— Слышишь, как тукает у него сердечко?

Ванеев не слышал, но морщил брови, с радостным видом напрягаясь и стараясь показать, что слышит, как оно тукает. И сразу устал.

— Посиди со мной, Ника. Я чуть отдохну.

Он лежал с открытыми глазами, чтобы не качало, не уносило.

— Слушай-ка, Ника, достань у меня под подушкой...

Она просунула под подушку руку, достала Чехова, сборник «Пьесы», СПб., 1897 г., присланный недавно из Нижнего.

— Прочитай мне то место, там отчеркнуто...

Она открыла заложенную страницу и стала читать:

— «Мы услышим ангелов, мы увидим все небо в алмазах, мы увидим, как все зло земное, все наши страдания потонут...»

— Ну, довольно. У тебя какой-то стиснутый голос, ты волнуешься, тебе скоро родить, тебе нельзя волноваться, голубка моя. Хочешь, пофантазируем? Я вижу не нынешнее село Ермаковское, где псы за заборами воют да кучи навоза гниют у дворов, веточки во всем селе не найдешь, иди за веткой в тайгу. Вижу другое село Ермаковское. Там большой яблоневый сад. Зацветет, будто на несколько верст разлилось белое море. Пчелиный хор гудит... А осенью выйдешь рано утром, сад весь обрызган росой, за ночь под яблонями нападали румяные яблоки...

Он закашлялся отрывистым кашлем. Темная струйка крови вытекла изо рта и окрасила белую рубашку. Тоска темно поглядела из глаз.

— Мой Толь, мой большой Толь! — лепетала Доминика, вытирая струйку крови у него возле рта.— Ты поправишься, все пройдет, ты поправишься, Толь, ты поправишься!

Она твердила, как заклинание: «Все пройдет, ты поправишься». Вдруг черная молния ворвалась в раскрытое окно и стремительным зигзагом прочертила из угла в угол комнату. И исчезла.

Доминика вскрикнула и, упав лицом в ладони, зарыдала громко, навзрыд.

— Не пугайся, Ника, голубчик, это стриж залетел. Это, наверное, стриж.

Она не могла унять рыданий, вся тряслась, закрывшись ладонями. Он печально повторял, утешая ее:

— Ника, не плачь. Ника, не плачь.

16

Владимир Ильич стоял у конторки, заложив большие пальцы за проймы жилета,— сентябрь начинался холодом, ветрами. Саяны кутались тучами, обмелевшую за лето Шушу хмурила серая рябь, было зябко, и Владимир Ильич с утра «утеплился» жилетом, намереваясь работать до обеда. Работа до крайности была важная: он обдумывал проект Программы Российской социал-демократической партии, делал наброски. Он был в том состоянии полнейшей сосредоточенности, полнейшего погружения в мысли, когда мог не заметить, если бы вдруг за окном разгремелась гроза.

Но присутствие Надежды Константиновны, которая писала тут же за столом, он все время чувствовал и был рад, что она здесь, в комнате, что милое ее лицо как-то особенно ясно сейчас и задумчиво. Надежда Константиновна писала брошюру о женщине-работнице. Материалы для этой брошюры она собирала еще в Питере, когда ходила по фабрикам, вела пропаганду среди рабочих. Особенно помнилась фабрика Торнтона на том берегу Невы, за Невской заставой. Как тяжко, невыносимо тяжко было ткачихам на фабрике Торнтона! Гасла молодость, сохло тело, увядала душа, кажется, еле теплилось само желание жить. Мучительно двенадцатичасовое стояние за станком, без отдыха, в душных, сырых помещениях. Болит от пыли грудь, глаза гноятся. Страшная жизнь! Женщины-работницы! Ничто вас не спасет, ничто, боритесь с проклятым самодержавным строем. Вступайте в борьбу!

Надежда Константиновна хотела написать об этом просто, понятно. Очень понятно, очень убедительно! Именно для работниц она писала свою брошюру. Она видела перед собой их истомленные лица и потухшие, без блеска глаза. Страдала их болью. Ненавидела эксплуататоров-фабрикантов, о своей ненависти хотелось ей

написать жгучими, разящими словами. Слова приходили не сразу. Она переписывала по многу раз каждую страницу, конец был нескор, но она всей душой отдавалась работе. Наверное, книжка ее будет полезна революционному делу, а только об этом она и мечтала. Еще ей было очень приятно, что Володя одобрял ее замысел.

Так прошел час, другой в сосредоточенной тишине, только слышалось поскрипывание перьев.

Но вот в дверь постучали негромко. Надежда Константиновна кинула взгляд на Владимира Ильича. Углубленный в мысли, он не услышал стука. Она оставила рукопись и вышла.

— К Владимиру Ильичу за советом,— сказала Елизавета Васильевна.

Пошептались, как быть. Жалко отрывать Владимира Ильича от работы, а что делать? Старик больше тридцати верст прошагал осенней дорогой — не отсылать же обратно. Владимир Ильич не отказывал приходившим в любое время крестьянам. Старика впустили. Он вошел, держа завязанную в кумачовый платок кринку. Поискал икону в углу, не нашел и поспешным крестом закрестился на окно, за которым шатался от ветра осенний жиденький куст и виднелись Саяны, задернутые клубящимся занавесом туч.

— Садитесь, пожалуйста.

Старик пугливо моргнул и опустил сначала на пол у табурета кринку в кумачовом платке. Владимир Ильич стоял возле конторки, всунув пальцы за проймы жилета, и, слегка склонив голову набок, слушал рассказ старика. Если присмотреться внимательнее, оказывалось, что крестьянин был не так уж стар, что его борода и остриженные скобкой волосы не седы, а выцвели от солнца, что морщины на лице не от лет, а, должно быть, от тяжелого труда и заботы. На нем была холщовая рубаха без пояса и стертый армяк. Его звали Сидором Марковичем.

— Продолжайте, Сидор Маркович,— подбодрил Владимир Ильич.

Сидор Маркович рассказывал долго, моргая и отводя в окно слезящийся взгляд.

— Лошадные мы, не скажу, что кругом бедняки, нынче молотьба, баба моя с кобыленкой нашей на помочи у брательника, они нам, мы им, в крестьянстве без помочи нельзя. А я пешочком собрался, мне нипочем, я и полста

верст за день отмеряю, в летний-то день. По осеннему времени с ночевкой, надо рассчитывать, туда-сюда не обернешься до ночи, там, гляди, погода задует, с Саян неурочно понагонит метели, в нашей местности, случалось, под самым двором до смерти заблудятся, а мне семерых мал мала меньше сиротить неохота.

Он никак не мог подобраться к сути вопроса, все кружил около, но Владимир Ильич, не торопя, слушал его. Дело было вот в чем. Старшую дочь Сидора Марковича, девицу Анфису восемнадцати лет, отец с матерью отпустили в работницы к богатому мужику в их же деревне за двадцать целковых в год. Девка просватана, а приданое плохонькое, сряду захотелось справить кой-какую, сама отпросилась в работницы. Жених подходящий, хозяйство у будущего свекра не так чтобы слишком завидное, однако не бедствуя можно прожить, ежели в будние дни не сидеть на завалинке. Все вроде бы как по маслу шло для Анфисы, уж и свадьбу назначили в воскресенье после покрова дня сыграть, да вдруг неделю назад прибежала от хозяев Анфиска, как холст белая, без лица. Заперлись с матерью в чулане, ревут. Отец вокруг чулана и так и сяк ходит, и постучит. Напрасно, однако...

Пастух стадо пригнал, тогда отперлись. Анфиска ужинать не садится, платок на брови спустила, темнее ночи. Захолонуло у отца сердце — беда! До беды не дошло, а рядышком было. Не стало Анфисе проходу от хозяйского парня. Подстерегает по темным углам, она и по-доброму и худым словом отказывается, нет на хозяйского сына управы, только что не насильничает, а грозит... Прибежала девка спасаться домой. Месяц оставался до срока, в покров день как раз сравнялся бы год, но она убежала, а они — уговор нарушила, не будем платить. Выходит, одиннадцать месяцев задаром работала девка?

— Да-а-а,— задумчиво сказал Владимир Ильич и медленно прошелся от конторки вдоль комнаты, мимо окна, где Надежда Константиновна прислонилась плечом к раме, слегка откинув голову, оттянутую тяжелой косой.

— Что «да»-то? — испугался мужик.— Задаром, значит? На приданое девка старалась. Одного месяца не дотянула. А как и тянуть-то? Дотянешь, пожалуй. Жених-то узнает, он парень честный, они по любви сосватались, он ее дожидается, он, как узнает, изувечить от обиды

может охальника, засудят его за увечье, навек себя с Анфиской несчастными сделает. Анфиске перед народом стыдно, и не виновата, а стыдно...

— Господи боже мой, да чего ж ей стыдиться! — всплескивая руками, воскликнула Надежда Константиновна так горячо и отчаянно, что мужик с удивлением на нее обернулся, а Владимир Ильич бросил шагать.— Ей не стыдиться надо, она уважения заслуживает! Анфиса гордая, чистая девушка. И жених у нее благородный. Надо поддержать в них их чистоту и достоинство, ведь есть же правда на земле? Ты согласен, Володя, нельзя такой случай оставлять, такой возмутительный случай... Тут ее девичья честь, их молодое счастье, их человеческое право — нельзя же бросать все на поругание и издевательство кулаку, нельзя, нельзя, нельзя! — повторяла она, крутя пуговку на рукаве. Оторвала и смешалась. Застенчивая в выражении чувств, она смутилась.— Володя, нельзя так оставить...

— Разумеется, нет.

Он подошел, притронулся к ее плечу, мгновение глядел на нее с выражением радостной и удивленной любви.

— Видать, вы люди-то ничего, промеж себя живете по-божески,— заметил мужик.

— А вот этого нельзя сказать, что по-божески,— круто повернувшись, с веселой искрой в глазах ответил Владимир Ильич.— Живем по-человечески. Итак...

Он шагнул к конторке, взял перо.

— Обратимся в суд?

Мужик ерзнул на табурете. На его задубелом от ветра лице появилось что-то тупо-испуганное.

— Не то,— сам себе ответил Владимир Ильич.— Обращаться в суд, значит, подвергать испытаниям стыдливость и самолюбие девушки. Почему ушла из батрачек до сроку? Потянутся подлые сплетни. Нет, в суд не будем пока обращаться. Но кулаку судом пригрозим... Паша!

Она влетела в эту знакомую, но чаще всего для нее закрытую комнату, где до потолка поднималась полка с книгами, а передний угол занимала конторка, та конторка, за которой писались сочинения о революционной борьбе, письма, планы, заметки, статьи, протест против кредо, за которой обдумывалась Программа Российской социал-демократической партии.

— Вот что. Я буду диктовать, а ты пиши,— сказал Владимир Ильич.

Она села к столу, взяла ручку с пером и с великой охотой ждала.

— Итак, Сидор Маркович, мы обращаемся в волостное правление и требуем, чтобы хозяина заставили оплатить выполненную работу, требуем защиты прав, да, именно прав...

— Э! — перебил мужик и махнул рукой.

«Зря я, видно, пришел, не найти мне для моей Анфиски помощи»,— подумал мужик.

— Э! — сказал он.— Разве они, в волостном правлении, станут из-за простой девки с богатым вязаться?

И снова махнул рукой, вовсе пав духом.

— Станут,— невозмутимо возразил Владимир Ильич.— Как еще станут, когда мы судом пугнем. Мы найдем юридическое обоснование подать на них в суд, мы им заявим, что в случае... Но, скорее всего, они не решатся доводить до суда. Итак, Паша, пиши. Отчего не я сам? Мой почерк им слишком известен. Заявление пишет отец, вернее, подписывает. Конечно, они догадаются, что кто-то, знающий законы, стоит за отцом. Так и нужно, пусть догадаются...

Владимир Ильич продиктовал первую фразу, заглянул Паше через плечо: круглые буковки старательно выстроились в ровную строчку.

— За чистописание ты, Паша, безусловно заслуживаешь пять, даже с плюсом...

Паша зарделась от радости.

А сторожившая, как всегда, у порога Женька подняла морду, насторожила охотничьи уши и громко забарабанила об пол хвостом. Владимир Ильич распахнул дверь.

— Так и есть! Соседняя нам держава с дружественным визитом, а?

Леопольд перешагнул порог. Он был необычный, чем-то стесненный, не глядел прямо, прятал глаза.

— Здесь еще не прошло? — участливо усмехаясь, спросил Владимир Ильич, наставив палец прямо на сердце ему.

Леопольд вспыхнул. Он вспыхивал мгновенно, огненно, бурно. И мгновенно бледнел.

— Отец сказал про письмо. Если бы не вы...

— Милостивый государь, речь не о том.

— И о том... в первую очередь.

А о чем во вторую? Никто не знал, что на душе Леопольда. На душе у него лежала обида. Леопольда обидели. Кто? Владимир Ильич. В важный час, когда сзывают друзей, Леопольда забыли. Кто? Владимир Ильич!

Когда все поехали в село Ермаковское, Проминский-отец не поехал. Укутанный всеми заячьими шубками, нашитыми за зиму ребятишкам для дороги домой, отец трясся в ознобе, мать отпаивала его липовым чаем. Леопольд почти не уснул в эту ночь. Ворочался, надеялся, мучался. Вскочил до рассвета. Но его не позвали. Вдалеке он услышал бубенчики... Владимир Ильич мог бы сказать: «Наш молодой товарищ Леопольд Проминский безусловно будущий член нашей партии. Залезай в телегу, Леопольд, едем в село Ермаковское».

Ведь Леопольд знал, зачем они туда едут: подписывать протест против «Кредо». И отец подписал. Владимир Ильич вернулся из села Ермаковского, принес отцу протест для подписи. Отец поставил подпись: Проминский... А Леопольда не позвали.

Никому Леопольд не сказал про обиду. Ходил уязвленный и скрытный, пряча глаза. А, кажется, Владимир Ильич о чем-то догадывается.

— Ответа отцу еще нет? — спросил Владимир Ильич.

— Еще нет.

— Ну, садись, пиши. Вот что, Паша, голубчик, слишком девичий у тебя почерк для такой серьезной бумаги. Необходимо мужское перо.

Прошение получилось убедительное и ясно доказывало, что закон и правда на стороне убежавшей от насилия кулацкого сына Анфиски. Мужик вывел каракулями под прошением подпись, вспотел от пережитого, сложил вдвое бумагу, спрятал на дно шапки.

Зачем он шапкой дорожит?
Затем, что в ней донос зашит,
Донос на гетмана-злодея
Царю Петру от Кочубея,—

прочитала Надежда Константиновна.

Мужик крякнул, поскреб затылок пятерней.

— Люди вы... будто и просты, а мудрены. А ничего не скажешь, душевные. Прими благодарность, хозяюшка.

Он поднял с пола кринку, завязанную в кумачовый платок.

— Что вы? Что вы? Да как вы надумали?

— А што? Чай, не задаром хозяин твой над бумагой мозги шевелил. Задаром-то кто рази станет стараться?

Владимир Ильич выступил вперед.

— Кто вам бумагу писал, не говорите никому. Ответят отказом, приходите еще за советом. Надеюсь, отказа не будет. Кринку свою забирайте, нам не надо, спасибо, несите домой. С ночлегом устроились? Погода неважнецкая, остерегитесь в дорогу пускаться. Завтра уж лучше с утра... До свидания. Желаю удачи.

— Счастья дочке! — вставила Надежда Константиновна.

Озадаченный мужик вышел в соседнюю комнату, неся в узелке кринку да крепко прижимая шапку с бумагой под мышкой. Снова задача. В соседней комнате он увидал у стола на деревянном диванчике пожилую женщину в белой кофточке. Дымя папиросой, женщина читала толстую книгу.

— И-их! Бабы-то рази курят? — не удержался мужик.

Она подняла от книги насмешливый взгляд.

— А со своим уставом в чужой монастырь не суются.

— Поназгляделся я у вас, наслушался, не разберешься никак.

И, поведя головой на дверь, откуда вышел, опасливым полушепотом:

— Сын?

— Зять,— ответила Елизавета Васильевна.

— Строгонек зятек. Страху вам, чай, задает?

— Не без этого, когда заслужено. За дары, видно, досталось? — Она кивнула на кумачовый узелок у него в руке.

— Велики ли дары! Маслица коровьего накопили фунта, чай, с три, все и дары. Домой, говорит, отнеси. А зачем мне его домой относить, ежели оно для другой у нас надобности? Бумага писана? Писана. Должон я его отблагодарить? Мамаша, хоть ты прими, а?

— Не вводи в грех. Он как рассердится, из дому убегай. Я и сама рассердиться могу.

— Что ты скажешь, ни там, ни тут не подступишься! Чудные вы люди, дело-то сделано, вон оно, прошение-то,

упрятано в шапке. После дела-то чего бы не принять благодарность-то, а?

— Не примем. И не кланяйся понапрасну. Не ровен час, зять услышит, будет нам с тобой!

— Ну, люди! Ну, спасибо вам, ну чудны, ну чудны! Спасибо. Прощайте покудова.

Надел шапку, приплюснул на затылке и ушел.

У Владимира Ильича все еще разговаривали. Надежда Константиновна стояла у стола. В окно дуло, обхватив себя за плечи, ежась от холода, она говорила:

— Гадкая история, гадкая, с этим кулацким сынком, кулацкой эксплуатацией! А девушка хорошая. И жених у нее непримиримый, прямой, и меня ужасно трогает его любовь и доверие. Так доверчивы только чистые люди, совсем чистые сердцем.

— Ты услышала больше, чем он рассказал,— заметил Владимир Ильич.

— Нет, Володя, он очень точно это представил, как парень бросится защищать ее честь. И ведь ему, этому парню, даже в мысль не войдет и подозрения не явится, что она в чем-то виновата, вот это и есть прямота, это и есть доверие, а без доверия и прямоты нет любви, нет дружбы.

Владимир Ильич улыбался какой-то особенной ласкающей и доброй улыбкой. Наступила пауза. Леопольду представилось, все глядят на него. И ждут. А это он сам ждал от себя, хватит у него смелости или нет сказать прямо, что на душе.

— Владимир Ильич, я на вас обиделся,— сказал Леопольд.

И как провалился сквозь землю. Зачем бухнул? Все-то он обижается, что ему делать с собой! Что теперь будет? Скажет Владимир Ильич: «Ну и ступай себе подобру-поздорову, если уж такой обидчивый. И дорогу к нам позабудь».

Но Владимир Ильич сказал совсем наоборот:

— Знаю, чем ты задет, Леопольд. Но ведь тогда у нас было сугубо партийное собрание. Нельзя было тебя звать. Ты должен понять, а не обижаться. У тебя еще все впереди...

— Батюшки светы! А обед-то без пригляду варится! — вскрикнула Паша и кинулась в кухню. Как на по-

жар. Она на всякую работу кидалась как на пожар. К колодцу бегом, к печке бегом.

— ...Ты напрасно обиделся, а что не затаил, открыто признался, это ты правильно сделал.

Услышав такие слова Владимира Ильича, Леопольд бормотнул что-то невнятное, вроде «я и сам так думаю», и скорее ушел вслед за Пашей, вернее, сбежал. Надо было ему побыть одному и во всем разобраться. Однако вместо того, чтобы побыть одному, он, проходя мимо печки, где Паша гремела ухватом, снова неожиданно для себя бухнул:

— Паша, выходи к Шуше за дом, буду ждать!

И выскочил на улицу, не опомнясь от того, что сказал. Не ожидал, что назначит свидание!

«Без прямоты и доверия нет любви, нет дружбы». Правда, правда! Как удивительно. А скоро совсем новое наступит для меня. Прощайте, Саяны! Вон вы какие ясные, чистые, ветром развеяло тучи, и вы стоите, облитые снегом и светом громады. А за громадами не конец земли, а воля. Владимир Ильич сказал: «У тебя еще все впереди». Поскорее наступай, мое «впереди»! Вот и осень. Земля твердая, стучит под ногами. Трава увяла. Падают листья с деревьев, все голее в природе, холоднее. Только отава зелена, и все равно видно, что осень и Шуша осенняя торопится в Енисей, пока не замерзла, рябая от ветра, ветер гонит течение. Шуша, прощай!

Леопольда продувало насквозь, он поднял воротник и шагал по берегу. Вдруг она не придет? Сердце колотилось. Он никогда не думал о Паше, как сегодня. Он думал сегодня о ней как-то особенно. «Паша, приходи, скорее приходи!»

Она прибежала, когда он совсем закоченел.

— Ну что? Для чего кликал? Секрет, что ли, какой? Да ты весь замороженный! Иззяб? Ой, да ты весь дрожишь, Леопольд!

Она быстро бросала вопросы, и сквозь оживление и свет, брызгавшие из ее глаз, прорывалось беспокойство.

— Секрет, что ли, какой?

— Секрет.

Как холодно. Он дрожал от холода.

— Скоро всем станет известен наш секрет. Что мы в Польшу уедем. Татусь сначала скрывал, а теперь не

скрывает. Через месяц у нас кончается ссылка. А денег на дорогу нет. Владимир Ильич составил для отца прошение, чтобы нам на дорогу дали денег; теперь недолго ждать, скоро будет ответ. Ты заметила, Владимир Ильич конспиративно об этом сказал, что речь не о том? А речь-то о том как раз, о прошении. Мы домой собираемся. Через месяц уедем в Польшу домой.

Она молча слушала, оживление на ее лице угасало.

— Я во сне вижу Польшу каждую ночь. Поезд идет по Польше, и я вижу хуторочки, сады, старинные замки, рвы, деревни или маленькие города с черепичными крышами и костелы, высокие башни — это все Польша. Приезжаем в Лодзь. Там целый темный лес труб, целый лес! Красиво, что много труб тянется к небу и над ними лиловая туча, это дым от заводов, и вдруг вырвется красное пламя, и слышно, как стучат станки и... Паша...

Она, всхлипывая, вытирала кулаком щеки, пшеничная коса свесилась с плеча и качалась.

— Паша!

Он схватил ее руки и отвел. На него глядело опечаленное личико с размазанными по щекам слезами.

— Паша... Татусь и матка тебя, как дочку, будут жалеть. Мы на завод с тобой в Лодзи поступим. Я тебя люблю.

Несколько секунд они стояли пораженные тем, что он сказал.

— Люблю. Верно, люблю. Очень люблю. Всегда буду тебе доверять. Никому тебя обидеть не дам...

— А сам уезжаешь.

— Паша. Ведь я там родился. Я поляк. А ты приедешь к нам в Польшу, к нам, навсегда. Мы работать пойдем. Будем рабочим классом. Революционерами будем.

— Как я своих-то оставлю! Мамку жалко.

— Мы позовем ее в гости к нам в Польшу. А Ульяновым все равно скоро ссылка кончается. Уедем отсюда, устроимся дома, напишем тебе. И вызовем тебя. У нас в Польше не такие крыши, как здесь, у нас черепичные крыши. Поглядишь, при дороге красные маки! А в Лодзи заводы, фабрики. И трубы, помню, как черный лес...

Она закрыла лицо концом платка, колеблясь и му-

чаясь. Странное видение манило ее, черные трубы, уходящие ввысь, лиловое небо, и толпа людей идет на грозное зарево, и Леопольд впереди толпы, с бледным лбом и пылающим взором, несет красное знамя. Такое видение представилось ей.

— Обещай, Паша.

Она не знала, что ответить. Грозное, странное, новое звало и страшило ее. Неужели Леопольд уедет из Шушенского? Как ей быть без него? Без их встреч, разговоров, его книг и рассказов о Польше? И Ульяновы уедут, ее дорогие хозяева! Нет! Лучше не думать об этом. Еще не скоро, долго еще. Лучше не думать. Не спрашивай меня, Леопольд! Что ты спрашиваешь? Иззяб, беги домой греться на печке, чудной Леопольд, зачем ты спрашиваешь?

17

Даже для Сибири осень рано наступила в этом году. Из Красноярска вышел вверх последний пароход. Опоздай Прошка немного, и тащиться бы ему в Енисейск или Туруханск или еще подальше на север, где уже сейчас с Ледовитого океана наползают снежные тучи, воя, несется по тундрам пурга, ночные заморозки до дна вымораживают лужи на дорогах.

Прошке повезло — отбывать ссылку определили ему не в северных краях, на последний пароход к верху успел и в этот хмуренький холодный денек выезжал на подводе с возницей вдвоем из города Минусинска в назначенное ему место. Про село, куда его высылали, Прошка ничего не знал, кроме названия. А что в названии? Все незнакомо Прошке. Плоский одноэтажный город Минусинск с развороченной колесами грязью по колено на улицах и дорога, по которой они ехали,— все незнакомо. Дорога песчаная, сыпучая, и лошаденка, хоть и сытая, тужилась, мотая головой, и везла телегу упорным, нелегким шажком. Проехали сосновый бор, глухой, суровый, затихший как перед бурей.

— Но, ты! — понукал возница лошаденку.

Лошаденка жилилась, мотая головой. Спуски да холмы. Широко видно вокруг. Пустынные степи. Черная тайга на горизонте. Ноет у Прошки душа. Чем дальше от дома, тем милее вспоминается прошлое. Дома-то у

Прошки нет. Немного, наверное, найдется на свете таких одиноких сирот! Он молодой, будет и у него когда-нибудь свое счастье, а сейчас всю дорогу Прошке вспоминается подольская встреча с Ульяновыми.

За долгое последнее время это была его самая сильная и светлая радость. Анна Ильинична его спасла. Что было бы с ним, если бы в тот вечер она не выбежала к калитке? От голода и неправды, которая на него навалилась, он стал ненавидеть весь мир. Оскаливался на людей, как волчонок.

Ульяновы его спасли. Накормили, одели, обули, уложили спать на своей подольской даче в чистой постели. Оттаяли теплом своим ему сердце. Замерзало у него сердце, а они отогрели.

Анна Ильинична поглядела на другое утро его документ с печатью и подписями департамента полиции, посовещалась с родными. Родные решили:

— Тут у тебя написано число, когда надо под арест являться, а час не написан. Давай-ка отдохни у нас денек, еще насидишься в тюрьме.

Прошка прожил на подольской даче день. Могли наползти за ночь тучи, мог хлестать дождь, хлопать ставнями ветер... Не было туч. Не было дождя. Не было ничего, что хоть чуть омрачило бы Прошкин праздник. Было солнечное августовское небо. В саду сильно пахли разогретые солнцем флоксы, выся над клумбой сиреневые и розовые шапки. Слепили сверкающей синью быстрые извивы Пахры под высокими берегами. Радостная малиновка свистела в кустах.

А в доме в маленьких комнатах с желтыми полами было черное пианино и книжные полки на длинных шнурах, тесно набитые книгами.

— Покопайся в книгах,— сказала Анна Ильинична, перехватив его жадный взгляд.— До обеда мы все заняты, а потом поговорим.

Она поднялась наверх заниматься своими делами. Матери не было видно. Все разъехались и разошлись на службы. Прошка один, неловкий от нетерпения, принялся вытаскивать с полки книги.

Вытащил Бальзака «Отец Горио». «...пусть наша повесть и не драматична в настоящем смысле слова, но, может быть, кое-кто из читателей, закончив чтение, прольет над ней слезу...» Он проглотил несколько страниц.

Отложил со вздохом. Запомнил: «Надо достать, прочитаю».

Вытащил Толстого. «Все счастливые семьи похожи друг на друга, каждая несчастливая семья несчастлива по-своему. Все смешалось в доме Облонских».

Вытащил Лермонтова.

Ночевала тучка золотая
На груди утеса-великана;
Утром в путь она умчалась рано,
По лазури весело играя;
Но остался влажный след в морщине
Старого утеса.

На него нахлынула прежняя страсть. Он завидовал этим книжным полочкам на длинных шнурах. Хватал книгу, пробегал страницу, перекидывался от начала к концу. Он забыл сесть и, не присаживаясь, простоял весь день, не помня времени, у книжной полки. Счастливый день! Послышались шаги. Вошла Мария Александровна.

Необъяснимо Прошка чувствовал силу и властность в этой маленькой седой женщине. Они сели. Она заговорила без вступлений, неторопливо, негромко о том, что его жизнь началась испытанием, несправедливостью, но не надо все время думать об этом, не надо все время жалеть себя, жалость к себе расслабляет человека, а надо жить мужественно и надо ясно знать основную задачу своей жизни.

Она говорила спокойно, как о самых обыкновенных вещах, а Прошка в изумлении думал: «И она, значит тоже... Но ведь она старая, она музыкантша! Но у нее был сын Александр. У нее сын Владимир Ильич. И Анна Ильинична. И Дмитрий Ильич... Вот какая она мать...»

У Прошки в ушах звучала вчерашняя музыка. Он не смел попросить Марию Александровну сыграть еще. Черное пианино с барельефом Моцарта было закрыто. Но Прошке все время слышалась музыка, под которую он шел вчера от калитки с Анной Ильиничной через темный сад на свет лампы.

Счастливый день! Прошку любили. Заботились о нем. Давали советы, собирая в тюрьму и сибирскую ссылку.

А солнце двигалось к полудню. Постояло в зените, заливая зноем маленький садик подольской дачи, ри-

суя яркие квадраты на желтых полах, и стало клониться к западу. Счастливый день шел к концу.

На первое время Прошка вез с собой пять книг, подаренных Анной Ильиничной. На первое время, а там будет видно. Анна Ильинична говорила, прогуливаясь с ним по дорожке их подольского садика:

— Ты должен учиться. Смотри, чтоб из ссылки вернуться образованным и культурным, смотри у меня.

Она составила ему программу, что читать. Велела выучить иностранный язык.

— Не сможешь? Новости! Все могут, а он нет. Приедешь на место, оглядишься, тогда напиши. Рассказать тебе, каких я знаю рабочих?

Она не называла фамилий, но ее знакомые рабочие много были Прошки повыше по культурному и политическому уровню.

— Не догнать мне их.

— Захочешь — догонишь.

Выползло из-за облака солнце, побежало лучом по полям. Что-то ровное, плоское, как огромное блюдце, блеснуло, засияло голубым и серебряным. Озеро. А вон деревня. Въехали в деревню. Остановились у трактира.

— Отдохнем, однако, часок.

Пока лошади задавали корму, Прошка пошел по деревне размять ноги. Большая деревня, сибирская, с крепкими избами, высокими заборами. «И меня в такую же завезут на три года. А если там ни школы, ни учителя, ни одного политического, ни единой книги?» Ему стало жутко. Пока сидел в Бутырской тюрьме, ожидая этапа, потом в Красноярской пересыльной тюрьме, Прошка узнал политических. С ними было ему интересно. Потом их разлучили. По неизвестным причинам разослали в разные села. Опять он один...

«Не хнычь. Не жалей себя. Нельзя жалеть себя. Жалей других».

Тянется дорога. Мотает головой лошаденка. Снова гора, да высокая, крутая. Прошка в жизни не видывал таких крутых гор!

— Что за гора?

— Думная.
— Отчего ее так назвали?

Возница промолчал, и они пешком пошли в гору, держась за края телеги. Осилили перевал — влезли на телегу, возница щелкнул кнутом.

— Задумаешься, как взбираться на нее, оттого и Думная. Но-о, ты!

После Думной горы вдалеке на горизонте поднялись слева могучие великаны хребты. Вот они, Саяны, в сверкающих ледовых шапках, с ползущими вниз по расселинам лиловыми и синими тенями и резкой белизною снегов. Вот она, Сибирь. Ее великанские горы, неприступная тайга, рыжие осенние степи. Узкая речонка течет в низких берегах. Вдруг... Что это? На развилке дорог верстовой столб. На столбе крупно намалевано черным:

«Село Шушенское, 12 верст».

У Прошки екнуло сердце. Куда им ехать? Мимо по тракту? Или проселочной дорогой на Шушенское? Он зажмурился, у него бухало в ушах и в груди, словно в колокол били.

— Но-о, сытая! — понукал возница.

«Сворачиваем»,— почувствовал Прошка. Приоткрыл глаз. Свернули. Едем в Шушенское.

За Прошкину жизнь случилось с ним два чуда. Первое то, что в Подольске нечаянно набрел на Ульяновых. Второе сейчас: в двенадцати верстах село Шушенское.

Анна Ильинична сказала: «Брат живет в Шушенском. Может, не так далеко тебя ушлют, может, удастся встретиться...»

— В Шушенское нам зачем? — стараясь не выдать душевный переполох, притворно безразличным голосом спросил Прошка возницу.

— Поздно из городу выбрались. Заночевать, однако, придется,— буркнул возница.

«Вот человек, молчун. Может, горе у него, оттого и молчун. Может, жена у него больная, оттого и буркает. Или сибиряки все такие? Природа у них суровая, и они суровые. Зато надеяться можно, не выдадут. На суровых иной раз вернее надежда, а ласковый иной раз затем и ласков, что двух маток сосет...»

Прошка бросил наблюдать за окрестностями, глядел и не видел, голова его была занята мыслями о том, как

бы перехитрить возницу и улизнуть к Владимиру Ильичу, когда они остановятся в Шушенском на ночевку. Может, возница не будет против. А если не пустит? «Не велю, и все». Имеет он право не велеть? Ничего Прошка не знал. Темный, политически необразованный Прошка. Немало перечитано книг, а ничего не смыслит Прошка в практических делах, хоть и рабочий класс, а не смыслит.

Жизнь научит, однако. На то и жизнь, чтоб учить.

— Т-пр-р-ру! — остановил возница кобылу возле заезжего двора. Кобыла подобрала хвост, повесила морду. Пока возница распрягал кобылу, предъявлял кому-то Прошкино проходное свидетельство, пока босая толстопятая баба в сборчатой юбке вздувала самовар в постоялой избе с широкими лавками и русской печью, живой от тараканов, Прошка томился, не зная, как подступить к молчуну-вознице. А вышло все просто.

— Ступай,— по первому слову отпустил Прошку возница. Что не отпустить? Что ему опасаться? Отсюда не убежишь, из села Шушенского, в шестистах верстах от железной дороги, а тем более в осеннее время, когда туманами дымятся Саяны, неприступно гудит и воет тайга, рыщут волки по дорогам. Куда побежишь? Течет речка Шуша вдоль села Шушенского. Дальше Шуши Саяны. Дальше Саян край света. Не убежишь.

— Где тут ссыльный живет? — спросил Прошка на улице первого встречного.

— Какого тебе? У нас они не переводятся. Наша местность для них в самый раз.

— Ульянов Владимир Ильич.

— А-а.

Прошке показали тихий проулочек. В конце проулка, предчувствуя зиму, застывая, медлея, течет река Шуша. Над самой Шушей Прошка увидел дом. И заметил крылечко с двумя деревянными столбами вроде колонн. И заметил во дворе беседку, увитую коричневой, уже зачахшей от осенних морозов листвой. Прошка не знал, что эту круглую беседку собственноручно сделал Владимир Ильич, но беседка ему понравилась. И даже чем-то смутно напомнила подольскую дачу. А навстречу ему шла девушка с коромыслом, чуть сгибая плечи под полными ведрами. В одном сарафане, несмотря на холод, в полушалочке, круглощекая, синеглазая, кре-

пенькая. Улыбка сбежала с лица Паши, при первом вопросе:

— Здесь Владимир Ильич Ульянов живет?

Паша помнила... Жандармы тогда вломились среди ночи. На плечах у них были погоны, револьверы в черных кобурах у пояса. Паша перепугалась, когда без спросу, грохоча сапогами, полезли они в комнату Владимира Ильича. Женька вздыбила на загорбке шерсть и завыла. Елизавета Васильевна села на деревянный диванчик и, глядя на закрытую к Владимиру Ильичу дверь, молча курила одну за другой папиросы. У Паши стучали зубы: «дз-з-з-з».

— Не трясись,— сердито велела Елизавета Васильевна.

Они обе молчали, прислушивались. Там чем-то грохали, падали книги. Пепел рос горкой перед Елизаветой Васильевной.

— Пронеси, пронеси, господи! — шепотом молилась Паша, больно прижимая к груди кулаки.

Ничего крамольного не нашли тогда жандармы на книжной полке Владимира Ильича. Может, и не было крамольного. А может, и было. Надежда Константиновна сама прибрала после обыска бумаги и книги.

Прошка на жандармов не походил. Но Паша все же сухо спросила:

— Зачем тебе Владимир Ильич?

Но она уже догадалась, что этот парень, худущий, с каким-то удивленным и вместе открытым лицом, пришел к ним без камня за пазухой. А, во-вторых, она чувствовала, этот парень глядит на нее восхищенно. Конечно, ей нравилось, когда ее красотой восхищались.

— Ну, чего тебе надо? Ты нездешний? — добрее спросила она.

— Ссыльный.

— Ой!

Пашино «ой!», так часто срывавшееся с ее губ, могло выражать самые различные чувства: изумление, радость, участие, но только не холод. Прошка понял, что здесь его ждет доброта.

— Давай, я ведра-то снесу. С полными встретил, к удаче.

— Располагай, что к удаче. А донесу сама. Мы привычны. Входи в дом, гостем будешь. Сссыльный. А я

думала, новый вестовой какой из волости. Как тебя звать?

— Прошка... Прохор,— поправился он. («Сейчас скажет: «Прошка, глазищи как плошки».)

— Ой! У нас во всем Шушенском Прохора нет. Откуда ты такой заявился? Прошка. А подходит. Ты Прошка и есть. Как угадал поп имя для тебя припасти, подходящее уж больно.

— А тебя как зовут?

— Пашей зовут. Входи. А Владимира Ильича с Надеждой Константиновной нет. Рано утром уехали. Завтра, может, к вечеру будут.

И не сбылось чудо. А что будет завтра, увидим.

Женька вскочила от порога и, энергично виляя хвостом, тявкнула раза два, встречая Прошку добродушным лаем.

— Она у нас безошибочная, хорошего человека от худого зараз отличит,— сказала Паша.— Проходи к столу, садись, гость.

Сама опустила ведра на пол. В ведрах плавало сверху по круглой дощечке, вода не расплескивалась. У печки бушевал и плевался горячим паром самовар под трубой. Маленькое, до голубизны бледное существо складывало на полу самодельные, расписанные красками кубики. Серьезно, недетски поглядело на Прошку.

— Ты прошение пришел к нам писать?

— Нет, это Прошка, высланный к нам. А это Минька. Они латыши, отца к нам на поселенье прислали, отец катанщик, а зовут не по-нашему — Кудум. Валенки катает. А пьет! Что заработает, то и пропьет. Владимир Ильич с Надеждой Константиновной Миньку жалеют. Минька, чай сейчас станем пить. Прошка, а ты еще и порядков наших не знаешь. Утром проверка, под вечер опять же проверка, удостовериться, на месте ли ты. А то унтера жандармского из города принесет с объездом, поумней тогда надо. Если что есть неразрешенное, прячь.

— Кого ты там обучаешь?

Вошла женщина в белой кофточке, неся в руках шитье и книгу под мышкой, заложенную спичкой на странице, где, видно, читала. Пожилая женщина, гладенько причесанная, с широким белым лбом и смешливым взглядом.

— Откуда гость?

— Он, Елизавета Васильевна, высланный к нам.

— Шутишь! Докатилось начальство — ребятишек ссылать принялось. Чем ты их напугал?

Она посмеивалась, но улыбка у нее была душевная и звала к откровенности. Но Прошке запомнилось: «Не жалей себя. Жалость к себе расслабляет». И он не стал рассказывать, как его предал и засадил в тюрьму почитатель Екатерины Дмитриевны Кусковой Петр Белогорский.

— Если я молодой, так наше главное в будущем,— бодро тряхнул Прошка вихрами.

— Когда так, будем пить чай.

Минька бросил складывать кубики и приковылял на кривых ножках к столу, вытянув тонкую шейку, высматривая, не поставлены ли в стеклянной сахарнице конфетки.

— Будет тебе конфетка, голубенький,— сказала Елизавета Васильевна.

Прошке она показалась ничем не замечательной старой женщиной в белой кофточке. Вот разве лишь любит читать! Это Прошка вмиг угадал. Хотя бы по тому, как она вошла с книжкой и положила возле себя на столе. А сама принялась шить, пока Паша даст чай. Прошка не знал, как смело и гневно поручик Крупский воевал с бесчинством царских чиновников в Польше и всюду, где ему приходилось служить, и как жена говорила ему: «Что бы ни было, я с тобой».

Сейчас Прошке было не до того, не до Елизаветы Васильевны Крупской. О чем бы ни говорили, он видел Пашу, одну Пашу. Странное что-то творилось с ним! Он был счастлив и несчастлив. Он не загадывал и не думал о будущем. Думал о том, что скоро надо ему с ней расставаться. Грудь его теснило горе, оттого что так быстро и навсегда пролетел этот нечаянный вечер. Безрассудно влюбленный! С первой встречи влюбленный Прошка.

Тем не менее ум его деятельно и хитро работал, измышляя, как бы подольше побыть с Пашей.

— Я от вас до заезжего двора не заблужусь? На селе в первый-то раз!

— Вполне возможно, что и заблудишься,— согласилась Елизавета Васильевна.— Проводи его, Паша.

— И я,— пискнул Минька.

— Ты с бабушкой домовничать останешься, маленький. Сдается мне, хватит ему одной провожатой.

Умная-преумная, понятливая, насмешливая бабушка Елизавета Васильевна! Спасибо, Елизавета Васильевна!

Темные облака неслись в темном небе, неслись холодные звезды над селом Шушенским. Где-то в кулацких дворах, бряцая цепями, гавкали псы. Тускло светили керосиновые лампы в чьих-то оконцах, ветер гулял и шатался вдоль пустых улиц, и было бы жестоко, тоскливо, отчаянно, если бы в первый вечер своей сибирской ссылки, еще не доезжая до места, Прошка не встретил Пашу, синеглазую, с пшеничной косой! Он уже знал, что завтра увидит Владимира Ильича. Сейчас он видел и слышал только Пашу. Одну Пашу.

— Ты не отчаивайся,— говорила она.— Ты духом не падай. Наш народ к ссыльным привычный. У нас зря не обидят. Если ты правильный человек, у нас не обидят. Наш народ такой, он правду за сто верст услышит. Вон Владимир Ильич, знаешь, о нем какой слух по всей Сибири идет? Хороший, однако, говорят, человек. Справедливый. Вот что о нем говорят. Прошка, а что, рано ли поздно скинут царя-то?

Она ставила его в тупик. Он хотел ей сказать, что жить не может без нее. Сегодня утром еще мог. А теперь нет, не может. Прошка решил, что будет приходить к ней из своего села.

— Даль-то! — с недоверием покачала она головой.— Тайга-то!

— Что же тайга! Нипочем мне тайга.

— Ой, не хвались. Как заметет, как завоет, как загудит! А ты, однако, Сибири не бойся. У нас народ неплохой...

Она быстро довела его до заезжего двора, слишком быстро. Зачем он ее встретил, если сейчас же расставаться?

— Погоди здесь, Паша!

Он вбежал в избу. В избе, должно быть дожидаясь его, слабо горела пятилинейная лампа с подвернутым фитилем. Он вошел в сонное царство — изо всех углов, с полатей, с печки и лавок доносились храп и сопенье. Душно. Хоть рукой раздвигай спертый воздух. Прошка вытянул из-под лавки свой деревянный сундучок, отпер ключом, повешенным на шее вместо крестика на бечев-

ке. На дне сундука, под рубахами, книгами и прочим Прошкиным небогатым имуществом лежали мамины варежки из овечьего пуха, серенькие, с белыми звездочками, белой оборочкой, вывязанной, будто кружево. Прошкина мать была кружевницей, искусницей.

Вынес варежки Паше.

— Вот, материно наследство, отец на прощание дал перед ссылкой. Возьми, прошу тебя! Носи. Вспоминай, что живет в селе Ермаковском сосланный Прошка.

— Не надо мне. За кого ты меня принимаешь? Чтоб я от парня чужого подарок взяла? Да ни за что!

— Какой я тебе чужой парень. Я политический ссыльный. Меня за тысячи верст пригнали сюда. Паша, возьми.

Он сунул варежки ей в карман, схватил за руку, притянул и — она не успела опомниться — чмокнул неловко, в бровь.— Ты... моя... первая.

18

Шествие медленно двигалось. Небольшая группа людей, одетых в темное, склонив головы, провожала гроб, плавно плывущий впереди, казалось, по воздуху, ибо Прошка не видел тех, кто его нес. Прошка издалека следил за шествием, оно проследовало широкой улицей и повернуло за село в направлении кладбища. Прошка торопился догнать их, но бегом бежать стеснялся. За гробом разве бегут? У всех ворот вдоль улицы стояли мужчины и женщины. Пока гроб не скрылся из виду, молча, строго стояли. И после не расходились.

Вчера Прошке сказали, что Владимир Ильич и Надежда Константиновна уехали сюда, в Ермаковское, но не сказали зачем. Елизавета Васильевна и Паша не сказали о похоронах. Не хотели омрачать ему настроение. Прекрасный был вечер вчера! С Елизаветой Васильевной они вспоминали Петербург, стараясь перещеголять друг друга знанием разных памятных мест. Елизавета Васильевна одержала верх, поскольку в Питере она в детстве жила и училась и после с Надеждой Константиновной они жили на Старо-Невском проспекте. Лишь под самый конец Прошка свое наверстал, посрамив Елизавету Васильевну типолитографией Лейферта. Елизаве-

та Васильевна не представляла, какая-такая типолитография Лейферта на Большой Морской улице, они с Пашей рты раскрыли, узнав, что он таскал листы «Развития капитализма» на проверку Анне Ильиничне. Вон кто, оказывается, таскал листы, Прошка. А еще... Теперь не говорите ему, что не бывает любви с первого взгляда. Он стал другим человеком: что-то ликует внутри у него.

Первая любовь! Бескорыстная, застенчивая, великодушная, щедрая, единственная первая любовь, счастлив, кто испытал тебя, даже неразделенную.

Прошка догонял похороны, а из головы его не шла Паша, вся чистенькая, как белый грибок. Изумленное Пашино «ой!» не выходило из его головы. Что делать! Он не знал, кого хоронят. Не мог он плакать об умершем человеке, которого не знал живым. Он торопился увидеть Владимира Ильича. И Надежду Константиновну. Ее мать, разговорчивая и приветливая и в то же время насмешница Елизавета Васильевна, осталась в Прошкиной памяти.

Он пришел на кладбище за селом. Невдалеке начиналась тайга. Тайга не шумела. Было тихое небо над кладбищем, затянутое тучами. Все голо и пусто. Листья с кустов сорваны осенью. Деревянные кресты стояли над печальными холмиками.

Гроб водрузили на какое-то возвышение. Прошке видно было в гробу тонкое лицо с каштановой бородкой, спокойное и нездешнее, увенчанное ржавыми дубовыми листьями. Молодая женщина в черном платке не плача стояла у изголовья гроба.

Кто-то говорил речь. «Прощай, Анатолий!..»

Вдруг тоска нахлынула на Прошку. Вдруг это кладбище, эта голая осень, низкое небо, темная тайга, смутно видные сквозь тучу и мглу очертания Саян, и разбитая, неутешная женщина над гробом, в черном платке, все подняло в Прошке тоску. Что жизнь? Зачем? Для чего она, все равно конец один?..

К гробу подошел человек. Прошка узнал его. На подольской даче он видел его фотографии.

— Мы хороним товарища и друга, погубленного царским правительством,— начал Владимир Ильич.

Едва он стал говорить, Прошка понял, что хотя Владимир Ильич в точности такой, как на фотографии, а

между тем и совсем не такой: не очень высок, лысоват, будто обыкновенен, так почему же нельзя взгляда от него оторвать, от его живого, чуть скуластого, непрерывно изменчивого, полного чувств и душевных движений лица? Видно, ничего не было в нем вполовину. Любил, так любил. Горевал, так горько. Все чувства его были сильны. Он горевал о Ванееве, говорил спасибо Ванееву.

— Спасибо тебе, Ванеев, за твою прямую и честную жизнь. Ты всю ее отдал делу рабочего класса! Спасибо тебе, мы гордимся тобой. У тебя не было других задач, кроме борьбы за дело рабочего класса! Анатолий! Милый товарищ... Верный товарищ...

Владимир Ильич на мгновение умолк. Взялся за горло, и брови его, летящие от переносья к вискам, скорбно сдвинулись.

Медленно, словно в раздумье, полетели редкие сухие снежинки. Кружились, упадали на открытый лоб Ванеева и не таяли. Женщина в черном ухватилась за гроб и ненасытно глядела на восковое лицо, которое еще недавно жило, страдало, любило, а теперь было мертво и чуждо всему.

— Тебя нет больше с нами, наш верный товарищ Ванеев,— тихо и медленно снова заговорил Владимир Ильич.— Как ты хотел и мечтал продолжать с нами наше общее дело! Помню, недавно... Клянемся над твоим безвременным гробом, наш друг, клянемся! Нас не испугают ни тюрьмы, ни смерти. Нас мало, но будет все больше. Наши ряды сплочены. Мы тверды. Друг Анатолий, ты был среди первых борцов. Вечная память тебе, наш дорогой Анатолий Ванеев.

Женщина в черном платке провела ладонью по лицу Анатолия, сметая снежинки. Чирикали пестрые синицы в кустах. Поспешно, резко застучали молотки, вбивая гвозди в крышку гроба. Синицы вспорхнули и улетели.

Среди деревянных крестов поднялся свежий глиняный холмик. Все кончилось.

Прошка хотел сразу после похорон подойти к Владимиру Ильичу, но Владимира Ильича окружали товарищи. Женщины под руки вели вдову. Она шла, глядя перед собой расширенными сухими глазами.

Прошка слышал, Владимира Ильича кто-то звал зайти. У Надежды Константиновны было грустное больное лицо.

— Боюсь, не расхворалась бы ты у меня. Надо нам домой поторапливаться,— заботливо сказал Владимир Ильич.

Прошка приметил, в какую избу их повели, и со всех ног помчался в волостное правление. Сельский писарь приказал после похорон немедленно явиться. Прошка явился. Писарь, курносый и большеухий, с маслянистыми волосами, был занят переписыванием в конторскую книгу казенной бумаги. Прошка покашлял, писарь не оторвался от бумаги. Прошка еще нетерпеливо покашлял

— Не на пожар, обождешь.

Полчаса Прошка ждал. Затем писарь подул на листок в конторской книге, убедился, что чернила просохли, закрыл книгу и принялся наставлять Прошку, как полагается жить ссыльному. Чего можно, чего не положено. Не положено без спросу отлучаться из села. Рассуждать о политике. Читать вредные книги.

— А какие вредные, как в них разберешься?

— Про то известно властям. Не рассуждай, твое дело слушать.

И дальше, и дальше в том же духе.

«Опоздал повидаться, уедут! Скоро отговоришься, курносый? Чтоб бык тебя забодал!»

— Господин писарь, разрешите сперва стать на квартиру. Я потом к вам приду.

«Господином» он писаря купил и милостиво был отпущен устраиваться на квартиру, назначенную для нового ссыльного волостным правлением. Там опять пошли вопросы, торговля. Старуха хозяйка не решалась прямо так пустить постояльца. «Заранее обговорить надо, после схватишься, а поздно». Они жили со стариком бобылями. Старик хворый, с печки слезает по крайней нужде.

— Вся работа на мне. Ломишь-ломишь работу, да и согнешься на седьмом-то десятке. Без мужика в крестьянстве нельзя. Оттого и постояльца я беру. Воду скотине станешь носить, в хлеву убирать, дрова за тобой, все мужичьи дела за тобой.

— Согласен.

Прошка задвинул под лавку сундук и дал ходу вон из избы. Вдогонку неслось:

— Стой, бешеный, стой! На что они мне порченого

такого прислали? Я и днем-то с ним побоюсь, я такого и на порог пустить побоюсь!

«Ладно, уломаю, порядимся».

Еще не добежав до избы, куда Владимир Ильич с Надеждой Константиновной зашли к товарищам после похорон, Прошка увидел отъезжавшую со двора двуколку. Владимир Ильич правил сам. Буланый конь с черной гривой и подрезанным черным хвостом, в черных сапожках до колен шел легко упругим, играющим шагом.

Прошка стрелой пронесся мимо избы, где хозяева, проводив гостей, еще стояли у ворот, в удивлении глядя на бегущего изо всех сил по селу неизвестного парня. Кто-то узнал в нем вновь приехавшего политического ссыльного, которого видели сегодня на похоронах.

— Куда вы? — крикнул кто-то вслед.

Прошка, не задерживаясь, пронесся мимо.

Снежок, начавшийся в час похорон, недолго пошел и задумался, слегка присыпав мерзлую землю. Ехать на двуколке, наверное, трудно по скользкому снегу. Прошка нагнал ездоков за околицей. Дальше, мимо туманного поля, дорога вела к тайге. Одиноко на осенней невеселой дороге. Прошка запыхался от бега, тяжело дыша, взялся за крыло двуколки и молча шагал рядом. Владимир Ильич, прищурившись, поглядывал на него с любопытством, а сам придерживал коня, чтобы шел тише.

— Здрасте, Владимир Ильич, Надежда Константиновна! — наконец выговорил Прошка.

— Здравствуйте, но я впервые вас вижу,— ответил Владимир Ильич.

— И я впервые. Поклон вам из дому.

— Что? Надя, ты слышишь?

У Владимира Ильича вспыхнули глаза, он перегнулся через крыло двуколки, нетерпеливо и горячо спрашивая:

— Вы были в Подольске? Когда? Кого видели? Марию Александровну видели? Говорили с ней? И что? Что она передала с вами?..

Прошка видел Марию Александровну, Прошка с ней говорил, но поклона Владимиру Ильичу она не передавала. Поклон он придумал. Никто не знал, куда вышлют Прошку. Его отправляли в Красноярскую пересыльную

тюрьму, а там как распорядится ведавший всеми сибирскими ссыльными иркутский генерал-губернатор. Счастливый день на подольской даче пролетел, больше Прошка не встречался с Ульяновыми. Анна Ильинична пробовала добиться свидания с ним в Бутырской тюрьме, но не добилась.

— Не было поклона? Ну все равно, вы их видели, товарищ... Как вас зовут? Прохор? Пожалуйста, товарищ Прохор, расскажите подробнее,— мягко и просительно настаивал Владимир Ильич.

Надежда Константиновна взяла из его рук вожжи. Владимир Ильич спрыгнул на землю. Прошка заметил, он коренаст, но в движениях ловок и быстр. Вид у него был молодой, легкий, встревоженно-добрый.

— Вы видели маму своими глазами?

— А чьими же?

— Чудесная штука, что вы ее видели! У нас печальный сегодня день. Услышать в этот день весть из дома особенно дорого! Как она выглядит, пожалуйста, опишите елико возможно подробней.

Они стояли возле двуколки близко друг к другу. У Владимира Ильича был нетерпеливый, будто насквозь проникающий взгляд. Грустные складочки около рта. Прошка почувствовал необычайное влечение к нему и, не жалея красок, принялся расписывать подольскую дачу:

— Полы желтые, как зеркало блестят! На столе скатерть с бахромой. В каждой комнате книги на полочках. А ваша мама, Мария Александровна, играла весь вечер на черном пианино такую душевную музыку... не стерпишь — заплачешь!

Четыре года Владимир Ильич не слышал музыки. В детстве и юности каждый вечер в доме была мамина музыка. В Петербурге иногда удавалось послушать концерт. Как недостает ему музыки! Как давно он не видел свою удивительную мать... маму.

— У Марии Александровны белые волосы, белые-белые, а на волосах кружевная наколка...

— Значит, на подольской даче был праздничный вечер, у Марии Александровны все собрались,— заметила Надежда Константиновна.

— Не знаю уж, все ли... Пожалуй, что все. Говорят, одного Володи, вас то есть, Владимир Ильич, не хватает.

Мария Александровна говорит: «Когда-нибудь увижу я, чтобы все мои дети сели вместе за стол? Доживу, говорит, до такого дня или нет?» Дружные ваши родные. Хорошие люди ваши родные. И про вас вспомнили, Надежда Константиновна!..

— Видно, вы сами хороший человек, товарищ Прохор,— сказал Владимир Ильич.

— Володя, не остаться ли нам переночевать в Ермаковском? Поговорили бы вволю, не торопясь? — спросила Надежда Константиновна.

— Нельзя, Надюша. Ты не очень здорова. И коня только до нынешнего вечера наняли.

Словно услышав, что речь о нем, буланый конь взял с места и бодро пошел.

— Тпру! Тпру-у! Вот что, товарищ Прохор, скажите еще, а Дмитрия Ильича вы видели? Как он? Здоров ли?

— Дмитрий Ильич! Вот он, Дмитрий Ильич! Вот он свой шарф мне подарил на дорогу. Не он, а Мария Александровна дала. Возьмите, говорит, на случай морозов, Мити нашего шарф. Пощупайте, теплый-то, повяжешь на шею, будто в печку влез.

Владимир Ильич пощупал шарф на Прошкиной шее, похвалил, верно, теплый. Значит, ничего, здоров Дмитрий Ильич?

Надежда Константиновна потянулась, тоже пощупала. Надежда Константиновна поинтересовалась сестрой Владимира Ильича Марией Ильиничной. Она ее называла Маняшей.

— Сурьезная Мария Ильинична. Сидит в качалке, весь вечер молчит и молчит. Не знаешь, как и подойти. Изо всех Ульяновых неподступная.

— Что это? — удивился Владимир Ильич.

А Надежда Константиновна сказала:

— Должно быть, забота какая-то была у нее. Маняша необыкновенно сердечный человек и отзывчивый. Мучит ее, кем в жизни ей быть. Я в ее годы тоже металась. То в сельские учительницы хотела идти, да места не нашлось. То поступила на курсы, то бросила курсы. Смысл жизни искала. У Маняши сейчас та же пора, юность!

Зато о своей спасительнице Анне Ильиничне Прошка рассказал целую поэму. И какой у нее голос веселый и

звонкий. И какая простая она. Об уме говорить не приходится. А глаза... будто вся душа из них смотрит.

Владимир Ильич внимательно слушал, улыбаясь. Да ласково так. Был бы брат старший у Прошки, с такой вот улыбкой, наверное, слушал бы.

— Вы наблюдательны, товарищ Прохор,— сказала Надежда Константиновна.— А вы сами откуда?

Отчего-то, из какой-то стеснительности Прошка не стал подробно описывать свою жизнь, таким чудесным и удивительным образом связанную с Владимиром Ильичем и всеми Ульяновыми. Может быть, он не стал подробно рассказывать о печатании книги Владимира Ильича в типолитографии Лейферта, о петербургском знакомстве с Анной Ильиничной, о кружке Екатерины Кусковой, где готовилось ее злое и фальшивое «Кредо», обо всем, что с ним было, оттого что короток осенний день, хмуро осеннее небо, а дорога далека и стоверстный, глубокий, мощный гул стал докатываться из тайги, где ветер лишь тронул макушки дерев и они отозвались. Пора Владимиру Ильичу с Надеждой Константиновной ехать.

— Питерский рабочий я, печатник,— только и сказал Прошка.

— Такой молодой и уже печатник! — похвалила Надежда Константиновна.

— Слушайте, товарищ Прохор,— сказал Владимир Ильич.— Сегодня у нас горький день. Мы похоронили товарища, который отдал рабочему классу и делу всю свою жизнь, очень талантливую. Вы пришли в этот день как будто на смену ему. Очень это серьезно. Нелегко вам будет в ссылке. Но здесь, в Ермаковском, хорошие люди. Главное, времени зря не теряйте, учитесь. Знаете, что я вам посоветую, составьте программу и план на каждый день...

Он тоже советовал Прошке учиться, как Анна Ильинична.

— Приезжайте к нам в Шушенское,— позвала Надежда Константиновна.

Владимир Ильич влез в двуколку, взял вожжи.

— До свидания, товарищ Прохор, бодрее живите. В случае чего, дайте знать. И приезжайте!

Надежда Константиновна махнула на прощание муфтой.

Прошка глядел вслед им, пока было видно.

19

И вернулся в село. Одна мысль его занимала. На кладбище, кроме Владимира Ильича, Прошка почти никого из людей не запомнил. Но одного все же выделил. Высокого гибкого парня с незагорелым лицом. Тонко выписаны черные брови, на висок упала светлая, с рыжеватинкой прядь.

Нескладно сложилась Прошкина жизнь, не было у него настоящего товарища. Как ни горько признаться, вовсе не было у Прошки товарищей. Где они? В детстве в Подольске дружил с ватагой ребят. Играли в бабки, в лапту, ходили в лес по грибы, слушали в школе учителя. Особенно помнил Прошка одного подольского друга. С ним собирались уехать из Подольска, куда — не решили, но есть же где-то другая жизнь, где не только постоялые дворы и трактиры, пьяные купцы и лихие проезжие тройки? Прошка уехал в Питер один. Тот остался в Подольске, нанялся конюхом на постоялый двор. Когда выгнали Прошку из дому, принес другу на хранение на три дня сундучок. Не отказал школьный друг. «Оставляй. А никому не разбалтывай. У нас ежели кого в ссылку угоняют, водиться-то с ним не шибко советуют. Учителя нашего помнишь? Угнали тоже».

В Питере в типолитографии Лейферта работали больше пожилые люди, и там сверстников не было. Прошка ли сам виноват или судьба у него такая, что рвется к дружбе а товарища нет? Оттого и приметил парня, который даже над могилой стоял, не клоня головы.

«Где бы мне разыскать того парня?!»

Прошка торопливо шагал вдоль широкой обезлюдевшей из-за осенней хмурости улицы, и вдруг — вон он стоит у калитки. Треух на затылке, руки в карманы. Стоит гордый. Взгляд свысока. Так свысока, что у Прошки захолонуло внутри. Желание знакомства, как пар, улетучилось. Прошел бы он мимо. Почти и прошел. Но оглянулся. И застал другое лицо. На этом другом лице, которое он застигнул врасплох, были написаны досада и раскаяние. Для себя самого неожиданно, безотчетно Прошка вернулся назад.

— Я Владимира Ильича догонял.

Парень вырвал руки из карманов.

— Догнал?

Любовь с первого взгляда бывает. А дружба? Они еще не начали разговора, но уже что-то их потянуло друг к другу.

У Леопольда ведь тоже настоящего товарища не было. Леопольду тоже хотелось дружить. С парнем. Мужской прочной дружбой. С настоящим товарищем делишься главным. Что у Леопольда главное? Страсть к книгам и политика.

Отец настрого запретил громко говорить о политике. Леопольд сам знал: нельзя. Не забывал унтера с золотистыми усами, перечертившими румяные щеки. Из-за этого чертова унтера Леопольд опасался и деревенских ребят. На охоту, на рыбалку ходили, а дальше не шло.

А Прошка с первых слов ухватился за главное.

— Ты Ванеева видел живым? Какая у него революционная работа была?

Леопольд видел Ванеева живым. И о революционной работе наслышан.

— Знаешь, какая в Петербурге у Ванеева была кличка? Минин. Во всех рабочих кружках Минин свой. А жандармы: что за Минин? Дураки! Ванеев был борцом до последнего.

— Ну, а теперь давай ты говори.

И начался рассказ о событиях Прошкиной жизни, приведших его в подтаежное село Ермаковское.

— Ну, ну! — изумленно подгонял Леопольд.

Ничто так не разжигает рассказчика, как жадное внимание слушателя. Прошка кое-что подкрасил в рассказе, поприбавил опасностей, поубавил тюремной тоски, получился портрет храбреца. Отчаянного храбреца получился портрет. Плевал он на их шпиков и карцеры. Ссылкой хотите взять? Не возьмете, плевал он!

Так в этот вечер они стали с Леопольдом друзьями. Как добра судьба! Как несправедлива судьба. Пятьдесят верст степной и таежной дороги разделяют села Шушенское и Ермаковское. Разделят их дружбу таежные версты. Устоит?

— Ты Мицкевича читал?

Уж, конечно, Леопольд не мог обойтись без Мицкевича. Выпала пауза в Прошкином рассказе, Леопольд за Мицкевича.

— Лоб не три, не старайся. Не забыл бы, если б читал. Наш знаменитый польский писатель. Тоже высыла-

ли из Польши в Россию. Тут и встретились с Пушкиным. Ну, а Пушкина знаешь? Как Пушкин Мицкевича на русский язык перевел? «Три у Будрыса сына, как и он, три литвина. Он пришел толковать с молодцами...»

Стихи Прошка одобрил. А вообще-то ему больше нравится проза. «Капитанская дочка». «Тарас Бульба». Максим Горький нравится.

— Какой еще Максим Горький?

— О Максиме Горьком не слышал? Вот так раз! У нас в Питере наизусть Максима Горького знают. Я привез одну книжку. Зайдем ко мне на квартиру, дам почитать. Уезжаешь завтра? Эх, жалко, так жалко. Ничего, все равно дам, вернешь при случае. Как-нибудь мы с тобой придумаем свидеться. Так ты Максима Горького не знаешь? Вот так да!

— Что в нем такое особое?

— Все особое. За рабочих, за революцию он, вот что! «Высоко в горы вполз Уж и лег там в сыром ущелье...» Читать?

— Читай.

— «Вдруг в то ущелье, где Уж свернулся, пал с неба Сокол с разбитой грудью, в крови на перьях...» Думаешь, простой это был Сокол? «Я знаю счастье... Я храбро бился...» Вот он какой. Это так говорится, что Сокол, а на самом-то деле...

— Не объясняй. Сам пойму.

— «Блестело море, все в ярком свете, и грозно волны о берег бились...» А то еще «Старуха Изергиль» есть, тоже стоит почитать.

— Пойдем скорее, давай мне Максима Горького. Или погоди. Скажи, ты мог бы жить без цели, просто так, день за днем? Ну, денег заработать побольше, одежу справить получше, а других целей нет, мог бы?

— Дурь какую ты спрашиваешь?! Если я революционер и политический ссыльный, как же мне жить без цели? На черта мне деньги. Моя цель — свержение царя и капитализма и...

— Тише, тсс! Понял. У меня такие же взгляды. Я тоже за это. Когда у нас кончится ссылка, уедем домой, буду тебе постоянно писать. Знаешь, как приятно получать в ссылке письма! Отцу не так часто пишут, а Ульяновым с каждой почтой ворох писем тащит почтарь. Я нарочно хожу поглядеть, как они радуются. Владимир

Ильич распечатает конверт, быстро-быстро забегает глазами по строчкам. Сам бородку пощипывает...

— Леопольд, ответь, только полную правду. Какой он человек?

— Не знаю даже, как тебе отвечать. Не знаю, с кем его сравнить. Какой-то он... сказать мало, что хороший. Особенный он.

— Понял. Раньше, когда молодым был, я людей разделял: есть люди обыкновенные, а то редкие есть. Редких-то раз-два и обчелся. А есть...

— Ты «Коммунистический Манифест» читал?

Наступил момент посрамления Прошки. Прошка мог бы соврать. Не захотелось соврать. Слышать слышал о «Коммунистическом Манифесте», а читать — нет, не читал.

— Не чи-тал? — по слогам, в ужасе, преувеличенном ужасе, проговорил Леопольд.— А первый том «Капитала»?

— Не читал.

— А...

— Ладно выспрашивать. Что ты привязался выспрашивать? Откуда мне запрещенную литературу добывать было, когда я за решеткой сидел? До тюрьмы, что библиотекарша даст, то и читаю. Теперь примусь наверстывать.

— Здесь, в Ермаковском, есть ссыльные Сильвин, Лепешинские. Владимир Ильич всегда о них говорит, вот, говорит, замечательно образованные люди! Еще у Владимира Ильича есть один товарищ, Глеб Кржижановский, так тот все на свете знает, о чем ни спроси! Вот слушай, что с польского перевел. Мой отец говорит ему, а он переводит:

Беснуйтесь, тираны, глумитесь над нами,
Грозитесь свирепо тюрьмой, кандалами!
Мы вольны душою, хоть телом попраны,
Позор, позор, позор вам, тираны!

Тише, что это я на улице запел? А то еще Ленгник есть, черный такой, бородатый, шахматист исключительный, суровый, он в Теси живет, село Тесинское отсюда за семьдесят верст. Все товарищи Владимира Ильича. Мой отец говорит, с такими товарищами не пропадешь. Прохор, значит, дружим?

— Да.

— Друзья! Будем делить все — и неудачи и радости. Ничего не утаивать, до конца, что есть на душе.

— Согласен.

Они дошагали до конца села и давно вернулись обратно и снова шагали в конец села и назад. Между тем наступил вечер. Желтенькие огонечки неярко засветились в некоторых окнах. А некоторые окна затворились ставнями, и избы стали немые и темные. Погодите, а Прошкина изба где? Батюшки, не заблудились ли мы? Ночь на дворе. Хозяйка, бабка Степанида, запрется — поди достучись. А стучаться куда? Прошка всего и запомнил, что изба в два окошка, никаких других примет не запомнил.

— Идем ко мне ночевать, ляжем вместе, поговорим,— позвал Леопольд.

А писарь? Бабка Степанида завтра побежит, нажалуется писарю, чтобы не своевольничал с первой же ночи. Надо свою избу разыскать, вспомнить приметы. Два окна. Тесовая крыша. Дощатый забор. Рябина за забором. Длинная, одна-одинешенька, с необломанными кистями. Бабка Степанида бережет, пока ягоду морозами схватит. А вон... глядит через забор, вон... рябинушка. И изба в два окошка. Тут он и живет. И калитку бабка Степанида не заперла, дожидается Прошку.

Лампы у бабки Степаниды нет, сидит с камельком, зажженным на шесте костериком. Дым от костерика утягивает в печную трубу. Прыгают от камелька тени по стенам, качается бабкина тень, сутулая, косматая, как ведьма. Странным все это кажется Прошке, словно читает книжку про чужую жизнь.

Бабка с укорами:

— Шатун непутевый, с первого дня за шатанье взялся! Мало шатун, он еще и дружка с собой привел. Развеселая пойдет у нас жизня. Уморишь ты меня с такой жизней, однако. Не надо мне шатунов, ступай с квартиры долой.

Прошка выхватил из-под лавки сундучок, нашел книжку.

Леопольду:

— Выйдем, дам тебе Максима Горького.

Старухе:

— Бабушка Степанида, не серчай, я на дворе чуток постою, я сейчас!

А на дворе начался снегопад. Ведь еще только сентябрь, еще и листья не все облетели, а в небесах прорвалась запруда, повалил снег, гуще, гуще, и занавес, мягкий, пушистый, колеблясь, тихо качаясь, струнлся и опускался на землю.

— Зима,— сказал Леопольд.— Здесь, в Сибири, снег выпал — до весны не растает.

— На, бери Максима Горького,— сказал Прошка.— Да домой пора, слышал, развоевалась бабка? Свою избу знаешь?

— Вон через три избы и моя, окна светятся, лампу зажгли. Почитаю. Прошка, а знаешь что, Прошк...

— Что?

— Дали слово, чтоб ничего не таить?

— Ну?

— Есть у меня одна... ну, тайна, что ли, не знаю, как сказать. Не хотел говорить, но... Прошка, ты ведь в Шушенском у Ульяновых познакомился с Пашей?

Молчание. Течет, струится, качается снег. Опускается занавес. Мягкий, пушистый. Ночь посветлела от снега. Молчание.

— Прошка, ты ведь познакомился с Пашей?

— Д-да.

Неужели Леопольд не заметил, как сказал Прошка «д-да»? С запинкой, неуверенно: «Д-да». Словно ком застрял в горле, таким упавшим голосом он сказал это «д-да». Потому что раньше, чем начал Леопольд говорить, Прошка все понял.

Снег течет, устилает землю и крыши. Прошка глядит, как на плечах Леопольда вырастают снежные грядки. Ровненькие снежные грядки вырастают у него на плечах.

— Значит, она тебе обещала? Значит... надеешься, приедет к вам в Польшу?

— Конечно! Не обещала, а я знаю, что да. Здесь у нас ко всем политическим ссыльным приезжают невесты и жены. Моя мать приехала к отцу и нас привезла.

— К политическим ссыльным... А ты? Ты домой едешь. Какой ты ссыльный?

— Я революционером буду!

— И она кинет для тебя родное село?

— Она любит меня больше жизни.

Как гордо он это сказал: «Она любит меня больше жизни». И голову вскинул. Здорово у него получается. Да, наверное, так и будет: она приедет к нему в Польшу. А от Прошки умчалась, как ветер, когда он поцеловал ее вчера на прощанье.

— Ну, я домой. Может, удастся еще почитать,— сказал Леопольд.— Жаль, Прошка, что тебя не в Шушенское выслали! Напишу, тебе, когда Максима Горького прочитаю. А у тебя нет невесты?

— Нет, у меня нет невесты.

Бабка Степанида ждала его с остывшей похлебкой в печке.

— Ешь, оголодал, глаза-то провалились, непутевый. Однако уж не пропойца ли ты на мою голову? Ешь, ешь. Сыт, наелся? Ну, ложись, на лавке постелено. Спи.

Прошка лег, укутался с головой полушубком. Душно под бараньим мехом, тяжесть навалилась на плечи.

«Только подружились, поклялись, а я утаил... Сразу и утаил, трус, трус. Расписал себя храбрецом, а сам трус. Храбрый прямо бы высказался: ты в Польшу уедешь, поезжай, а я ее люблю...»

Утро у бабки Степаниды начиналось по темному. Прошка натаскал скотине воды, задал корму, настелил свежей соломы в хлевах, тогда и солнце поднялось, заиграло на снегу. Воробьи слетелись во двор клевать на рябине ягоды.

Бабка Степанида накрыла завтракать. Слез с печки дед с дряблой индюшиной шеей и тусклыми глазками, в которых стояла слеза. Ел жадно, загребая побольше картошки с молоком, давясь горячими сочнями. Голова тряслась. Прошку он не заметил.

Бабка Степанида сказала:

— Сотый год идет. Разуму господь на один век отпустил, на второй-то не хватает.

Позавтракали, и пришла молодая румяная женщина в городской шубке и белом пуховом платке. Потопала у порога белыми валенками, сбила голиком снег.

— Товарищ Прохор, я за вами.

Бабка Степанида насупилась, застучала деревянными ложками, собирая после завтрака посуду со стола.

— Я Ольга Александровна Сильвина,— сказала го-

родская женщина.— Леопольд Проминский с отцом рано утром уехали в Шушенское, Леопольд шлет вам привет и спасибо за Максима Горького. А теперь собирайтесь, пойдем.

Бабка Степанида промолчала, отвернулась к окну, там сияло утро, синело высокое уже зимнее небо.

— У нас дружная колония ссыльных,— говорила Ольга Александровна на улице.— Мы не можем оставить вас без внимания, вы у нас новенький, такой молодой паренек, и Леопольд очень просил о вас позаботиться. Итак, что вы собираетесь делать?

Что Прошка собирается делать?

— Да, да, ведь не хотите же вы жить лодырем? Прозябать? Мы решили, что в первую очередь вам, молодому рабочему, надо учиться, поэтому я предлагаю...

Недолго спустя они были у доктора Семена Михеевича Арканова, в его доме, деревенском на вид, но по-городскому перегороженном внутри на несколько маленьких комнат и обставленном по-городскому: стулья с плетеными сиденьями, круглый обеденный стол, книжный шкаф, лампа под белым абажуром. Ольга Александровна готовила докторского сына в гимназию.

— Спрячем в карман ложный стыд,— говорила она, усаживая Прошку за стол возле тринадцатилетнего шустрого и бойкого докторского сына, который, чуть отвернется учительница, вытаскивал из-под стола «Вокруг света» и впивался в страницы с картинками.— Суть не в годах,— внушала Прошке учительница.— Государственное устройство Соединенных Штатов Америки знаете? Климат Швейцарии? Кто такой Робеспьер? Как сказать по-немецки: я хочу прожить свою жизнь разумно и деятельно, с пользой для народа? Не знаете. Многого и другого не знаете. Начинаем урок.

В селе Ермаковском дивились тому, как живут ссыльные. Ни ссор, ни дрязг. Вот прислали нового, тотчас старые взяли под опеку. Пришлось Прошке заделаться учеником, учить уроки на совесть — стыдно осрамиться перед докторским сыном. А там почитать хочется, книг у ермаковских ссыльных и доктора оказалось вдоволь, только читай. А там за бабкиной скотиной надо ходить, дров наколоть, снег раскидать на дворе.

Была еще у Прошки должность. Сначала он выполнял ее по обязанности, с неохотой, а после с горячим

желанием. Над этой Прошкиной должностью сельские ребята, не они одни, и мужики, а особенно бабы в Ермаковском посмеивались. Бабы липли к окнам, когда Прошка шел по селу и далеко за село (пообжившись, осмелел, распоряжений писаря не так уж точно придерживался) сопровождать на прогулку вдову Ванеева Доминику Васильевну. Доктор приказывал Ванеевой больше ходить по свежему воздуху. Она носила длинную черную шаль, укрывавшую ее до пояса, и осторожно шагала, тяжело и трудно ступая. «Гляньте,— шушукались бабы,— прогуливается. Ей бы последние-то дни с рукодельем дома сидеть, а она об руку с чужим парнем прогуливается! А он-то, молоденький, и перед народом не совестно с вдовою на сносях ходить? Наши девки теперь с таким чудаком не согласятся гулять. Засмеют».

Ермаковские ссыльные не оставляли вдову Ванеева одну. Всегда кто-нибудь с нею был. Женщины, две Ольги, Лепешинская и Сильвина, шили вместе с Доминикой распашонки для будущего маленького. Плакали вместе.

Но охотнее всего, как ни удивительно, Ника Ванеева проводила время с Прошкой. Он жадно выспрашивал у нее о Ванееве. Товарищи старались уводить Доминику от разговоров о погибшем муже, думали, что этим оберегают ее, а ей только и надо было о нем говорить. Вспоминать дни и месяцы их общей жизни, такой счастливой, такой недолгой, такой печальной.

— Спрашивайте, товарищ Прохор. Спрашивайте больше. Как я в первый раз его увидела? Это так было. Пришла в тюрьму на свидание, товарищи меня «невестой» ему назначили. Вошла, поднимается со скамьи человек. Какой он? Красивый? Какое у него лицо? Не знаю. Помню только благородный взгляд. И полюбила его с первой встречи.

— Значит, бывает любовь с первой встречи? — сказал Прошка, думая о шушенской Паше.

— Только с первой встречи и бывает любовь! Потом гаснет. Или разгорается. Да, любовь разгорается... Он был мечтатель. Все настоящие революционеры реалисты и вместе мечтатели. А знаете ли вы, товарищ Прохор, чем для него была дружба! С детства у него самое высокое представление о дружбе. Дружба — это святое... А знаете, почему Ванеев любил звать меня Никой? Ника — крылатая богиня победы. В самые последние дни

он все думал, не верил в смерть, отгонял мысль о смерти, он мечтал: когда-нибудь мы добьемся победы, крылатая Ника! Будем жить в новом обществе. Оно будет добрым и умным, и люди там будут честные, открытые. Там не будет вероломных людей. Как хочется увидеть такое новое общество! Вы верите, Проша? Он верил. А еще он мечтал, что мы с ним когда-нибудь поедем во Францию и увидим в Лувре крылатую Нику Самофракийскую. Знаете, что это? Статуя из мрамора. Древняя статуя. Ее нашли на острове Самофракии в Эгейском море. У нее отбита голова, но она прекрасна. Тело, плечи, грудь, крылья — порыв и стремление вперед! Она — победа. Но только для доброго, понимаете, Проша,— победа добра.

Они осторожно и медленно шли по селу. Из окон изб глядели бабы.

Иногда она умолкала. Тогда Прошка думал о Паше. О дружбе с Леопольдом. Как ему быть? Как должен поступать революционер и марксист в такой ситуации, в какую попал наш товарищ Прохор? Он хотел дружить с Леопольдом! Забыть во имя дружбы Пашу? Отказаться от Паши?

— А телеграммы из дому нет,— говорила Доминика.— Нет и нет телеграммы.

Каждое утро она просыпалась с вопросом, не принесли ли телеграмму от родителей.

«Наша родная и любимая дочь, горюем с тобой твоим горем, скучаем о тебе, ждем домой тебя, дочка, когда родится твой маленький. И нашего милого бесценного внука ждем и любим! Отец, мать».

Телеграммы от отца и матери не было.

— Они не хотят моего возвращения домой. Они меня прогнали из дому.

— Меня тоже прогнали из дому.

— Товарищ Прохор! Проша... Ты мужчина, у тебя ведь не будет маленького.

— А вы не бойтесь, вы радуйтесь, что у вас будет маленький! Ваше счастье, что будет!..

— Правда, правда! Я радуюсь. Спасибо тебе, Проша. Ничего, что я на «ты» перешла? Так ближе, теплее на «ты»... Ванеев хотел сына. И я хочу сына, но если родится дочка, Ванеев и дочку любил бы... Как ты всегда сердечно скажешь, Проша, спасибо тебе! Ты мне все равно что родной.

Однажды, когда, по обыкновению, они прогуливались вдоль села, Доминика замедлила шаг, к чему-то прислушиваясь, ей одной только слышному. Зеленоватая болотная бледность медленно полилась по лицу. Глаза стали огромными, застыли.

— Скорей домой! — сорвалось с губ.

Вытянув руку, она шатающимся шагом подошла и со стоном привалилась к забору.

— Скорее Ольгу Борисовну! Лепешинскую! Проша, Проша, скорей! — Она крутила и мяла край черной шали, открывала рот, ловила ртом воздух.

Прошка перепугался, с перепугу потерял соображение. Что делать? Кричать во все горло? На помощь, на помощь, помогите, добрые люди!

А добрые люди, то есть ермаковские бабы, увидев из окон припавшую к забору Доминику Ванееву, повыскакивали из изб, наспех накинув шубейки сверху кофтенок, подхватили роженицу под руки и повели домой.

— Беги в больницу за фельдшерицей Ольгой Борисовной, чего стоишь, рот разинул, ворона? — закричали на Прошку.

Прошка примчался в больницу.

— Ольга Борисовна, Ольга Борисовна!

— Без паники! — оборвала она.— Все естественно. Природа знает.

А сама стремглав побежала по селу вместе с Прошкой к Ванеевым, приговаривая:

— Успеть бы! Что там, бог мой, успеть бы!

Там кипел самовар. Из-за перегородки слышались стоны и чей-то жалостливый бабий голос:

— Не стыдись, милая, шибче кричи, с криком-то легче.

Стриженая, в пенсне, Ольга Борисовна Лепешинская энергично вымыла руки, надела белый халат, повязалась белой косынкой и приказала всем выйти из избы.

В этот день появился на свет маленький Толь.

20

Ночью на село Ермаковское налетела буря. Ветер как бешеный кидался в окна, вся изба кряхтела, вой и свист слышались с улицы — скрипели ворота, стонал жура-

вель колодца, рябинка колотилась о забор обледенелыми ветками, метались по селу снежные смерчи, гудело в трубе. «Батюшки, где я? — в смятении думал Прошка.— В Сибири. Ссыльный на три года. Неужто? А в трубе-то что делается, будто волки воют!»

Он спал под хозяйским овчинным полушубком на лавке. Буря его разбудила. Он лежал с открытыми глазами, не шевелясь. Где-то, не смолкая, стучало: тук-тук-тук-тук. Как на кладбище, когда забивали над Ванеевым крышку гроба. Ночь тянулась тоскливая, долгая-долгая. До утра билась ставня.

На рассвете заохала старуха. Свесила ноги с печки. Поскребла спину.

— Осподи, прости грехи наши. (Зевок.) Малый, вставай. (Длинный зевок.) Слышь, ставню с петли сорвало. Калитку от снегу, чай, не открыть.

Вьюга намела за ночь у заборов кривые сугробы, нахлобучила шапки с козырьками на крыши, перепутала дороги, сровняла канавы, наморозила на окнах ледяные цветы и унеслась. Высокое, ясное, встало утреннее небо над селом Ермаковским. Выкатилось из-за горизонта розовое, будто умытое, солнце. Заискрился снег, и ночная тоска унеслась вместе с бурей. Наставал день, полный дел, как мешок, доверху набитый разным добром. Калитку откопать. Ставню на петли навесить. Снег во дворе раскидать. Тогда завтракать. Бабка ставила на стол миску с запеченной в молоке брюквой или картошкой. Прошка приносил из холодных сеней калачи. Калачей бабка напекала десятка три сразу и навешивала на шесты в сенях замораживать. Когда надо, замороженные кинет в горячую печку на под, их жаром охватит, пышные станут, с хрустящими корочками — такой еды в Питере Прошка не пробовал.

Управившись за утро с бабкиным хозяйством, отзавтракав,— на уроки к Аркановым. Ольга Александровна Сильвина строгая учительница, не давала Прошке поблажек, гнала по всем наукам без отдыха.

— Учись, рабочий класс.

Все ссыльные твердили Прошке: «Учись».

Иногда лекцию докторскому сыну и Прошке приходил читать Михаил Александрович Сильвин. Его уроки не очень похожи были на уроки. Учитель загорался с первой секунды. Вскакивал с места. Теребил густейшую

шевелюру, бегал по комнате, садился верхом на стул, снова бегал.

— Сегодня у нас по программе...

Через четверть часа забыта программа. Вот рассказывается о Петре Первом, шведском короле Карле XII, Полтавском сражении.

> Ура! Мы ломим; гнутся шведы.
> О славный час! О славный вид!
> Еще напор — и враг бежит

И вдруг, не уловив перехода, разинувшие от внимания рты докторский сын и «рабочий класс» Прошка видят другие картины. Видят Париж. Огромный город Париж. Узкие пестрые улицы. Дома, как корабли, выплывают на площади носами вперед. Кружевные башни католических храмов вскинулись ввысь. Колокола молчат, онемев. В страхе заперлись на запоры дворцы. В окнах бедных мансард полощутся красные лоскутья. Толпы на улицах. Грохочут колеса. Ржут кони. Ружейная пальба. От громовых раскатов пушек лопаются стекла. Пороховой дым едкой тучей навис над Парижем. Это Великая французская революция. Это народ сбрасывает тысячелетнюю королевскую власть. На площади Людовика XV, в виду королевского Лувра, спешно сколачивают деревянный помост для казни последнего короля Франции...

И... миновало столетие. Тише, люди. Входим на кладбище. Обнесенное каменной стеной парижское кладбище Пер-Лашез. Тесно от памятников. Безмолвные длинные улицы памятников. Серый гранит, безнадежный. Гранитный город мертвых.

В глубине, в сумраке старых дерев есть одна стена. Без солнечных лучей, вся в темной зелени мха. Снимите шапки. Склоните головы. Это Стена Коммунаров. У этой стены расстреляны последние защитники Парижской коммуны. Короля нет. Правит капитал. Коммунисты расстреляны.

И... но о некоторых событиях Михаил Александрович Сильвин говорил только Прошке, когда они шагали вдвоем по селу, возвращаясь с уроков в докторском доме. Докторскому сыну Сильвин не рассказывал о Петербурге и «Союзе борьбы за освобождение рабочего класса», в котором и Прошка мог состоять, будь тогда на пять годов старше. Мог участвовать в тайных кружках в Петер-

бурге! Сильвин любил вспоминать, как собирались кружки. Под окнами выставляли дозорных: каждую минуту грозил жандармский налет.

Прошка холодел от волнения, слушая рассказы Сильвина о конспирации и разных отважных случаях из жизни кружковцев.

Вот один случай.

Самым ловким конспиратором, по рассказам Сильвина, выходил Владимир Ильич. Раз под вечер Владимир Ильич собрался на рабочий кружок. Спрыгнул с конки задолго до адреса. Правильно сделал. Видит, субъект один за ним следом прыгает с конки. В котелке, темных очках. Зашагал позади, поглядывает по сторонам с беспечным видом. А вечер холодный, беспечный вид выдавал сыщика. Кому захочется в такую стужу и ветер без дела разгуливать, как в белые июньские ночи? Ясно, кто таков субъект в котелке. «Нас не надуешь». Владимир Ильич юрк в переулок. Субъект в котелке за ним. Подтвердилось, что сыщик. Владимир Ильич поднял воротник, нахлобучил шапку и быстро, по-деловому вперед. В ближайший переулок снова — юрк. Сыщик за ним. Охота затягивалась. Как-то надо улепетывать. Со стороны никто не подумал бы, что неторопливый молодой человек в нахлобученной от холода шапке, такой спокойный на вид, лихорадочно выискивает способ, как укрыться от преследователя. Внезапно свернул в третий раз. Сыщик не рассчитал, промчался вперед. А Владимир Ильич увидел в переулке роскошный подъезд богатого дома. Вот так шутка! Кресло швейцара в подъезде пустое. Мигом вбежал, сел в кресло, схватил со столика газету, уткнулся. Вовремя. Сыщик выскочил в переулок. А переулок пустой. Рысью пробежал сыщик мимо подъезда богатого дома. Владимир Ильич сидит в кресле швейцара, закрывшись газетным листом Сквозь стеклянную дверь наблюдает, что дальше. Сыщик мимо подъезда туда-сюда, бешеный, лицо перекосилось от злобы. Еще бы! Почти в руках был улов...

— Не поймал?

— Не поймал.

— Как же в ссылку-то Владимир Ильич угодил?

— Это уж после.

Прошка провожал Сильвина до дома и возвращался обратно, переживая рассказ, придумывая свои к нему по-

дробности. Фантазия летела, без препятствий строя сюжеты, в которых постепенно главным действующим лицом становился он, Прошка. Все приключения, опасные, дерзкие, были с ним, Прошкой...

За фантазиями ноги незаметно приносили к Ванеевым. У Ванеевых Прошка бывал каждый день. В большой комнате, где недавно происходило совещание семнадцати ссыльных социал-демократов, теперь все подругому. Здесь живет маленький Толь. Всюду, на столе, табуретках, что-то наставлено, разложено, стопки пеленок, рубашечки, пузырьки, склянки, мази, масла, присыпки. Постелька белая, чистая. К постельке Прошка приближался на цыпочках.

Доминика с радостью встречала его:

— Кто к нам пришел? Дядя Проша пришел. Проша, ты с улицы, согрейся немного. Тише, не топай, не разбуди его. Погляди, он улыбается. Не веришь? Честное слово, уверяю тебя, сейчас улыбнулся во сне. Проша, взгляни, у него бровки наметились, он чернобровым будет, весь в отца. А губки какие хорошенькие, верно? Спи, мой маленький Толь, баю-бай.

Прошка нагибался над постелькой, устроенной в корзине из ивовых прутьев. Маленькому Толю Ванееву корзина перешла в наследство от Оли Лепешинской. Сморщенный, красненький, с пуговичным носиком лежал в ивовой корзине маленький Толь. Бурная жалость поднималась в Прошке. От жалости щипало в носу.

— Правда, мил ненаглядный мой? — шепотом восклицала Доминика, опуская ресницы, прикрывая нежный свет глаз.

Прошка старался быть полезным Ванеевой. Когда она говорила грустным голосом: «Проша, спасибо!» — он отвечал грубовато: «Чего там спасибо!» — и таскал воду для стирки пеленок, вздувал самовар, лазил за картошкой в подпол.

Главная же и незаменимая его польза была в том, что как раньше Доминика без конца рассказывала ему о Ванееве, так теперь изливала Прошке свои заботы и горести. Что им делать с маленьким Толем? Как им жить дальше? Куда им деваться? Нет телеграммы из дому.

— Свет не без добрых людей, Доминика Васильевна.

— Правда, правда, ты мудрец, Проша! Ты рассуждаешь, как настоящий мудрец. Что-нибудь придумается в конце концов. Образуется как-нибудь. Не вешай головы, маленький Толь. Ты еще и держать головенку свою не умеешь. Не будем падать духом, маленький Толь. Рассказать тебе об отце? «Хочу громадного счастья, хочу громадной доли!» Ах, как коротка была его жизнь. Как он ждал тебя, маленький Толь!

Она говорила, держась за края колыбели, раскинув руки над сыном, как птица крылья.

Раз под вечер, когда Прошка, чистя у печки на ужин картофель, выслушивал эти протяжные печальные речи, из сеней донеслось:

— Входите! Тулуп-то снимайте.

Хлопотливый голос хозяйки кого-то привечал в сенях.

— Истомились небось, дорога зимняя, вьюжная, без привычки-то растрясешься по сугробам до смерти, здесь они, сиротинки...

— Кто там? — замерла Доминика, покрываясь внезапной, как обморок, бледностью.

В два шага Прошка был у окна. Возле дома, почти упершись в ворота оглоблями, стояла запряженная парой кошева. Ямщик вытаскивал из кошевы узлы и кошелки. А в избу уже входила маленькая, щуплая, лет пятидесяти женщина, с красными, нажженными морозом щеками. В темные ямы провалились глаза. Стала у двери. Медленно, молча подняла к горлу крест-накрест ладони. Доминика закричала не своим голосом, кинулась к этой женщине, обхватила, целуя лицо ей и руки, несчетное число раз целуя.

Женщина уронила голову ей на плечо. Они стояли, прижавшись, не отпуская друг друга.

Та отстранилась наконец:

— Внука покажи.

Держась за руки, они подошли к корзине. Женщина нагнулась, у нее дрожало лицо.

— Внучок, сиротинка...

Вдруг откинулась и исступленно, шепотом:

— За что он его осиротил?

— Кто, мама? О чем вы?

— За что? За что ты отнял у него отца, господи? Осиротил до рождения? За что?

— Мама, полноте, милая, хорошая вы наша...

Доминика схватила ее морщинистые руки с толстыми жилами, гладила, прижимала к груди, целовала.

— Мама, полноте, мама!

— Как внука назвали? — утихнув, спросила мать.

— Анатолием.

— Я и надеялась. Спасибо. Сильно мучался Толюшка? Правду говори.

— Он тихо умер. Волгу все вспоминал, вас... Он вас любил...

— Рассказывай. Без утайки.

Мать не хотела ни выпить чаю, ни переодеться с дороги. Морозный румянец остывал у нее на щеках, сменяясь желтизной. Неутешная и гневная, она сидела на лавке, горько слушая рассказ Доминики о последних днях сына. Не могла, не хотела она мириться со смертью сына! «За что ты его покарал? Он ли был не хорош? За что же, немилосердный, неправедный бог?!»

Она взбунтовалась против бога, и сердце ее стало бесстрашным. Жена бедного чиновника из Нижнего Новгорода, нигде не бывавшая, кроме, может быть, двух-трех городов по месту службы мужа, не колеблясь, собралась в неведомый путь, в чужую сторону к невестке и внуку. Ни дальнего поезда не побоялась. Ни сотен верст с ямщиком по Сибири. Ни зимы, ни тайги...

На кладбище к Ванееву на другой день пришли все вместе с матерью, вся колония ссыльных. Снегом занесло кладбище. Над могилами поднимались сугробики. Монотонно стояли кресты. Над одним сугробиком креста не было. Лежала чугунная плита.

«Анатолий Александрович Ванеев. Политический ссыльный. Умер 8 сентября 1899 г. 27 лет от роду. Мир праху твоему, Товарищ».

Эту чугунную плиту и надпись к ней заказал на Абаканском чугунолитейном заводе Владимир Ильич. По его воле слово «Товарищ» написано было с заглавной буквы.

Доминика принесла сына проститься с могилой отца.

«Прощай, Анатолий. Спасибо тебе, что я тебя знала. Обещаю, сына выращу честным. Прощай, мой большой Толь, мой любимый».

Она стала в снег на колени, прижимая к груди теп-

лый сверток. Из пуховых платков и одеялец слабо слышалось тихое дыхание сына. «Простись с отцом, маленький Толь».

Было морозное утро. Снег на кладбище лежал свежий и чистый, искрясь и блистая на солнце.

Спустя несколько дней подъехала к воротам запряженная парой крытая кошева. На заднем сиденье ворох умятого сена. Поверху сена положили одеяла. Усадили на одеяла Доминику со свекровью. Дали в руки Доминике сверток с сыном. Запахнули на отъезжающих потуже тулупы. Подоткнули одеяла. Насовали в ноги узелки с подорожными. «Здоровы будьте, долгой жизни желаем, сына расти, Доминика, не забывай, помни, помни!» — И тройка понесла кибитку, увозя из села Ермаковского маленького Толя Ванеева.

Что будет с ним? Какая судьба ждет его?

О судьбе его можно было бы рассказать долгий рассказ. Это была бы повесть о поколении, которое восемнадцатилетним вступило в Великий Октябрь. Для которого Ленин был знаменем, совестью и вождем революции. Которое отвоевывало от белогвардейцев и интервентов и отвоевало Октябрь. Строило заводы и шахты. Наводило мосты. Прокладывало дороги. Училось. Создавало Советскую страну и во все времена верило Ленину. И было оттого смелым и честным.

Это поколение в расцвете сил и творчества отбивало от нашествия Гитлера наше отечество.

Маленький Толь в 1941 году был давно инженером. С первых дней войны надел шинель, стал солдатом. Какая судьба! Анатолию Ванееву выпало защищать Ленинград. Город Ленина, город отца.

Почти полвека назад его отец вместе с Лениным начинали здесь путь к революции.

Под бомбами и артиллерийским огнем, в виду фашистских танков, под зловещим крылом самолета с черной свастикой, Анатолий Ванеев, ты думал: «Город Ленина, город отца».

Ты вспоминал рассказы матери, как Ленин создавал в Петербурге «Союз борьбы за освобождение рабочего класса», и твой отец был верным помощником Ленина. Город Ленина, город отца.

Осенью 1941 года Анатолий Ванеев погиб под Ленинградом.

На Пискаревском кладбище в Ленинграде на каменной стене высечены слова, посвященные памяти многих тысяч героев. Среди многих тысяч — инженер Анатолий Анатольевич Ванеев.

Здесь лежат ленинградцы,
Здесь горожане — мужчины, женщины, дети,
Рядом с ними солдаты — красноармейцы.
Всею жизнью своею
Они защищали тебя, Ленинград,
Колыбель революции.
Их имен благородных мы здесь перечислить
не сможем,
Так их много под вечной охраной гранита,
Но знай, внимающий этим камням,
Никто не забыт и ничто не забыто.

21

В сумерках Прошка вез из омета солому.

Покрикивал, как заправский мужик.

— Ты, шевелись, пошевеливайсь! — похлестывал безотказную бабки Степаниды кобылу по кличке Зорька.

Докторский сын с деревянным коньком под мышкой бежал мимо кататься с горы.— Прохор, а папа завтра раным-рано в Шушенское едет. Больного лечить. Урок по немецкому выучил? Ich schreibe, du schreibst... schreiben какого спряжения? А? Э! Что! Товарищ Прохор, вы заслужили по немецкому кол.

Докторский сын начертил пальцем в воздухе угрожающий товарищу Прохору кол и исчез.

Говорите после этого, что случайности не играют в жизни роли! Что касается Прошки, в его жизни счастливые и несчастливые случаи играли прямо-таки поразительную роль. Не догони на дороге от омета докторский сын, не скажи безо всякого к тому повода о завтрашней поездке Семена Михеевича в Шушенское, ничего Прошка не знал бы. Правда, оказии из Ермаковского в Шушенское случались нередко, но ехать в эту дорогу Прошке куда способнее было с доктором, чем с чужим мужиком. Смекалка подсказывала, с доктором вернее отпустят.

Живо, живо управился с соломой, распряг Зорьку,

поставил в хлев и пошел к писарю отпрашиваться завтра в Шушенское. Вечер. На волостном правлении грузно повис ржавый замок, охраняя казенные бумаги и волостную печать До завтра служба закрыта.

«Домой схожу к писарю, не упускать же такую оказию! Подольщусь «господином»...»

Ермаковский ссыльный, рабочий Панин, по внешности напоминающий писателя Гаршина, корил Прошку, что слуге царизма на уступку идет. «Зубы сжать надо. И молчать. А ты — господином».

— Слуге царизма на уступки иду? Черта с два! Для своей пользы обдуриваю.

Вот как! Неужели наш простодушный и доверчивый Прошка, книгочей и простофиля немного, у которого в больших, чуть подсиненных глазах вечно стоит любопытство, словно постоянно им открывается новое, неужели Прошка научился быть дипломатом?

Научился до некоторой степени. Житейский опыт не совсем прошел даром. Студент Петр Белогорский, тюрьма, молодой, безжалостный от старания выполнить службу следователь, мачеха, каменная глыба с подобранными в нитку губами, отец, расплескивающий под ее непреклонным взором чугунок с похлебкой, испугавшийся пустить на ночевку школьный товарищ — вот Прошкин житейский опыт, после которого больше не думает он, что люди все одного цвета. Люди — братья, как учил в школе поп? Не-ет, теперь Прошка знает, не все люди братья. Стал различать: здесь друзья, а там... С друзьями один разговор, с писарем из волостного правления другой.

В жарко натопленной избе семья писаря сидела за вечерним чаем. На столе желтый, как золото, ведерный самовар еще струил из трубы угарный голубоватый дымок. Писарь в расстегнутой рубахе, с волосатой, как войлок, грудью вытирал концом полотенца сытое, пятнистое от веснушек лицо в кучерявой бороде.

— Господин писарь, дозвольте...

Жена, тоже сытая, потная, проворно опустила на стол блюдце с чаем, обратив к мужу замаслившийся взор.

«А чем не господин? Господин и есть. Вся власть в руках. Поп и тот перед нами шапку ломает».

— Чего тебе в Шушенском надобно?

— Товарищ там... день рождения.

— У людей будни, у них все дни рождения.

Писарь силился сохранить строгость, но лицо от «господина» расплывалось блином.

Выехали не самым ранним утром, а до обеда задолго. Доктор Арканов захватил свой докторский чемоданчик с инструментами и лекарствами, и они покатили в легком возочке, покрытом на сиденье поверху сена попоной.

— Видите ли, Прохор Артемьевич,— интеллигентным тенором проникновенно говорил доктор Арканов, когда село Ермаковское скрылось позади в волнистых снегах и возок их легко скользил по накатанному следу лесного пути, и величавые сосны и гигантские осины безмолвными стражами выступали из тайги вдоль дороги.— Видите ли, Прохор Артемьевич, с некоторых пор село Шушенское стало особенно мне интересным благодаря одному человеку. В университетские годы, поверьте, мне выпало счастье общаться с людьми незаурядными, даже блестящими. И тем более ценю я выдающийся интеллект Владимира Ильича! Ученый, философ, политик, юрист! В его книгах, в частности я имею в виду «Экономические этюды...» и «Развитие капитализма в России», в них, этих книгах, рассмотрен процесс формирования общественных классов, диалектика развития общества — колоссального значения труд! Но что меня, человека, уже по профессии своей чуткого к нравственным вопросам, волнует особенно, это то, что ученый, живущий в сфере сложнейших умственных и философских проблем, спешит откликнуться на обычные нужды. Возьмем Оскара Энгберга...

Доктору Арканову вспомнился Энгберг. С чего бы? А вот с чего. Вчера получил Семен Михеевич письмо, из-за которого и покатил сегодня навещать своих шушенских пациентов, которых участковому врачу время от времени положено было проведывать.

«Уважаемый г-н доктор!

Если ваши служебные обязанности позволяют, то не будете ли Вы так добры зайти вечером к моему больному товарищу Оскару Александровичу Энгбергу (кото-

рый живет в доме Ивана Сосипатова Ермолаева). Он уже третий день лежит, страдая от сильной боли в животе, рвоты, поноса, так что мы думаем, не отравление ли это?

Примите уверение в искреннем уважении

Владимир Ульянов »

— Так вот, Оскар Энгберг, довольно рядовой, говоря откровенно, рабочий, а каково отношение к нему Владимира Ильича? Или вспомним Ванеева... У Владимира Ильича дар быть товарищем! Вот что волнует. Разумеется, его исследования, марксистский анализ развития общества...

Доктор вволю потолковал о марксистском анализе, после чего перешел к обсуждению противоположных философских систем, но Прошка уже невнимательно слушал. Кивал, а думал о другом. «У Владимира Ильича дар быть товарищем!» Прошка это и до доктора понял. Тогда, на кладбище понял...

Прошка рвался увидеть Владимира Ильича. Вспоминал его голос,— такого голоса Прошка ни у кого не слыхал! — его искристый взгляд, заботливые советы: «Бодрее живите, учитесь».

Прошке хотелось порассказать о себе, что живет он в селе Ермаковском бодро, времени зря не теряет, учится вовсю. Наверное, Владимир Ильич обрадуется. К Владимиру Ильичу у него было такое жаркое чувство, будто был он Прошке самым близким и родным человеком. А что вы думаете, их многое связывало! Подольск связывал, прочитанные Прошкой политические книги, которые ему давал Михаил Александрович Сильвин, мысли о будущем.

Но и другое звало Прошку в Шушенское. Конечно же, Паша! Он не мог забыть, как она тогда убежала. Он сунул ей в карман мамкины варежки, а она вырвалась от него и убежала, топая чирками по окаменелой земле. Мороз сковал дорогу. Прошка слушал, как топают ее чирки вдали. Обиделся, может быть, думаете вы?

Милая, милая! Веселенькая, синеглазая, единственная Прошкина любовь.

«Убежала? А что же? На шею парню с первого раза кидаться? За что и люблю, что неуступчивая, гордая.

Не отдам тебя, Паша! Не уедешь ты в Польшу. Не пущу тебя в Польшу. Кончится ссылка, поедешь со мной».

Вот что должен Прошка высказать своему другу и товарищу Леопольду Проминскому. «Почему должен? Не знаю. Должен».

Между тем, незаметно возочек их пролетел пятьдесят верст степной и таежной дороги и бойко катил широкой шушенской улицей, подпрыгивая на снежных ухабах. Шушенское занесло, замело озорными первыми вьюгами. Завиваясь на краях, привалились к заборам сугробы. Стало теснее на улицах. Под полозьями визжал звонкий снег. Журавель колодца клонил длинную шею, встречая поклоном приезжих,— баба поднимала из колодца воду в бадье.

Возле одной худенькой, невидной избенки стоял в накинутом на плечи полушубке хозяин Иван Сосипатыч.

— Сюда, во двор, заворачивайте, ставьте кобылу, мой постоялец-то, уж как его забрало, сердешного, ночью надрожались, не помер бы.

И, торопливо шаркая подшитыми валенками, разводил кривые ворота на двор.

Юркий, тощенький, с легкими волосенками, стоявшими дыбом, образуя надо лбом как бы сияние, Сосипатыч был напуган болезнью постояльца и отчасти тщеславился, что к его ничем не знаменитой, вовсе плохонькой даже избушке подкатил вон какой щеголеватый возок, вылез господин в лисьей шубе с городским чемоданчиком — вчера только Владимир Ильич письмо написал, а нынче и доктор тут как тут.

Уважают люди политика нашего Владимира Ильича! Башковитый, ничего не скажешь, политик, ума палата.

Оскар Энгберг лежал нечесаный, щеки запали, усики его, всегда холеные, уныло повисли, вид являл он печальный. Из потрескавшихся губ неровно вырывалось дыхание, глаза глядели мутно, не хотели глядеть.

— Николай заступник, святой Пантелеймон! — без смысла бормотала и крестилась хозяйка, пугая бедного Оскара причитаниями и жалостливыми взглядами.

— Хозяюшка! Помолились божьим угодникам, ее величество медицина вступает в права,— замысловато объявил доктор, раскрыв руки и тесня ее к печке. Заод-

но потеснил хозяина и Прошку туда же. Хозяйка крестилась за занавеской у печки. Хозяин курил, шепотком делясь с Прошкой, как они с постояльцем ходили на Перово озеро стрелять уток. И Владимир Ильич с Женькой своей соберется, бывало, азартный, не оторвешь от ружья! А уж Оскар Александрович вовсе ненасытным охотником был...

«Был! — царапнуло Прошку.— Неужто опять беда?»

Но оттуда, от кровати больного, доносился невозмутимый докторский тенор, назначавший лечение и мудреные, по-латыни, лекарства. Услышав латынь, хозяйка пуще разгоревалась:

— Молоденький, холостой, помрет, схоронят на чужой стороне, и помянуть некому.

Между тем Оскар уже от одного появления доктора стал поправляться. Уже не лежал плашмя в покорной тоске, в глазах трепыхнулась живинка. Расхрабрился, запросил испить кисленького. Кисленького, то есть клюквенного настою, доктор позволил и долго повторял и внушал, как лечиться, твердил по-латыни названья лекарств. На душе у всех полегчало: видно, Оскара Энгберга хоронить на чужой стороне не придется, и Прошка, условившись, где и когда встретится с Семеном Михеевичем, чтобы ехать домой, пошел к Леопольду.

— Поклон им навсегда! — наказал Оскар Энгберг.

Почему навсегда? Прошке некогда раздумывать над поклонами Энгберга. Скорей к Леопольду!

Запутанная жизнь. Бежать бы со всех ног в тихую, уютную улочку, где над Шушей стоит дом с двумя колоннами на деревянном крылечке. Там синеглазая Паша. Насмешница Елизавета Васильевна. Владимир Ильич. «Рабочий класс» Прошка, бежать бы тебе к Владимиру Ильичу Ульянову! А он сначала бежал к Леопольду. Зачем? Ведь скоро уедет Леопольд. Долго ехать до Польши из села Шушенского Минусинского округа Енисейской губернии. Когда-то доедешь! Когда-то приплетется из Польши письмо — до Красноярска по железной дороге, от Красноярска на перекладных. Сколько дней, недель, месяцев проползет в ожиданиях, пока Паша кинется в ноги: «Батюшка, матушка, отпустите в город Лодзь!»

А вы верите, что в жизнь свою не видавшие железной дороги (она всего третий год и идет по Сибири), в

жизнь свою не бывавшие дальше уездного Минусинска батюшка с матушкой отпустят дочь Пашу в черный фабричный город Лодзь? Неведомо куда, в Польшу? Они про Польшу по политическим только и знают.

Прошка, может, схитрить? Утаить? Вот уедет Леопольд...

Нет, он шел. В шубейке нараспашку, обмотав шею шарфом (Дмитрия Ильича теплым, в клетку шарфом), шагал. «Не хочу таить, Леопольд, ты уедешь, а я ее люблю».

Шагал по аршину, размахивая руками. Чем дальше — тише. Возле избы вовсе стал, словно чего-то надеясь дождаться. Постоял, не дождался и вошел в сени не очень смелыми шагами. Из избы неслись возгласы. Там спорили голоса. Женский, плачущий:

— Сил нет больше терпеть. Устала я. Матка боска, кеды будет конец?

Мужской, неуверенный, стараясь бодриться:

— Текла, Текла, семья твоя при тебе, дети здоровы, муж не в тюрьме запертой, а нынче и вовсе на воле, не гневи свою матку боску, нашлет настоящей беды.

Женский, сердясь, негодуя:

— Это ль не беда? Смеешься, муженек? Смейся над моими слезами.

Мужской:

— Текла, Текла, тебе легче, что плачешь.

Прошка стукнул в дверь и рывком отворил. Что у них! По всей избе валяются вещи, тряпки; наполовину полный одежды, стоит раскрытый сундук, вязки тугих оранжевых луковиц, ящики — пустой и с посудой, переложенной сеном; опрокинутый табурет, печные горшки на полу, приставленный к оконной раме кверху рогами ухват, и посреди этого столпотворения мужчина и женщина. Он с запорожскими усами, как на картине Репина, только очень уж истомленный и сумрачный; она бледнолицая, чернобровая, из глаз так и брызжут гневные искры — Прошка мгновенно узнал мать Леопольда. По лавкам расселись мальчишки и девчонки разных возрастов (что-то много, показалось Прошке), серьезные, с ломтями посоленного хлеба.

— Дзень добрый. Чего пану тшеба?—спросила мать, с вызовом подперев бок кулаком: «Ну, беспорядок, ну, бедность и ребят орава, ну и что? Мы не жалуемся, а

вас не просим жалеть».— Пану тшеба наш старший сын Леопольд? — Повела плечом:— Там.

Прошка шагнул за перегородку в другую половину избы. Леопольд копался там в ворохе книг. Что-то прибитое было в нем. Нервно подрагивали ноздри тонкого носа. Увидел Прошку, опустились руки.

— Несчастье. В Польшу не едем.

Им отказали в пособии. Без пособия не доехать до дому. Насмеялись над ними. Когда мать поднялась из Лодзи в Сибирь к отцу со всеми ребятами, начальство сулило, на обратную дорогу будет пособие, закон есть такой. Владимир Ильич писал им прошение. Владимир Ильич знает законы. Их обманули. Разве бы мать бросила дом? Э! В доме ли дело? Что дом? Полуподвал из двух комнатушек. У них Польша была. Вся Польша принадлежала Проминским, родина, Лодзь с фабричными заводскими гудками. По утрам гудки ревели, пели, как трубы. Как оркестр медных труб, у каждой свой голос, то высокий, то низкий, призывный; многоголосо сзывали фабричные гудки народ на работу, улицы заливало рабочими куртками. Леопольд мечтал быть с лодзинским рабочим классом! Там его Польша. Истоптанная чужими солдатскими сапогами, негнущаяся. Домой, домой! Ах, тоска...

— Матка боска, да я ж совсем потерялась с этим нашим добром! — слышалось из той половины избы.— Ян мой милый, скажи хоть ты, брать нам ухват или, может, пусть остается?

— Давай книги связывать,— хмуро бросил Леопольд.

У Прошки не повертывался язык спросить, куда они уезжают. Неизвестно отчего, Прошка чувствовал перед Леопольдом вину.

Книг не так было много. Вот эту подарил Владимир Ильич. И эту! Вся душа всколыхнулась у Прошки при виде пестренькой, с коричневыми наугольничками книги, точь-в-точь как та, петербургская, которую когда-то с таким волнением он проглотил в одну ночь! «Школьные товарищи. Сочинение Эдмондо д'Амичиса. Перевод с итальянского...» Вот где он ее снова нашел, эту добрую книгу. Сразу встали перед глазами Ульяновы, все, с кем

встречался. В душе вспыхнуло то небудничное, чистое, что всегда поднимали в нем встречи с Ульяновыми. Нечастые встречи, а вся Прошкина жизнь просветлена и пронизана ими.

До позднего вечера в избе Проминских была суматоха. Никто не знал толком, что делать, за что браться.

— Матка боска, пропадаю, совсем пропадаю!

Однако с появлением Прошки пани Текле прибавилось энергии. Прошка живо заделался ее главным помощником. Упаковывал, заколачивал, связывал. Пани Текле оставалось командовать.

— Забивайте ящик с посудой, пан Прохор! А ухват возьмем. Что за жизнь без ухвата? И борща не сварить без ухвата. Леопольд, куда ты мою юбку суешь? Матка боска, да это ж та самая юбка, которую я надевала, когда ходила в Лодзи молиться в костел. Ян мой милы, може, найдешь еднэ мейсце для моей праздничной юбки? Зося! Броня! Стасик! Тащите от печки чугун. Как мы его повезем, этот великий чугун! Нет, я умру... Матка боска!

Настали сумерки. В сумерки за Прошкой заехал доктор Арканов.

— Пан Прохор не останется нас проводить? — увидев под окошком возок, огорчилась мать Леопольда.

— Ты не останешься? — надменно и просительно уронил Леопольд.

И Прошка сочинил доктору сказку, что писарь отпустил его в Шушенское на столько дней, сколько душе пожелается.

— Исключительный случай,— удивился доктор, но спорить не стал и уехал один.

— Пан Прохор, зашивайте мешок,— с новым подъемом принялась распоряжаться Текла Проминская.— А ты, Леопольд, будто чужой человек, будто чужое тебе наше добро...

— Мама, не надо! — поморщился он.

В последний раз сели Проминские ужинать за шушенский стол. После ужина детей сморил сон, улеглись где попало, по лавкам, на печке.

«Леопольд! Неужели так и не поговорим напоследок?» — молча спрашивал Прошка.

Отец набивал трубку, долго приминая пальцем табак. Давно уже набита трубка, а он все тычет пальцем,

все уминает табак, а думает не о трубке, совсем о другом.

Чу! Шаги в сенях. Пришли. Пришли все-таки! А как же ты думал, товарищ Ян Проминский? Неужели ты сомневался?

— Пани Текла! — растроганно восклицала Надежда Константиновна, держа и любовно гладя обе ее руки.— Пани Текла! Столько милого с вами уходит, пережитого вместе. Серьезного, печального и радостного. Целая полоса жизни уходит...

Бурно, больно забилось сердце у Прошки. Еще не увидя, он знал: Паша здесь.

Она была в желтом дубленом полушубке, цветной шали и нестерпимо грустной показалась Прошке в этой яркой одежде. Стала у порога, засунула руки в рукава и простояла не двигаясь, без улыбки и слова, пока Надежда Константиновна и Владимир Ильич прощались с Проминскими.

— Итак, завтра навсегда прощай Шушенское,— душевно говорил Владимир Ильич.— Удастся ли встретиться? Удастся или нет, спасибо за дружбу, товарищ Ян. За охоту, за песни, за Первое мая, помните, как весело, с красными флагами мы встречали Первое мая. За вашу революционную стойкость спасибо.

— Дзенькуе, Владимир Ильич. А что, Владимир Ильич,— потягивая запорожский ус, сказал Ян Проминский,— не по нашему обычаю у нас свидание идет. По нашему обычаю так.

Он тихо запел глуховатым низким голосом:

Вихри враждебные веют над нами,
Темные силы нас злобно гнетут...

Владимир Ильич подхватил, вполголоса вторя:

В бой роковой мы вступили с врагами...

Почти шепотом Надежда Константиновна:

Нас еще судьбы безвестные ждут.

Леопольд вытянулся, словно давая присягу, и негромко, четко, отрубая слова:

Но мы подымем гордо и смело
Знамя борьбы за рабочее дело...

Мороз прошел по коже у Прошки от их тихого пения, от их слов, похожих на клятву.

— Не забывай, Леопольд! — задумчиво сказал Владимир Ильич, когда кончили петь.

— Никогда!

Владимир Ильич с Надеждой Константиновной простились, ушли. Паша пропустила их из избы. Молча, в пояс поклонилась матери и отцу Леопольда. Прошке чуть кивнула откуда-то издали

Растерянный, смятый, стоял Леопольд, словно ураган над ним пролетел. Опомнился. Загреб в охапку треух, дошку и — вон.

— Яка ясна паненка,— сказала мать с мечтательной улыбкой.— Нашего сына старшóго ясна паненка.

Отец промолчал, приминая пальцем в трубке табак.

— Что за люди Ульяновы! — сказала пани Текла.— Не знаю, есть ли еще на свете таци добжи людзе, нови людзе.

Леопольду и Прошке постелили в той половине избы на полу лоскутное одеяло, бросили под головы чью-то одежонку. Прошка лег. Укрылся шубейкой.

Белая полная луна висела в окне. Лила смутный свет белая от лунного снега беззвучная ночь. Суматошный сегодняшний день колесом вертелся в голове. Высились перед глазами осыпанные снегом сосны тайги, подпирая вершинами утреннее синее небо. Зимний лес, величавый.

Вдруг все сменяется. Духота, теснота, шум, мусор избы. Надрывный зов пани Теклы в ушах: «Пан Прохор, зашивайте мешки!» Паша у порога в желтом дубленом полушубке. «Вихри враждебные веют над нами...» Паша так и простояла без слов. Как долго не идет Леопольд! И с Леопольдом за весь день ни о чем не говорили. Он, как лунатик, слепо и чуждо бродил по избе. Как долго Леопольд не возвращается.

Белая луна отодвинулась от окошка. Углы в избе потемнели. Слышно, прокричал петух во дворе.

Леопольд вошел на цыпочках, бесшумно разулся, лег возле Прошки. Лежали долго молча.

— Прошка, не спишь, я слышу,— наконец прошептал Леопольд.

— Не сплю.

— О чем ты думаешь, Прошка?

— О жизни.

Леопольд поднялся рывком, сел, обхватив колени руками. В белесоватом сумраке ночи Прошка видел его прямой профиль, длинную черную бровь.

— Если бы мы уезжали в Польшу, я надеялся, она к нам приедет. Был уверен, приедет. А сейчас почему-то думаю, нет. Знаю, уверен, что нет. Никогда не увижу ее. Она не приедет. Прошка, как я несчастлив!

— Леопольд, не надо... не горюй так, Леопольд! — растерянно утешал Прошка и не верил, что можно утешить.

— Прошка, скажи ей, что всю жизнь буду помнить. Никогда не разлюблю. Скажешь?

— Сам бы сказал.

— Говорил. Завтра передай еще от меня. Передашь?

— Передам.

Леопольд лег на спину, закинув под голову руки, вытянулся и лежал неподвижно. Глядел в потолок. «Я несчастлив. Как я несчастлив».

22

Желтизна на востоке слабо светлила мглистое небо. Глубоко где-то за мглой встало солнце. Нынче не выбиться солнцу из набухших снегами серых туч, низко накрывших просыпавшееся после ночи село Шушенское. Невеселое начиналось утро. Распахнуты ворота во двор. Дверь в избу неприкрыта. Два санных следа ведут со двора. Проминские уехали затемно.

Прошка шел по снегу, придерживая за пазухой книжку «Школьные товарищи», обменял у Леопольда на Максима Горького.

Который раз за свои недолгие годы Прошка расставался! Дорогое, что только-только нашел, обрывалось в его жизни, оставляя на душе пустоту.

Проминский с семьей уехал в Красноярск служить на железной дороге. Кржижановские и Старковы из Минусинска уехали. Все уезжают. Михаила Александровича Сильвина признали годным в солдаты, скоро заберут. Не останется и Прошкина учительница в Сибири без

мужа. Кончается срок у Лепешинских. Три последних месяца доживать в ссылке Ульяновым. Все уезжают...

Плохо, Прошка, придется тебе. И за вчерашнее самовольство придется ответить. Какое наказание писарь пропишет? Зашлет на край света, на самый Северный полюс. Тут тебе и конец.

Пока что Прошка брел по селу в направлении слепенькой, под снеговой шапкой избенки Сосипатыча проведывать больного Оскара.

В избах топили печи, дым из труб стелился над крышами; повизгивали, нагибаясь, журавли колодцев; слышались голоса за заборами, глухо-наглухо отгородившими дворы от улицы; слышны были хруст снега, мычание коров — задавали скотине корм.

На столе у Сосипатыча валил горячий вкусный пар из чугуна с картофелем.

— Садись, парень, гостем будешь,— хлопотал Сосипатыч.— Крепенького нет, за здравье постояльца нашего с радости-то маленько бы...

Оскар Энгберг, слабый и бледный, был, однако, совсем не тот, что вчера. Побритый, с прямым, как линеечка, левым пробором, аккуратно подкрученными светлыми усиками. В мыслях он уже строил планы на будущее.

— С постели поднимусь, вон инструменты мои дожидаются.

Эти инструменты Надежда Константиновна, когда ехала в ссылку, привезла из России. Владимир Ильич написал, что, мол, есть у меня в Шушенском товарищ, рабочий Оскар Энгберг, мастер ювелирной работы, тоскует без дела и на прожитие с теми инструментами заработать бы можно...

Надежда Константиновна по просьбе Владимира Ильича привезла Энгбергу набор инструментов, а они не легонькие, тяжелую корзину Надежда Константиновна привезла для Оскара.

У Прошки за пазухой книжка, перевод А. Ульяновой. Владимир Ильич спрашивал в письме к матери: разве итальянский писатель д'Амичис, которого перевела Анюта, пишет для детей? Он не знал, что Анюта перевела детскую книжку. Детскую? Отлично! Пришлите, пожалуйста. Непременно пришлите ребятам Проминского!

...Оскар Энгберг выкладывал Прошке планы, что день-другой полежит, как велел доктор, а встанет от болезни, примется изготовлять Надежде Константиновне к отъезду из ссылки подарок. Брошь в виде книжки. Выгравировано будет на книжке: Карл Маркс. На память. Чтобы помнила, как учила Оскара Энгберга понимать «Капитал» Карла Маркса, разбираться в политике. Чтобы помнила, какая пригожая приехала в Шушенское, приятная, тоненькая, будто молодая березка. Улыбнется — окошко в весенний сад распахнулось!

Впрочем... Оскару Энгбергу помнить об этом. А Надежда Константиновна повезет из Шушенского брошь в виде книжки.

Небо все ниже нависало. Сизое, снеговое. А утро, однако, посветлело немного, и Прошка, пожелав доброго здоровья Оскару и удачной охоты Сосипатычу, пошагал в тихую улочку над рекой Шушей. Реку Шушу и не разглядеть бы под снегом, да убитая валенками тропка вела к проруби, круглому омутцу с зелеными гладкими краями, над которыми тонко дымилась белым паром ледяная вода. Наверное, Паша ходит к этой проруби полоскать белье...

Она охнула, когда он вошел в дом. Тихо: «Ой!» И опустилась на лавку, словно без сил. Вчера не заметила Прошку. Ничего не сказала. Даже «здравствуй» не сказала.

Наверное, она тоже не спала эту ночь, в глазах ее не было блеска.

— Глядите, кто к нам пожаловал! — воскликнула Елизавета Васильевна.— К нам питерский печатник пожаловал, товарищ Прохор. Идите садитесь за стол. Пашенька, деточка, чайку бы! А может, он и есть хочет? Может, он голодный? Не стесняйтесь, Проша. Я еще с питерских времен привыкла вашего брата кормить...

Добрая Елизавета Васильевна Крупская! Прошка не знал о поручике Константине Игнатьевиче, который на площади уездного польского городка разгонял из пистолета жандармов и лавочников, издевавшихся над евреями и польским народом во славу российской императорской власти. Прошка не знал о поручике Крупском. Леопольд не успел рассказать. Ведь они всего два раза и виделись с Леопольдом Проминским.

— Так что же, товарищ рабочий-печатник, значит,

Аничков мост, Петр Первый на коне?..— лукаво щурилась Елизавета Васильевна, напоминая, как в ту встречу они состязались, кто лучше знает знаменитые в Петербурге места и памятники.

Тогда был вечер. На столе на круглом подносе фыркал и бурлил самовар, Елизавета Васильевна была весела и смешлива, и Прошка даже думать забыл, что его выслали в ссылку. Думал, хорошо жить! Сейчас он опять сидел здесь за чаем. Надежда Константиновна в темном платье, в котором казалась совсем тоненькой, в легком пуховом платке ходила по комнате меленькими шажками. Иногда останавливалась, придерживая платок у подбородка.

Если бы на месте Прошки был Леопольд, удивился бы, что Надежда Константиновна ходит. Ведь это у Владимира Ильича привычка ходить. Прошка не знал их привычек, но беспокойство Надежды Константиновны передавалось ему. Надежда Константиновна была неспокойна. Вспомнилась питерская жизнь, вдруг вспомнилась, вспомнилась вся! Увидела товарища Прохора, подручного печатника из типолитографии Лейферта, и поняла, как соскучилась, стосковалась о питерских рабочих кружках и вечерних классах, где была учительницей. Как любила свою должность, которую надо было скрывать от полиции. Как старательно готовилась к лекциям, с подъемом, волнением. Как ее любили и уважали ученики. И как это было все хорошо.

— Когда живешь среди рабочего класса, хоть частью живешь, удивительно чувствуешь силу и значительность жизни. Я не говорю обо всех подряд рабочих, я говорю о рабочем классе молодом, на который историей возложена миссия... А в то же время интересно, страшно важно и с каждым отдельно рабочим! Живые люди. Не отвлеченные понятия, а живые, очень разные, серьезные люди. Ах, что-то запечалилась я.

— Это отъезд Проминских на тебя подействовал,— сказала мать.

— Конечно, подействовал. Хорошо, когда знаешь, зачем живешь, когда перед тобой большая задача.— Надежда Константиновна подошла к ней, обняла: — Родная моя.

После чугуна с горячим картофелем у Сосипатыча Прошка через силу одолел пышку, подсунутую ему Ели-

заветой Васильевной. Допил чай. Перевернул чашку вверх дном, как приучила бабка Степанида, блюдя свои строгие правила. Положил на дно чашки огрызок сахару и подумал с грустью, что пора в Ермаковское. Сказал спасибо за чай, сказал, что ермаковские кланяются, здоровья желают, а ему, Прошке, нельзя ли перед уходом Владимира Ильича повидать?

— Важное дело? — спросила Надежда Константиновна.

— Нет, дела важного нет. Просто повидать.

Надежда Константиновна пытливо на него поглядела и, ничего не ответив, ушла в ту комнату, где Прошке быть пока не пришлось. Прошка еще не видел конторку с перильцами и лампу под зеленым абажуром, всегда на одном месте, у перилец, в левом углу. Владимир Ильич работал каждый день допоздна. Светит в окно ночью зеленая лампа. Тысячи верст вокруг. Все ночь, ночь. Все Сибирь да Сибирь. Все тайга. Одна горит зеленая лампа в окошке...

Владимир Ильич за конторкой писал. Остро отточенный карандаш без остановки бежал по листу. Надежда Константиновна знала его манеру писать. Быстро, быстро, быстро! Она любила его манеру страшно быстро писать. Когда любишь человека, все любишь в нем.

Надежда Константиновна присела к столу. Там ее дожидались переводы с немецкого, рукопись книги «Женщина-работница», которую она с таким увлечением писала. Но сейчас она пришла не за тем, чтобы работать. Она облокотилась на стол, подперла подбородок ладонями. Так могла она долго молча сидеть, когда Владимир Ильич работал у конторки. Он оторвался от листа.

«Ты вошла, милая, побудь здесь, погоди, надо кончить, не упустить одно важное...» — сказал его мгновенный взгляд, ласковый и тут же ушедший в себя, в свою мысль.

Он снова писал. Надежда Константиновна думала о том, как он много работает. Слишком много! Стал плохо спать. Похудел. Нервным стал. Посреди разговора иногда оборвет нить, умолкнет, молчит. Три месяца осталось жить в Шушенском. Три самых трудных за всю ссылку месяца! Вся его душа, весь его ум, все его существо сосредоточились на ожидании будущего, теперь

близкого будущего, чем ближе, тем нетерпеливее рвется Владимир Ильич к практической деятельности, восстановлению и созданию партии!

То, что Владимир Ильич обдумывал сейчас и писал, были статьи для «Рабочей Газеты», которую год назад на Первом съезде партии в Минске признали официальным партийным органом. Участники Первого съезда почти все арестованы. Полиция преследовала газету. Вышли только два номера. Окольными путями Владимира Ильича известили, что товарищи пытаются возобновить выпуск «Рабочей Газеты». Он писал для нее. Может быть, не удастся опубликовать в «Рабочей Газете» эти статьи. Но важно было их написать.

«Мы стоим всецело на почве теории Маркса: она впервые превратила социализм из утопии в науку... Мы вовсе не смотрим на теорию Маркса как на нечто законченное и неприкосновенное... Мы думаем, что для русских социалистов особенно необходима *самостоятельная* разработка теории Маркса... В России не только рабочие, но и все граждане лишены политических прав. Россия — монархия самодержавная, неограниченная. Царь один издает законы, назначает чиновников и надзирает за ними».

В эти последние нетерпеливые месяцы ссылки Владимир Ильич обдумывал программу политической борьбы рабочего класса. Борьбы против царя, против бесправия. Полицейщины. Эксплуатации.

За социализм. За новое общество.

Все яснее виделся ему проект Программы революционной рабочей партии.

Надежда Константиновна куталась в пуховый платок — так уютнее думать... В планах и Программе Владимира Ильича нет ничего фантастического. Никакой фразы нет. Все реально, практично, жизненно. И есть сила мечты. Разве идеал это то, что никогда не сбывается? К чему идут, идут и никогда не приходят? Но убедительность Программы, которую для российской рабочей партии создавал Владимир Ильич, как раз в том, что она зовет идти к реальному. Нам, людям нашего поколения, идти. Дойдем?..

Владимир Ильич оставил писать за конторкой и подошел к ней:

— Что, Надюша?

— Так, задумалась,— улыбнулась она.— Володя, а знаешь, там Проша... товарищ Прохор.

Прошка с первой встречи вызвал у них обоих симпатию Владимир Ильич чувствовал, парень тянется к ним, к революционному делу.

— Ну-с, как учимся? — спросил Владимир Ильич, выходя к нему в другую комнату.— Всерьез? Ежедневно? Молодцом! Михаил Александрович Сильвин лекции о французской революции читает? Смотри-ка, Надя, как далеко наш товарищ Прохор шагнул! Вы и о философии на уроках толкуете? А знаете ли вы, какая разница между философами прежних времен и марксистами, философами нашего времени? Какая большущая и принципиальная разница?

Владимир Ильич чувствовал в Прошке отклик на свои сокровенные, отчаянно смелые мысли. И потому говорил с ним о важном и крупном, самом существенном, что вытекало из его сегодняшней работы за librarytable конторкой, что отвечало раздумьям Надежды Константиновны.

— Еще Маркс говорил, что философы прежних времен только объясняли мир, а философы наших взглядов, нашего времени хотят переделывать мир. Вот в чем существенная разница. Мы поняли мир. Объяснили. И будем переделывать.

— Я думаю, уже наше поколение... — сказала Надежда Константиновна.

— Да! — подхватил Владимир Ильич.— Уже наше поколение, товарищ Прохор, а ваше тем более, дойдет до цели. Добьется намеченного. Потому что мы знаем, чего нам надо: переделать мир. Страшно важно, товарищ Прохор, твердо знать это, уверенно знать! Не колебаться...

Прошка слушал. Понимал. Душой понимал.

Неизвестно, случится ли еще приехать сюда, к Владимиру Ильичу, в село Шушенское. Осталось три месяца до конца их ссылки.

Ну, прощайте! Может быть, не прощайте?..

Наступит 1917 год и, может быть, еще встретится товарищ Прохор с товарищем Лениным.

Паши в комнате не было. Где она? Куда убежала? Спросить Владимира Ильича о том, что запало в сердце, точит и ноет? Что ты, Прошка! После всего, что говорил

Владимир Ильич?.. Разве можно! А если бы все же Прошка спросил:

— Вот два революционера одну девушку любят, как им быть, революционерам-то?

— А она? Кого из двоих она любит? — наверное, так ответил бы Владимир Ильич.

Но у Прошки застряли в горле слова. Не спросил. Не решился. А Владимир Ильич, наверное, ответил бы так...

Прошка вышел из дома. Серое тяжелое небо. Сейчас прорвется, завьюжит, заметет. Снег, снег над селом Шушенским. Над Саянами. Над тайгой. Снег, снег...

Во дворе против крыльца — голая, опутанная засохшими ветвями хмеля беседка. Больше не будут Владимир Ильич и Надежда Константиновна сидеть летом в этой беседке под звездным небом Сибири.

— Прошка!

Паша выскочила из-за дома, простоволосая, в валенках и своем желтом дубленом полушубке.

— Прошка! Стой, Прошка, на, Прошка.

Она выхватила из-за пазухи теплый пушистый комок, варежки, серенькие с белым, с оборочкой.

— Зачем? — испугался он.

— Разве материну-то память дарят? Беречь надо. Бери. Береги.

Он взял. Она стояла, потупившись, поникшая, грустная.

— Паша, отчего ты Леопольду ничего не сказала?

— А ты?

— Паша, Леопольд велел передать, что никогда не забудет. Всю жизнь тебя будет любить,— ответил он.

Она молчала, опустив голову.

— Паша, я еще приеду к вам, в Шушенское. Если не ушлют куда далеко. А ушлют, все равно приеду, а, Паша?

Вдруг она вскинула руки ему на плечи.

— Приезжай, приезжай, приезжай! Жалко мне вас. Мают вас, гоняют по ссылкам, воли вам нет, хорошие вы. Жалею я вас.

Она поправляла на нем шарф, укутывала ему шею и, к изумлению, счастью и горю его, твердила:

— Приезжай, Прошка, приезжай!

Махнула рукой. И убежала. Как тогда.

Серое небо над Шушенским. В последний раз оглянулся Прошка на крылечко с двумя деревянными колоннами.

Надо в волостное правление. Или на постоялый двор. Где-то надо искать оказию в село Ермаковское. Не подвернется оказии, пешком, через степь. Через лес. Ну и что? Волки не часто людей загрызают. Как-нибудь доберусь. Что Прошку ждет в селе Ермаковском? Что писарь пропишет?

Что бы ни было, Прошка шел, полный решимости. Почти счастливый.

Вихри враждебные веют над нами...

Прошка думал о словах Владимира Ильича, о том, что наша задача не только объяснять, но переделывать мир. И Паша в желтом полушубке стояла перед глазами. «Воли вам нет, гоняют по ссылкам». Милая Паша, милая Паша.

Вихри враждебные веют над нами...
Но мы подымем гордо и смело...

1964—1965

МАРИЯ ПРИЛЕЖАЕВА

Три недели покоя

1

— Прими сходни. Носовую отдай.

Капитан в белом кителе, с могучими плечами и кирпичного цвета лицом командовал, стоя на мостике, прочно расставив ноги,— настоящий морской волк из повестей Станюковича. Немного странно было, что такой видный капитан с трубным голосом командует таким скромным пароходиком, однопалубным, с двумя десятками, не больше, пассажирских кают, кормой, забитой простым людом и мешками заграничного риса в трюме, доставляемого по назначению.

— Прими сходни! Носовую отдай!

Грохоча, поехали сходни на пристань. Борт затворился. Куда-то вдоль палубы побежал матрос. Стекала вода с каната, улегшегося витками у борта, как гигантская кобра.

— Кормовую отдай! Задний тихий!

Пароход прогудел низким басом, у Марии Александровны сжалось сердце. Этот гудок над Волгой так знаком... Короткий, гулкий, будящий эхо. Она любила слушать его голос: «До свидания! Отплываем!»

Под колесами зашлепала вода, и сразу пристань с оживленной, летней толпой провожающих в цветных шарфах и шляпах-канотье, с беспорядочно наваленными ящиками, бочками, от которых резко пахло селедкой, отодвинулась и стал виден Нижний, и чем дальше на середину Волги, разворачиваясь по течению, отходил пароход, тем отчетливее был виден город на холмах, радостная зелень Откоса, высокого, круто идущего вниз.

Стены Кремля уступами сходят с гор и вновь поднимаются вверх, спокойные и тяжелые. Башни с пустыми глазами бойниц. Вот они, знакомые башни. Коромыслову башню, пожалуй, не видно.

Они часто к ней приходили.

Мария Александровна почувствовала холодок волнения. Не ожидала, что далекое оживет в ней с такой силой.

О Коромысловой башне рассказывали легенду. На Нижний Новгород напали враги. Обложили город вражеские войска — ни входа, ни выхода. Насмерть стояли нижегородцы, не сдавались врагу. Съедены запасы, не осталось воды, погибать стали люди. Одна девушка решилась, взяла коромысло и ведра и до рассвета пошла на речку Почайну за водой. Речка Почайна быстро сбегала тенистым овражком к Волге. Тайным ходом дошла девушка до Почайны, но вражеские дозоры заметили, напали. Стала она коромыслом отбиваться, сносить врагам головы с плеч. Да ударила о сосну и сломала его. Тогда лишь одолели враги смелую девушку. Держали совет: «Когда женщины у нижегородцев такие смелые, то каково же нам будет, если мужчины выйдут из города?» И отступили от гордого Нижнего Новгорода. А смелую девушку нижегородцы с великими почестями похоронили под башней и назвали башню Коромысловой.

Тогда они любили приходить к Коромысловой башне. Отсюда открывалась глазам Волга и впадение в Волгу Оки. Они любили долго идти вдоль кремлевской стены, то говорить, то молчать и глядеть на Волгу.

Много лет назад в Нижнем началось ее семейное счастье. Она привязалась к этим местам. Иногда приходила к Волге, как на свидание. Илья Николаевич давал в классах уроки, а она соберется в лавку за провизией или в город по какому-нибудь делу, а сама быстрее туда, на Откос.

Утрами тут пусто, просторно. Внизу под Откосом раскинулась Волга. Величавая, будто не течет, а лежит. А жизнь кипит вовсю. Перекликаются пароходы, шустрые лодчонки снуют взад-вперед, на полверсты растянулся караван грузно осевших в воду баржей, и тугой парус, кренясь набок, надуваемый ветром, сам как ветер... Как она любила все это! Она возвращалась домой. На душе свет, в глазах кружатся серебряные зайчики — нагляде-

лась на Волгу, всю в солнечных пятнах. Но она помнила все, что нужно ее дому, и, вернувшись, принималась за работу со свойственной ей аккуратностью. Длинная, из четырех комнат, квартира в первом этаже классической мужской гимназии чиста безупречно! Ни вещички зря. Ни соринки. Светло. Кисейные занавески. Цветы. И ее душа, ее радость — рояль.

Когда наступало время обеда, она переодевалась, поправляла прическу. Наверное, сейчас как раз в классах звонок. Уроки кончились. Выхватив ранцы из парт, сломя голову несутся гимназисты по лестницам. Даже здесь, в квартире учителя, слышен топот, словно табун жеребцов скачет.

— До свидания, Илья Николаевич!

— Илья Николаевич, а как вы относитесь...

Минут на пятнадцать кто-то крутолобый, упрямый задержит его своими вопросами. Он возвращается с уроков довольный. Как заманчив обеденный стол, покрытый туго накрахмаленной скатертью! Веселящая чистота в их доме, какой-то особенный умный уют. А заметил ли он ее складненькое платье? Увидел. Заметил.

Потом, после обеда, когда он перескажет ей уроки и беседы с учениками, выльет огорчения и радости дня и все мысли, какие родились за день, она сядет за рояль. Любимый час. Свечи на рояле, слабо колышутся желтоватые языки. Колеблются тени, шаря по нотам, трогая клавиши, пробегая по его лицу, наискосок от нее, над роялем. Оперся о рояль. Она любила в те вечера играть Моцарта. Звонкий, светящийся Моцарт подходил к их счастью. Она была сдержанна, тиха, Моцарт за нее говорил.

Как давно, как давно была молодость!

А пароходик набирает силу, пыхтит. Долгий глубокий гудок. И два коротких. Приветствие встречному. Здорово! Путь добрый.

Трехпалубный, общества «Кавказ и Меркурий», «Владимир Мономах», весь белый, парадный, выставляя высокую грудь, шел снизу. Длинная волна не спеша накатила от «Владимира Мономаха». Пароходик качнуло.

Нижний уже позади. Зелень Откоса, стены Кремля, купы темнолистых лип, опоясавших берег под набереж-

ной, налепленные один к другому, тесные, шумные причалы и толпящиеся у причалов пароходы; огромный паром, от утренней зари до заката прилежно пересекающий Волгу туда-назад, полный телег, лошадей и народу, нарядная яхта и медленный плот — все позади.

Пароходик усердно плюхает плицами, с шумом и брызгами крутится вода под колесами, за кормой бурлит пенистый хвост. Чайки, толпясь, провожают пароход, рассекают острыми крыльями воздух, падают к воде и с криком взмывают в синее сияние неба. Но постепенно редеют, отставая. Берега просторней, безлюдней. Правый берег высок, но уже не той высотой, что в Нижнем.

Когда в давнем 1863 году она приехала в Нижний, вчера еще Машенька Бланк, ныне Мария Александровна Ульянова, жена старшего преподавателя физики, получившего назначение в Нижегородскую гимназию, она вглядывалась в город с благодарным любопытством, благодарным за то, что здесь будет строить свою семью.

Многолюдный, деятельный город. В нем была торжественность древнего Кремля, в храмах которого шли пышные и благолепные службы, пели церковные хоры, гудели колокола, гул и звон их растекались по Волге и заречным лугам. Каждый камень Кремля и старинных площадей говорил об истории. О сражениях и борьбе за Отечество. О вдохновении народном. «Люди посадские, люди торговые, люди ратные! Поднимать надо весь народ. Не за один свой город, не за Нижний Новгород, а за всю землю Русскую».

Был город богатых торговых рядов, битком набитых отечественными и привозными товарами, город ярмарки, в начале века перекочевавшей сюда из Макарьева. На ярмарку съезжались со всей России и изо всех стран купцы торговать, здесь хотелось стать живописцем, чтобы схватить кистью неописуемо пестрый, разноцветный хаос одежд, лиц и красок, красок...

Город-пристань: вверх и вниз от Нижнего шли десятки ярмарочных причалов, сотни складов товаров. Всюду продавали, покупали, всюду торговля.

Был еще другой Нижний. Там, на окраинах, в Канавине и Сормове, незнакомый, далекий Марии Александровне город заводов и фабрик.

В ее жизни всегда было сильно духовное. Чистота в доме, определенное раз и навсегда для каждой вещи место, педантическая аккуратность, строгий порядок дня — это форма. А содержанием были любовь, книги, искусство, музыка, труд. Она трудилась не покладая рук, чтобы ее дом был чист и красив. И все же когда-нибудь ее стройный мир стал бы тесен ей. Но родились дети. В городе Нижнем родились первые дети. Анна. И старший сын Саша.

Жизнь наполнилась новым, тревожным, бесценным.

Когда дети подросли, мать водила их на Откос. Было радостно приходить сюда вместе с ними. Она старалась глядеть на мир глазами детей. Как они видят? Видят ли они эту Волгу с шестидесятиверстными лугами на том берегу, синеватым туманом окутанные дали, эти стога, молчаливые и одинокие, что-то зовущее и печалящее в зрелище заволжских стогов; пароход плывет навстречу раскаленному полдню, полыхают пламенем окна на палубе, отражая солнце. Сонный плеск волн о берег, они набегают вкрадчиво и тихо и откатываются, таща песок и ракушки,— это качается Волга, расшатанная нескончаемым ходом барж и судов мимо Нижнего.

Вечерами она читала детям знакомые ей с детства книги, но сейчас они опять стали новы, мать наслаждалась их новизной. Играла на рояле. Радовалась, что они слушают, мечтательно и серьезно, как отец. Или играла вместе с ними в разные игры. И следила внимательно, как растут их характеры.

Мария Александровна так задумалась, что совсем позабыла: где она и что вокруг. На пароходике между тем вступала в права обычная жизнь. Слышался звон расставляемой в салоне посуды. Несколько пассажиров появилось на палубе.

Проплывают берега. Слева покосы. Веет с лугов запахом свежескошенных трав. Бабы в белых платках шевелят сено. Резвый конь несет по лугу телегу, и парень стойком, в розовой рубахе, вздутой на спине пузырем, крутит в руке конец вожжей, и видно, здоровье и молодость распирают его грудь.

Встали высокоствольные прямые осокори, загородили луга. Вода под ними темна и прохладна; наверное, ходят

в воде непуганые язи и окуни, и на долгие версты безлюдье по берегу. Но берег приподняло, глинистый обрыв упал в воду, изрытый стрижиными гнездами, в глазах зарябило от мелькания черных, узких, как лезвия, стрижиных крыл. И появилась деревня.

Мария Александровна глядит на проплывающую мимо деревню и вспоминает деревню своего детства и юности — Кокушкино, недалеко от Казани. Не детство и юность вспоминаются ей. Не заросший сиренями сад, не березовый и липовый парк позади двухэтажного деревянного дома с колоннами, не веселый в душистых некошеных травах спуск к реке Ушне, где ждет разогретая солнцем лодка, осокой ощетинилась река у берегов, и, как блюдца, лежат на воде глянцевитые листья кувшинок. Не то поэтичное, порывистое и ясное, что зовется детством и юностью. Совсем иное вспоминается.

Илья Николаевич умер. Потом пришла еще страшнее беда.

Жизнь делилась: до 1 марта 1887 года и после 1 марта. Тысяча восемьсот восемьдесят седьмой год в деревне Кокушкине. О, какой год! Зима этого года была вьюжной, морозной. Буранами заносило деревню до окон. Вьюги выли, снежные вихри мутно неслись по полям, кривыми сугробами переметало дороги, трещали в саду надломленные сучья деревьев. В трубах дома стонало, свистело. Как она помнит кокушкинские бессонные ночи!..

Сашу казнили в мае месяце тысяча восемьсот восемьдесят седьмого года. Они не говорили об этом. Мать видела, как вся истончилась, стала, как прутик, как усохшая былинка, Аня. Тенью бродила по низеньким комнаткам флигеля. Или с немым плачем стояла долго, не двигаясь, где застигло отчаяние. «Девочка, ты тоскуешь, ты погибаешь».

Аню выслали под надзор полиции в деревню Кокушкино после Сашиной казни. Володю — позднее за студенческую сходку в Казани. Мать хлопотала, подавала прошения. Добилась, что обоим назначили высылку в деревню Кокушкино.

Может быть, Володин приезд Аню спас. Он тоже тосковал, но в нем не умирала жизнь. Он не сдавался.

Дети! Вы говорили о жизни, о смысле жизни, о пере-

стройке общества. Читали целыми днями, а к вечеру выходили из дому и бродили по саду, протаптывали тропку в снегу и говорили, говорили... Та кокушкинская зима навсегда вас сдружила.

Была обыкновенная семья. Интеллигентная, хорошая, дружная, но обыкновенная. Стала семьей революционеров.

«А ты? Ты старшая в доме. Отца нет. Ты мать. Они твои дети».

Она уважала их. Любовалась их трудом и упорством. Уважала их труд. Но был ли хоть день, прожитый спокойно?

...Пароходик шел и шел все дальше, оставляя позади Нижний Новгород. Пестрые, летние, изменчиво шли по бортам берега.

Старая женщина с белыми волосами стояла у борта. Хрупкая, в темном платье из легкой материи, падавшей складками до полу. Что-то благородное было в ее манере очень прямо держаться, не сгибая спины, в ее грустной задумчивости. Нет, она не грустна сегодня.

Мария Александровна вздохнула глубоко, полной грудью. Сладко пахнет покосами. Веет ветерок, вольный, волжский. «Здравствуй, моя Волга, долго мы с тобой не видались. Все мои дети родились и выросли на твоих берегах».

Она оглянулась на детей. «Мне не снится, мы вместе, и много еще дней впереди».

Они сидели на скамье. Она, улыбаясь, к ним подошла. Положила руку на плечо сыну.

— Присядь к нам; как ты себя чувствуешь, мамочка? — спросил Владимир Ильич.

— Все не верю, что мы вместе, ты с нами,— сказала она.

Он молча погладил маленькую руку у себя на плече.

2

Совсем недавно Владимир Ильич жил в Пскове. И то воскресное утро было тоже недавно. Как всегда, началось оно звоном церквей.

Ровно в шесть зазванивал гулкий колокол монастыря по ту сторону реки Великой.

Десятки певучих и плавных, басистых и жиденьких колоколов подхватывали «божий глас» в центре, в луговом Завеличье и высоком Запсковье, изрезанном крутыми горами, где ветшали развалины былых укреплений и башен.

Трезвонила звонница Василия «на горке», колоколили у Николая «со усохи», у Покрова «в углу», у Воскресенья «со стадища» (каких только исконных здесь не хранилось названий!); несчетное множество монастырей и церквей усердствовало друг перед другом в искусстве обрядного звона, и далеко по окрестным полям разливалось тягучее пение меди.

Владимир Ильич был на ногах задолго до колоколов, сзывающих православный народ к ранней обедне.

Солнце, поднявшись над крышами, хлынуло в кисейные занавески окна, наполняя комнату мягким сиянием, и разбудило Владимира Ильича.

Он отдернул занавески. В окно глянуло лазурное небо. Двое суток дождило. Ситничек — меленький дождик — сеял и сеял, нудно, без передышки, а в эту ночь разнесло обложные тучи, и засверкало, блистая омытой зеленью, чистое утро. Город еще не просыпался, только на мостовой ворковали и гулили голуби-сизяки.

Потом зазвонили колокола, но к тому времени Владимир Ильич уже заканчивал письмо. Опасаясь выдать на случай жандармской проверки свою радость, он в сдержанных выражениях сообщал, что, доживая в Пскове последние дни, паки и паки возносит благодарности здешнему, выше всех ожиданий, здоровому климату, но что злосчастный катар требует все же полечиться еще за границей и что псковский полицмейстер дал на отъезд разрешение. Дело в шляпе, можно собирать чемодан!

Владимир Ильич выдвинул ящик стола полюбоваться заграничным паспортом. Он только его получил.

Слишком уж важен этот магический документ, выпускавший его из-под надзора российской охранки! С отъездом за границу связаны планы дальнейшей партийной работы, в подготовке к которой протекла вся шушенская ссылка и почти три месяца в Пскове. Почти три месяца непрестанного труда, встреч с социал-демократами, совещаний, обдумываний, в результате которых издание за границей нелегальной газеты «Искра» решено окончательно.

О планах издания «Искры» Владимир Ильич мог бы исписать четыре, пять... десять страниц, но так как малейший намек грозил непоправимой бедой, именно в этом месте пришлось ставить точку. Владимир Ильич заклеил конверт и надписал адрес: «Уфа. Угол Тюремной и Жандармской...»

«Ничего себе, веселенький адресок!» — усмехнулся он, подставляя конверт под солнце, чтобы просохли чернила.

Стол стоял у окна и весь был залит солнечным светом. Владимира Ильича потянуло на воздух, куда-нибудь в поле или на берег реки, где майский ветерок несет из садов запахи цветущих груш и яблонь. Он спрятал письмо в карман и на цыпочках вышел из комнаты, намереваясь улизнуть незамеченным. Хозяева непременно затеяли бы завтрак, а Владимиру Ильичу до страсти хотелось выбежать на волю, пока улицы пусты и листья барбарисовых и жасминных кустов за садовыми изгородями росятся жемчужными каплями вчерашнего дождика.

Предосторожности были напрасны. Квартирохозяева, аптекарь Лурье с супругой, мирно почивали, поскольку аптека в воскресный день заперта.

Владимир Ильич решил отдохнуть и больше не думать об издании «Искры». Полный отдых!

Ноги сами привычным путем привели его к библиотеке, где он порядком просиживал над всевозможными справочниками, так как для заработка и чтобы не вызывать подозрений полиции служил в Пскове статистиком.

«Да, письмо!» — вспомнил Владимир Ильич и возле библиотеки опустил в почтовый ящик конверт с адресом: «Уфа. Угол Тюремной и Жандармской... Надежде Константиновне...»

Они приехали туда прямо из Шушенского. Владимир Ильич должен был отправиться в Псков, а Надежде Константиновне назначено отбывать в Уфе остающийся год ссылки. И там, в этом городе, полном политических ссыльных, буквально в первые же часы после поезда, когда с непривычки еще пошатывается под ногами земля, начались поиски необходимых для организации «Искры» людей.

Первостепенно важно собрать стойких марксистов, ах, как важно! Договориться: «В чем сейчас наша цель?»

Люди, с которыми, возвращаясь из Шушенского, Владимир Ильич встречался в Уфе, Москве, Петербурге, наконец в самом Пскове, поражались тому, что этот человек с темным от сибирских ветров загаром так хорошо знает состояние революционного дела в России и с такой бесстрашной трезвостью судит о нем.

«Понять главную черту движения!» — вот о чем размышлял Владимир Ильич долгие месяцы в ссылке.

Когда поезд перевалил Уральский хребет, оставив позади белый столб, извещавший, что Азия кончилась, не за горами страстно ожидаемое дело, теперь совсем уж не за горами, перед умственным взором Владимира Ильича картина революционного развития в России рисовалась резко и живо во всей ее сложности.

...Ничего с собой не поделаешь! Он вышел побродить напоследок по Пскову, но голова продолжала работать. Он думал и думал. О том, что рабочее движение широко и могуче, но раздроблено. А среди интеллигентов разноголосица, путаница. «Экономизм» грозит увести рабочих в болото. Опасно! Не смертельно опасно, но закрывать глаза на шатание мысли нельзя. Трижды нельзя! «В чем же задача? Разойтись с теми, кто мешает движению. И возобновить истинно революционную партию. Это сделает «Искра». И для этого нужно... Стоп! Условлено: отдых, не думать...»

Библиотека давно осталась позади.

Мощенные булыжником улицы вывели Владимира Ильича на берег Псковы.

Колокола умолкли. Некоторое время куда-то вдаль катилось замирающее эхо медного гула, и вдруг Владимира Ильича остановила тишина.

С высокой кручи берега как на ладони открывалось Запсковье. Яркий купол неба над веселой толпой крыш, купающихся в белых озерах цветущих яблонь; золоченые луковки храмов, изящные звонницы, похожие издали на детские игрушки; темные развалины крепостной стены с взбежавшей на самый верх одинокой березкой.

Владимир Ильич удивленно и радостно обозревал открывшийся взгляду простор, едва ли не впервые за все эти месяцы увидев весну и неотразимую прелесть старого Пскова.

Внизу, под ногами, спешила к устью Пскова, спотыкаясь о валуны и брызгаясь радужной на солнце пеной.

Весь берег над Псковой пылал одуванчиками и тонко звенел.

Сначала, после колоколов, слышно было лишь тишину. Теперь Владимир Ильич различал много звуков: щебет какой-то красногрудой птицы, перелетавшей с ветки на ветку в саду и следившей за ним черными глазками; жужжание пчел над цветами; плеск воды о валун; шелест листьев; казалось, даже вздох лепестка, падающего с яблони.

Владимир Ильич шел мимо садов. Порой садовая изгородь подступала к самому краю обрывистого берега, и тогда, цепляясь за траву или ветки кустарника, он с юношеской ловкостью одолевал преграды.

Красногрудая птица продолжала следить за ним черными бусинками, прыгая в ветках и щебеча.

— Спасибо за компанию! — улыбнулся Владимир Ильич.

Как недостает Нади, особенно в это чудесное утро!

В шушенской ссылке были две полосы: до приезда Нади и после.

До: работа, чтение, письма из дому, изредка встречи с соседями по ссылке — Кржижановским, Старковым, беседы с крестьянами, снова письменный стол, одиночество и ожидание. После: та же работа и счастье, оттого что рядом она.

Однажды они пошли побродить по окрестностям Шушенского. Выдался жаркий день мая, как сейчас в Пскове. Владимир Ильич прихватил бурнус и платок Надежды Константиновны.

— Эк вы навьючились! Ни тучки на небе,— удивилась Елизавета Васильевна.

Она была смешлива и постоянно подшучивала над Владимиром Ильичем, считая его человеком, не приспособленным к быту.

— Может быть, так. Но что касается бурнуса, дорогая Елизавета Васильевна, надо знать непостоянство сибирского климата! В полчаса навалится с севера ветер, сам Ледовитый океан подует холодным дыханием,— глядишь, а вместо носа сосулька.

— Ох, уж ваша Сибирь!

Надина мать называла его старожилом села «Шу-шу-шу». Большого волостного села, растянувшегося версты на две по плоской низине. Хибары бедноты и переселен-

цев отодвинуты в проулки, где не просыхает грязь по колено, а на главной улице выстроились кулацкие избы, срубленные из пихтовых, железной прочности бревен, каждое в обхват. Заборы дворов как крепостные стены. За заборами стонут журавли колодцев, хрипло гавкают цепные псы. Возле шинков в базарные дни пьяные драки.

А помещения для школы в Шушенском нет.

Владимиру Ильичу казалось: как ни старается Надя храбриться, ее страшит с непривычки это угрюмое, глухое село.

Она вышла на улицу в беленькой кофточке, заплетя волосы в тугую толстую косу.

Шушенские бабы, пожалуй, осудят. Замужней женщине не полагается носить девичью косу.

Удивительно, до какой степени Надя равнодушна ко всякого рода условностям! Просто не понимает их. Как дитя!

Владимир Ильич засмеялся.

— Что? — спросила она, улыбнувшись в ответ.

Он вел ее к Шуше — неказистой речонке с низкими берегами, заросшими тальником, где водились дикие утки.

— Симпатичная речуха, ей-ей! — жизнерадостно говорил Владимир Ильич.— В давние времена на юге Енисейской губернии и здесь, при впадении Шуши в проток Енисея, жил народ динлины. Динлины и дали речушке имя «Шу-шу», что означает слияние двух вод. Не правда ли, славно?

Владимир Ильич без конца вспоминал местные бывальщины, придававшие поэтическую окраску неприветливым сибирским краям, где первое время чувствуешь себя все-таки очень заброшенным, очень!

— Зато зимой, когда все покроет снегами, засеребрится инеем тальник над Шушей...

Она остановилась, побледнев от волнения.

— Пусть рудники, вечная мерзлота, Северный полюс — нигде я не унывала бы вместе!

— В таком случае здесь-то уж и вовсе недурно! — воскликнул Владимир Ильич.— Здесь-то уж совсем хорошо! Особенно, когда забредешь на такой необитаемый остров.

В самом деле, они попали на остров. Расшатанные лавы привели их через речонку на продолговатую луго-

вину, вытянутую между «двумя водами» — Енисея и Шуши. Левый берег Енисея приподнялся, как бы обнося остров валом, а за ним, вдалеке, высились Саяны.

Обычно над Саянами клубился туман. Или, перевалившись через горные гребни, вдоль отрогов ползли сивые тучи, роняя по склонам клочья дымящихся облаков. Или стояли недвижно, накрыв вечные ледники тяжелыми шапками.

Сейчас словно раздвинуло занавес, и Саяны открылись от подошвы до вершин, облитых серебряным снегом.

— Как торжественны! — сказала Надя.

А цветы! Зеленый островок весь расцвечен кусточками крупных синевато-лиловых цветов, которые Надя приняла за тюльпаны, удивившись, что они запросто растут на лугу. А это всего-навсего обычные луговые цветы со смешным названием «пикульки». Владимир Ильич положил бурнус в траву и стал рвать пикульки, что было не так-то легко, потому что их длинные стебли крепки, как проволока, а корни ушли вглубь, цепко ухватившись за землю. Он нарвал целый ворох пикулек, изрезав руки острыми, как осока, листьями.

Где вы увидите такое празднество красок, эту силищу жизни? Здесь в лесах растет волшебный цветок марьин корень, в половину человеческого роста. У него алый венец с золотой сердцевиной. Он раскрывается, когда идет коренная вода... Да ведь вы, европейцы, не знаете, что такое коренная вода! Вы не знаете нрава Енисея! Он мчится, как необъезженный конь, падая с круч Саян, и когда среди лета в горах тают снега, наступает второе половодье, вторая весна...

Надя обеими руками крепко прижимала к груди лиловый ворох пикулек. Владимир Ильич увидел в глазах ее слезы.

— Боюсь больших слов,— сквозь улыбку и слезы заговорила она.— Не умею сказать, что чувствую. Не будем ничего скрывать друг от друга, что ни случись! В нашей жизни все будет правда. Да? В работе, в жизни. Только правда! Во всем!..

За воспоминаниями Владимир Ильич не заметил, как свернул от Псковы и очутился на тихой Сенной улице. Там в одном доме не раз устраивались тайные встре-

чи с товарищами, обсуждались программа и направление «Искры». Если бы Владимира Ильича заботила только программа! Вся подготовка газеты лежала на нем. Вся организация дела.

Шифр для сношений с русскими агентами «Искры». Связи с корреспондентами. Перевозка газеты из-за границы в Россию. Распространение.

Всю эту гибкую и энергичную жизнь будущей «Искры» надо наладить. И для этого в первую очередь надо создать сеть агентов «Искры».

«Трудно нам врозь, но для дела так важно, что некоторое время Надя побудет в Уфе,— думал Владимир Ильич.— Войдет в связи с рабочими. Надя в Уфе. В Москве сестры и брат. В Екатеринославе Бабушкин. В Петербурге Радченко и «Абсолют» — Елена Стасова, подруга Нади... Надо создать армию агентов!»

У «Искры» есть и будут друзья!

«Мы создадим трибуну для всенародного политического обличения царизма! «Искра» будет этой трибуной!» — думал Владимир Ильич.

Владимиру Ильичу представлялось: вот каменщики закладывают камни грандиозной, от века не виданной стройки. Тянут нить, чтобы указать направление кладки. Так наша «Искра» даст эту нить, за которую может схватиться каждый революционер.

Владимиру Ильичу представлялись леса вокруг стройки, обозначившие контуры здания. Так «Искра» станет лесами величайшего прекрасного здания — Партии! По лесам «Искры» поднимутся революционеры, рабочие, новые социал-демократические Желябовы!

Пароход шел и шел. Все последние месяцы после ссылки Владимир Ильич так напряженно был занят, что сейчас как-то даже не верилось: Волга, цветные берега, синева неба, тишь, плывем, уплываем вниз от Нижнего.

Вчера еще только он проводил в Нижнем собрание нижегородских марксистов. Весьма полезный получился разговор! Обо всем столковались, все вопросы обсудили, условились о связях. Спасибо Софье Невзоровой! Благодаря ей в Нижнем так дружно собрались неизвестные

раньше Владимиру Ильичу, так необходимо нужные для дела люди.

— Молодец Софья Павловна! — потирая ладони, довольно приговаривал Владимир Ильич.

А ведь это Анюта вспомнила о Софье Невзоровой и послала телеграмму в уездный городок Бобров Воронежской губернии.

Это было после приезда Владимира Ильича в Подольск. Псковское его житье закончилось. Заграничный паспорт в кармане. Владимир Ильич простился со Псковом и приехал к родным в Подольск. Подольская дача Ульяновых этим летом была не в Городском парке, как прошлый год, но также далеко от вокзала, в противоположном конце города и опять на Пахре, но только на другом берегу — уютный домик в маминном вкусе, с веселыми обоями и желтыми полами, где в мезонине ожидала Владимира Ильича специально для него предназначенная комнатка. Все в бревенчатом домике на Пахре ожидало Владимира Ильича и готовилось к встрече! Это лето тем и хорошо и значительно, что он приехал пожить с ними недолго после Шушенской ссылки и Пскова. Недолго пожить с ними перед отъездом за границу.

Между тем работа, которую Владимир Ильич в глубокой конспирации упорно и неутомимо вел, не останавилась и здесь, на подольской даче. Необходимо было до отъезда за границу повидать как можно больше полезных и нужных людей, как можно больше вовлечь в работу агентов, распространителей и корреспондентов «Искры». Они решали судьбу огромного дела. Газета будет выходить за границей, а назначается она для России, читать ее будут главным образом здесь, в России. Русский пролетариат, русская демократическая интеллигенция — вот будущие читатели, агитаторы, помощники «Искры».

О том, как добиваться, чтобы «Искра» попадала к русским читателям, как в Германии или Швейцарии (время покажет) получать от русских корреспондентов информацию о русской общественной жизни и статьи для газеты,— об этом хлопотал Владимир Ильич все три месяца в Пскове! И в Подольске. Вызванные конспиративными письмами, сюда приезжали товарищи. Искровцев все прибывало.

Наконец решено: отдых. Полный отдых, полное ниче-

гонеделание. Едем в Нижний. От Нижнего вниз, на пароходе, втроем: мама, он и Анюта. Они мечтали об этом плавании на пароходе.

Конечно, главная цель — увидеться с Надей. Владимир Ильич молчал, но соскучился страшно!

Но мог ли он допустить, чтобы остановка в Нижнем не была использована для «Искры»? Для встречи с нижегородскими передовыми рабочими и марксистами, пока день или два надо будет доставать в Нижнем билеты и ожидать парохода? В крайнем случае можно и лишний денек пробыть в Нижнем, лишь бы наладить нужные связи, найти необходимых людей. Как? Проездом, в незнакомом городе, где, кроме Пискуновых, Владимир Ильич, пожалуй, никого и не знал? И Пискуновых-то знал мельком.

Раньше в Нижнем были весьма надежные товарищи. Владимир Ильич нижегородцев знал по Петербургу, петербургскому «Союзу борьбы». Был Анатолий Ванеев. Кружки на рабочих заставах, выпуск нелегальной книги «Что такое «друзья народа»...», подготовка стачек, замысел первой партийной газеты (так и не суждено ей было появиться на свет), сибирская ссылка, протест против оппортунистического «Кредо», обсуждение протеста в селе Ермаковском — все связано с ним. Ванеева нет. Навеки лежит в сибирской земле, на кладбище в подтаежном селе Ермаковском.

Был в Нижнем надежный товарищ Михаил Сильвин. И его сейчас в Нижнем нет — в Риге, в солдатах. Были сестры Невзоровы, курсистки, бестужевки. Семь лет назад, в 1893 году, когда Владимир Ильич приехал в Петербург с тщательно обдуманной, смелой задачей дать новое направление рабочей борьбе, соединить марксизм с рабочим движением, одна из первых встреч с петербургскими молодыми марксистами произошла в комнате нижегородок — сестер Зинаиды и Софьи Невзоровых на Васильевском острове. Владимир Ильич хорошо помнил эту встречу. Она была поворотной в жизни петербургских марксистов.

Сестер Невзоровых тоже нет сейчас в Нижнем,— Зинаида с Глебом Кржижановским не вернулись из ссылки (два года еще назначит судьба скитаться им по Сибири), а Софья...

— Постой, Володя,— сказала Анна Ильинич-

на,— что, если попробовать? Вызвать Софью? Наверное, она может помочь.

Владимир Ильич обрадовался:

— Удачная мысль!

И в Бобров из Подольска полетела телеграмма, спешно вызывающая Софью Невзорову с мужем. Софья Невзорова отсидела тюрьму, теперь в захолустном Боброве, Воронежской губернии, отживала срок высылки под гласным полицейским надзором: муж, Шестернин, служил в Боброве городским судьей. Простой народ называл Шестернина «наш судья». Случай по тем временам исключительный.

Они прикатили немедленно и два дня прожили в Подольске. Два дня, полных воспоминаний, веселья, дружбы, купаний в извилистой быстрой Пахре и долгих, до ночи, разговоров об «Искре», о возобновлении партии. После этих разговоров Софье Невзоровой поручено было поехать в Нижний раньше Ульяновых, подготовить и собрать нужный народ для встречи с Владимиром Ильичем по поводу «Искры».

— Повезло нам, что вы нижегородка, Софья Павловна, весьма и весьма повезло! — пожимая на прощание ей руку, говорил Владимир Ильич.— До скорого свидания в Нижнем! Будьте осторожны, пожалуйста!

В Нижнем многим был известен собственный дом промышленника, купца I гильдии Феофилакта Семеновича Пятова, двухэтажный, на каменном фундаменте, шитый досками, с дубовыми дверями. Промышленник давно умер, и зять его, Павел Иванович Невзоров, человек строгих и старозаветных взглядов на жизнь, скончался, выросли дети Невзоровы, а дом на Полевой улице все звали по деду пятовским.

Полевая улица уходила одним концом в поле, была просторна и широка, мостовая зарастала травой, позади ухоженных, прочных домов стояли сады. Тихо, сонное царство. Посреди сонного царства дом Пятова выделялся оживлением и людностью. Так повелось, когда в доме выросли сестры Невзоровы — Софья, Зинаида, Ольга и Августа. Вначале соседи объясняли это просто: много молодых людей ходит к Невзоровым — невесты на выданье. Бесприданницы, правда. Когда умер дед, семью постигла

финансовая катастрофа, в один день стали Невзоровы из богачей неимущими. Невесты обеднели. Зато хороши. Софья, как королева, с горделивой осанкой и классическим профилем; в русском духе Зинаида — пышная, с дивной косой и затупленным носиком; совсем другая Августа, чернобровая, южная — неизвестно откуда в Нижнем, на Волге, и уродилась такая южанка. К таким невестам да чтоб женихи не ходили!

Потом стали замечать: что-то не так ходят к Невзоровым. Как «не так» — объяснить не умели, но непохожая на все существование Полевой улицы шла жизнь у Невзоровых. Неясным, беспокоящим духом исполнен был старый дом купца Пятова, хотя по виду в нем все как у всех: столовая с дубовым буфетом, небольшая зальца с зеркалом и мебелью в чехлах, мамашина спальня с киотом и перинами, комнатки сестер. В этих-то комнатках и пряталась тайна, скрытая от обывателей улицы. То войдет в дом среди бела дня человек с чемоданом, видно, тяжелым. А из дому уйдет пустой. Спустя некоторое время одна из двух старших сестер или обе, Софья и Зинаида, выйдут из подъезда, в тальмах, по моде тогдашнего времени, спокойные, обычные, и только если уж очень внимательно вглядываться, можно заметить, как тщательно запахнуты тальмы, будто что-то под ними спрятано.

В рабочих районах сестер знают и ждут. Они переправляют туда листовки, брошюры. Ведут среди рабочих кружки. Объясняют рабочим «Капитал» Карла Маркса.

Потом сестры уехали в Петербург учиться и лишь в каникулы прибегали на старые явочные квартиры говорить о петербургском «Союзе борьбы», учить рабочих марксизму. Однажды заметили люди чужого человека на улице. Стоит против дома Пятова, глазами входящих обшаривает. «А ведь это сыщика к Невзоровым поставили»,— пополз шепоток. Некоторые стали обходить стороной дом Пятова, особенно если сестры на каникулах в Нижнем.

И как гром: в Петербурге арестовали двух старших.

Сюда, в дедовский дом, приехала Софья Невзорова с подольской дачи Ульяновых. Когда добивалась в Боброве у полицейских властей позволения на кратковремен-

ный выезд, писала в прошении, что к матери в Нижний. Так и вышло. Вот он, Нижний. Вот дедовский дом на Полевой улице. Постарел. Краска облезла. Окна закрыты. Весь какой-то покинутый.

Одним духом взбежала Софья Павловна по черной лестнице. Кухарка вскрикнула, увидев молодых: словно с неба свалились! Софья Павловна впереди мужа торопливо шла по дому, ища мать. Горько ее обидеть: в кои-то веки приехала дочь и в первый же вечер надо убегать из дому — сразу, едва выпив чаю с домашним калачом, наспех рассказав домашние новости.

— Мама, извини, после наговоримся досыта, а завтра у меня будут проездом друзья, известить надо кое-кого.

И исчезла. И о внучатах почти ничего не успела сказать. «Стало быть, то не оставлено. Не для матери, для своего тайного дела в Нижний приехала. Ни тюрьма не отбила, ни дети».

Мать посидела, сухо сжав губы, с морщинкой на лбу. Кликнула кухарку и, к великому ее удивлению, отпустила на завтра на полные сутки в деревню к родне.

Софья Павловна в сопровождении мужа обходила по городу знакомых социал-демократов. Человек двадцать знала она верных людей по Нижнему Новгороду, интеллигентов и рабочих. Коротко: завтра в шесть, на Полевой, в доме Пятова...

И дальше. Колесила по городу.

А через день приехали в Нижний из Подольска Ульяновы. Устроились в номерах. Привели себя в порядок и отправились прогуляться по городу. С печалью и радостью узнавала Мария Александровна улицы. Многое переменилось в Нижнем. Не шутка — больше тридцати годов утекло. Стало шумней, суетливее. Провели трамвай вместо конки, появилось электричество.

Марии Александровне непременно хотелось показать детям классическую мужскую гимназию на Благовещенской площади. Длинное желтое здание с флюгером на крыше, фонарями у парадного подъезда,— здесь, в этой гимназии, и служил Илья Николаевич, тут и квартира наша была, вон по фасаду окна... Анюта, помнишь ли?

Марии Александровне хотелось постоять на Откосе, высоком, открытом, где всегда ходит ветер,— сюда в мо-

лодости прибегала она на свидания с Волгой. Хотелось пошагать, как шагала когда-то с маленькими Аней и Сашей по набережной,— так же длинными вереницами беззвучно тянутся вдоль Волги баржи, без устали бегает наискосок от Нижнего к селу Бору, попыхивая дымком, небольшое суденышко, идут белые пароходы.

— Покой,— с легким вздохом сказала Мария Александровна, глядя с Откоса на Волгу, на голубеющие дымкой заволжские луга, озерца на лугах. Перед восходом солнца, когда заря заливает небо, эти пойменные луговые озерца становятся розовыми.

— Покой. Три недели покоя. Да, Володя? — сказала Анна Ильинична.

Он кивнул. По его брызжущему оживлением взгляду, мягкой улыбке Анна Ильинична понимала, как ему хорошо, как благодарен он маме за эту поездку.

Ровно в шесть Владимир Ильич поднимался по черной лестнице в доме Пятова на Полевой улице. Софья Павловна, возбужденная, встречала у входа.

— Все извещены и пришли. Народ стоящий. И рабочие есть.

Она повела Владимира Ильича в столовую с дубовым буфетом, громким маятником деревянных часов и портретом промышленника Пятова в темной раме.

Народу собралось порядочно. Сидели у стола и на плетеных стульях вдоль стен. Владимир Ильич узнал нижегородца Василия Александровича Ванеева, брата покойного Анатолия, и энергичным шагом направился к нему через комнату, пожал руку. Был еще знакомый по весенней нижегородской встрече проездом из Шушенского — литератор Десницкий. Вот Пискунова что-то не видно. С ним тоже Владимир Ильич познакомился в тот приезд. Владимир Ильич помнил: шатен, с бритым подбородком, небольшими усиками, очень живой, спорщик, чем-то похожий на Чехова. В прошлый приезд Владимиру Ильичу дали его адрес, часа полтора они тогда говорили.

Нижегородцы знали об Ульянове, что самое тесное имел отношение к петербургскому «Союзу борьбы»; что видный марксист, автор нелегальных книг и брошюр и легальной, вышедшей в Петербурге,— «Развитие капи-

тализма в России», где немало метких и точных страниц отдано Нижегородской губернии и развитию в губернии промыслов; что Ульянов недавно из сибирской ссылки; но чего сейчас от него надо ждать, нижегородцы не знали.

Владимир Ильич заметил: при его появлении в комнате смолкли, но не почувствовал стеснения. Дело, которое он затевал, было так существенно важно! Надо было вовлечь этих людей в работу, опасную, каждодневную, неэффектную, трудную. В Москве, Пскове, Петербурге, Риге, Подольске, Смоленске, где после Шушенской ссылки Владимир Ильич легально и нелегально бывал, он разыскивал и собирал необходимых людей, объяснял, призывал, агитировал, распределял поручения, договаривался о подготовке и распространении подпольной противоправительственной партийной газеты. То, чему в Шушенской ссылке было отдано столько дум и бессонных ночей, становилось реальностью. «Искры» еще не было, но условия для ее бытия создавались.

Это было позавчера и вчера. В Нижнем Новгороде. А сегодня они плывут на пароходе. Дальше, дальше уплывают от Нижнего.

Будто и не было города. Встанет крутая гора, карабкается по склонам дубовый лесок. Или на версты протянется луг, повеет сенокосным, кружащим головы запахом. Погудев на всякий случай, прижимаясь к бакенам, кажущим фарватер, пароходик огибает посреди Волги остров с отвесным приверхом. Черемухи едва не метут ветвями борта пароходика, буйно разросся тальник, томятся перезрелые травы по пояс. Остров проплыл, за ухвостьем желтой косой длинно легла песчаная отмель. Чайки на отмели.

Владимир Ильич с Анной Ильиничной сидели за столиком под окнами своих кают, мама прилегла отдохнуть, они были одни; палуба пуста, только ближе к корме стояла у борта совсем юная особа в сиреневом платье с оборочками и соломенной шляпой от солнца да хромой господин с седыми бакенбардами в потертом пиджаке, припадая на левую ногу, шагал по палубе.

Когда господин приближался, они умолкали, а потом снова принимались вспоминать, что было в Нижнем, и обмениваться мнениями.

— На Нижний можно рассчитывать, вполне можно, а? — все повторял Владимир Ильич.

И Анна Ильинична, радуясь, как и он, тому, что в Нижнем все удачно сложилось, поддакивала:

— Да, да, Володя! — любя брата и любуясь им.

Близко они подружились в ту жестокую зиму, когда оба были высланы в деревню Кокушкино. После уже не было такой тесной дружбы и близости, больше жили врозь, и ссылка Володина надолго их разлучила, и теперь Анна Ильинична заново узнавала брата, и все в нем было ей дорого.

Она подняла руки, поправляя черные колечки волос.

— Хорошо, Володя, как все складывается хорошо! И отлично как после такой своей напряженной работы побыть одним, никому мы здесь не знакомы, никто не наблюдает за нами!

4

Она ошибалась. За ними наблюдали. И пристально. Особа в сиреневом платье, стоявшая у борта недалеко от кормы, довольно часто и все настойчивее поглядывала на них из-под полей шляпки. Она была прехорошенькой, эта молодая особа, на вид не старше девятнадцати лет. Волосы того коричневого цвета, чуть позолоченного, который называют каштановым, искусно опускались на уши, сужая полное личико с ямочками на щеках, прямым носиком, свежим детским ртом и светло-голубыми глазами. Такую внешность обычно называют кукольной, тем самым не предполагая под ней сколько-нибудь значительного содержания. Барышня давно наблюдала за Владимиром Ильичем и Анной Ильиничной, может быть, потому, что никого больше на палубе не было, кто привлек бы внимание. Впрочем, нет, не потому... «О чем они разговаривают целый час с таким увлечением? Никак не наговорятся. Боже мой, майн готт, как им, должно быть, интересно друг с другом!»

Она заметила этих людей еще на пристани. Провожали их красивая дама и мужчина, должно быть, муж дамы. Что такое? Софья Невзорова! Она, боже мой, майн

готт! Лизочка Самсонова, когда-то приготовишка Нижегородского института благородных девиц, прекрасно знала выпускницу Софью Невзорову. Софья Невзорова была хороша, прелестна, приготовишки бегали за ней. Их было четыре сестры. Сестер Невзоровых классные дамы ставили в образец, таких обаятельных, умных, светских. Сестры Невзоровы уехали в Петербург продолжать образование на Бестужевских курсах, как вдруг — страшно, странно — Софью и Зинаиду арестовали и посадили в тюрьму. За что? «Тсс! — шикали классные дамы.— Они опозорили наш институт». Институт благородных девиц был потрясен и шокирован. Наши воспитанницы, сестры Невзоровы! За что их посадили в тюрьму? Говорят, они против царя. Против царя?! О! Какой ужас, чего можно ждать, если даже наши воспитанницы...

Лиза Самсонова пыталась представить: как это, что это? Портрет государя при орденах и ленте, с бахромой эполет на плечах в полный рост нерушимо высился до потолка в институтском актовом зале. А сестры Невзоровы в тюрьме, на соломе, на хлебе с водой, за решеткой. Погублены. Клеймо на всю жизнь: тюрьма, они были в тюрьме. Зачем они погубили себя?

И вот через несколько лет в солнечный день в пестрой толпе провожающих на пристани — Софья Невзорова. Почти все так же стройна и тонка, с улыбающимся лицом. Лиза, окруженная совсем другим обществом, не посмела к ней подойти. «Владимир Ильич! Анна Ильинична!» — услышала Лиза. Это те, кого провожает Софья Невзорова. Значит, брат и сестра.

Теперь понятно, почему Лиза не собиралась выпускать их из поля зрения: разбирало любопытство, что за люди друзья ее институтского кумира, странной и обворожительной Софьи Невзоровой. Что за люди? Сначала она занялась сестрой. Оценила по достоинству платье. Скромное, светло-серое, со вкусом. В институте, который Лиза окончила два года назад, им прививали вкус и уменье одеваться без претензий и купеческого шика. Платье одобрено. И сама Анна Ильинична понравилась Лизе.

Они сидели с братом на палубе, разделенные столиком. Анна Ильинична поставила локти на столик, оперлась подбородком на ладони, вся подалась к брату, и лицо ее с длинными черточками черных бровей выража-

ло нетерпеливый интерес и внимание. Черные колечки волос выбивались у висков, мешали глазам, она откидывала волосы легким жестом и снова слушала, и губы дрожали от смеха. «Легкая. Чувствует очень. Веселая,— определила Лиза.— Очень мне нравится!»

Теперь займемся братом. Кем может он быть? Лиза привыкла в Нижнем видеть купцов и промышленников, составлявших, по ее наблюдениям, самую могущественную часть рода людского, но человек этот, немного скуластый, с высоким лбом и удивительно изменчивым взглядом, то прищуренным, то открытым, то смеющимся, то вдруг страшно серьезным, человек этот, которого на пристани называли Владимиром Ильичем, был совсем в другом духе. Не промышленник. Совсем не промышленник. Те тяжелые, важные. Барин? Тоже нет. Слишком просто одет, ничего барского. Кто же? Учитель? Может быть. Да, скорее всего. Итак, определено: учитель. Преподает литературу в нашей классической мужской гимназии, рассказывает о Карамзине и Державине.

Тут Лиза увидела, к ним подошла мать. Маленькая женщина с черным кружевом на белых волосах, и у обоих, особенно у Владимира Ильича, улыбкой осветилось лицо. Он любит мать. Взрослый мужчина и так трогательно любит мать, как хорошо!

Куда они едут? В Казань? Почему они едут в Казань на этом пароходишке, где такие плохонькие каюты даже первого класса, на таком простеньком, почти убогом суденышке? Петр Афанасьевич едет на нем, потому что хозяин — член акционерного общества, хочет удостовериться, как на их пароходике, что. Ведь ежедневно из Нижнего в Казань отплывают роскошные трехпалубные, с салонами, музыкой и даже электричеством, пароходы общества «Кавказ и Меркурий» или судовладельца Зевеке? Нет, наверное, они едут не в Казань. Куда же?

Вот какое следствие вела молодая особа в сиреневом платье, пока позади нее не раздался внушительный голос:

— Природой любуетесь, Елизавета Юрьевна?

Мужчина лет сорока, полный, розовый, с толстым носом, русой бородой, разделенной на два острых клина, и щегольски подстриженными усиками, подходил к ней, одетый пестро и заметно — в клетчатые брюки желтова-

того тона, светлый жилет, пиджак цвета горчицы; бриллиантовая булавка держала белый шелковый галстук, два перстня с бриллиантами красовались на волосатых пальцах.

— Природой любуетесь?

— Да. Такие прекрасные виды.

— Виды прекрасные. А я, признаться, вздремнул. Дѐла собралось перед дорогой. Ночью почти что не спал.

— У вас всегда много дела.

— Такое мое назначение. У каждого свое назначение. Ваше — украшать жизнь.

— Комплименты говорите, Петр Афанасьевич,— не потупляя глаз, видно привыкшая к его комплиментам, ответила она.

— Не комплименты, а сущая правда. Сущая правда, и доказывать нечего. А здесь побогаче бы надо, жемчуга сюда просятся.

Он потянулся пальцем к ее тоненькой шейке с простеньким медальончиком на ленте. Она отстранилась. Невольно кинула взгляд в сторону, где разговаривали брат и сестра. Ушли. Никого не было на палубе.

— Скромница, Елизавета Юрьевна.

— Вы знаете, я не люблю...

— Скромница. И славно. Одобряю. Надоели разные... сами виснут, тьфу! А вы все молчите,— пытливо сказал он.

«Верно,— подумала Елизавета Юрьевна,— молчу. Не знаю, о чем говорить, совершенно не знаю, как дурочка».

Солнце коснулось ее руки. Волга повернула, и солнце пекло теперь эту сторону палубы, накалило обшивку.

— Вам не полезно на солнце,— сказал Петр Афанасьевич.

— Почему?

— Вам нехорошо загорать. Надо беленькой там показаться, во всей вашей красе.

Она вспыхнула и нахмурила брови.

— Батюшки мои! Ха-ха-ха-ха! — весело разгремелся он.— Как вам серчать-то к лицу!

— Я думаю, что все это напрасно, эта поездка,— хмурясь, сказала она.

— И совсем не напрасно, Елизавета Юрьевна. Разве вам не нравится прокатиться по Волге?

— Нравится, но...

— А давайте без «но». Боитесь, что встретят плохо?

— Боюсь? Нет. Ведь я с вами,— вскидывая голову, сказала она.

— Вот умница, милая вы моя, ответит-то как королева.

— С вами не боюсь, но все равно неприятно, будто на выставку еду.

— С вашей красотой никакие выставки не боязны. Хоть каждый день, только славы прибавится. Что же, обедать пойдем, Елизавета Юрьевна? Прошу.

Он подал ей руку. Но палуба была тесна, и, сделав неловко два шага, он вынужден был пустить ее вперед, сам пошел сзади, улыбаясь довольной улыбкой, глядя на ее узкие девичьи плечи, тонкую талию и волны оборок на подоле.

Обед был в разгаре. Места в салоне почти все были заняты. Официант, изгибаясь, проводил Петра Афанасьевича к оставленному для него столику на две персоны возле окна. Не поднимая глаз, Елизавета Юрьевна увидела за соседним столиком Анну Ильиничну с братом и матерью. «Значит, судьба мне с ними познакомиться»,— подумала Елизавета Юрьевна. Такая в голову ей засела фантазия. Так как фантазии наши никто не в силах разгадать, мы вольны воображать, что хотим улетать в поднебесье, опускаться на дно океанское, любить, кого пожелаем.

«Если бы Анна Ильинична была моей сестрой, такая милая,— фантазировала Елизавета Юрьевна, расправляя сиреневое платье и усаживаясь спина спиной к ней.— Звала бы меня Лизой. Никто на свете не зовет меня Лизой, кроме подруг, а теперь и подруг не осталось. А что, интересно, как бы она посмотрела на мой жребий?»

Она придвинула стул насколько возможно ближе к соседям и навострила уши, намереваясь подслушать, о чем они говорят.

— Балык, икра свежая, салат из дичи,— заказывал Петр Афанасьевич.

Она прислонилась к спинке стула и услышала позади себя немецкую речь. Долетали обрывки фраз. Она не все слышала, но все же различила, что речь идет об оставшихся дома: как жаль, что с ними нет Маняши, Мити и Марка, а то уж совсем было бы все хорошо, и как

приятно плыть по Волге, и не будем думать о том, что впереди скоро снова разлука.

— Мамочка,— услышала Лиза мужской голос за тем столиком, быстрый, немного с картавинкой,— буду все это время пользоваться твоим и Аниным обществом, чтобы упражняться в немецком.

— Теперь тебе особенно важно владеть в совершенстве немецким,— сказала сестра.

— Прошу вас, Елизавета Юрьевна.— Петр Афанасьевич предлагал ей салат, должно быть, довольно давно, глаза его спрятались в щелки и недоуменно глядели, маленькие и темненькие, почему-то напоминая ежа.— Задумались?

— Да, простите.

Она прикоснулась губами к рюмке с вином, взяла немного салата. «Отчего теперь ему особенно важно владеть в совершенстве немецким? Отчего скоро разлука? Какая разлука? А ведь они, наверное, не догадываются, что их понимают»,— подумала Лиза, вся вспыхнув.

— Что с вами? — подозрительно насторожился Петр Афанасьевич.

— Нет, что вы, просто так, от вина,— ответила Лиза. «Не буду больше подслушивать, стыдно».

— Не узнаю вас, Елизавета Юрьевна, какая-то рассеянность... словно что потеряли.

— Ах, пустяки!

Петр Афанасьевич выпил коньяку, побарабанил пальцами, глянул в окно.

— Вон селишко какое-то по берегу тянется.

— Да.

— Ни одной крыши под дранкой, солома гнилая одна.

Она промолчала. Почему-то у них не вязался разговор. До нее доносились немецкие слова с того столика. Говорили о какой-то книге, Лиза не уловила названия, но поняла, что Владимир Ильич хвалит книгу за правду, а сестра возражает, что правда книги трудна для простого читателя, автор мудрствует и любуется своими мудрствованиями.

— А ведь ты права, Анюта,— рассмеялся Владимир Ильич,— пожалуй, верно: любуется. Этот автор и в жизни любуется собою. Но все же в книге есть правда.

— Опять вы задумались? — услышала Лиза.
— Простите.
— Я вас спрашиваю, вам угодно ухи? — сухо предложил Петр Афанасьевич.
— Да, спасибо. Я люблю стерляжью уху.
— Рад,— холодно бросил он. Должно быть, рассердился.
«Зачем я его сержу, он такой добрый ко мне»,— подумала Лиза.
Он выпил коньяку и язвительно:
— Ведь вас воспитывали в институте благородных девиц?
Да, ее воспитывали в институте благородных девиц. Мариинский институт на Верхней Волжской набережной в Нижнем. Трехэтажное унылое здание цвета грязноватой синьки, с крыльями на задний двор, садиком по фасаду. Чахлая акация и жиденькие кусты сирени в саду. Вход. Вестибюль. Четыре толстые колонны поддерживают низкие потолки. Сдавленно, скучно. Семь лет прожила она в этом бездушном доме.
— Извините, Петр Афанасьевич, я не расслышала, что вы сказали. О! Какой вы строгий, оказывается.
— Строгий, да, когда вызовут... Дамам к лицу улыбаться.
«Ведь он уже высказывал эти... свои взгляды»,— мелькнуло у Лизы.
К концу обеда он был порядочно пьян и внушительно и долго говорил о своем предприятии и о выгоде, какую получит в итоге. Лиза делала вид, что слушает, но так скучно, неинтересно, уж лучше бы говорил ей любезности, по крайней мере, приятно.
— Перед обедом сон золотой, после обеда серебряный,— сказал Петр Афанасьевич, покончив с мороженым.— Воспользуемся и серебряным, а? Но не думайте, что я всегда этакий соня.
— Нет, что вы, я знаю, вы деловой человек, такой деловой человек. А я прогуляюсь.
— Гуляйте, любуйтесь природой. Природа, цветы, соловьи, девичьи мечты! Ну, помечтайте, лапочка моя, помечтайте, есть о чем, а я воспользуюсь счастливой своей способностью: едва на подушку — и сплю, что значит, у делового человека чистая совесть.
Лиза прогуливалась по палубе. Плыли мимо поля,

леса. Покажется мыс, высоко встанет над Волгой. На мысу белая церковь с оградой — монастырь, вон и звон слышен. Покой и грусть разливается по полям вместе со звоном.

С каким волнением ожидала Лиза это путешествие! Татьяна Карловна поздравляла, давала советы. А Лиза гордилась. «Бог послал счастье сиротке»,— говорила Татьяна Карловна.

«Да, бог послал счастье. Не буду больше рассеянной с Петром Афанасьевичем. Он хороший человек, хороший, хороший...»

В двух шагах она увидела Владимира Ильича. Он стоял один у борта, задумчивый и тихий. Лиза последила, куда он глядит. Белый монастырь уже позади, березовая роща на пологом холме. Стройна, будто прибранная — так просторно в ней и чисто. Хочется взбежать на этот холм, в эту стройную рощу. Лиза медленно прошла мимо Владимира Ильича. Владимир Ильич ее не заметил.

Она сделала круг по палубе, раздумывая, сказать или нет? «Если обернется, скажу». Она подходила второй раз, он стоял все в той же задумчивой позе, роща уже уплывала назад, новый вид разворачивался по борту парохода: глинистый обрыв с домиком бакенщика и сигнальной мачтой. Позади домика сосновый лес, могучий мачтовый лес — стволы сосен темные снизу, а вверху от солнца раскаленно-желтые.

Внезапно Владимир Ильич обернулся и взглянул на подходившую Лизу. Она потерялась от неожиданности, хотя только что думала: «Если бы обернулся!» — и, смущаясь, краснея, скоро-скоро:

— Вы говорите по-немецки, может, вы думаете, вас не понимают, но я понимаю, я сижу рядом за столом и все слышу.

Он удивился ее признанию, для него оно тоже было неожиданностью: он улыбнулся, как она выпалила без передышки: «...я сижу рядом за столом и все слышу».

— Вот как,— сказал он,— деликатно с вашей стороны, спасибо.

И, возможно, хотел еще что-то Лизе сказать, но от смущения она не задержалась, выпалила и скорее ушла, даже невежливо, как она сразу ушла, закрылась в своей каюте первого класса и долго сидела, сложив на коленях

руки и думая, прилично или нет, что заговорила с чужим мужчиной, и что, может быть, надо было спросить о Софье Невзоровой, и что Петру Афанасьевичу не надо обо всем этом знать.

5

Елизавета Васильевна прислушалась у двери — ничего не слыхать. Вошла. Ходики с медными гирями постукивали в крошечной столовой, меряя время. На столе ронял лепестки срезанный шиповник в вазе. Через столовую — ход в спальню, как называлась у них отделенная аркой часть комнаты, тесная, с узенькой кроватью у стены, да столик еще стоял у окна.

— Ленивица, вставать пора, день давно на дворе,— с ласковым укором сказала Елизавета Васильевна.

— Полно, мама, вон на ходиках восемь утра, какой еще день! Не хочется вставать, поваляться хочется. Вправду ты сказала, ленивица.

Елизавета Васильевна присела на край кровати, погладила дочь по щеке. Щека теплая, розовая ото сна. Заглянула в глаза — в глубине глаз то застенчивое, тайное, что читала мать последние дни после письма из Москвы.

— Соскучилась?

— А ты разве не соскучилась, мама?

— Ловлю себя, что все в окошко поглядываю, будто увижу: вот идет, как, бывало, в деревне. Тоже, однако, соскучилась.

Надежда Константиновна рассмеялась сибирскому словечку «однако», которым мама любила при случае щегольнуть. Откинула одеяло — в самом деле пора вставать.

— Давно бы так, а я кофе сварю.— И Елизавета Васильевна ушла варить кофе.

Надежда Константиновна легко вскочила с постели. Желтый крашеный пол приятно холодил босые ноги. А на улице жарко с утра. Окно мезонина выходит на крышу первого этажа. От крыши душно, пахнет железом и краской. Улицу почти не видно за крышей. Пыльная, скучная улица. Тюремная,— в конце тюрьма, тюремный за́мок, как здесь называют. Угол Тюремной и Жандармской, ничего себе адресок!

«В Шушенском сбегала бы окунуться в речке»,— подумала Надежда Константиновна. Она все еще вспоминала Шушенское, плохо привыкая к Уфе, где предстояло ей доживать срок ссылки до марта 1901 года, то есть еще девять месяцев, одной, без Володи. Никак не привыкнуть к Уфе! Наверное, оттого, что без Володи. «А зачем привыкать? Терпеливо переживу девять месяцев, и все, и не так уж и много, перетерпим авось».

Она оделась.

Елизавета Васильевна внесла кофе и булку. И газету. Елизавета Васильевна первая прочитывала утром газету и делилась, о чем нынче пишут. В газете писали об англо-бурской войне.

Без меры пользуясь восклицательными знаками, поэтесса Бестужева-Рюмина увещевала:

Смирись, Британия! Убойся гнева божья!
. . . .
Смирись! Смирись, пока еще есть время!
Пока с небес не грянет божий гром!

Льстиво расписывался переезд высочайшего двора на летний сезон в Ливадийский дворец, по случаю чего, ко всеобщему удовольствию, устроено было электрическое освещение ялтинского мола.

И почти ежедневно в газетах — об опустошительных грозных пожарах. По всей России горели избы, надворные постройки, скот. За час уничтожались деревни. Выгорали города. Полыхали склады в столице.

«Штаты Петербургской пожарной команды давно устарели»,— жаловалась газета «Новое Время».

— Эка! В столице и то устарели, что о деревнях говорить,— качнула головой Елизавета Васильевна.

— Бедная наша Россия, грады бьют, засухи сушат, пожары палят,— сказала Надежда Константиновна.— Ну, мама, хоть и ленивица я, а хочешь не хочешь, надо в поход.

Она взяла ридикюль и зонтик от солнца. Не забыла положить в ридикюль телеграмму. Телеграмму получили вчера.

— С голоду не падай, пообедать приходи,— притворно ворчливо сказала мать.

До урока оставалось полчаса. Идти недалеко. «Про-

гуляюсь»,— решила Надежда Константиновна. Она старалась больше ходить, особенно в утренние часы, когда жара терпима. Ходьба успокаивала ее, она нервничала последние дни, жила ожиданиями, подгоняла время, а оно еле тащилось и никогда не казалось таким ненужным и тягостно долгим, хотя все было заполнено делом — кружком, книгами, необходимыми встречами и вот этим уроком. Урок был летний, то есть временный, но у нее уже было приглашение на постоянный в семью тоже богатых уфимских купцов,— этот урок ей передавала одна знакомая ссыльная, у которой к осени кончался срок ссылки. И переводы были, так что заработок обещал быть на зиму приличный.

«Завтра, послезавтра, послепослезавтра... Пять дней. Как еще долго. Да нет, что я, совсем недолго, всего пять дней, только пять дней! — повторяла про себя Надежда Константиновна, идя теневой стороной, постукивая зонтиком о тротуар.— Вторник, среда, четверг, пятница... Ну, не буду больше считать. Буду думать о другом. Буду думать об Игнатке».

Игнатка был ее ученик, купеческий сын, гимназист второго класса. Купеческий дом, в двух кварталах ходьбы, был одноэтажный, длинный, многооконный, весь украшенный деревянными кружевами, над каждым окном, будто кокошник из тонкой резьбы, кружевные бордюры под крышей. Богатый купеческий дом!

Парадное крыльцо в будние дни держалось на крюке. Надежда Константиновна вошла через двор. Во дворе, мощеном, с прорастающей между булыжником травкой, стояли конюшня, каретник, погреб, летняя кухня, набитый дровами сарай, поленница дров в человеческий рост выложена по забору — все прочно, крепко, на сто лет. Для занятий с сыном отведена была нежилая, без употребления комната с деревянным диваном у стены и большим квадратным столом посредине.

— По географии я тебе задавала...— начала урок Надежда Константиновна, садясь за квадратный стол против ученика.

Основным предметом у них была грамматика, с которой Игнатка сильно был не в ладах, но заботливые родители просили учительницу и другие науки повторять, чтобы не позабылись за лето. Игнатка, курносый, рыжеватый, весь в веснушках мальчишка, был понятлив и лю-

бопытен, однако усердием совсем не отличался. Едва учительница за дверь — учебники в стол, более важные дела и занятия манили Игнатку: на целый день речка, или лес, или до самозабвения лапта на пустыре, тут уж не до уроков.

— Ну что же, Игнатка, я велела тебе выучить о реках Сибири?

— В Сибири есть река Енисей... Надежда Константиновна, а вы сами расскажите, а? Больно вы складно рассказываете.

— В Сибири есть река Енисей. Видел бы ты, Игнатка! — Надежде Константиновне ясно и резко представилось: в верховьях могучий, крутой, неожиданный, вырвется на луга, будто удивится простору, затихнет, течет плавно и ровно, но встанут на пути кручи и скалы, зажмут в коридор, и снова кипит, кидается, мчится. Дикий. Красота его дикая.— Слушай, Игнатка, слушай же, вот какой Енисей...

Она учила его ежедневно три часа. В конце третьего часа в комнату входила Александра, девица лет семнадцати, старшая дочь, толстая и сытая, с пуговичным носиком, тоже рыжая:

— Мамаша спрашивают, может, чаю хотите?

— Нет, спасибо, я спешу.

Случалось, Надежда Константиновна засиживалась дольше срока, когда каким-то рассказом или книжкой завлечет ученика так, что и об удочках и о лапте позабудет. Но сегодня Надежда Константиновна сразу после урока заторопилась уйти.

К кому пойти? К Цюрупе? Александр Дмитриевич Цюрупа жил рядом по этой же улице в неважнецком и низеньком домике, зато с садом, где розовые мальвы, кусты жасмина, сирени, гул пчел и чириканье птиц и ничто не напоминает о городе.

Веселый кудрявый блондин с яркими глазами, весь яркий, Александр Дмитриевич Цюрупа не был сослан в Уфу. Лишь на время бежал сюда от засад, облав и арестов в родных местах. Восемь лет назад Цюрупа был еще совсем юношей, и тогда уже на родной его Херсонщине была установлена за ним жандармская слежка. Сидел в тюрьме. Был под надзором. Снова тюрьма. Едва выпускали на волю, занимался статистикой, а между тем изучал народную жизнь, организовывал социал-демократи-

ческие кружки и с дерзкой отвагой неутомимо вел революционную пропаганду среди рабочего класса. Вот какой человек жил в низеньком домике, где под окнами нарядно цвели пышные мальвы. Надежда Константиновна очень ценила этого человека. Но решила все же идти сейчас не к нему, а к Ольге Ивановне Чачиной. Ольга Ивановна Чачина — подруга по Петербургу, по «Союзу борьбы».

Дéла какого-нибудь неотложного не было. Можно идти, можно не идти. Она шла, потому что чувство радости, с каким она проснулась сегодня утром, не давало оставаться одной. «С кем-нибудь поделиться!»

Она шла немощеной, неровной улицей, пересеченной оврагом. Исполины осокори, пожелтевшие до времени (должно быть, точили корни черви), уже роняли сухие листья, ветер гнал их, кидая с шорохом под ноги. Старая Уфа на горе, с красными крышами посреди огородов завиделась слева, уютная и приглядная издали. А прямо рисовалась одиноко на синем небе мечеть. Старики башкиры шли на молитву к мечети, медлительные, с выражением святости на коричневых лицах. Зеленые сапаны — флаг Магомета зеленый, уважаемый мусульманами цвет, цвет тишины и надежды, оттого халаты стариков почти все зеленые,— белые чалмы поверх тюбетеек, ичиги на ногах из козьего хрома, галоши, которые надлежит оставлять у порога мечети. Старики шли молча и, когда здоровались, складывали обе руки, вытягивая в знак приветствия и склоняя смиренные головы.

Здесь, в виду мечети, на перекрестке живет Ольга Ивановна Чачина.

Надежда Константиновна не знала, что у Чачиной гости.

— Знакомьтесь, всего неделю как приехали. Сестра из Нижнего, муж сестры, Александр Иванович Пискунов, статистик Нижегородской управы. Проведать приехали, как я здесь, сосланная, живу под надзором полиции.

Ольга Ивановна Чачина, простенькая, скромная, представляла гостей, кивая в сторону зятя и сестры, а руки держала на весу, красные от малинового сока. Сестры чистили малину на варенье.

— Надежда Константиновна Ульянова,— представила Чачина.

Большелобый шатен, сероглазый, с небольшими усиками, похожий бы на Чехова, да не хватало пенсне, легко поднялся из-за стола, заваленного книгами:

— Этой весной Ульянов был у меня в Нижнем проездом.

— Владимир Ильич Ульянов мой муж,— сказала Надежда Константиновна.

— Так мы же с ним спорили! Сражались!.. О чем? В основном о направлении рабочей борьбы.

И Пискунов принялся высказывать свои мысли о рабочем движении.

«Как это далеко от того, что делает Володя»,— подумала Надежда Константиновна. Но не старалась разубеждать Пискунова. Он был молодой, впечатлительный, нервный. У него дергалось левое чуть припухшее веко и руки все время были в движении — откидывали и приглаживали волосы, брали карандаш, крутили. Ольга Ивановна Чачина погрозила зятю пальцем, измазанным малиновым соком:

— Совершенно, совершенно я с тобой не согласна. Путаник ты, Саша. Надя, а у тебя нет ли новостей?

Надежда Константиновна решила, что пора сказать о телеграмме товарищам, и, достав из ридикюля, дала Чачиной.

— Вон что!— воскликнула Чачина.— Во-он оно что! А она молчит. Что же ты молчишь, Надя? Радость-то! Радуешься?

Надежда Константиновна молча кивнула.

— А Петербург как весь вспомнился! — нахлынуло на Ольгу Ивановну.— Верно, вспомнился? Один раз приходит Владимир Ильич: Лалаянца в тюрьму засадили. Я — «ах да ах». А кто такой Лалаянц, не слыхала. Оказалось, самарский социал-демократ, прислали этапом отсиживать в петербургской одиночке, в Крестах, самой угрюмой тюрьме. В Петербурге у Лалаянца родных никого. Владимир Ильич говорит, а я все только киваю, сочувствую. Наконец он: «Да что вы, не понимаете разве, невеста для свиданий нужна!»

Бог ты мой! Меня аж в краску вогнало. Так благодаря Владимиру Ильичу невестой Лалаянца заделалась. После тюрьмы, правда, больше почти не виделись. Один раз повидались, и все. Я это к тому,— обращаясь к сестре и зятю, закончила Чачина,— чтобы немного нарисо-

вать вам Владимира Ильича. Большая в нем душа, к людям внимательная.

— Гм,— сказал Пискунов,— а по Нижнему судя, для него всего прежде политика.

— Зачем политика, если не для людей? — спросила Надежда Константиновна.

— А то вот еще, Надя, однажды, помнишь ли, в Петербурге было...— продолжала Чачина.

Начав вспоминать Петербург, «Союз борьбы», рабочие кружки и стачки, свое участие в них, всю свою тогдашнюю жизнь, молодую и мятежную, полную борьбы, деятельности, сердечных увлечений и волнений ума, они могли бы заговориться до вечера. Но Надежда Константиновна все время держала в голове, что у нее назначена одна необходимая встреча, поглядывала на часики и минута в минуту, как ни жаль уходить от Пискуновых и Чачиной, явилась на Торговую площадь, где условлено было встретиться с Иваном Якутовым.

Гостиные ряды обнесли Торговую площадь, пестрило в глазах от товаров и вывесок:

БУЛОЧНАЯ И КАЛАЧНАЯ. ГОРЯЧИЕ КАЛАЧИ, САЙКИ, ПЫШКИ, БАРАНКИ. КНИЖНАЯ ТОРГОВЛЯ. ПОКУПАЮ ДЕРЖАНЫЕ КНИГИ ДОРОЖЕ ВСЕХ. ПРОДАЮ КАРТИНЫ, РАЗНЫЕ РАМЫ.

ВСЕ ДЛЯ ИЗЯЩНОГО ВКУСА. ДАМСКИЕ НАРЯДЫ. НОВИНКИ. ПОСЛЕДНИЙ КРИК МОДЫ!

Возле «последнего крика» стоял Иван Якутов. Молодой рабочий, длинный, в круглых очках, отчего глаза казались круглыми, птичьими, коротко остриженный, в кепке.

— Ничего себе, нашел место, конспиратор, возле дамских нарядов,— тихо смеясь, сказала Надежда Константиновна, становясь рядом с ним у витрины, крикливой и пестрой от кисейных и шелковых платьев и кофточек.

— А что, вот эта голубенькая, с прошивочками очень бы Наташе моей подошла.

— Прелесть ваша Наташа! — откликнулась Надежда Константиновна.

— Пока Наташа со мной, ничего меня не страшит. Хоть на Сахалин. Ру́ки моя надежда,— он приподнял руки, широкие рабочие руки, поглядел с любопытством,— руки моя надежда да жена моя Наташа.

— Руки мастеровые, жена Наташа еще того лучше, а Сахалин ни к чему. Здесь дела хватает. Когда?

Надежда Константиновна имела в виду, когда приходить заниматься с кружком, она вела кружок рабочих железнодорожных мастерских. Иван Якутов был ее учеником и связным.

— А хороша кофточка! Разорюсь-ка я, куплю Наташе, а ей-богу, куплю! — восклицал Якутов.

Надежда Константиновна увидела: двое подгулявших мещан в картузах и жилетах поверх ластиковых рубах проходили мимо в обнимку.

— Завтра в семь соберемся,— сказал Якутов, пропустив гуляк-мещан.

— Поняла. До свидания.

— Задержитесь чуток. Еще одно дельце есть.

— Что?

— Дельце такое... Приезжий человек тут один, с медеплавильного завода прибыл, тамошние ребята направили. Сознательный, а с другой стороны...— Якутов помедлил, ища слово.— В рассуждениях некоторых... Да вы лучше сама с ним побеседуйте.

— Где он сейчас, этот приезжий человек?

— У меня. Бездомный. Сказал я ему, что придете.

Она поглядела на часики! Увы! Напрасно дожидается мама с обедом. Подогревает на керосинке, кутает кастрюлю в подушки, курит в досаде.

Иван Якутов квартирует в другом конце города, на Заводской улице. Вся из халуп Заводская улица, из жалких домишек с оконцами у самой земли, никаких там наличников с резьбой, ни деревянных узоров, только и радости — огородик на задах, где пышные малины привязаны к палкам, раскидисто стоит куст смородины, да грядки две огурцов, да кудрявятся бороздки картофеля.

Оттуда, от Заводской улицы, недалеко от вокзала, рельсовых путей, железнодорожных мастерских, слышны пароходы на Белой. Тут живет рабочий класс Уфы.

Надежда Константиновна кивнула Якутову, и из осторожности они розошлись. Через всю Уфу она пошагала на край города, на Заводскую улицу. «Не сердись, мама, родной мой дружок, опять не поспеваю обедать. Завтра, послезавтра, послепослезавтра... Пять дней. Как еще долго: пять дней!»

6

Может быть, навеянные петербургскими воспоминаниями Чачиной, всю дорогу воображались Надежде Константиновне картины такого недавнего, такого далекого прошлого.

Она жила с матерью на Знаменской улице в многоэтажном доме с изрядно полинявшим фасадом, крутыми лестницами и обычным каменным петербургским двором, достоинство которого состояло в том, что он был проходным. Именно по этой причине и еще потому, что Надежда Константиновна была «чистой», то есть пока за ней не было установлено слежки, сбор для обсуждения материалов первого номера готовящейся к выпуску нелегальной газеты «Рабочее Дело» назначили в крошечной, но сравнительно безопасной квартирке Крупских.

Безопасность ее в значительной степени зависела от того, что старший дворник этого пообтрепанного временем дома к Крупским относился с особым доверием, выделяя их среди пестрого населения десятков квартир как самых обходительных и спокойных жильцов. Относительно барышни Крупской, служившей в Управлении железных дорог, у старшего дворника не возникало никаких подозрений, сколько ни пугал его «интеллигентами» околоточный надзиратель, вызывая для инструкций по наблюдению за неблагонадежным элементом столицы. Старшему дворнику внушали: надо глядеть, глядеть и глядеть.

Он глядел. Однако, что касается Крупской, эта барышня не какая-нибудь стриженая курсистка с пахитоской во рту — тиха, стеснительна, знакомства водит приличные. Да и мамаша при ней — подозрительных личностей в дом не допустит.

В этот вечер дворник заметил: к «барышне» поднялся незнакомый ему визитер с букетом цветов. Шел восьмой час, самое время для гостей, визитер с таким ликующим видом нес свой букет, упакованный от мороза в глянцевитую бумажную обертку, что сомнений быть не могло: в доме затевается семейное празднество. Уж не женишок ли объявился? Дай бог. Не век ей, бедненькой, по службам бегать.

Прошел еще гость, чуть рыжеватый, лобастый господин в каракулевой шапке, из-под которой зорко поблес-

кивали карие глаза. По всей видимости, сослуживец не особо важный.

Никого, кроме этих двоих, старший дворник не видел: пока отгребал снег от парадного, остальные посетители, воспользовавшись проходным двором, поднялись черной лестницей.

Молодой человек, преподнесший Надежде Константиновне букет темных роз, был студент университета Михаил Сильвин, немало всех удививший своей светской галантностью. Надежда Константиновна смешалась, принимая цветы.

— Дорого, пожалуй, они стоят зимой,— заметил кто-то.

— Дороговато, ничего не скажешь,— согласился Сильвин, радуясь, как гимназист, своей выдумке.— Зато отменно изящная конспирация!

Он вытащил из букета сложенный вчетверо лист бумаги — рукопись статьи Ульянова «О чем думают наши министры?».

О чем они думают в наступившие против их воли удивительные времена, когда революционной организацией уже охвачены все крупнейшие заводы столицы, создан центр, направляющий работу всех рабочих кружков и районов, и готова к изданию марксистская боевая газета, которая для министров едва ли не опаснее бомбы? А ведь прошло немногим больше двух лет после того вечера на Васильевском острове, когда молодые петербургские марксисты собрались вокруг приехавшего с Волги Ульянова!

Старший дворник угадал: сегодняшняя сходка у Крупской и верно похожа на праздник. Однако не семейный, хотя Елизавета Васильевна, подвижная и легкая в движениях женщина лет пятидесяти, без сединки в молодых волосах, смастерила пирог с клубничным вареньем, который гости в один миг умяли, после чего занялись обсуждением газеты «Рабочее Дело». Разошлись поздно. Владимир Ильич после всех.

— Очень и очень дорога мне в этой газете статья о министрах, Владимир Ильич! В ней самый гвоздь. Послушайте только! Нет, вы послушайте!

Надежда Константиновна выбрала из пачки рукописей на столе статью Ульянова и, торопясь, чтобы он не перебил, прочитала почти на память:

— «Министр смотрит на рабочих, как на порох, а на знание и образование, как на искру; министр уверен, что если искра попадет в порох, то взрыв направится прежде всего на правительство».

— Владимир Ильич! Как точно и верно: взрыв направится на правительство! А убийственная ирония в адрес министра!.. Впрочем, что это я разъясняю вам ваши же мысли?

Она рассмеялась.

В этот вечер они много смеялись, хотя собрались по архисерьезному поводу. Скорее бы дожить до завтра! Завтра Анатолий Ванеев переправит рукописи в лахтинскую подпольную типографию — и первый номер рабочей марксистской газеты выйдет в свет. И сделан еще шаг вперед. Семиверстный шажище!

— Что всего более радостно,— шагая, по обыкновению, из угла в угол комнаты, говорил Владимир Ильич с тем особенным искристым светом в глазах, который она так любила,— в чем наша сила — это появление рабочего нового типа. Бабушкин! Разве не тип нового рабочего? Умный, знающий, твердый. А Василий Шелгунов? Как рвутся они к революционной работе, как преданы нашему делу.

Он сощурился. От глаз к высоким вискам, играя смехом, побежали морщинки.

«Уже и морщинки!» — ласково подумала Крупская.

— Ванеев — сущее золото! — как бы без перехода и связи продолжал он, листая рукописи на столе. Мысль о трудном и рискованном деле, которое предстоит назавтра Ванееву, заботит его страшно.— Сокровище наш Ванеев! Скромен, тверд, смел. Идеал революционера!

Надежда Константиновна втихомолку улыбнулась. Расхваливать товарищей Владимир Ильич мастер. Удивительный дар у этого человека откапывать в людях достоинства! Откопает и уж с таким пылом возьмется расписывать, что послушать его — в их кружке каждый на свой лад сокровище.

А разве не так? Надежда Константиновна ужасно, ужасно любит товарищей!

— На редкость хороший у нас подобрался народец! — подхватил Владимир Ильич, как всегда мгновенно улавливая ход ее мыслей.

Его способность отгадывать душевное ее состояние трогала Надежду Константиновну. Он понимал ее, кажется, лучше, чем она сама. Ни с кем не было ей так легко и свободно.

— Однако пора позаботиться о рукописях.

Второй экземпляр газетных статей оставлен у Крупской — так решили сегодня на случай провала Ванеева.

— Нет ли у вас тайничка? — окинув взглядом комнату, спросил Владимир Ильич.

Сгреб рукописи со стола и, присев на корточки, принялся засовывать за буфет.

— Здесь незаметно. Выйдет газета, уничтожим эту улику. Клад для жандармов, не к ночи будь сказано.

Наступала ночь. Город мирно засыпал за окном. Елизаветы Васильевны не слышно: должно быть, тоже уснула. Как всегда, они заговорились.

— Не хочется мне от вас уходить,— сказал Владимир Ильич.

Она вспыхнула, отчего-то смутилась и глядела на него молча, с открытой и беспомощной нежностью. Он нагнулся к столу над розами. Едва уловимый, тонкий запах шел от них.

— Жалко, что не я вам их принес,— сказал Владимир Ильич.

«Ах, постойте, я сама притащу вам охапку фиалок!— воскликнула она мысленно.— Вот наступит весна. Или нет, для чего мне дожидаться весны!»

Ничего подобного вслух она не сказала. Проклятая стеснительность всю жизнь губила ее.

— До завтра,— сказал Владимир Ильич, думая о том, что с каждым днем ему все труднее разлучаться с нею даже до завтра.— Завтра прибегу к вам сломя голову.

Она молча кивнула.

Владимир Ильич медлил, странно серьезно всматриваясь в ее притихшее лицо с плотно сомкнутым ртом и счастливым блеском в глазах. Вдруг, словно испугавшись, что это строгое мгновение уйдет, он потянулся к ней, взял ее руку:

— Вы позволите мне называть вас Надей?

В эту ночь его арестовали. Арестовали весь центр и актив «Союза борьбы». Газета погибла.

...И еще один вечер представился ей. Осенний, холодноватый, с хрустальной ясностью воздуха. В Летнем саду кружились, падая, листья. Стройны и тихи мосты над каналами. Владимир Ильич утащил ее побродить над Мойкой.

Взявшись за руки, они перешли Мойку возле царских конюшен. Извилистая, непетербургская набережная. Город с экипажами, огнями, витринами приглушенно шумит вдалеке. Здесь грустновато, пустынно. Где-то здесь умирал застреленный Пушкин. Они не знают, где дом, в котором жил Пушкин. Всякий раз, забредая сюда, они тщетно ищут среди задернутых шелком и кружевом окон то, из которого он угрюмо следил за утренней прогулкой царя верхом вдоль набережной...

Нас было много на челне;
Иные парус напрягали,
Другие дружно упирали
В глубь мощны веслы...

Надежда Константиновна оборвала стихи. Помнит Владимир Ильич дальше?

...Вдруг лоно волн
Измял с налету вихорь шумный...
Погиб и кормщик и пловец!..

«Нет, нет!» — внутренне похолодела она.

— «Я гимны прежние пою»,— договорил Владимир Ильич.

«Он весь в этом сказался»,— подумала Надежда Константиновна.

...Однако вот и Заводская улица, дом Ивана Якутова. Приезжий здесь ее ожидает.

7

Четверть века назад появился в городе Уфе человек из другой губернии, по имени Кондратий Прокофьевич. Было ему под сорок, рослый, лобастый, с бородой лопатой и умными, буравящими, как сверла, глазами, желтыми, ястребиными,— так насквозь и глядят! Приехал не просто так, а с задачей. В те поры вокруг Уфы еще

лежали на сотни верст нетронутые башкирские земли. Кондратий Прокофьевич поселился в Уфе, огляделся не торопясь. По реке Уфимке (как называют местные жители) до самой Уфы стояли леса. Боже мой, какие леса! Дубовые, сосновые, роскошные, царственные. Водились лоси, ходили медведи, а человеческая нога не всюду ступала в этих девственных лесах на башкирских немереных землях.

Кондратий Прокофьевич обжился, огляделся, спустя некоторое время вошел в дружбу с нужным чиновником, неделю поил и между пьянками обстряпал при способстве чиновника дельце: приобрел участок леса на реке Уфимке. Небольшой, в двести десятин всего. За бесценок. По восьми копеек за десятину. И тотчас заложил в земельном банке в десять раз дороже против стоимости. В скором времени на этот начальный капиталец, приобретенный от выгодной сделки, куплен был новый участок леса, в десять раз больше первого, по той же грошовой цене. И тоже заложен. И еще. И еще. И на вырученные таким способом деньги за каких-нибудь года три Кондратий Прокофьевич почти задаром приобрел сто тысяч десятин строевого превосходного леса. Целая Бельгия могла бы уместиться во владениях Кондратия Прокофьевича.

Со всем пылом удачника, энергией предпринимателя, алчностью собственника занялся новоявленный капиталист промышленной деятельностью. Поставил лесопильный завод, и пошли валить лес! И пошли, пошли вырубать великолепные башкирские липы, могучие дубы, гордые мачтовые сосны. Где только можно сплавлять по реке, лес сводили без пощады и жалости. Спешили, как воры. Оставляли на месте бывшего леса-красавца торчать голые пни. Версты и версты — все пни. Лесные горькие кладбища.

А на Уфимке и Белой появились бесчисленные плоты, беляны и барки купца первой гильдии Кондратия Прокофьевича. Гнали брусья, бревна, сплавляли тес. Сплавляли изделия из леса, ложки и плошки. Вовсю кипела торговля!

Уже стал Кондратий Прокофьевич кумом городского судебного следователя и с другими необходимыми чиновниками и промышленниками завел знакомства. И все валил лес. Все валил. Аппетит разгорался. Крылья у фан-

тазий отрастали. Был Кондратий Прокофьевич миллионщиком, но остановиться не мог. Новые миллионы манили.

По берегам Уфимки во владениях Кондратия Прокофьевича леса были сведены, дальше расчета нет валить, дорого обойдется доставлять лес к реке. Узнал купчина, в одном уезде есть весьма подходящая местность, вся перерезана множеством сплавных речонок и речек, нетронутые дивные леса хвойных пород покрывают прекрасную местность. «Быть моими лесам»,— задумал купец. Сказано — сделано. Кондратий Прокофьевич принялся совершать купчую крепость, рассчитывая в скорости отхватить новый завидный кусок,— застучат топоры, завизжат пилы, встанут пристани на безвестных речонках, поплывут плоты.

Надо было созвать сход башкир, владевших лесами, для подписания договора о продаже. Волостной старшина, с головы до ног купленный ловким купчиной, побоялся сзывать сход — уж очень заметно обманный был договор,— решил поодиночке вызывать башкир в волостное правление. Сколько лесу продается, почем за десятину — врал без стеснения. Башкиры ставили тамгу, уходили. Потом обсуждали, что сделано, горевали, что поддались на обман. Некоторые возвращались требовать подпись обратно: самим нужны леса. Старшина и писарь гнали прочь. Тогдашним разорителям башкирских земель не представлялось, чтобы башкир, темный и дикий — они и за человека его не хотели считать, посмел воспрепятствовать поощряемой властями купеческой деятельности. Вдруг...

Бурунгул Хазбулатов в свой черед вызван был старшиной ставить тамгу на договоре. Пришел. Сам купец был в волостном правлении. Прибыл из города, недовольный, что дело затягивается. Сидел у стола. Ястребиные, желтые со сверканьем глаза так насквозь и сверлили.

— Нет моего согласия продавать лес,— сказал Хазбулатов.

Старшина в удивлении нахмурился, а купец сказал:

— Дурак! Зачем тебе лес, он у вас нечищеный стоит, подлеском заглушенный, сгниет он у вас.

— Дурак, зачем говоришь неразумные речи? — хладнокровно ответил башкир.

Купец вскипел, взъярился:

— Ты, ты, ты... собака башкирская!

Замахнулся кулаком. Башкир на него замахнулся. У купца все лицо перекосилось от злобы — не привык к таким дерзким ответам, давно привык к «что угодно-с». Старшина и писарь кинулись разнимать. Старшина орал, брызгал слюной, пинал Хазбулатова, топал.

Хазбулатов свое:

— Нет моего согласия. В лесах наши деды и прадеды бортничали, коней пасли по полянам.

— В кутузку его, башкира вонючего! — распорядился волостной старшина.

Связали руки, оттащили, втолкнули в кутузку. Была зима, стужа, ветер. Худо одетый, голодный башкир продрожал в нетопленной кутузке полные сутки.

— Одумался? Ставь тамгу,— велел старшина дрожащему, поруганному, ошеломленному своим бесправием башкиру. Купец сидел, поглаживая бороду.

— Не буду ставить.

— Черт с ним,— молвил купец.— Одумается, да поздно. Поплачешь ты у меня!

По округе летел слух. «Обман, подлог, старшину подкупили, писаря подкупили, грабят нас, дедовские леса отнимают». Башкиры не шли ставить тамги на договоре. Дотянули до лета. И случился пожар. Загорелось ночью. Вспыхнуло волостное правление, где хранились бумаги на покупку башкирских лесов. Загорелась изба Хазбулатова невдалеке от правления. Поднялся ветер, понес горящие клочья соломы с крыш, пошел огонь мести подряд — в полчаса десяток изб смел. Вой, плач, конское ржание огласили ночь. Хазбулатов с женой спросонок выскочили из полыхающей избы. Юлдашбая, своего сынишку, сонного вытащили. А девчонка обгорела, через два дня умерла. И скотина сгорела. Конь сгорел.

Прискакал стражник из города. Еще не погасили пожара, стражник прискакал. Почему-то опять очутился в деревне купец, примчал на тройке. Хазбулатова схватили, скрутили руки. Связанного допрашивали: «Ты поджег, ты?»

Волостной старшина бил его, связанного, кулаком в скулы.

«Из мести поджег, собака башкирская, на каторжных работах сгною»,— сказал купец.

Хазбулатов сплюнул кровь из разбитого рта. Понял — плохи его дела.

Пять лет продержали Хазбулатова в тюрьме за поджог.

Когда выпустили, вернулся домой, не узнал жену — сморщенной старухой стала жена. Сына не узнал. Был веселеньким, ясным мальчишечкой, стал угрюмым волчонком. Научился по-русски: «Подайте ради Христа».

Избы у Хазбулатова нет. Хозяйства нет. Коня нет. А леса перешли купцу. Бумаги сгорели в правлении, и башкиры не сумели доказать, что леса их не проданы. Где-то по казенным палатам ходило башкирское прошение с жалобой на самоуправство купца, а купец пока что валил вековые ели и сосны, добавляя сотни десятин лесных кладбищ в Уфимской губернии.

Взял Хазбулатов жену и сына и ушел из родных мест, далеко, за пятьсот верст, на медеплавильный завод в поселке Баймак. Поставили на заводе сторожем. Один сторож с винтовкой сторожит, а Бурунгулу Хазбулатову колотушку дали. Ходи, отпугивай недобрых людей. Ходил ночами у заводских складов, колотил в колотушку.

Ослабел от тюрьмы, обессилел от бед, руки тряслись, липким потом обливалась спина. Заболел Хазбулатов чахоткой.

На заводе много было башкир. И в окрестностях жили башкиры. Приносили Хазбулатову кумыс. «Пей кумыс, Бурунгул, от кумыса встанешь».

Но и кумыс уже не помог. Не встал Хазбулатов. Перед смертью мучили злые видения, вспыхивало в мозгу прошлое: бил старшина кулаком в подбородок, в скулу, а купец, разглаживая бороду: «Прощайся с конем, Хазбулатов! С жизней прощайся».

Чу! — слышно топот и ржание коня. Товарищ мой, конь! Где ты, друг мой верный, мой конь?.. Смертной тоской ноет грудь. Вот отчего заболел Бурунгул Хазбулатов чахоткой — от тоски. «Отомсти, Юлдашбай. Не будет тебе счастья, ни радости, ни удачи, ни жизни,— отомсти».

Они сидели в тесной низенькой комнате в избушке Ивана Якутова на Заводской улице. Три окошка выходили на улицу, низкие, почти над землей. Избушка ско-

собочилась, величавый осокорь стоял подле; раскачивая ветвями, мел вершиной синеву небесного свода, весь шумел и волновался от ветра. Слышались свистки паровоза. С тревожным чувством ловила Надежда Константиновна доносящийся тягучий гудок парохода.

Они были вдвоем. Иван Якутов оставил их, побежал к себе в железнодорожные мастерские. Вошла из сеней Наташа, молоденькая жена Якутова, с засученными рукавами — стирала в сенях,— постояла у порога. Юлдашбай замолчал, она ушла. Он говорил резко, отрывисто, упершись в пол глазами, мешая русские слова и башкирские. Смолкал, опять говорил. Кончил. Поставил кулак на стол.

— Что будете делать теперь, Юлдашбай?

— Приехал в Уфу.

— Что будете делать в Уфе?

— Нельзя было мне там оставаться. Наш кружок на заводе накрыли. Трое арестованы, мне товарищи дали знать, взял на заводе расчет и сюда.

— Трудно здесь с работой, ну да авось помогут уфимцы,— сказала Надежда Константиновна.

— У меня не одна цель — работа.

— Кружок?

— И кружок. Якутов сказал, примут в кружок. И другое есть на душе.

— Что же, Юлдашбай?

— Искать купца буду,— тихо ответил он.

— Зачем?

— Выслежу...

Он к ней подался. Неукротимое, дикое — память предков-кочевников — поднялось в глазах, огромных и мрачных, похожих на два черных угля.

— ...Убью.

Надежда Константиновна молчала. Молча разглядывала его. Он весь был из мускулов, руки, должно быть, железные (подкову согнут), поджарый, с широкой грудью, узкой талией. Лицо словно высечено из темного камня, плоское и неподвижное. Вся душевная жизнь его — сила и лютость — были в глазах. Не убьет. Про убийство не говорят, не признаются. Говорит, значит, знает: не будет этого. Иссушит себя, измучает бессильной ненавистью.

— Юлдашбай, убьете, что толку?

— Месть. Отец велел перед смертью.

— Отец был от болезни в бреду.

Юлдашбай, нагнув голову, медленным сумрачным взглядом исподлобья мерил ее. Доверять или нет? Полагаться ли? Кто она? Чего от нее можно ждать?

— Товарищи из завода прислали к Ивану Якутову — верный, говорят, человек, надеяться можно.

— Хорошо, что вас к нему прислали,— верный человек Иван Якутов,— согласилась Надежда Константиновна.

— Иван Якутов сказал, есть женщина, умная. Отвори, говорит, перед ней настежь всю душу, она в тюрьме за рабочих сидела, а сейчас в ссылке. Надежда-апай, я вам все открыл.

— Спасибо за доверие, Юлдашбай. Но ведь и я в ответ должна быть совсем откровенна с вами?

— Правильно говорите, Надежда-апай.

— Так вот что я скажу вам, Юлдашбай: я этого купца знаю.

Он отшатнулся. Смутное, злобное тенью прошло по лицу.

— Я догадываюсь, что плохими средствами он добыл богатство,— сказала Надежда Константиновна,— а разве богатства добываются честными средствами? Ведь вы же знаете, богатства всегда от грабежей и злодейства. Напрасно все же вы задумали его убивать. Убьете — зашлют навечно на каторгу...

— Трусить учите? — презрительно просвистел Юлдашбай.

— Юлдашбай, вы позвали меня, чтобы поддакивала? Или чтобы свое говорила?

— Говорите свое.

— Убьешь купца — наследники найдутся,— перешла на «ты» Надежда Константиновна.— Не остановится ни торговля, ни лесной его грабеж. Пущена машина. Да разве ты не знаешь, Юлдащбай! Слышал, царя убивали?

— Ну, слышал.

— Новый царь вступил на престол. Был Александр Второй, стал Александр Третий. И вся разница.

— Чему ты меня учишь, Надежда-апай? — тоже отвечал он на «ты».— Объясни, чему учишь?

— Борьбе. Царя, купцов не поодиночке, всех разом надо прогнать.

— То борьба, а то месть. Отец наказал. Не велишь сердцу: терпи. Отец перед глазами. В могилу его затолкали. Не могу забыть.

Он понурился. Уныние и сумрачность все больше овладевали им.

«Юнец еще,— думала Надежда Константиновна, глядя на его вздрагивающие ноздри и сжатый рот.—Совсем, совсем юнец. Иначе разве стал бы делиться с посторонним человеком своими сумасшедшими планами? Сказали: Надежде-апай доверься, он и доверился, ах, юнец! Сама судьба, Юлдашбай, зовет тебя к борьбе. Твое несчастье зовет. Но что это, как неверно я рассуждаю! Разве только несчастливые люди вступают на революционный путь? Я ведь вот счастлива. И подруги мои, Зина и Софья Невзоровы. И все мы жили не так плохо и вовсе не от бед пошли на борьбу. Надо осторожнее с ним, а то вот такие застенчивые и самолюбивые люди иной раз наперекор и решаются...»

Они сидели и думали каждый свою думу. Неизвестно, о чем размышлял Хазбулатов, но отчужденно молчал.

— Юлдашбай, ты веришь, что придет время, прогоним царя и купцов?

— Это долго. Сейчас не хочу терпеть. Сердце жжет.

— Как мне тебя убедить, Юлдашбай! Надо жить общей борьбой, общими пролетарскими целями! Ведь ты социал-демократ.

— Уводишь. Мать тоже уводила: смирись, Юлдашбай, перетерпи, пережди.

— Никогда не скажу я «смирись»! — вспылила Надежда Константиновна.— В твоей матери ее материнский страх говорил. Ты не знаешь меня, Юлдашбай. Я не смирная. Юлдашбай, ты много читаешь? Какие ты книжки читал?

— Много книжек читал. А такую не встретил, где бы про отца было написано, что избу сожгли, сестренку сожгли, коня сожгли, отца в тюрьму заперли, а мать от горя зачахла.

— Стой, стой, Юлдашбай, есть книжки, в которых об этом написано!

— Может, и есть. Я про свою жизнь без книг знаю.

Он отвернулся.

— Видно, ты отталкиваешь меня, Юлдашбай,— ска-

зала Надежда Константиновна.— Не хочешь со мной и товарищами нашими дружить.

— Как не хочу! А зачем приехал? Меня из кружка с письмом к Ивану Якутову прислали. Ехал для борьбы. А купец — моя беда, моя доля. Не умею в себе заглушить.

— Юлдашбай, можешь ты мне обещать, что ничего не сделаешь без совета со мной?

Он вперил в нее угольный взгляд, выпытывая и колеблясь. Медленно покачал головой:

— Не знаю.

— Ты прямой человек, Юлдашбай. Но все-таки я тебя прошу: не делай ничего без совета. Юлдашбай, как по-башкирски товарищ?

— Иптэш.

— Иптэш — товарищ, запомню...

8

В Казани они не сошли.

Со счастливой беспечностью своих девятнадцати лет Лиза проспала Казань — и как пароход приставал, как отдавал капитан команду зычным капитанским голосом, как матрос кидал чалку, как кипела пеной под колесами вода,— все проспала. Проснулась — тихо, вода не шлепает о днище, стоим. «Чем мне для начала заняться?» — думала Лиза, сладко потягиваясь после сна на пружинистом диване. «Ага, помню, помню». Она помнила уроки Татьяны Карловны, не оставлявшей и после института над ней попечения. Татьяна Карловна давала Лизе уроки светского тона: в путешествии надо менять туалеты, как требует этикет. «Пять-шесть платьев мало-мальски приличных есть у тебя?»

Пять, пожалуй, найдется. Лиза перебрала и перемерила все их и для Казани оставила простенькое, из сарпинки, в белые и лиловые полосы. Приоделась, поглядела в зеркало, сделала прическу, напустив на уши каштановые с золотинкой волосы, понравилась себе, улыбнулась и вышла на палубу.

Петр Афанасьевич сказал, что, пока стоит пароход, придется ему уехать по делам. «Не беспокойтесь, не ждите, по возможности проводите время приятно».

Палуба была пуста, пароход пуст, все уехали в город за шесть верст от пристани, и Лиза не знала бы, чем занять время, но подошел официант из салона и, почтительно нагибаясь, сказал, что «завтрак готов-с, велено пригласить барышню, когда встанут-с».

Лизе нравилась почтительность, какой здесь, на пароходе, ее окружали горничные, официанты и сам капитан с квадратными плечами и лицом кирпичного цвета. Лизе нравилось, что все любили ее.

— Данке! — привычно поблагодарила она по-немецки и прошла в столовый салон, решив заказать на завтрак пирожки с вареньем и кофе.

— Прикажете рыбу? Цыпленка?

— Нет, пирожки с вареньем.

Официант с полусогнутой спиной попятился и почтительно удалился.

Она путешествовала, как знатная дама из переводных романов, которыми была полна ее голова, и старалась подражать этой выдуманной даме из дешевеньких книжек. «Чем бы заняться теперь? — съев пирожки, задала себе Лиза вопрос.— Сходить разве посмотреть, что за пристань»

Пристань в Казани была бестолкова и сумбурна, набита народом, полна суеты, гвалта, криков. В Казани был не один, а много причалов, наверное, не меньше двадцати, поставленных на воде под песчаным обрывом плечом к плечу, заваленных ящиками, кулями; товарные и пассажирские, для пароходов дальнего и местного следования — все вперемешку. На обрыве над пристанью толпились кабаки и лавчонки; на солнцепеке полукольцом выстроились десятки извозчиков, кидавшихся на зов пассажиров, хлеща кнутами смирных коней, гикая, крича по-татарски и по-русски, вздымая тучи пыли из-под колес и копыт; крикливые грудастые бабы торговали за деревянными ларями всяческой снедью; и на причалах, меж причалами и у самой воды, на бревнах, перевернутых ящиках и прямо на песке сидели, лежали, стояли какие-то до черноты загорелые люди в рваных кацавейках и куртках, засаленных штанах, ватных шапках. Все, как один, белозубые, взгляд у всех колючий и дерзкий, разбойничий. «Грузчики»,— догадалась Лиза, видя за спинами у некоторых прикрепленные через плечи при-

способления для ношения грузов, «подушки», хотя ничего похожего на подушки в них не было.

Непонятное что-то происходило на причале, к которому пришвартовался пароход. Грузчики, их было человек девять, сидели на полу вдоль борта и в проходе, расставив ноги, и курили махорку. Молча. Лица упорные, словно задались целью сидеть и молчать. Впрочем, двое лежали на животах, подложив руки под головы, должно быть спали; у этих двоих (Лиза разглядела) на голых пятках углем выведена была цифра 6.

— Не хозяин я, сам подневольный: что прикажут, моя обязанность — выполни. Ежели бы воля моя, отчего не уважить? Я не прочь, я согласен, да надо мной тоже власть,— каким-то неестественным, тонким и в то же время вроде бы внушительным голосом говорил человек в полотняном пиджаке и картузе, подстриженный в кружок, с козлиной бородкой, будто из пакли.

— Что вы молчите? Что? Молчите-то что?

— Наше слово сказал,— ответил старший из грузчиков, татарин, весь измеченный оспинами.— Наше слово сказал, твоя говори.

И раздавил об пол цигарку с махоркой.

— Леший с вами, коли так,— плюнул человек в картузе.— Много чести вам кланяться. Других подряжу. Вашего брата на пристани пруд пруди.

Ушел, скрипя сапогами со сборенными голенищами. Всем своим видом показывая: «Коли так, леший с вами!» Никто из грузчиков не шевельнулся поглядеть вслед. Сидели словно каменные.

— Ходи, ищи,— бросил татарин вдогонку.

Лиза стояла, держась за борт, перегнувшись, глядела вниз. Один, молодой, темный, как цыган, с шапкой путаных, круто вьющихся в кольца волос, поднял глаза, обвел ее медленным взглядом и равнодушно отвернулся, будто не живая девушка с белой кожей, в платье из полосатой сарпинки была перед ним, а кукла. Она в досаде прикусила губу. Как он смеет так отворачиваться, грузчик какой-то!

Тот, в картузе, возвратился. Глаза растерянно бегали, и чувствовалась в нем озабоченность.

— Ладно, вставайте, четыре с половиной даю, в убыток себе. Во всей Казани больше не возьмете. Подите

суньтесь, дороже нигде не дадут. Четыре с полтиной идет?

Татарин вытащил из голенища обрывок газеты, оторвал клочок, вынул кисет из кармана и не спеша стал крутить цигарку.

— Онемел, сидит, как идол! Слышишь, что ль? Ежели бы я хозяином был!.. Всего-то приказчик, не в своей воле... Отвечай, что молчишь?

— Наше слово сказал.

— «Сказал, сказал»!.. Задолбил, как дятел. Позову других — останетесь с шишом.

— Зови. На чужое место наш не пойдет.

— Со-ли-дар-ные,—дразня, выговорил приказчик. Сорвал картуз, вытер круглую, как блюдечко, лысину и отчаянно: — Леший с вами, вставайте! Пятерку даю на артель. Да бегом, пошевеливайсь, слышь, пароходу расписание есть, ждать нас не будет. Вставай, говорю! Переспорили, черти, ваша взяла, грузи за пятерку!

Татарин молча ткнул в голую пятку лежащего рядом. Тот зашевелился, повернулся другой щекой на закинутые руки и пустил долгий храп.

— Шесть целковых давай, написано: шесть на артель,— сказал татарин.

Приказчик снова сорвал с головы картуз, шлепнул себя по коленке, нахлобучил картуз, подпер кулаками бока, плюнул, не зная, как еще показать всю степень негодования.

Он ненавидел грузчиков за свое бессилие, за их упорство, за то, что они побеждали; он уже чувствовал: придется ему уступать.

— Что за торговля? Чего не поладили?

С парохода сходил капитан. Грузный, плечистый, нахмуренный.

— Загодя ладить надо, поздно теперь.

Приказчик сам знал, что поздно, знал свою вину, что загодя не уломал старшо́го в артели,— схитрить хотел, перед самой погрузкой выторговать в свой карман, да не вышло.

— Уперлись на своем. Капитана постыдились бы, черти! Вон публика смотрит. Ребята, а ну, вставай за пятерку, а ну, подымайсь!

Уже собиралась толпа вокруг происшествия, любопытные полукольцом окружили сидящих грузчиков и

приказчика с капитаном. Лиза увидела в толпе Владимира Ильича. Значит, в Казани они не сошли. Лиза отчего-то обрадовалась. С удивлением читала она какой-то особенный интерес на лице Владимира Ильича. И сочувствие. Кому он сочувствует? Он стоял, откинув полы пиджака, спрятав руки в карманы; взгляд его, острый и внимательный, перебегал с одного на другого, обежал капитана.

— Никудышные людишки! Ты им лучше, а они тебе хуже,— жаловался приказчик, рассчитывая, не вмешается ли капитан своей властью.

— Сам виноват, по глупости своей смутьянство плодишь,— буркнул тот.— Мне через полчаса пароход отправлять, я из-за тебя расписание не стану ломать, улаживайся.

Круто повернувшись, капитан побежал по трапу на пароход, быстро и живо, несмотря на грузность. Казалось, он убегал.

«И капитан отказался»,— поняла Лиза.

Она нашла взглядом в толпе Владимира Ильича и ясно прочитала на его лице торжество. Он торжествовал. Он был рад. Он сочувствовал грузчикам.

В глубине души Лиза тоже сочувствовала грузчикам, особенно тому, молодому, который равнодушно от нее отвернулся. Несмотря на дерзость, молодой грузчик Лизе понравился своей независимостью. И капитан с бычьей шеей и лицом кирпичного цвета сейчас Лизе нравился больше, чем когда услужливо изгибался перед членом правления акционерного общества Петром Афанасьевичем.

— Пользуетесь, а? Пользуетесь? — тыча кулаком в сторону грузчиков, ярился приказчик.— Полиции захотели? Бунтуете? Малый, эй, малый, мчись за полицией! Э-эй, полиция! Я вас, дармоеды, под бунт подведу, я вас упеку...

Раздался первый удар колокола.

По крутой дороге с обрыва по направлению к пристани, кутаясь в облаке пыли, катила коляска. «Тпрруу!» — натянул кучер вожжи, лихо подкатив к причалу. Конь гнедой масти с подвязанным хвостом и подрезанной гривой стал, роняя комья ржавой пены с удил. Из коляски с лакированными крыльями соскочил Петр Афанасьевич. Увидел Лизу на палубе, махнул перчат-

кой. На причале все орал и ругался приказчик, все сидели молча окаменевшие грузчики.

— Подлый народишка! — входя через минуту к Лизе на палубу, говорил Петр Афанасьевич, разодетый в чесучовый пиджак, красный галстук и светлые брюки,— франт, как всегда.— Бездельники, пользуются случаем сорвать с хозяина, а приказчик, видать, дурак, заварил кашу, а расхлебывать не умеет,— гнать таких без жалости надо!

— Им не хочется задешево работать,— полуспрашивая, сказала Лиза.

Он в недоумении на нее поглядел.

— Каждому свое. Не всем ездить в каютах первого класса.

Она покраснела. На что он намекает?

— Ну, ну, ну, сердитенькая моя, не к лицу вам думать о грузчиках. Как спалось, прынцесса моя, какие сны виделись?

Внизу, на причале, надрывался до сипоты голос приказчика:

— Последний раз спрашиваю: совесть есть у вас, окаянные, идолы? Нет совести, бессовестные. Коли так, леший с вами, уступаю. Клади в гроб живого, грузи за шесть.

Вмиг произошла перемена. Словно ветром подняло грузчиков. Все, как один, на ногах. Двое лежавших вскочили, будто не спали. «Подушки» на спины. Татарин что-то сказал, и не шагом, а рысью, бегом они кинулись на задний борт причала, где лежали мешки, и уже тащили на спинах. Бегом, бегом, бегом. Пригибаясь от тяжести, но молодо, споро.

— Как ловко работают! — невольно вырвалось у Лизы.

— Проучить бунтовщиков надо бы, волю взяли! — с жесткой нотой сказал Петр Афанасьевич.— А вас не должно это интересовать. Не дамское занятие.

Лиза не слышала раньше в его голосе такого холода, не замечала в глазах этого льда.

Она сидела в каюте под вечер у окна, сплетя пальцы, положив на колени руки. Татьяна Карловна выговаривала за привычку сплетать пальцы — дурная привычка! Сидела, глядела в окно.

Пароход вошел в Каму. Темный еловый лес встал по берегам, все сузилось, стало теснее, не было волжской широты и простора.

Мимо окна, припадая на левую ногу, с толстым томом под мышкой прошагал хромой господин в поношенном пиджаке, тот, что все любил гулять по палубе; и затем начался разговор, который Лиза не старалась услышать, но волей-неволей услышала, потому что происходил он почти у нее под окном.

Говорил хромой господин.

— Давеча, в Казани на пристани, мы наблюдали картинку сопротивления рабочих масс эксплуатации, не так ли? Миниатюрную забастовку, не так ли? Да, классический пример забастовки, и вы, сочувствуя ей, нравственно поддержали...

— Я не делился с вами,— перебил сдержанный голос Владимира Ильича.

— Не имеет значения,— перебил хромой господин.— Всякий порядочный интеллигент в данной ситуации нравственно поддерживал грузчиков, ибо нам с вами, милостивый государь, как интеллигентам,— интеллигентному пролетарию, скажу про себя,— глубоко противно всякое хищничество в любом его виде...

— Что вы хотите доказать? — спросил кто-то.

— Не доказать, а рассказать. Об одном происшествии из собственного опыта, приведшем к драматическим изменениям всю мою жизнь.

— Тоже забастовка? — услышала Лиза голос небрежный и жесткий.

Петр Афанасьевич тут. Что-то заныло у Лизы внутри. Зачем он тут? Ведь он держался в стороне, ни с кем не заводил на пароходе знакомства. Ей стало неловко. Она со страхом ждала, как он покажет себя в этом обществе.

— Происшествие следующее,— пренебрегая вопросом, продолжал хромой господин.— Извольте видеть, книга...

Должно быть, он показал собеседнику толстую книгу, которую нес под мышкой.

— Энциклопедия,— сказал Владимир Ильич.

— Правильно заметить изволили. Том пятый; энциклопедия, том пятый, издания тысяча восемьсот девяносто первого года. Девять лет назад выпущенный, в тысяча

восемьсот девяносто первом году. Брокгауз и Ефрон, извольте заметить. Уважаемая и солидная фирма, не так ли?

— И что же? — видимо заинтригованный, спросил Владимир Ильич.

— Энциклопедия Брокгауза и Ефрона, для создания коей существовал и существует поныне аппарат ученых редакторов, корректоров и прочих литературных деятелей, а также разных начальствующих лиц. Среди последних в оное время было лицо, ныне по старости лет, а более из-за невоздержанного образа жизни закончившее земное поприще; упомянутое лицо все бразды правления держало в руках, главным образом касательно выплаты денег. Натерпится, бывало, литературная братия, ибо у этого лица обыкновение было задерживать выплату. Хоть неделю, хоть три дня, а задержит. Нрав такой жадный. «Как, батенька, неужели редакция перед вами в долгу? Неужели в долгу? Ой запамятовал! Ей-богу, запамятовал!» Будучи по роду своей работы острословной и быстро находчивой, литературная братия дала угнетателю прозвище «Беспамятная Собака», что быстро облетело редакцию и до адресата дошло, а дабы и потомкам стало известно...

Слышно было, хромой господин листает страницы энциклопедии.

— Дабы и потомкам осталось известно... Угодно прочесть?

— Что такое? — изумленно сказал Владимир Ильич. Расхохотался: — Да нет, не может быть, ерунда какая-то!

— Читайте вслух. Что там? — требовал чей-то голос.

— «Беспамятная собака — собака, жадная до азартности»,— внятно прочитал хромой господин.

— Что-что? Ха-ха-ха! Но ведь бессмыслица!

— Господа, невероятно! Дайте взглянуть.

— Дайте мне! «Беспамятная собака — собака, жадная до азартности». Так и написано. Господа, в энциклопедии, в солидном издании такое дают определение? Чушь.

— Не чушь, а способ борьбы с эксплуатацией,— сказал хромой господин.

На несколько мгновений стихло. И Лиза услыхала насмешливое:

— Выдумают тоже. Эксплуатация! Способ борьбы!

«Петр Афанасьевич. Он. Боже мой, зачем он здесь? Что он скажет? Ну, что ты скажешь?»

— Всех этих борцов ваших гнать! — услышала Лиза.

Он, Петр Афанасьевич.

— Выгнали,— ответил хромой господин.— Вашего покорного слугу выгнали. Имел несчастье быть одним из корректоров. Младшим корректором. Младшего в наказанье и выгнали.

— Не подпускать на сто верст!

— Не подпускают. Девять лет безработный. Умственный пролетарий. Случайными работенками кое-как перебиваюсь.

— Поделом. Не вольничай.

И твердой походкой мимо окна Лизы прошел Петр Афанасьевич, в чесучовом пиджаке и красном галстуке.

Должно быть, там наступила неловкость. Постепенно все разошлись. Нет, не все. Лиза услышала голос Владимира Ильича:

— Вы говорите: способ борьбы. Наивно, забавно! Сорвали зло, насладились местью, читателей энциклопедии поставили в тупик — читатель-то подоплеки не знает,— а результаты? Нет, грузчики боролись умнее.

— Вот, вот, вот! Я еще в Казани на пристани заметил, что вы...

— Не все надо замечать и не все, что замечено...

— ...доводить до всеобщего сведения,— подхватил хромой господин.— Итак, наша борьба против эксплуататора не нашла у вас одобрения?

— Какая же это борьба! Литературное озорство. Нельзя не засмеяться. А толку?

— Но порыв, благородная нерасчетливость молодости...

Должно быть, Владимир Ильич не поддержал разговор. Немного спустя господин прохромал мимо окна, неся под мышкой энциклопедию; у него было желтое лицо с острым носом, он горбил спину и казался одиноким и старым.

До ночи Лиза просидела одна у окна каюты, сказавшись больной. На душе было смутно. Неясно и смутно. Стремительно темнело. Со всех сторон надвинулся сум-

рак, глухой чернотой укутался лес, река вздулась, косые волны откатывались из-под колес, пробежал ветер, поднял рябь на реке. Темно-синяя туча, распустив космы седых облаков, быстро ползла навстречу пароходу, затворяя небо; змеистые молнии чертили тучу, урчал и перекатывался из края в край неба гром, нарастая и близясь. Туча пришла, нависла, расширилась, и крупные капли дождя часто запрыгали по воде. Сквозь дымящуюся пелену дождя лесистые кручи камских берегов глядели ненастно и серо.

9

Подплывали к Уфе. Вдоль берега Белой шел из Сибири товарный состав. Обогнал, серое облако дыма еще летело, развеиваясь. Уже показалась пристань, толпа встречающих на пристани, а Уфы не видно. Пристань расположилась под высокой горой, раскиданы сады по горе, цветные крыши глядят из садов — это окраина, а вся Уфа там, за горой, по холмам и увалам, перерезана оврагами, и две реки, Белая и Уфимка, обнимают ее, как в кольцо сплетенные руки.

Капитан в белом кителе, прямя спину и выкатывая могучую грудь, отдает команду на мостике. Пароходик пыхтит, плюхает вода под колесами. Пароходик старается показать себя перед Уфой молодцом.

— Прямо держи! — командует капитан.— Готовь носовую.

Лиза, притихшая, стоит у борта возле Петра Афанасьевича. Пароход подплывает к Уфе, приходит конец Лизиной воле. А была ли воля?

Она взяла под руку Петра Афанасьевича. Во всем свете один Петр Афанасьевич проявляет о Лизе заботу. Он один у нее. Добрый Петр Афанасьевич. Впереди красивая богатая жизнь. Чего ей еще? Чего ей страшиться?

Она поискала глазами Ульяновых. Все трое тоже стояли у борта. Так Лизе и не пришлось познакомиться с ними, только случайно узнала фамилию да кланялась, когда приходилось столкнуться на палубе. Кажется, они избегали знакомства. Из самолюбия Лиза старалась скрыть это от Петра Афанасьевича, но была задета и бросила свои наблюдения. Только сейчас краешком глаза смотрела. Они тоже неспокойны, приближаясь к Уфе.

Особенно Владимир Ильич. Лиза видела, он бледнее и молчаливей обычного, ожидание чувствовалось в его позе и взгляде. Капитан отдавал последнюю команду. Забурлило, забилось под колесом. Заскрипел борт парохода. Полетела чалка на пристань. Причаливаем.

Лиза заметила: Владимир Ильич преобразился, стал будто моложе и легче, весь подался вперед, и тогда Лиза увидела на пристани молодую женщину. Невысокую, тонкую, в белой кофточке, простенькую и удивительную. Удивительно было выражение лица. Выражение не таящейся, открытой, огромной любви. Она была гладко причесана, под маленькой шляпкой коса, уложенная венцом на затылке, тяжелила ей голову. Она прижимала руки к груди и смотрела на Владимира Ильича не отрываясь, пристально, строго, серьезно. «Какая она! Какая? Не знаю. Она удивительная».

Когда спустили сходни, женщина в белой кофточке среди первых взбежала на палубу, раскрасневшаяся и оживленная.

— Марья Александровна, здравствуйте! — Она целовала и обнимала ее.— Здравствуй, Анюта, загорела-то как, всю речным ветром обдуло. А не изменилась ничуть, все такая же молодая.

— Надя, Надя! — восклицала Анна Ильинична.— Сколько не виделись, три года не виделись, дай на тебя поглядеть, милая, здравствуй, что же ты с Володей-то не здороваешься... где ты, Володя?

— Володя,— сказала та, которую Анна Ильинична называла Надей.

Он ее обнял.

— А вон нас встречают,— громко, на весь пароход, сказал Петр Афанасьевич,— вон, видите, Елизавета Юрьевна, глядите, встречают! — И замахал шляпой, крича: — Кондратий Прокофьевич, папаша крестный, Кондратий Прокофьевич! Ну, Лизавета Юрьевна, красавица Лизанька моя,— сжимая ей локоть, шепотом, щекоча ухо усами,— королевна недоступная...

Четырехместный лакированный экипаж, запряженный парой вороных сытых коней, был подан за ними; кучер сидел на козлах в красной рубахе и плисовых штанах, наряженный, будто на представленье в театре, а Лизу Кондратий Прокофьевич, крепкий старик лет шестидесяти, с квадратной бородой и желтыми ястребины-

ми глазами, усадил возле себя на заднем сиденье, подсунув под спину подушку.

— Знакомы будем... крестница, богом данная. С личика ничего, подходяще.

Оглядел с головы до ног, расправил на две стороны бороду и снисходительно:

— Щуплая больно. Мода, что ли, такая?

Петр Афанасьевич, немного сконфуженный его грубой прямотой, начал было о чем-то деловом, но старик оборвал:

— Помолчи. Про дела будем, пообедавши, дома. Дело не волк, в лес не убежит. Выискал себе игрушечку, а? Мы, бывало, брали в жены чтоб поздоровше, барствовать-то не с чего было, ни с чего начинали. А то еще лучше, чтоб в кубышке у невесты для первого оборота маленько велось. Не до игрушечек было, как в кармане ветер свистел.

— Течение жизни, прогресс,— заметил Петр Афанасьевич.

— Это, что ли, прогресс-то? — Старик ткнул пальцем на его фиолетовый галстук.

— Приходится, дело требует,— вежливо возразил Петр Афанасьевич, с тайным смешком поглядывая на его долгополый старомодный сюртук.

— Тянись, поспевай,— ухмыльнулся старик. И Лизе: — Ты, кралечка, не робей; привезли тебя в дом, на всю Уфу почитаемый, выдадим замуж честь по чести, прогремим со свадьбой на всю губернию — знай наших,— ежели уж крестничек по сиротству своему поклонился, чтоб посаженым родителем быть. В обиду своих не дадим, мы за своих горой, наш род на том держится... Эй, Гаврила, покажи удаль!

Гаврила на козлах гикнул, шевельнул вожжами, зазвенели о булыжник подковы, кони понесли экипаж и скоро подомчали к длинному, с множеством окон, изукрашенному слишком уж даже узорной и богатой резьбой деревянному дому. Распахнулась дверь на парадном крыльце, и, входя в сени, Лиза услышала быстрый топот, восклицания, смешки, ахи и увидела мелькающие за дверьми и над перилами лица.

— Не робей, кралечка,— сказал Кондратий Прокофьевич,— бабьё от любопытства с ума посходило.— Захлопал в ладоши: — Бабье, эй, обед подавай!

Сразу с парохода их повели обедать в парадную столовую, с геранями, штофными занавесками, горкой, уставленной хрусталем и фарфором, и богато накрытым столом. От кушаний рябило в глазах. Заливные осетры и поросята, икра, грибы, маринады, кулебяки, расстегаи.

— Кушай, крестничек,— угощала хозяйка с тройным подбородком и пуговичным носиком, в шумящем платье, в браслетах и кольцах.— А вас уж не знаю, как называть.

— Лиза.

— Что же вы так невестой с женихом на пароходе и ехали, рядышком, что ли?

Тоже большая и толстая, с пуговичным, как у мамаши, носиком, с веснушками на белой коже, тоже в браслетах и кольцах, дочь, поднеся ко рту кружевной платок, давилась смехом.

— Рядышком ли, нет ли, дело не ваше, цыц! — оборвал Кондратий Прокофьевич.

— Больно уж против обычаю. Чтобы жених-то с невестой да до свадьбы...— не унималась хозяйка.

— Коммерция подвернулась, в Звенижском Затоне механические мастерские проездом посмотреть интерес был, ну и решил, поплывем пароходом,— объяснил Петр Афанасьевич.— Пароходишко-то нашей компании, поглядеть надо было...

— Да ты не объясняй, все грехи свадьбой прикроешь, запрут языки-то, примолкнут,— успокоил Кондратий Прокофьевич.

Лиза сидела ни жива ни мертва. Где она? Что с ней? Сколько часов они просидят за столом? Кухарка все вносит новые блюда. Хозяйка потчует, Петр Афанасьевич ест, пьет, все едят. У Кондратия Прокофьевича жирные губы, крошки в бороде.

— Кушайте. Или не по вкусу кушанья наши? — сказала хозяйка и поджала губы.

— Злятся,— усмехнулся Кондратий Прокофьевич.— А на что? На то злятся,— обратился он к Лизе,— своя невеста без места — зависть и точит, как ржа железо... Александра, не плачь, набегут на приданое твое женихи.

— Александре нашей года не вышли, не перестарок, плакать-то... От нее не уйдет — чай, не нищая, кого пожелает, того и выберем,— с достоинством возразила хозяйка и поджала губы.

— Про то и речь, что налетят на приданое. Красоты бог не дал, а миллион-то на что? Кому что.

«Господи! — взмолилась Лиза в душе.— Когда это кончится? Эта казнь, унижение! Зачем я здесь? А он почему молчит? Почему он за меня не заступится?»

Петр Афанасьевич ел, пил, со вкусом вытирая после рюмки салфеткой усы, за Лизу не заступался, но все пробовал перевести разговор на другое, вставляя вопросы про Уфу, торговлю, каких-то давних знакомых, какой-то уфимский завод, владельцем которого он, Петр Афанасьевич, был. Лиза просидела обед, не подняв глаз, едва притронувшись к пище.

— Тихую игрушечку выбрал,— с засалившимся взглядом, пьянея, сказал Кондратий Прокофьевич.

— Не простая игрушечка — потомственного дворянского звания.

— Нашими капиталами и княжна не побрезгует, а?

После обеда Александра проводила Лизу в отведенную для нее комнату в два окна на улицу, с полосатыми половиками, пышной кроватью и зеркальным шкафом.

— Давай помогу наряды развесить,— вызвалась Александра.— И все? — увидев пять Лизиных платьев.— Все и наряды?.. Вот так наряды — смех. А приданое где?

— Приданое...— Лиза запнулась, ища выход, ненавидя эту толстую, с пуговичным носиком.— Приданое в Нижнем. Ведь мы в Нижний после свадьбы вернемся.

— А-а,— поверила Александра.— А подвенечное?

— Подвенечное...

Господи боже мой! У нее нет подвенечного. В чем она будет венчаться? Петр Афанасьевич сказал — не надо ни о чем беспокоиться, и Татьяна Карловна сказала: «Петр Афанасьевич все берет на себя. Доверься. Он старше. Он...» О! Как трудно, как трудно жить! Где Петр Афанасьевич? Почему он бросил меня с этой толстой и злой? Зачем он привез меня сюда, в эту противную Уфу? Ах, скорее бы свадьба!

— Подвенечное после пришлют,— через силу промолвила Лиза.

— Как ты его приворожила-то? — продолжала любопытствовать Александра.— Околдовала ты его, богача да красавца, чай, за ним со всего Нижнего невесты го-

нялись! А как вы на пароходе-то ехали, как чужие или как, а?

— Пока мы невенчанные, он даже Лизой меня не смеет называть,— вскинув голову, ответила Лиза.

Но мужество изменило ей, лицо удлинилось, рот жалко сложился, сейчас польются слезы.

— Александра! — позвал голос матери.

Александра ушла. К счастью, ушла. А Лиза опустилась на пышную постель с пуховой периной и горой подушек. Сплела пальцы. «Не буду плакать. Ни за что. Слышите, вы, ни за что! Завидуйте мне. Я красивая. Скоро буду богатой. У меня все будет, что захочу. Завидуйте мне. Завидуйте мне!»

Она прикусила губу, чтобы не заплакать. Перед глазами встала молодая женщина в белой кофточке, как ее увидала на пристани, когда подплывал пароход. Лизе врезалось в память выражение лица ее, удивительное выражение не таящейся огромной любви.

10

Марии Александровне не понравилась Уфа, душная и пыльная, несмотря на сады, с душными и пыльными, немощеными улицами. Не понравилась квартира Крупских — крошечные комнатки в мезонине; из столовой и спальни (если можно назвать столовой и спальней тесные клетушки, разделенные аркой) вид на крышу, пышущую жаром и разогретой краской. Лестница такая узкая, что приведись чуть потолще человеку подниматься, застрянет на второй же ступеньке — ни взад, ни вперед. А крутизна! Марию Александровну утомляла эта крутая, извилистая, узкая лестница — годики-то немолодые все же. На пароходе отдохнула, а здесь, хотя с такой заботой и лаской встречена Надей и Елизаветой Васильевной, както не могла и не могла приспособиться. И уголка своего нет в этих комнатушках-коробочках, а она привыкла, чтобы был свой уголок; быстро устала в чужом месте и на второй день начала собираться домой. Задача у Марии Александровны была: добиться для сына перед отъездом за границу свидания с женой. Власти не давали Владимиру Ильичу разрешения на поездку в Уфу. Мария Александровна ездила в Петербург выхлопаты-

вать сыну и себе разрешение. Себе — потому что Владимира Ильича одного в Уфу не пускали.

— Спасибо, Мария Александровна,— сказала Надя.

Другая свекровь, может, осталась бы недовольна, что мало выражено благодарности. «Спасибо». И все. «Спасибо» — а чего стоило Марии Александровне добиться, сколько выдержки и такта в разговорах с чиновниками! Но Мария Александровна понимала свою стеснительную невестку, боящуюся пуще всего громких слов. Не вышло у них откровенного, по душам разговора. Ждали встречи, мечтали! Надежда Константиновна после напишет Маняше: «Когда я получила письмо от Володи, что вместе с ним приедут Мария Александровна и Анюта, я очень обрадовалась и все думала, как поговорю с Анютой и о том и о другом. Хотелось поговорить о многом. Но когда они приехали, я чего-то совсем растерялась и растеряла все мысли».

Мария Александровна видела, понимала, что растерялась, растеряла все мысли милая их Надя. Слишком, может, скромная, если можно скромной быть слишком.

— Идите, иди, Надя, показывай Владимиру Ильичу Уфу,— гнала Елизавета Васильевна, догадываясь, как надо дочери побыть с Владимиром Ильичем вдвоем, как мало им времени, с каждым днем меньше.— Идите, идите — Она легонько подталкивала Владимира Ильича к двери.

Анна Ильинична тоже ушла. Сказала, что хочет одна посмотреть город.

— Поброжу пешком по Уфе. Новый город только пешком и узнаешь, и в одиночку надо, чтобы, не отвлекаясь, глядеть.

Две матери остались одни. Елизавета Васильевна взяла было папиросы, но отложила, неуверенная, как посмотрит Мария Александровна на ее курение, хорошо ли. «Не буду, пожалуй». Они знали друг друга, но редко, едва ли не впервые оставались вдвоем. Елизавета Васильевна позвала гостью вниз, посидеть в саду возле их диковинной березы; растет в два ствола, как две сестрицы-близняшки, почти от самого корня пускают ветви, да такие раскидистые, всегда с какой-то стороны прохладная тень от их двуствольной березы, солнце не пробьется сквозь густую листву.

— Посидим, отдохнем.

Мария Александровна поблагодарила, но отказалась. Узкая в три колена из двадцати пяти ступенек лестница была ей трудна.

— Тогда дома посидим,— охотно согласилась Елизавета Васильевна.

«Она живая и умная,— подумала Мария Александровна.— Недаром Володя к ней привязался».

И еще подумала: «Она заменяет Володе меня. И, должно быть, всегда так и будет. Другая мать рядом с ним будет — она».

Эта мысль только теперь так ощутимо и материально явилась ей и почему-то поразила. «В Шушенском жили вместе. И за границу она поедет за ними. И будет там их оберегать и жалеть».

Ей хотелось сказать Елизавете Васильевне что-то приятное и значительное, и она сказала, как довольна Володиной женитьбой, как «все мы ценим Надю и любим».

Елизавета Васильевна от удовольствия засмеялась и не сдержалась — закурила все-таки.

— Свекровина одна похвала ста похвалам равна.

— Ах, да какая же я свекровь,— никакая!

— А я не теща тогда,— заявила Елизавета Васильевна.—Мы нашим детям друзья, вот кто мы.

— Вы правы, вот это вы правы. Вот это самое точное вы нашли определение. Спасибо, что вы чувствуете так же, как я...

Владимир Ильич и Надежда Константиновна, оба ходоки, шагали так скоро, словно взялись за полдня исходить всю Уфу. Когда Анна Ильинична заявила, что намерена в одиночку узнавать новый город, Надежда Константиновна промолчала. Она до такой степени не умела фальшивить, что не могла хоть немного солгать даже из любезности: «Анюта, зачем тебе одной идти знакомиться с городом, идем вместе».

Нет, не сказала. А если бы сказала, как удивилась бы Анна Ильинична!

С того первого мига, когда на палубе причаливающего к пристани парохода среди других пассажиров Надежда Константиновна увидела дорогое лицо, чувство острого счастья охватило ее. И не покидало. Она слы-

шала, что говорят вокруг. Говорила сама. Хлопотала, хозяйничала. Радовалась Анюте и Марии Александровне. А в душе повторялось и пело одно: «Володя, Володя, Володя».

Они ушли вдвоем из дому, почти убежали, пока не явились Цюрупа, Крохмаль, Свидерский. Непременно придут! Владимиру Ильичу до крайности нужно встретиться с ними и, как в Нижнем, Риге, Пскове, других городах, повести необходимейший разговор об «Искре» и партии, но сейчас, взявшись за руки, беспечные и свободные, они быстро шагали вдвоем центральной улицей города, застроенной купеческими особняками. Свернули где-то влево, в кривой переулок, тенистый от садов, душистый от липового цвета. Снова шли прямо, снова свернули. Вон впереди завиднелась мечеть с высокой крышей, изящно и тонко рисуясь на синем занавесе неба.

— Здесь живет Чачина,— сказала Надежда Константиновна, поравнявшись с домом на перекрестке, в виду мечети.

Чачину Владимир Ильич знал с петербургских времен. Простенькая, неуклончивая, хорошая марксистка, хороший товарищ.

— Да, да, она! У нее гости, сестра с мужем Пискуновым из Нижнего.

— И Пискунова знаю, если это тот, похожий на Чехова, только без пенсне. Если тот, так я его знаю. В Нижнем, когда из Шушенского ехали, встретились.

— Он, именно он, Володя; знаешь, куда я тебя веду? На Случевскую гору. Красивейшее место в Уфе. Необыкновенное место! Володя...

Голос у нее оборвался. Она не умела, совсем не умела говорить большие слова, она их боялась. Владимир Ильич понял, взял ее руку, крепко прижал к щеке.

— Спасибо маме, не видать бы мне без мамы Уфы.

— Милая Мария Александровна! — откликнулась Надя.

Немного они постояли и пошли дальше, на Случевскую гору.

Случевская гора — окраина Уфы, противоположная вокзалу и пристани, тоже над Белой, широким полукольцом обнимающей город. Здесь Белая резко вильнула от города в сторону. Случевская гора падает отвесно, с вы-

соты ее видны извилины убегающей Белой, пестрые, желтые, голубые, цветные луга, островки липовых рощ на низком луговом берегу, соломенные кровли слобод, неуклюжий, еле ползущий паром и дорога на Оренбург под шатрами столетних вязов екатерининского времени.

Пузатый пароходик с зелеными боками и черной дымной трубой тянул связанный из сосновых стволов плот длиной в полверсты. На плоту построен домик, сушится на веревке белье, женщина варит в котелке обед, подкидывая чурки в костерик, разложенный на каменьях. Простая, вечная жизнь проплывала внизу под горой. Рыбачьи лодки точечками усеяли реку. Навалом лежали у лесных пристаней на той стороне темные от воды бревна. А там, за пристанями, слободками, цветными лугами и липовыми рощами раскинулись синеющие, затуманенные на горизонте дали.

Отчего дали манят? Отчего тревожат, волнуют, и покоят, и что-то торжественное и величавое будят и поднимают в душе?

Надежда Константиновна молчала.

Тишина, свет глаз, звук голоса, каждое движение ее говорили Владимиру Ильичу о том, чего почти она не сказала словами.

— Ты рассказывай, ты, ну, Володя, пожалуйста!

В письмах, даже шифрованных, он не мог рассказать ей обо всем, что произошло за четыре с половиной месяца разлуки. Она хотела знать все. Самым подробнейшим образом. «Как ты жил, я хочу знать, где отдыхал, с кем был? Но прежде, конечно, о деле...»

— Нет, сначала скажи, как ты жил. Ну, какая комната была? Куда выходило окно? Вот ты просыпаешься...

— Просыпаюсь и первым долгом: Надя! Каково тебе там в Уфе, на углу Тюремной и Жандармской!

Они смеялись. Все было весело, всякий пустяк смешил. Владимир Ильич заразительно хохотал, и она смеялась в ответ. Владимир Ильич снял пиджак, постелил на земле, она села на пиджак, он рядом, в траве, и они вдруг затихли после шуток и смеха, и хорошо было тихо молчать и глядеть на эти цветные роскошные дали за Белой.

Но было не только счастье. Было беспокойство.

— Надюша, а то?.. Что говорит доктор? Как идет леченье?

Она была нездорова. Приехав из Шушенского, лечилась, леченье было затяжное и нудное, ей не хотелось говорить о таких скучных материях. Но он настойчиво спрашивал с ласковой бережностью.

— Ничего, Володя, все идет своим чередом, немного подлечиваюсь, все нормально идет. Ну, честное слово. Давай же, Володя, о Пскове.

И то, что Владимир Ильич в первый же день рассказывал ей о Пскове и своей работе там, именно ей, как никому, рассказывал с охотой, волнением, боясь упустить всякую мелочь, это и значило, как велика была их близость и связь.

...Псков — Плескова по-древнему — на мысу, образованном реками Великой и Псковой, когда-то воинственный, теперь провинциальный городок, хотя и губернский. Церквей уйма, а заводов и фабрик, когда приехал Владимир Ильич, раз-два — и обчелся. Оттого что рабочего класса в Пскове немного, власти не опасались высылать сюда неблагонадежных лиц после тюремного срока. Высылались за противоправительственную деятельность под особый негласный и гласный полицейский надзор. На год, на два или на несколько месяцев.

Много неблагонадежных лиц служило статистиками в губернской земской управе. Владимира Ильича знали, читали написанную в Шушенском книгу «Развитие капитализма в России». Она стала марксистским учебником для социал-демократов, эта книга. Автора книги встретили хорошо, с интересом. Об этом Владимир Ильич рассказывал скупо.

Сразу в Пскове отыскались товарищи. Старый товарищ по петербургскому «Союзу борьбы» Любовь Николаевна Радченко с двумя малолетними дочками жила высланной в Пскове. Приехали товарищи по сибирской ссылке — муж и жена Лепешинские. Приехали специально встретиться и поговорить о деле старые друзья по «Союзу борьбы», отбывавшие ссылку в разных местах,— Юлий Мартов, Александр Потресов, Исаак Лалаянц. Новые друзья появились. И, наконец, на квартире Любови Николаевны Радченко, в низеньком кирпичном домике,— совещание. Реальная, практическая подготовка «Искры». В полном смысле практическая. Созданы искровские группы. И даже деньги на первое время на создание «Искры» добыты.

— В один прекрасный, как говорится в беллетристике, день...— весело говорил Владимир Ильич.— В одно воскресное утро...

Интересная личность Александра Михайловна Калмыкова! Вдова сенатора, учительница, владелица книжного склада в Петербурге на Литейном проспекте, издательница марксистской литературы. Годы не трогают ее. Разве прибавились морщинки у глаз да седые нити на висках чуть побелили темные волосы. А улыбка все та же, молодая и умная, тот же проницательный взор, та же легкая поступь, и душа отзывчива на все новое и смелое.

Вечером в субботу, закрыв книжный склад и отпустив служащих, Александра Михайловна отправляется на еженедельное совещание Вольного экономического общества. Там идет оживленное обсуждение научных проблем, ученые прения. Александра Михайловна выступает, как всегда, деловито. А к концу заседания незаметно исчезнет. Варшавский вокзал. И ночной скорый поезд уносит Калмыкову из столицы.

Важная, в элегантном пальто, в шляпе с вуалеткой появляется она в Пскове. Станционный жандарм вытягивается перед важною дамой, прибывшей в купе первого класса скорого поезда.

Поманив пальцем извозчика, куда-то едет с вокзала.

— Узнаю Александру Михайловну! — тихонько воскликнула Надежда Константиновна.— Характер крупный, сложный, своеобычный.

...Один раз, другой, третий приезжала Калмыкова в Псков. Все с ночным поездом, по субботам, прямо с заседания Вольного экономического общества. Прямо к Владимиру Ильичу. Обсуждают издание «Искры». Калмыкова соглашается субсидировать «Искру».

«Искра» будет. Все ближе. Все вероятнее.

Владимир Ильич замолчал. Сощурившись, глядел в бесконечные дали за Белой, цветные и солнечные.

Надежда Константиновна любила это душевное его состояние, когда он удовлетворен и доволен сделанным, тем, что достигнуто. И уже видит дальше.

Не умеет останавливаться. Не умеет. Не может. Видит дальше и дальше. Идет дальше и дальше.

11

Лиза не знала, кто и когда распорядился,— впрочем, зачем хитрить, кто мог распорядиться, как не Петр Афанасьевич? Но через день в доме появилась портниха с помощницами. Посыльные из магазинов принесли куски материй: шелка, поплина, кружев, прошивок, и зала, скучно и холодно обставленная комната, с пальмами в кадках по углам и обитой синим бархатом мебелью, превратилась в портняжную мастерскую. Застучали швейные машины, обрезки материй усыпали пол. Лизе шили подвенечное платье и полдюжины послесвадебных, визитных и для приема гостей. Назначили свадьбу. Петр Афанасьевич пожелал, чтобы все было богато, достойно красоты невесты и миллионного состояния жениха. Жениха своего Лиза теперь почти не видала. Он поселился в меблированных нумерах, найдя такое устройство приличным и удобным. Здесь, в Уфе, у него были важные коммерческие дела — продавал Кондратию Прокофьевичу оставленный отцом в наследство уфимский лесопильный завод, небольшой, но прибыточный, о котором Петр Афанасьевич говорил: «Мал золотник, да дорог»,— на что папаша крестный, поглаживая бороду, отвечал: «Не дороже, чай, денег». Торговля шла туго.

Петр Афанасьевич, из занятости редко с Лизой встречаясь, сделал ей строгое предупреждение: лишнего родне не говорить, о тех двух обстоятельствах помолчать.

— Да не краснейте, чего там краснеть, муж и жена — одна сатана, никаких промежду нами не может быть тайн, когда через две недели законной супругой вас назову. А с чужими и даже родней о том — тсс, молчок. Да не краснейте, я ведь вас не корю.

Он не корил, но она стыдилась. Горьким и стыдным в Лизином прошлом было то, что ее отец, потомственный дворянин, был непробудным пьяницей, пропил и спустил все имение, остался без крыши, в полном смысле слова просил подаяние и, когда удавалось что-то выклянчить у бывших знакомых или вовсе незнакомых людей, пропивал до гроша, в пьяном виде бесчинствовал и умер в белой горячке, проклятый за нищету и позор и ненавидимый Лизиной матерью. Несчастная Лизина мать ненадолго пережила мужа. Рыдая, целовала перед смертью Татьяне Карловне руки: «Не киньте сиротку.

Проклятый, за гробовой доской не прощу, как ты нас погубил!»

При воспоминании о скверном и темном своем детстве становилось трудно дышать, никому не рассказывала бы Лиза — Татьяна Карловна выдала. Хитрый Петр Афанасьевич сумел выудить — выдала.

А второе... Что в том, что ей приходилось самой зарабатывать себе на хлеб? Она не понимала. Нет, понимала, отчего и это Петр Афанасьевич желает скрывать. Самолюбие страдало в ней, она притворялась:

— Не понимаю. Зачем? Что тут стыдного? У вас странные взгляды.

Он взял ее руку и, хозяйски поглаживая:

— А вы, душенька моя, Елизавета Юрьевна, привыкайте: взглядов моих всенепременно и обязательно надо вам слушаться.

— Вечно слушаться! Вечно только слушаться, слушаться!

Ее детскость трогала Петра Афанасьевича. Ее сердитая стыдливость и детскость умиляли его.

— Да-к ведь слушаться-то легче, прынцессочка, нежели обо всем своими мозгами ворочать.

И, чмокнув ее в щечку, уколов бородой, он уходил заниматься коммерческими операциями с крестным папашей, ворочать мозгами. Лиза смотрела в окно, как он идет по двору, богатырского сложения, розовый, полнолицый, в зеленом с дымчатыми полосками галстуке. Садится в экипаж на высоких рессорах с лакированными крыльями. Прислонившись лбом к стеклу, Лиза смотрела, пока коляска не скроется.

— Невеста! Где ты, невеста? Примеривать кличут, невеста,— звала Александра.

— Не смей меня так называть! — топнула Лиза.

— А что, не правда, хи-хи? Как он тебе предложенье-то делал, с поцелуями или как? А? А? Расскажи.

Предстоящая свадьба, портнихи, разговоры и толки на Лизин счет, приготовления к празднованьям — все это вносило захватывающее содержание в пустые дни Александры. Капот даже сбросила, с утра затягивалась, шумно в корсете дышала, неотступно следила за Лизой, а сама втайне все чего-то ждала для себя, каких-то изменений судьбы. Конечно, примерки Лизиного подвенечного платья без Александры не обходились.

— Тощая какая, кости одни, за что он тебя полюбил!

— Любовь, она привередница,— возражала старшая портниха, с булавками во рту ползая по полу, ровняя Лизе подол.— Прямей стойте, барышня, будто один бочек повыше у вас... И ваш черед настанет, Александра Кондратьевна, тогда уж царскую свадьбу сыграют папаша.

— Вовсе тела нету,— искренне дивилась Александра, оглядывая Лизу.

От ее выпытывающих жадных оглядываний Лизе становилось неловко и совестно. Хотелось спрятаться. От бесстыдных Александриных расспросов, хмурости хозяйки, огромной, толстой, с пуговичным носиком, всегда немилостивой к Лизе Агафьи Петровны, фальшивых улыбок портних и двусмысленной, какой-то подмигивающей доброты Кондратия Прокофьевича. Спрятаться, убежать! Жених, Петр Афанасьевич, не замечал ничего. Не желал замечать.

— С людьми надо ладить, особливо ежели полезные люди. Вы им улыбнитесь, сердитенькая, они и подобреют.

— Он милушку-то свою начисто бросил? Справки навела? — допытывалась Александра.

— Какую милушку?

— Хи! Совсем, что ли, дурочка? Монахом жених сорок лет ее дожидался, хи-хи!

Тошно Лизе. Трудно, страшно. Написать Татьяне Карловне? Что написать? Она, Татьяна Карловна, и подтолкнула, она благословила Лизу.

«Надеяться не на что. Моего жребия хочешь?»

Жребий Татьяны Карловны — классная дама института благородных девиц, длинная, плоская старая дева с мученическим лицом. Синее платье, жиденький пучок на затылке, лорнет в морщинистой руке.

«Мадемуазель, становитесь в пары. Мадемуазель, на занятия».

«Мадемуазель, неприлично оглядываться».

«Нет, нет, нет. Не хочу»,— пугливо думала Лиза.

«Будешь дамой, богатой, нарядной дамой,— рисовала Татьяна Карловна.— Особняк, выезды, дача в Ялте, на море. Море увидишь. Узнаешь свободу. Где деньги, там и свобода».

«А он?»

«Что он? Влюбился в тебя. Глупенькая, держи его, обеими руками ухватись и держи. Красивых много. Тебе билет в лотерее достался. Послал бог счастье за материнские слезы. Вместо матери благословляю тебя. Держи свое счастье, не упускай».

Лиза шла из комнаты в комнату. Отворит дверь — пусто. Крашеные полы, пальмы в кадках, бархатные гардины, шкафчики с позолоченными инкрустациями, нитяная скатерть на комоде, семейные фотографии на стенках — смесь богатства и мещанства. Книг нет. Ни книжки во всем доме. Комнаты, комнаты. Чужой скучный дом. Пусто. Вдруг... Еще в одну комнату отворила Лиза дверь и... Та молоденькая женщина с удивительным лицом, удивительным выражением счастья и света, которую она увидала на пристани, была здесь, в комнате. Купеческий сын Игнатка, сидя против нее за столом, что-то писал.

«Учительница. Учит Игнатку,— не сразу сообразила Лиза.— Как странно, ведь к ней приехал муж, отчего же она ходит на уроки? У нас в Мариинском институте не было замужних учительниц. Учительницы не бывают замужние. Я ее нашла. Она здесь. Жена Владимира Ильича. Я нашла ее».

Сейчас Лизе казалось — все время она только и думала о жене Владимира Ильича, в белой кофточке, с тяжелой косой, все время искала ее.

— Вам что-нибудь нужно? — услышала Лиза.

— Можно, я здесь побуду? — несмело спросила она.

Жена Владимира Ильича удивилась, вопросительно подняла брови.

— Это наша невеста. Из Нижнего. Жениться с папашиным крестником будут,— объяснил Игнатка.

— Можно, я здесь побуду?

Игнаткина учительница, все еще удивляясь, ответила:

— Как вам угодно. Пожалуйста.

— Ее Лизой зовут,— продолжал объяснять Игнатка.

— Садитесь, Лиза, но вам скучно покажется. У нас обыкновенный диктант,— сказала учительница и продолжала диктовать:—«Перед лицами высшими Хвалынский большей частью безмолвствует, а к лицам низшим, которых, по-видимому, презирает, но с которыми только и знается, держит речи отрывистые и резкие...»

«Какие странные она диктует слова,— думала Лиза — У нас не было таких диктантов».

Что-то, должно быть, уловив в ее лице, учительница сказала:

— Тургенев. «Записки охотника». Знаете?

— Немного,— ответила Лиза.

— Почему немного? Где вы учились?

— В Мариинском институте, в Нижнем.

«Сказать ей, что я знаю Софью Невзорову? — подумала Лиза.— Почему не сказать? Что я все чего-то боюсь, опасаюсь чего-то?»

— Надежда Константиновна, в слове «речи» ять пишется? — спросил Игнатка.

«Вот как ее имя: Надежда Константиновна. Вот и узнала: Надежда Константиновна Ульянова».

— Надежда Константиновна, вы слышали про Софью Невзорову?

Надежда Константиновна в изумлении положила книжку на стол, опустила руки на книжку. «Эта барышня, купеческая невеста, знает Софью Невзорову? Впрочем, чему удивляться? Ведь она окончила Мариинский, что и сестры Невзоровы. Но почему она их связала со мной?»

— Знаю Софью Невзорову,— сдержанно ответила Надежда Константиновна и продолжала диктант из «Записок охотника».

Лиза поняла: она не стремится завязать с ней знакомство. Отчего все Ульяновы сторонятся Лизы, вежливо избегают ее? Ей стало жалко себя. Она сидела, опустив голову, покорно, безмолвно.

«Странная купеческая невеста»,— подумала Надежда Константиновна.

— Ну, дай-ка взгляну. Ошибка. Еще ошибка. Игнатка, пора бы уж тебе пограмотней стать. А теперь слушай.

Она вслух дочитала тургеневский рассказ «Два помещика».

«Чюки-чюки-чюк! Чюки-чюк! Чюки-чюк!

— Это что такое! — спросил я с изумлением.

— А там по моему приказу шалунишку наказывают... Васю-буфетчика изволите знать?»

Надежда Константиновна дочитала, любопытствуя, глядела на Лизу. Лиза вспыхнула, догадавшись: «Она для меня прочитала». И нахмурилась:

— Гадость.

— Что — гадость?

— Взрослого человека порют. При крепостном праве было. Теперь нет. Теперь нельзя издеваться.

— Вы думаете? — усмехнулась Надежда Константиновна.— Игнатка, задаю тебе на завтрашний день...

«Задаст и уйдет»,— поняла Лиза.

— Я из Нижнего на пароходе приехала, на том, что и Владимир Ильич. Я и сестру его узнала, и мать...

И, торопясь, Лиза стала говорить, как в Казани Владимир Ильич сочувствовал забастовщикам-грузчикам, да, да, она видела! Как он любит мать, какой благородный, должно быть, человек!

— Он насовсем к вам приехал? Вы теперь, наверное, не станете уроки Игнатке давать? Вам полегче станет? Он сам, должно быть, учитель? Или чиновник? Где он будеть служить?

Она сыпала вопросы, в душе прося: «Не уходите, не оставляйте меня». Надежда Константиновна молча слушала ее вопросы, не отвечая. Нетронутое что-то показалось ей в этой Лизе, хотя она и барышня, и невеста купца-миллионщика. Но Надежда Константиновна спешила домой. Владимир Ильич ждет. Ни часа, ни полчаса, ни минуты не хотела, не могла она урывать от скупого и малого срока, какой они дали себе перед долгой разлукой. Опасной разлукой.

Надежда Константиновна поднялась.

— К сожалению, я тороплюсь.

«Ты видишь, тебя избегают, Лиза. Ты далека этим людям. Ты не нужна им. Они другие. У них все другое. Им тебя не понять. Тебе их не понять».

Рассудок внушал ей: надо проститься. Уйти, забыть.

— Можно, я вас провожу?

Может быть, Надежда Константиновна отказалась бы, но не успела. Лиза стремглав выбежала из комнаты. Только не встретить бы Александру, спаси бог, не встретить бы! Вбежала к себе. Соломенная шляпка, накидка, ридикюль из белого сафьяна с бисером — подарок Петра Афанасьевича,— и через две ступеньки, рискуя сломать каблуки,— во двор, за ворота. Надежда Константиновна не ожидала Лизу,— уже за воротами, уже вдалеке по улице видна ее гибкая фигура в черной юбке и беленькой кофточке. Учительница. «Милая учительница, не убегай от меня. Научи меня, учительница».

— Надежда Константиновна, еще я хочу вас спросить,— догнав ее, говорила Лиза, лишь бы говорить, не молчать, идти с ней,— когда я была в институте, Татьяна Карловна, наша классная дама, а мне ближе, чем классная дама... сказала, что Софью Невзорову, сестер Невзоровых посадили в тюрьму...

Надежда Константиновна резко остановилась. Оглянулась. Вокруг не видно людей.

— Об этом не говорят на улице,— сказала Надежда Константиновна строго.

Лиза послушно:

— Не буду. Если бы кто-нибудь мне объяснил, я поняла бы,— сказала Лиза.

Ни на час, ни на полчаса, ни на минуту не могла Надежда Константиновна опоздать домой. Ни минуты не могла, не хотела отнимать у отпущенного ее счастью короткого срока! Кто эта хорошенькая девочка? Купеческая невеста?

— Кто ваш жених? — спросила Надежда Константиновна.

— У него завод и еще что-то... дела.

— А вы?

— Что — я?

— Чем вы занимались? Занимались вы чем-нибудь?

Лиза отвела лицо. Что сказать? Слишком памятен и нешуточен был запрет Петра Афанасьевича.

— Ничем,— ответила Лиза.

— Вот мы пришли,— сказала Надежда Константиновна, берясь за ручку калитки.— Прощайте, я пришла.

Она кивнула. Они остановились у невысокой загородки, за которой виднелся деревянный дом с мезонином, росли вдоль дорожки кусты сирени и жимолости и двустволая, пышная, как шатер, поднималась возле дома береза, кидая на землю прохладную тень. От березы, из тени навстречу Надежде Константиновне легкой походкой шел человек. Владимир Ильич! Быстрый, с крупным выпуклым лбом и искрящимся взглядом из-под слегка надломленных бровей. Надежда Константиновна спешила к нему, уже не помня о Лизе, отстранив ее от себя. Обернулась и еще раз коротко:

— Прощайте, Лиза.

12

— Мы переживаем крайне важный момент в истории русского рабочего движения и социал-демократии. Движение широко и глубоко разлилось по всем уголкам России. Кружки рабочих и социал-демократов интеллигентов повсюду. Всюду спрос на социал-демократическую литературу. Правительство чувствует силу движения и преследует нас. Битком набиты тюрьмы, переполнены ссылки. Но ничто не остановит движения. Оно растет, входя все глубже в рабочий класс. Но кустарно, раздробленно. Нужна новая, более высокая форма. Нужна Российская социал-демократическая партия, которая объединила бы нас. Такая партия была, был первый ее съезд весной тысяча восемьсот девяносто восьмого года в Минске. Жандармерия арестовала массу людей. Партии фактически не стало. Мы должны возобновить ее. Создать заново. Как? Что для этого нужно? В первую очередь нужна общая литература партии, чтобы она обсуждала вопросы всего движения в целом, общие нужды, наши взгляды и мнения. Короче говоря, нам нужна наша, социал-демократическая, боевая газета. Мы пытались создать ее еще в Петербурге. Не удалось. Аресты разгромили наш «Союз борьбы», нашу рабочую газету. Мы не можем дальше жить без нее. В нашей газете мы будем писать о нуждах рабочих, политике, о программе и возобновлении партии, целях нашей борьбы.

Владимир Ильич говорил энергично, коротко, ясно, с полной убежденностью и знанием дела. Ни одного пустого слова. Ни одного пышного слова.

Но картина общественной жизни и положение русской социал-демократии рисовались с такою свободой, как будто этот человек не прожил около трех лет в ссылке в Сибири. Он вернулся из дальних мест, зная больше, чем собравшиеся здесь, видя глубже и шире.

Надежда Константиновна в стороне, у окна, почти спрятавшись за кадкой лимонного деревца, выращенного Инной Кадомцевой вопреки всем законам ботаники в резко континентальном уфимском климате, сама незаметная, видела всех, читала на лицах внимание, готовность соглашаться с Владимиром Ильичем, идти с ним. Она знала: всякий раз, слушая Владимира Ильича, люди испытывали душевный подъем.

Она кинула взгляд на Пискунова. За Пискуновым шла слава спорщика. Он был дотошный во всяком вопросе, особенно политическом. В нижегородскую весеннюю встречу Пискунов не соглашался с Владимиром Ильичем, отчаянно спорил. А сейчас? Сидит, положив ногу на ногу, обхватив колено руками, взлохмаченный, с повисшим на лоб чубом,— воплощенное внимание.

Не ему ли говорит Владимир Ильич, что газета «Искра» намерена обсуждать все оттенки наших взглядов и мнений? У Пискунова вопросительно вырвалось:

— Да?

— Да, да и да! Необходима полемика. Необходимо открыто обсуждать все разногласия, нельзя прятать. Если есть несогласия, давайте спорить, убеждать. Но не приказывать. Нельзя приказывать: думай так. Будем учиться убеждать. Наша газета «Искра» намерена это делать.

Пискунов отпустил колено, ухватил пятерней бритый подбородок. «Будем учиться убеждать. Если наша «Искра» намерена это делать...»

Как нелегко, медленно, словно одолевая ухабы и кручи, складываются у некоторых людей убеждения. Как не вдруг образуются взгляды. Зато, может быть, прочно? Может быть, такие, самостоятельные, непоспешные, только после долгих размышлений принимающие позицию люди и есть самые верные?

— Разумеется, наша «Искра» намерена убеждать, разъяснять, агитировать,— быстро говорил Владимир Ильич.— Наша «Искра» намерена вовлекать в борьбу рабочий класс прежде всего! Но не только рабочих. Всех честных борцов против царизма. К какому бы классу ты ни принадлежал, если ты противник царизма, если ненавидишь насилие, эксплуатацию, политический гнет, мы зовем тебя разоблачать гнусный самодержавный политический строй. Наша газета намерена это делать.

— Правильно! — откликнулся кто-то.

«Как хорошо вы слушаете, как отзывчиво, мои дорогие товарищи»,— думала Надежда Константиновна, видя из своего уголка, из-за кадки с лимонным деревцом, и Александра Цюрупу, руководившего вместе с ней кружком в паровозоремонтных мастерских; и Кадомцеву Инну, внешне подтянутую, с душой, кипящей порывами и

мечтами; и студента Свидерского, всегда с томом Маркса, цитатами и необычайно глубокомысленным видом в свои двадцать два года; и мужа и жену Пискуновых; и похожую на текстильщицу, простенькую и твердую, как алмаз, Ольгу Чачину; и хорошо Надежде Константиновне знакомого Ивана Якутова, в круглых очках, рабочего того типа, которых особенно ценил Владимир Ильич, полагая в них решающую силу движения.

Никто из собравшихся на уфимском совещании в июне 1900 года не мог угадать своей грядущей судьбы. Что дано каждому из них совершить? Совершить ли подвиг? Сделать что-то большое и крупное? Или скромно и честно, в отпущенную меру способностей послужить делу рабочего класса? Не знал и Иван Якутов. Знал одно, что навечно связан с социал-демократией. Что идеи и мысли, которые слышит сейчас от Владимира Ильича, будут навечно его путеводной звездой.

Наступит 1905 год. Грянет первая революция в России. В Уфе рабочие поднимут восстание. Во главе вооруженного восстания пойдет молодой, долговязый, в круглых очках, похожий на добрую птицу Иван Якутов. Поведет рабочую гвардию на штурм капитализма, и председателем небывалой в мире Уфимской республики рабочий класс изберет Ивана Якутова.

Революцию сломят. Раскидают, разрушат Уфимскую республику 1905 года, а ее председателя Ивана Якутова приговорят к повешению во дворе обнесенного крепостными стенами тюремного замка, что в конце Тюремной улицы.

Его поведут на казнь, а во всех камерах люди будут стоять и петь революционные грозные песни и клясться: не забудем рабочего-революционера Ивана Якутова, не простим палачам...

Не дрогнув, он умрет на тюремном дворе, свято веря: вслед за 1905 годом придет другой год, победы революции и рабочего класса. Да здравствует жизнь!

Надежда Константиновна ужасно волновалась. Волновалась перед встречей. Поймут ли план и необходимость создания «Искры»? Откликнутся ли? Удастся ли Владимиру Ильичу и здесь, в Уфе, как в других городах, сколотить искровскую группу, без которой невозможно

существование «Искры»? Группу агентов, авторов, распространителей «Искры»?

Волновалась сейчас, когда все собрались, сидят и слушают. Сейчас волнение было приятным. Молодцы уфимцы! Она гордилась уфимцами. Откликнулись. Поняли.

Она знала и привыкла, что Владимир Ильич во все вносит новое, яростно разрушает рутину. Привыкла и не привыкла, всегда удивляясь. И в петербургскую пору создания «Союза борьбы за освобождение рабочего класса», и в Шушенском, когда созвал в селе Ермаковском семнадцать ссыльных социал-демократов, чтобы подписать протест против «Кредо» Кусковой, против оппортунизма, политического мещанства, и сейчас, на встрече с уфимскими социал-демократами, Владимир Ильич был неожидан и нов. Уфимские социал-демократы, все люди честные и порядочные, жили до сих пор монотонно, даже вяло. Кружки (и то немного, совсем немного), книги. А дальше?

Как вольный ветер в застоявшийся воздух, врывался план создания «Искры» в довольно-таки обыденное существование уфимских социал-демократов последнего времени. Большое, практическое, далеко зовущее дело открывалось перед ними! Владимир Ильич уловил отклик товарищей. Обрадовался. Стало легче, проще, ближе сделались ему эти люди.

Он говорил стоя, любил ходить, говоря. Но в тесной комнатке, битком набитой людьми, пространства для ходьбы почти не оставалось. Надежда Константиновна видела, он был возбужден и, как всегда в этом радостном возбуждении, стал еще талантливей, ярче, еще убедительней.

— Мы видим свою цель, которую и будет всячески пропагандировать «Искра», в завоевании рабочим классом политической власти. Наша цель и задача: свержение царского строя, уничтожение капитализма, устройство социалистического общества. «Искра» — первый шаг на этом пути. Путь долгий, нелегкий. Но единственный — вот что глубоко нам надо понять.

Надежда Константиновна взглянула туда, где позади всех, за спиной Ивана Якутова, стесняясь незнакомых людей, сидел Юлдашбай. Трудно жилось Юлдашбаю, работы в Уфе не находилось, изредка разве удавалось по-

таскать грузы на пристани. Жилья не было, жил у Якутова, ночевал, пока лето, в садочке в шалаше. Плохо было ему. Совсем было бы плохо, если бы не Иван Якутов и Надежда Константиновна.

Они с Якутовым позвали Юлдашбая на сегодняшнюю встречу,— это было его вступлением в уфимскую группу...

Владимир Ильич заметил его лицо, характерное башкирское, с обжигающими черными глазами. Даже сидя, стесненный чужою обстановкой, он был стремительно прям, весь напряжен и нацелен. Владимир Ильич заметил его.

— Наша цель — устройство такого общества, в котором все народы будут равны,— наверное, ему, особенно ему, говорил Владимир Ильич.— Каждый самый малый народ будет развиваться свободно. Жить, подчиняясь общим разумным законам. У каждого народа будут своя грамотность, свои книги, свои ученые, свои великие люди...

— Для нас, башкир, нет школ,— хмуря брови, перебил Юлдашбай.

— Будут. Когда мы победим и устроим социалистическое общество, обязательно будут и школы, и книги, и грамота. А великие люди есть и теперь. Салават Юлаев был великим сыном башкирского народа. Слышали о своем соотечественнике Салавате Юлаеве?

Юлдашбай молча кивнул. Черные его глаза жгли и требовали: говори.

Владимир Ильич угадал особенное что-то в этом юноше, глубоко пережитое, непокорную, гневную силу души.

— Слыхали о Салавате Юлаеве? Башкир, герой крестьянской войны. Предводитель тысячных отрядов башкир. Всадник на коне...

— У меня нет коня! Башкира нет без коня! — выкрикнул Юлдашбай, резко бледнея. Приложил ладонь к груди. Худая рука поднималась на груди — там бурно, крутыми толчками колотилось сердце. Владимир Ильич мгновение молчал, внимательно вглядываясь в Юлдашбая. Надежда Константиновна хотела объяснить, кто он и что. Не надо. Владимир Ильич понял все сам.

— У пролетариев ничего нет. Только рабочие руки.— Владимир Ильич вытянул к Юлдашбаю обе руки.— И здесь...— Он тронул лоб.

Плоское лицо Юлдашбая дрогнуло, губы сжались, морщина перерезала лоб.

— Салават Юлаев повел башкир против баев и русских помещиков. Поразительно способным был полководцем! И поэтом...

Юлдашбай перебил:

— Знаю! Сэсэн, который складывал песни! Знаю, знаю.

Кто в борьбе на сабантуе
Всех сильнее — не батыр.
Кто и скачет и танцует
Всех ловчее — не батыр.
Кто на битву за свободу
Свой народ ведет — батыр!
Звонко песнь споет — батыр.

Юлдашбай, торопясь, обрубая строчки, проговорил эту короткую песню с тугими словами и пытливо вглядывался в лицо Владимира Ильича.

— Его били плетьми,— сказал Юлдашбай.

— Нас тоже сажают в тюрьмы, не церемонятся,— ответил Владимир Ильич.— Наступит время — и мы победим. Наступит время — будет власть пролетариата.

— Когда?

— Власть пролетариата сама не придет. Надо подготавливать. Всем вместе. Нельзя врозь и вразброд. Нам надо быть вместе. Твердо знать, куда мы идем.

— Мы с Надеждой-апай говорили об этом,— кивнул Юлдашбай.— Я читал. Я знаю.

— Давайте в нашу «Искру» заметки о жизни башкир, об угнетении башкир,— доверительно сказал Владимир Ильич. — Вы обязательно должны это делать, всенепременно! Это и есть подготавливание условий для революции.

— Буду,— сказал Юлдашбай.

Все слушали их диалог. Надежда Константиновна думала: «Наверное, Юлдашбай прочно войдет в наше движение. Думающий человек. А уж сколько эксплуатации и национального унижения перенес и классового угнетения... Всё за то, что Юлдашбай будет с нами».

Интересным получалось это собрание. Все были расшевелены и растревожены. И все же у некоторых Владимир Ильич заметил сомнения. Пискунов взъерошил волосы, как леший. Обхватил колено, весь согнулся, весь

был неспокоен. «Честный человек, нелегковерный»,— мелькнуло у Владимира Ильича.

— Ну, давайте выкладывайте.

Так и есть, Пискунов выложил кучу вопросов, за каждым стояло сомнение.

Где будет издаваться «Искра»? Когда? Кем? На какие деньги? Да разве возможно в нашей-то полицейской России?

Владимир Ильич не боялся сомнений.

Вы спрашиваете — где? «Искра» будет выходить за границей. Налажены связи с заграничным центром социал-демократов, группой «Освобождение труда». Проведена разведка, проведена подготовка.

Какими силами будет издаваться «Искра»? Нашими. Силами социал-демократов и рабочих, корреспондентов и агентов многих российских городов, с которыми вступили в отношения Владимир Ильич и другие товарищи.

На какие деньги? Деньги на первое время добыты. Есть люди, которые согласны обеспечить издание нашей противоправительственной партийной газеты.

Когда выйдет первый номер «Искры»? Скоро. В этом, тысяча девятисотом году.

«Боже! — думала Надежда Константиновна.— И все это Володя сделал, наладил за какие-нибудь три-четыре месяца после Шушенской ссылки!»

13

— Собрания да собрания, встречи да встречи. Вчера, третьего дня, каждый день — мало раз, по два раза на дню... Приехал муженек навестить перед заграницей жену, а жену и не видит.

— Вот уж вымысел, совершеннейший вымысел, Елизавета Васильевна,— с Надюшей мы неразлучны,— ответил Владимир Ильич.

— На народе ваша неразлучность, в рассуждениях да спорах. Нет того, чтобы, как все люди, погулять, полюбоваться окрестностями.

— А вот и не угадали: как раз сегодня собираемся, как все люди, любоваться окрестностями.

— Куда вам! Прособираетесь, кто-нибудь опять прибежит, снова до ночи конспирация.

— Нет, мамочка,— рассмеялась Надежда Константиновна.— Володя! Знаешь, куда мы с тобой сегодня закатимся?

Сегодня они собирались «закатиться» в одно восхитительное местечко. Надежду Константиновну однажды водили туда уфимцы. Идти через весь город до Белой. Между Случевской горой и крутыми склонами старой Уфы на левый берег Белой ходит паром. На берегу там, верстах в шести, есть поляна. Мощные осокори с зеленовато-серой корой стоят по краям поляны, под порывами ветра шум листьев накатывается, как волны морские. И вперемежку с осокорями встали древние липы, листья у них тише, спокойнее, а кора не зеленоватая, а темная, изрыта морщинами, и гуденье шмелей, тонкое жужжание пчел, запахи меда текут и не утекают под липами. Вступишь на поляну — тяжелая, разогретая солнцем трава высотой до плеч обовьет и обнимет тебя. Надо с усилием раздвигать траву,— такой непроходимой она гущины. Разведешь руками — шажок. Дальше разведешь — еще шажок. Все тяжелее идти в густой траве. В глаза тебе смотрят цветы, синие, алые, оранжевые, голубенькие, желтые,— вся трава из цветов, вся цветная, душистая, кажется, можно взять воздух в ладонь. Где ты? В каком дивном и невиданном мире? В цветном, зеленом, волнующемся океане трав.

— Что за чудо, Надюша! — воскликнул Владимир Ильич.— Сию минуту идем поглядим.

— Слишком скоры, однако,— охладила Елизавета Васильевна,— у меня обед сейчас сварится. Потолкуйте пока, а я щи подгоню.

Как быстро летит время! Как эти облака. Вон видны из окошка, светлые и легкие, с пронзенными солнцем краями. Вот и не видны уже. Улетели. Летит время, как облака. Осталась неделя до отъезда Владимира Ильича за границу. Никто не определяет им сроки. Может быть, не неделя осталась, а больше, дней десять. Как они сами решат. Если десять дней, это еще ничего, это еще порядочно. А сегодня они пойдут на тот удивительный луг, весь в цветах... Через десять дней Владимиру Ильичу уезжать. Он доволен достигнутым в России. Достигнуто многое: целую сеть искровских групп оставляет по разным городам в России. А там, за границей?.. Сначала Швейцария. В эмиграции живут члены русской марксист-

ской группы «Освобождение труда». Плеханов, Засулич, Аксельрод.

Надо с ними обсудить, как будем вместе издавать газету. Возможно, будем издавать и журнал. Как будем редактировать? Кто будет вести черновую тяжелую редакторскую работу? Как? Что скажет Плеханов? Как встретит? Как отнесется к их планам?

Владимир Ильич поднялся и быстро, взволнованно зашагал по диагонали в их низенькой комнатке. Тесно в комнатушке. «Уйдем, Володя, туда, на цветную поляну, обнесенную осокорями и липами, там свободнее думается. Небо над головой. Мысли какие-то торжественные являются, а люди кажутся величественными, как эти осокори...»

— Он правда величественный,— сказал Владимир Ильич о Плеханове.— Крупный. Да, да, величественный, крупный, — словно споря с кем-то, приподнято сказал Владимир Ильич.

— Наверное,— согласилась Надежда Константиновна.

Она не видала Плеханова, но знала его книги и знала влюбленность в него Владимира Ильича и расчеты на помощь в издании «Искры».

— Да, да! — с горячностью снова воскликнул Владимир Ильич.

Надежда Константиновна подумала: «Наверное, Володя оттого горячится, что гонит от себя малейшие колебания, закрывает глаза на недостатки Плеханова, будто их решительно нет. Плеханов для него с молодых лет идеал. А в глубине души опасается, вдруг при близкой встрече идеал юности поколеблется. Или несогласие разделит их. Это было бы драмой, очень худо было бы для дела».

Она так подумала, и нетерпеливая нежность залила ее сердце. Захотелось охранить Владимира Ильича от разочарований, может быть, зря и вообразившихся ей, уберечь от горя и испытаний, измен, увести на тот луг, в зеленый океан трав.

Тут Елизавета Васильевна внесла щи, и они сели обедать, а затем пойдут любоваться окрестностями, «как все люди». Тем более приезжие. За обедом Надежда Константиновна решительно заявила, что, как хотите, ни за что не будем говорить о делах. И через минуту

— Да, вчера была важная, важная встреча, верно, Володя? Все остались очень преданы «Искре». Всколыхнулись, загорелись. И заметь, Володя, Пискунов-то вовсе обратился в нашу веру. Теперь в Нижнем будет прочная база для «Искры». Пискуновы приедут из отпуска, Ольга Чачина после ссылки вернется. И рабочие в Нижнем надежные... Да что это я снова о деле? Отдых, отдых! Лучше расскажу о другом, совсем из другой оперы расскажу.

Она рассказала о Лизе. Ее тронуло, как Лиза говорила о Владимире Ильиче и во всех Ульяновых уловила особинку. Надежду Константиновну тронуло это.

— Хорошенькая девочка, но решительно неоригинальна, институточка,— ответил Владимир Ильич.

— Нет, Володя, какая-то в ней есть непосредственность.

— Допускаю. И известная доля порядочности есть. (Владимир Ильич не забыл, как на пароходе Лиза предупредила, что понимает немецкий.)

— Что ж вы хотите: и хорошенькая и порядочная,— чего вам еще? — сказала Елизавета Васильевна.

— В самом деле, Володя, ты уж слишком к ней строг. Право, она ничего.

— Когда хорошенькая девочка продается или позволяет себя продавать...

— Она невеста,— возразила Надежда Константиновна.

— Ничего не меняется, оттого что невеста. Узаконенная форма купли-продажи. Она юна и красива, он коммерсант, делец с туго набитой мошной, вдвое старше ее, весьма поживший, потасканный жуир и пошляк, берет в жены институточку для придания дому особого шика, а она с ангельской невинностью позволяет себя покупать, облекая куплю-продажу в романтический флёр. Старая пошлая история, весьма распространенная и благословляемая буржуазной моралью.

— Ну и разделал! — удивилась Елизавета Васильевна.— Под орех разделал!

— Не прав? — быстро спросил Владимир Ильич.

— Прав-то прав, да историй этаких на каждом шагу, а как с ними поборешься?

— Только изменением всего строя, экономики, политики, законов, взглядов, морали.

— Э-э, батюшка мой, это когда-то будет...

— Можно войти? — послышалось из соседней комнаты, куда был вход снизу по узенькой лестнице.

— Полюбовались окрестностями! — с насмешкой шепнула Елизавета Васильевна.— Где уж! Политика вас разве отпустит? Входите, кто там?

Вошла барышня в сиреневом платье.

Надежда Константиновна внутренне ахнула, смешалась и, кидая растерянный взгляд на мать и Владимира Ильича:

— Это Лиза.

— Я к вам пришла...

...Был воскресный день. По воскресеньям у Кондратия Прокофьевича обед бывал ранний и долгий. Подавались заливная осетрина пудового веса, поросенок под хреном, немереными фунтами ставилась в хрустальных вазах икра, готовилась окрошка со льдом, жарились индейки и всякие другие стряпались жирные и пряные кушанья, и какой-нибудь почетный гость непременно сидел за обильным столом, уставленным домашними настойками и покупными дорогими винами. В это воскресенье гостем была важная персона, зачем-то, видимо, хозяину нужная,— жандармский полковник, тучный, толстоносый, невыразительной внешности, известный на всю Уфу любитель поесть и попить. Впрочем, и хозяин с хозяйкой кушали с отменным аппетитом.

— Третьего дня проезжаю по служебным обязанностям в нужном направлении мимо вашего дома, барынька от вас из ворот выбегает. В шляпке, в кофточке беленькой, не барынька, а репетиторша, как можно по книгам понять, как я и понял, репетиторша, но что-то личность знакомая. Вглядываюсь. Так и есть, под гласным надзором, ссылку у нас, в Уфе, доживает, Надежда Константиновна Ульянова-Крупская, ваша учительница...

Лиза вся обмерла. Учительница Надежда Константиновна ссыльная. Тоже ссыльная? Что это значит, что все ссыльные, кого Лиза знает, необычные люди? Сестры Невзоровы. Красивы, умны. А Надежда Константиновна? Лиза видела ее два раза. Она обаятельна. Легкая, тоненькая, с пушистой косой, с каким-то особенным, серьезным и пристальным взглядом.

— Что такое «гласный надзор»? — спросила Лиза.

Татьяна Карловна учила: любопытство есть не что иное, как невоспитанность. Надо скрывать любопытство. Если уж крайне любопытно что-то узнать, надо, если ты находишься в обществе, придать вопросу безразличный тон, сделать вид, что, в общем-то, тебе все равно.

— За что бывает гласный надзор? — безразличным тоном спросила Лиза.

— Гласный надзор, барышня,— запивая поросенка вишневой настойкой и все более от еды и водки краснея, охотно объяснял жандармский полковник,— гласный надзор — значит, приходи в назначенный день и час в полицейский участок, отмечайся, что я, такая-то поднадзорная личность, нахожусь, где начальство предписало мне быть, и без позволенья не имею намерений и прав в иные места отъезжать.

— Срамота-то! — дернула плечами хозяйка. Ожерелья и браслеты забренчали и зазвенели на ее обширной груди и толстых запястьях.

— За что? — безразлично спросила Лиза.

— За выступления против власти.

— А мы к Игнатке нашему ее допускаем! — испугалась хозяйка.

— Игнатку нашего политикой не завлечешь,— отмахнулся Кондратий Прокофьевич.— И не станет она на Игнатку пороху тратить. Зато науку всякую политические смыслят насквозь...— И жандарму, поблескивая ястребиными глазками: — Строже надо за ними глядеть! Вы икорки-то, икорки испробуйте.

Жандармский полковник зацепил ложкой зернистой, лакового блеска икры.

— Людишки мои донесли, к учительнице вашей супруг проездом за границу пожаловал. И он из таковских. Людишкам своим приказание дал последить...

— Срамота-то!

Лиза успешно усвоила институтские уроки Татьяны Карловны: громко удивляться и слишком открыто показывать чувства не принято в обществе. Надо быть сдержанной, неболтливой, спокойной. Лиза откушала окрошки и жареной индейки, правда совсем маленькие порции.

— Талию соблюдаете? — любовно улыбнулся Петр Афанасьевич.

Она ему нравилась. Она вся ему нравилась, с тоненькой талией, невинными голубыми глазами, всем своим поведением.

Лиза заученно ему улыбнулась.

После обеда мужчины уселись за ломберный стол играть в преферанс, а Лиза ушла к себе, заперлась, встала у окна, хрустнула пальцами и вдруг заломила руки, в таком одиночестве, безысходном одиночестве. Что делать? Куда бежать? Бежать ли к ним, этим прекрасным и особенным людям, которых ссылают и назначают под гласный надзор? Бежать, предупредить, что жандармский полковник грозится, что людишки его последят... Какая в этом для Ульяновых таится опасность, Лиза не совсем понимала. Но что-то унизительное, темное было в угрозе полковника.

«Пойду и скажу: знайте, за вами собираются следить. Непременно пойду и скажу. Вдруг что плохое с ними случится? Скорее, скорее надо сказать им, что жандармский полковник...»

Она надела соломенную шляпу, перчатки и выскользнула из дома, никем не замеченная. Но на улице сомнения ее охватили. «Зачем я иду? Что с ними случится, если жандармские людишки станут за ними следить? Разве Ульяновы делают что-то против закона? Зачем я иду, ведь Ульяновы не хотят меня знать, они меня избегают...»

И может быть, она не пошла бы, если бы за воротами почти не столкнулась с высоким юношей, плоское, неподвижное, как из камня, лицо которого и черные глаза, жгучие и настойчивые, остановили ее. Она вспомнила, что уже видела юношу.

Где? Когда? Не раз она видела из окна на улице возле дома это плоское смугловато-бледное лицо, странно напряженное, с выпытывающим и ищущим взглядом. Это был он.

— Вы из этого дома? — спросил Юлдашбай.

— Да.

— Дочь хозяина?

— Нет.

— Что вы делаете в доме?

— А вам что?

— В этом доме живут подлые люди.

Он глядел на нее хмуро и презрительно.

У Лизы горько заныло сердце. Как трудно жить, как трудно. Она не знает, как разобраться ей в жизни. Нет у нее близких людей, кто помог бы. Татьяна Карловна? Худая, постная, с вытянутым лицом и правилами на каждый жизненный случай?

Петр Афанасьевич? «Прынцессочка, позвольте шейку поцеловать, украшеньице жизни моей».

Лиза хрустнула пальцами. Звук, похожий на сдавленный плач, вырвался из горла. Юлдашбай внимательно на нее поглядел.

— Вы не ихняя?

— Нет. А вы кто?

— Грузчик,— ответил Юлдашбай.

— Грузчик? — изумленно, почти в страхе спросила Лиза.

Казанские грузчики и их забастовка стояли у нее перед глазами. И чувство будто недозволенного кем-то, жуткого и дерзкого участия и интереса к ним, тем казанским бастующим грузчикам, вновь поднялось в ней.

— Ты грузчик?

— Был раньше рабочим, заводским. Буду снова рабочим. Когда-нибудь поступлю на завод. Да разве ты понимаешь?

— Понимаю, понимаю. Ты не думай. Я не богачка.

Они заговорили на «ты», и преграда между ними как будто разрушилась.

Они уже шли рядом, почти плечо к плечу, торопливо уходили от дома. Лиза хотела разузнать, кто же они, хозяева длинного, выкрашенного под кирпичную краску многооконного дома, с кружевной резьбой деревянных наличников, с двумя фонарями возле подъезда и комнатами, где мещанские половики, позолота и богатая бронза? Кто они? Хозяйку и хозяйскую дочь она ненавидела. К Игнатке равнодушна. Жених? Он другой, он другой! Любит Лизу. Знаете ли вы, что такое любовь? Когда на всем свете у тебя никого нет, вдруг приходит любовь. Лиза выйдет замуж и будет образовывать Петра Афанасьевича, научит его слушать музыку... «Бойся моей судьбы,— говорила Татьяна Карловна.— Я тоже когда-то была молодой...»

Лиза не сказала о женихе Юлдашбаю. Почему-то не сказала.

— А хозяин? — спросил Юлдашбай.

Хозяин хороший. Он один только и добрый, он один смеется и шутит и зовет Лизу игрушечкой.

Высокий, выше Лизы на целую голову, Юлдашбай к ней нагнулся, близко заглянул в глаза и тихо, страшно:

— Хозяин — убийца.

Лиза беззвучно охнула, подняла руки к горлу. Она обыкновенная, совсем обыкновенная барышня, институтка, читала «Дворянское гнездо», а о Чернышевском даже не слышала. Отчего на нее сваливаются такие странные встречи, такие жестокие слова сваливаются на нее?

— Я видела тебя из окна. Ты все ходишь мимо дома,— сказала Лиза.

— Хочу увидеть убийцу отца,— ответил Юлдашбай.— Запомнить хочу.

— Расскажи...— робко и отчаянно попросила Лиза.

Они шагали по улицам, пока Юлдашбай не рассказал Лизе всю историю своей семьи и Кондратия Прокофьевича.

После этого Лиза побежала к Ульяновым.

14

Лестница была узка. Оборки платья, колыхаясь, касались перил. Двадцать пять лестничных ступенек так круты, что Лиза задыхалась, когда взбежала наверх. От крутизны ступенек или от смущения? Ведь в тот раз, когда она проводила Надежду Константиновну до калитки, ей ясно сказали: «Прощайте, Лиза».

Она увидела низкую комнату, в одной половине стояла кровать под пикейным одеялом, в другой половине, с побеленной печью, небольшой, как все в этой квартире, была кухня, чистая, уютная кухонька. Дверь из этой комнаты вела в следующую, еще меньшую, с продолговатым столом у окна, за которым кончали обедать.

— Здравствуйте,— сказала Лиза и, увидя пожилую женщину во главе стола, сделала реверанс. И окончательно смутилась, сердитый румянец кинулся ей на щеки. Пожилая женщина, широколицая, гладко причесанная, с насмешливой добротой глядела на Лизу. «Наверное, смешливая, любит смеяться»,— подумала Лиза.

— Здравствуйте, тезка,— сказала пожилая женщина.

— Почему тезка?

— Потому что я тоже Елизавета... Васильевна.

— Откуда вы мое имя узнали?

— Да-к ведь только что Наденька Лизой вас назвала.— И Елизавета Васильевна, так и есть, рассмеялась.

Владимир Ильич поднялся предложить стул:

— Садитесь, пожалуйста.

Он был сдержан и вежлив. Надежда Константиновна была не в своей тарелке, не зная, как вести себя с Лизой. Неприятно, что они сейчас лишь о ней говорили, судили ее, а она тут как тут, и, хотя наверняка не слышала их суждений, все равно неприятно, что пришла в это именно время. Надежда Константиновна досадовала, что Лиза пришла. Кажется, в прошлый раз могла бы понять...

Надежда Константиновна собрала посуду и понесла в кухню. Пускай без нее займут эту гостью, пусть уж мама.

— А Анны Ильиничны нет,— сказала Лиза.

— Совершенно верно,— согласилась Елизавета Васильевна.— Уехали домой. Погостили и уехали. В гостях хорошо, а дома лучше.

Елизавета Васильевна закурила, и это несвойственное дамам занятие удивило и неизвестно отчего еще более расположило к ней Лизу. Она тоже необычна, Елизавета Васильевна, необычна по-своему.

Такие наблюдения кружились в голове Лизы, пока она собиралась с духом сообщить о причинах своего появления здесь:

— Я пришла...

— У нас посетители не в диковинку. Владимир Ильич с Надей люди молодые, общительные, не сидеть же кротами в норе.

Лиза заметила, что разговор с ней поддерживает одна Елизавета Васильевна. Надежда Константиновна, собрав со стола, даже не села, а скрестила руки на груди и стояла, прислонившись к стене у арки, должно быть, ждала поскорее избавиться от непрошеной гостьи. Владимир Ильич тоже молчал.

«Нет, эти люди мне далеки, далеки»,— подумала Лиза.

Почему-то спокойствие сошло на нее, она перестала смущаться и подробно рассказала о жандармском полковнике.

Наступила пауза. Елизавета Васильевна тихо курила папиросу и не вмешивалась. Елизавета Васильевна знала многие дела зятя и дочери, но старалась быть ненавязчивой и, когда что-то решалось, не выставляла вперед свое мнение. Если бы Лиза могла разгадать, она узнала бы, какую бурю сожалений и симпатии поднял ее рассказ в Надежде Константиновне, стоявшей все так же без движения у арки, ведущей в соседнюю спаленку. «Эта девочка мне понравилась с первого взгляда. Что-то в ней наивное, светлое. Но слишком уж купеческая невеста, да еще в таком неприятном доме, потому я от нее отвернулась. Конечно, она обиделась, а вот подавила же самолюбие, пришла предупредить. Значит, первое мое впечатление от этой девушки, похожей на куклу, было верно, значит, внешность обманчива. Как приятно находить хороших людей!»

— Спасибо за предупреждение, Лиза,— ответил Владимир Ильич.— Но пусть вас не беспокоит служебное рвение жандарма. Скорее всего, усердие его от подвыпития, ведь жандармский-то полковник знает отлично, что за нами нет никаких оснований следить,— ответил Владимир Ильич.

Надежда Константиновна опустила глаза. Хотелось обнять, расцеловать девочку, хотелось спросить: «Да расскажите же, кто вы, откуда, что привело вас в этот жестокий купеческий дом, представляете ли вы, какая жизнь вас ожидает?» Но Надежда Константиновна понимала сдержанность Владимира Ильича. Нельзя рисковать. Остается десять дней. Надо вырваться Владимиру Ильичу за границу. Осторожность, осторожность. Один неверный шаг — и погублено дело. «Искра» должна выйти в этом, 1900 году. Осторожность, осторожность.

А Лиза снова задохнулась, как недавно, взбегая на лестницу. Ее вежливо поблагодарили. Теперь остается встать и услышать: «Прощайте, Лиза».

— Пожалуйста, я вас прошу... не говорите никому, что я к вам приходила. Я потихоньку от них.

Она не наклонила головы, стараясь быть светской, стараясь скрывать в обществе чувства, как учила Татьяна Карловна. Но две едкие слезы выкатились из ее небесно-голубых глаз и поползли вдоль носа к губам. И она не нашла за корсажем платка и вытерла слезы согнутым пальцем. Владимир Ильич вскочил. Не встал, а вскочил.

Смятение отразилось у него на лице. Эти две горючие слезы и согнутый палец вдруг открыли ему всю Лизу. Одиночество, сиротство, душевное неустройство ее.

— У вас нет родителей?

— Нет.

— Кто-нибудь близкий у вас есть?

— Нет.

— Как — нет? А жених? Ведь тот человек, с которым вы ехали на пароходе, ваш жених?

— Да.

— Ему вы тоже не сказали, что идете к нам?

— Нет, нет, конечно, нет! Но он другой. Он не такой, как они. Он меня любит. Когда мы поженимся, я уверена, я буду на него влиять, он никогда не станет грабить и разорять людей, как Кондратий Прокофьевич, никогда, никогда. Я буду влиять на него. Ненавижу купцов!

— А идете замуж за купца.

— Он другой.

— Миленькая моя, другой или не другой, да вы-то любите ли его? — участливо сказала Елизавета Васильевна.

С таким участием, такой прозорливостью, что Лиза почувствовала — здание, которое она строила под руководством Татьяны Карловны, прочное, как крепость, здание ее счастья заколебалось, трещины зазмеились вдоль стен.

Впрочем, не будем обсуждать Лизино счастье. Ей уже было неловко и совестно за свои две слезы.

— Я ценю его любовь,— гордо ответила Лиза.— И вообще сейчас уже поздно.

— Если поздно, нет смысла и обсуждать,— сказал Владимир Ильич.

И Лизе оставалось уйти, потому что из-за ее гордости откровенного разговора не получилось.

— А если бы не поздно? — робко промолвила она.

Владимир Ильич стоял против нее и глядел пристально таким вглубь проникающим взглядом, что Лиза вдруг поняла: он знает о ней все. Знает то, в чем даже наедине с собой она боялась признаться.

— Если бы не поздно?..

— Тогда я ответил бы так,— сказал Владимир Ильич, проводя ладонью по своему огромному, как глыба лбу.— Ответил бы, что грустно, очень грустно, когда жен-

щина ищет в замужестве не любовь и основанную на взаимном уважении дружбу, а устройство, житейский комфорт. Отвратительно и еще раз отвратительно, ибо чем такой брак, основанный на расчете, прикрашенный лицемерными фразами, чем такой брак, лучше...

Он не закончил фразы. Резким жестом откинул полы пиджака, сунул руки в карманы и, слегка расставив ноги, слегка наклонившись вперед, заговорил с терпеливой настойчивостью, стараясь, чтобы она поняла:

— В современном обществе, не среди рабочих, а в высших классах современного общества, все продается, все покупается, все лживо насквозь. Лжива мораль, которая, казалось бы, должна осуждать брак по расчету, а она освящает брак по расчету. Освящает рабство женщины, продающей себя в законные жены. Вы возразите: у нее не было выхода. Да, в буржуазном обществе непросто женщине найти выход, но возможно, возможно, возможно! Если она честна.

Вот Лиза и услышала то, что до сей поры ни единый человек не сказал ей.

— Лучше знать, чем не знать. Всегда лучше глядеть правде в глаза.

— Я ведь вам сказала, что «если бы»,— увернулась Лиза.

— Да, да,— ответил Владимир Ильич.

Он прекрасно понимал ее хитрость. Странное дело, эта слабенькая девчонка вызывала в нем жалость, когда, в сущности, основной поступок ее жизни, может быть, стоил презрения.

Она медлила уходить. Какую-то зацепочку, пусть маленькую, хотелось ей с собой унести, чтобы иметь предлог вернуться сюда. Она увидела за аркой возле узенькой железной кровати столик и на нем стопку книг. Она вспомнила, что давно не читает, в купеческом доме нет книг, ни одной книги, кроме Игнаткиных учебников. Любопытно узнать, что читают в доме Ульяновых, в этих крошечных комнатках, за этим продолговатым обеденным столом (другого нет), у этой стеклянной семилинейной керосиновой лампы?

— Можно вас попросить...

— Да, пожалуйста. Но что бы вам дать? Что вы любите? Что вас интересует? Да, а чем вы занимались до того... ну, пока не стали невестой?

Владимир Ильич быстро, живо кидал вопросы, а сам вытаскивал одну за другой книги из стопки на столике, выбирая Лизе для чтения, но, видимо, ожидая сначала ответа.

Чем она занималась? Отвечать на этот вопрос жених ей строго запретил. Петр Афанасьевич пожелал скрыть от уфимской родни, что после института Лиза была гувернанткой. Да, гувернанткой в богатом и образованном купеческом доме. Место за столом для гувернантки в этом образованном доме было в самом конце, на углу. С ней говорили тоном приказа.

Ее спрашивали: «Как вели себя дети? Как сегодня успехи в немецком?»

Ее предупредили, беря в гувернантки: «Никаких романов и флиртов».

«Тебе хочется навсегда остаться старой девой, в подчинении, в чужом доме? — спросила Татьяна Карловна, когда однажды Лиза, стыдясь и страшась, прибежала сказать, что Петр Афанасьевич сделал ей предложение, а она не решается, не знает, как отвечать.— Тебе хочется всю жизнь служить в гувернантках?»

— Скверно, по опыту знаю,— сказала Елизавета Васильевна.— Сама была гувернанткой. Круглой сиротой в институте воспитывалась, сразу со школьной скамьи в гувернантки.

«Как я»,— почему-то обрадовалась Лиза.

— В помещичьем доме служила. Культурные люди,— усмехнулась Елизавета Васильевна,— а крестьян обдирали, буквально душили. Знаю я эту публику, помещиков, смолоду насмотрелась. Не приведи бог быть гувернанткой! — Она махнула рукой.

— Конечно, должность гувернантки весьма подчиненная и даже унизительная,— заговорил Владимир Ильич.

— Куда уж унизительней! — вставила Елизавета Васильевна.

— Но можно быть учительницей в школе,— обращаясь к Лизе, мягко продолжал Владимир Ильич.— Учительница — это уже как-то шире, самостоятельнее, до некоторой степени. Правда, и учительницей нелегко устроиться...

Тут вмешалась Надежда Константиновна:

— А про устройство в учительницы — это я знаю. Когда кончила гимназию, как мечтала поступить учи-

тельницей в деревенскую школу! Нет, не удалось, не нашла места.

— Не спорю, трудно доставать работу по сердцу и заработок самый скромный непросто раздобыть, особенно женщине, но чувство достоинства надо в себе сохранять. Воспитывать в себе чувство достоинства вопреки всем неблагоприятным обстоятельствам нашего времени,— сказал Владимир Ильич.— Гм, что же вам дать почитать? — снова обратился он к Лизе.— Развлекательного нет. Умственное напряжение любите?.. Как ты на сей счет думаешь, Надя? — спросил Владимир Ильич, полистав какую-то книгу и показывая раскрытую страницу.

Она взглянула:

— Боюсь, не трудновато ли будет? — но протянула Лизе:— Это книга статей Добролюбова. Есть тут статья «Когда же придет настоящий день?». Читали?

Лиза смутилась. Нет, не читала, даже не слышала.

— Не мудрено,— успокаивающе сказал Владимир Ильич.— Добролюбов высочайшим повелением для публичных библиотек запрещен. У нас не публичная библиотека, но все же лучше эту книжечку другим не показывайте. Вот между нами и тайна. Возможно, поначалу нелегко будет вчитываться, но непременно вчитайтесь, непременно,— весьма много нового для себя откроете.

Видно, он загорелся убедить Лизу вчитаться, постигнуть то новое, что заключено в этой книге. Он всячески ее агитировал.

— Добролюбов — ваш земляк, тоже был нижегородцем. Могучий, прекрасный талант!

— Погиб совсем молодым,— добавила Надежда Константиновна.

Господи! У Лизы сердце заныло, так нравились ей эти люди, эти поднадзорные, на которых жандармский полковник грозился выпустить своих ищеек! У них как дома. Сердечно. Почему она не может быть всегда с ними? Какая пропасть их разделяет?

Она взглянула на раскрытую страницу, как передала Надежда Константиновна книжку. «Стучи в барабан и не бойся»,— прочитала она по-немецки эпиграф из Гейне. Какие слова! Таких слов ей еще не встречалось. Она взяла Добролюбова и ушла, пообещав в душе, что, сколь ни мудрена статья Добролюбова «Когда же придет на-

стоящий день?», одолеет, и тогда, может быть, перекинется через пропасть узенький мостик.

— Экая былиночка робкая, куда ветром подует, туда и согнет,— сказала после ее ухода Елизавета Васильевна.— Напрасно вы Добролюбовым да речами своими ее поманили. Ведь говорит же, что все решено. Да и купчик ее, видно, не из самых плохих, жила бы в райском неведении. А так только сомненья посеете. А зачем?

— Не узнаю вас, Елизавета Васильевна! — вскричал в изумлении Владимир Ильич.— Не узнаю, не узнаю! Да хоть неудовлетворенность посеять в сонной душе, если другого нельзя! Да хоть лучиком света осветить робкое сердце. Все, что можно мятежного и гневного разбудить, надо повсюду будить, повсюду! В каждом человеке надо будить недовольство этим подлым рабским строем, где ничего нет святого... Пусть хоть не останется безмятежно спокойно, хоть совесть проснется. А может...

— Голубчики вы мои дорогие,— вздохнула Елизавета Васильевна,— идите-ка погуляйте, идите на свой луг, дни-то бегут.

А луг, оказалось, был скошен. Обнесенный живой изгородью из лип и осокорей, чистый и прибранный, луг был уставлен копнами свежего сена. Молодые глянцевито-черные грачи ходили по лугу и при виде людей поднялись и, торопливо махая крыльями, перелетели на другой конец луга. Полная-полная тишина. Листы не шевелились. Лишь доносилось негромкое посвистывание птиц. Солнце еще не ушло за верхушки осокорей и поверх дерев слало сюда уже не горячие, спокойные под вечер лучи.

— Обманула тебя. Нет моего океана! — ахнула Надежда Константиновна.

— А сено разве плохо? Слышишь, как пахнет? Восхищенье одно!

— Полтора часа протопали, полюбоваться хотели травами, а их покосили,— сокрушалась Надежда Константиновна.

— Он и скошенный, твой луг, куда как хорош! Покос. Значит, лето на вторую половину переваливает. Вон, гляди, грачиные выводки подросли.

Владимир Ильич наслаждался. Этот прелестный скошенный луг, величавая тишина громадных осокорей, и вечереющее спокойное солнце, и молодые грачи, что-то

хлопочущие, копающие клювами землю,— все поднимало в нем радость. А душистые копны манили кинуться в сено. Владимир Ильич вдыхал густой аромат сена, подошла Надежда Константиновна.

— Ты рад? Тебе нравится?

— Очень, очень и очень! Помнишь, в Шушенском ходили за речку, там вроде острова, и стога стояли, в Сибири зародами они назывались?

— Помню. Там другое. Широко! Горизонты огромные, Саяны видны...

— Славный ты здесь разузнала пейзажик, уютный. Город близко, а будто и нет. Во всем свете одни.

— Когда будешь далеко, вспомни все это, этот наш луг,— поведя вокруг рукой, сказала Надежда Константиновна.

Они сидели внизу копны, рядом, чувствуя тепло друг друга.

— Не грусти, Надюша. Постарайся не очень грустить.

— Постараюсь. Дела много, некогда будет грустить,— сказала она.— Как время быстро идет... Чему я рада, это что не зря ты здесь с людьми повидался. Горячую поддержку «Искре» нашел.

— Важно, что была подготовлена почва. Это ты, твоя работа,— ласково улыбнулся Владимир Ильич.

— Почему-то Лиза не идет из головы,— сказала Надежда Константиновна.— Пропадет она в купеческом доме, а, Володя?

— Может, и приспособится,— ответил Владимир Ильич.— Так и так возмутительно безнравственная история! Но большинство привыкло к безнравственности, равнодушно проходит мимо. Даже одобряют. А ты заметила, Надя, среди наших товарищей, возьми Кржижановских, Лепешинских, Старковых, Ванеевых, Сильвиных, Невзоровых, Бабушкиных или наших новых уфимских друзей, Пискуновых, Якутовых, вспомни всех наших — какие все прочные и честные браки, чистота отношений, поэзия отношений! А ведь все люди сугубо занятые политикой. Иначе и быть нельзя. Ты можешь, Надя, представить коммунистическое общество, где бы процветала безнравственность? В нем могут сложиться новые экономические отношения, все по Марксу в области производства, новый политический строй, но если мораль осталась по-прежнему лживой, совесть продается, царит лицемерие,—

разве можно такое общество называть коммунистическим обществом? Нет и нет! Что же до Лизы... Чем ей помочь? Жаль ее.

— Не знаю. Наверное, нечем, не знаю,— сказала Надежда Константиновна.— Что еще растревожило меня в Лизином приходе: едва ли напрасно грозился жандарм...

— Не так страшен черт, как его малюют,— отшутился Владимир Ильич.— Тем не менее будем еще осторожнее. Знаешь, Надюша, какое событие было со мной в Петербурге?

Он не писал ей об этом.

Событие было такое...

Доживались в Пскове последние дни. Заграничный паспорт в кармане. Хлопот порядочно было с добыванием паспорта. Все позади. И хлопоты, и бесконечные совещания по поводу «Искры». И денежный вопрос на первое время решен. Значительную часть денег на «Искру» дала Калмыкова. Перед отъездом Владимир Ильич защил в жилетный кармашек две тысячи.

Незадолго до отъезда приехал в Псков повидаться из Полтавы Юлий Мартов. Без конца бродили псковскими улицами, мимо древних церквей. Сидели на берегу Великой — плавно несущей ясные воды, обсуждали издание «Искры» и дальнейшие планы. Мартов тоже готовился уезжать за границу. И об этом говорили.

Затем обоим пришла в голову мысль: по дороге из Пскова, когда будут совсем уезжать, завернуть в Петербург. Въезд в Петербург Ульянову и Мартову после ссылки был запрещен.

Но так хорошо и удачно все шло и так полезно было бы повидаться в Петербурге с некоторыми необходимыми людьми, что Владимир Ильич раззадорился: авось и это сойдет.

Некоторые предосторожности все же предприняли. Решили ехать не на Варшавский вокзал, где легко нарваться на шпиков. Поехали из Пскова до Гатчины. Из Гатчины, на беду свою, повернули в Царское Село, не сообразив того, что там шпики больше, чем где-либо, наблюдают за каждым лицом. Там их и приметили.

Когда на следующее утро выходили из подъезда квартиры на Большом Казачьем переулке, где ночевали, два дюжих молодца выросли возле каждого. Вмиг от-

куда-то появились извозчики. Владимира Ильича и Мартова посадили на извозчиков. Повезли.

Все произошло так внезапно и быстро, что Владимир Ильич растерялся. Не стал спорить с жандармами. Бесцельно. Молчал, чтобы не выдать жандармам растерянности. Неужели провал? Неужели все пойдет прахом?

Владимир Ильич соображал, какие при обыске в жандармском управлении могут открыться улики? Заграничный паспорт? Зашитые в жилетку деньги? Неопасно. Законно. Заграничный паспорт выдан законно. Деньгам можно найти объяснение. Получены из разных редакций. За статьи, за перевод книги Вебба. Можете справиться.

Одна была грозная улика. Не успел отослать химическое письмо, где все, что сделано и достигнуто для издания «Искры» и адреса заграничных связей, излагалось подробно. Для конспирации Владимир Ильич написал это письмо на листке с придуманным счетом, но... риск был слишком велик. Единственный выход — проглотить листок, пока не доставят в охранку. Как проглотить? Жандармы уселись в пролетке по бокам, цепко держат за локти. Не пошевельнуться, не только вытащить из кармана листок. Если в охранке даже не догадаются проявить это письмо, химические чернила, случается, сами проступают от времени. Тогда...

— Надя!

Владимир Ильич взглянул на нее. Она сидела, полузакрыв глаза, с бледным лицом, прямая, лишь затылком прислонясь к сену. Что, если бы тогда, в питерской охранке, проявили письмо! Что было бы? Страх ее обуял. Снова тюрьма. Снова Сибирь, какой-нибудь Енисейск или Туруханск, с лютыми стужами, надолго, на долгие годы. И все его дело отодвинулось бы надолго, на долгие годы. И сейчас его не было бы здесь, возле нее. Не было бы этого луга, тихих лучей уходящего солнца, запаха сена, этой лохматой, милой копны.

— Ах, Володя!

Он понял ее бледность. Ее любовь, запоздалый, неразумный, но такой естественный страх.

— Что ты, Надюша! Что ты так взволновалась? Пронесло грозу. Десять дней продержали в камере, а там вернули и деньги, и паспорт. И письмо вернули целехоньким. Вообрази, полицейского чина приставили проводить до Подольска. Для верности, чтобы точно знать, куда

выбыл из столицы. Умчалась гроза, прочь, прочь морщины с чела! Что за поэт такие стихи сочинил?

— Какие же это стихи? — слабо улыбнулась она.— Это ты меня успокаиваешь.

Они долго сидели на лугу под копной. Солнце ушло за ограду деревьев. Грачи осмелели и деловито ходили совсем поблизости, копаясь в земле. Потом поднялись все разом, и черная тучка исчезла из глаз.

Они толковали о том, что через девять месяцев Надежда Константиновна приедет за границу. Может быть, через девять с половиной месяцев. Работы уйма, время пробежит незаметно, весьма много будет работы по «Искре». А Владимиру Ильичу не стоит затягивать пребывание в Уфе. Пожалуй, через неделю пора и уезжать.

Прощай, наш луг. Неувиденный зеленый океан трав, прощай.

15

Брат и сестра разговаривали у окна, возле того лимонного деревца, где выбрала себе местечко Надежда Константиновна, когда в доме Кадомцевых происходила встреча Владимира Ильича с уфимскими рабочими и социал-демократами. Сестра сидела, облокотившись на кадку с деревцем. Брат возле стоял. Это был юноша, на вид лет семнадцати, темноволосый и хмурый.

— Эразм, ты пойдешь с нами,— говорила сестра, Инна, молодая девушка, но постарше его.

— Кто еще будет?

— Не надо задавать вопросов.

— Ладно. Но о нем ты мне обещала сказать. Это не вопрос. Мне и Свидерской и Цюрупа говорили. Я хочу знать о нем самую суть.

Инна побарабанила пальцами о край цветочной кадки.

— Не надеешься на меня? — подозрительно спросил Эразм.

— Вполне надеюсь, Эразм. Подожди здесь.

Она встала и вышла.

«Не хотела говорить. Я ее вынудил»,— хмуря брови, подумал Эразм.

Но она уже вышла. Изо всей семьи Эразм больше всего любил сестру Инну. Она работала фельдшерицей

в Златоусте, сейчас, как и он, приехала к родителям в Уфу в отпуск. Они не виделись целыми зимами, но дружба не рушилась, общие взгляды их связывали, стремление к жизни значительной. Эразм писал сестре письма на двадцати страницах — излияния ума и сердца. Встречаясь, они никогда не говорили о пустом и обыденном. Он любил в сестре ее независимый, вольный, бунтарский нрав. Сам был бунтарского нрава. В их семье вообще не было смирных людей, хотя отец служил всего лишь писарем в казенной палате с восемнадцатирублевым месячным жалованьем. Правда, плюс к тому столярничал, делал изумительные вещи из дерева. Отец был крещеным татарином. А прадед Кадомцевых в наполеоновскую войну командовал полком башкир и татар, со славой доведя полк до Парижа... Не от того ли далекого предка передалось Эразму влечение к военным наукам, искусству полководства? Можно ли это влечение совместить с революционными взглядами? Ибо главное в жизни Эразма, основное, важнейшее было, есть и будет — революционное дело. Вот что сближало его с сестрой Инной — революционное дело, к которому он настойчиво себя приготавливал. В родительском доме витал свободолюбивый дух. Отец и мать читали запрещенные книги. Не веровали в бога. Презирали царя. В доме постоянно появлялись «политики». Все уфимские ссыльные бывали у них. Таков был дом Кадомцевых в городе Уфе на Пушкинской улице, где сейчас возле кадки с лимонным деревцем стоял в раздумье угрюмый на вид семнадцатилетний Эразм.

Сестра Инна вернулась, неся свернутую в трубку брошюру.

— Нелегальная брошюра. Если хочешь знать, кто он, прочитай для начала немного, что отчеркнуто.

Эразм впился в отчеркнутые карандашом мелкие строки.

«Пролетариат должен стремиться к основанию самостоятельных политических партий, главной целью которых должен быть захват политической власти пролетариатом для организации социалистического общества».

Кровь прилила, гулко застучала в висках. «Захват политической власти! Организация социалистического общества!» Вот цель, ради которой стоило жить. Ясно выраженная цель. Вопрос только в том: как? Но об этом ведь они и толкуют все время. Они — это Цюрупа, Сви-

дерский, Якутов, Инна, Пискуновы и Чачина, знакомые Эразму социал-демократы. И он, приезжий, объединивший вокруг себя всех, о котором все говорят, что он выдающийся марксист и практик революционной борьбы, что умеет ставить реальную цель.

«...пролетариат должен... поддерживать всякое революционное движение против существующего строя, являться защитником всякой угнетенной народности или расы...»

Разве не верно? И верно, и ясно, будто это собственная мысль, а он услышал твою мысль и высказал вслух.

Эразм быстро пробежал две странички. Отчеркнуто: «На своих крепких плечах русский рабочий класс должен вынести и вынесет дело завоевания политической свободы».

«Моя мечта быть военным? Как совместить? — пронеслось в уме.— А захват политической власти? Разве голыми руками можно взять власть?»

— Пока довольно,— сказала Инна, беря у него брошюру.— Некоторое представление составил, кто таков Владимир Ильич?

Эразм кивнул.

Он был неразговорчив. Скрытность его Инне известна. Можно не повторять, что брошюра нелегальная.

— Вот что, Эразм, постарайся собраться скорее. Надень кадетскую форму.

Он бросил на нее короткий взгляд. Разумеется, он не спросил, зачем надо для этой прогулки одеться кадетом. Впрочем, не таким уж был Эразм недогадливым.

Через четверть часа они вышли из дому и направились к центру. Эразм помнил, что задавать вопросы не надо. В двух кварталах от Центральной улицы возле них очутился незнакомый человек. Средних лет, ничем не заметный, с черным бантиком галстука, в шляпе, с тростью и выпущенной из нагрудного пиджачного кармашка голубой каемкой платка.

— Брат Эразм,— представила Инна.

— Кадет Оренбургского Неплюевского корпуса,— шаркнув и выпятив грудь, отрапортовал Эразм. (Раз уж велели показываться кадетом, пожалуйста.) Инна не назвала подошедшего. Он приподнял шляпу, открывая густую шевелюру, растущую буйно и как попало.

— Идемте в парк,— сказала Инна.

Они пошли в городской парк, замыкающий Центральную улицу. Дальше город кончался, крутой берег обрывался над Белой, цветистые луга раскинулись на той стороне.

— Как у вас в корпусе? — вежливо спросил незнакомец.

— Кому как,— ответил Эразм.

— А вам? — уже более любопытно спросил тот.

— Мне вот как: в первый год был подвергнут наказаниям сто восемьдесят один раз. Ставили «на стойку» против воспитательского кабинета. Навытяжку, без движения на пятнадцать минут. Без обеда. В карцер.

— Батюшки мои, за что такие немилости?

— Один воспитатель, например, наказывал за «оскорбление взглядом».

— Это что?

Эразм притворно пожал плечами: не могу знать, сами судите.

— Да вы всмотритесь в него,— усмехнулась Инна.— Всмотритесь в этого кадета. Какой у него взгляд? Разве не опасный? Можно ли не засадить в карцер юношу с таким угрюмым, непонятным, вызывающим взглядом, таким...

Она сделала неопределенный жест в воздухе, она издевалась, ненавидела их корпусные порядки, калечившие и ломавшие юношей. Правда, ее Эразм не таковский. Эразм не сломался, хотя его изо всех сил ломали. Сначала бунтовал против кадетских порядков. Потом нашел другой, единственный путь. Она, Инна, помогала ему.

— А я рабочий,— сказал незнакомец,— с Урала. Малышев.

И снова пожал руку Эразму. По-другому пожал, потоварищески.

«Э-э! — смекнул кадет.— Значит, тросточка для отвода глаз».

Владимир Ильич и Надежда Константиновна тем временем прогуливались липовой аллеей городского парка. День был летний, яркий. В небе ходили белые облака. Ветерок шевелил ветви лип. Листья шелестели. Солнечные пятна, пробиваясь сквозь листья, качались под ногами на песчаной дорожке. Рябило в глазах от кружения солнечных пятен. Они медленно шли.

— Надо нам, Надюша, урвать свободный денек и закатиться на лодке подальше, да с удочками, да уху бы сварить на бережку где-нибудь, а, Надюша? — сказал Владимир Ильич.

— Я не прочь, не откажусь от лодки и от ухи не откажусь. Мы с тобой далеко не все окрестности, Володя, облазили. Много чего вокруг Уфы я еще не показала тебе.

— А что мне про окрестности Цюрупа сказал! Знаешь ли, Надя, есть здесь на берегу Демы, знаменитой аксаковской Демы, деревня Ка-ра-я-ку-пово. Кумысолечебница там. Пейзаж чудесный, а что важнее пейзажа, есть там один человек любопытный. Студент из учительской семинарии, башкир. Нашего лагеря. Неплохо бы повидаться. Послать бы для разведки Юлдашбая к нему?.. А их нет и нет.

Владимир Ильич с беспокойством поглядел в даль аллеи, которой они медленно шли.

— Погоди, еще три минуты осталось, Инна точна, как...— не досказала Надежда Константиновна.— А вон и они!

В конце аллеи показались брат и сестра Кадомцевы и тот человек, видеть которого Владимиру Ильичу крайне было необходимо и важно.

Со многими местностями всей России были налажены связи, а с Уралом — нет. Единственным уральцем, с которым через Инну Кадомцеву была обещана связь, был этот рабочий, социал-демократ, товарищ Малышев, оказавшийся проездом в Уфе, и его-то Владимир Ильич нетерпеливо и заинтересованно ждал. Решили не рисковать видеться дома. Отъезд недалек. Совсем обидно было бы провалиться под самый конец. И вот в один летний день, когда в синем небе курчавились и шли облака и ветер летел, неся запахи отцветающих лип, в городском уфимском парке произошла эта встреча — такая существенная для революционного рабочего движения. Довольно чинная компания — две дамы, двое мужчин и кадет — прогуливались вдоль липовой аллеи. Кадет давно понял свою роль; выпячивал грудь и прямил плечи, на которых красовались погоны. Владимир Ильич и Малышев, едва познакомившись, немедля вступили в разговор. Эразм шел под руку с сестрой крайний в ряду и старательно вытягивал шею, чтобы услышать, о чем они

говорят, но не слышал. Доносились лишь отдельные слова: «искра», «социал-демократия».

В парке было людно. Они направились вглубь, в березовую аллею. Здесь от белизны берез день казался еще светлее и радостнее. В белых облаках не пряталось солнце. Солнечные узоры скользили на желтом песке.

Нашли скамейку, где поблизости не видно людей. Сели. Владимир Ильич и Малышев все говорили. Владимир Ильич вызывал глубокий интерес в Эразме Кадомцеве. Человек, призывающий к смене политического строя! Сейчас, в наше время...

Несмотря на юный возраст, Эразм имел некоторый жизненный опыт, по кадетскому корпусу знал, чтó это — наше время: «Кругом а-арш! В карцер, на сутки!»

Сидя на другом конце скамьи, Эразм поглядывал на Владимира Ильича. Жизнерадостен. Полон энергии. С ним нельзя быть прохладным — заражает кипеньем мысли. Вот беда, а Эразм все не может решиться, кем быть. Революционер и будущий юнкер Павловского военного училища в Санкт-Петербурге — совместимо?

А Надежда Константиновна рассказывала Инне о своей работе над брошюрой. Еще в Шушенском начала писать брошюру о женщине-работнице, теперь статья ее подходит к концу, посмотрим, что скажет Владимир Ильич. В Шушенском, когда задумывала брошюру, Владимир Ильич одобрял.

— Как милы, как хороши наши белоствольные березки! — восклицает вдруг Инна, обращаясь к Эразму: значит, к скамейке приближается прохожий или близко прогуливается парочка.

— Ты права, березки хороши,— громко соглашается Эразм.

Затем Инна и Надежда Константиновна возвращаются к своим темам. О брошюре, о рабочих кружках. Владимир Ильич и Малышев продолжают тихий разговор. Говорит больше Владимир Ильич. Малышев слушает. Лицо у него становится задумчиво-строгим, воодушевление какое-то на его малоприметном лице. И Владимир Ильич, видно, удовлетворен разговором. Вынул записную книжечку. Что-то энергично черкнул, спрятал в карман, хлопнул по карману веселым жестом.

— Основные вопросы мы с вами решили,— донеслось до Эразма.

«А я? Нет, это полная бессмыслица — колебаться в моем положении,— думал Эразм.— Но ведь вот Свидерский считает же, что марксист не может служить офицером? И многие, я знаю, так думают. Но тогда, если среди офицеров совсем не будет марксистов, кто будет вести революционную работу в армии? Или вспомним декабристов. Разве не были они военными? Нет, Свидерский не прав, и я напрасно колеблюсь. Мои колебания только доказывают мой половинчатый и нерешительный характер. Что может быть несноснее и хуже людей половинчатых?»

Так Эразм занимался самоанализом и бичевал себя за свои колебания, пока не заметил приближающуюся пару и обернулся к сестре, готовясь услышать восхищение березками.

Плотный господин, с розовыми полными щеками, в клетчатом жилете и розовом галстуке, вел под руку барышню. Подойдя к скамейке, барышня вся загорелась и задыхающимся, как показалось Эразму, голосом произнесла:

— Здравствуйте.

Надежда Константиновна и Владимир Ильич ответили:

— Здравствуйте.

Господин, держа ее под руку, с ледяным спокойствием не повел взглядом. Прошли.

— Разве вы не узнали... мы вместе ехали на пароходе? — отойдя на достаточное расстояние, несмело спросила Лиза.

— Мало ли кто ехал на пароходе.

— Но она, Надежда Константиновна... учит Игнатку.

— Вы даже имя поинтересовались запомнить,— неторопливо повернул к ней голову Петр Афанасьевич.

— А почему бы нет?

— Вот что, Елизавета Юрьевна. Мне наплевать, что полковник болтал на обеде. Их жандармское занятие подозревать да выслеживать — с этими, видать, попался впросак, вон с кадетом гуляют,— а только я вам скажу, что знакомства наши в дальнейшем будут с разбором. Учителя и разная студенческая публика не наша компания. Нам не подходит, по нашему положению даже и смешно. Наше общество отборное, из видных людей, и я мечтаю, что вы, моя хозяюшка, научитесь дер-

жать тон, как надо быть. Как кому поклониться, кого как принять, кого допустить, а кому на порог показать. Гордости побольше иметь надо, волшебница моя. Больно уж просты. Привыкать надо повыше держать головеночку: не кто-нибудь я, а супруга законная Петра Афанасьевича.

Встреча в парке продолжалась два часа.

Владимир Ильич рассказал все нужное Малышеву, накачал всеми необходимыми знаниями и советами по поводу «Искры». Взял адреса. Теперь и к Уралу дорожка проложена.

Некоторое время после ухода Малышева они еще оставались в березовой аллее на скамье. Владимир Ильич только теперь увидел стройность березок и чистоту стволов. А какая зеленая, почти весенняя травка! А синева какая глубокая между плывущими, яркими от солнца облаками!

Эразма по-настоящему Владимир Ильич заметил тоже только теперь. На душе у Владимира Ильича было легко и спокойно, и оттого, может быть, хмурость и строгость семнадцатилетнего юноши позабавили его, а может быть, тронули.

— Итак, собираетесь стать генералом? — поглядев на погоны Эразма, сказал Владимир Ильич. И серьезно:— Революционным генералом, конечно?

По привычке, рассеянности, из смущенья, ошеломленный вопросом Эразм вскочил, выкатил грудь колесом:

— Точно так.

Владимир Ильич потянул его за руку:

— Сядьте.

— Вы считаете, что можно быть революционным генералом? — спросил Эразм, глядя в упор и с надеждой на этого немного скуластого, чуть рыжеватого, с прищуренным смеющимся взглядом человека, который жил целью создать социалистическое общество.

— Настанет время — очень и очень нам будут нужны свои генералы,— ответил Владимир Ильич.

Он понятно и просто объяснил Эразму, почему и зачем нам будут нужны свои революционные генералы.

Потом они разошлись. И Владимир Ильич с Надеж-

дой Константиновной пошли через весь город к себе, в мезонин купеческого дома на углу Жандармской и Тюремной улиц.

16

«Стучи в барабан и не бойся. Стучи в барабан и не бойся». Слова гремели в ушах, как оркестр. Как праздничный звон колоколов. Торжественно сопровождали Лизу. Необычайно важный смысл был в этих словах, хотя не вполне ею разгаданный. Они звали ее туда, куда не всем был открыт доступ...

— Ты чего радуешься? Радуется чего-то,— сказала Александра за завтраком, видя тайную улыбку Лизы, чуть скользившую возле губ.

— Стало быть, есть причины на то,— ответил Кондратий Прокофьевич, поглаживая бороду с обычной своей нечистой ухмылочкой.

Лиза ушла и заперлась в своей комнате. «Если позовут, не открою. Ах, надоели вы мне, до смерти надоели!»

Но сегодня было любопытно на душе. Словно в предчувствии необыкновенного чего-то.

Она подошла к своей пышной, из двух перин, постели и из-под верхней перины достала книжку Добролюбова со статьей «Когда же придет настоящий день?». Лиза спрятала ее потому, что, во-первых, как сказал Владимир Ильич, высочайшим повелением Добролюбов был запрещен, хотя только для публичных библиотек, но все же... Во-вторых, потому, что тогдашний ее приход к Ульяновым был тайной. И книжка была тайной, страшившей и волновавшей ее. Лиза помнила, что сказал Владимир Ильич: «Вам откроется новое». Что это новое? Какое оно? В самом названии статьи заключалось что-то заманчивое и тревожащее. «Когда же придет настоящий день?»

Первые страницы разочаровали Лизу. Вернее сказать, почти ничего не поняла. Но Владимир Ильич сказал, нужно умственное напряжение. Она читала, долбила каждую фразу, стараясь вникнуть в скрытый для нее смысл. Ум оставался холодным, воодушевление гасло. Одно Лиза поняла, что Добролюбов настроен против чувствительных барышень. Почему? Слишком трудно

для Лизы разъяснял Добролюбов свое ироничное отношение к чувствительным барышням. Она не привыкла читать такие сложные книги.

Отложила. Подошла к окну. Окно ее комнаты выходило в переулок. Пыльный пустой переулок. Лиза скучно смотрела на пыльный переулок, на дощатый забор соседнего дома. Вздохнула. Тот мир, из которого к ней пришла эта непонятная книга, слишком высок, недоступен. Что ж, сдаться? Зачем-то все-таки Владимир Ильич выбрал для нее именно эту статью. Она вернулась к книге и стала читать. Со скукой. Понимая, однако, что повинна в этой скуке она, Лиза, а не Добролюбов, которого Владимир Ильич назвал могучим талантом.

Лиза все-таки хотела добраться до сути, усердно читая, как когда-то усердно учила в институте уроки... Постепенно что-то забрезжило. Словно обрызнуло росой, мысль оживилась. Она со вниманием стала следить за рассказом Добролюбова о девушке, по имени Елена, из «Накануне» Тургенева. Начала понимать: она из того мира. Такой, наверное, была в девятнадцать лет политическая ссыльная Надежда Константиновна. Задумчиво-серьезная юность, жажда деятельности, добра для других...

Лиза жадно, поспешно читала.

Хотелось подумать, но она не могла остановиться. Нет, стоп. «...То презрение или, по крайней мере, то строгое равнодушие к ненужным излишествам богатой жизни...» Стоп, стоп. Ведь и Владимир Ильич говорил об этом. «Если бы было не поздно, я ответил бы так. Грустно, когда женщина ищет в замужестве не любовь и не дружбу, а устройство, житейский комфорт». Так он ответил. Он сказал: отвратительно. Так он сказал. Не надо думать об этом. Не надо думать об этом. Не буду думать. Не буду.

Вдруг она всхлипнула. Громко. Она чувствительная барышня,— странные, непонятные чувства нахлынули на нее. Она читала дальше. «Ей нужно было чего-то больше, чего-то выше, но чего — она не знала, а если и знала, то не умела приняться за дело»,— читала Лиза. Боже мой, боже, это о ней, о Лизе, сказал Добролюбов! Боже мой, боже мой, вот зачем Владимир Ильич дал Лизе статью Добролюбова, чтобы подсказать: ты тоже хочешь «чего-то больше, чего-то выше»... Да! Но даль-

ше. Елена хочет счастья и добра для людей, она не может быть спокойна, когда вокруг людские несчастья и горе. «Постойте, а я? А Татьяна Карловна? А Петр Афанасьевич? Что мне Татьяна Карловна! Что мне Петр Афанасьевич! Я, я, Лиза Самсонова, кто я, какая, куда я стремлюсь, где моя цель, сколько тысяч верст отделяет меня от Елены? От сестер Невзоровых? От Ульяновых?»

Слишком возбужденная, Лиза не могла дальше читать. Оставила книгу. Прошлась по комнате, сцепив пальцы. Все-таки потому ее так захватила Елена, что есть какая-то, пусть смутная схожесть между Еленой и ею. Ведь есть? Скажите, ведь есть? «Томительное ожидание чего-то». И Лиза прожила свои девятнадцать лет, ожидая. Чего?

Она снова схватилась за книгу. Теперь она прочитала статью до конца. Не во все вникая, что-то оставалось вне ее разумения, но вся душа ее была перевернута. Она не могла оторваться от строк Добролюбова, когда он рассказывал ей, Лизе, какой бывает любовь. Когда находишь в любимом свой идеал. Любишь стремления его, ясность и силу души.

Лиза, Лиза, а ты? А твоя любовь, Лиза?.. Она отодвинула книгу. Не думать. Нельзя думать. Нет, она не может не думать. Кому сказать? С кем поделиться? Лиза, с кем ты поделишься? Она снова вспоминала разговор с Владимиром Ильичем. Потому так сильно и действует на нее Добролюбов, что она помнит, что сказал Владимир Ильич. Разве он не прямо сказал? Он прямо сказал: «Если ты честна, ищи выход». Лиза, ты честна?

Она ходила по комнате, сжимая щеки ладонями, сцепляла пальцы. Все перевернулось, рухнуло, рушилось. Она думала о Елене, о ее трудной судьбе. О своей судьбе думала. Спрашивала себя: «А я? Я? Я? «Чего-то выше, чего-то больше».

Вот чего она всегда ожидала. «Чего-то выше, чего-то больше». «Ну, Татьяна Карловна? Что скажете, Татьяна Карловна? Молчите, Татьяна Карловна, не хочу слушать вас».

Машинально Лиза очутилась снова возле окошка. Прислонилась к стеклу. Лоб горит. Мозг горит. Пыльный пустой переулок. Что это? Она отшатнулась и, прячась за занавеску, потаенно глядела. На той стороне, у дощатого забора, стоял человек. С плоским, будто высечен-

ным из бело-желтого камня лицом и бровями черными и узкими, как ласточкины крылья. Юлдашбай. Она растворила окно. Он увидел ее и закивал. Она приложила палец к губам. Тихо закрыла окно. На цыпочках (сердце бухало) подошла к зеркальному шкафу, схватила, что попалось под руку,— газовый дымчатый шарф, подарок Петра Афанасьевича, и, накинув на плечи, вышла из комнаты. Не встретить бы Александру. Господи, спаси, не встретить бы! Сердце бухало. Она юркнула из двери в другую комнату, еще в другую — и во двор. Никого. Только дворник в подоткнутом холщовом фартуке колол дрова у сарая, звонко тюкая топором по березовым поленьям. Лохматый пес сипло гавкнул у будки, громыхнув железной цепью. Она перебежала через двор, подбирая подол кисейного платья, стараясь тише стучать каблуками, не оглядываясь, боясь — вдруг окликнут. Юлдашбай, умник, ушел от дома вперед по переулку, она его догнала. Странно, она чувствовала себя с ним свободно и просто, будто с детства знала.

— Зачем ты пришел? Опять хозяина выслеживаешь? — спросила она.

— Нет. Пришел за тобой.

— Но ведь я могла не посмотреть в окно.

— Стоял бы, ждал, пока посмотришь.

Она оглядела его. В синей косоворотке, перетянутой кожаным поясом, поджарый, мускулистый. Руки железные. Черные, с влажным блеском глаза.

— Что-то произошло у тебя, Юлдашбай?

— Угадала. Радость. Великая радость. Пришел к тебе с радостью. Кому рассказать? Тебе. Я больше не грузчик, вот что у меня.

— Так плохо быть грузчиком?

— Плохо. Нынче есть работа, завтра нет. Как милостыня. Стой, дожидайся. Беззаконие. Что приказчик назначит, получай. Нынче даст, завтра нет. Откажешься — выгонят вон. Люди пьют от обиды. Не хочу! Настоящей жизни хочу.

Господи боже! И Юлдашбай о настоящей жизни говорит. Все куда-то рвутся. Идут.

— Поступил в железнодорожные мастерские. Теперь рабочий я, поняла? Иван Якутов, друг мой, товарищ, иптэш, устроил в мастерские. Рэхмэт, спасибо Ивану Якутову. Спасибо! Знаешь, что он для меня сделал? Ве-

ликое дело сделал. Теперь я не один. Работу люблю, товарищей люблю. Пришел тебе сказать. А еще...— Он без умолку говорил, возбужденный и счастливый. Черные его глаза горели.— Слышала ты такие слова? — оглянувшись, нет ли поблизости прохожих, понизив голос, говорил он.— «Пролетариям нечего терять, только цепи. А приобретут целый мир». Слышала такие слова? Такие поднимающие слова?

— Нет,— поддаваясь его счастливому возбуждению, сказала Лиза.— Нет, не слыхала. Юлдашбай, откуда ты узнал?

— Есть такая книжка. Люди дали, хорошие люди... Нет, не скажу. О чем книжка? Как переделывать мир. Долой все старое. Баев — к черту! Хозяев — к черту! Богатых — к черту! Не сердись, что ругаюсь...

— Ты не ругаешься.

— И жизнью будет владеть рабочий класс. Кто не работает, тот не ест. Такая книжка, что глаза открывает. У меня всегда от таких книг — будто счастье пришло. Силы прибавилось. Весело, не страшно — вот какая книга! Не могу сказать, кто дал. Хорошие люди дали.

— Догадываюсь, Юлдашбай. Точно знаю, кто дал тебе эту книжку.

— Молчи о них. Я тогда провожал тебя до калитки. Тсс, молчи, Лиза-йянем...

— Что такое «йянем»?

— Душа моя, Лиза. Радость у меня. Тебе сказать захотел.

— Спасибо, Юлдашбай. Как по-башкирски «спасибо»?

— Рэхмэт.

— Рэхмэт, Юлдашбай. У меня тоже радость сегодня. Эти люди и мне открыли глаза. А такие слова ты слыхал: «Стучи в барабан и не бойся»?

Они давно миновали переулок, свернули на другую улицу, вышли на Торговую площадь к Гостиным рядам, к самому центру, кружили по переулкам и улицам. Лиза рассказывала, что испытала. Подробно, старательно, чувствуя, что даже половины того не передает, что пережито. Слова подвертывались такие обыкновенные. Даже приблизительно не могла Лиза рассказать о том, что испытала и пережила сегодняшним утром. О том, как что-то сломалось в ней, рухнуло. А новое... Где оно, новое?

— Ты не знаешь, есть, есть,— поспешно заговорил Юлдашбай.— Есть, да не всем подходит.

— Наверное, мне не подходит.

— Как сама решишь. Я решил. Пролетарию нечего терять, кроме цепей... Тебе много терять?

— Не знаю.

Она шла, кутаясь в шарф, тихая и грустная. Юлдашбай видел: вот только что улыбалась, ямочки на щеках улыбались, вся была светлая. А то словно туча наползла, похмурела.

— Ты изменчивая вся,— сказал Юлдашбай.— Из дома богатого, а на душе забота. То счастливая, а то прибитая будто...

— Как ты сказал?

— Прибитая. Йянем Лиза, если плохо тебе, через тех людей кликни, те люди меня знают. Если случится беда.

— Чудак Юлдашбай, смешной чудак, несуразности какие-то говоришь. Беда? Откуда беда?

Между тем, в то время когда они так рассуждали, беспорядочно бродя по улицам, Петр Афанасьевич, с успехом закончив на сегодняшний день коммерческие дела, в спокойном и радужном расположении духа следовал к дому крестного папаши обедать, покачиваясь на мягком сиденье рессорной коляски, держа в руке сверток — коробочку с бриллиантовым кулоном, подарок невесте. Настроение было у него превосходное; как обычно, он был наряден, галстук цвета яичного желтка с золотыми отливами украшал на сей раз ярко-желтый жилет; здоровый аппетит веселил, еще более веселили мысли о близкой свадьбе с игрушечкой, куколкой в кисейном платье с оборочками. Как вдруг...

Он не поверил глазам. Откинулся на спинку сиденья. Пригрезилось ему кисейное платье с оборочками? Протер глаза. Впереди коляски по деревянному тротуару шла пара. Его Петр Афанасьевич не знал. Синяя косоворотка, широкие плечи, коротко остриженные волосы. Его Петр Афанасьевич не знал. Она... Не может быть.

— Поезжай тише, Гаврила.

«Ох не надо бы, чтобы кучер увидел». Но кучер уже послушался, натянул вожжи. Холеный гнедой рысак, тонконогий, даже в упряжи гордый, пошел тихо, коляска катилась почти вровень с ними, чуть отставая. Петр

Афанасьевич не слышал их разговора, но видел, угадывал: разговор шел душевный, близкий. Они почти касались плечами, и за Лизой, как облако, летел надуваемый ветром дымчатый газовый шарф. Прислонившись к спинке, несколько секунд Петр Афанасьевич сидел, сжимая футлярчик с кулоном.

— Стой! — громовым голосом внезапно приказал он.

Те услыхали. Он увидел, как, застигнутая врасплох, резко обернулась Лиза, серая бледность разлилась у нее по лицу, упала рука, придерживающая шарф возле горла, в ужасе застыли глаза, теряя яркую свою голубизну, выцветая.

— Извольте сесть в коляску, Елизавета Юрьевна,— жестко, чуть хрипловато сказал Петр Афанасьевич.

И она, не простившись, не обернувшись, не взглянув на того человека, медленно, словно под гипнозом, приблизилась. Он подал ей руку. Она поднялась в коляску.

— Пошел! — приказал Петр Афанасьевич.

«Что теперь мне будет?!» — было первой Лизиной мыслью. Она не подозревала всей глубины несвободы, подчиненности и страха, какие в ней жили. Не подозревала, что способна испытывать такой ужас перед гневом Петра Афанасьевича. Потом всю ее обожгло стыдом и отчаянием. Даже не оглянулась на Юлдашбая! Даже не оглянулась. После сегодняшнего утра, после всего, что пережито над книгой...

Петр Афанасьевич молчал. Лиза искоса видела его полную тяжелую щеку, клин надушенной, хорошо расчесанной, ухоженной бороды, и постепенно возмущение поднималось в ней. «В чем я виновата?»

Возмущение росло, клокотало в ней. «В чем я виновата?» — «Виновата, виновата,— отвечал голос Татьяны Карловны,— барышня, невеста накануне венца ходит по улицам с чужим молодым человеком,— разве прилично?»

— Извольте пройти в дом, Елизавета Юрьевна,— распорядился Петр Афанасьевич, сходя с коляски первым и подавая ей руку.— Извольте пройти в свою комнату.

Она шла, чувствуя за спиной слегка хриплое и дурное от табака дыхание, слыша мерные тяжелые хозяйские шаги. Она ссутулила спину. Снова ее сковывал страх.

— Кто этот молодой человек? — спросил Петр Афанасьевич, входя в Лизину комнату, повернув в двери ключ, став спиной к двери.

Она молча, беззащитно на него смотрела.

— Кто этот молодой человек?

Если бы на Лизином месте была Елена из «Накануне» Тургенева, о которой с таким восторгом она читала в статье Добролюбова, восхищаясь ее жаждой добра, ее правдой, что ответила бы Елена? Если бы на Лизином месте была Надежда Константиновна, что ответила бы политическая ссыльная Надежда Константиновна?

Лиза ответила:

— Не знаю.

— Не знаете, с кем вы гуляли? К кому выбежали на свидание за три дня до венца?

— Не знаю, не знаю.

Оказывается, как легко ей вралось. Непринужденно и просто. Елена на ее месте или Надежда Константиновна ответили бы:

«Не скажу».

Лиза отвечала:

«Не знаю».

— Честное слово, не знаю,— глядя на жениха небесно-голубыми глазами, прижав к груди руки, уверяла она.— Вышла прогуляться. Подходит человек. Заговорил. Просто так, ни о чем. Вы видели, я даже ему не кивнула. Обрадовалась, что вы появились.

Лиза сочиняла все это, а в голове проносилось: «Стыд, ложь. Пусть, все равно. Только бы не выдать имя. Не узнали бы имя. Схватят, нашлют жандармских ищеек, погубят».

— Не знаю, не знаю. Вышла погулять...

— Вот что-с,— бледнея, оттягивая галстук на шее, тихо произнес Петр Афанасьевич,— до венца извольте-с сидеть дома. Выходить одной на прогулку не извольте-с, про-о-шу. Про-о-шу,— хрипло повторил он и вышел.

Лиза опустилась на стул, закрыла ладонями лицо. Когда открыла, Александра стояла у двери. Любопытство, испуг, жалость чередовались на ее пятнистом от веснушек лице.

— Чем ты его прогневила? Дверью-то как махнул, аж дом затрясся. Что ты сотворила-то, как разошелся? Задабривать теперь тебе его надо! А?

17

В беленькой, как украинская хата, кухоньке с крошечной, без пятнышка печкой, посудной полочкой, задернутой полотняной занавеской,— все махонькое, словно бы игрушечное,— Елизавета Васильевна решала задачу, как поаккуратнее уложить для Владимира Ильича подорожники, собственноручно состряпанные пирожки, котлеты и прочую снедь, без которой немыслимо отпустить зятя в дорогу. Кухонные заботы не очень по душе Елизавете Васильевне, да ничего не попишешь: надо. А для Владимира Ильича даже и вовсе охота Елизавете Васильевне похлопотать хотя бы и на кухне. Она укладывала пирожки в дорожную сумку и грустила, что снова зять уезжает. В Самару, в Подольск к родным, а там в неизвестный путь, за границу. И их уфимский дом опустеет. Товарищи по-прежнему каждый день будут прибегать к Наде по разным партийным делам, но дом опустеет. Как полон он жизни, новых мыслей, неожиданных замыслов, ярких бесед, споров и движения, когда здесь Владимир Ильич! И его говора, неподражаемо ульяновского говора, не будет слышно. И его искрящихся глаз, никогда не тусклых, никогда не скучных, не будет.

«Да что это я расхныкалась, авось не на век расстаемся!» — мысленно прикрикнула на себя Елизавета Васильевна. А какой насмешник Владимир Ильич! Наверняка жди уморительной шуточки, как увидит ее подорожники. Какая это будет шуточка, Елизавета Васильевна вообразить не могла, но в предвкушении рассмеялась. А потом опять загрустила. А потом рассердилась, что с утра в комнаты набились провожающие, и люди понять не хотят, что последние часочки остались до поезда, хочется же Наде с Владимиром Ильичем побыть напоследок вдвоем. Разговоры, разговоры. Где там! У них и в мыслях нет уходить.

Действительно, две маленькие комнатки Надежды Константиновны, вернее, одна, разделенная аркой, была полна провожающих, и разговоры не умолкали, никто не глядел на часы.

Что касается «Искры» и дальнейшей работы уфимской социал-демократической группы, все много раз досконально было обсуждено, каждый знал, что следо-

вало ему знать, и сейчас пора бы и расходиться, но уходить не хотелось.

Представлял ли Владимир Ильич всю силу своего обаяния, своего дара увлекать и привлекать к себе людей? Свою власть внушать беззаветную веру в революционную, поставленную им всегда конкретную цель? Свою способность вызывать к себе любовь людей?

Едва ли он думал об этом. Он сам слишком предан был делу. Сам любил людей. Сейчас, видя собравшихся в тесной комнатушке уфимцев, Владимир Ильич с радостью думал, что все они надежные искровцы, что на уфимскую группу можно рассчитывать, а ведь совсем недавно никого из них он не знал. Не знал вот этого старого народника, жизнерадостного и крепкого старика, известного уфимского врача-психиатра Аптекмана, который был близок когда-то к Плеханову, называл Плеханова Жоржем, в ссылке был с Короленко, лечил Глеба Успенского и сейчас, сидя на стуле посреди комнаты, в чесучовом костюме, навесив белую панаму на палку и опираясь на нее, язвительно рассказывал о последних городских событиях.

— Решили наши отцы города устроить для рабочих праздничный концерт с песнопениями,— похохатывал доктор.— Пока пелись духовные песни, публика мало-мальски терпела. А как чтение про Палестину началось, не выдержали, валом повалили из залы. Так забота промышленников о духовном просвещении рабочего класса ничем и не кончилась.

— Ничего себе умники, духовными песнями да Палестиной вздумали рабочих кормить! — рассмеялся Владимир Ильич.

Аптекман пришел попрощаться с Владимиром Ильичем, наказывал кланяться за границей Жоржу Плеханову. Он говорил о Жорже Плеханове с уважением, но в то же время и с легкой насмешливостью.

— Небожитель. К собственной персоне столь высокого преисполнен почтения, что невольно на цыпочках вокруг него начинаешь ходить.

— Ну, ну, Плеханов действительно крупный человек и талантище,— возразил Владимир Ильич.

— Такой крупный, что, того и гляди, придавит. Впрочем, молчу. За границей поближе приглядитесь, сами увидите.

Аптекман распрощался и, постукивая палкой, ушел. Остальные не уходили. Сейчас в последние часы все особенно поняли, как привязались к Владимиру Ильичу, как не хочется, чтобы он уезжал. Но разговоры, как всегда при прощании, когда все важное уже известно и высказано, велись разбросанные — о том, о сем. Заговорили о литературе. Пискунов, патриот Нижнего Новгорода, говорил о своем знаменитом земляке Максиме Горьком. Никто с ним не спорил, но Пискунову казалось, люди не вполне понимают, как велик и самобытен этот новый талант! Как необычайно и сильно выражает самосознание пробуждающегося класса наших дней! Четверть века назад Горького быть не могло. Гений приходит именно теперь, как выразитель жизнеутверждающей мощи сегодняшнего великого русского рабочего класса.

— Не правда ли? Не так ли? — обращался Пискунов за поддержкой к рабочему Ивану Якутову.

Но Якутов боялся громких слов, и хотя все, что Пискунов говорил о Горьком, было верно, Якутов лишь скромно поддакивал:

— Ничего, хороший писатель, подходящий писатель.

У Пискунова были две слабости. Во-первых, неистовый его патриотизм нижегородца. Он любил Нижний, тщеславился им, знал всю его историю и все его сегодняшние события, улицы, закоулки, красоты и древности, всех более или менее известных людей. «Нижний — сосед Москве ближний». Второй его гордостью было знакомство с писателем Горьким. Тут уже никто не мог идти с Пискуновым в спор и ни в какие сравнения. Горького читали и чтили все. А знал, встречал его, разговаривал с ним один Пискунов. Было чем погордиться.

— Господа! — заговорил, прерывая Пискунова, Свидерский.— Разве не заметили вы, что русская литература вообще переживает подъем, и подъем, связанный именно с пробуждением рабочего класса!

Все знали, что Свидерский трех фраз не может сказать без цитаты из Маркса, и цитаты посыпались. Разумеется, в подтверждение своего вывода Свидерский заявил, что «не сознание определяет бытие, а бытие определяет сознание», и всячески принялся развивать эту мысль. Затем красноречиво и долго доказывал, что «рука об руку с разложением старых условий жизни идет и разложение старых идей», опять же цитируя

Маркса. Затем... Но вмешался Цюрупа, высокий блондин, красивый, с прямым и настойчивым взглядом.

— Вот мы, социологи, марксисты, политики,— начал Цюрупа,— изучаем процессы общественного развития, историю классов, взаимоотношения классов, а приходит писатель... приходит Чехов, тихий, в пенсне, возможно, и Маркса не читывал, и пишет «Человек в футляре». И что же? Увиден и создан общественный тип. Таков удел гения.

— Что ты хочешь сказать? Гениям не обязательно изучать Карла Маркса? — загорячился Свидерский.

— Помилуй, вовсе не то... Хочу сказать о зрячести гения.

Разговор решительно принял литературное направление. Владимир Ильич поглядывал на того и другого из споривших, любуясь задором и темпераментом своих новых товарищей. Но взгляд перешел на сидевшую, как обычно, не в центре, а сбоку, в сторонке, молчаливую Надю, притихшую, должно быть не слышавшую, что вокруг говорится, и сердце больно стеснилось. Уезжать всегда лучше и легче, чем оставаться. Он уезжает, она остается. Владимир Ильич сделал полшага, еле заметно прикоснулся к ее волосам. Но все заметили. Вдруг все поняли, что совсем немного времени осталось до поезда, что давно пора уходить, что просто бессовестно они засиделись. Все разом поднялись с места, начались прощания, улыбки, слова, все толпились вокруг Владимира Ильича и опять не могли разойтись.

Владимир Ильич обнимал товарищей, каждому что-то на прощанье говорил.

— Рад, что мы с вами прочно стали единомышленниками,— Пискунову.

У Пискунова нервно задергалось веко, заходил на шее кадык.

— Да. Прочно. И я рад.

Якутову Владимир Ильич сказал:

— Паки и паки прошу посылать рабочие корреспонденции в «Искру»! И Юлдашбая не оставляйте, не отпускайте его от нас,— просил Владимир Ильич Якутова.

Инне Кадомцевой:

— Передайте кадету, что революционные генералы вот как нам будут нужны!

И Цюрупе, и Свидерскому — всем нашел сказать что-

то доброе, именно для него предназначенное. И настойчиво:

— Товарищи, помните «Искру».

Товарищи толпились вокруг, никак не могли окончательно распрощаться, пока не вошла Елизавета Васильевна.

— Не бойся гостя сидячего, бойся гостя стоячего,— довольно-таки прямо заявила Елизавета Васильевна и без церемоний выпроводила гостей.

Взглянула на дочь. Она сидела на стуле, молчаливая и тихая. Владимир Ильич стоял возле.

— Батюшки мои, подорожники вам надо собрать,— сказала Елизавета Васильевна и скорей ушла в кухоньку, где давно приготовленные в аккуратном пакете дожидались Владимира Ильича подорожники. Елизавета Васильевна взялась помыть чашки и расколола одну. Дело не делалось. Все валилось из рук. Она закурила папиросу и вышла на балкон. «Трудное счастье твое, Надя. Все-то разлуки. То в тюрьму забрали — разлука. После Шушенского разлука. И сейчас. Все разлуки да жандармские слежки. А ведь не променяла бы ни на что свое трудное счастье? То-то и есть».

Надежда Константиновна после ухода гостей будто очнулась. Лихорадочная деятельность ее охватила.

— Володя, давай напоследок проверим еще пожитки твои. Деньги — раз. Удостоверься, зашиты надежно в кармашке; пуговицы у пиджака на месте, петли на месте,— приговаривала она, проверяя пиджак.— Записная книжка с адресами. Шифр замечательный, в случае неудачи ни за что не разберутся, такой шифр заковыристый. А чемодан? Давай-ка проверим, все ли в порядке, не забыто ли что?

Она громко хлопотала, пряча от Владимира Ильича глаза, из которых не уходила тревога. Тот петербургский арест все вспоминался ей, не давал покоя. Пока не доберется до заграницы Володя, вся душа изноет. Каждую минуту могут схватить: в Самару заявится, а там шпик стережет.

Но, понятно, от Владимира Ильича она свои опасенья скрывала. Только, пожалуй, была шумнее обычного да все отводила глаза.

— Надюша, посидим тихо,— сказал Владимир Ильич, беря ее за руку.

— Посидим.

— Не думай ты о том,— сказал Владимир Ильич.

Оказывается, он прекрасно догадывался о ее тревогах и страхах.

— Не буду думать о том,— поспешно согласилась Надежда Константиновна.— Буду ждать твоих писем оттуда. Только, пожалуйста, не коротко пиши, закрутишься там с делами, но все равно пиши длинные письма, изволь писать длинные-предлинные письма. Немножко скучай обо мне.

— Скучать-то буду порядочно,— ответил Владимир Ильич.

Встал. В задумчивости прошелся по комнате.

— Еще две-три встречи здесь в России, и...

И Надежда Константиновна вновь поняла, с какой упорной и фанатической верностью он весь предан своему величавому замыслу, как полна душа его могучих идей, как тверда и смела его душа.

— Знай же, Володя,— сказала она,— все связи по «Искре» я буду держать в руках, буду с тобой связываться, буду добывать и высылать тебе корреспонденции, буду распространять здесь «Искру»...

— Знаю, Надюша,— ответил Владимир Ильич.

Елизавета Васильевна стояла на балкончике, когда вдали зацокал по мостовой и вскоре у калитки сада остановился извозчик. Извозчика прислал Цюрупа. Время на вокзал.

— Голубчики мои, время на вокзал собираться! — крикнула Елизавета Васильевна.

Она старалась сохранять хладнокровный вид, будто ничего не происходит особенного. Зять уезжает? Ну и что? Мало ли какие у людей бывают дела и надобности. Она увидела светлое, какое-то решительное выражение лица своей дочери. «Не поймешь их,— подумала мать,— другая бы слезы при расставании лила...»

Зятю она сказала:

— Владимир Ильич, вы теперь на холостяцкое положение переходите, так в случае не забудьте — иголки с нитками в уголке чемодана засунуты.

— Премного благодарен, Елизавета Васильевна,— раскланялся Владимир Ильич.— И серьезно: — Берегите

себя. И Надю мне берегите, пожалуйста... А славные нам перепали уфимские денечки, Надюша! Великолепно отдохнул. Пора и честь знать, за работу, милостивый государь, за работу!

Он подхватил чемодан. Елизавета Васильевна к извозчику провожать не пошла. Стояла на балкончике. Вот от калитки Владимир Ильич обернулся, махнул шляпой. Сели в пролетку. Извозчик тронул. Уехали.

Издалека слышно по мостовой цоканье подков. Тише. Дальше. Уехали.

18

Воспоминание о том, как она испугалась тогда на улице внезапного оклика Петра Афанасьевича, как ушла от Юлдашбая, не оглянувшись, бросила его — ноги отяжелели от страха, словно по пуду, так жалко она испугалась,— воспоминание об этом непрестанно мучило Лизу. Трусливая, лживая! И все это после статьи Добролюбова, после того, как она собиралась пойти к Владимиру Ильичу и сказать: «Спасибо. Вы мне открыли глаза. Я тоже хочу, чтобы пришел настоящий день. Только скажите мне, какой он, как к нему приблизиться».

Разве теперь может она идти, когда так трусливо и стыдно сбежала от Юлдашбая? «Стучи в барабан и не бойся». Не для нее эти слова, эта смелость, этот порыв. Она нищая — вот кто она

— Да стойте же, барышня, что вы неспокойная нынче какая, самый важный час наступает, лиф требуется по фигуре уладить, четверть часика, ради господа бога, постойте, не двигайтесь,— упрашивала и ворчала портниха, накалывая на Лизе булавками подвенечное шуршащее платье со шлейфом. Лиза стояла перед зеркалом в зале, с голыми плечами, опустив вдоль тела голые тонкие руки. Как подурнела! Из зеркала уныло глядит худое лицо, бледное, с синевой под глазами, с опущенным ртом. Все, даже хозяйка, Лизина посаженая мать, замечали: не на пользу пришлись невесте уфимские калачи и сдобные булки,— приехала тощей, а теперь и вовсе как прут.

— Верно говорят, не родись красивой, а родись счастливой,— рассевшись в кресле, толковала посаженая мать.— Взять хоть бы тебя, Лизавета. Какая уж такая твоя красота, где она? С лица спала — ничего и нет, не

осталось. Сухая да квелая, слова ласкового из тебя не вытянешь, не улыбнешься, в глазах хмурость, а худа!.. Батюшки, глядеть не на что, а ведь вот полюбил! Добро бы приданое завидное было. Так ведь нет, кому сказать, не поверят: без приданого берет, как есть без приданого, с двумя платьишками вывез себе невесту из Нижнего города, изо всех выбрал кралю. Я не корю, наше дело сторона, крестник поклонился, чтобы свадьбу сыграть, мы не против, отчего не уважить, я просто к слову, что, мол, привалило бесприданнице счастье, невест богатых сколько хочешь, а он, нá тебе, выбрал! Вот что любовь-то делает.

— Любовь, она беспощадная,— сквозь булавки во рту процедила портниха.

— А я, Лизавета, хоть ты губы дуешь на нас ни за что ни про что, а я тебе совет дам, как дочери. Ты перед мужем аршин-то проглотив не ходи, ты пониже перед ним, поулыбчивей, а то пора пройдет — заскучает муженек с такой царевной-несмеяной, недотрогой. Тогда хватишься.

— Завлекать надо,— сказала портниха.— Да стойте, барышня, грудь у вас сильно волнуется, лиф не заколешь никак. Ах! — вскрикнула она, увидя вошедшего Петра Афанасьевича.

Лиза увидела Петра Афанасьевича в зеркале. Он вошел и остановился у двери и глядел на нее, полураздетую, каким-то незнакомым взглядом, оценивающим и тяжелым. Инстинктивно Лиза обхватила руками голые плечи.

— Уйдите,— глядя на него в зеркало, сказала она. Он стоял. Она обернулась и, не помня себя, топнула ногой: — Разве вы не видите, я раздета? Уйдите!

Он постоял секунды две, покачиваясь с носка на каблук, уступчиво усмехнулся и вышел.

Лиза дрожала, у нее прыгали губы, ноги опять ослабели, противно и жалко.

— И-и, девушка,— поправляя и бренча на запястьях браслетами, сказала посаженая мать,— он тебя бережет, другой попользовался бы в свое удовольствие,— наш-то вон какой с тобой обходительный. Чем ты его купила?

— Не я его, он меня покупает! — исступленно крикнула Лиза.

И заломила руки, закинула голову. Но опомнилась. Показывать им свое отчаяние? Свое бессилие? Им показывать? Нет!

Продолжая играть золотыми браслетами на толстых запясгьях, посаженая мать сказала:

— А ты покрикивать-то погоди, сначала окрутить под венцом надо, дурочка, тогда уж характер свой и выказывай. Да только с нашим много не накапризничаешь, не зря Кондратию Прокофьевичу, папаше крестному, племянник родной. Наш-то живо уймет.

— Стойте, барышня, горе мне с вами — три дня до свадьбы осталось, а у нас с подвенечным шитья да шитья.

Разбитая, прибрела Лиза к себе в комнату, когда ловкие пальцы портнихи кончили общупывать ее, застучала швейная машина и можно было не слушать больше наставлений посаженой матери. Уйти, запереться, скрыться от них. С некоторых пор у нее появилась привычка, войдя к себе, прислониться к стене лбом и постоять так. Глупая привычка. Как будто, если ты уперлась в стену лбом, что-то тебя озарит. «Не написать ли Татьяне Карловне?» — подумала Лиза. Зачем? Разве она поймет, что сейчас происходит в Лизе? Лиза сама не понимает. Обрывки мыслей горячечно бродят в голове, сердце томится, вся душа ноет и мечется. «Стучи в барабан и не бойся». А Лизе хочется крикнуть: «Спасите!» Она боится. Крик стоит в горле, как воткнутый кол, душит и давит. Всегда она была робка, робка. Всего боялась с детства. Отца с бычьими, налитыми кровью глазами, его пьяных речей, проклятий матери, институтских учителей, сухих и казенных, дортуара с рядами одинаковых железных кроватей. Всяких изменений боялась. Все ожидала чего-то дурного, нехорошего. Татьяна Карловна сказала: «Тебе нужен такой муж, такой сильный и властный, чтобы всецело управлял тобою и твоей жизнью».

У нее не было подруг. Те щебечущие барышни в пелеринках, потупляющие глазки, полные секретов и сердечных тайн,— разве подруги? Неужели сестры Невзоровы вышли из нашего Мариинского института, где низкий и мрачный вестибюль, холодные классы и все пропитано казенным духом... А Елизавета Васильевна!.. Значит, по-

разному кончают институты! Если бы у Лизы был более смелый характер! Если бы тот мир, в который случайно она заглянула, был чуточку ближе!

Она взяла Добролюбова. Книга Добролюбова — единственное, что связывало ее с тем миром. Мостик через пропасть. Разве когда-нибудь у Лизы хватит решимости перейти через пропасть? Она взяла Добролюбова и ненасытно и горестно принялась читать статью с середины, с той страницы, где начинался рассказ о Елене. Но скоро отложила. Хотелось подумать. Мысль настойчиво возвращалась к Владимиру Ильичу. Что он хотел разбудить в ней? Какой замысел был у него?

Лизе очень помнился Владимир Ильич на пароходе, оживленный, полный внутренней жизни, ласковый и дружный с матерью и сестрой. Лиза тогда уже догадалась, что они из иного мира.

Или Лиза помнила сцену в Казани, когда приказчик грозился и топал на грузчиков, а они молчаливо стояли на своем, как стена, и Лиза по лицу Владимира Ильича догадалась, что он сочувствует грузчикам, их борьбе. Одна фраза Владимира Ильича особенно врезалась в память: «Надо сохранять в себе чувство достоинства. Воспитывать в себе чувство достоинства». Что он хотел этим сказать? То и хотел, что сказал! Что подло и гадко себя продавать. Вот что он сказал, и ты все поняла. Но разве я не люблю Петра Афанасьевича? Разве...

В дверь постучали. Лиза не отозвалась. Еще постучали. Стук. Стук. Стук. Три раза. Требовательно, коротко, резко.

— Я вам заявляю, Елизавета Юрьевна,— переступив порог, сказал Петр Афанасьевич,— я вам то заявляю, что криков не люблю, а тем паче при людях. Так и знайте на будущее время. А еще в институте учились! Вас в институте учили, чтобы на мужа кричать?

— Вы мне не муж...

— Цыпочка моя, да ведь скоро...

Он к ней шагнул и с тем появившимся в последнее время взглядом, который страшил Лизу, грубо обнял ее. Она в ужасе уперлась в его грудь кулаками, вырываясь, откидывая голову, чтобы не дать ему губы.

— Не смейте, не смейте!

Несколько секунд они боролись. Он мог бы ее смять, изломать своими руками с волосатыми пальцами. Но от-

пустил. Поправил галстук, всегда новый, кричаще цветной, прогладил на ту и другую сторону бороду, все еще тяжело дыша, но понемногу успокаиваясь.

— Ладно — не трону. Невеста. Невеста промышленника Петра Афанасьевича чистой должна быть, как ландыш. Дворянство ваше люблю. Нищее, а дворянство. И вот эту... белизну вашу. Беленькая. Пугливая. А я и люблю, что пугливая, дикарочка ты моя нецелованная...

Он еще поправил галстук, повертел шеей в тугом воротничке. И другим тоном, хозяйским и будничным:

— Что за книжка?

Лиза схватила Добролюбова, спрятала за спину.

— Читаю.

— Читайте на доброе здоровье, развлекайтесь. Хозяйство вам не вести, наймем экономку. Татьяну Карловну вашу управлять домом поставим, лакеев да горничных нагоним, кучер будет, карета, ложу в театре на зиму снимем, шейку вашу бриллиантами и жемчугами увешаем, я из вас королеву сделаю, пусть глядят... Что за книжка?

— Вам безразлично.

Он нахмурил лоб, глаза упрягались в щелки, стали крохотными, как у ежа. Он сделал к ней шаг.

— Как это так — безразлично? Показывайте.

— Нет,— сказала она, пятясь от него.

Ей было страшно. Грудь ломило, бешено стучало в висках. Но что-то поднималось внутри, споря со страхом. «Стучи в барабан и не бойся».

— Знайте, у меня есть свои интересы,— сказала она, все пятясь от него.

— Что-о? — удивился он, и Лиза видела: от души, натурально.— Свои интересы? Интерес ваш один, чтобы мужу нравиться больше. В том всего существования вашего смысл. Вы-то должны понимать, что полюбил я вас. Да что-то радости в лице у вас не вижу. А? Что у вас на душе? А? Ну ладно, пока отдыхайте. Вечерком прогуляемся. Три денечка девичьей вашей жизни осталось, дикарочка...

Он повел по ней взглядом, какая-то тревога была в его неспокойно бегающем взгляде,— и оставил ее, не с маху притворив за собой дверь.

Она легла на кровать, уткнулась в подушку, подтянула ноги к подбородку и долго-долго лежала в этой неудобной позе, не двигаясь. Лицо ее, казалось, еще поху-

дело, когда она поднялась. Еще темнее синели подглазья, небесно-голубые глаза глядели тускло, все в ней увяло и сникло, и непохожа была она сейчас на картинку из журнала мод или на фарфоровую куколку.

Проводив Владимира Ильича, Надежда Константиновна возвращалась домой. Долго шла пешком с вокзала, одна. За пять минут до отхода поезда приехал Цюрупа. Проводили, а домой она пошла одна. Обязательно надо было сейчас остаться одной! Как ни основательны были доводы разума, что дело требует, что Владимир Ильич рвется к делу, что чем скорее попадет за границу, тем лучше для «Искры», для партии, для него самого, тем безопаснее, что не вечность же остается жить ей в Уфе,— как ни убедительны были все эти доводы, сердце говорило другое. И стыдливой, безумно застенчивой, сдержанной Надежде Константиновне не хотелось, чтобы люди, даже Ольга Ивановна Чачина, с которой она так дружила, даже Инна Кадомцева или близкий товарищ Цюрупа видели душевное ее состояние. Походит по улицам до полной усталости, перегорит, поутихнет на сердце тоска, тогда вернется домой. Наверное, мама раскладывает пасьянс, хитря сама с собой, стараясь, чтобы карты легли удачно, предсказывая счастливый путь и исполнение желаний. А завтра вечером кружок у Ивана Якутова. И Юлдашбай будет. Юлдашбай с каждым днем вырастал в ее глазах. Как страстно и умно он прочитал «Коммунистический Манифест»! Способный парень.

Надежда Константиновна улыбнулась, вспомнив, как они пришли с Якутовым на вокзал, прибежали из мастерских, вырвались на полчасика, в рабочих засаленных куртках, издали, не приближаясь к вагону, поглядеть на Владимира Ильича. Надежда Константиновна стояла с ним у подножки, заметила их в толпе, легонько подтолкнула Владимира Ильича: «Смотри-ка!» И он заметил. Глазами переговорились. «До свидания, товарищи!» — «До свидания, Владимир Ильич, никогда не забудем!» Он оставил после себя разбуженную мысль, желание действовать, программу деятельности, мечту — всех здесь расшевелил, всколыхнул. Надежда Константиновна медленно шла, перебирая разные подробности, как он был здесь, в Уфе, две с лишним недели.

Вечер плотнее окутывал город. На Центральной улице фонарщики зажгли фонари. Засветилась в небе неяркая сине-зеленая звездочка, тихо мерцала. Громадное облако встало на западе лиловой горой. Туда, за эту лиловую гору, уходит поезд, уезжает Владимир Ильич...

Она подошла к дому, когда совсем уже стемнело, и остановилась на минуту у калитки, чтобы передохнуть, окончательно взять себя в руки и, поднявшись по лестнице, отсчитав двадцать пять крутых ступенек, бодро сказать маме: «Мама, чайку, может, нам выпить с тобой?»

И потом рассказать все подробно, как были на вокзале, о чем говорили, какой был Владимир Ильич, как тронулся поезд, и он кричал с подножки: «До свидания!», а она шла за вагоном, все ускоряя шаг, скорее, скорее, почти бегом и наконец отстала.

— Надежда Константиновна! — окликнули из темноты.

От неожиданности она не сразу узнала Лизу.

— Где Владимир Ильич? — спросила Лиза.

— Уехал.

— Как! — воскликнула Лиза.— Уехал! Как — уехал? Как же теперь быть? — потерянно бормотала она.

Надежда Константиновна промолчала и медленно пошла к дому. Лиза следовала за ней.

— Мне непременно надо было его увидать, непременно! — слышала Надежда Константиновна.— Не могу забыть, что он прошлый раз говорил. Думаю, думаю... И Добролюбов добавился. Совсем я заплуталась, хотела спросить, заплуталась я...

Надежда Константиновна обернулась к Лизе и в вечерней темноте, сгущенной сумраком сада, долго всматривалась в ее осунувшееся лицо, на котором неспокойно сдвинулись высокие брови, сухим блеском блестели глаза.

— Я от них ушла,— сказала Лиза. Что-то в ней оборвалось. Она почувствовала, как ослабли ноги. Ноги у нее подгибались.— Я ушла,— повторила Лиза.

Она не думала этого, когда полчаса назад выходила из дому. Даже шарф не накинула на волосы. Вышла из дому, не зная, куда и зачем. Нет, она знала. Именно Владимиру Ильичу она шла сказать: хочу быть честной.

«Чего-то выше, чего-то больше!» — кричало в душе, требовало, звало.

— Я от них ушла.

У нее сами сказались эти слова, и вдруг стало легко, бесстрашно, свободно, словно сняли с плеч неимоверную тяжесть. Она вздохнула глубоко и протяжно.

А Надежда Константиновна вся заспешила, заволновалась, взяла Лизу за руку, повела за собой.

— Идемте, идемте к нам, Лиза, скорее. Как же вы ушли? Так, в одном платье? Вырвались от них, убежали? Что будем делать? Придумаем что-нибудь. У меня здесь много товарищей. Завтра переправим вас к кому-нибудь, кто не под надзором... Помогут. Уфимцы все народ порядочный. Товарищи у меня все такие хорошие.

Они поднимались узенькой лестницей, и Надежда Константиновна все оборачивалась, говорила и убеждала Лизу:

— Вы не пугайтесь, вы жизни не пугайтесь. Я так и думала, что вы уйдете от них.

Она не думала так, но сейчас ей казалось, что думала. Она слышала позади себя на лестнице шаги Лизы и все настойчивее повторяла:

— Я так и думала...

Елизавета Васильевна сидела при свете семилинейной лампочки в опустелой комнате, читала, куря папиросу. У нее скребло на сердце, уж очень сразу загихло в доме, и она обрадовалась возвращению Нади и Лизиному приходу. Воспрянула духом, пошла вздувать самовар и, узнав, что Лиза оставила жениха, не удержалась, пошутила, как ни серьезна была ситуация:

— Вот те раз! Все равно что Подколесин у Гоголя, помните?

Лиза не помнила, институтская программа воздерживалась от ознакомления барышень с комедией Гоголя.

— Ну, садитесь, садитесь к столу,— звала Надежда Константиновна.— А завтра решим, как нам быть. Только не бойтесь.

Лиза пригладила волосы, села. Огляделась. Увидела простенькую чистую комнату, столик с книгами возле кровати, железные часы-ходики с желтыми гирями на стене, увидала выражение доброты и решимости на милом лице Надежды Константиновны и поняла: мостик перейден, пропасть позади.

19

. . . .

«Мы сидим все, как в воду опущенные, безучастно со всем соглашаясь и не будучи еще в состоянии переварить происшедшее. Мы чувствуем, что оказались в дураках, что наши замечания становятся все более робкими, что Г. В. «отодвигает» их (не опровергает, а отодвигает) все легче и все небрежнее, что «новая система» de facto всецело равняется полнейшему господству Г. В. и что Г. В., отлично понимая это, не стесняется господствовать вовсю и не очень-то церемонится с нами. Мы сознавали, что одурачены окончательно и разбиты наголову, но еще не реализовали себе вполне своего положения. Зато, как только мы остались одни, как только мы сошли с парохода и пошли к себе на дачу,— нас обоих сразу прорвало, и мы разразились взбешенными и озлобленнейшими тирадами против Г. В.

...Нас точно прорвало, тяжелая атмосфера разразилась грозой. Мы ходили до позднего вечера из конца в конец нашей деревеньки, ночь была довольно темная, кругом ходили грозы и блистали молнии. Мы ходили и возмущались.

...Мою «влюбленность» в Плеханова тоже как рукой сняло, и мне было обидно и горько до невероятной степени. Никогда, никогда в моей жизни я не относился ни к одному человеку с таким искренним уважением и почтением, vénération, ни перед кем я не держал себя с таким «смирением» — и никогда не испытывал такого грубого «пинка». А на деле вышло именно так, что мы получили пинок: нас припугнули, как детей...

Мы сознали теперь совершенно ясно, что утреннее заявление Плеханова об отказе его от соредакторства было простой ловушкой, рассчитанным шахматным ходом...

Ну, а раз человек, с которым мы хотим вести близкое общее дело, становясь в интимнейшие с ним отношения, раз такой человек пускает в ход по отношению к товарищам шахматный ход,— тут уже нечего сомневаться в том, что это человек нехороший, именно нехороший, что в нем сильны мотивы личного, мелкого самолюбия и тщеславия, что он — человек неискренний. Это открытие — это было для нас настоящим открытием! — поразило нас как

громом потому, что мы оба были до этого момента влюблены в Плеханова... Возмущение наше было бесконечно велико: идеал был разбит...»

Так писал Владимир Ильич. Запись назначалась в Уфу, но отправит он ее или оставит дожидаться приезда Надежды Константиновны сюда, за границу, еще не известно. Он писал и видел перед собой родное лицо. Если бы Надежда Константиновна была здесь, было бы легче сносить это обрушившееся на него разочарование. Он приехал в Женеву. Плеханов жил в Женеве.

Вместе со знакомым по России Потресовым Владимир Ильич поселился в деревеньке Везене, недалеко от Женевы. Ездили в Женеву встречаться с Плехановым, Аксельродом и Верой Засулич, семнадцать лет назад основавшими здесь, за границей, марксистскую русскую группу «Освобождение труда». Владимир Ильич мечтал выпускать журнал «Зарю» и газету «Искру» в тесной дружбе с группой «Освобождение труда». Был уверен: в Женеве ждет понимание и крепкая помощь. Но журналисты и социал-демократы Аксельрод и даже Вера Засулич, когда-то бесстрашно стрелявшая в петербургского градоначальника Трепова, тут держались несмело, ни на что решительно не шли без Плеханова. А Плеханов? Холоден, неоткрыт, непрямодушен. Чего он хочет, этот величественный человек? Как любил его Владимир Ильич! Как безгранично верил Плеханову долгие годы! Что стало с ним? Хитрит. По всем вопросам, связанным с печатанием «Искры», держится непрямо, уклончиво. Где выпускать «Искру»? Кто будет в редакции? Какие статьи печатать в первую голову? Кому делать редакторскую черновую работу?

Георгий Валентинович Плеханов желал одного — властвовать.

Но ведь надо дело делать! Дебаты, дебаты. Когда они кончатся? Много протекло бесполезных дней, много пережито тяжких и томительных споров, пока наконец решено: издавать газету будем в Германии, соредакторов шесть, у каждого один голос, у Плеханова два.

Владимир Ильич писал: «По внешности — как будто бы ничего не произошло, вся машина должна продолжать идти, как и шла,— только внутри порвалась какая-

то струна, и вместо прекрасных личных отношений наступили деловые, сухие, с постоянным расчетом по формуле: si vis pacem, para bellym...[1]»

Машина должна идти, как и шла... Машинистом в ней, кочегаром, бессменным рабочим — Владимир Ильич. Отойди, и все смолкнет.

Однако и здесь, за границей, Владимир Ильич в конце концов не оставался один.

Постепенно разыскались немецкие товарищи, социал-демократы. Горячо поддержала ульяновские планы издания «Искры» Клара Цеткин.

И однажды Потресов в приятном изумлении: «Вообразите, здесь Бауман!»

Он отбывал с Бауманом ссылку в Вятской губернии, полной лесов, потому и знал о том, что Бауман охотник, и о том, какую решающую роль для него сыграла его охотничья страсть. Перекинув через плечо ружьишко, то и дело дня на три, на четыре уходил бродить по лесам. Власти привыкли к отлучкам охотника. И на этот раз не обратили внимания, что ушел. Четыре дня. Пять дней. Шесть дней. Хватились: где Бауман? Давно пора вернуться с охоты. Поднялся переполох. Но поздно. Далеко-далеко от уездного городишка Орлова Вятской губернии административно сосланный Николай Эрнестович Бауман! В крестьянском зипуне и треухе, с котомкой, сел на пароход, едва не последний в ту осень. По реке Вятке шло «сало», стыла вода, затягиваясь у берегов хрупким ледком, дымились туманы. Пароход тяжело уплывал, толкая и кроша носом ломкие льдины.

Неузнанный, Бауман добрался до австрийской границы. Вот уже и Австрия позади. Лазурь женевских небес. Синее озеро, голубые и лиловые горы, похожие на декорации в оперном театре. Пестро, людно. Разноязыкая речь. Здесь центр русской политической эмиграции.

Владимиру Ильичу понравился дерзкий побег из вятских лесов, он с интересом шел к Бауману. Каким окажется Бауман при встрече? Вот он каким оказался — молодым, красивым! Открытое лицо, прямые черты, смеющийся взгляд. Только слишком, пожалуй, франтовато одет. Оказались они почти земляками,— Бауман был из Казани. Заговорили о Волге, Казанском университете,

[1] ...если хочешь мира, готовься к войне *(лат.)*.

революционных кружках, и через десять минут Владимир Ильич уже не замечал франтоватости Баумана — скорее всего, конспирация.

Заговорили об «Искре», и через несколько часов были единомышленниками полными.

Бауман согласился и с тем, что сейчас опасно выпускать «Искру» в слишком оживленной Женеве. И с тем, что надо бежать деспотизма Плеханова. И что лучше в Германии, где сильный рабочий класс, организованная социал-демократия, искать для «Искры» пристанище.

Впервые за это смугное время Владимир Ильич облегченно вздохнул... Огляделся. Ну-те, какое оно голубое женевское небо? Но как раз в эту минуту сизо-серая туча налетела на небо, сильный порыв ветра поднял на озере рябь, крупные капли зашлепали по воде. Несколько минут дождь шумел, потом тучка умчалась, снова все прояснело. Пароходик, торопливо шлепая плицами, бежал по Женевскому озеру, увозя Владимира Ильича в его жилище в Везене. Скоро — прощай, Везена! И Женева, нарядная, шумная, круглый год торгующая роскошными своими пейзажами, горными тропами, своим щедрым небом и чистенькими пансионами, прощай, Женева! Во всяком случае, пока оставляем тебя

— Сегодня я совершенно доволен! — мысленно писал Владимир Ильич в Уфу.— Представь, Надя, какая удача! В Женеве среди чужого суетливого люда встретить человека, во-первых, русского, вполне русского, всем своим опытом и существом связанного именно с российской действительностью, во-вторых, революционера до мозга костей, революционера не книжного, а практического, то есть делающего и готового делать революционное дело.

Тут мысли Владимира Ильича невольно опять вернулись к Плеханову, но уже без прежней горькой досады. Заслуги Плеханова в распространении марксизма огромны, будем же уважать его за то, что им сделано. Аксельрод сделал меньше, неизмеримо меньше и едва ли сделает много для «Искры», хотя и входит в редакцию. Потресов? У Потресова то преимущество перед Плехановым, Аксельродом и Верой Засулич, что знает настоящую жизнь. Пока те в эмиграции занимались теорией, Потресов участвовал в русском революционном движении, прошел ссылку, нюхнул, чем дышит рабочий класс. Но... Потресов спорит с Плехановым, а через час начи-

нает терзаться сомнениями, едва ли не готов бить отбой. Потресов поддержит Владимира Ильича, а через час... Кто же остается? Остается Мартов. Но Мартов не приехал пока из России.

Сейчас, встретившись с Бауманом, Владимир Ильич понял: наконец судьба подослала настоящего помощника!

Пока пароходик весело шел вдоль прелестных цветистых берегов Женевского озера, Владимир Ильич все думал о Баумане.

Что-то в нем напоминало Ванеева, петербургского друга по «Союзу борьбы» и по ссылке. Что-то сближало с Бабушкиным. Что? Порывистость молодости, революционная пылкость?

Спустя некоторое время они вместе с Бауманом уехали в Мюнхен.

Но первый номер «Искры» вышел не в Мюнхене. Много новых обстоятельств и лиц вовлекалось в историю создания первого номера «Искры».

Точно в положенный час у входной двери маленькой квартирки дома на восточной окраине Лейпцига звонил колокольчик. Кто-нибудь из детей бежал отпереть отцу, и госпожа Рау, не медля ни минуты, несла из кухни фарфоровую миску с фасолевым супом. Глава семьи Герман Рау, лет тридцати пяти, аккуратно подстриженный бобриком, с пышными, слегка закрученными на кончиках усами, всегда жизнерадостный, занимал свое место за столом, усаживались дети, госпожа Рау разливала суп. Но сегодня что-то случилось — Герман Рау опоздал на четверть часа, целых четверть часа! Что с ним? Обычно за обедом разговорчив, пошутит с детьми, перекинется о хозяйстве с супругой. А сегодня? В этот не по-осеннему теплый день октября, когда желтые листья платанов глядели в окна, подобно сотням маленьких солнц, глава семьи до странности был молчалив. После обеда надел шляпу, взял трость и ушел.

— Папа не в типографию пошел,— посмотрев в окно, заметила старшая дочь, двенадцатилетняя Эмма.

— Мало ли какие у папы дела,— возразила мать.

Это было верно. Дел у Германа Рау было по горло. С некоторых пор он стал довольно известен благодаря

своей брошюре «Развитие гимнастики в Германии». Спорт был его увлечением. Недаром в его типографии в деревушке Пробстхейд на окраине Лейпцига выпускалась газета рабочего спортивного союза «Арбайтер турнцайтунг».

Но сейчас, поспешно шагая своим четким шагом (все было в нем четко), Герман Рау думал не о спорте. Герман Рау с молодых лет был членом социал-демократической организации. Не все знали об этом. Об этом не надо всем знать. Он был дисциплинированным и преданным социал-демократом. Если организации понадобилась помощь Германа Рау, он готов сделать все...

Вот и нужный погребок с вывеской готическим шрифтом и глубоким сводчатым входом. Осторожно — каменные ступени ведут вниз, каменные плиты пола гулко отвечают шагам, темная деревянная дверь. В погребке полумрак. В этот час почти пусто. За стойкой хозяин дымит трубкой, уткнувшись в газету.

Товарищи из Мюнхена писали, что тот человек будет ждать здесь, в погребке.

Герман Рау бегло окинул быстрым взглядом немногих посетителей. За одним столиком привстал молодой человек, высокий, красивый, с удивительно приятным и открытым лицом. Одет изящно, почти щегольски.

— Гутен таг,— на всякий случай сдержанно приветствовал молодого человека Герман Рау.

— Чрезвычайно удачное местоположение этой пивной,— отозвался тот. Это был пароль.

Герман Рау сел. Поставил в угол трость. Повесил на спинку стула шляпу.

— Хозяин, кружку пива!

Он не спеша попивал маленькими глотками холодное пиво, ожидая, пусть приезжий человек сам начнет говорить. Приезжий свободно говорил по-немецки, однако Рау довольно скоро уловил в нем не немца. Он приехал по рекомендациям и с поручением от мюнхенских социал-демократов, но дело, о котором хлопотал, не касалось германской социал-демократии. Дело связано с русскими.

Рау не удивился, он уже слышал о деле.

Приезжий назвал мюнхенских товарищей. Да, именно от них Герман Рау имел предупреждение. Да и от лейпцигских товарищей тоже.

— Можете вы взять это на себя? — тихо и решительно спросил приезжий, рассказав владельцу типографии все.

Герман Рау долго молчал. Он не из тех людей, которые бездумно бросают слова. Минут пять молча тянул пенистое пиво из глиняной кружки, пока наконец:

— Подождем с ответом до завтра.

Должно быть, приезжий был нетерпеливым человеком, Герман Рау понял это по тому, как быстро он при его словах сжал кулак и разжал и на секунду нахмурился.

Затем учтиво:

— Благодарю вас, до завтра.

Приезжий не мог знать, что Рау отложил решение вопроса до завтра потому, что он, хозяин нужной русским типографии, не в состоянии был ничего решить сам без согласия одного человека. Человек этот — всего-навсего обыкновенный типографский наборщик, но в данном случае от него зависело все. Зависело, согласится ли типография Германа Рау отпечатать листок — «Заявление редакции «Искры» о том, что в ближайшее время начнет нелегально выходить русская политическая газета, призывающая русских рабочих к борьбе с царем и капиталистами. Это заявление, написанное русскими буквами, сложенное вчетверо, лежало у Германа Рау в пиджачном кармане, жгло ему бок.

До сей поры он выполнял уважаемую всеми работу, выпуская в своей типографии в деревушке Пробстхейд на Руссенштрассе, 48, спортивную газету и иногда кое-какие передовые издания. Но нелегальные?.. Но такие, за которые полиция по согласованию с русским правительством может наложить арест, погубить все предприятие?..

«Мы должны помочь русским товарищам»,— сообщали социал-демократы из Мюнхена, где сейчас остановился тот русский, который и затеял все это — газету «Искра» и организацию партии для борьбы с царем и капитализмом в России.

Да, но Герман Рау ничего не может один. Что скажет Вернер...

Немногие посвящены в то, что Вернер собственно не Вернер, а польский социал-демократ и эмигрант Иосиф Блюменфельд. Трудно представить более обыкновенного

и приличного мужчину по внешности! Между тем внутри у него жил бесенок, постоянно толкающий на всевозможные отважные замыслы, и между тем Иосифу Блюменфельду пришлось из Польши бежать, и, наверное, нет человека, который больше ненавидел бы русский царизм, чем этот типографский наборщик.

Стемнело. Единственный ученик и помощник Рау Пауль Томас улизнул, пользуясь отсутствием хозяина. Иосиф Блюменфельд возился у наборной кассы при свете керосиновой лампы.

— Читайте,— сказал Герман Рау, вынимая сложенное вчетверо «Заявление редакции «Искры». Он хотел еще раз послушать, о чем там идет речь.

Иосиф Блюменфельд читал про себя, потом вслух переводил каждую фразу. Оттого что чтение шло с остановками, из осторожности шепотом, содержание казалось еще более значительным, почти таинственным.

— Будет выходить русская социалистическая газета,— сказал Иосиф Блюменфельд.

— Набирать можете только вы,— ответил Герман Рау.— Вы ведь один у нас в типографии знаете русский язык.

— Хватит меня одного.

— У нас нет русского шрифта.

В этом и заключалась загвоздка. В немецком городе достать русский шрифт не так-то легко. Но недаром островерхий каменный Лейпциг, с узкими улицами, липовыми садами и кирхами, был городом старейшего книгопечатания и книжной торговли. И недаром наборщик Вернер был Иосифом Блюменфельдом. Когда у Иосифа Блюменфельда загоралась душа, он способен был сдвинуть гору.

— Беру на себя,— сказал Иосиф Блюменфельд, и Герман Рау с облегчением и некоторой долей тревоги вздохнул.

На следующее утро приезжий явился в типографию за ответом. Теперь он показался Герману Рау еще привлекательнее. Какие открытые, словно бы источающие улыбку бывают лица у русских! При вести о том, что типография Германа Рау согласна выпустить «Заявление о печатании «Искры», а дальше печатать и саму «Искру», приезжий готов был прыгать, как мальчишка. Тряс Иосифу руку и все рвался раздобывать вместе с ним шрифт.

— Излишне,— отверг Блюменфельд,— надо поменьше шуметь.

— Тсс! — приложил приезжий палец к губам.

Между тем раздобывание русского шрифта было делом не таким простым. Был единственный путь — в Лейпциге выпускались для России русские Библии, только там можно добыть русский шрифт, конечно, нелегальным путем. Не день и не два понадобились, чтобы разузнать наборщиков Библии, сблизиться, войти в доверие. Порядочно прошло дней, пока наконец Блюменфельд приехал с тележкой и стал в условленном месте, недалеко от одной типографии. Некоторое время спустя тяжелой походкой вышел знакомый наборщик с подвязанным фартуком. Много не унесешь зараз свинцового шрифта. Блюменфельд стал спиной, загораживая тележку, наборщик ссыпал шрифт из фартука в мешок на дно тележки и ушел. Блюменфельд остался ждать второй порции. Только через час из типографии снова появился наборщик с подвязанным фартуком.

— Хватит, не заметил бы мастер. Поезжай, Вернер, пока.

Блюменфельд прикрыл мешок с шрифтом стареньким пиджаком, захваченным из дому для этого случая, и повез тележку, поглядывая по сторонам с озорным бесенком в глазах, в душе хохоча.

«Кто бы подумал, что шрифт, назначенный для печатания Библии, пойдет на «Искру», от которой достанется и царям и попам!»

Эта мысль всю дорогу веселила Блюменфельда.

Дорога сошла благополучно, а в типографии был посторонний. Сосед, хозяин оранжереи, поставляющей в Лейпциг круглый год цветы и свежие овощи, зашел к Герману Рау покурить и потолковать о политических новостях.

— Что-то твой Вернер привез,— увидел он в окошко тележку, которую подкатил Блюменфельд.

— Посылал за бумагой, да, видно, не достал, простофиля,— проворчал Герман Рау и, высунувшись в окно, Блюменфельду:— Эй! Вернер, не добыл, вижу, бумаги?

— Велели в другой раз приезжать, хозяин.

Герман Рау покрутил кончики усов, довольный сообразительностью Блюменфельда, а вслух притворно сердито сказал:

— Веди дело при такой неточности, вовсе как будто несвойственной немцам!

— У вас хорошо идет дело,— возразил сосед, кивая на громоздкий печатный станок фирмы «Кениг и Бауэр», занимавший едва ли не треть всего помещения типографии Рау.

— Эге, ничего,— согласился печатник, раздумывая о том, что придется ждать вечера перетаскивать шрифт, а то как бы не собрать любопытных. Вечером они перетаскали с Блюменфельдом груз из тележки, и одна из трех наборных касс типографии Германа Рау наполнилась русским шрифтом.

Владимир Ильич приехал в Лейпциг в декабре, когда «Заявление редакции «Искры» было давно отпечатано и отослано в Россию и у Иосифа Блюменфельда был готов набор двух первых страниц газеты. Печатать газету приходилось частями. Было решено: газету откроет статья Владимира Ильича «Насущные задачи нашего движения». Остальные материалы он привез из Мюнхена, когда начальные две страницы уже печатались в Лейпциге. Он привез еще три свои статьи. И присланные из России статьи и заметки. О студенческих волнениях, о военных судах в Варшаве. Об арестах и обысках. О рабочей борьбе. Были письма с заводов и фабрик о произволе и бесчинствах хозяев. Газета обещала выйти боевой и живой.

Владимир Ильич снова — в который уж раз! — прочитывал материалы от первой до последней строки. Поднимался до света. Что-то толкало, торопило: скорее, скорей! Декабрьское утро серо и сыро, в комнате выстыло за ночь, холодно. Зябко поеживаясь после постели, он зажигал спиртовку вскипятить чай и пил из жестяной кружки, заедая куском черствого хлеба. Спеша в типографию, он выходил из дому, когда на улицах еще не рассветало и черно от курток и кепок рабочих, торопящихся к утренней смене. Владимир Ильич любил этот строгий час в Лейпциге, как когда-то любил сливаться по утрам с рабочими толпами в Питере.

Совсем недавно Лейпциг был чужим. Сейчас за несколько дней Владимир Ильич освоился с городом. Ему нравились рабочие районы, кварталы типографий, бессчетное число книжных лавок с разноцветными витри-

нами, нравились его строения в готическом стиле, и старинная музыка, и ратуша с башенными часами, будто из сказки братьев Гримм, и тот дух пролетарской солидарности, который Владимир Ильич испытал на собственном опыте с печатанием «Искры».

Подняв воротник, он торопливо шагал мимо молчаливых домов с черепичными крышами, мансардами, тюлевыми занавесками окон, мимо садов и решеток, газовых фонарей и мелочных лавочек, торгующих всем, от наперстков до рождественских открыток с зажженными елками. Навстречу ему по велосипедной дорожке, пригибаясь к рулям, ехали велосипедисты, казавшиеся в туманном сумраке утра какими-то нереальными существами. Шли пешие рабочие, вспыхивали огоньки сигарет.

Но вот рабочий район, типографии и фабрики кончились, загудели гудки, рабочие больше не встречаются. Теперь, громыхая колесами, едут в город подводы с крестьянским товаром на рынок. Было еще темно, снег еще синий, когда Владимир Ильич прошел железнодорожный мост, Лейпциг позади. Снежное поле по сторонам, чернеет лес вдалеке. Что это? Гром. Стук молотков. Голоса. Это строится памятник Битвы народов. В 1813 году здесь, на полях под Лейпцигом, несколько дней шли бои. Решалась судьба Европы. Русские, пруссаки, австрийцы и шведы вели последние сражения с Наполеоном. Барклай де Толли занял позицию в деревне Пробстхейд.

Удивительные совпадения иногда подстроит судьба! Сейчас именно в этой деревне, в Пробстхейде, мы печатаем «Искру». На Руссенштрассе, улице русских, названной так в память прошедших боев. Из каких рязанских и владимирских сел и деревень почти сто лет назад сошлись сюда русские сложить головы на немецкой земле?

В России деревню Пробстхейд с каменными двухэтажными домами под черепичными крышами не назвали бы деревней; у нас, в России, не всякому уездному городку под силу выглядеть так солидно и чистенько; но в одном дворе, когда Владимир Ильич шагал мимо, совсем по-деревенски запел петух, в другом, третьем откликнулись, где-то замычала корова,— нет, все-таки деревня! Хотя единственным, может быть, во всем Пробстхейде деревенским домом была типография Рау. Низкая, с тремя окнами на улицу, она особенно бедно выглядела отто-

го, что по бокам высились крепкие, как крепости, каменные хоромины зажиточных, видно, крестьян.

Как ни спешил Владимир Ильич, окошки типографии Рау уже светились, все пришли раньше. Иосиф Блюменфельд работал у наборной кассы. Керосиновая лампа висела на железном крюке у него над головой, он сосредоточенно выбирал и вставлял в верстатку шрифт, даже не повернувшись, когда вошел Владимир Ильич. Ученик Пауль Томас, сидя на корточках, загапливал круглую чугунную печь, дрова трещали, пламя плясало, качались по стенам тени от пламени, жаром тянуло из печки, в типографии было уютно, чувствовалось, что-то особенное связывает собравшихся здесь людей. Этим особенным было печатание «Искры».

— Heute ist wichtiger Tag, ein Feiertag[1], — сказал Герман Рау. Он готовил бумагу для печатания на длинном дощатом столе. Бумага была папиросная, тонкая, ровнять и резать листы требовалось с большой аккуратностью.

— Сегодня важный и торжественный день,— подтвердил Владимир Ильич.

Скинул пальто, молча (чтобы не мешать) постоял возле Иосифа Блюменфельда.

— Теперь совсем уже скоро,— дружески кивнул наборщик.

«Хорошие люди,— мелькнуло у Владимира Ильича,— «Искру» печатают хорошие люди!»

Скоро Блюменфельд разогнулся.

— Fertig![2]

Тяжело поднял раму с набором и перенес к тискальному станку. Через две-три минуты Владимир Ильич нетерпеливо впился глазами в только что возникшие строчки.

— Ну? — спросил Герман Рау.

Но Владимир Ильич читал корректуру кропотливо и тщательно.

На дворе рассвело, в типографии погасили керосиновую лампу, наступил день, когда Герман Рау встал за станок печатать заключающие полосы «Искры». Повернул ручку, станок зашумел, валик обернулся вокруг оси, и готовый, еще сырой лист сполз с машины. Владимир

[1] Сегодня очень важный день, праздничный день *(нем.)*.

[2] Готово! *(нем.)*

Ильич держал в руках первый номер газеты. Самый первый. Полный первый номер «Искры». Несколько минут стоял молча. Сбывалось то, о чем он так много думал в ссылке, что готовил с таким трудом и надеждами!

— Пора думать, как будем отправлять в Россию,— сказал Блюменфельд, подходя. И весело подмигнул, потому что все уже было обдумано.

Первую партию «Искры», когда тираж будет отпечатан, повезет в Россию он, Блюменфельд. И, может быть, тот красивый молодой человек с открытым лицом и ослепительно белозубой улыбкой, который приезжал сюда однажды. Фамилия того человека Бауман. Сейчас он в Берлине, достает чемоданы с двойным дном.

— Наступает второй этап, не менее важный,— сказал Владимир Ильич. И представил, как Блюменфельд или Бауман привезет чемоданы с газетой в Россию. Там, в городах, в заводских и фабричных центрах, ждут агенты «Искры», в Нижнем, Пскове, Самаре, Казани, Смоленске, Москве, Петербурге... Как обрадуется Бабушкин и, насовав за пазуху газет, под носом у жандармов, понесет тайно на заводы и фабрики. Смелый, решительный Бабушкин — таким знал его Владимир Ильич. Владимир Ильич мысленно обошел все города, где перед отъездом за границу организовал и оставил агентов «Искры», и дошел до Уфы. В Уфе—Надя, Свидерский, Цюрупа... Владимиру Ильичу вспомнился Юлдашбай, смуглый крепыш, с плоским лицом и диковатым огненным взглядом. «Юлдашбай — наш,— уверенно подумал Владимир Ильич.— А Лиза?» Он вспомнил и Лизу, эту несмелую и испуганную девушку, оттого что знал из письма, что она ушла от жениха. Было ли это порывом, минутным отчаянием? Или это серьезный уход в иную жизнь? Какая иная жизнь ожидает ее? Скорее всего, станет учительницей.

В «Искре» печаталась заметка о положении народных учителей на Дальнем Востоке. О том, что учителя голодают, мерзнут в жалких конурах. И не только на Дальнем Востоке учителя голодают и мерзнут. Придется всего этого Лизе хлебнуть и изведать. А дальше? «Искра» писала: «Идите в ряды революционной партии! В вашем положении есть много общего с положением городского пролетариата».

Лиза! Хватит ли твоих силенок на этот следующий шаг, который полностью изменит всю твою судьбу? Не останавливайся на полдороге. Трудно? Страшно? Не страшись, иди, и ты найдешь и узнаешь истинный смысл жизни. Владимир Ильич подумал словами из своей «искринской» статьи:

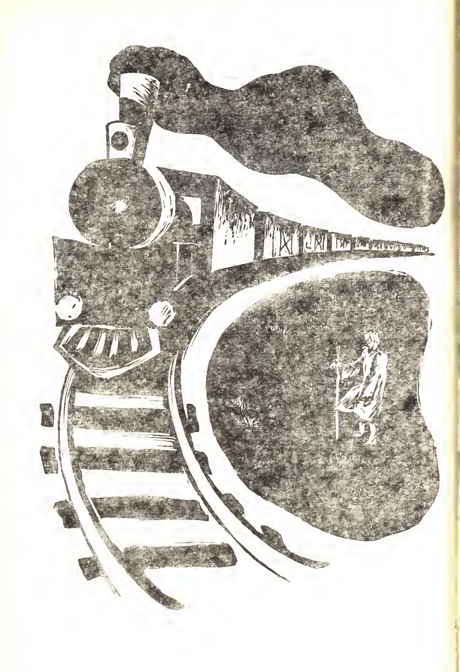
«Перед нами стоит во всей своей силе неприятельская крепость, из которой осыпают нас тучи ядер и пуль, уносящие лучших борцов. Мы должны взять эту крепость, и мы возьмем ее, если все силы пробуждающегося пролетариата соединим со всеми силами русских революционеров в одну партию, к которой потянется все, что есть в России живого и честного».

«...Все, что есть живого и честного»,— повторил Владимир Ильич.

Герман Рау крутил ручку. Станок работал, ученик Пауль Томас подхватывал тонкие листы, на которых в правом верхнем углу было напечатано крупно: «Из искры возгорится пламя».

ЕЛИЗАВЕТА ДРАБКИНА

Необыкновенные люди



НЕОБЫКНОВЕННЫЕ ЛЮДИ

Анкета — вещь; которая кажется скучной. Но бывают анкеты и анкеты. В тех анкетах, которые мне суждено было впервые держать в руках, был заключен неповторимый кусок истории.

I

Было это в конце июля — начале августа 1917 года, во время Шестого партийного съезда. Съезд этот, как известно, собрался полулегально на Выборгской стороне, этой цитадели нашей партии. Ленин на нем не присутст-

вовал: он скрывался от грозящего ему ареста и расправы со стороны Временного правительства. Однако весь ход работы съезда и дух и содержание его резолюций были определены написанной Лениным у стога сена в Разливе брошюрой «К лозунгам» и теми советами, которые он дал партии.

В то время я работала на Выборгской стороне, и Яков Михайлович Свердлов привлек меня в помощь товарищам, обслуживавшим работу съезда.

Единственным документом, оставшимся от работ съезда, является краткая секретарская запись: на стенографисток у партии не было средств, да и нельзя было пускать на этот полулегальный съезд посторонних людей.

Эта секретарская запись сообщает, что съезд был открыт старейшим его делегатом Михаилом Степановичем Ольминским, который произнес вступительную речь. Затем были заслушаны приветствия петроградских рабочих. Затем избран президиум, принят порядок дня и утвержден регламент.

Все так и было. Однако эта скупая запись ни словом не передает того глубокого волнения, которым были охвачены собравшиеся здесь, в этом убогом зале с плохо выбеленными стенами. Она не рассказывает о том, как они встречались друг с другом; как всматривались в лица, порой не сразу узнавая бывшего товарища по тюремной камере; как, словно о чем-то обыденном, вспоминали о трагических событиях, пережитых вместе, о провалах, арестах, годах одиночного заключения, тюремных бунтах, избиениях, каторге, побегах; как делились рассказами о той борьбе, которую вели сегодня во имя победы социализма.

Мне было поручено раздать делегатам съезда анкеты, потом собрать заполненные бланки и сделать по ним сводку.

На этих листках серой, шершавой бумаги была записана повесть о лучших людях нашей партии, нашего народа.

Анкету заполнили сто семьдесят один делегат съезда. Они проработали в революционном движении в общей сложности тысячу семьсот двадцать один год. Их пять-

сот сорок девять раз арестовывали, в среднем три раза каждого. Около пятисот лет провели они в тюрьмах, ссылке, на каторге. Половина их имела высшее или среднее образование; другая половина получила лишь низшее образование, некоторые — и таких было немало — определили свое образование как «тюремное». Всего за несколько месяцев до этого съезда многие из тех, кто, перекидываясь шутками, сдавал мне заполненные листы анкеты, сидели за тюремной решеткой или же звенели кандалами «во глубине сибирских руд».

Это были люди с ярко выраженной индивидуальностью — разного возраста, разной наружности, с разными повадками, разной манерой держаться, говорить, шутить, смеяться. Но над этими различиями преобладало общее, присущее всем: трудно передаваемое словами особое выражение, в котором сливались воедино и суровая решимость идти до конца, и неуемная жизнерадостность, и следы трудно прожитой жизни; воодушевленная отвага и боевая энергия; проницательность взгляда, привыкшего смотреть прямо в лицо правде, как бы она ни была горька, и твердая вера в будущее.

Все это было общим для всех этих людей — так же, как и то слово, которым они отвечали на вопрос об их партийной принадлежности: большевик!

II

Как удивительно подходило к ним это слово большевики, которым они были прозваны в пылу страстной борьбы во время Второго съезда партии!

Между тем чисто внешний ход событий, приведших к возникновению этого слова, мог бы быть несколько иным.

Могло случиться так, что пятеро «бундовцев» вместо того, чтобы покинуть Второй съезд партии, когда он отверг их требования, ограничились очередной истерической декларацией, а два «экономиста», которые также покинули съезд, последовали примеру «бундовцев» и остались на съезде.

При таком обороте дела соотношение между «твердыми искровцами», с одной стороны, и «мягкими искровцами», «болотом» и «антиискровцами» — с другой, осталось бы к моменту раскола партии примерно таким, каким оно было во время голосования первого параграфа Устава: Ленин и его единомышленники имели бы меньше голосов, чем Мартов и иже с ним.

Тогда — если верить законам формальной логики — революционное крыло партии должно было бы называться «меньшевиками», а оппортунистическое — «большевиками».

Дико! Немыслимо! Невероятно!

И дело тут не в традиции, не в привычке, сложившейся за шесть десятилетий. Такое чувство испытывали участники борьбы с самого начала, с первых же дней раскола партии.

В. П. Новиков («товарищ Владимир»), в те времена молодой рабочий с текстильной фабрики Цинделя, только-только вовлеченный в революционно-марксистский кружок, рассказывает, что после раскола он спросил кого-то из старших товарищей о его причинах. Тот объяснил. Новиков сразу потянулся к большевикам, чьи взгляды он считал единственно правильными. «Кроме того,— вспоминает он,— само слово меньшевик казалось мне чем-то унизительным».

При этом как-то очень быстро, пожалуй, даже сразу, произошло переосмысление названий обеих партий. Вместо того чтоб видеть в них термины, отражающие итоги голосования по определенному вопросу, их стали расшифровывать как выражение программных и тактических установок.

Участник знаменитой Обуховской обороны Сергей Николаевич Сулимов, отсидев по обуховскому делу семь месяцев в одиночке и проведя около года в ссылке, осенью 1903 года бежал из ссылки и нелегально вернулся в Питер, ничего не зная ни о Втором съезде, ни о том, что там произошло.

Осторожно пробираясь в родные края, он решил остановиться в деревне Леснозаводской, между Фарфоровым заводом и селом Александровским, у своего товарища Иванова. Самого Иванова не было дома. Сулимов

застал лишь его старую мать. Та ему обрадовалась, усадила за стол, стала угощать «кофеем». Тут же спросила:

— Ты, Сережа, в каких будешь — в меньшевиках или в большевиках?

Сулимов не понял.

Тогда старуха по-своему объяснила ему причины раскола, как она поняла их по спорам, происходившим между товарищами сына у нее на квартире: большевики — это те, кто хочет для народа больше, меньшевикам же много не нужно, с них хватит и поменьше...

Так было уже в 1903 году. Ну, а о 1905 и тем паче о 1917 годах и говорить нечего — большевики за то, чтоб дать народу все: мир, хлеб, землю, свободу! Ну, а меньшевики?... (Оратор сплевывает.) «Понятное дело: меньшевики — это же меньшевики!»

Прожившая весь свой век около Обуховского завода старуха Иванова вряд ли вникала в вопросы программы и тактики российской социал-демократии. Толкование, которое она, жена и мать рабочего, дала причинам партийного раскола, сложилось у нее, когда она не столько умом, сколько сердцем прислушивалась и приглядывалась к своему сыну и его товарищам.

В размежевке, которая тогда происходила, огромную, порой решающую роль (разумеется, после социальных и экономических факторов) играл внутренний потенциал человеческой личности, ее склад, направление душевной деятельности, то личное, что неотделимо от общественного, от социального.

Уже известный нам В. П. Новиков, рассказывая, как он стал большевиком, вспоминает случай, который, по его словам, окончательно убедил его «в несостоятельности меньшевистской теории».

Как-то знакомый меньшевик увидел у Новикова револьвер. Спросил, зачем он его носит. Новиков ответил, что оружие для него — «символ революции» и носит он его «как знак преданности революции».

Меньшевик, криво усмехнувшись, высказал по сему поводу несколько скептических замечаний. «После это-

го,— говорит Новиков,— я убедился, что меньшевики — совершенно безнадежный для революции народ».

Суть конфликта тут, разумеется, не в том, надо ли носить при себе револьвер или нет. Суть в ином. Здесь столкнулись два диаметрально противоположных человеческих характера.

Ибо большевики и меньшевики — это не только два разных политических направления, это разные люди. Люди разной силы, разной воли, разной страсти, разной отваги, разной моральной конструкции, разной интенсивности революционного чувства, разной концепции жизни и человека.

Случайно возникшие названия, отражавшие соотношение голосов на выборах центральных учреждений партии, были бы быстро забыты, как забылось многое другое, если бы в них не была заложена та внутренняя правда, благодаря которой меньшевики прочно остались именно меньшевиками, а с нашей партией навек сжилось, срослось, спаялось победительное имя большевиков.

III

Эта партия была детищем Ленина. Она была его любовью. Говоря об отношении Ленина к партии, один из старейших большевиков Вячеслав Алексеевич Карпинский нашел неожиданные, но удивительно верные слова: «Владимир Ильич положительно влюблен в свою партию!»

И так же влюбленно относился он к людям этой партии — профессиональным революционерам, чья жизнь ежечасно и ежесекундно принадлежала революции. Для Ленина они высший тип человеческой личности, «теин в чаю», как говаривал Чернышевский. Вообще скупой на поэтические сравнения, Ленин уподобляет их «жнецам», которые умеют не только «косить сегодняшние плевелы», то есть бороться против мерзостей старого мира, но и «жать завтрашнюю пшеницу» — строить новый мир.

Ранней весной 1895 года молодой Горький повстречал одного из этих людей — Александра Карповича Петрова.

Было это в Нижнем Новгороде. Горький сотрудничал тогда в «Русском Богатстве». Интересовался бытом и нравами рабочих и всяческими интересными человеческими фигурами.

Его внимание не могли не привлечь представители нового, боевого революционного направления, с шумом врывавшегося в те годы на авансцену полусонной российской действительности. Познакомившись с А. К. Петровым и узнав, что он из числа этих самых «марксистов», Горький забросал Петрова вопросами, пытливо выспрашивая, в чем же видит Петров свое призвание.

— В чем? — переспросил Петров.— Да в том, чтобы организовать, организовать и еще раз организовать рабочий класс...

— И что же, организуете? — продолжал свои вопросы Горький.

— Да, понемногу,— отвечал Петров. — В Казани три года проработал по этой части и намереваюсь года два до ареста проработать в Нижнем.

— Ну, а дальше как?

— Дальше тюрьма, ссылка, оттуда побег на нелегальное положение — и снова организация.

— До каких же пор?

— До социальной революции.

Чем дальше идет время, тем выше, тем мощнее поднимаются над общим фоном истории человечества эти необыкновенные люди, тем сильнее манят они к себе. Тем повелительнее овладевает нами стремление познать их жизнь, увидеть ее с неизвестной, малоизученной стороны, проникнуть в их чувства, воскресить их лица, движения, поступки, подвиги, каждую мелочь, каждый бытовой психологический штрих, соучаствовать в драматических подробностях пережитых ими событий. Словом, снова обрести этих бесконечно дорогих нам людей, обрести со всем тем, что дали нам XX—XXIII съезды нашей партии.

Увы, многое из того, что мы могли бы узнать, утрачено, утрачено без возврата. Почти все эти люди ушли из жизни задолго до того, как наступает пора мемуаров.

Они не сохраняли архивов. В годы подполья они старались вытравить всякий свой след, уничтожить каждый клочок бумаги, сжечь все, что можно сжечь.

Тем дороже для нас то, что сохранилось, что спасено. Тем больше говорит уцелевший чудом обрывок записки, написанные на ходу воспоминания, перечеркнутое накрест желтыми полосами письмо из тюрьмы (так тюремная цензура проверяла, нет ли между строк текста, вписанного химическими чернилами) — все, что помогает нам сквозь годы, сквозь выцветшие буквы, сквозь потускневшие от времени краски воскресить отдельный штрих, а порой и яркий, законченный образ во всей правде того, что было тогда великого, страшного и прекрасного...

IV

Жизнь каждого из этих людей разделялась на два совершенно отчетливых, отличающихся друг от друга периода: то, что было до, и то, что было после их приобщения к революции.

До было детство. Как правило, безрадостное.

Передо мной около трехсот автобиографий людей ленинского поколения нашей партии. Редко кто сохранил добрую память о первых годах своей жизни.

«Мрачны и тягостны воспоминания моего детства,— пишет участник «Союза борьбы за освобождение рабочего класса» М. А. Сильвин.— Решительно ничего радостного, ласкающего... никакого внимания в семье к нам, детям, я не могу припомнить... Жили мы в небольшой полутемной комнате в подвальном этаже, два окна выходили на улицу, вровень с тротуаром, и третье — на задний двор, прямо на помойную яму. Постели, собственно, у меня, как и у остальных моих братьев и сестер, не было. На голый сундук с горбатой крышкой, стоявший в углу кухни, а иной раз прямо на пол бросали какую-нибудь рухлядь — старое пальто или что-нибудь в этом роде, клали подушку с наволочкой, которая, повидимому, никогда не стиралась, клали рваное, просаленное ватное одеяло — это и было моей постелью... Позже, уже взрослым, мне случалось иногда вспоминать детство в интимных беседах с тем или иным близким дру-

гом, вышедшим из той же среды. Впечатления были общие...»

Среда, о которой пишет М. А. Сильвин,— это среда «замызганного чиновничества», находившаяся отнюдь не на самой низшей ступени «государства Российского». Детство в деревне, особенно если на него пришелся голодный 1891/92 год, было куда страшнее. Изба, топящаяся «по-черному». Обнаженные слеги и стропила, солому с которых скормили последней кляче, но та все равно сдохла. Люди, как мухи, мрут от голода и «карючки», их стаскивают на кладбище и заливают могилы известкой.

Однако и в обычный, не «голодный» год отец еще с осени запродает кулаку-живоглоту свой будущий урожай. Отдаст долги — и снова уже с новины остаются без хлеба. С земли прокормить себя и семью он не может и вынужден, как это делал отец Ивана Ивановича Кутузова, хотя бы на часть года подаваться «на заработки».

«Бедность заставляла моего отца жить на два фронта,— рассказывает И. И. Кутузов.— Летом — деревня, зимой — город Москва, завод и фабрика. И не видать было Ивану Захарову конца, когда пройдет эта трудная пора, чтобы оправдать себя и не ходить с рукой».

Но не в одной нужде дело. Детство может быть безрадостным и в богатой семье.

Евгения Богдановна Бош и Елена Федоровна Розмирович выросли в семье арендатора, который, скопив денег, купил имение и сделался помещиком. И обе они с ужасом и отвращением рассказывают о своих детских годах. «Общий тон нашей жизни был необычно суров,— пишет Елена Федоровна Розмирович.— Все усилия семьи были направлены на увеличение состояния, на дальнейшее обогащение. Берегли каждую копейку, часами обсуждали даже незначительные затраты».

Были, конечно, исключения. Вадим Николаевич Подбельский родился в семье известного революционера, который дал пощечину министру народного просвещения Сабурову и был сослан за это в Якутскую область, где погиб во время знаменитой «первой якутской бойни», а жена его за участие в вооруженном сопротивлении осуждена на каторгу. Детство Вадима прошло у дяди,

который воспитал мальчика, оставшегося сиротой. Оно было трудно, но тяжелым не было.

Тепло вспоминает о своих родителях Надежда Константиновна Крупская. Это были люди, захваченные революционными идеями. В доме у них она видела революционеров самых различных направлений.

В хорошей семье рос Леонид Борисович Красин. А о семье Елены Дмитриевны Стасовой и говорить нечего: и отец ее Дмитрий Васильевич, и дядя Владимир Васильевич Стасов принадлежали к числу самых передовых людей своего времени.

Однако это были, как мы уже говорили, исключения. Правило же заставило мальчишку Лебедева, в будущем известного литературного критика Валерьяна Полянского, убегать несколько раз из дому от жестокого обращения и скрываться в лесу или же питаться подаянием, собирая «трынки» и «семитки» (копейки и две копейки). Не раз в минуты отчаяния он громко проклинал бога в наивной надежде, что бог убьет его за это на месте.

Но вот босоногое детство кончилось. Наступали годы учения.

Кому где. В церковноприходской школе. В духовной семинарии с ее бурсой. В хедере и ешиботе. В медресе. В казенной гимназии.

Везде одно и то же. Везде закон божий (хотя и с разными богами), священное писание, евангелие, коран, талмуд.

Везде тупая зубрежка, мертвые языки, мертвая премудрость. Задачи, подобные той, что приводит в своих воспоминаниях В. Н. Соколов:

«Одновременно из разных мест по направлению к Мекке двигались два паломника. Чтобы заранее расположить к себе Магомета, один из них полз на четвереньках, а другой — вперед пятками. Расстояние между правой ладонью и левой ступней первого составляло столько-то. Длина внешнего и внутреннего шага второго — столько-то. Обоим в одинаковой мере было присуще стремление приблизить момент поклонения священной гробнице. Однако первый через такие-то промежутки времени падал носом на землю, теряя при этом столько-то минут, а второй отклонялся от прямой линии под углом в столько-то градусов. Спрашивается...»

Но даже подобная «наука» суждена была далеко не всем.

Проходив две зимы в церковноприходскую школу, где он не столько учился, сколько чистил дорожку к дому дьячка, бегал на посылках у дьячихи, подавал в алтарь просфоры с поминаниями за здравие и за упокой, таскал подсвечники и читал псалтырь над покойниками, Иван Иванович Кутузов, когда ему стукнуло четырнадцать лет, студеной зимой уехал на заработки в Москву. «Крепко сжималось мое сердце,— рассказывает он.— Жалко было покидать родные поля, дремучие леса, родную деревню...»

Несколько слов В. П. Новикова лучше длинных примеров и рассуждений покажут, какими были обстановка и условия труда на тогдашних фабриках. Вспоминая три десятка лет спустя о своей работе у Циндeля, он говорил: «Скажу только, что в последующее время и до настоящего, когда случается переживать тяжелые моменты, вследствие физического недомогания или подавленного состояния духа,— во сне я всегда вижу себя работающим на этой фабрике».

Тяжелы были условия работы, ужасна жизнь в «спальне» — фабричной казарме; калечили душу дикость, бескультурье, пьянство.

Вот Сормово середины девяностых годов.

«Там слесаря группами охотились на чертежников, которых предпочитали им местные девушки,— рассказывает А. К. Петров,— а котельщики, в свою очередь, охотились за слесарями и токарями, и на этой почве происходили групповые частые побоища, иногда кончавшиеся увечьями и даже убийством».

На льду Москвы-реки «стенка на стенку» сшибались в рукопашной Дангауэровка и Симонова слобода. В Ростове-на-Дону деповские рабочие железнодорожных мастерских встречали весну тем, что отправлялись на Темерницкую балку драться «на кулачках» с заводскими и фабричными рабочими. «Чугунщики» (металлисты) презрительно относились к столярам, звали их «чурошниками» и «гроботесами». Столяры не оставались в долгу, и по сему поводу обе партии взаимно расквашивали носы и выворачивали скулы.

Было, конечно, и иное — стихийный протест, бунты, стачки...

В учебниках, и особенно в пересказах учебников, какие мы, увы, слишком часто слышим от наших лекторов и их слушателей, все выглядит предельно просто. «Во главе...», «Осуществляя...»

А вот попробуй, глядя на то, как «стенка» идет на «стенку», решить на всю жизнь: «Мое призвание — организовать, организовать и еще раз организовать рабочий класс!..»

Чтоб стать большевиком, каждый должен был пойти на огромную внутреннюю ломку и совершить бесконечное множество разрывов — с религией, с друзьями, порой с семьей, с рабством, воспитавшимся всем строем окружающей жизни. Сколько мужества нужно было, чтоб решиться сделать первый шаг — чаще всего им был бунт против религии: не убоявшись «божьей кары», «оскоромиться» в постный день, когда положены только репа с квасом; съесть кусок «трефного» мяса; взглянуть в открытое лицо женщины, хотя это запрещено Аллахом и Магометом, его пророком!

У каждого этот процесс проходил по-своему. Но каждый пережил такой полный перелом во всех понятиях, верованиях, устремлениях...

Толчок этому перелому чаще всего давала книга.

«С тех пор участь моя была решена»,— так определяет Арон Александрович Сольц впечатление, которое произвела на него гектографированная брошюрка, содержавшая изложение взглядов Карла Маркса.

Книга эта не обязательно была нелегальной, не обязательно чисто политической.

В жизни воспитанника шестого класса Нижегородской военной гимназии «имени графа Аракчеева» Сережи Мицкевича такую роль сыграла тургеневская «Новь». «Эта книга произвела полный переворот в моей душе»,— писал он.

До того настроенный верноподданнически, религиозный, свято соблюдавший посты, прочтя «Новь», он, как рассказывал потом Сергей Иванович, «увидел, что революционеры не изверги.., а идейные люди, борющиеся

за благо народа». Затем он прочел Писарева, который был под строгим запретом (за найденную у ученика книгу Писарева исключали из учебного заведения). Писарев произвел на него столь сильное впечатление, что он решил отказаться от военной карьеры и стал революционером, а затем большевиком.

В жизни Михаила Степановича Ольминского решающий толчок дал Некрасов, его поэма «Кому на Руси жить хорошо», особенно последняя ее глава «Пир на весь мир», запрещенная цензурой и распространявшаяся тайком, в рукописных списках.

«Я познакомился с нею в 1878 году, когда она была нелегальной,— вспоминал Ольминский полвека спустя,— переписал ее целиком и так зачитывался ею, что многие места запомнились до сих пор. И теперь, перечитавши ее вновь, пришел к мысли, что именно «Пир на весь мир» наложил печать на характер и направление всей моей жизни».

Для многих рабочих такими книгами оказывались легальные произведения художественной литературы, которые им давали читать люди, так или иначе связанные с революционным подпольем: «Углекопы» Золя и «Записки из Мертвого дома» Достоевского, «Спартак» Джованьоли и поэмы Некрасова, «История крестьянина» Эркмана-Шатриана и очерки Глеба Успенского. Вместе с этими книгами в душу проникали чувства, столь вдохновенно выраженные Белинским:

«...дыши для счастия других, жертвуй всем для блага ближнего, родины, для пользы человечества...»

Вслед за этим приходил черед «запрещенных листочков» — таких, как «Царь-Голод» или «Пауки и мухи». Ну, а дальше шла уже прямая нелегальщина.

«Я жил с братом в общей спальне, насчитывающей около трехсот коек, расположенных сплошными нарами, в несколько рядов...— вспоминает В. П. Новиков.— Это был для меня период страстного увлечения чтением. Среди шума и гама фабричной казармы я ложился незаметно на свою койку и читал без устали. Каждую минуту свободного времени старался провести за книгой; читал ночью, иногда до утра. Любимыми писателями были

русские классики, а любимыми героями — революционеры. Мое восхищение ими было настолько велико, что я старательно выучивал наизусть целые страницы, где они доказывали правоту своих идей».

Естественным следствием такого восхищения книжными революционерами было желание познакомиться с живыми революционерами и сделаться самому революционером.

Потом был кружок.

Потом — первая нелегальная работа.

Потом приходил день, когда участник нелегальных кружков становился членом партии.

И наступал какой-то момент, когда он превращался в профессионального революционера, то есть в человека, который профессионально занимается революционной деятельностью.

Отныне он, как об этом, по собственному опыту профессионального революционера, прекрасно рассказал Андрей Сергеевич Бубнов, «...ежесекундно чувствовал себя солдатом революции и членом партии, находящимся в ее полном распоряжении. С революционной работы он уходил в тюрьмы, в ссылку и выходил «на волю» только для того, чтобы немедленно взяться за партийную работу. И ни в тюрьме, ни в ссылке он не бросал своей работы или подготовки к ней».

V

Каким дьявольским трудом давался им каждый шаг!

Нельзя без щемящей грусти смотреть на цифры, которые относятся к начальному периоду деятельности ленинского «Союза борьбы за освобождение рабочего класса»: на заводе Семянникова Иван Васильевич Бабушкин разбросал четыре прокламации, написанные Владимиром Ильичем печатными буквами от руки. Из них две подобрали сторожа, и только две пошли по ру-

кам рабочих. Первая часть брошюры Ленина «Что такое «друзья народа»...», размноженная на гектографе синими чернилами, по подсчетам С. И. Мицкевича, была выпущена максимум в 250 экземплярах, вероятнее, меньше, а третья часть максимум в 50 экземплярах.

Вспомним неоглядную тьму над тогдашней Россией. Но вот образовалась некая удивительная микрочастица. Несколько десятков человек на многомиллионную страну.

И среди них Ленин!

Ему 23 года. Но все, кто узнал его еще тогда, в один голос говорят, что впечатление он производил необыкновенное. «Уже тогда чувствовалось, что перед тобой могучая умственная сила и воля, в будущем — великий человек»,— пишет А. А. Ганшин. «Мало того, что он был умен и высокообразован,— в его психике было нечто такое, что подчиняло ему слушателей,— отмечает М. А. Сильвин.— ...Чувствовалось, что этот человек нашел самого себя, что основные целевые устремления определились у него прочно на всю жизнь».

Так оценивают Ленина не только его соратники, но и идейные противники. Л. Мартов, к этому времени уже далеко разошедшийся с Лениным, вспоминая, как он впервые читал «Что такое «друзья народа»...», говорит о «революционной страсти», которой веяло от этой ленинской работы. «Брошюра,— пишет Мартов,— обнаружила и литературное дарование и зрелую политическую мысль человека, сотканного из материала, из которого создаются партийные вожди».

Что было бы, если бы не было Ленина?

Ответ, диктуемый логикой, гласит: большевистская партия все равно была бы создана, так как большевизм коренился в условиях эпохи. Разумеется, без Ленина на это дело потребовались бы гораздо более длительные сроки. Разумеется, для этого пришлось бы преодолеть неизмеримо большие трудности. Но в конечном счете партия неминуемо возникла бы.

Так говорит разум. Но душа протестует против его холодных заключений.

Всем существом своим мы можем представить себе нашу партию только с Лениным, с его умом, волей, страстью, с длинным рядом томов, в которых заключена сокровищница его гениальной мысли. Ибо, как прекрасно сказала Зинаида Павловна Невзорова, «вся история партии есть вместе с тем история жизни и работы Ленина». Ленина, каким его увидел мой отец Сергей Иванович Гусев, делегат Донского комитета на Втором съезде партии.

«Сила, выразительнсть, своеобразие и простота речи Ленина,— писал Гусев,— отсутствие всяких украшений ...великолепное спокойствие и постоянная улыбка Ленина, его поразительная простота в отношениях с товарищами... какое-то высшее наслаждение и упоение, с каким он отдавался работе, не уступая ни одной крупицы времени на какую-то «частную» жизнь и не считаясь ни с какими личными связями и симпатиями,— все это уже выделяло Ленина среди той шестерки, которую мы знали как возглавляющую «Искру»...» Того «любимого и долгожданного» Ленина, которого впервые услышал на митинге в «народном доме» графини Паниной в мае 1906 года путиловский слесарь С. Марков.

«Владимир Ильич выступил с блестящей речью, обращенной к многотысячному собранию,— вспоминает С. Марков.— Он выступал под фамилией Карпова, но мы знали, что это он, наш любимый и долгожданный. Мы, рабочие-путиловцы, сидели наверху, а Владимир Ильич говорил с эстрады, это было его первое публичное выступление в Питере. По окончании речи Владимир Ильич предложил резолюцию, которая была принята под гром аплодисментов. Когда Владимир Ильич говорил, мы, что называется, пожирали его глазами, дабы хорошенько рассмотреть: он был одет в пальто, невысокого роста, но хорошо сложен, коренаст; на лице его отражалась лукавая улыбка, странная, загадочная. Впечатление от его речи было колоссальное. Мы были в восторге от его выступления. По окончании митинга наши ребята отправились к себе, за Нарвскую заставу, и всю дорогу говорили только о выступлении Владимира Ильича, о его прекрасной речи. Этот вечер наши сердца были переполнены светлой радостью и окрылены надеждой,

что и на нашей улице будет праздник. Мы не чувствовали под собой ног, возвращаясь с митинга,— мы не шли, а летели».

VI

Каждое поколение нашей партии внесло свой вклад в ее великое дело. Но особого уважения заслуживают, по-моему, те, что были первыми. Те, кому достаточно было слегка повернуть голову, чтобы увидеть позади себя чернеющие на фоне петербургского неба виселицы народовольцев.

Сколько убежденности в своей правоте требовалось для того, чтобы, глядя на эти виселицы, преклоняясь перед памятью героической «Народной Воли», твердо сказать: «Нет, мы пойдем не таким путем, не таким путем надо идти!» И под градом упреков и оскорблений со стороны тех, что объявляли себя единственными преемниками народовольцев, под их насмешливые выкрики, что марксисты-де — «пластыри» капитализма, его «горчичники», что единственная цель марксистов — это помощь капиталистическому преуспеванию, снова и снова отвечать: «Нет, путь «Народной Воли» не наш путь. Мы пойдем по другому пути!»

И тут же заявить господину Струве с компанией:

— С вами мы тоже не пойдем. Мы лезем в огонь не для того, чтоб помочь торжеству господ Колупаевых и Разуваевых. Мы идеологи рабочего класса, и наша цель — коммунистическая революция!

VII

Начало революционной деятельности, а тем более вступление в партию и переход на профессиональную революционную работу означали полный жизненный переворот. Унылое, обывательское прозябание сменялось подлинной жизнью, полной того размаха, ради которого только и стоит жить. Вместо узкой, пошлой среды человек оказывался в обществе людей, которых он называл словом товарищи и которые и на самом деле были его товарищами, тесно сплоченными между собой во имя

общего дела, самого благородного дела, какое только может быть на земле.

Каким высоким счастьем для такого человека было, как писал об этом восемнадцатилетний Фрунзе: «...глубоко познать законы, управляющие ходом истории, окунуться головой в действительность, слиться с самым передовым классом современного общества — рабочим классом, жить его мыслями и надеждами, его борьбой и в корне переделать все...»

Вступая в партию, человек знал, что ему суждены тюрьма, ссылка, каторга, что он узнает тяжесть кандалов и мрак темных карцеров, истощающие тюремные голодовки-протесты, розги в Псковском централе и побои в Орловском, что, быть может, он погибнет в полном одиночестве и после него не останется даже могилы, а только место казни.

Но, зная все это, он не останавливался перед выбором своей судьбы:

Пусть нам погибнуть придется
В тюрьмах и шахтах сырых —
Дело всегда отзовется
На поколеньях живых..

«О том, что эта борьба не на живот, а на смерть должна вестись и что я буду участвовать в этой борьбе всеми доступными мне силами и средствами, в этом для меня лично уже не было ни малейшего сомнения,— писал о себе Петр Ананьевич Красиков.— Это была Аннибалова клятва, которую я и мои ближайшие друзья дали совершенно искренне и твердо...»

Дали эту Аннибалову клятву — и ее выполнили!

Такие чувства охватывали революционера-интеллигента. И с еще большей силой испытывали их рабочие.

«Придешь, бывало, в овраг,— рассказывает рабочий Дорофеев, посещавший подпольные собрания за Калитниками или у забора Андрониевского монастыря в Москве,— вслушаешься в слова оратора — и так хорошо, сильно почувствуешь себя среди товарищей! И уже поздно вечером бежишь на квартиру, точно из школы. Новые переживания, вера в будущее, словно несешь с собой непобедимую товарищескую силу, опору. И не дождешься следующего собрания...»

VIII

С первых же своих шагов на революционном поприще участник подпольной организации должен был овладеть правилами нелегальной деятельности. От профессионального революционера требовалось совершенное владение множеством знаний и навыков.

Прежде всего он должен был досконально изучить науку подпольной работы — конспирацию.

Как всякая наука, она имела некий свод общих правил: вместо имени — партийная кличка; на улицах, при посторонних не раскланиваться с членами организации; снимать квартиры с отдельным ходом и глухими стенами; не хранить писем и фотографий товарищей по подполью; раньше чем войти в квартиру члена организации, удостовериться: условные знаки, предупреждающие, что все в порядке, находятся на месте. Адреса и вообще все, связанное с подпольной деятельностью, полагалось не записывать. Если невозможно было запомнить, их тщательно зашифровывали двойным, а то и тройным шифром. Вместо записных книжек пользовались листками папиросной бумаги, которые можно в случае чего проглотить. Если надо было оставить записку, то ее писали так, что понять мог только тот, кому она адресована.

Александр Михайлович Игнатьев вспоминает такой случай: к нему зашел товарищ по боевой организации партии, не застал, оставил записку: «Был тот, кто лает у ворот». Вернувшись домой, Игнатьев стал раздумывать над тем, что же может означать эта записка. Вспомнил поговорку: «Енот, что лает у ворот». Но кто же мог назвать себя енотом? И догадался: речь идет о Боброве, ибо есть енотовые и бобровые шубы.

О другом подобном случае вспоминает Николай Евгеньевич Буренин. Ему надо было сообщить товарищам, что переноска начиненных динамитом бомб из места, адрес которого стал известен полиции, прошла благополучно. Он написал записку: «Свадебные мешки с конфетами переданы дружкам, и они очень довольны». Записка эта попала в руки жандармов, несколько месяцев пролежала в следственном деле вместе с другими документами, изъятыми при аресте, а потом была возвра-

щена как не имеющая никакого отношения к делу об этих самых бомбах!

Конспирация с ее явками, адресами, паспортами, встречами и проводами должна определять весь образ жизни. Обнаружив за собой слежку, надо уметь «замести хвост», то есть уйти от наблюдателей, а в случае неминуемой опасности ареста «очиститься», уничтожив все, что не должно попасть в руки полиции. Если тебе поручено что-то сохранить, ты должен это спрятать, как говаривали тогда, так, «чтоб не только кто-нибудь, а сам черт не нашел бы».

Набираясь опыта, настоящий конспиратор с годами превращался в сгусток внимания, наблюдательности, мгновенных реакций, безошибочного, интуитивного чутья. Наметанный глаз сразу выделял в толпе подозрительную фигуру с подвижной, все запоминающей физиономией. Этот же глаз при встрече с новым пополнением партии быстро определял людей, из которых выйдет революционный толк, и тех, от кого не только не будет толка, а будет один вред. Недаром тогда полушутя-полусерьезно говорили, что подполье — это великолепная экспериментальная школа для изучения человеческой психологии.

Жизнь эта была полна опасностей, полна неожиданностей.

Вот, к примеру, такое.

Осенью 1903 года Авель Сафронович Енукидзе и его брат Семен решили создать в Баку новую подпольную типографию, продолжающую деятельность знаменитой искровской типографии, известной в конспиративной переписке под именем «Нина».

Для этого Семен Енукидзе, разыгравший богатого барина, снял дом в той части Баку, которая была населена преимущественно азербайджанцами, татарами и выходцами из Ирана и называлась поэтому в просторечии «мусульманской». Поселился там с фиктивной матерью и братом. Затем тайком провел в дом несколько работников типографии. Дело наладилось быстро. В задней половине дома, выходившей в глухой двор и составлявшей в таких домах «женскую половину», была установлена печатная машина. Первым изданием новой ти-

пографии было «Извещение о Втором съезде РСДРП», присланное из-за границы на мелких листках папиросной бумаги.

Типография была тщательно законспирирована. Постели и вещи ее работников на день убирались в задние комнаты, а сами они не появлялись в передней половине, выходившей на улицу. Так что, зайди сюда случайный посетитель, он ушел бы, ничего не заметив.

Такие посетители бывали. То и дело у входных дверей звенел колокольчик.

— Кто там?

— Зелень, вот зелень! Кому редиска, огурцы, киндза, зеленый лук?

Снова звонок.

— Кто пожаловал?

— Мацони! Холодный мацони!

Опять звонок. На этот раз водовоз.

И так весь день...

На праздники приходили городовые. Им полагалось «дать» и «поднести».

А как-то черт принес самого господина околоточного надзирателя. Тот долго сидел, развалившись в кресле, пыхтел, вытирал платком лоб, вел речи о том, что все «мусульмане» — воры и разбойники, и предложил свои услуги, буде таковые понадобятся. За предложение поблагодарили и сунули «красненькую». «Услугами» не воспользовались.

Но вот в одно непрекрасное утро, в дни празднования новруз-байрама, к Семену Енукидзе явился хозяин дома, привел с собой великолепного барана с позолоченными рогами и головой, выкрашенной хной, и объявил Семену, что он, хозяин, решил отправиться в Мекку к гробнице пророка, а по сему случаю продает дом дальнему родственнику, который скоро придет сюда вместе со своими братьями, чтобы осмотреть покупку.

От неожиданности Семен так переменился в лице, что хозяин заметил это и спросил, что с ним.

Семен нашелся. Объяснил, что его огорчило то, что он должен расстаться со столь почтенным и уважаемым хозяином.

Хозяин стал утешать его, что новый хозяин будет еще

лучше. Он, мол, очень хороший и почтенный человек. Он хаджи, побывал в Мекке.

На вопрос Семена, не потребует ли новый владелец, чтобы жильцы освободили дом, старый хозяин ответил, что у покупателя много домов и он даже заинтересован в том, чтоб жильцы остались.

В ожидании негаданных гостей работники типографии со всей нелегальщиной забрались в комнату, в которой стояла машина, заперли двери, окна, ставни. Прислушивались, притаив дыхание.

Около часу дня пожаловало шестеро почтенных седобородых старцев. Семен встретил их у порога и стал водить по дому. Так подошли они к той комнате, в которой находилась типография со всем ее криминалом.

Остановившись у двери, Семен сказал, что это комната матери и сестры и, если хаджи желают осмотреть ее, он просит их повременить, чтобы перевести женщин в другие комнаты. Но верные сыны пророка запротестовали против подобной кощунственной мысли и ушли, дружественно распростившись с Семеном.

Значительную часть профессиональных революционеров составляли так называемые «нелегалы», которые жили под чужим именем, по чужим или фальшивым паспортам, а то и без паспортов.

Вообще переход на нелегальное положение не был обязателен для работника партийного подполья, да и не мог быть обязателен, потому что партии нужны были не только нелегальные, но и легальные люди. Надо помнить также, что на средства партии жили лишь единицы, вообще же партийные работники добывали средства к существованию своим личным трудом, а для «нелегала» это было крайне сложно.

Чаще всего бывало так: человек сколько-то времени работал легально, потом переходил на нелегальное положение, в несчастливый день «проваливался», подлог обнаруживался, в тюрьме человека возвращали в «первобытное состояние», отправляли под своим именем в ссылку. Он либо отбывал срок, либо бежал, и в зависимости от обстоятельств тот же цикл с различными вариациями повторялся снова.

На нелегальное положение обычно переходили либо в интересах дела, либо для того, чтобы спастись от грозящего ареста, либо после побега из тюрьмы или ссылки. В какой-то момент человек вместо своего имени, скажем, Николай, становился по паспорту Провом, для одних товарищей — «Сергеем», для других — «Дятлом», для третьих — «Феклой». А там переезд в другой город, другой паспорт, другие клички, и через сколько-то времени он начинал забывать, как же нарекли его при крещении.

Одно из правил подпольной работы гласило, что члены партии должны быть известны в организации под кличками. Но по какому признаку давалась товарищу та или иная кличка?

Были среди этих кличек ничем не мотивированные или ничего не говорящие. Федора, скажем, начинали звать «товарищ Степан», а Владимира — «товарищ Мирон».

Были глубоко мотивированные. Такая, как «Старик», данная партией молодому, двадцатитрехлетнему, Ленину.

В основе некоторых лежало какое-то сходство: завзятого курильщика прозывали «Сигарычем»; товарища отчаянной храбрости и находчивости — «Чертом», пылкого оратора — «Маратом».

Основу других, наоборот, составляло «антисходство»: шустрого вьюна называли «Налимом», длинного, поджарого дядю — «Санчо Пансой», коротконогого толстяка — «Дон-Кихотом».

Случалось, что какая-нибудь кличка — например, «Воробей» — в одном случае — по принципу сходства — давалась худому, подвижному человеку, а в другом — по принципу «антисходства» — присваивалась какому-нибудь увальню.

Итак, переход на нелегальное положение совершен. В кармане лежит паспорт. Но какого же происхождения этот паспорт?

Возможно, что этот паспорт изготовлен специально занимающимися этим делом людьми, которых прозывают «прачками». Раздобыв чей-то паспорт, они промывают его раствором щавелевой кислоты и других химика-

лий, а затем на чистом бланке вдохновенно вписывают все положенное.

У такого паспорта то достоинство, что приметы, которые в нем значатся, совпадают с приметами его нового владельца. Крупнейший его недостаток: в случае, ежели он покажется дворнику или полицейским чинам подозрительным, посылается запрос на место выдачи, которое в нем проставлено, оттуда следует ответ, что такой паспорт не выдавался, а это влечет за собой соответственные неприятности для его владельца.

Но возможно, что паспорт неподдельный и даже приметы его подходящие. Однако и тут возможны неожиданные казусы вроде того, который произошел с С. И. Гусевым.

Бежав из ссылки и приехав в Петербург, Сергей Иванович Гусев получил через товарищей паспорт, о котором отзывались как о совершенно надежном. Снял комнату. Дал паспорт на прописку. Но несколько дней спустя за ним пришел городовой и препроводил в участок. Оказалось, что подлинный владелец паспорта за дебош в ресторане в пьяном виде присужден к двухнедельной отсидке в полицейской камере.

Делать было нечего: пришлось сесть под арест. На беду, этот владелец паспорта был электротехником, и пристав решил воспользоваться этим, чтоб сделать у себя в участке электропроводку. Вот и пришлось Гусеву выкручиваться, разыгрывая из себя придирчивого мастера, недовольного то проводом, то инструментом и часами рассуждавшего насчет всяких «коэффициентов» и «гальванизмов».

Случалось и хуже. Одному товарищу достался паспорт беглого уголовника, приговоренного к повешению. И два года его таскали «на опознание» по тюрьмам и этапам.

IX

Какой ни на есть, но паспорт в кармане. Получены «связи», вызубрены наизусть адреса явок. Партийный подпольщик приступает к очередному циклу своей деятельности.

Он знает, что ему отпущен неопределенный, но наверняка короткий срок. Дамокловым мечом висит над

ним постоянная угроза ареста. Идя по улице, он осторожно оглядывается, проверяя, не следует ли за ним неотступная тень. Подходя к дому, где находится явочная квартира, глядит, стоит ли на окне, как то было условлено, горшок герани.

Работу, которую он успевает проделать, подчас губят последовавшие за нею провалы. Аресты вырывают то одного товарища, то другого. Только что сколоченная организация распадается под ударами. Приходится снова и снова налаживать, сколачивать, чинить, штопать...

Все это так. Но нет в его жизни большего счастья, чем эти короткие месяцы, а то и дни между тюрьмой и тюрьмой...

День прошел благополучно.

Он начался в семь часов утра на Васильевском острове, в «меблирашке», куда на одну ночь пустил переночевать случайно повстречавшийся приятель по годам детства. К девяти надо встретиться с товарищем с завода Розенкранца. Пришлось то на конке, а больше на своих на двоих отмахать на Выборгскую сторону. Не зря кто-то пошутил, что революционеру прежде всего нужно иметь хорошие ноги, а голова — дело второстепенное. Товарищ с «Розенкранца» принес прокламацию, врученную ему «Максом». Эту прокламацию надо в двенадцать часов передать в Публичной библиотеке девушке, сидящей за третьим столом слева у самого окна. У девушки синие глаза, и она будет читать «Историю цивилизации в Англии». На спинке стула рядом с ней будет висеть газовый шарфик. Надо сесть на этот стул и сказать: «Что-то жарко». На это девушка с синими глазами развернет и положит перед собой книгу. В эту книгу и надо засунуть прокламацию. После этого можно отправиться пообедать в кухмистерскую. В три часа на Мытнинской улице заседание комитета. Оттуда, переменив две конки и даже раскошелившись на извозчика, чтоб наверняка не привести с собой хвостов,— на Забалканский проспект, где назначено свидание с «Михаилом», только что приехавшим из Парижа, от Ильича. Как всегда, масса новых вопросов, все дьявольски интересно. Просидели до одиннадцати вечера.

Но где же сегодня ночевать?

Явочная квартира. Появляется приезжий. Спрашивает некоего товарища, которого знает под кличкой «Мирон». Если явка не «перевалочная», встреча происходит здесь же. Если «перевалочная», приезжего, проверив, направляют на следующую явку. Оттуда, быть может, на третью.

И вот два взрослых человека, с бородой и усами, сидят друг против друга и ведут следующий разговор:

— Товарищ Мирон?

— К вашим услугам.

— Битва русских с кабардинцами...

— Или прекрасная магометанка, умирающая и так далее...

— Где читали вы эту книгу?

— Там, где ловят женихов.

— Хорошо ли там жилось?

— Кормили хорошо, спать было холодно.

Это пароль «трех степеней доверия». Если один из собеседников знал одну лишь первую реплику, это значило, что он может получить только ответ на вопрос, который привез с собою. Знание второй реплики позволяло быть с ним в меру откровенным, но не называть ничьих имен. И только знание третьей реплики означало, что с ним можно разговаривать с полной откровенностью.

В. Н. Соколов, рассказывая об этом пароле, сделал тонкое психологическое наблюдение: к третьей реплике оба собеседника обычно уже смеялись. Благодаря этому, помимо всех прочих своих достоинств, этот неуклюжий пароль обладал еще одним: незнакомые до того люди согласно приходили в хорошее настроение и легче понимали друг друга.

Работа в подполье завладевала человеком полностью, целиком, «со всеми потрохами», употребляя любимое выражение Якова Михайловича Свердлова. Он жил только ею, думал только о ней, воспринимал все окружающее только через нее.

Вот уже знакомый нам В. Н. Соколов едет пароходом из Саратова в Самару, Казань, Нижний, чтоб наладить

транспорт литературы, издаваемой бакинской типографией.

Перегоны на Волге большие. Восходы, закаты, многоверстные заволжские луга, Жигули...

Глядя на изрезанные оврагами и поросшие лесом Жигули, В. Н. Соколов прикидывает:

— Этот лес достаточно укромен, чтобы скрыть, скажем, хорошую типографию. Бакенщик всегда может посадить и снять пассажира на ходу. Пароход может вызвать бакенщика для доставки пассажира на берег. Кто он, откуда, почему и зачем, пароход не знает. Случайно принят и случайно слез, и никому до него нет дела. И если мы заведем двух бакенщиков...

В то самое время, когда В. Н. Соколов едет по Волге, А. С. Енукидзе, работавший в типографии, продукцию которой должен был переправлять В. Н. Соколов, сидит в кабинете жандармского ротмистра Карпова. Неделю назад Енукидзе был арестован в Баку на улице, и чуть ли не каждый день его возили из Баиловской тюрьмы на допросы в жандармское управление.

За несколько дней до ареста Енукидзе узнал, что вышли двадцать второй номер «Искры», в котором был напечатан проект партийной программы, а также ленинская брошюра «Что делать?». Оба эти издания были уже отправлены из Женевы в Баку и должны были бы уже прибыть, но транспорт где-то задержался. Не провалился ли?

В самый разгар этого тревожного ожидания Енукидзе и был арестован. И вот сейчас, в то время когда он сидел на допросе, в кабинет ротмистра Карпова принесли два больших чемодана. Карпов встал из-за стола, поднял крышки чемоданов, сказал, обращаясь к Енукидзе:

— Полюбуйтесь, господин Енукидзе! Это ваши вещи?

Енукидзе посмотрел и увидел, что чемоданы доверху полны заграничными изданиями «Искры». Это был тот самый транспорт искровских изданий, который он ждал.

Ох, и досадно же!

Карпов готовился задать какой-то вопрос. Но тут его вызвали к начальнику управления. Уходя, он оставил Енукидзе в кабинете и наказал стоявшему тут же жандарму: «Смотри за ним!»

У Енукидзе была в эту минуту одна лишь мысль: во что бы то ни стало, любой ценой завладеть хоть чем-нибудь из того, что находится в чемодане. Мысль дерзкая и отчаянная, ибо он знал, что его отправляют в Тифлис, в Метехскую тюрьму,— значит, предстоит несколько обысков. Но будь что будет!

— Земляк,— негромко сказал он, обращаясь к жандарму.— А земляк! Позволь поглядеть книжечки!

Жандарм хмуро проворчал:

— Гляди. Только скоренько...

Первое, что увидел Енукидзе в чемоданах, были долгожданный двадцать второй номер «Искры» и ленинское «Что делать?».

Как? Подержать в руках и положить обратно? Полно! Да мыслимо ли это?

— Земляк,— снова позвал Енукидзе жандарма.— А нельзя ли мне эти две книжечки взять с собой?

Жандарм сначала решительно отказал. Потом буркнул:

— Ладно, бери... Только поосторожнее.

По дороге в Тифлис Енукидзе ловко спрятал драгоценный подарок, полученный в жандармском управлении, и благополучно пронес его в Метехский замок.

Эти партийные документы создали целую эпоху в жизни Метехской тюрьмы. В политических камерах устроили настоящие школы по изучению проекта партийной программы и ленинского «Что делать?».

X

Сам Владимир Ильич Ленин был в подпольной работе мастером самого высокого класса. Вероятно, еще юношей, после гибели брата Александра, он задумался над тем, почему провалилось так называемое «дело Первого марта 1887 года», почему на Невском были арестованы метальщики, которые должны были бросить бомбы в царскую карету, почему вслед за их арестом последовал полный разгром организации и арест всех ее участников.

Только много лет спустя, уже после Октябрьской революции, открывшей тайны царских архивов, стало известно, что причиной этого страшного по своим последст-

виям провала было грубейшее нарушение правил конспирации, допущенное одним из участников дела. Но и не зная этого, Ленин с самого начала своей революционной деятельности придавал важнейшее значение самому строжайшему, самому неуклонному выполнению всех конспиративных правил.

Соблюдение этих правил, а также природная находчивость и наблюдательность помогали ему не раз уходить от почти неминуемого ареста. Так, в Петербурге, «подцепив», как говорили тогда, шпика, он увидел, что уйти от своего преследователя не сможет. Но он не растерялся... Подойдя к парадному ходу какого-то дома, он нырнул в него и уселся на стоявший у самого входа стул. Шпик принял его за швейцара и пробежал мимо.

Такая же находчивость помогла ему благополучно провезти из-за границы чемодан с двойным дном, в котором было запрятано изрядное количество запрещенной литературы.

Только строгая конспиративность позволила Владимиру Ильичу сравнительно долго проработать в Петербурге до ареста его совместно с остальными участниками «Союза борьбы за освобождение рабочего класса». Ей же обязан он тем, что ни разу не был арестован во время своего пребывания в России и Финляндии в 1905—1907 годах.

При этом он никогда не прятался от опасности, никогда не думал только о себе. Нет, он был смел и отважен и именно поэтому умел перехитрить врага.

Характерный случай рассказывает Николай Леонидович Мещеряков. В начале 1906 года, после поражения Декабрьского вооруженного восстания, когда Москва была буквально наводнена полицией и агентами охранки всех чинов и рангов, Владимир Ильич приехал из Петербурга в Москву, чтобы обсудить совместно с московскими товарищами вопросы, связанные с боевой подготовкой нового вооруженного восстания.

Однажды, когда он шел на нелегальное собрание, его встретили товарищи, предупредили, чтобы он не ходил туда, там полиция. Владимир Ильич наотрез отказался уйти и оставался с товарищами до тех пор, пока это было нужно, чтобы никто не попал в полицейскую ловушку.

Вершиной конспиративной деятельности Владимира Ильича Ленина было его последнее подполье в 1917 году, когда Временное правительство отдало приказ об его аресте и ему грозила кровавая расправа.

Все ищейки были поставлены на ноги. Петроград «прочесывали» вдоль и поперек. Контрреволюционная шваль и во сне и наяву мечтала схватить и убить Ленина. А он не только ушел и благополучно скрывался в Разливе и Финляндии, но, когда почувствовал, что настроение масс созрело для новой схватки с буржуазией, вернулся в революционный Петроград и из глубокого подполья руководил подготовкой великого Октябрьского штурма!

Когда думаешь о Ленине и пытаешься воссоздать его образ, рядом с ним всегда видишь лицо Надежды Константиновны Крупской.

Как следует говорить о ней: соратник, друг, жена? И то, и другое, и третье, и все вместе. Редко можно встретить такую близость, такую гармонию личного и общественного, такое глубокое взаимопонимание, как то, что существовало между ними.

Нашу подпольную партию невозможно представить себе без Владимира Ильича. Но ее нельзя представить себе и без Надежды Константиновны.

В том естественном разделении труда, которое возникло у них с Владимиром Ильичем в годы создания партии, Надежда Константиновна взяла на себя самую кропотливую, словно бы незаметную, но необходимейшую работу: поддержку связи с Россией, с русским подпольем, с товарищами по партии.

Изо дня в день, а порой и из ночи в ночь, склонившись над столом, Надежда Константиновна расшифровывала и зашифровывала письма из России и в Россию.

Если письмо шло почтой, обычно сначала писался так называемый «скелет» — невинное письмо с рассказом о всяческих домашних происшествиях, а между строками невидимыми химическими чернилами вписывался подлинный текст письма. При этом все, что имело конспиративный характер: фамилии, пароли, адреса, явки,— все это зашифровывалось: вместо букв употреблялись

цифры. Ключом шифра чаще всего бывало какое-нибудь литературное произведение. Так, в переписке с Еленой Дмитриевной Стасовой основой для шифра служила басня Крылова «Дуб и Трость», в которой, несмотря на небольшие ее размеры, есть все буквы русского алфавита.

Трудно, делая такую однообразную и будничную работу, не скатиться к штампам, к канцелярским фразам, к безликим повторам. И нельзя не поражаться огромному душевному таланту Надежды Константиновны, которая каждое письмо писала по-новому, внося в переписку и юмор, и ласку, и теплоту.

«Работа закипела, и мы не сомневаемся в успехе,— пишет она в одном из писем.— Только просим и молим россиян напрячь все силы, чтобы поставить как можно лучше корреспондентскую часть и связать с нами как можно теснее». «У нас на руках масса ценного народу, рвущегося в Россию,— сообщает она в другом письме,— но нет ни сапог, и ни сантима в кассе... Каждую минуту нам угрожает полное банкротство».

У нее вообще был очень своеобразный стиль, масса своих словечек, умение охарактеризовать человека, тонкий юмор.

«Он оказался лгунишкой, хвастунишкой, а главное, болтунишкой»,— пишет она об одном из российских работников, приехавших в Женеву. «Пригрейте его»,— просит она одесских товарищей, к которым едет «один паренек», по всей видимости, способный пропагандист. Распекает петербуржцев за то, что от них давно нет писем. Из-за этого задерживается выход большевистской газеты, «а эти черти не пишут! Крепко жму руку, а непишущим чертям шлю привет».

Живется ей и Владимиру Ильичу трудно. Она этого не скрывает, но тут же восклицает: «У нас настроение теперь бодрое, рабочее».

XI

Неизвестно, где провести эту ночь. На вокзале? Там полным-полно шпиков. Снять номер в гостинице? Придется дать в прописку паспорт, а он всем бы хорош, но вместо печати к нему приложен медный пятак с затер-

тыми хлебным мякишем буквами, чтоб на бумаге отпечатался только орел. Работа неважная... К тому же на номер в гостинице нет денег. Остается направить стопы за Невскую заставу. Прошагаешь полночи, зато ночлег будет...

Еще день, отданный кропотливым поискам живых связей. Тут завязан узелок. Там удалось что-то наладить. На таком-то заводе начал работать кружок. В таком-то районе, видимо, удастся провести партийную конференцию. Нет, время потрачено не зря.

Но уже «спущено» предписание относительно имярека: «Разыскать, арестовать и препроводить, куда следует». За спиной уже маячат неотвязные тени в гороховых пальто. Слежка становится все неотрывнее. Кольцо сжимается все плотнее и плотнее. Еще день... Еще час... И —

Не пылит дорога,
Не дрожат листы,
Погоди немного —
Попадешь в «Кресты».

О, российские тюрьмы, остроги, крепости, каторжные централы, участки, казематы, каталажки, полицейские «части», именуемые в просторечии «блошницами» или «клоповниками», тюремные замки, предварилки, пересылки! Вы, о которых народная мудрость говорила: «Тюрьма, что могила: всякому место есть». И она же добавляла: «Умного ищи в тюрьме, а дурака — в попах...»

Тюрьмы бывали разные: большие и маленькие, деревянные и каменные, старинные остроги, выстроенные задолго до времен Очакова и покоренья Крыма, и сооружения новейшего стиля, усердно возводившиеся после 1905 года и соединявшие достижения русской и американской тюремной мысли.

В одних тюрьмах стояла мертвая тишина. В других шум не умолкал ни днем, ни ночью. Там — одиночка. Здесь — общие камеры. Но везде окно, затянутое чугунной решеткой. Везде дверь, замкнутая снаружи на железные замки и засовы. А в углу камеры — неизменная параша.

И вот человек, который энное количество времени жил в непрерывном напряжении, не зная ни дня, ни но-

чи, мотался по адресам и явкам, вечно спешил, вечно не успевал, вечно был на ногах, страдал за каждую минуту, потерянную зря, в междуделье,— этот человек вдруг оказывался в остановившемся мире, где время существует только для того, чтобы его убивать, пространство равно семи шагам в длину и трем шагам в ширину, а единственную форму движения составляет монотонная ходьба из одного угла камеры в другой, руки назад, глаза в пол.

До какого-то времени человек надеется на чудо: обвинение не сумеет добыть достаточные доказательства, суд вынесет оправдательный приговор. На худой конец, отправят в ссылку, откуда, может быть, удастся бежать.

Но настает день, когда ему объявляют приговор: столько-то лет тюремного заключения в одиночной камере. Все надежды рухнули.

Даже такой закаленный в боях и твердый человек, как Михаил Степанович Ольминский, испытывает в такую минуту приступ отчаяний.

То бред иль сон? Объявлено решенье:
Тюрьма! Годами жизнь черпай!
Прощай, друзья! Прощай, освобожденье!
Родная, милая, прощай!

. . . .

Я все отдал святыне идеала,
Ему служенье — жизнь моя!
Но человек я, и удар кинжала,
Как всякого, разит меня!

Я был раздавлен, но сдержу рыданья,
Не дам злорадствовать врагу
И для тебя в последнее свиданье
Принять спокойный вид смогу!..

И тут приходит на помощь верный друг — книга!

«Книга в одиночке — это целый мир, захватывающий, увлекающий,— рассказывает С. Н. Сулимов.— С книгой беседуешь, книга тебе друг, воспитатель твой. С книгой незаметно летит ненужное время, книга заставляет не замечать одиночества. Она вливает бодрость, ставит тебя выше будничных житейских мелочей».

Страсть к чтению столь велика, что с книгой забывается все.

«Тяжело, душно, тесно,— пишет из тюрьмы Алексей Ведерников-Снбирняк, отбывающий в централе приговор на шесть лет каторжных работ.— Если бы вы видели все подробности нашей жизни, вы бы ужаснулись...»

И тут же просит: «Книг! Книг! Книг!»

«Когда у меня есть хорошие книги,— пишет он,— то жизнь кажется даже приятной, и я иногда думаю, что если бы был на воле, то многого даже не узнал бы из того, что знаю сейчас, так как у меня едва ли хватило бы времени все это прочесть».

Интересен перечень книг, которые просит прислать ему этот бывший слесарь, все образование которого составляла церковноприходская школа: Мережковский, Куприн, Андреев, книги по детской литературе и воспитанию детей, воздухоплаванию, стенографии, интегральному исчислению.

Да, недаром многие делегаты Шестого съезда партии, заполняя анкеты делегатов съезда, на вопрос о полученном образовании отвечали: «Тюремное».

Тяжкая это вещь — тюрьма, через которую почти наверняка суждено было пройти каждому, вступившему в ряды большевиков, членов подпольной ленинской партии. Мертвое однообразие тюремной жизни прерывалось лишь трагическим криком потерявшего рассудок или казнью, совершаемой тут же, в тюрьме.

В 1911 году Сергей Миронович Киров был арестован во Владикавказе и доставлен по этапу в Томск, где его поместили в камеру, выходившую окнами во двор, где приводились в исполнение смертные приговоры. Сохранилось письмо, написанное им тогда же и тайно переданное его невесте, Марии Львовне Маркус:

«За стеной раздался специфический стук топора: делают эшафот. В тюрьме тихо, как на кладбище, но многие не спят — чуткое ухо заживо погребенных ясно различает удары, слышит шаги приближающейся смерти... Надзиратели отступают, чтобы дать дорогу совершающему свой последний путь осужденному. Лязг цепей усиливается... Палач берет папиросу, попробовал свою черную маску (он не дерзает открыть свое нечеловеческое лицо) и принял позу выжидающего. И как бы навстречу ему надзиратели поспешно ведут обреченного на казнь... Среди мертвой тишины раздается команда:

«Смирно!» Надзиратели становятся во фронт. «По указу его императорского величества... временный военный суд...» Но вот приговор окончен, и рядом с осужденным показался священник...»

Какой огромный запас воли и душевных сил нужен, чтоб не дать себя сломить, чтоб все это выдержать! Человек должен бороться не только с тюремщиками, но и с самим собой, со своими нервами, с охватывающим его чувством безразличия и расслабленности, с безнадежностью и порывами отчаяния.

Когда, зная все, что приходилось вынести большевикам в царских тюрьмах, берешь в руки ставший от времени каким-то легким и слабым листок бумаги, перекрещенный желтыми полосами, и знаешь, что это письмо из тюрьмы, всегда ждешь, что тебе предстоит прочесть что-то тяжелое и страшное.

Но нет!

«За меня не беспокойтесь,— пишет на волю родным Аркадий Федорович Иванов.— Во мне растет и ширится огромная внутренняя жизнь. Каждый час моего пребывания в каземате заполнен каким-то интересным и полезным делом. Сплю без кошмаров и «баланду» поглощаю с отменным аппетитом».

Такие письма не исключение, а скорее правило.

Но, может быть, их тон продиктован желанием успокоить родных и друзей?

Было и это. Но не только это.

Вот, к примеру, рассказ о том, как вел себя в «Крестах» Емельян Ярославский, попавший туда в пору реакции, когда тюремный режим ухудшался чуть ли не с каждым днем.

«Усиление тюремных репрессий,— вспоминает А. Васильев,— на него (Емельяна.— *Е. Д.*) действовало как раз в противоположном направлении. Он всегда был весел и с каждым нововведением в тюремной жизни, направленным на усиление репрессий, становился лишь более шутлив по этому поводу да отвечал на каждое такое нововведение все большим количеством острот. В тюрьме он был первым по добыванию новостей из-за ее стен и по распространению их среди своей братии. Во

всех новостях он быстро ориентировался и мог сейчас же дать им истолкование, как вполне убежденный, незыблемый большевик и марксист».

Как прекрасно это неожиданное выражение: «незыблемый большевик»!

Емельян Ярославский был арестован 29 мая 1907 года в Петербурге, у Финляндского вокзала, когда он возвращался с Лондонского съезда партии. Доклад о съезде, вместо того чтоб сделать его перед партийной организацией, делегатом которой он был, он сделал в «Крестах», перед товарищами по тюремной камере. Затем написал его и пустил по тюрьме.

Там же, в «Крестах», он написал поэму «Сон большевика».

Над седой равниной моря
Ветер тучи собирает,
Между тучами и морем
Громко песня раздается,—
Большевик поет ту песню,
В этой песне жажда боя
И уверенность в победе...

Емельян Ярославский назвал свою поэму «шутливой». В ней и на самом деле много шутки — и по поводу «Аксельродика», который «тихо ходит... песню слушая, вздыхает». И по адресу Мартынова, желчно укоряющего Ленина,— «агитатора за восстание». Мягкий, шутливый тон сохраняет автор и тогда, когда он рассказывает о встрече с Лениным:

Вот уж берег Альбиона
Видит даже близорукий...
Там на береге высоком
Ленин машет шляпой белой...

Но потом тон поэмы поднимается до пафоса, чтоб оборваться трагическим финалом:

Восхищенный этим видом,
Громче песнь свою победы
Запевает якобинец...
. . . .
Где-то шаркают опорки,
И стучат ключами где-то,

И звонок протяжно-долго
Раздается в коридоре...
«Спаси, господи!» — несется...
Кипяток... Прогулка... Книга...
Нет ни моря, нет ни песен...
Часового штык да клетка!

XII

Дни и ночи. Ночи и дни. Лишь зачеркнутые клеточки самодельного тюремного календаря отмечают их длинную череду.

Но вот открывается волчок, и надзиратель объявляет: «Собирайся с вещами!»

В тюремной канцелярии дают расписаться под казенной бумагой, из коей явствует, что министр внутренних дел утвердил предложение особого совещания при министерстве, признавшего, что «пребывание такого-то в европейской части России является весьма вредным для общественной безопасности», а посему он подлежит высылке в административном порядке в такой-то край под гласный надзор полиции.

Вызов «с вещами» может быть и на суд. А приговор — и каторжный и смертная казнь.

Если это ссылка, то дальше — этап, странствование от пересылки к пересылке, уголовники, грубость конвоя. Повсюду грязь, окурки, заплеванные полы...

Но после нескольких лет, проведенных в каменном мешке, даже это кажется счастьем.

«Свобода! Свобода! — пишет Алексей Ведерников-Сибиряк на пути из Ярославского каторжного централа в ссылку.— Скоро буду бродить совершенно свободно без надзирателя по родному сибирскому лесу. Мне даже кажется как-то странным идти куда вздумается, без надзора. А окна будут без решеток — и если вздумается, то можно в любое время вылезти в окно. Вам может показаться смешным, но я серьезно говорю, что после шести лет сидения за решеткой, когда я впервые после освобождения шел по улицам Ярославля до вокзала и видел в домах окна, я считал их не настоящими, а устроенными только для украшения, так как они были без решеток и на них были навешены занавески и наставлены цветочные горшки».

Дальше — ссылка. В места «отдаленные» и «не столь отдаленные». Вроде Березова, куда Сергей Иванович Гусев попал без малого два столетия спустя после Меншикова, но застал там все почти в таком же виде, как было при опальном царедворце: сотня домишек, две церкви, кладбище, деревянная каланча. «И все! — пишет Гусев товарищу по тюремной камере.— Все это можно обойти в десять минут: все улицы, все лавки, церкви, каланчу, кладбище...»

Гусев тяжело болен. Он сидит без денег, без книг, без газет. Но и теперь, по собственному его признанию, он не разучился хохотать, находить смешное и изобретать его в случае надобности.

Так, описывая в одном из писем свою «деятельность на поприще пропитания живота своего», он заключает этот рассказ следующим выводом: «Замечательнее всего, что я обнаруживаю в кулинарном деле неожиданные для самого себя таланты... Вероятно, во мне погиб гениальный повар, и несомненно, что среди марксистов я наилучший повар и среди поваров наилучший марксист».

Тяжек путь в ссылку.

«Бесконечная лента Лены — единственный путь, соединяющий цивилизованный мир с якутской пустыней,— пишет М. С. Ольминский.— И зимой и летом некуда свернуть с Лены, кроме как в безлюдную тайгу и снеговую пустыню. И люди и даже перелетные птицы не знают иного пути с юга на север на протяжении трех тысяч верст. Ссыльных отправляли летом сплавом на паузках, похожих издали на плавучие гробы... Уже вторую неделю плывут паузки, а конец еще далеко... На склонах всюду один и тот же бесконечный лес, сибирская тайга, успевшая зазеленеть за время плавания. Река повернула на северо-восток, и невольная жуть охватывает при мысли, что направо от тебя на тысячи верст, до самого Великого океана, протянулось безлюдье. И будешь плыть так все дальше и дальше, пока паузок не выбросит тебя на одно из грязно-серых пятен, к которому ты и будешь привязан на многие годы. И вот, несмотря на всю прелесть весны среди дикой природы, мысль настраивается враждебно к ней, а голова работает над вопросом, как бороться... Родятся и обдумываются планы побегов».

Разбирая архивы, перечитывая письма и воспоминания, обнаруживаешь интересную вещь: многим тюрьма и каторга давались менее тяжело, чем ссылка.

В чем тут причина? В том, что на каторге люди были в коллективе и те страдания, которые они переносили, объединяли их между собой.

В ином положении был ссыльный, попавший на какой-нибудь «станок» или маленькую глухую деревушку да и в такой город, как Березов. Он лишен права на труд. Ему запрещено выходить даже за околицу. Заработка нет. Он берется за все: кузнечит, слесарит, делает жестяную работу, чинит самовары, гонит смолу и деготь, катает пимы, пасет скот. Но все эти заработки столь мизерны, что он обречен на холод и голод.

Другое дело там, где есть сплоченная колония. Там налажена и учеба и экономическая жизнь ссыльных, да и политическая жизнь тоже бьет ключом.

Достаточно вспомнить нарымскую ссылку тех времен, когда в ней были Свердлов, Куйбышев, Голощекин, Аркадий Иванов, Косарев. Там даже первомайские демонстрации устраивались, а охранное отделение систематически доносило в департамент полиции, что находящиеся там административно-ссыльные снабжаются литературой из Лондона и Берна. Что из Франции ими получены материалы по подготовке созыва общепартийной конференции. Что ссыльные отправили письмо в Париж на имя неизвестного охранному отделению лица, но подлинным адресатом, судя по тексту письма, является «известный государственный преступник В. Ульянов».

Однако ссылка — это всегда ссылка. И лучшее из всего, что можно сделать, находясь в ссылке,— это бежать!

XIII

Почему до сих пор никто не написал повесть большевистских побегов? Трудно найти что-нибудь более увлекательное по своему уму, дерзости, отваге, находчивости, нечеловеческому упорству.

В партии были люди, на счету которых имелось пять, семь, десять, даже тринадцать побегов. И каких побегов!

Но главное, эти побеги совершались не для того, чтобы из ссылки скрыться где-нибудь в «тихой заводи», но чтоб сразу же с головой уйти в нелегальную партийную работу, заведомо зная, что это дело неминуемо окончится новым арестом и новой, еще более далекой и трудной ссылкой.

Вот Виктор Павлович Ногин. Рабочий-красильщик с фабрики Паля за Невской заставой. Участник рабочего движения с девяностых годов прошлого века. Один из активных организаторов знаменитых забастовок на фабриках Паля и Максвелла.

В 1898 году арестован. Просидел год в «предварилке». Выслан в Полтаву. Тотчас бежал.

Оказался в Англии. В 1901 году агентом «Искры» поехал в Россию. Работал в Москве и Петербурге. Арестован. Просидел год. Выслан в Енисейскую губернию. Бежал.

Попал в Женеву. Полтора месяца спустя вернулся в Россию, работал в Екатеринославе, Ростове-на-Дону, Москве. Арестован в марте 1904 года. Отправлен в тюрьму польского города Ломжа. Просидел там семнадцать месяцев. Выслан в село Кузьмино на Кольском полуострове. Восемь дней спустя бежал.

Пожив короткое время в Женеве, в конце 1905 года вернулся в Россию. Работал в Петербурге, Баку, Москве. Был делегатом Москвы на Лондонском съезде партии. Арестован в 1907 году по делу Московского комитета. Четыре месяца Таганской тюрьмы. Ссылка в Березовский уезд Тобольской губернии. Через неделю по прибытии в ссылку бежал.

В январе 1909 года арестован в Белоострове при попытке проехать по фальшивому паспорту в Финляндию. Летом возвращен на прежнее место ссылки, в Березовский уезд Тобольской губернии. Четыре дня спустя бежал.

В начале 1910 года, как член ЦК, избранного Лондонским съездом, участвовал в Пленуме ЦК в Париже. Оттуда вернулся нелегально, в Москву, потом поехал в Баку, снова приехал в Москву. Арестован по доносу провокатора Малиновского. Сослан в Туринск Тобольской губернии. Через несколько дней бежал.

Нелегально поселился в Туле. Вел партийную работу вплоть до дня ареста в марте 1911 года. На этот раз сослали в Верхоянск. Шел туда этапом год. Первое, о чем подумал, прибыв на место ссылки: «Можно ли бежать?» Понял: невозможно!

Да, бежать оттуда было невозможно.

«После отлета птиц,— писал потом В. П. Ногин,— в Верхоянске наступает мертвая тишина. В начале зимы ее нарушают лишь звенящие звуки, несущиеся с Яны, когда лед на ней еще тонкий. Этот звон возникает от легкого сотрясения льда на Яне, которое вызывается течением».

Кругом безлюдные тысячеверстные пространства. Зимой — снега, летом — непроходимые болота. Этот край был до того пустынен, так мало было в нем жизни, что постоянно думалось о небытии. «Начинаешь представлять себе землю, покрытую трещинами, замерзшую и безжизненную, а себя — последним человеком, оставшимся на ней,— пишет Ногин.— Забываешь о пространстве, о времени, сближаешься с вечностью».

Нигде ссылка не знала такого высокого процента самоубийств и случаев душевного помешательства. Все толкало к тому, чтоб впасть в прострацию, утопить тоску на дне бутылки, потерять веру в будущее.

Так случилось со многими. Но не с большевиком Ногиным.

Против тоски он нашел верное лекарство — работу.

Но какую работу можно было делать здесь, на полюсе холода?

Изучать окружающую жизнь.

Время Виктора Павловича Ногина было заполнено до предела: он отмечал день за днем время прилета и отлета птиц, появление цветов, признаки весны или наступления зимы. Производил тщательные метеорологические наблюдения. Пытался найти удовлетворительную гипотезу для объяснения особенностей местного рельефа — например, янских лугообразных впадин, которые он прозвал «амфитеатрами».

Но больше всего увлекли его полярные сияния. Он возился с самодельным угломерным инструментом, производил подсчеты, выводил формулы, чтоб найти объяснение этому явлению.

«Наблюдая полярные сияния,— пишет он,— я увлекался и забывал, что нахожусь в Верхоянске: забывал о всех своих мрачных мыслях и видел перед собою только землю, охваченную от полюса до полюса лучами сияний. Мне хотелось понять это явление и поставить его в связь с другими явлениями природы. Я строил ряд гипотез. Может быть, они и не выдержали бы научной критики, но мысль об этом не останавливала меня. Я думал и уходил мыслями далеко от всех тех пут, которые давили меня».

Параллельно с этим В. П. Ногин с такой же серьезностью и пытливостью изучал условия жизни местного населения.

Хотя и раньше ему приходилось бывать в очень глухих углах, но такого, как здесь, он еще не видел. Тут не было известно даже употребление колеса! История словно отодвинулась на несколько тысячелетий назад, к первобытному обществу, в котором, однако, имелись урядники, становые, водка, сифилис и купцы, обманывающие и грабящие несчастных якутов.

И еще одним занимался Ногин: расспрашивал местных жителей, собирая сохранившиеся на руках письма и вещественные памятники, он восстанавливал трагическую историю якутской ссылки.

Ему и сейчас бывало трудно. И сейчас бывали минуты, когда он чувствовал себя настолько изъятым из жизни, что переставал ощущать жизнь в себе самом. Но все же основным, что определяло весь тонус его существования, была работа, было творческое горение, плодом которого явилась изумительная книга «На полюсе холода», полная наблюдательности, эпической силы и тонкого юмора.

Виктор Павлович Ногин не был ученым. Он не имел высшего образования. И даже среднего.

Он, как и другие товарищи по партии, прожившие такую же, а порой еще более трудную и бурную жизнь, был большевиком ленинской школы. В этом разгадка необыкновенной натуры этих людей.

XIV

Огромнейшее место во всей их жизни занимал Ленин.

Приезжему из-за границы они первым долгом задавали вопрос: видел ли он Ленина? Встречаясь между собой, говорили: «Вчера получено письмо от Ленина...» Или: «А знаете, что думает Владимир Ильич по поводу последней стачки?» Или: «Приходите, сегодня будет делать доклад товарищ, побывавший в Женеве у Ленина». «Ленин пишет...», «Ленин считает...»

Получение письма от Ленина, от Надежды Константиновны Крупской было для них величайшей радостью. «Дорогие и славные! — писал Владимиру Ильичу и Надежде Константиновне Иван Иванович Радченко.— Не получая от вас писем, делается грустно... Ваши письма, какие бы ни были, приносят с собой для меня бодрость». Рассказывая об этих письмах, Глеб Максимилианович Кржижановский говорил: «Каждый из нас вспоминает, как подбадривали нас эти записки и письма... Всегда здесь было кое-что идущее от самой Надежды Константиновны — такое простое, дружеское и вникающее. И мир революционных подпольщиков никогда не вычеркнет этого из своей благодарной памяти».

Яков Михайлович Свердлов, который всю жизнь провел в России — то в подполье, то в тюрьмах и ссылках — и впервые встретился с Лениным после революции, в апреле 1917 года, рассказывал, что у него была сложившаяся еще в молодые годы привычка перед тем, как заснуть, «поговорить» с Лениным — отчитаться перед ним в прожитом дне, посмотреть на все сделанное «ленинскими глазами», выслушать его критические замечания, найти вместе с ним правильные решения.

Но Ленин был в их душе не только Лениным. «Для нас, местных подпольщиков, не бывавших в эмиграции и не работавших под его непосредственным руководством за границей,— пишет А. Шлихтер,— товарищ Ленин и тогда уже был не только и не просто Ленин, а именно «Ильич». Его авторитет и обаяние как нашего большевистского вождя и т о в а р и щ а в лучшем смысле этого слова уже тогда прочно закрепили в нашей партии отношение к товарищу Ленину, как к близкому, родному, н а ш е м у Ильичу».

При всем своем историческом величии он был так человечен; у него, говоря словами А. В. Луначарского, рядом с ясным, всеобъемлющим умом было такое горячее, всеобъемлющее сердце; моральная и умственная стороны натуры существовали в нем в такой необычайной гармонии; весь он был столь доброжелательный, такой чистый идейно, такой прекрасный в каждом малейшем своем проявлении, исполненный такого обаяния, что, выступая вскоре после смерти Владимира Ильича на собрании московской художественной интеллигенции, Анатолий Васильевич воскликнул: «О, если бы искусство, которое мы будем творить с сегодняшнего дня, было бы достойно того человека, который стоял во главе нас, это было бы поистине великое искусство!»

XV

Владимир Ильич не раз сравнивал партию с оркестром, в состав которого входят самые различные инструменты — и скрипки, и виолончели, и ударные, и медные трубы — и звучание которого зависит от соразмерности и согласованности действий каждого из его участников.

Так и партия! Намечая формы ее работы в условиях подполья, Ленин писал, что в ней должны быть созданы самые разнообразные группы: транспортная, типографская, паспортная, группа по устройству конспиративных квартир, группы студенческой и рабочей молодежи, группа по снабжению оружием. Все искусство конспиративной организации, учил Ленин, должно состоять в том, чтобы использовать в с ё и в с я, дать работу всем и каждому, сохраняя в то же время р у к о в о д с т в о всем движением, сохраняя, разумеется, не силой власти, а силой авторитета, большей энергии, большей опытности, большей разносторонности, большей талантливости.

Условия работы этих групп сильно разнятся между собой. У каждой свои особенности, свои сложности, свой опыт, свой голос в звучании «оркестра», именуемого партией.

Пропаганда. Привлечение в партию новых людей. Воспитание авангарда рабочего класса. Распространение

идей революционного марксизма, который, как писал о себе С. И. Гусев, был для впервые приобщившихся к нему, «как молния в ночи».

Работа, которая кажется порой мелкой и кропотливой. Чтоб попасть в кружки, пропагандист должен ходить из одного конца города в другой. Вечные неполадки: то кто-то не пришел, то не достали нужной литературы, то кружок не может состояться из-за того, что возле дома околачивается некая подозрительная личность.

Все это так. Но зато какое глубокое удовлетворение испытывает он, если ему выпадает счастье пережить минуты, подобные тем, которые описывает И. И. Радченко в письме в редакцию «Искры». Рассказывая о своей беседе с группой передовых рабочих, он пишет: «...Я был поражен. Передо мной сидели типы Ленина. Люди, жаждущие профессии революционера. Я был счастлив за Ленина, который за тридевять земель, забаррикадированный штыками, пушками, границами, таможнями и прочими атрибутами самодержавия, видел, кто у нас в мастерских работает, чего им нужно и что с ними будет. Верьте, дорогие, вот-вот мы увидим своих Бебелей, действительных токарей-революционеров. Передо мной сидели лица, жаждущие взяться за дело... взяться так, как берутся за зубило, молоток, пилу, взяться двумя руками, не выпуская из пальцев, пока не покончат начатого, делая все это для дела с глубокой верой — я сделаю это».

Вот что способна совершить с людьми пропаганда ленинской мысли, ленинского слова, ленинских идей!

Как ни строги требования конспиративности, предъявляемые к пропагандисту, они не идут ни в какое сравнение с теми условиями, в которых работали товарищи из подпольных типографий.

Для них слово «подполье» не образ, не метафора; как правило, тайные типографии устраивались именно в п о д п о л ь е, в подвалах, в погребах. Человек буквально замуровывал себя, порой на несколько месяцев, зная, что «выходом» отсюда почти наверняка будет арест, после которого его ждут тюрьма, бессрочная каторга, а быть может, и смертная казнь.

Обычно для устройства подпольной типографии снимался какой-нибудь уединенный дом. В жилом помещении поселялась «супружеская пара», нередко «супруги», оба члены партии, до этого не были даже между собой знакомы.

Самой сложной задачей было раздобыть и незаметно доставить на место оборудование типографии, даже когда оно состояло из самого примитивного станка и трех-четырех килограммов типографского шрифта. В иных таких типографиях не было даже вала, и, чтобы получить оттиски, формочку с набором устанавливали на стул, на нее накладывали бумагу, а затем кто-нибудь садился и нажимал на бумагу «естественным прессом». Букв не хватало. Во время набора, который производился, конечно, вручную, то и дело слышался шепот: «Вася, дай мне прописное К», «Нина, у тебя есть точка с запятой и восклицательный знак?»

Но не все типографии были такими. С течением времени в партии выработалось немало специалистов «тайной печати» — таких, как братья Енукидзе. Созданные ими подпольные типографии порой не уступали качеством печати типографиям легальным. Сколько настойчивости, смелости, изобретательности нужно было проявить, чтобы так поставить дело!

Работник подпольной типографии обязан был полностью порвать с внешним миром, не выходить на улицу, не встречаться ни с кем, даже самыми близкими людьми, даже товарищами по партии, не связанными с работой типографии. Порой он неделями и даже месяцами жил в подвале, без глотка свежего воздуха. Вся жизнь его протекала в полумраке, при свете слабой керосиновой лампы. Он набирал, печатал, спал тут же в подвале, у типографского станка, ел скудную пищу, знал только свой нервный напряженный труд, свою изолированную жизнь, лишенную каких бы то ни было впечатлений, постоянную настороженность, постоянную опасность.

Как и во всяком подобном деле, в работе подпольных типографий случались порой неожиданности, каких не могла бы придумать самая богатая фантазия.

В 1907 году Сергей Миронович Киров, только что освобожденный из Томской тюрьмы, занялся вместе с тремя другими товарищами устройством типографии. Им

удалось снять прекрасное с точки зрения конспирации помещение — дом некоего доктора Грацианова, находившийся на краю города. Устраивали типографию в подземелье. Работали весьма упорно. Уже почти закончили устройство помещения, привезли и поставили на место типографский станок. И вдруг среди ночи явилась полиция. По тому, как велся обыск, видно было, что на след навел провокатор: полицейские искали именно типографию. Но как ни тщательно они искали, обнаружить ее не смогли. Дело в том, что между потолком подземелья и полом дома был слой земли свыше аршина, а вход в подземелье тщательно замаскирован. Но хотя типографию обнаружить не удалось, всех ее работников арестовали и препроводили в тюрьму.

Следствие велось долго, улик так и не нашли, и всех, кроме Кирова, освободили. Он просидел, но уже по другим, старым своим делам, несколько месяцев, потом состоялся суд и приговорил его «ввиду его несовершеннолетия» к трем годам крепости. Это время он решил использовать для самообразования, хотя, как рассказывал он потом, сидеть в одиночном корпусе было нелегко: по ночам часто доносились раздирающие душу крики прощавшихся с товарищами и жизнью смертников, которых уводили на казнь.

По отбытии срока Киров переехал в Иркутск, и тут неожиданно товарищи передали ему малоприятную новость: в доме Грацианова, в котором когда-то он устраивал типографию, поселился некий полицейский чиновник. Жил он поживал, но вдруг провалилась печь, а под печью оказалось какое-то подземелье. Тут жандармы вспомнили, как они искали в этом доме типографию, раскопали подземелье — и все обнаружили. Хорошо, что Кирова предупредили вовремя и он успел бежать на Кавказ!

Но были в партии люди, работа которых была еще более напряженной и опасной, чем работа в подпольных типографиях. Это участники боевых организаций.

В отличие от эсеров, чьи боевые организации занимались индивидуальным террором, боевые организации большевиков ставили целью вооружение рабочих,

создание рабочих боевых дружин и подготовку вооруженного восстания.

Надо было добывать оружие и взрывчатку, доставлять их на тайные склады, организовывать лаборатории и мастерские для изготовления бомб, передавать оружие и бомбы рабочим, учить, как с ними обращаться,— и все это в постоянной опасности взрыва и несчастных случаев, в постоянной угрозе провалиться и загубить и себя и дело.

Динамит обычно возили на себе, обкладывая им себя и обматывая бесконечным количеством бинтов. У динамита был едкий и удушливый запах, поэтому тот, кто вез его, должен был даже в мороз стоять на площадке вагона.

Для перевозки и переноски капсюлей с гремучей ртутью приспособили специально сделанные корсеты с ячейками, в которые закладывали капсюли. Малейшего толчка, малейшего удара было достаточно, чтобы взлететь на воздух.

Винтовки привязывали к полотенцам, которые в виде помочей спускались с плеч, а сверху надевали пальто или платье. При этом надо было держаться прямо, точно аршин проглотил, чтоб конец винтовки не вылез наружу.

В случае ареста участника боевой организации его почти наверняка ждала смертная казнь. Поэтому при появлении полиции в лабораториях, где готовились взрывчатые вещества, в мастерских по производству бомб, на складах оружия застигнутые там товарищи нередко оказывали вооруженное сопротивление.

Кто же были они, те, кто в глубоком подполье готовили оружие для борьбы с самодержавием?

Отвечая на этот вопрос, одна из участниц первой большевистской боевой организации, Софья Марковна Познер, говорит:

«Это были все те же рабочие — авангард пролетариата, который шел на борьбу с капиталом, на борьбу с царским правительством, увлекая за собой массы, разжигая стачку в яркое пламя восстания, идя в открытый бой с самодержавием на улицах больших городов; это была та молодая интеллигенция первой русской рево-

люции, которая порвала с прошлым и становилась в ряды партии пролетариата.

Это они ковали оружие против ненавистного самодержавия, учились в подполье боевому делу, расплачиваясь за это годами каторжных тюрем и самой жизнью.

Этим людям приходилось учиться в подполье теории и практике стрельбы, им надо было изучать программу и устав партии, писать «Памятки боевиков», составлять боевые кружки и делать многое другое. А попутно среди всей подпольной боевой работы надо было разрешать без компромиссов запросы своей личной молодой жизни».

XVI

Личная жизнь — та область жизни этих людей, о которой мы знаем меньше, чем о всякой иной.

И не потому, что этой личной жизни не было. Не следует, как это делал один литературный персонаж, представлять себе деятелей подпольной партии этакими монолитами, которые лишь «энергично фукцируют». Нет, они всегда были не только революционерами, а и просто людьми. Они жили не одной только идеей. Им никогда не были чужды другие человеческие чувства. И они страдали, томились, знали боль и счастье любви.

Идея не убивала любовь, но обогащала ее, делала более страстной, более чистой, более высокой. На долю любви выпадали бесконечные испытания: годы разлуки, постоянный страх за судьбу любимого человека, вечная тревога, вечная неуверенность в завтрашнем дне. Минуты счастья бывали так коротки! Но не лучше ли пережить лишь несколько таких минут, чем влачить долгое, серенькое, обывательское существование?

Увы, архивы почти не сохранили личных писем этих людей, да и те, что сохранились, написаны с постоянной оглядкой на тюремную цензуру. Трудно писать о любви, когда знаешь, что прежде, чем твое письмо прочтут глаза любимого человека, его будут прощупывать глаза тюремщиков, что слова твоей тоски, нежности, страсти перечеркнут крест-накрест две жирных желтых полосы проявителя.

И дети! Дети, о которых так тосковали отцы, так обливались кровью сердца матерей.

Это тоже область чувств, о которой почти ничего не расскажут документы, хранящиеся в архивах. О них многое могли бы поведать стены тюремных камер, если б они умели говорить...

До нас дошло совсем немало писем к детям, писем о детях. Среди них — написанное перед арестом и казнью письмо замечательной большевички Ольги Дилевской, в котором она просит своего друга Александру Николаевну Ногину позаботиться о ее дочери Ирочке.

«Вот только о чем я хотела просить вас,— пишет Ольга.— Когда меня не будет, ласкайте Ирочку, как это делала я, и утром и вечером, когда она будет ложиться спать. Быть может, она в этом отношении немного избалована, но мне невыносимо тяжело будет думать, что она лишена нежной ласки. Думаю, что в вашем сердце найдется любовь нежная и для нее. Вот и все, что я хотела сказать. Слова тусклые и бледные, но не к чему их подыскивать. Чувство слишком глубоко и интимно, передать его не умею. Поймите инстинктом и полюбите Ирину...»

XVII

Много, бесконечно много трудного, тяжелого выпало на долю этих людей. Но из этого отнюдь не следует делать вывод, что вся жизнь их была окрашена мученичеством, что страдания, которые им приходилось переносить, откладывали на всем свой трагический отпечаток.

Нет, их жизнь была иной. Их мироощущение определялось прежде всего тем, что они были борцами за самые светлые, самые прекрасные идеалы свободы и счастья всего человечества. Они чувствовали себя участниками великого братства — большевистской партии. Они знали, что как ни извилист путь, как ни многочисленны стремнины, пороги, водовороты, но Ленин приведет эту партию к победе. И все это было их счастьем!

Недаром они так любили восклицание Горького: «Пусть сильнее грянет буря!..» Недаром Феликс Дзержинский писал из Седлецкой тюрьмы своей сестре Альдоне:

«Я выпил из чаши жизни не только всю горечь, но и всю сладость, и если кто-либо мне скажет: посмотри на свои морщины на лбу, на свой истощенный организм, на свою теперешнюю жизнь, посмотри и пойми, что жизнь тебя изломала, то я ему отвечу: не жизнь меня, а я жизнь поломал, не она взяла все из меня, а я брал все от нее полной грудью и душой!»

И тот же Дзержинский, заключенный в Десятый павильон Варшавской цитадели, несколько лет спустя, в годину тяжелой реакции, когда первая русская революция потерпела поражение, записывал в своем дневнике:

«Сегодня — последний день 1908 года. Пятый раз я встречаю в тюрьме Новый год (1898, 1901, 1902, 1907)... В тюрьме я созрел в муках одиночества, в муках тоски по миру и по жизни. И, несмотря на это, в душе никогда не зарождалось сомнение в правоте нашего дела. И теперь, когда, может быть, на долгие годы все надежды похоронены в потоках крови, когда они распяты на виселичных столбах, когда много тысяч борцов за свободу томится в темницах или брошено в снежные тундры Сибири,— я горжусь. Я вижу огромные массы, уже приведенные в движение, расшатывающие старый строй,— массы, в среде которых подготавливаются новые силы для новой борьбы. Я горд тем, что я с ними, что я их вижу, чувствую, понимаю и что я сам многое выстрадал вместе с ними. Здесь, в тюрьме, часто бывает тяжело, по временам даже страшно... И, тем не менее, если бы мне предстояло начать жизнь сызнова, я начал бы так, как начал. И не по долгу, не по обязанности. Это для меня — органическая необходимость...»

XVIII

Было бы очень интересно взять какой-то условный день, скажем, 1912 года, и попытаться воссоздать такой День большевистской партии, как это делалось дважды с Днем мира.

В этот день Владимир Ильич был в Париже. Быть может, в этот день он работал над своей статьей «Памяти Герцена». Той статьей, в которой он, сопоставив три поколения, три класса, действовавших в русской револю-

ции,— дворянских революционеров-декабристов, «молодых штурманов будущей бури» — революционеров-разночинцев и пролетарских революционеров,— писал: «Буря, это — движение самих масс... Первый натиск бури был в 1905 году. Следующий начинает расти на наших глазах».

Чтобы ускорить наступление этой великой, очищающей бури, Ленин готовился к переезду в Краков, откуда он мог оперативнее руководить всей российской работой, а также недавно начавшей выходить массовой большевистской газетой «Правда». Газетой, в которой Ленин видел орган «передовой рабочей демократии», призванный дать «образец и светоч всему народу».

Издание такой газеты было делом величайшей, исключительной трудности. Царское правительство восемь раз закрывало «Правду», конфисковывало ее номера, арестовывало и приговаривало к тюремному заключению ее редакторов. Но едва закрытая, «Правда» выходила вновь, хотя и под другим названием: «Рабочая Правда», «Северная Правда», «Правда Труда», «За Правду», «Пролетарская Правда», «Путь Правды», «Рабочий», «Трудовая Правда».

Через «Правду» Ленин и партия обращались к миллионам рабочих, несли им идеи большевизма, защищали их повседневные нужды и показывали путь борьбы, сплачивали рабочие массы.

Когда был произведен очередной арест официального издателя «Правды», между ним и следователем произошел знаменательный разговор:

— Кто редактирует газету «Правда»? — спрашивал следователь.— Кто сотрудники газеты?

— Фамилия редактора печатается в каждом номере газеты,— последовало в ответ,— а сотрудничают в ней тысячи рабочих Петербурга и всей России.

Ленин не просто радовался «Правде», он буквально ликовал, видя ее успех.

«...А в России *революционный* подъем, не иной какой-либо, а именно революционный,— писал он Горькому.— И нам удалось-таки поставить ежедневную «Правду» — между прочим, благодаря именно той (январской) конференции, которую лают дураки».

Яков Михайлович Свердлов в тот день находился в Нарымской ссылке и готовился к побегу. Это был не первый и не последний его побег, но на этот раз подготовка его затянулась, так как незадолго до этого Свердлова арестовали и продержали четыре месяца в тюрьме по делу «о бунте ссыльных в Нарыме». Из-за этой задержки побег был предпринят только в конце августа, когда в тех местах уже наступает осень.

По плану, разработанному Я. М. Свердловым совместно с товарищами по ссылке, он должен был подняться на маленькой лодке (по-местному на «обласке») вверх по Оби навстречу шедшему из Томска пароходу, пробраться на пароход и с помощью машинной команды, с которой все было заранее договорено, спрятаться и доехать до Тобольска.

Погода была такая, что только человек безумной отваги мог решиться предпринять подобное путешествие в крохотной лодчонке по бушующей Оби, покрытой пенящимися волнами. Но Свердлов решился. Больше суток он и его спутник Капитон Каплатадзе, не выпуская весел из рук, ожесточенно боролись против ветра, волн и течения. Но вот кто-то из гребцов, ослабев, сделал неверное движение, обласок перевернулся, беглецы очутились в воде. Каплатадзе плавать не умел. Свердлов подхватил его и с невероятными усилиями добрался вместе с ним до берега.

На счастье, беглецов подобрали случайно оказавшиеся на берегу крестьяне. Но когда они доставили их на квартиру к товарищам, туда явилась полиция. Стражники отвезли Свердлова в Нарым и посадили в каталажку. Но как только его выпустили, он на следующий же день снова бежал.

Побег и на этот раз оказался неудачным, но это не обескуражило Свердлова; когда настала зима, он сумел все же бежать и оказался в Петербурге, где тотчас же включился в работу «Правды» и Русского бюро ЦК.

Но недолго довелось ему погулять на «подпольной волюшке»: провокатор Малиновский выдал его полиции. Он был снова арестован и снова сослан — теперь уже в самые отдаленные места отдаленнейшего Туруханского края.

Трудно было тут не пасть духом, но Свердлов, как и

всегда, оставался полон оптимизма и внутренней бодрости. Получив на исходе трех лет тяжелейшей Туруханской ссылки письмо из Петербурга от молодой девушки, поддавшейся модной среди части тогдашней молодежи болезни «неверия в идеалы» и жаловавшейся, что она не видит в жизни смысла, Свердлов отвечал: «Хорошая штука жизнь! От души желаю Вам почаще непроизвольно восклицать, ощущать радость жизни...»

В другом письме этой же корреспондентке он разъяснял, в чем состоит основа его жизнерадостного отношения к жизни: она в миросозерцании, которое дает бодрость при самых тяжелых условиях. «При моем миросозерцании,— писал он,— уверенность в торжестве гармоничной жизни, свободной от всяческой скверны, не может исчезнуть. Не может поколебаться и уверенность в нарождении тогда чистых, красивых во всех отношениях людей. Пусть теперь много зла кругом. Понять его причины, выяснить их — значит понять его преходящее значение...»

Георгий Константинович («Серго») Орджоникидзе в этот день отбывал каторжный приговор в Шлиссельбургской крепости. Прокофий Апрасионович («Алеша») Джапаридзе находился в ссылке в Великом Устюге. Григорий Иванович Петровский, баллотируясь по списку рабочей курии, выступал перед выборщиками в Государственную думу по Екатеринославской губернии. Степан Григорьевич Шаумян жил под гласным надзором полиции в Астрахани и вел нелегальную переписку с Лениным. Николай Васильевич Крыленко налаживал большевистские подпольные связи. Василий Андреевич Шелгунов — старейший петербургский рабочий, ослепший в тюрьме,— в очередной раз сидел в «Крестах», отбывая тюремное заключение, чтобы «Правде» не пришлось платить наложенный на нее непосильный денежный штраф.

В этот день по глухой приленской тайге, среди тысячи верст бездорожья и безлюдья, пробирался небольшой отряд, вооруженный самым разнокалиберным, частью даже самодельным оружием. Первой мыслью, которая

возникла бы у того, кто его увидел, было бы предположение, что это совершившие побег ссыльные или каторжане. Но, если бы это было так, отряд пробирался бы к югу, к железной дороге, а он шел на север, только на север.

В чем же дело? Что за отряд это был? Куда и зачем он стремился?

Это действительно были ссыльные, и они действительно совершили побег. Но целью этого побега была не личная свобода, не возвращение в Россию и не попытка перейти границу Китая, чтобы уехать в Японию, Австралию, Соединенные Штаты.

Цель была другая: добраться до Бодайбо, до знаменитых золотых приисков английской компании «Лена-Гольдфильдс», чтобы поднять на борьбу рабочих этих приисков, над которыми только что была учинена чудовищная расправа, вошедшая в историю под именем «Ленской бойни».

Вдохновителем отряда, его организатором и командиром был бывший студент Московского университета, большевик, профессиональный революционер Евгений Михайлович Комаров.

О его жизни мы знаем совсем немного. Знаем, что он родился во Ржеве, еще юношей вступил в партию и стал большевиком, организовал типографию, в которой печаталась газета Московского комитета партии «Голос Труда». Знаем, что он активно участвовал в Декабрьском вооруженном восстании в Москве, сражался на баррикадах, одним из последних покинул горящую, подожженную семеновцами Пресню. Человек страстной, огненной натуры, он сделался убежденным боевиком и с начала 1906 года принял деятельнейшее участие в работе Московского военно-технического бюро, готовившего оружие и боевую силу для будущего восстания.

Несмотря на царивший в Москве полицейский террор, работа Московского военно-технического бюро быстро приняла широкий размах. Однако охранному отделению удалось заслать в среду его работников агента-провокатора, с холодной расчетливостью предававшего одного боевика за другим. Этим провокатором была некая Ольга Федоровна Пузято.

Охранка приступила к тому, что она называла «лик-

видацией». Однако она соблюдала величайшую осторожность, чтобы не дать напасть на след своего агента. Сначала — это было в конце марта 1906 года — было одновременно произведено два обыска. Один в Москве, в доме Куракиной на Ленивке, в комнате двадцатилетнего студента химического факультета Московского университета Александра Чесского. Обыск не дал результатов, но Чесский был арестован. Из тюрьмы он бежал, перешел на нелегальное положение, продолжал свою работу в петербургской боевой организации, создал в Финляндии, неподалеку от границы, школу-лабораторию, в которой обучал рабочих-боевиков теории взрывчатых веществ и разрывных метательных снарядов и практическому с ними обращению, был снова выдан провокатором, арестован, отправлен под усиленным конвоем в Петербург, помещен в Трубецкой бастион Петропавловской крепости, предан военному суду и умер, не выдержав тяжелых условий содержания в крепости.

Второй обыск был произведен в деревне Выхино, неподалеку от станции Вешняки, в доме, в котором проживал человек, прописанный по фальшивому паспорту на имя Петра Ивановича Журковского.

Самого Журковского полиция не застала, но обнаружила в его комнате двадцать чугунных металлических гирь с полыми шарами, которые явно предназначались к тому, чтобы служить оболочками для бомб, больше двух пудов взрывчатки и несколько револьверов.

Охранка знала, что Журковский — это Евгений Комаров, но действовала с особой осторожностью, оберегая от подозрений выдавшую Комарова провокаторшу Пузято. За Комаровым было установлено тщательное наружное наблюдение, и он был арестован на улице. При аресте у него был обнаружен детально отделанный чертеж ручного метательного снаряда, то есть бомбы, а также несколько детальных чертежей ударных трубок, письмо со скрытым химическим текстом и ряд рукописей, посвященных тактике вооруженной революционной борьбы и описанию способов метания бомб.

После трех лет заключения в московской Таганской тюрьме Евгений Комаров был отправлен на вечное поселение в глухой поселок Иркутской области, расположенный на берегу Лены. Он не мог примириться с жиз-

нью в ссылке и лелеял мысль о новом вооруженном восстании. В конце 1911 года он создал из политических ссыльных Иркутской губернии «Социалистическую боевую дружину», члены которой вместе с Комаровым мечтали о том, чтобы поднять вооруженное восстание в Иркутской губернии в надежде, что эта первая вспышка вызовет могучий революционный взрыв во всей России.

И тут до них дошла весть о Ленском расстреле. Отклик, который нашло это трагическое событие в рабочих массах, еще больше укрепил веру Комарова и его товарищей в успех начатого ими дела.

Вооружившись всем холодным и огнестрельным оружием, которое они сумели раздобыть, они выступили в тысячеверстный поход, направляясь через всю приленскую тайгу на север, на Ленские золотые прииски, чтобы поднять там восстание рабочих. Но в начале лета 1912 года они попали в засаду, устроенную стражниками, и Евгений Комаров и остальные участники отряда пали смертью храбрых в бою с врагом.

В этот день в городе Брисбене (Австралия) в больницу привезли человека, дежурившего в пикете у бастующего завода и сильно избитого полицейскими и штрейкбрехерами. Это был Федор Андреевич Сергеев, известный в партии под именем Артем.

Начав свою революционную и тюремную «карьеру» восемнадцатилетним юношей, Артем быстро сделался профессиональным революционером, работал в Екатеринославской губернии, переходя с завода на завод в качестве рабочего, ездил кочегаром на паровозе — все для того, чтобы наладить партийные связи. Возглавлял Харьковскую партийную организацию и руководил вооруженным восстанием в декабре 1905 года. Был арестован, но бежал из тюрьмы.

В 1906 году работал на Урале. Сунув в карман кусок хлеба, по неделям обходил и объезжал заводы Пермской губернии, проводя по ночам собрания рабочих и членов партии, а днем передвигаясь, как придется, с одного завода на другой.

Все это кончилось арестом, ссылкой, побегом. Артем долго бродил по тайге, пока не заболел и вынужден был

зайти в деревню. Там его выдали. Просидев положенное время в тюрьме, он был осужден на каторжные работы. Но бежал.

Через Дайрен и Нагасаки он попал в Шанхай. Работал кули. «Китай — сейчас вулкан»,— писал он. Из Китая уехал потом в Австралию, где был сначала чернорабочим на железной дороге, потом докером. И в Китае и в Австралии вел большевистскую работу среди русских эмигрантов. В Австралии вступил в Австралийскую социалистическую партию, активно участвовал в рабочем движении, в годы первой мировой войны играл крупнейшую роль в антимилитаристской борьбе... «Я был, есть и буду членом своей партии, в каком бы уголке земного шара я ни находился»,— писал он из Австралии...

В этот же день на сахарной плантации, принадлежащей американскому сахарному тресту «Юнайтед Стейтс шугар энд рифайнинг компани», на острове Оаху (Гавайские острова) надсмотрщик поднял бич, чтобы ударить за какую-то провинность рабочего-«туземца». Однако его руку перехватил, крикнув: «Не смей его бить!» — одетый в лохмотья высокий человек, на лице которого выделялись горящие темные глаза.

Человек этот был рабочим с этой же плантации. Звали его Александр Минкин. Родился он в 1887 году в нищей еврейской семье в бывшем Царстве Польском. Когда ему стукнуло восемь лет, его отдали в «мальчики» в посудный магазин, потом в аптеку. Мыл посуду, нянчил хозяйских детей, таскал провизию с базара.

В двенадцать лет мать отвезла его в Варшаву, определила в ученье часовщику. Оттуда он сбежал, поступил в типографию. И не прошло года — стал читать «запрещенные книжки» и выполнять партийные поручения.

За участие в первомайской демонстрации в Варшаве был арестован. Ему было тогда шестнадцать лет. Посидел в знаменитой варшавской цитадели, был выслан в Тобольскую губернию. Из ссылки бежал на Урал, перешел на нелегальное положение, работал в Перми и Екатеринбурге, принимал участие в вооруженных столкновениях в октябрьские дни 1905 года, был ранен в голову.

В 1906 году он исчез из поля зрения полиции. Ни агенты «внутреннего», ни агенты «наружного» наблюдения не знали, куда он скрылся. Охранка решила, что он за границей. На деле же он был в Перми, где организовал большую типографию и замуровал себя в ней на несколько месяцев.

Год спустя он был арестован по делу Уральского комитета партии и после двух лет Екатеринбургской тюрьмы сослан на вечное поселение в Восточную Сибирь. Через полгода бежал.

Во Владивостоке, сговорившись с кем-то из команды, спрятался в трюме парохода, уходившего на Гавайские острова. Когда после недели качки и темноты он вылез наверх и перед ним возникли всплывающие из вод Тихого океана Гавайи, он был потрясен их необыкновенной красотой. И так же потрясен был он, когда увидел худые, ссутулившиеся спины коренных жителей острова — канаков, их лачуги из пальмовых листьев, детишек, копающихся в отбросах, самодовольных американцев, чувствующих себя здесь безграничными властителями.

Чтобы заработать денег на дальнейший путь, он поступил рабочим на сахарную плантацию. Но на билет денег собрать не смог и отправился дальше, в Соединенные Штаты, снова в пароходном трюме.

Там, в Штатах, он страшно бедствовал. Работал на самых тяжелых работах. Заболел туберкулезом. Спасся только благодаря тому, что поступил батраком на ферму и работал на открытом воздухе. Поправившись, вернулся в город. Лос-Анжелос—Чикаго—Нью-Йорк. Работа в Федерации русских рабочих при Американской социалистической партии. Участие в забастовках плечом к плечу с американскими рабочими...

В этот же день в Тифлисе, в камере Метехского тюремного замка, ждал суда и смертной казни Семен Аршакович Тер-Петросян, которого все звали его партийной кличкой Камо.

Вступив в партию девятнадцатилетним юношей, Камо сразу же показал себя человеком совершенно исключительного конспиративного дара и легендарной храбрости, сочетавшейся с артистическим умением перевоплощаться, находчивостью, умом, беззаветной преданностью партии.

Сначала он занимался транспортом нелегальной литературы. Затем работал в подпольной типографии. В 1906 году, когда партия готовила вооруженное восстание, ему было поручено закупить за границей оружие. Он это сумел сделать, но пароход с оружием затонул. В том же году Камо, человек из беднейшей семьи, изображая блистательного гвардейца князя Дадиани, пробрался в Финляндию. Он побывал у Ленина и вернулся в Грузию с оружием и взрывчатыми веществами. В 1907 году в Тифлисе он произвел необыкновенную по своей смелости экспроприацию крупной суммы казенных денег и бежал за границу.

Камо поселился в Берлине по фальшивому паспорту на чужое имя. Но недолго прожил он там: провокатор выдал его германской полиции. Камо был арестован и препровожден в тюрьму Моабит — ту самую тюрьму, в которой при фашистах томился Тельман, где были казнены Муса Джалиль, Юлиус Фучик и тысячи антифашистов.

Во время обыска у Камо обнаружены ящик с оружием и чемодан со взрывчаткой. Это послужило поводом, чтоб обвинить его в том, что он «анархист-террорист». Воспользовавшись этим обвинением, немецкая полиция делала все, чтоб выдать Камо русской полиции. А это сулило ему верную смертную казнь.

Что было делать? Сдаться? Нет, такое решение было не для Камо. Он принял труднейшее решение: симулировать буйное помешательство.

Опытом судебной медицины давно уже доказано, что из всех видов симуляций симуляция душевного расстройства самая трудная, тем более симуляция буйного помешательства, которая требует огромного, прямо нечеловеческого напряжения сил. Симулянт настолько устает, что либо отказывается от своего замысла, либо действительно сходит с ума.

Но Камо совершил то, примеров чему, пожалуй, не найти за всю многовековую историю судов и тюрем: он симулировал безумие в течение четырех лет. Четыре года изо дня в день, из ночи в ночь он метался, буянил, рвал на себе одежду, швырял на пол посуду, отказывался от пищи, вырывал у себя волосы, а затем начал симулировать несколько иную форму сумасшествия, одним из

признаков которой является потеря кожной чувствительности.

Внимательно изучив поведение подобного больного, рядом с которым он лежал в тюремной психиатрической больнице, Камо мастерски имитировал его походку, движения, бред. Врачи с чисто прусским упорством и методичностью проводили над ним всевозможные испытания: прижигали кожу раскаленным докрасна железом, вгоняли под ногти иголки, кололи, резали тело — Камо смеялся и ни одним звуком, ни одним движением не выдавал ту страшную боль, которую испытывал.

Но был один рефлекс, которым он не мог управлять,— расширение зрачков, которым сопровождается ощущение боли и у человека и у высших животных. Врачи видели этот рефлекс, подвергали Камо новым и новым мучениям, но он по-прежнему ничем себя не выдавал.

Ему нужно было во что бы то ни стало держаться, держаться как можно дольше: быть может, немецкие товарищи — в их числе Карл Либкнехт и Оскар Кон — сумеют вырвать его из рук полиции. Быть может, его переведут в такое место, откуда он, совершивший уже столько смелых побегов, сумеет бежать!

Увы, этим надеждам не суждено было осуществиться. Подвергнув Камо чудовищным пыткам, но не сумев доказать, что он симулирует безумие, немецкая полиция выдала его русским жандармам.

Его препроводили в Тифлис, где должен был состояться военный суд. Тот постановил подвергнуть его новым испытаниям в психиатрической клинике. Его поместили в Михайловскую больницу. Держали под усиленнейшей охраной.

А он бежал!

Да, бежал! Перепилив решетку, он спустился по веревке через окно больничной камеры, выходящее на берег Куры, и с помощью ждавшего его внизу товарища сумел уйти, а потом бежать из оцепленного войсками и полицией Тифлиса.

Ему удалось не только скрыться из Тифлиса, но и уехать за границу, в Париж, к Ленину. Владимир Ильич потребовал, чтобы он отдохнул. Но кипучая натура Камо не могла мириться с отдыхом. Снова он поехал в Рос-

сию. Снова стал собирать своих товарищей по боевой организации. Но обстоятельства сложились несчастливо: Камо был арестован, заключен в Метехскую тюрьму и ждал суда, на котором — он знал это твердо — он будет приговорен к смертной казни.

Так и случилось: суд, подведя итог всему, что он совершил против царского правительства, вынес Камо, которому было к этому времени тридцать лет, четыре смертных приговора.

Закованный в кандалы, Камо и на этот раз думал о побеге, но в то же время без страха готовился встретить час, когда его поведут на казнь. В записке, которую ему удалось переслать товарищу по тюрьме, он писал: «Со смертью я примирился. Совершенно спокоен. На моей могиле давно бы могла вырасти трава вышиною в три сажени. Нельзя же все время увиливать от смерти. Когда-нибудь да нужно умереть. Но все-таки попытка — не пытка. Постарайся что-нибудь придумать. Может, еще раз посмеемся над врагами. Я скован и ничего не могу предпринять. Делай что хочешь. Я на все согласен».

Камо должны были со дня на день казнить. Но в связи с трехсотлетием дома Романовых смертная казнь была заменена ему двадцатилетней каторгой.

В этот же день Париж остался без такси. Бастующие шоферы собрались на площади, перед домом своего профессионального союза. Устроили митинг. В числе прочих ораторов, выступавших с импровизированной трибуны, был человек с молодым лицом и снежно-седой головой, говоривший на варварском французском языке.

Его подлинное имя было Зиновий Яковлевич Литвин. По паспорту в данный момент он числился финляндским гражданином Виллоненом. Среди своих имел кличку «Иголкин». Но все его звали «Седой» — так поражало сочетание молодого лица и белоснежной головы.

Он поседел в шестнадцать лет. В тюрьме.

Сын заводского сторожа из николаевских солдат и прачки, которая, чтоб прокормить громадную семью, прирабатывала, кухаря на свадьбах и именинах, он в тринадцать лет сбежал от отцовских побоев и, научив-

шись паять, рубить и пилить, кочевал по московским заводам, поработав и на нефтяном заводе в Анненгофской роще, и на гвоздильном заводе Гужона, и на заводе Бари за Симоновской слободой.

Товарищ по заводу сунул ему брошюрку, напечатанную на гектографе. Запомнились навсегда слова: «Один ест за сто человек, а другой голодает». Связался с кружками. В 1896 году арестован, освобожден, снова арестован. Больше года просидел в Таганке. Был много бит, один раз собственной рукой господина Зубатова. В тюрьму пришел с черной головой, вышел полуседым.

Потом ссылка, побег, Петербург, Путиловский завод, арест, год «предварилки». На этот раз вышел почти седым.

Дальше Тифлис — и Метехский замок, Нижний Новгород — и Нижегородская тюрьма, Москва — и снова Таганка.

В декабре 1905 года, уже совсем седым, он руководил вооруженным восстанием на Пресне. Затем был одним из руководителей Свеаборгского восстания. После поражения бежал. Попал в Париж. Участвовал в нашумевшей забастовке шоферов такси.

Когда забастовка окончилась, французские товарищи предупредили его, что ему грозит арест и выдача русской полиции. Он уехал в Канаду. Как разъездной агитатор проделал путь от Виннипега до Нью-Йорка. Испытал все прелести американской эмиграции. Проработал около полугода на заводе Форда в Детройте. Вернулся во Францию.

Но на роду ему было все же написано посидеть и во французских тюрьмах. При расстреле взбунтовавшихся солдат русского экспедиционного корпуса у одного из них обнаружили письмо Седого. Его арестовали в Брэйсюр-Сомм, продержали три месяца в военной тюрьме. Затем арестовали вторично. На этот раз за распространение брошюры о Циммервальдской конференции. Выйдя из тюрьмы, он тут же возобновил антимилитаристскую деятельность...

Яков Михайлович Свердлов, говоря о таких людях, выражал свое восхищение словами: «Удивительнейшие человечины!..»

Они действительно были удивительными, эти люди: умные, энергичные, волевые, обладающие тем замечательнейшим из талантов, который один рабочий в разговоре с Лениным назвал «талант победности».

Были ли у них недостатки? Конечно, были. Но тут хочется вспомнить слова Александра Довженко: «Боец и с недостатками все же боец, а муха без недостатков — всего лишь безупречная муха».

XIX

Мне выпало счастье знать многих из них. Обязана я этим счастьем тому, что мои родители были членами большевистской партии с самого ее основания.

Я видела этих людей сначала глазами ребенка, потом глазами подростка и взрослого человека. И сейчас, работая в архивах, пытаюсь соединить то, что сохранила моя память, с тем, что рассказывают подернутые желтизной архивные документы.

Они были веселые, сильные, озорные. Бурно спорили, много курили, пили много чаю.

У них были теплые, добрые руки. В сказках, которые они мне рассказывали, Змей-Горыныч расхаживал в жандармском мундире, а Иванушка-дурачок, женившись на царевне, говорил: «И на черта нам с тобой, Марьюшка, это самое царство? Давай-ка лучше раздадим его и пойдем гулять вольными людьми по белу свету».

Любимое выражение их было: «Жив курилка!»

Любимое занятие — чтение. Даже в разгар самого бурного спора кто-нибудь непременно сидел в углу, уткнувшись носом в книгу. Книги торчали из карманов пальто и пиджаков. Всю обстановку комнаты могли составлять табуретка и колченогий стол, но на столе непременно лежали книги.

На протяжении многих лет своей жизни они бывали тем, кого Хемингуэй по совсем иному поводу назвал «мужчины без женщин». Поэтому они умели делать все: починить, пришить, приколотить, сварить. Только не знали, сколько сахару надо класть в кашу, а манная каша у них получалась «с шишками».

И песни пели неподходящие. Когда тебе поют такую песню, под нее не заснешь...

Архив старой партийки, которая в сознании всех, кто ее знал, запечатлелась как сплошная Суровость. И вдруг листок с записью на французском языке: «Un jour de pluie» — «Дождливый день». «Идет дождь. И душа печальна: человеку для счастья нужно солнце...»

Любимейшим их автором был Салтыков-Щедрин, с его эзоповым языком, внезапно раскрывающим свои полунамеки. Особенно любил его Михаил Степанович Ольминский, но и многие другие постоянно поминали то «премудрого пескаря», то «самоотверженного зайца», то «карася-идеалиста», то «вяленую воблу», у которой вычистили внутренности и повесили ее на веревочке на солнце, а когда кожа на брюхе сморщилась, голова подсохла и мозг, какой в голове был, выветрился, она с удовлетворением сказала: «Как это хорошо! Теперь у меня ни лишних мыслей, ни лишних чувств, ни лишней совести...»

Эта вобла да еще «самоотверженный заяц», благородно ожидавший, пока волк изволит его слопать, применялись с самым широким диапазоном — от разоблачения позиции меньшевиков в вопросах подготовки вооруженного восстания до воспитания (в качестве поучающего примера) гражданских чувств у нас, детей большевистских семей.

В числе талантов, которые требовались от истинного подпольщика-большевика, был талант литературный. И не только для писания статей и листовок, без чего таким статьям и листовкам цена была бы грош, но и для многого другого.

Вот, например, Василий Николаевич Соколов рассказывает, как он, работая в Смоленске, получил для писем в Вильно адрес некоего штабс-капитана Клопова. Письма должны были посылаться по почте. Как и всегда в таких случаях, между написанными обычными чернилами строками «скелета», то есть мнимого текста письма, «химией» вписывался невидимый подлинный текст.

Но от чьего имени писать неведомому штабс-капитану такие «скелеты», чтоб они не вызвали подозрений, если переписка, паче чаяния, попадет в поле зрения охранки?

Так родился на свет некий вышедший в запас мифический унтер-офицер из роты штабс-капитана Клопова, который не забыл своего прежнего начальника. Переписка шла на протяжении месяцев. Одно письмо продолжало другое — и из письма в письмо плелась безграмотная хроника унтер-офицерской жизни в родных краях.

Этакую штуку без литературного дара не состряпаешь!

И нужен был талант актерский. И не просто, а со способностью мгновенного перевоплощения и полного «вживания в образ». Иначе невозможно жить по чужим паспортам, а тем более скрываться после побегов.

Наиболее талантлив в этом был знаменитый Камо. Но вот небезынтересный рассказ Владимира Качкова, давшего приют С. И. Гусеву, бежавшему из Березова, о том, как Гусев скрывался в Касимове.

«Он приехал в Касимов под видом отдыхающего оперного артиста Бориса Николаевича Грэна,— пишет В. Т. Качков.— Был он прекрасно одет, в накрахмаленном воротничке, в прекрасном галстуке, с небольшим саквояжем и портпледом, чисто выбрит».

Поселился Гусев у старой прожившейся дворянки Баташовой, женщины независимой, умной, языкастой, хорошо образованной. Она играла на рояле, Гусев пел.

Появление такого человека не могло ускользнуть от местного исправника, и он пригласил «господина Грэна» к себе.

«Принарядившись, Сергей Иванович отправился к исправнику,— продолжает свой рассказ В. Т. Качков,— и потом комически передавал, как рассказывал ему разные истории из своей актерской жизни и обещал по его просьбе, когда отдохнет, дать для касимовской публики публичный концерт».

В том, что рассказал С. И. Гусев о своем визите к касимовскому исправнику, чувствуется озорство, которым нередко грешили даже весьма почтенные по возрасту и партийному стажу товарищи.

Впрочем, именно такое озорство нередко оказывало им неплохую услугу.

Помню, в 1923 году в Кремле была устроена выставка Истпарта, посвященная двадцатилетию Второго съезда партии. Историко-партийные фонды только начинали собирать, так что выставка была небольшая.

Пошли мы туда с Антоном Петровичем Станчинским, старым другом нашей семьи. Ходили по залам, рассматривали экспонаты. Но вдруг Антон Петрович обнаружил все признаки крайнего волнения: замер, побледнел, покраснел, уставился взглядом в одну точку.

Этой точкой был второй номер журнала «Саратовский Рабочий», напечатанный нелегально в 1889 году. Но Станчинского поразил не вид самого журнала, а надпись на нем, сделанная карандашом, печатными буквами: «Полковнику Александру Ильичу Иванову на добрую память от почитателей его таланта», ибо надпись эта была сделана его, Станчинского, почерком и этот самый экземпляр журнала Станчинский за двадцать четыре года до того собственноручно отправил в жандармское управление — и вот сейчас увидел его.

Дело было так: приехав в 1899 году в Саратов, А. П. Станчинский узнал, что незадолго до того в Саратове вышел первый номер марксистского журнала «Саратовский Рабочий». В жандармских кругах поднялся переполох, и глава местного жандармского управления полковник Иванов лез из кожи, стараясь разыскать виновников крамолы.

Хотя господин жандармский полковник не отличался чрезмерной сообразительностью, ему удалось арестовать ряд товарищей, причастных к выпуску журнала. Но прямых улик против них он не имел. Поэтому надо было спешить с выпуском второго номера, чтоб доказать этим, что подлинная редакция не поймана.

За это дело и взялся А. П. Станчинский. И через несколько дней второй номер был отпечатан.

Теперь можно было бы ждать, что полковник Иванов получит этот номер по своим каналам. Но захотелось подшутить. И, сделав дарственную надпись от имени поклонников жандармских талантов полковника Иванова и положив в конверт с адресом «Здесь, жандармское управление», Станчинский опустил пакет в почтовый

ящик неподалеку от жандармского управления. А теперь, четверть века спустя, увидел свой «дар» на выставке Истпарта!

Они любили шутку, смех, забавные истории. Любили подмечать даже в самом серьезном деле смешную сторону.

Вот, к примеру, рассказ В. Н. Соколова о том, как к нему, работавшему в то время на партийной «технике», которая требовала особых конспиративных навыков, прислали из Киева очень хорошего, но совершенно непригодного для этой работы товарища, считавшего себя литератором.

Поломав себе голову над тем, что же ему поручить, Соколов решил: паспорта и шифровки, ибо эта работа приучает к точности, аккуратности и соблюдению меры вещей. «А у литераторов,— усмехаясь, подумал Соколов,— всегда это было в отсутствии. Значит, сразу убиваем двух зайцев: окультуриваем литературу и облагораживаем уголовную подделку видов на жительство».

Существует такое выражение: «Violon d'Ingres» — «Скрипка Энгра».

Знаменитый французский живописец Энгр отдавал каждую свободную минуту игре на скрипке. «Скрипка Энгра» сделалась синонимом второй страсти, которая владеет человеком наряду с его основным призванием.

А вот другая скрипка — «скрипка Красикова».

Случайно избежав провала во время больших арестов в Москве весной 1904 года, Петр Ананьевич Красиков уехал в Женеву. Паспорта у него не было. Границу он перешел нелегально. В одной руке у него при этом был небольшой чемоданчик, а в другой — футляр, в котором лежала... скрипка.

Изучая архивы, я неожиданно для себя обнаружила в списке членов марксистского подпольного кружка в Орле имя Михаила Михайловича Пришвина.

Из воспоминаний Леонида Борисовича Красина я узнала, что Вера Федоровна Комиссаржевская, приезжая

на гастроли на Кавказ, отдавала часть сборов на нужды нашей партии.

А Емельян Ярославский, рассказывая о том, как на пасху 1906 года он вместе с несколькими товарищами бежал под звон пасхальных колоколов из Сущевского полицейского арестного дома, заканчивает свой рассказ воспоминанием о том, как после побега он «провел несколько незабвенных часов у музыканта-композитора Рахманинова». «Говорят,— пишет далее Е. Ярославский,— наш рассказ о побеге дал ему тему для одного из его музыкальных произведений...» Вот нежданное имя!

На другой день после закрытия Второго съезда партии делегаты съезда — большевики пошли на Хайгетское кладбище возложить цветы на могилу Маркса. Долго стояли они у могилы. А когда уходили, Сергей Иванович Гусев сорвал листок вечнозеленого мирта, росшего в ногах великого учителя. Сорвал и спрятал в нагрудном кармане, около сердца.

В тот же день Гусев покинул Лондон, чтоб объехать с докладами о съезде южные города России, и на протяжении трех с лишним лет то вел подпольную работу в России, то пробирался нелегально за границу, много раз менял паспорта, изменял наружность, пережил, работая в большевистском подполье, «кровавое воскресенье» и восстание на броненосце «Потемкин», одесские погромы и разгул реакции после подавления Декабрьского вооруженного восстания в Москве, не менее десятка раз уходил из-под самого носа полиции, ночи напролет бродил по улицам, не имея ночлега, каждую минуту ждал ареста, но зеленый листок мирта все время был с ним.

В конце 1906 года Гусев был арестован. Во время обыска жандарм обнаружил листок. Что за листок, откуда, этого жандарм не знал, но своим жандармским чутьем почувствовал крамолу и отобрал листок.

У Гусева было такое чувство, словно у него умер друг.

Да, были они веселые, были они храбрые, были они мужественные, были несгибаемые. Но сколько горького и трудного выпало на их долю!..

Никто так хорошо не рассказывал о годах большевистского подполья, как Пантелеймон Николаевич Лепешинский. Помню, он стоял на трибуне Зеленого театра Парка культуры и отдыха, ветер шевелил его белоснежные кудри, глаза его горели голубым огнем, слова его звучали молодым вдохновением и безграничной верой в прошлое, в настоящее, в будущее.

Но он же сказал: «Если бы мы устроили «неделю воспоминаний», перед нашим взором встали бы неисчислимые толпы призраков, бесконечные вереницы бледных теней павших и замученных темными силами контрреволюции...»

В начале нашего столетия Ленин, думая о России и о своих верных соратниках, этих удивительнейших людях, которых не могли сломить ни тюрьмы, ни каторга, ни тяжелейшие условия подпольной работы, воскликнул: «...дайте нам организацию революционеров — и мы перевернем Россию!»

И перевернули!..

ЧЕРНЫЕ СУХАРИ

«ЕСТЬ ТАКАЯ ПАРТИЯ!»

Петроград, июнь—октябрь 1917...
Я подъезжала к революционному Питеру.

Поезд тащился медленно. В битком набитом вагоне не то что яблоку, семечку негде упасть: с верхних полок свешивались ноги, на полу, на площадках, в тамбуре — всюду люди с котомками, узлами, мешками. На станциях бегали за кипятком; хлебали его вприкуску, а больше вприглядку. Спали мало и, днем ли, ночью ли, спорили, вздыхали, говорили... Разговор шел «насчет земли», «насчет войны», «насчет замирения». Потом он переходил на партии. «Я причисляю большевиков к разбойникам»,— говорил один. «Врешь,— отвечал другой.—

Большевиков надо применить к бедному мужику».— «А для меня что большевики, что есеры, все на одно серы»,— вставлял третий. В нашем купе рыжебородый солдат рассказывал про свою деревню, как там мужики решили пождать-пождать, а потом «сделать всем раздел». Забившаяся в угол дамочка с двумя чемоданами и глазами, которые именуются «бездонными», шипела: «швабода»...

Но вот наконец показались заводские трубы, закопченные стены, рекламные щиты коньяка Шустова. Питер! Поезд подошел к перрону, и я увидела залитое слезами, улыбающееся лицо мамы.

Мы вышли на Невский. В призрачном свете белой ночи темнели порядком выцветшие красные флаги. Несмотря на поздний час, на Невском было полно народу, на углах и на перекрестках шли импровизированные митинги.

Мама снимала комнату неподалеку от Разъезжей. По черной лестнице, на которой пахло щами и кошками, мы поднялись на шестой этаж и, не распаковывая вещей, уселись рассказывать друг другу о пережитом в эти месяцы: мама о своей последней ссылке и возвращении в Питер, я — о том, как вступила в партию.

Февральская революция застала меня в Ростове-на-Дону. Девочки в гимназии, где я училась, сразу поголовно влюбились в «душку Керенского». Все — даже казачьи атаманы — нацепили красные банты.

Но едва из-за границы приехал Ленин и выступил со своими знаменитыми «Апрельскими тезисами», контрреволюционное гнездо зашевелилось. На митингах в городском саду появились неизвестно откуда взявшиеся типы, которые били себя в грудь и вопили, что большевики — германские шпионы и всех их надо развешать на фонарных столбах.

К счастью, мне в руки попал номер «Правды» со статьей Ленина. Никаких сомнений в том, с кем я должна идти, у меня не было. Я решила разыскать Ростовскую большевистскую организацию и предложить свою помощь в том единственном, что я могла делать: ходить на заводы и распространять там большевистские газеты.

С этого времени ежедневно в пять часов утра с пачкой газет в руках я отправлялась в железнодорожные мастерские, на табачную фабрику Асмолова, в порт, на элеваторы, в солдатские казармы. Девочка с косами могла легко проникнуть туда, куда не мог бы пройти взрослый.

Члены большевистского комитета обратили на меня внимание, расспросили, кто я и что. Оказалось, что они знали моего отца и мать по ростовскому подполью 1900—1903 годов. Меня приняли в ряды партии!

Когда в гимназии узнали, что я большевичка, в классе разразилась буря. В порядке бойкота мне перестали подсказывать. Но я благополучно сдала выпускные экзамены и на следующий же день после получения аттестата уехала в революционный Петроград, куда уже звала меня моя мать.

Обо всем этом мы и проговорили чуть ли не всю ночь, а утром, поспав всего часа два, отправились на заседание Первого Всероссийского съезда Советов рабочих и солдатских депутатов.

Съезд открылся 3 июня. Он заседал в здании Кадетского корпуса на Васильевском острове. Достаточно было войти в зал и окинуть его беглым взглядом, чтобы почувствовать разницу между теми делегатами, которые сидели справа от председателя, и теми, что сидели слева. Справа виднелись погоны вольноопределяющихся и хорошие костюмы, попадались и офицерские френчи. Слева преобладали солдатские гимнастерки и простые пиджаки. А на крайней левой, у самых окон, занимала места группа людей, в каждом движении которых сквозила крепкая сплоченность между собой. Чувствовалось, что они — это одно, а остальной съезд — это другое.

Хотя гостям полагалось стоять позади, мы пробрались к окнам, поближе к этим людям. Это были большевики. Некоторых из них я припоминала — одних я знавала когда-то в качестве «легалов», других — в качестве «нелегалов», но и тех и других, как правило, под ненастоящими фамилиями и именами.

— Вот это Свердлов,— шепотом говорила мама.— Это Подвойский, это Джапаридзе, это Ногин, это Володарский, а это,— тут она показала на человека, сидев-

шего вполоборота, так что нам видна была только его могучая голова,— это Ленин!

В тот день происходило второе заседание съезда. Оно началось выступлением представителя Минского Совета рабочих и солдатских депутатов Позерна. Стоило Позерну заявить, что он выступает от имени фракции большевиков, как зал превратился в кипящий котел. Каждое слово Позерна встречалось гулом и выкриками. Сквозь свист и улюлюканье можно было уловить лишь отдельные слова оратора: «контрреволюционные круги», «группы, связанные с англо-французским и американским империализмом», «удар против международной революции, против борьбы за мир», «нависшая над страной угроза»...

От имени фракции большевиков Позерн потребовал, чтоб съезд в первую очередь обсудил вопрос, который волнует армию и от которого зависит судьба всей русской революции: вопрос о наступлении, подготовляемом правительством Керенского.

И тут же одна за другой потекли речи меньшевиков, эсеров, беспартийных, внепартийных, надпартийных и всяких прочих — и все против предложений большевиков.

Приступили к голосованию: «Кто за то, чтоб обсуждать вопрос о наступлении?» Несколько десятков рук. «Кто против?» Абсолютное большинство.

А потом пошли восторги. Представители демократии приветствовали представителей демократии и выражали уверенность, что демократия, оказавшись в руках долголетних борцов за демократию, будет единственно истинной демократией, огражденной от излишеств как вправо, так и в особенности влево, то есть демократичнейшей демократией из демократий.

Вечером устами министра Временного правительства меньшевика Ираклия Церетели оная демократия стала разъяснять, как она себя, демократию, понимает. Чем она руководствуется и что берет за основу. Что она считает гибельным для русской революции и в чем видит ее спасение.

Высокий, стройный, элегантный в своем черном костюме, Церетели выступал в лучшем адвокатски-парламентском стиле, простирая руки к залу, делая паузы,

переходя то к патетическим восклицаниям, то к трагическому шепоту — и в такт его речи покачивались долгогривые головы эсеров и умненькие, сухонькие головки меньшевиков.

На этот раз мы с мамой прошли дальше вперед и стояли так, что нам хорошо был виден Ленин. Владимир Ильич сидел пригнувшись и что-то быстро писал в блокноте, время от времени поглядывая на Церетели. А я смотрела на Ленина и мучительно старалась понять, почему мне знаком его облик. Наконец из глубин моей памяти выплыла узкая парижская улица, дом с темными стенами, небольшая кухня, стол, покрытый клеенкой, веселый человек, смеявшийся над моим желанием иметь «шляпу с вишнями».

А Церетели говорил и говорил. Сначала кругло и красиво, с вибрациями и модуляциями, было доказано, что демократия желает мира и свободы. Затем — уже жестко и непреклонно — что этот мир демократия намерена получить через войну до победы, а свободу рабочих и солдат она видит прежде всего в свободе быть пушечным мясом на войне во имя интересов международных банкиров. А потом — с взвизгиванием и рычанием — что в стране имеются, к сожалению, элементы, которые, вместо того чтобы дружно впрячься в колесницу демократии, вставляют в сию колесницу палки, между тем как лишь в единой упряжке с буржуазией колесница демократии прибудет к победе...

Речь Церетели достигла своей кульминации. Он широко раскинул руки и говорил тоном человека, абсолютно овладевшего аудиторией.

— В настоящий момент,— вещал он,— в России нет политической партии, которая говорила бы: дайте нам в руки власть, уйдите, мы займем ваше место. Такой партии в России нет!

Долгие гривы эсеров согласно зашевелились, жиденькие бородки меньшевиков поддакивающе затряслись. Но вдруг тишину прорезал звонкий чистый голос:

— Есть!

Это Ленин со своего места, встав и глядя прямо в глаза продажному министру-социалисту, воскликнул:

— Есть!

И над замершим от неожиданности залом, над Россией, над всем миром прозвучал его голос, полный силы, страсти, огня:

— Есть! Есть такая партия! Это — партия большевиков!

РИСУНКИ АЛЕШИ КАЛЕНОВА

Там же, на съезде Советов, во время перерыва, мама подвела меня к Свердлову.

Яков Михайлович стоял на площадке лестницы, упершись спиной в стену и напоминая капитана на командном мостике. К нему подходили люди, а то он сам, выхватив взглядом кого-нибудь из толпы, подзывал его к себе. Разговор всегда был коротким. Видно было, что и он и его собеседники понимали друг друга с полуслова.

Увидев меня, он удивился:

— Ишь какая ты большая стала. Как? Уже член партии? Сколько же вам (вам!) лет? Пятнадцать? Что-то не по уставу получается, а?

— Да я совсем не устала,— не поняв, сказала я.

В это время мимо нас проходил Мартов.

— Тсс! — сказал Яков Михайлович.— Еще услышит Мартов и скажет: «Ну и большевики пошли, даже не знают, что это такое партийный устав!»

Разговор наш шел о моей работе. Яков Михайлович направил меня на Выборгскую сторону, к Надежде Константиновне Крупской.

Во время выборов в районные думы наша партия получила на Выборгской стороне большинство голосов, Надежда Константиновна стала заведовать там культурно-просветительным отделом районной управы. Весь отдел помещался в одной комнате, в которой стояло два старых, кривых стола и несколько стульев.

Весело смеясь, Надежда Константиновна вспомнила какую-то старую женевскую историю, а потом сказала мне, что работники очень и очень нужны и что она поручает мне организовать детскую площадку.

Огорчению моему не было предела. Как? Я собиралась чуть ли не строить баррикады и совершать революцию, а мне предлагают вытирать ребятишкам носы.

— Вот именно для того, чтобы совершить революцию, чтобы пролетариат узнал, кто такие большевики, нам с тобой придется делать всяческую работу, в том числе и вытирать ребячьи носы,— сказала Надежда Константиновна.— Выборгская районная дума пока единственная в стране находится под влиянием нашей партии. И мы должны показать рабочим Питера и всей России, как будут работать большевики, когда пролетариат возьмет власть в свои руки.

Освободившись от текущих дел, Надежда Константиновна пошла вместе со мной искать место для будущей площадки. Ходили мы долго, пока не нашли неподалеку от железнодорожного моста большой пустырь, поросший чахлой травой. Мы решили устроить площадку здесь, так как пустырь этот был обнесен забором и внутри него стоял дощатый навес.

С помощью молодых рабочих-выборжцев мы расчистили нашу площадку от бурьяна и мусора, привезли песку, достали десяток деревянных совков и лопат, один мяч, четыре скакалки да несколько пачек белой бумаги и наборов акварельных красок и цветных карандашей. Расклеенные по району афиши приглашали детей на площадку.

Открытие было назначено на десять часов утра. Но уже к восьми забор был облеплен ребятишками, жаждавшими поскорее увидеть чудо, которое их ожидало.

Однако, когда я раскрыла калитку, войти решились далеко не все, а человек тридцать, не больше. Но и эти боязливо ступали, все время боясь окрика и запрещения.

Я раздала им игрушки, усадила малышей на песок. Постепенно эти маленькие старички оттаяли и повеселели. Со стороны они уже были похожи на обычных играющих детей. Но подойдешь к какой-нибудь крохотной маме, которая баюкает запеленатый в тряпку чурбанчик, и слышишь, как она бормочет:

— Варька, не реви, не надрывай ты мне душу! Вот принесу получку, куплю картошки, наварю и поставлю тебе, как царице, полную миску!

Пошел дождь. Я позвала ребят под навес и усадила рисовать, благо бумаги и кисточек хватало.

После дождя я собрала рисунки. Многие были совсем неразборчивы, на некоторых можно было увидеть

дома с ввинченными в небо штопорами дыма и плоских людей, распяливших руки. Но два листа, заполненные рисунками мальчика, которого звали Алеша Каленов, меня поразили.

В них много раз повторялся один и тот же мотив: внизу яркие мазки, пестрота и причудливость которых напоминала сказочных птиц, а над ними — одинаковый во всех рисунках — висящий в воздухе геометрически правильный грязно-голубой квадрат. И все это сделано с удивительной, недетской выразительностью.

Я знала, что нарисованы цветы. Об этом мне сказал сам Алеша. Но почему эти цветы выглядели так странно? А главное — что же означал этот загадочный квадрат?

Спросить об этом мальчика я не хотела: он был таким дичком, что мой вопрос мог его спугнуть. Я решила посоветоваться с Надеждой Константиновной.

Алешины рисунки взволновали ее. Она стала расспрашивать о мальчике. Я ничего о нем не знала. Но у меня имелась книга для регистрации ребят, и я нашла его адрес.

— Сходи-ка к нему,— сказала Надежда Константиновна,— посмотри, как он живет. Может, для нас тогда многое раскроется.

И я снова пошла по унылым улицам Выборгской стороны. Кругом все голо, ни кустика, ни деревца. Вот шестиэтажный обшарпанный дом, словно сошедший со страниц романов Достоевского. В нем живет Алеша Каленов. Двор-колодец. В глубине — лестница с щербатыми ступенями, спускающаяся в подвал. Длинный темный коридор. В конце дверь.

Я постучала. Дверь сама отворилась. Передо мной была узкая комната с одним окном. На кровати под рваным лоскутным одеялом спали трое маленьких ребят. Алеша Каленов сидел у окна. Я подошла к нему, поздоровалась, села рядом, посмотрела в окно — и увидела в далекой вышине тот самый грязно-голубой квадрат неба, который Алеша Каленов изобразил на своих рисунках.

Этому мальчику, которого я считала десятилетним, шел уже тринадцатый год. Он никогда не бывал за пределами Выборгской стороны. Он никогда не видел цве-

тов. С цветами у него связывалось представление о чем-то несказанно прекрасном. Он думал даже, что цветы поют...

Отца его забрали в солдаты в первый же день войны. Вскоре пришла похоронная. Мать — прачка. Стирала с утра до ночи, чтобы прокормить четверых ребятишек. Алеша в школу не ходил и нянчил малышей.

Обо всем этом я рассказала Надежде Константиновне. Она слушала меня, положив на стол дрожавшие прекрасные руки, и по щекам ее бежали крупные молчаливые слезы. А на другой день она передала мне, чтобы вечером я непременно пришла во дворец Кшесинской к Владимиру Ильичу, захватив Алешины рисунки.

Во дворец Кшесинской мне удалось попасть только поздно вечером. И в самом дворце и вокруг него бурлила огромная толпа. Только что стало известно о позорном провале предпринятого по воле Керенского наступления, которое стоило народу множества солдатских жизней. Рабочий Питер клокотал от ненависти к Временному правительству.

Владимира Ильича я разыскала в угловой комнате второго этажа. Одни ее окна выходили на Неву, другие на Петропавловскую крепость.

Когда я вошла, Владимир Ильич писал за письменным столом, заваленным ворохом газет и книг. Окна были раскрыты, и через них, словно шум прибоя, доносился гул толпы.

Прежде чем разговаривать, он налил две чашки чаю из синего эмалированного чайника, стоявшего в углу. Поставил на стол блюдце с сахарным песком и тарелку нарезанного черного хлеба. Сахару было мало. Мы клали его слоем на хлеб и пили чай, как говорил Владимир Ильич, с «сахарбродами».

Потом я достала Алешины рисунки. Владимир Ильич долго их рассматривал.

— Вот,— зло сказал он, показывая на розовую шелковую обивку комнаты и на мраморный потолок,— для того чтобы царская содержанка жила в такой роскоши, Алеша Каленов лишен детства.

Взяв лист бумаги, Владимир Ильич стал записывать все, что надо сделать для моих ребят с площадки: непременно (он подчеркнул это слово двумя чертами)

хотя бы раз вывезти их за город; непременно (снова дважды подчеркнуто) сводить их в Летний сад («И пусть барчата потеснятся»). Раздобыть игры и мячи. Поговорить с Горьким насчет детских книг. Узнать у выборжцев, нельзя ли разбить на площадке клумбу и посадить цветы.

На следующее утро Владимир Ильич уезжал на недельку в Финляндию. Рисунки Алеши и свою записку он взял с собою и сказал, что после возвращения хочет обязательно повидать мальчика.

Но несколько дней спустя произошли события 3—5 июля. Владимир Ильич спешно возвратился в Питер, а потом вынужден был скрыться от грозящих ему ареста и расправы со стороны Временного правительства. Находившиеся при нем бумаги — в их числе рисунки Алеши Каленова — пропали.

Переменив несколько квартир, Владимир Ильич добрался наконец до сенокосного участка сестрорецкого рабочего-большевика Николая Александровича Емельянова и жил там в шалаше. Надежда Константиновна в эти тяжелые месяцы продолжала по-прежнему работать в Выборгской районной управе. Она держалась, как и всегда, спокойно, но даже мои неопытные глаза видели, какого огромного труда стоило ей это внешнее спокойствие.

Я была уверена, что Владимиру Ильичу не до нас и он даже думать забыл о том, что хотел сделать для моих ребят с детской площадки. Велико же было мое удивление, когда в конце июля Надежда Константиновна сказала мне, что в воскресенье я должна собрать ребят и мы все вместе поедем в Мустамяки.

— А деньги на билеты?

— Не надо. Все будет приготовлено.

И действительно, на Финляндском вокзале нас ожидал пустой вагон, который подготовили наши товарищи-железнодорожники. Они прицепили его к первому отходящему поезду, и под всеобщий визг мы поехали!

В Мустамяках нас встретил старый работник партии Александр Михайлович Игнатьев. Мы построились по четыре. У одного из мальчиков (разумеется, не случайно!) оказался кусок кумача, который он водрузил на палку. Торжественно, с красным флагом, мы дошли до

дому. Там нас ожидали великолепнейшая пшенная каша, сладкий чай с молоком, овсяные пышки.

И все это сделали для нас благодаря Владимиру Ильичу! Надо только подумать, в каком положении он тогда находился — один, в заброшенном шалаше, зная, что каждую минуту его могут схватить и буквально растерзать, работая с утра до вечера над статьями, книгами, брошюрами, думая одну и ту же думу о судьбах России и международного рабочего движения. И в такое время он позаботился о том, чтоб подарить полусотне пролетарских детишек день счастья!

Весь этот счастливый день мы купались, гуляли по лесу, пели. Малыши пищали и катались по высокой, некошеной траве. Девочки плели венки.

И только Алеша Каленов бродил словно очарованный. Он молча подходил к цветам, смотрел на них, концами пальцев осторожно поглаживал венчики.

Мы договорились с Александром Михайловичем Игнатьевым, что непременно приедем еще. Но буря политических событий помешала это сделать. Обстановка в стране становилась с каждым днем все более напряженной. Против красного Выборгского района начался открытый поход. Буржуазные газеты призывали покончить с этим «большевистским гнездом». Когда я напоминала товарищам о нуждах площадки, они кряхтели, чесали затылки, смотрели на меня виноватыми глазами, но... так ничего и не смогли сделать.

Подошел сентябрь. Надо было переводить площадку под крышу, но не было ни помещения, ни средств. Да и мысли были заняты другим: вся пролетарская молодежь по мере сил и умения помогала партии в подготовке октябрьского штурма.

Стыдно, конечно, в этом сознаваться, но в те дни я совсем позабыла об Алеше Каленове. Каково же мне было, когда уже после Октябрьской революции я столкнулась в коридоре Смольного с Владимиром Ильичем и он сразу же спросил меня об Алеше, а я ничего не смогла ему ответить.

— Как же это так? — сказал Владимир Ильич.— Судьба этой семьи, можно сказать, в твоих руках, а ты о ней забыла!

— Да мне... да я...

— Пойди в комендатуру Смольного и скажи товарищам, что я прошу их позаботиться о том, чтобы семья Каленовых была переселена в хорошую квартиру.

Несколько дней спустя я побывала на новой квартире Каленовых. Не веря своему счастью, Мария Васильевна Каленова ходила по роскошному кабинету нефтепромышленника Гукасова, бежавшего за границу, и осторожно переставляла своими распухшими руками прачки тонкие фарфоровые безделушки. А Алеша, както ничего не видя вокруг, отсутствующим, зачарованным взором неотрывно смотрел на висевший на стене эскиз врубелевского «Демона».

В конце ноября нам удалось наконец получить помещение для детского клуба. Это были три комнаты в том самом особняке, глядя на который великий русский поэт написал: «Вот парадный подъезд. По торжественным дням...»

Но теперь к парадному подъезду подошли не деревенские ходоки, прогнанные надменным швейцаром, а питерские рабочие и их детвора. Работа закипела. Натаскали дров, вымыли полы, расставили, как нам нужно, мебель — и в бывшем доме царского сановника устроили первый в Питере «Детский рабочий клуб имени мировой революции». Все работы по клубу делали сами дети: они и топили печи, и кололи дрова, и убирали помещение.

В марте 1918 года я уехала в Москву, но на Первое мая вернулась в Петроград. Стоя у подножия трибуны на площади Жертв революции, я увидела ребят из нашего детского клуба. Они несли большой плакат. На нем был нарисован рабочий в красной рубахе. Протягивая одну руку крестьянину, он держал в другой тяжелый молот и разбивал им цепи капитала, опоясывающие земной шар. Надпись гласила: «Берегись, мировая буржуазия! Мы стоим на страже!» Ко мне подбежал Алеша и весело прокричал, что этот плакат нарисовал он сам.

В следующий мой приезд в Петроград, летом 1920 года, я узнала, что комсомолец Алексей Каленов вступил добровольцем в отряд, отправлявшийся на фронт, и пал смертью храбрых под Пулковом, в бою против банд Юденича...

ОКТЯБРЬСКИЙ ВЕТЕР

В то далекое чудесное время через дорогу наискосок от дворца Кшесинской высилось грубо сколоченное, обшарпанное, пропахшее конским потом, махоркой и аммиаком, залепленное старыми афишами круглое серое здание. Это был цирк «Модерн».

О цирк «Модерн», цирк «Модерн»! Может ли забыть тебя тот, кто летом и осенью семнадцатого года хоть раз побывал в твоих грязных, облупленных стенах?

Недаром кто-то (не Маяковский ли?) тогда провозгласил: «Чтоб дать отпор буржуйской скверне, спеши, товарищ, на митинг в «Модерне»!» Недаром сложенная тогда же песня утверждала: «Не видал тот революции, кто в «Модерне» не бывал!» Выстроенный по прихоти судьбы в самом центре богатых кварталов, этот огромный цирк с первых же дней после падения самодержавия сделался пристанищем самых боевых кругов Петроградского пролетариата и гарнизона.

Народу там набивалось — не продохнешь! Сидишь, бывало, зажатая с обеих сторон так, что пальцем не шевельнуть, твои ноги на чьей-то голове, на твоей голове — чьи-то ноги! Электричество не горит (об этом позаботилось Временное правительство; но напрасны были его надежды сорвать таким способом собрания в «Модерне»). Рядом с ораторской трибуной пылает смоляной факел. Черно-багровое пламя колеблется под дыханием толпы; огненные отблески пробегают по лицам людей, заполнивших все места, арену, проходы, ложи и чуть ли не свисающих с барьеров и люстр.

Один оратор сменяет другого: тут и посланцы большевистской партии — Володарский, Крыленко, Слуцкий; и солдаты, приехавшие с фронта; и матросы из Кронштадта и Свеаборга; и рабочие с «Русского Рено», «Парвиайнена», «Путиловца». Цирк гудит. Он вздыхает, радуется, негодует, как один человек.

— Товарищи! Дадим ли мы Временному правительству накинуть нам на шею удавную петлю? — спрашивает оратор.

— Не дадим! Не дадим! — отвечает цирк.

— Позволим ли продолжать проклятую бойню?

— Не позволим! Долой! Пусть Керенский сам в окопах вшей кормит, а с нас хватит!

— Товарищи, оставим ли мы землю помещикам?

— Не оставим! Себе возьмем!

— Кому же, товарищи, должна принадлежать власть?

— Советам! Вся власть Советам!

И вот настал Октябрь, великий Октябрь семнадцатого года! События развивались все стремительней. Чувствовалось, что развязка близка.

Еще не так давно этого чувства не было. Но теперь, с конца сентября — начала октября, его испытывали все — и друзья революции и ее враги.

«Революция приближается! — писала в эти дни буржуазная и меньшевистско-эсеровская печать.— Барометр указывает бурю, и на горизонте недаром показалась тень Ленина!»

Тень Ленина? Ошибаетесь, господа... Нет, это не тень! Это сам Ленин, полный неукротимой энергии и страстного желания борьбы! Пренебрегая опасностью для жизни, он, переодевшись кочегаром, пробрался на паровозе в Питер и поселился на Выборгской стороне, в квартире Маргариты Васильевны Фофановой, чтоб непосредственно руководить подготовкой восстания.

Нет, это не тень! Это живой Ленин принимает участие в заседаниях Центрального Комитета партии; разоблачает штрейкбрехеров революции; напоминает об учении Маркса о восстании как искусстве; доказывает, что кризис назрел, что все будущее русской и международной революции поставлено на карту; требует от партии по-деловому, практически заняться технической стороной восстания, чтоб сохранить за собой инициативу и в ближайшее же время приступить к решительным действиям.

Это, он, Ленин, из глубокого подполья направляет работу партии... Это его голос звучит набатом со страниц большевистских газет и находит горячий отклик в сердцах рабочих, матросов, солдат и крестьян!

О том, что Владимир Ильич вернулся в Питер, было известно лишь самому узкому кругу товарищей. Но мы, рядовые члены партии, не зная о его приезде, ощущали его близкое присутствие. Словно в строй вступила мощная турбина — так энергично, быстро, четко завертелись все валы партийного механизма. И каждая его самая малая шестеренка напрягала все силы, чтобы была достигнута цель, поставленная партией.

Встанешь утром, кое-как умоешься, выпьешь наскоро стакан чая — и в путь! За день надо переделать кучу дел: сначала побывать на Выборгской стороне; оттуда — отправиться на Фурштадтскую, 19, в секретариат Центрального Комитета партии; оттуда — в Смольный; потом в Московский полк, чтобы пострелять на стрельбище, которое он предоставил в распоряжение штаба Красной гвардии; оттуда — на собрание Союза рабочей молодежи в помещении одной из шумных грязных чайных с неожиданными названиями: «Зимний сад» или «Тихая долина»; оттуда — на митинг в Пулеметном полку или на заводе «Новый Лесснер» и еще в добрый десяток мест.

Работа шла быстро. Все вопросы подвергались страстному обсуждению, и тут же по ним принимались решения. Если надо было что-то сделать, кто-нибудь брался это сделать и сам находил себе помощников. А большинство дел делалось всеми сообща: надо записываться в Красную гвардию — все записываются в Красную гвардию; надо собирать оружие — все собирают оружие.

Велась ли тогда служба погоды? Если да, ее записи за октябрь семнадцатого года должны гласить: «Облачность низкая без прояснений, временами дождь и мокрый снег. Ветер порывистый, умеренный до сильного. Температура ночью минус пять — минус семь, днем — около нуля».

Но ежели спросить, какой была в те дни погода, любого участника Октября, он задумается, пожмет плечами, улыбнется воспоминанию, разведет руками и скажет: «Великолепная! Великолепнейшая! Воздух свежий, бодрящий... Молоденький снежок... Этакий приятный питерский туман, смешанный с дымом костров ..

И ко всему — ветер. Отличный ветер, веселый, порывистый. Именно такой ветер, какому и положено быть в дни, когда с земли выметается нечисть старого мира».

Было ли холодно? Конечно... Бежишь по улице, и зуб на зуб не попадает. Не беда, нам не привыкать. Зато у буржуев косточки померзнут. Пусть узнают, гады, почем фунт лиха!

Оружие, оружие, оружие!.. За вчерашний день нам удалось достать семь винтовок, три нагана, браунинг без патронов... За Нарвской заставой ребята раздобыли два пулемета... Говорят, что патроны можно достать в Новой Деревне... А перевязочный материал выдают на Петроградской стороне... Повсюду идет поспешное обучение красногвардейцев и санитаров. Инструктор — безусый солдатик — объясняет: «Главное, не бойсь... Ползи вперед и пали с винтовки». Студент-медик сыплет скороговоркой: «На рану кладется марля, на марлю кладется вата, на вату накладывается повязка...» Тут же все принимаются бинтовать друг друга. Курс обучения — двухчасовой.

Темные ночи, темные улицы... Как изменился Питер за последние два месяца! Исчезли красные банты, украшавшие и шелковый лацкан фрака и замызганную шинель солдата. С лиц сошло выражение умильно-благостного восторга. Буржуазные кварталы погрузились в тишину. Особняки миллионеров и иностранных посольств словно вымерли: парадные двери замкнуты на прочные засовы, зеркальные окна затянуты толстыми шторами.

Эта тишина — мы знаем — обманчива. Буржуазия не спит. Буржуазия бодрствует. Буржуазия сплачивает свои силы. Буржуазия плетет сети заговоров против революции.

«Промедление смерти подобно!» Эти слова звучали в те дни по всему рабочему Питеру.

«Промедление смерти подобно!» — говорил вожак петроградской рабочей молодежи Вася Алексеев, требуя

от нас, чтоб мы протянули живую нить от Союза рабочей молодежи к каждому молодому рабочему и работнице.

«Промедление смерти подобно!» — восклицал на митинге солдат-фронтовик, призывая сплотить силы рабочих и солдат для восстания против Временного правительства.

«Промедление смерти подобно!» — заявлял рабочий завода «Айваз», заканчивая свою речь, направленную против соглашателей, которые «задумали построить с капиталистическими волками овечий дом» и которых он предлагал «выгнать поганой метлой из Советов».

«Промедление смерти подобно!» — несколько раз повторила Женя Егорова, секретарь Выборгского районного комитета партии, выступая перед коммунистами района на собрании, посвященном сбору оружия, мобилизации красногвардейцев, устройству перевязочных пунктов, обогревалок и кипятильников, установлению прочной, надежной связи и взаимодействия между красногвардейскими отрядами и революционными солдатскими полками.

Как, откуда пришли эти слова?

Это Владимир Ильич Ленин в «Письме к товарищам большевикам, участвующим на областном съезде Советов Северной области», провозгласил, что час действия настал, что «промедление смерти подобно!».

Утро 24 октября застало меня на Выборгской стороне.

Сначала я бегала по делам Союза рабочей молодежи, потом оказалась в районном комитете партии. Там было полно народу. Все время прибегали люди с винтовками в руках. Меня усадили выписывать распоряжения об отпуске оружия, мандаты и еще какие-то бумаги.

Кругом все кипело, как в котле. Время неслось с невероятной быстротой. Было уже за полночь, когда я услышала голос Жени Егоровой:

— А вы возьмите девочку. Оно не так заметно будет.

Обернувшись, я увидела, что посреди комнаты стоит Надежда Константиновна. Она куда-то шла, и мне велели

пойти с нею, а если нас остановят, отвечать, что заболела бабушка и мы идем за врачом.

Когда мы вышли, нас обступила черная ночь. С того берега, за Невой, доносились глухие звуки выстрелов. Куда и зачем мы шли, я не знала. Шли мы долго, пока не подошли к высокому дому в конце Большого Сампсониевского. Надежда Константиновна попросила подождать ее на улице. Она вернулась очень скоро, сильно взволнованная.

Лишь много позднее я узнала, что в этом доме находилась квартира Маргариты Васильевны Фофановой, где провел свое последнее подполье Владимир Ильич. В тот вечер он послал Маргариту Васильевну с письмом к членам Центрального Комитета партии — тем знаменитым письмом, которое начинается словами: «Я пишу эти строки вечером 24-го, положение донельзя критическое. Яснее ясного, что теперь, уже поистине, промедление в восстании смерти подобно».

Не дождавшись возвращения Фофановой, Владимир Ильич ушел в Смольный. И вот Надежда Константиновна узнала сейчас, что Владимира Ильича нет, он ушел.

И снова мы шли по этим черным улицам. Надежда Константиновна вся сжалась, стараясь не выдать свою тревогу. Но когда мы пришли в райком, товарищи поняли по ее лицу, что случилось что-то необычайное, и кинулись к ней. Она сказала только: «В Смольный! Скорей в Смольный...» Женя Егорова подхватила ее под руку, и они умчались на каком-то грузовике.

Светать еще не начинало, но понемногу мрак сделался мутным, из темноты медленно выступили очертания домов. Когда мы вышли к Неве, на востоке занялась серая заря и можно стало различить гранитные ступени, низко осевшие баржи и тяжелый свинцовый блеск воды.

На Литейном мосту у конца, прилегающего к Выборгской стороне, дежурили красногвардейцы из отряда Патронного завода. С рабочей смекалкой они догадались снять с мостового механизма шестерни, шпонки и ручки. Поэтому Временное правительство, которое развело

почти все мосты, чтоб отрезать рабочие окраины от центра города, Литейный мост развести не смогло.

На том конце моста у костра чернели фигуры солдат Керенского. Их окружали рабочие. Шел яростный спор. Рабочие уговаривали солдат перейти на сторону народа.

В Смольный мы попали часам к десяти утра 25 октября. Решетчатые ворота были раскрыты, прямо напротив них дежурил броневик. Вокруг здания были выложены штабеля дров; в случае вооруженной борьбы они послужили бы укрытием. Внизу, у колоннады, подняли вверх свои жерла пушки, рядом с ними — пулеметы. Длинные гулкие коридоры были запружены красногвардейцами, солдатами, матросами. Слышался лязг оружия, стук винтовочных прикладов, слова команды, говор, восклицания. Все кругом двигалось, шумело, кричало, требовало, действовало. «Хаос»,— сказал бы сторонний наблюдатель. Нет, не хаос, ибо каждая частица, подобно попавшим в зону действия магнита молекулам железа, действовала согласно с господствовавшей надо всем волей рабочего класса.

Жизнь словно превратилась в сплошной летящий день. События неслись, сменяя одно другое. Но были в их потоке минуты, которые навеки врезались в память того, кто их пережил: это те минуты, когда в зале заседания Петроградского Совета появился Владимир Ильич Ленин и быстро прошел к трибуне и все вскочили со своих мест и кричали от восторга, а потом, когда он остановил движением руки бурю приветствий, затаив дыхание слушали Владимира Ильича: «Товарищи! Рабочая и крестьянская революция, о необходимости которой все время говорили большевики, совершилась»,— а когда Владимир Ильич кончил, снова самозабвенно кричали и пели «Интернационал», и Владимир Ильич пел вместе со всеми, и рядом с ним стоял солдат с забинтованной головой, и у них обоих и у всех кругом были такие бесконечно счастливые, вдохновенные лица!

ТАМ, В СМОЛЬНОМ...

Двадцать шестое октября, седьмой час утра. Я вышла из Смольного. Было еще темно, небо едва начало синеть. Только из окон Смольного лился свет.

То совсем рядом, то вдалеке слышались беспорядочные выстрелы. Ныряя по ухабам, проносились грузовики, переполненные вооруженными красногвардейцами. Трещали мотоциклы: это самокатчики развозили срочные приказания Военно-революционного комитета.

Несмотря на ранний час, на улицах было оживленно. Буржуев — никого. Солдаты, матросы, рабочие. Перед булочными — женщины с кошелками.

На Таврической улице, около подъезда нарядного дома, собралась небольшая толпа. Подойдя, я увидела рябого матроса с пулеметной лентой через плечо. Приставив винтовку к стене, он держал на весу завернутого в тряпье грудного ребенка.

Какая-то несчастная мать в эту великую ночь не видела ничего, кроме своего горя, своей безысходности. Она подкинула ребенка в подъезд. Проходивший мимо красногвардейский патруль подобрал его.

Толпа гудела: «В воспитательный дом...», «В приют...», «В милицию, тут за углом...»

Матрос не слушал. Он тяжело задумался. По изрытому оспой лицу катились крупные капли пота.

Ребенок запищал.

— Не тужи, мало́й,— сказал матрос.— Жизня теперь наша.

И, обращаясь к толпе, добавил:

— В Смольный я его понесу. Там решат... Там все решат.

Он был прав, этот матрос. Там, в Смольном, в этот час решалось все: и судьба человечества, и судьба этого маленького комочка.

САМОЕ ГЛАВНОЕ...

Петроград, январь — март 1918...

Как-то, идя в Смольный по каким-то делам, мы встретили Федю Шадурова. Он сказал, что в связи с раскрытием контрреволюционных заговоров там стало очень строго с выдачей пропусков. Вот досада, нам так нужно пройти! Но Моня Шавер, как всегда, нашелся, благо у него была при себе винтовка: он велел мне и Лене

Петровскому идти вперед, а сам, проходя мимо часового, сказал: «Веду арестованных»,— и тот нас пропустил.

Мы сгорбились и тяжело волочили ноги, как и полагается арестованным. Но едва часовой остался за поворотом, бросились бежать, умирая от хохота по поводу удачной проделки, и чуть не налетели на человека, который шел нам навстречу.

— Осторожно, товарищи,— сказал знакомый голос.

— Ой, Владимир Ильич!

Он спросил нас о причинах столь бурного веселья. Сказать правду мы постеснялись и наплели какую-то историю, шитую белыми нитками. Владимир Ильич явно не поверил, но промолчал и позвал нас на минутку к себе.

Так неожиданно осуществилась наша мечта побывать у товарища Ленина и изложить ему некоторые наши идеи. Мы думали об этом давно, но мешало одно обстоятельство: дело в том, что наши ребята из Нарвско-Петергофского района ходили уже к Владимиру Ильичу и, входя в кабинет, на пороге произнесли заранее подготовленные слова: «Мир хижинам — война дворцам». Мы считали, что должны сказать что-то в этом же роде, например: «Вихри враждебные веют над нами...» или же: «Весь мир насилья мы разрушим...», но пока ни на чем не остановились.

Однако сейчас, сидя у Владимира Ильича, мы забыли об этих своих намерениях и жаждали поговорить с ним о том, что называлось тогда «текущим моментом».

Дело происходило в самый разгар переговоров с немцами по поводу заключения перемирия. Германские милитаристы вели себя нагло и каждый день предъявляли все новые ультимативные требования. Как ни тяжелы были эти требования, Ленин настаивал на том, что Советская Россия должна их как можно скорее принять, ибо, если она их не примет, сильнейшие поражения, которые ее ждут, заставят потом заключить еще более невыгодный и тяжелый мирный договор.

Робея, храбрясь и смущаясь, мы изложили Владимиру Ильичу те предложения, которые возникли у нас во время споров по международным вопросам.

Мы сказали, что не разделяем взглядов так называемых «левых коммунистов» и безусловно стоим за

заключение мира любой ценой. Но при этом думаем, что раз германские империалисты явно провоцируют срыв мирных переговоров и хотят продолжать войну, то не считает ли Владимир Ильич, что имело бы смысл взять миллион человек и приказать, чтоб они прорыли подкоп под линией фронта прямо в тыл немцам? По этому подкопу в Германию проберутся наши самые отчаянно смелые люди и призовут германский народ к революции. А когда произойдет революция в Германии, вслед за нею вспыхнет революция во Франции, и тогда...

Нет, Владимир Ильич не считал, что имело бы смысл делать такой подкоп.

Быть может, он сомневается в том, имеются ли такие люди? Но мы хорошо знаем людей, которые...

Нет, Владимир Ильич не сомневался в существовании таких людей. Он знал, что такие люди есть.

Он сказал нам о том, что революции не заказываются. Революции происходят как следствие взрыва негодования народных масс. И нам надо думать не о подкопах, а о том, как помочь рабочему классу всех стран. Эту помощь Советское правительство уже оказало, например, тем, что опубликовало тайные договоры. Теперь весь мир видит, что правители всех капиталистических стран — разбойники. Без всяких подкопов мы делом, поймите, *делом,* помогли трудящимся увидеть, каким обманом является проклятая империалистическая война...

Итак, наш план не принят!

— Я вижу,— сказал Владимир Ильич, вглядываясь в наши лица,— что ваша мысль уже работает над изобретением новых планов.

Его проницательность нас поразила.

— Прежде чем их выслушать, я хотел бы знать, кем вы собираетесь быть...

Владимиру Ильичу явно хотелось сказать: «когда вырастете», но он удержался.

Леня Петровский сказал, что он решил идти в Красную Армию и сделаться пролетарским полководцем.

Моня Шавер тоже намерен был вступить в ряды Красной Армии, но обязательно артиллеристом.

Я, оказывается, тоже избрала для себя военную карьеру.

По лицу Владимира Ильича было похоже, что намерения наши ему нравятся, но в то же время он в чем-то сомневался.

— А сколько каждому из вас лет? — спросил он.

Мы пробормотали что-то, из чего можно было расслышать только «...надцать».

— Ну, если бы вам было по девятнадцать, вы сказали бы об этом погромче,— засмеялся Владимир Ильич.— Будем считать, что по семнадцать.

(О, если б это было так!)

— Вам известен декрет о создании Красной Армии, вы знаете, что в нее будут принимать от восемнадцати лет,— продолжал Владимир Ильич.—Вы что-то огорчены? Уж не боитесь ли вы, что мировую революцию совершат без вас?

Владимир Ильич встал и принялся расхаживать по комнате.

— Мы не знаем, как сложатся события в самые же ближайшие месяцы,— очень серьезно сказал он.— Возможно, что нам придется брать в Красную Армию даже людей вашего возраста. Но как бы то ни было, для каждого из вас имеется много дела, только рукава засучивай! Буржуазия все портит, все саботирует, чтоб сорвать рабочую революцию. В каждой области жизни нам предстоит дать решительный бой. Рабочий класс должен стать подлинным хозяином страны, а самой подвижной, активной частью рабочего класса является рабочая молодежь. Если мы сумеем по-настоящему организовать силы рабочего класса, наше дело станет непобедимым. А разве мы делаем для этого все, что нужно? Вот как, к примеру, идет работа вашего Союза молодежи?

— Она идет ужасно хорошо,— решительно ответила я.

— Ужжасно хорошо! — передразнил Владимир Ильич.— А сколько за вами рабочей молодежи?

— Миллионы! — в тон мне сказал Моня Шавер.

И тут мы узнали, что́ это такое, когда тебе, как говорится, «попало по первое число».

Владимир Ильич без всякой пощады пушил нас за организационную расхлябанность, любовь к заседаниям,

многословие, пустопорожнюю болтовню. Мы сидели под градом его слов и видели все свои прорехи: невыполненные решения, не доведенные до конца дела, заводы, на которых не успели побывать, молодых рабочих, с которыми начали работу и бросили на полдороге.

— Революционер должен иметь горячее сердце — иначе он не революционер, и холодную, трезво рассуждающую голову — иначе он дурак,— говорил Владимир Ильич.— Он обязан в равной мере обладать умением и умереть за революцию и вести самую скучную, самую повседневную, а потому самую трудную работу. Ибо самое главное для нас в том, чтоб всегда вести за собой миллионные массы трудового народа.

Взглянув на часы, Владимир Ильич сказал, что вынужден попрощаться с нами. Мы уже встали, чтоб уходить, когда он спросил, в чем же была причина того веселого настроения, в котором он нас встретил.

Мы повинились. Владимир Ильич был поражен.

— Как? — спросил он.— Неужели так и прошли? А как вы выйдете?

— Да так же!

— Нуте-ка пойдем, я погляжу.

Мы спустились к выходу, снова приняли понурый вид. Владимир Ильич из-за угла наблюдал за нами.

— Веду арестованных,— сказал Моня Шавер, проходя мимо часового.

Тот небрежно махнул рукой:

— Проходи!

Нас, конечно, интересовало, чем кончится эта история. Потом мы узнали, что в тот же день был введен новый порядок, по которому арестованных, доставленных в Смольный, больше не пропускали в здание, а стали принимать в комендатуре внизу, на первом этаже.

ПУТЕШЕСТВИЕ ИЗ ПЕТЕРБУРГА В МОСКВУ

В начале марта Советская Россия, благодаря мудрой политике Ленина, вышла из войны. В Бресте был подписан мир с германскими милитаристами. А несколько

дней спустя Советское правительство переехало в Москву, куда была перенесена столица Российской Социалистической Советской Республики.

И вот я, сложив на платформе Николаевского вокзала наш нехитрый багаж, поджидала маму, которая должна была приехать сюда из Смольного.

На вокзале было полно народу. Толчея непротолченная! Тут и там виднелись ящики с делами различных народных комиссариатов. На извозчиках, на грузовиках, на ломовых подводах подъезжали новые и новые люди. Кто тащил пишущую машинку, кто — перетянутую бечевкой связку книг. Своих вещей почти ни у кого не было. Так, ручной чемоданишко, а то и просто портфель со сменой белья и куском мыла.

В Москву! В Москву!

Лишь только отошел поезд с делегатами Четвертого съезда Советов, сразу же подали новый состав. Он был собран как попало из желтых, синих, зеленых вагонов с выбитыми кое-где стеклами, заделанными фанерой. Весь день пригревало первое мартовское солнце, и с железных крыш свисали ржавые, кривые сосульки.

С этим составом в Москву уезжали работники Высшего Совета Народного Хозяйства, часть сотрудников Центрального Исполнительного Комитета, контора «Правды», редакция «Известий» и всякий другой партийный и советский народ.

— Эй, погляди! — на бегу крикнул мне молодой румяный матрос.— И эти туда же! Куда конь с копытом, туда и рак с клешней!

Я обернулась и увидела тех, на кого он обратил мое внимание.

Один из них был высокий человек в поношенном драповом пальто и в пенсне с черным шнурочком. Это был второстепенный меньшевистский деятель, очень рьяный и словоохотливый, прославившийся своей способностью держать речи под свист и топот всего зала.

Второй был одет в поддевку и смазные сапоги, какие в Петербурге носили только содержатели извозчичьих дворов да правые эсеры. Этого я тоже не раз встречала в кулуарах Таврического дворца.

Таща чемоданы, они под неприязненными взглядами окружающих бочком-бочком пробирались к поезду.

Наконец показалась мама. Она с трудом несла большой сверток. Волосы у нее растрепались, шляпка сбилась набок.

— Ой, не сердись, матрешка,— сказала она, увидав мое лицо.— Я никак не могла. И потом, понимаешь, мне надо было собрать эти документы, и я не успела из-за этого получить продукты.

— Ладно,— сказала я.— Пойдем скорее. Ведь этак мы опоздаем.

Давно уже пора было садиться. Пока мы добрались до своего вагона, был уже дан второй звонок. Только мы успели вскочить, как поезд тронулся. С уходившей от нас платформы донеслись звуки «Интернационала». Его подхватил весь поезд.

Острая боль пронзила душу. Питер, мы уезжаем, но мы с тобой, всегда с тобой!

Устав от впечатлений прошедшего дня, я забралась на верхнюю полку и сразу заснула.

Когда я проснулась, в вагоне было жарко, тихо, темно. Над дверью, за стеклом, оплывал свечной огарок. Внизу краснели звездочки горящих папирос. Шел такой необычный в те дни, тихий, неторопливый разговор.

— Удивительная это вещь,— говорил незнакомый мне глуховатый голос.— Много ли, кажется, я в Питере-то видал? Как попал мальчонкой на Путиловский, так через Неву чуть ли не впервой переехал, когда нас из участка в «Кресты» везли. Был я потом в Италии, на Капри. Такое все вокруг меня красивое, голубое да розовое. Стоят дамочки в шляпках и восхищаются, лопочут: «Шарман! Шарман!» А мне этот шарман поперек горла стоит. Тянет меня в Питер, да и только. И представляется он мне всех милее и светлее. Вот таким, каким его увидел Пушкин: «И ясны спящие громады пустынных улиц, и светла Адмиралтейская игла!»

— Мы совсем вроде Радищева,— сказал кто-то.— Путешествие из Петербурга в Москву.

Я слушала сквозь дрему. Поезд шел медленно, вагон покачивало, на станциях подбегали смазчики, стучали по осям, в окне возникали и исчезали расплывчатые оранжевые огни.

— Любопытная, конечно, штука получилась,— заговорил низкий голос.— И в нашей истории и в русской литературе Петербург всегда противопоставлялся Москве, как Запад — Востоку, Европа — Азии. Одни видели в Петербурге что-то наносное, деталь фасада, окно в Европу, «международную обшмыгу», как говаривал Достоевский. Для других он был воплощением прогрессивного пути исторического развития. Москва же противопоставлялась ему то как истинная Русь, то как средоточие российского толстосумства и азиатчины в самом дурном понимании этого слова. И вот революции, с ее великим интернациональным духом, суждено снять это старое противопоставление двух русских столиц и в то же время, перенеся столицу в Москву, окончательно утвердить пролетарскую диктатуру как всероссийскую и общенациональную власть.

— Ну, тут уж я с вами не согласен,— ответил голос с верхней полки.— Этак вы до Хомякова и Киреевского договоритесь. Дело ясное и простое: Петроград физически и пространственно оторван от остальной страны. С расстройством транспорта и разрухой эта оторванность фактически отрезала Петроград от глубинных масс России. Москва — другое дело. Москва лежит в центре Великороссии, от нее и к Волге, и к Дону, и к Уралу ближе, и связывают с ними не какие-нибудь две нитки железных дорог. Она естественно предназначена к тому, чтобы быть столицей. А философия тут ни при чем. Вопрос практический, товарищ филосо́ф.

— Хотел бы я знать, с каких это пор вопросы практические для нас, большевиков, являются не философскими и не политическими? — возразил на это «филосо́ф».— Не можете же вы утверждать, что перенос столицы в Москву не вносит ничего нового в ход исторического развития нашей страны и нашей революции? Превращая Москву в столицу России, русская революция тем самым превращает ее в центр притяжения всех сил международной революции...

Я заснула, не дослушав спора. На этот раз меня разбудил шум у дверей. Высокий солдат, окутанный белым морозным паром, просил, чтоб его подвезли несколько перегонов.

Его усадили на нижнюю лавку, стали осторожно расспрашивать. Потягивая цигарку, он медленно, задумчиво рассказывал:

— Твердо мы стояли, дезертиров из нашего полка почти никого не было. Ну, а как дошло дело до мира, собрал полковой комитет митинг, и мы постановили, что правильно товарищ Ленин предлагает, воевать мы больше не можем. Силы наши недостаточны. Приходится нам подписывать с похолодевшим сердцем этот мир.

Накинув пальто, я вышла на площадку. Было зябко, мороз пощипывал щеки. Звезды уже погасли, всходило солнце. По розоватому рыхлому снегу, то взлетая на косогоры, то исчезая в синих падях, мчалась темная тень поезда.

Замедлив ход, поезд подошел к небольшой станции. Около шлагбаума, поддерживая под уздцы пугливую, шарахающуюся лошаденку, стоял дед в сером зипуне, перетянутом веревкой, в лаптях и онучах.

— Поезд за поездом в Москву прут,— сказал он.— Ровно тараканы. Не пойму, с чего это?

— С чего, папаша? — переспросил прохаживавшийся около вагонов красноармеец с самодельной красной звездочкой на околыше.— Пословицу слышали: «Петербург — голова, Москва — сердце»? Так вот, большевики вперед, в самое сердце России пошли!

СЕРДЦЕ РОССИИ

Москва, март — ноябрь 1918...

Мы ехали в Москву, а приехали в Ма-а-скву!

Едва успели мы ступить на платформу вокзала, как нас тут же окружил певучий, «акающий» московский говор:

— Па-а-жалуйте вещички,— говорил носильщик.

— Па-а-прашу вас пра-а-йти,— приглашал дежурный.

— Напра-а-ва, на-а-лева,— отвечали на наши вопросы.

И совсем уже удивительно стало, когда мы услышали названия гостиниц, в которых должны были разместиться приезжие питерцы: «Боярский двор», «Лоскутная», «Славянский базар», «Княжий двор», «Охотнорядское подворье».

Москва ослепила нас солнцем, оттепелью, голубым небом. Сильно таяло, пахло весной, ярко блестели лужи, дребезжащая извозчичья пролетка разбрызгивала из-под колес коричневую снежную жижу.

Все было так интересно, так непохоже на Питер! Непрерывно покрикивая, извозчик вез нас по узким кривым улицам мимо убогих домишек и нарядных особняков, мимо покрытых причудливой лепкой Красных ворот, мимо прижавшихся друг к другу в горловине Мясницкой двух вегетарианских столовых со странными названиями: «Убедись» и «Примирись».

Со всех сторон грохотали и оглушительно звенели трамваи. Трамвайные пути кольцом лежали на круглой Лубянской площади, разбегались чуть ли не по всем семи выходящим на нее улицам, спускались вдоль зубчатой Китайгородской стены, устремлялись к Моховой, сворачивали на Большую Дмитровку, выныривали из Неглинной, чтоб, обогнув Малый театр и подойдя к подножию Большого, снова свернуть в сторону и направиться к Кремлю.

— Что это за дом? — спросили мы у извозчика о нынешнем Доме Союзов.

— Благородная собрания,— ответил он. И, показывая на следы пуль, пестревшие на колоннах, добавил:— А эту воспу их благородиям красные гвардейцы нащелкали.

На первых порах нам с мамой дали небольшой номер в гостинице «Националь». Она была реквизирована незадолго до этого. Над торговыми помещениями еще висели старые вывески магазинов Лапина, Перлова, Крестовникова и «Нью-Йорк Сити Банк», но у входа уже появилась деревянная дощечка, на которой было написано: «Первый дом Советов».

— Сегодня отдыхайте,— сказал товарищ, распоряжавшийся приемкой новоприбывших.

Но нам не терпелось. Наскоро приведя себя в порядок, мы решили пойти посмотреть город.

И вот мы оказались в самом центре дворянско-купеческой Москвы. Прямо напротив «Националя» посреди дороги стояла какая-то часовня. Слева — Благородное собрание, скрытое от нас раскоряченной церковью Параскевы Пятницы. По обе стороны Охотного ряда тянулись низкие дома, сплошь занятые лавками и складами. Пахло рыбой, прокисшей капустой, гнилью. Охотнорядские молодцы в синих суконных поддевках, перетянутых малиновыми кушаками, похаживали, расхваливая свой товар.

По тесной, горбатой Тверской мы поднялись на Скобелевскую (ныне Советская) площадь, где наискось от бывшего генерал-губернаторского дома, ставшего домом Московского Совета, находилась гостиница «Дрезден» — штаб-квартира московских партийных организаций. Но там мы никого не застали: в этот час шло заседание Московского Совета, на котором впервые по приезде в Москву выступал Владимир Ильич Ленин.

— Ничего не попишешь,— сказала мама.— Пойдемка пообедаем.

Мы снова поплутали по незнакомым улицам. Денег у нас было мало, идти в ресторан мы не решились. Наконец на нашем пути оказалась очередная вегетарианская столовая. На этот раз она называлась: «Я никого не ем».

— А вот я кого-нибудь съела бы, и с пребольшим удовольствием,— сказала мама, когда мы выходили, пообедав «лангетом из капусты» и «тефтелями из репы».

Мы долго еще бродили по улицам, прислушиваясь к разговорам, всматриваясь в сновавших мимо нас людей.

Господин в шубе с бобровым воротником, седой, с бородкой, которую тогда называли «а ля Буланже». Он брезгливо ступает ногами в резиновых ботах по грязному тротуару, покрытому окурками и подсолнечной шелухой. Когда мимо пронесся ощетинившийся грузовик с красногвардейцами, цедит: «Хамовозы!»

Дама в каракулевом саке, сверкая зубами, рассказывает своей спутнице: «Даже Николай Петрович вчера за вечерним чаем, несмотря на присутствие старой княги-

ни, в отчаянии воскликнул, что это все немыслимо, невозможно. Подумать только, он живет теперь совсем как какой-нибудь Ивашка, его младший дворник!»

Около памятника Скобелеву летучий митинг. Оратор выкрикивает фистулой: «Предатели! Продали Россию!» Маленький старичок качает головой: «Вот язык-то! Чисто железный. Как он себе зубы-то не выколотит?» Молодой парень, по виду рабочий, говорит: «Теперь не будет ни богатых, ни бедных. Земля, банки, заводы — все отошло народу».— «Это ты верно,— поддерживает его заросший щетиной солдат.— Темен, темен народ, а теперь уж у нас взятого не отберешь. Понял народ, как на его спине буржуи отыгрываются».

Вечерело. В домах начали зажигаться огни. Как это бывает в чужом, незнакомом городе, нам стало чуточку грустно и одиноко.

Но у входа в «Националь» нас поджидал Виктор Павлович Ногин.

— Куда же вы запропастились? — говорил он.— Немедленно едем к Смидовичам, вас там ждут.

Смидовичи — большая дружная семья с бесчисленными братьями и сестрами, родными и двоюродными. К этой семье принадлежало много выдающихся людей: замечательные большевики — Софья Николаевна и Петр Гермогенович Смидовичи, писатель Вересаев.

Одну ветвь семьи составляли светлые блондины, другую — жгучие брюнеты. Поэтому Смидовичи делились на «белых» и «черных». Но уже тогда, в восемнадцатом году, многие «черные» побелели, стали седыми.

В переполненном трамвае мы добрались до какого-то переулка неподалеку от Плющихи. Приземистый деревянный домик с вымытыми до молочной белизны некрашеными полами. Столовая. Под потолком висит на медных цепях большая лампа с голубым фарфоровым резервуаром и отверстием в абажуре — электрическая, переделанная из керосиновой. Стоит громадный кипящий самовар. Хозяева с особым радушием встречают гостей и угощают чаем с серыми пышками. Над дверью почти непрерывно звонит колокольчик: это приходят все новые и новые гости.

Все очень возбуждены: Москва переживает сегодня необыкновенный день — годовщина Февральской революции, в Москву переехало правительство, на заседании Московского Совета выступал Владимир Ильич. Почти все присутствующие пришли с заседания Совета и находились под впечатлением пережитого.

«Вы слышали, как Ильич-то сказал?» — восклицали они, торопливо жуя серые булки и обжигаясь горячим чаем. «А как слушали-то его!» — «Сначала он волновался, заметили?» — «Удивительный ум и удивительная способность выделить основное, решающее».— «А вы обратили внимание, что он в слове «буржуазия» ударение на *а* ставит?» — «Он говорит еще «социаль-демократ», это так в девяностых годах произносили, у него и осталось».— «Я с самого Второго съезда Советов его не видел. Похудел он с того времени. Видно, здорово устал. А все равно сидит в нем эта ленинская, особенная, несгибаемая сила!» — «Да, это верно. Сегодня рядом со мной был один рабочий; впервые, конечно, Ильича слушал и этак умно сказал: «Пружинящий человек. Революционный».

У двери снова зазвонил колокольчик. Это пришел Михаил Степанович Ольминский — большой, седой, красивый, как и всегда полный озорным кипением.

Остановившись около порога, он размахивал газетой, восторженно крича:

— Газета «Известия»! Только что вышла! Первый номер в Москве! Статья Ленина «Главная задача наших дней»! Да какая статья! Статьища! Программа!

...Сейчас каждый, кто изучал произведения Ленина, знает эту статью. Ее эпиграфом являются слова великого русского поэта-демократа:

Ты и убогая, ты и обильная,
Ты и могучая, ты и бессильная —
Матушка-Русь!

Ленин обдумывал эту статью в поезде, во время переезда из Петербурга в Москву. Паровоз протяжно гудел, за окнами белели снежные поля.

Там, среди этих полей, лежала Россия; по степным раздольям гулял ветер; теснились избы, крытые соломой; дети плакали, прося хлеба; на заводах смертным инеем

покрывались станки; еле ползли поезда, облепленные дезертирами и мешочниками; Дон горел в огне контрреволюционного мятежа; с юга и запада надвигались немцы; в особняках иностранных посольств разрабатывались заговоры против революции.

Но в это же время бойцы первых красноармейских частей, выкатив на пригорок орудия, окапывались на случай внезапного нападения врага; в деревнях шел дележ помещичьих земель; фабрично-заводские комитеты брали предприятия в свои руки; при свете коптилок голодные рабочие и работницы, обучающиеся в школах ликвидации неграмотности, повторяли слова, написанные мелом на черной грифельной доске: «Мы не бары. Мы не рабы».

Все силы старого мира пели России отходную, а Ленин выдвигал перед партией, рабочим классом, народом великую задачу: «...добиться во что бы то ни стало того, чтобы Русь перестала быть убогой и бессильной, чтобы она стала в полном смысле слова могучей и обильной»!

БЕЛАЯ СИРЕНЬ

Весна восемнадцатого года выдалась ранняя, дружная. Уже к началу апреля стаял снег и просохла земля. Весь месяц горячо грело солнце, вокруг свежих могил у Кремлевской стены поднялась густой щеткой крепкая изумрудная трава, а над первомайскими плакатами, украсившими город, прогремела первая гроза.

В мае буйно, как никогда, цвела в Москве сирень. То ли год выпал такой, то ли никто ее не подрезал и поэтому она так разрослась, но лиловые, голубовато-серые и белые цветы тяжелыми гроздьями усыпали кусты в сквере на Театральной площади и на московских бульварах. Сирень продавали и выменивали. Худые оборванные дети моляще протягивали прохожим охапки влажных, свежесрезанных ветвей, прося за них пол-осьмушки хлеба или горсточку пшена.

Как-то ранним майским утром я шла на работу. Ночью был дождь, лужи блестели тысячей солнц. На углу стояла девочка с корзиной цветов. В ее поникшей фи-

гурке было столько отчаяния, что я не выдержала и отдала ей за букет белой сирени последний кусок хлеба.

Работала я тогда у Якова Михайловича Свердлова, в Кремле. Президиум Центрального Исполнительного Комитета занимал три небольшие комнаты во втором этаже Здания судебных установлений. Налево находился кабинет Свердлова, направо — кабинет секретаря ВЦИКа Варлаама Александровича Аванесова. В средней, проходной, комнате сидели я и курьер Гриша. Мебель составляли канцелярские столы и стулья с высокими спинками. На стенах темнели четырехугольники — память от снятых царских портретов.

Вместо чернильных приборов стояли обыкновенные стеклянные чернильницы. Только у Якова Михайловича неведомо откуда взялось массивное пресс-папье и фарфоровая ваза с видом Шильонского замка. В эту вазу я и решила поставить цветы.

Когда я вошла, Яков Михайлович был уже у себя и разговаривал по телефону «верхнего коммутатора», коммутатора Совнаркома.

— Да, Владимир Ильич,— говорил он.— Я сейчас из Наркомпрода... — Не заглядывая в записную книжку, он называл в пудах и фунтах цифры поступления хлебных грузов.— В Питере надо выдать, там уже два дня не выдавали... В Москве завтра выдавать не будем, а послезавтра наскребем как-нибудь по восьмой фунта... С Костромой беда, просто беда. Семена́ уже давно доели, сейчас едят жмых и березовую кору...

Тем временем я налила в вазу воды и поставила в нее сирень. Яков Михайлович мельком взглянул на цветы и, продолжая телефонный разговор, неожиданно сказал:

— Сирень цветет, Владимир Ильич. Отличнейшая сирень. Ну что стоило этому старому богу устроить наоборот: чтоб сирень цвела в августе, а рожь поспевала бы в мае!

КАША «С НИЧЕМ»

Курьер Гриша понюхал цветы.

— Знаешь, чего бы я сейчас поел? — сказал он.— Картошки с постным маслом! Чтобы масла налить в плошечку, насыпать туда соли, а картошку макать.

Я выглянула в окно. Тень от пушки перед входом в арсенал падала влево,— значит, до обеда еще далеко. По вымощенному брусчаткой двору, важно переступая длинными голенастыми ногами, шел человек в блестевшем на солнце расшитом золотом мундире. Даже издалека угадывалось надменное, холодное выражение его лица. Это германский посол граф фон Мирбах пожаловал в Кремль, чтобы заявить об очередных претензиях кайзеровской Германии к Советской России.

То и дело звонили телефоны, сменялись посетители, приносили пакеты. Наконец в кабинете Аванесова на старинных часах с медным маятником раздался гулкий одинокий удар: час дня, обед!

Столовая помещалась тут же, в Здании судебных установлений, в темной комнате рядом с кухней. Чтобы попасть туда, надо было пройти бесчисленное количество коридоров, переходов, лестниц. На обед было всегда одно и то же: селедочный суп с сухими овощами и пшенная каша, по поводу которой велся вечный филологический спор: как следует говорить — каша «с ничем», каша «без всего» или же каша «без ничего»?

Зато уж посуда была на редкость разнообразна: и миски, и тарелки, и котелки, и глина, и фаянс, и жесть, и фарфор, и даже серебро. Бывало, хлебаешь суп из глиняной миски серебряной ложкой, но случалось и деревянной ложкой уписывать кашу из тончайшей тарелки чуть ли не севрского фарфора.

Обедали в этой столовой все: и народные комиссары, и работники Совнаркома и ВЦИКа, и посетители Кремля.

Здесь, за некрашеным деревянным столом, часто можно было услышать иностранную речь: сюда приходили и товарищи, пробравшиеся в Советскую Россию из-за рубежа, и бывшие военнопленные, ставшие большевиками, и политические эмигранты — венгры Бела Кун и Тибор Самуэли, швейцарец Платтен, французы Жанна Лябурб и Жак Садуль, американец Роберт Майнор, немец Эберлейн, китайский товарищ, который называл себя Сашей.

Почти каждый день приходил сюда обедать народный комиссар продовольствия Александр Дмитриевич Цюрупа. Получив обед, он бережно ставил тарелки на стол и

съедал все до последней крошки, даже если суп был совсем жидким, а пшенная каша горчила. Потом он несколько минут сидел, положив на колени желтые костлявые руки, видимо не имея сил подняться.

Он говорил тихим, глуховатым голосом и производил впечатление мягкого, уступчивого человека. Но какой непреклонной волей звучал этот голос, когда под вой и улюлюканье правых эсеров и меньшевиков, требовавших объявления свободной торговли и повышения цен на хлеб, Цюрупа заявлял, что Советская власть никогда не откажется в угоду кулакам от хлебной монополии.

Яков Михайлович в столовой не обедал: у Свердловых были маленькие дети, поэтому обед брали на дом. Брала на дом обед и семья Ульяновых. Но сам Владимир Ильич нередко съедал свой обед в столовой. Обычно он приходил с кем-нибудь из товарищей — то ли чтобы подкормить этого товарища, то ли чтобы выкроить несколько лишних минут для разговора с ним. Иногда он здесь же, в столовой, отодвинув тарелку, набрасывал записку или телеграмму. Так было, например, когда он пришел вместе со старым путиловцем Ивановым и написал в обращении к питерским рабочим:

«...Товарищи-рабочие! Помните, что положение революции критическое. Помните, что спасти революцию можете *только вы*; больше некому.

...дело революции, спасенье революции в ваших руках.

Время не терпит: за непомерно тяжелым маем придут еще более тяжелые июнь и июль, а может быть, еще и часть августа».

Но как бы ни было трудно, как бы ни было тяжело, здесь, в столовой, люди всегда шутили и смеялись. Разговор обычно становился общим, и порой, когда в него вмешивались обедавшие тут же посетители, он принимал самый неожиданный оборот.

Так, в тот самый раз, когда Владимир Ильич пришел в столовую вместе с путиловцем Ивановым и стал говорить о необходимости вовлечения в партию рабочих и крестьян-бедняков, обедавший напротив него остроглазый рыжебородый крестьянин вдруг сказал:

— Нет, товарищ Ленин, так нельзя. Никак невозможно, чтобы человек в одной партии состоял.

— Почему невозможно? — удивился Владимир Ильич.

— Да потому, что у каждого в нутре несколько партий сидит.

— Как так?

— Очень даже просто. Вот, к примеру, я. Скажи мне: «Ступай воевать с немцем», я скажу: «Не пойду»,— и выходит, что я большевик. А скажи мне: «Давай хлеб», я скажу: «Не дам»,— и вот получается, что я эсер. А еще что спроси — может, во мне и меньшевика отыщешь.

Надо было послушать, как хохотал Владимир Ильич!

Этот разговор имел своеобразное продолжение.

...Месяца три спустя, после покушения на Владимира Ильича, со всех концов страны потоком шли письма, телеграммы, резолюции собраний и деревенских сходов, в которых выражались пожелания выздоровления Владимиру Ильичу и чувство ненависти к тем, кто поднял на него руку. В числе прочих была резолюция сельского схода где-то в Пермской или Вятской губернии. Вместе с ней был прислан горшочек топленого масла.

«...Шлем душевное приветствие товарищу Ленину,— говорилось в резолюции.— Пусть не думают хищные звери капитала, что руками наемных убийц они задушат рабоче-крестьянскую революцию. Предательский выстрел в товарища Ленина не смутил наших рядов, наоборот, зажег их местью. Мы, крестьяне, заявляем во всеуслышание: «Не показывайтесь к нам, контрреволюционные силы, а если покажетесь и поднимете черную контрреволюционную голову, то помните, что для вас нами уже приготовлена могила». Шлем горячий привет Красной Советской Армии и заявляем, что мы вырвем хлеб у кулаков, накормим армию и ваши семейства, а для правильного проведения всех декретов организуем ячейку коммунистов-большевиков. Выздоравливайте, дорогой товарищ Ленин, вождь всемирной революции, и кушайте кашу не с ничем, а с маслом, чтоб скорее поправиться на счастье всемирного пролетариата. Да здравствует беспощадная классовая война! Да здравствует Советская власть!»

РАБОТА ПОШЛА!

Полгода назад Владимир Ильич закончил послесловие к своей книге «Государство и революция» словами: «приятнее и полезнее «опыт революции» проделывать, чем о нем писать».

Сейчас он целиком отдался «проделыванию» этого «приятного и полезного» опыта. В каждом его слове, в каждом движении чувствовалась бьющая через край энергия человека, полного счастьем своей трудной, напряженной жизни.

На одном из заседаний к нему подсел товарищ с Урала и рассказал, как рабочие старинного завода неподалеку от Кыштыма выкатили хозяйского управляющего на тачке, выбрали своего директора. Придя в директорский кабинет, новый рабочий директор, прежде чем сесть в кресло, расстелил на нем чистое полотенце и пояснил: «Кресло-то теперь народное».

Владимир Ильич выслушал этот рассказ и с наслаждением сказал:

— Великолепнейшая это штука — свергать буржуазию!

Владимиру Ильичу тогда только что исполнилось сорок восемь лет. Он был крепкий, плотный, подвижный. Жесты и интонации его были стремительны и энергичны. Движения — точны, быстры, пластичны. Когда он, стоя на ораторской трибуне, порывисто наклонялся вперед и закладывал руки за спину или же рассекал ими воздух, в нем чувствовался опытный конькобежец, пловец. Для человека его поколения, у которого спорт был не в чести, присущая Владимиру Ильичу любовь к физическому движению была проявлением особых свойств характера.

Каждый, кто встречался с ним, чувствовал исходящую от него необыкновенную силу.

Как-то, ранней весной восемнадцатого года, вскоре после переезда советского правительства в Москву, к Владимиру Ильичу пришла делегация рабочих МОГЭСа. Вернувшись к себе, делегаты созвали общее собрание рабочих, чтоб доложить о своем разговоре с Лениным. Из толпы крикнули: «А какой он, Ленин-то?»

Глава делегации подумал, потом убежденно ответил:

— Да так, я прикидываю, на мильён вольт потянет.

Надо вспомнить тогдашнюю Россию с малосильными электростанциями, в которых еле теплилась жизнь, чтоб понять, что это такое — «потянуть на мильён вольт»!

Он был человеком огромной мысли, но эта мысль никогда не была у него сухой, холодной, безжизненной, развивающейся самой по себе; нет, она была полна чувства, страсти, действенности, огненного темперамента. Это была бесстрашная мысль борца, мысль революционера. И этой мысли, которая постоянно им владела, было подчинено в нем все.

Однажды — это было, наверное, в середине июня — Владимир Ильич с Надеждой Константиновной поехали на субботний вечер на дачу, неподалеку от Тарасовки, и захватили с собой меня. После ужина пошли гулять. За нами увязались крестьянские ребятишки с лохматым неуклюжим щенком.

Владимир Ильич затеял игру, будто бы этот щенок — огромная злая собака, способная свалить человека одним прикосновением лапы. Он убегал, щенок лаял, хватал его. Владимир Ильич падал на траву, и ребятишки, визжа, валились на него. Казалось, он забыл обо всем на свете, кроме этой веселой возни.

Так мы добрались до опушки леса. Там стоял обугленный дуб, разбитый молнией.

Владимир Ильич взглянул на дуб — и мгновенно весь преобразился. Сжав кулаки, словно желая добить спорящего с ним противника, он сказал:

— Нет, у нас так не будет. Мы сумеем избежать обычного хода революции, как в тысяча семьсот девяносто четвертом и тысяча восемьсот сорок девятом годах, и победим буржуазию!

У него вообще были часты неожиданные повороты мысли и отдаленные ассоциации. Стенографистки мучились, расшифровывая стенограммы его речей, а он еще больше мучился, выправляя всю ту ерунду, которую они, бывало, понапишут.

Поражало его умение вести разговор одновременно с несколькими собеседниками. Он сразу засыпал всех быстрыми, короткими вопросами, требуя ясных и точных ответов, и тотчас ставил новые вопросы:

— Вы приняли меры? Какие? Когда? День и час? Или:

— Проверили ли вы? Сколько? Кому передано? Кто за это отвечает?

Его речь, особенно когда он брался за самые коренные вопросы, за решение таких задач, которые другим казались невозможными и неосуществимыми, или же когда он был разгневан, была выразительна до предела:

— Нажмите свирепее... Изо всех сил... Энергично... Сверхэнергично... С ультрабешеной энергией...

— Немедленно и безусловно... Никаких проволочек... Решительные меры... Беспощадные меры... Самые драконовские меры...

— Это хаос цифр... Груда цифр, груда непереваренного сырья... Сырые цифры вами владеют, а не наоборот...

— Дело девятое, и смешно даже один час над ним думать! Рутинерство... Лжеученость... Мертвечина...

— Верх безобразия... Архинегодно... Ультраврание...

— Делового ничевошеньки!.. Пустяки! Пустяки!.. Сонные тетери... Засолили вы дело... Разгильдяйство, а не руководство.

— Не марксизм это, а левоглупизм... Интеллигентская истерика... Кисейная барышня... Ein Helleridiot!.. Прозрачный идиот!

Если он смеялся, то смеялся, но если уж гневался, то гневался. Тут пощады не было никому.

Такой беспощадный, яростный гнев вызывали в нем обычно не действия классовых врагов: к ним в его душе горел ровный огонь постоянной ненависти. Взрывы гнева чаще всего бывали у него порождены случаями бездушного бюрократизма и невнимания к народным нуждам и к делу революции со стороны некоторых советских работников.

Стоило ему узнать о подобных фактах, как в адрес виновных летела телеграмма:

«Комитет 42 организаций голодающих рабочих Петрограда и Москвы жалуется на Вашу нераспорядитель-

ность. Требую максимальной энергии с Вашей стороны, неформального отношения к делу и всесторонней помощи голодающим рабочим. За неуспешность вынужден буду арестовать весь состав Ваших учреждений и предать суду. Отдал срочное распоряжение об увеличении паровозов и вагонов. Вы должны немедленно погрузить имеющиеся налицо два поезда по 30 вагонов. Телеграфируйте исполнение.

Хлеб от крестьян Вы обязаны принимать днем и ночью. Если подтвердится, что Вы после 4 часов не принимали хлеба, заставляли крестьян ждать до утра, то Вы будете расстреляны.

Председатель Совнаркома *Ленин*».

Доходило ли когда-либо до расстрела — не знаю, а до арестов не раз.

Об одном таком случае я слышала от Степана Степановича Данилова — на редкость милого человека, которого все старые товарищи по партии любовно звали «Стакан Стакановичем».

В девятнадцатом году Данилов возглавлял Комиссию по борьбе с дезертирством. Борьба велась, так сказать, «на два фронта»: с одной стороны, против дезертирства из армии рядового красноармейского состава, а с другой — против попыток некоторых «ответственных работников» уклониться от мобилизации под покровом своей «незаменимости». Самые вопиющие случаи подобного рода доходили иногда до Совета Обороны, председателем которого был Ленин.

И вот «Стакан Стаканович» как-то рассказал про историю, происшедшую с начальником Мобилизационного управления Народного комиссариата путей сообщения. Этот начальник решил «спасти» от фронта одного своего сотрудника и состряпал для него бумагу, что, ежели тот будет мобилизован, работа развалится.

— Я поглядел — вижу, что это липа,— говорил Данилов злым голосом.— Ладно, думаю, передам-ка я всю эту штуку в Совет Обороны. Дошла моя очередь. Докладываю, что так, мол, и так. Владимир Ильич аж побелел от бешенства, но и бровью не повел. Говорит: «Предлагаю следующее постановление: «Заслушав сообщение

товарища Данилова о неправильном возбуждении ходатайства об отсрочке такому-то, поручить ВЧК арестовывать начальника мобилизационного отдела НКПС имярек в течение ближайших пяти воскресений».

Он внимательно выслушивал каждого, кто к нему приходил, а потом часто вспоминал людей, побывавших у него на приеме, восхищался их глубокой народной мудростью.

— ...Прямо я заслушался его, когда он рассказывал, как выступал на сходе: «Довольно, говорит, молиться о спасении от глада, меча и огня, а давайте реквизировать у кулаков хлеб, делать черепицу для крыш и записываться в Красную Армию!»

Услышав ловкое, ухватистое русское слово, он повторял его, как бы перекатывая перед собою и рассматривая со всех сторон, и вдруг припоминал это слово в разговоре с товарищами:

— ...Тут он мне говорит: «Раньше шел я на завод спину гнуть, а теперь хожу распрямлять спину».

— «У нас, говорит, новый талант народу открылся, талант победности».

— ...И басит он эдак на «о»: «Пошел я это в Главтоп, Волготоп, Центротоп. Топ да топ, а с топливом хлоп».

— ...Рассказывает: «Некоторые кулачишки ждут падения Советской власти. Но не дождаться им, не увидеть этого, как не увидит никогда свинья своих ушей!»

Очень любил народ. Не какой-то народ с большой буквы, не выдуманный, прилизанный, приглаженный, а настоящий, живой народ, работающий, страдающий, порой великий, порой слабый, тот народ, который состоит из миллионов людей труда, творящих историю человечества.

Как-то вечером, вероятно в июне, я оказалась на площади перед Московским Советом. Там недавно снесли памятник Скобелеву, и на том месте, где должен был быть установлен обелиск Свободы, пока что соорудили дощатый помост. Немолодой рабочий держал

речь, которую внимательно слушала окружавшая его толпа.

— Кулак родил спекулянта,— говорил он.— Спекулянт родил голод. Голод родил разруху. Стало быть, надо рубить корень, а за ним слетят и верхушки.

— Вот именно,— услышала я знакомый голос.— Руби корень!

Я обернулась. Владимир Ильич в своем потертом пальто и кепке слился с толпой.

С ним была и Надежда Константиновна. Владимир Ильич сказал ей:

— Как точно и образно сформулировал он самый гвоздь вопроса. Вот у кого надо учиться нашим агитаторам и докладчикам!

Лютой ненавистью ненавидел он выспренний, забитый иностранными словами язык, которым грешили иные наши газетчики и ораторы, называл этот язык «тухлым», «безмозглым», «оболваненным». Выступая перед народной аудиторией, всегда искал точные образы, которые помогли бы понять и усвоить его мысль. Часто находил эти образы в повседневной жизни трудового народа — то размышлял вслух о том, как поступить в случае, когда на одну пару сапог в семье имеется шесть пар ног и приходится отдать эти сапоги тому работнику, который кормит своим трудом всех остальных; то говорил о соседях, затеявших строить дом: у одного избыток леса, но нет гвоздей, у другого нет досок, а гвоздей полный короб. Что им делать? Как поступить? И как нам надо поступать, если у нас похожее положение в том-то и том-то?

Он завидовал людям, которые могли ездить по всей стране. Охотно, с радостью выступал на широких массовых собраниях, будь то митинги или же объединенные заседания ВЦИКа совместно с Московским Советом, фабзавкомами, профсоюзами и прочими рабочими организациями, которые устраивали по разу, по два в месяц в Большом театре.

Выступая на таких собраниях, он обычно недолго удерживался на ораторской трибуне, ибо чувствовал себя на ней отгороженным от аудитории. Он выходил

вперед, заложив руки в карманы, шагал по сцене, подходил к краю рампы, говорил прямо в зал, как бы обращаясь к каждому из присутствовавших в отдельности, советуясь с ним, убеждая его, беседуя с ним, как с товарищем, с другом, взывая к самым высоким, самым благородным его чувствам, формулируя задачи, стоящие перед партией и народом.

— Темой, о которой мне приходится говорить сегодня, является величайший кризис... И об этом кризисе, о голоде, который надвинулся на нас, мне надо сказать сообразно поставленной перед нами задаче в связи с общим положением.

Он говорил о причинах голода, о том, как на почве голода вспыхивают, с одной стороны, восстания и бунты измученных голодом людей, а с другой — бежит огоньком с одного конца России на другой полоса контрреволюционных восстаний, питаемых деньгами англо-французских империалистов и усилиями правых эсеров и меньшевиков.

— Каковы пути борьбы с голодом? — спрашивал Ленин. И с предельной убежденностью в своей правоте отвечал: — Объединение рабочих, организация рабочих отрядов, организация голодных из неземледельческих голодных уездов,— их мы зовем на помощь... им мы говорим: в крестовый поход за хлебом, крестовый поход против спекулянтов, против кулаков...

Каждое движение Ленина было сейчас проникнуто волей, энергией, целеустремленностью. И весь зал, кроме небольшой кучки в углу справа, жил вместе с ним — его чувствами, его напряженной мыслью.

Но вот Ленин переходил к меньшевикам и правым эсерам. В нем сразу пробуждался ярый полемист. Он беспощадно обрушивался на них как на предателей революции; говорил об их трусости, мелкодушии, пресмыкательстве перед буржуазией; показывал, что они пропитаны миазмами разлагающегося трупа буржуазного общества. Речь его дышала гневом, презрением, ненавистью, убийственным сарказмом.

— Пусть каркают «социалистические» хлюпики,— восклицал он,— пусть злобствует и бешенствует буржуазия. Только люди, закрывающие себе глаза, чтобы не видеть, и затыкающие уши, чтобы не слышать, могут не

замечать того, что во всем мире для старого капиталистического общества, беременного социализмом, начались родовые схватки... Мы имеем право гордиться и считать себя счастливыми тем, что нам довелось первыми свалить в одном уголке земного шара того дикого зверя, капитализм, который залил землю кровью, довел человечество до голода и одичания и который погибнет неминуемо и скоро, как бы чудовищно зверски ни были проявления его предсмертного неистовства...

В этот час, когда Советская республика переживала один из самых тяжелых периодов в своей истории, Ленин обращался к трудящимся с исполненными всепобеждающего оптимизма словами:

— Товарищи, работа пошла и работа идет... За работу все вместе. Мы победим голод и отвоюем социализм.

«ЗАСЕДАНИЕ ПРОДОЛЖАЕТСЯ...»

Четырнадцатого июня на прием к Якову Михайловичу Свердлову пришла худенькая синеглазая женщина в клетчатой панамке. Она сказала мне, что фамилия ее Коган, она приехала из Самары от Валериана Куйбышева и просит, чтобы Яков Михайлович немедленно ее принял.

Свердлов принял ее сразу. Они долго беседовали. Потом я слышала, как он разговаривал по «верхнему коммутатору» с Лениным. Потом он позвал к себе Аванесова. Потом поручил мне оповестить всех членов ВЦИКа о том, что вечером созывается экстренное заседание.

На большевистской фракции слово было предоставлено Евгении Соломоновне Коган. В полной тишине она рассказала о подробностях белочешского переворота в Самаре, о предательской роли, которую сыграли во время и после переворота эсеры и меньшевики.

Заседание ВЦИКа началось в десять часов вечера. Электричество горело плохо, и его слабый свет смешивался со смутным вечерним светом, пробивавшимся сквозь пыльный стеклянный потолок. На столе председательствующего стояла зажженная керосиновая лампа, она освещала лицо Ленина и скорчившуюся в первом ря-

ду стульев длинную, худую фигуру Мартова. Остальная часть зала тонула в полумраке, как бы подчеркивая этим, что два человека, на которых падает свет, являются главными героями той исторической драмы, которой суждено было сейчас разыграться.

Свердлов взял председательский колокольчик, выпрямился и, глядя в зал, сказал:

— Президиум предлагает включить в повестку дня этого заседания ВЦИКа вопрос о выступлениях против Советской власти партий, входящих в Советы.

Мартов взвился:

— А я предлагаю пополнить порядок дня вопросом о массовых арестах московских рабочих, произведенных в течение вчерашнего дня.

Понимал ли он, что для него и его партии это последнее заседание Центрального Исполнительного Комитета, на котором они присутствуют?

Наверно, да! Опытный политический деятель, он не мог не чувствовать, что история подошла к новому рубежу, за которым меньшевикам невозможно оставаться в органах пролетарской диктатуры. Они уже находились по другую сторону баррикады. Оружие критики давно превратилось в критику оружием.

Пролетарская революция не могла дольше терпеть в Советах тех, кто в Самаре, Уфе, Челябинске, Омске, Ново-Николаевске, Владивостоке совершал контрреволюционные перевороты под флагом Учредительного собрания; тех, кто в промышленных центрах организовывал подтасованные «рабочие конференции», призывавшие к забастовкам и саботажу; кто вступал для борьбы против Советской власти в союз с белогвардейцами, японцами, немцами, англичанами, французами. Нельзя было дольше мириться с тем, чтобы в стенах Советов контрреволюция допрашивала революцию, обливала ее грязью, чернила каждый ее шаг, открыто звала к свержению диктатуры пролетариата.

Призывая бушующее собрание к порядку, Свердлов поставил на голосование вопрос: «Кто за то, чтобы исключить из Советов контрреволюционные партии правых эсеров и меньшевиков?»

Большевики встали и высоко подняли руки. Левые эсеры, как и положено «болоту», частью воздержались,

частью проголосовали против. Правые эсеры и меньшевики выли, стучали ногами, хватали стулья и угрожающе ими размахивали.

— Решение принято подавляющим большинством голосов,— сказал Свердлов.— Прошу членов контрреволюционных партий, исключенных из Советов, покинуть зал заседаний Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета Советов рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов.

Меньшевики и эсеры вскочили со своих мест, выкрикивая проклятия «диктаторам», «бонапартистам», «узурпаторам», «захватчикам», Мартов, хрипя и задыхаясь, схватил пальто, пытаясь надеть, но его дрожащие руки не могли попасть в рукава.

Ленин, очень бледный, стоя смотрел на Мартова. Что думал он в эту минуту? Вспоминал ли о том, как два с небольшим десятилетия назад они вместе с Мартовым — друзьями, соратниками, товарищами в борьбе — вступали на революционный путь? Видел ли он перед собой Мартова эпохи старой «Искры» — талантливого публициста и оратора? Или же перед его глазами встал другой летний вечер, за четырнадцать лет до этого, когда на II съезде партии, при обсуждении проекта Устава, между ним и Мартовым всплыло такое незначительное на первый взгляд, но такое принципиально непримиримое, как показал опыт истории, разногласие: кто является членом партии — подлинный ли пролетарский революционер, отдающий делу партии свою жизнь, или же какой-нибудь профессор или адвокат, который раз в несколько месяцев вытаскивает из жилетного кармана пару трешниц и тайком, через вторые и третьи руки, передает их в кассу партии, чтобы другие устраивали революцию. И вот прошло почти полтора десятилетия — и оказалось, что одна из формулировок Устава была отправным пунктом для пути к революции, а другая — к контрреволюции.

Мартов продолжал мучительно бороться со своим злосчастным пальто. В эту минуту он был трагичен. Одному из левых эсеров он показался смешон. Откинувшись на спинку стула, этот левый эсер хохотал, тыча пальцем в воздухе и указывая на Мартова. Мартов обернулся к нему разъяренным зверем.

— Вы напрасно веселитесь, молодой человек,— прохрипел он.— Не пройдет и трех месяцев, как вы последуете за нами!

Он злобно встряхнул проклятое пальто, перекинул его через руку и, шатаясь, пошел к выходу. Ленин, все такой же бледный, провожал его долгим взглядом. Мартов, ухватившись рукой за косяк, отворил дверь и вышел.

Каким фейерверком высокопарных фраз отметила бы свою победу над политическими противниками буржуазная революция!

— Товарищи! — сказал Яков Михайлович Свердлов, деловито встряхнув колокольчиком.— Продолжаем наше заседание. Следующий вопрос порядка дня...

ВОРОБЬИНАЯ НОЧЬ

Пожар в Симонове бушевал весь день. Порой пламя удавалось примять, но через несколько минут оно вспыхивало с новой силой. Изнемогавших от нечеловеческих усилий пожарных оттаскивали в сторону, обливали водой, и они снова бросались в огонь.

К вечеру огонь утих. На огромном пожарище дымились обломки железа и груды тлеющего дерева. Временами по ним пробегали синие язычки пламени.

Наутро город был затянут душной пеленой дыма. По угрюмому небу плыло тяжелое багряное солнце, тоже похожее на отблеск пожара.

Третьего июля по карточкам выдали на пять талонов по восьмой фунта хлеба. В очереди около булочной шел разговор, что, мол, большевикам не сегодня завтра конец. Доказательств этому было много: во-первых, белая кошка окотилась черным кобелем, говорившим человеческим голосом и проявившим обширную политическую осведомленность. Во-вторых, было точно известно, что Совет Народных Комиссаров удрал в Казань и увез с собой пятьсот швейных машин и три вагона золота. В-третьих, по тем же точным сведениям, Петроград был без боя сдан немцам. В-четвертых... В-десятых...

Уже начали съезжаться делегаты Пятого съезда Советов. Регистрация делегатов-большевиков производилась в «Метрополе», а левых эсеров — в бывшем поме-

щении духовной семинарии на Садово-Каретной, переименованном в Третий дом Советов.

Когда Варлаам Александрович Аванесов как секретарь ВЦИКа приехал туда, на Садово-Каретную, чтобы договориться о мелких организационных вопросах, при его появлении все замолчали. Выходя, он столкнулся в дверях с Марией Спиридоновой, лидером партии левых эсеров. Она посмотрела на него в упор и прошла мимо, не ответив на поклон.

Я в этот день работала в «Метрополе», внизу, в общем зале, на приеме и регистрации делегатов съезда. Около полудня я поднялась наверх. У Свердлова сидели делегат из Иваново-Вознесенска Фрунзе и царицынец Яков Ерман. Разговор шел о том, что левые эсеры рассчитывают получить на съезде большинство и, соединившись с «левыми коммунистами», совместно выступить, чтобы опрокинуть правительство Совета Народных Комиссаров и объявить войну Германии.

Работы весь день было очень много, делегаты прибывали один за другим. Часам к пяти было зарегистрировано уже около семисот большевиков. Сколько прибыло левых эсеров, мы не знали. Кто говорил, что около тысячи, кто — около трехсот.

Яков Михайлович зашел, попросил показать списки, сказал, что идет на заседание ЦК. Он вернулся довольно быстро, велел нам сдвинуть столы, потому что через полчаса должно было начаться заседание большевистской фракции съезда.

На этот раз фракция заседала в большом зале, где обычно происходили пленарные заседания ВЦИКа.

Давно ли отсюда ушел изгнанный Мартов? Что будет сегодня? Какую позицию займут «левые коммунисты»? Со времени Бреста они существовали как оформившееся фракционное течение, со своими центрами и органами печати. Неужели они окончательно порвут с партией и соединятся с левыми эсерами?

На фракции съезда Советов с докладом выступил Ленин.

Он говорил долго, часа два с половиной. Говорил о том, что идти в настоящий момент на открытую борьбу с германским империализмом — значит ухудшить положение мировой революции. Война между империалистиче-

скими хищниками становится безысходной. В этой безысходности лежит залог того, что наша социалистическая революция имеет серьезное основание продержаться до момента, когда вспыхнет революция в других странах. Наша задача — удержать Советскую власть, что мы и делаем, отступая и лавируя. Необходимо использовать передышку для накопления сил, для организации хозяйственного строительства на новых началах. В этом мы ответственны не только перед нашими братьями, но и перед рабочими всего мира.

Когда Владимир Ильич сошел с кафедры, взоры всех присутствующих обратились на лидеров «левых коммунистов». С места поднялся Валериан Осинский. Он был краток. Доклад Ленина, сказал он, не вызывает серьезных возражений.

Резолюция, внесенная Лениным, была принята единогласно.

Владимир Ильич уехал в Кремль. Свердлов с частью делегатов поднялся наверх, в комнату № 237.

Было уже около полуночи. Только что пронеслась гроза. Я открыла окно. В комнате повеяло прохладой.

На столе зазвонил телефон. Свердлов поднял трубку. Дзержинский сообщал ему, что изо всех районов поступают сведения о какой-то новой провокации. В различных частях Москвы, по преимуществу на рабочих окраинах, разъезжающие на автомобилях неизвестные лица производят обыски и отбирают у населения пиджаки, пальто, платья и другую одежду.

Свердлов тут же набросал текст телефонограммы, в которой от имени ВЦИКа и ВЧК предписывалось задерживать налетчиков.

Сидя у окна, я передавала телефонограмму по районам. Черное ночное небо озарялось вспышками зарниц.

В комнате шел шумный, оживленный разговор. Народу было много, кто сидел на диване, а кто на разостланных на полу газетах. Притащили ведро кипятку. Астраханцы вытащили из мешка копченого осетра. Хлеб тоже нашелся, но маловато. Поэтому рыбу резали толстыми ломтями, а хлеб тоненькими. Хозяйничала румяная веселая Клавдия Ивановна Кирсанова.

Вспоминали нарымскую ссылку, Шлиссельбург, амурскую каторгу — «Колесуху». Все это были большевики-подпольщики, о которых обычно шутили, что на воле они только квартируют, а живут в тюрьмах и ссылках. Но выражение «старый большевик» тогда еще не вошло в обиход: кадры партии были настолько молоды, что слово «старый» было к ним неприложимо. Достаточно припомнить, что средний возраст делегатов VI съезда партии составлял 29 лет, а самому старшему из делегатов было 47. Когда о ком-либо хотели сказать, что он с самого раскола партии примкнул к Ленину и не отступал ни на один день от ленинского пути, о нем говорили: «Это — твердокаменный большевик». Такие вот твердокаменные большевики и сидели в этой комнате.

Зарницы вспыхивали все чаще. Послышалась отдаленная стрельба. Это красноармейские патрули обезоруживали налетчиков.

Яков Ерман подошел к окну, высунулся, жадно вдохнул свежий воздух.

— Эх,— сказал он,— люблю воробьиные ночи!

Такому, как Ерман, да не любить воробьиные ночи! Во время Демократического совещания, когда Керенский выкрикивал со сцены Александринского театра проклятия по адресу «взбунтовавшихся рабов», его речь прервал необыкновенно сильный голос, уступавший разве только голосу Свердлова:

— Подлец!

Поднялся шум, Керенский, уже не желтый, а зеленый, визгливо кричал:

— Кто осмелился это сказать?

В ложе первого яруса встал коренастый бритоголовый человек и невозмутимо ответил:

— Царицынский делегат Ерман.

Это был широкоплечий здоровяк. Ему бы жить и жить лет до ста. Но через две недели после Пятого съезда Советов он был убит на царицынской пристани хулиганской контрреволюционной бандой.

Около двух часов ночи пришел работник Третьего дома Советов, большевик Норинский. Он сказал, что, по его подсчетам, число делегатов съезда — левых эсеров

колеблется между тремя- и четырьмястами. У них все время заседает фракция, выступают один за другим члены ЦК партии. Все они сильно возбуждены и, видимо, что-то замышляют.

С улицы снова послышалась стрельба.

В четвертом часу появился начальник охраны Большого театра, где должен был заседать съезд Советов. Он сообщил, что под сценой обнаружена адская машина.

Яков Михайлович пошел вместе с ним в театр. Он вернулся через полчаса, сказал, что адская машина разряжена, и спросил, видел ли кто из присутствующих в постановке Большого театра «Евгения Онегина».

Дело в том, что во время заседаний на сцене Большого театра обычно устанавливали декорации какого-нибудь спектакля. Для завтрашнего заседания, как это узнал сейчас Свердлов, были установлены декорации, изображавшие гроты и развалины замка. Работники театра объяснили, что это декорации сцены «Пиф-паф» из оперы «Гугеноты», которые, по их мнению, больше всего подходят для данного случая. Яков Михайлович велел убрать всю эту средневековую чертовщину, а когда его спросили, что́ же поставить, выбрал из всего предложенного декорацию первого акта «Онегина».

Это всех развеселило. Тут же кто-то изобразил, как Спиридонова с Камковым исполнят дуэт: «Слыхали ль вы, слыхали ль вы, как боль-боль-большевики...»

Был уже пятый час утра, небо стало синеть. Несколько зарниц в последний раз озарило горизонт. Воробьиная ночь кончалась.

— Пойдем, однако, поспим,— сказал Яков Михайлович; он любил уснащать свою речь сибирскими словечками.— Наутро бой!

МЯТЕЖ

Весь Пятый съезд Советов я провела в том углу сцены, откуда появляется хор поселян помещицы Лариной. Моей обязанностью было принимать срочные пакеты, которые могли быть доставлены, и передавать их в президиум адресатам.

Стоять было утомительно. Побродив за кулисами, я разыскала какую-то козеточку. Наверно, ту, сидя на которой старушка Ларина варила вишневое варенье.

Я поставила ее у самого задника, размалеванного желтым и голубым, изображавшего, как это поясняла надпись на обратной стороне, «неоглядную даль». Над головой моей висели коленкоровые ветви плакучего дерева. Когда в зале раздавались аплодисменты или шум, ветви качались и на меня сыпалась пыль. Качались они часто.

С моего места видна была дипломатическая ложа, где сидел германский посол граф фон Мирбах — высокий, прямой, сухой, с видом человека, попавшего в зверинец, но слишком хорошо воспитанного, чтобы обнаружить свое презрение даже перед обезьянами.

До меня доносился звук голосов. Вот Свердлов открывает съезд. Вот заверещал переливами английского рожка высокий тенорок. Это левый эсер требует разрыва Брестского договора. Вот слышен сдержанный голос Данишевского, представителя пролетариата Латвии. Он говорит, что как это ни тяжело, но латышский рабочий класс понимает, что никакого иного выхода, кроме подписания мира, у русской революции не было.

В зале буря. Левые эсеры почти все время стоят и то кричат, то аплодируют своим ораторам. На трибуне Мария Спиридонова. Она трясет в воздухе маленьким кулачком, слышны только ее выкрики и рев зала.

Вопреки своим ожиданиям, левые эсеры оказались в абсолютном меньшинстве: у них меньше третьей части голосов. Свою количественную слабость они пытаются перекрыть силой глоток. Дирижируют Камков, Карелин, подхватывают стоящие за их спинами наэлектризованные мужички, кричащие большевикам:

— Придите к нам за хлебом, мы с вами посчитаемся! От нас хлеба не получите! Просите хлеба у Мирбаха!

Из рядов большевиков насмешливо отвечают:

— А вы ступайте воевать! Кричите, что хотите войны, так воюйте с чехословаками! С беднотой вам легче бороться!

Давно ли — всего полгода назад! — партия левых эсеров на заседании Учредительного собрания занимала

места в левой части зала. В Центральном Исполнительном Комитете она сидела уже в центре. Здесь, на Пятом съезде Советов, она разместилась на крайней правой, неуклонно двигаясь за теми, кто прошел уже этот путь и оказался по ту сторону баррикады. Дойдя до крайней правой, она приблизилась вплотную к черте, после которой оставалось сделать всего один шаг, чтобы оказаться в стане контрреволюции.

Она этот шаг сделала.

На второй день съезда с докладом Совета Народных Комиссаров выступил Ленин. К этому моменту левые эсеры подготовили обструкцию. Они топали, визжали, прерывали Ленина выкриками: «Керенский!», «Мирбах!»

Но сила ленинской мысли, ленинского обаяния была так велика, что левоэсеровский запал выдохся. Выкрики левых эсеров становились все более редкими, шум ослабевал; в некоторых местах речь Ленина покрывалась аплодисментами не только большевиков, но и части левых эсеров.

В прениях левоэсеровские вожди постарались вновь взвинтить страсти. Борис Камков, выступивший первым, назвал съезды крестьянской бедноты съездами деревенских лодырей. Побагровев от крика, он заявил:

— Мы не только ваши продовольственные отряды, но и ваши комитеты бедноты выбросим вон за шиворот.

Тем временем левые эсеры подготовили удар, при помощи которого они задумали поставить революцию перед свершившимся фактом и против воли народа втравить страну в войну с Германией.

Этим ударом было убийство Мирбаха.

Обстоятельства этого убийства известны: сфабриковав с помощью работавшего в ВЧК левого эсера Александровича фальшивые документы за подложной подписью Дзержинского, левые эсеры Блюмкин и Андреев явились в германское посольство, вызвали Мирбаха и бросили бомбу. Мирбах был убит. Сами они успели скрыться.

Убийство Мирбаха явилось сигналом к мятежу. Расквартированный у Покровских казарм отряд Попова арестовал Дзержинского, приехавшего в штаб отряда, чтобы задержать Блюмкина и Андреева. Мятежники захватили телеграф. По всей России были переданы теле-

граммы ЦК левых эсеров, предписывавшие не подчиняться приказам правительства Ленина. В руках мятежников оказался район Покровки (улица Чернышевского), Чистых прудов, Мясницких (Кировских) и Красных ворот.

Совет Народных Комиссаров разослал написанную В. И. Лениным телефонограмму во все районы, предлагая произвести мобилизацию партийных работников и призывая массы подавить мятеж, которым могут воспользоваться белогвардейцы. Вся пролетарская Москва была поднята на ноги.

Тем временем левоэсеровская фракция Пятого съезда Советов во главе с Марией Спиридоновой направилась в Большой театр, очевидно ожидая снаружи сигнала, чтоб здесь, в стенах зала заседаний съезда, поднять восстание и тут же, на месте, захватить Ленина и Советское правительство.

Для меня все происходившие вокруг исторические события воплощались в раскачиваниях плакучего коленкора и непрерывном потоке пакетов. Пакеты были небольшие, в наспех заклеенных конвертах, а то и вовсе без конвертов. В одних сообщалось о подробностях убийства Мирбаха; в других — об аресте Дзержинского, члена коллегии ВЧК Лациса и председателя Московского Совета Смидовича; в третьих находились донесения о сосредоточении частей Красной Армии в районах Страстной (Пушкинской) площади и Пречистенских (Кропоткинских) ворот, о мобилизации коммунистов и рабочих московских заводов на подавление мятежа.

Яков Михайлович сунул мне записочку, чтобы я передавала пакеты только ему, и притом понезаметнее. Он читал их уголком глаза. Со стороны казалось, что все его внимание поглощено происходящим в зале. Члены президиума — большевики то наклонялись к Свердлову, то переговаривались между собой. Иногда один из них вставал, отходил в глубину сцены, потом возвращался. Кто поверил бы, что вот так, улыбаясь, непринужденно похаживая, они вместе с товарищами в городе буквально на глазах сидевших тут же левых эсеров организовали окружение Большого театра красноармейскими частями и арест левоэсеровской фракции съезда!

Получив очередной пакет, Свердлов встал и сказал:

— Товарищи! Большевистская фракция съезда приглашается на заседание. Прошу членов съезда — большевиков и присутствующих здесь гостей — членов большевистской партии пройти во Второй дом Советов. После заседания фракции заседание съезда будет продолжено.

(На самом деле фракция собралась в помещении Курсов партийных работников на Малой Дмитровке, 6. Яков Михайлович сознательно назвал неверный адрес.)

Все выходы из зала и из каждой ложи были блокированы красноармейцами из надежных частей. Чтоб выйти, надо было предъявить караулу партийный билет или красную карточку члена большевистской фракции.

За каких-нибудь пятнадцать минут все большевики покинули зал заседания в Большом театре, а левые эсеры, вместо того чтобы захватить большевиков, сами оказались арестованными.

Какой хохот стоял на большевистской фракции! Вот уж верно-то: не рой другому яму — сам в нее попадешь!

Свердлов коротко рассказал про план левых эсеров — разогнать съезд Советов, арестовать правительство, объявить войну Германии. Сразу, без прений, было утверждено предложение об экстренных мерах для подавления контрреволюционного мятежа. Все делегаты распределялись по районам в помощь местным силам. Тут же был найден остроумный порядок распределения — по алфавиту: делегаты с фамилиями на *А* и *Б* идут в Рогожско-Симоновский район; на *В* и *Г* — в Алексеевское военное училище, и так далее... Здесь же стояли связные, которые должны были развести делегатов по районам — многие плохо знали Москву.

Я была связной группы, направленной на Первые московские военные курсы, на которых я училась. В эту группу попало четыре товарища с фамилиями на *Ф*, в том числе невысокий человек с простым румяным лицом, которого я уже видела у Свердлова. Это был делегат из Иваново-Вознесенска — Михаил Васильевич Фрунзе.

Идти нам было недалеко, особняк, который занимали курсы, находился неподалеку от Чистых прудов. Но дорога была опасной: тут же рядом, в переулках, засели мятежники, и мы могли попасть прямо к ним в лапы. Однако все обошлось благополучно.

Когда мы пришли, Михаил Васильевич неожиданно попросил карту местности. Карты у нас не оказалось. Тогда он попросил лист бумаги. Бумаги тоже не было ни у кого, кроме нашего поэта Андрюши Дубровина, который со вздохом отдал Михаилу Васильевичу весь свой неприкосновенный запас — афишу цирка с чистой оборотной стороной.

Михаил Васильевич тут же карандашом набросал план местности и нанес стрелками направления, по которым мы должны вести наступление. Никто из нас не знал Фрунзе, но мы сразу почувствовали в нем военачальника и встали под его командование.

За окном уже началась перестрелка. Мятежники воевали трусливо: пустят по наступающим красноармейцам пару пулеметных очередей, потом удирают.

К полудню район Курского вокзала был очищен от повстанцев. Окруженный штаб мятежников после непродолжительного обстрела решил прекратить борьбу. Он послал в штаб осаждающих войск делегацию, которая заявила, что бунтовщики согласны сдаться, но на известных условиях. Им ответили, что советские войска не вступают ни в какие переговоры с предателями, и предложили немедленно освободить Дзержинского, Смидовича, Лациса и беспрекословно сложить оружие.

Часов около одиннадцати утра и наш отряд закончил свои боевые операции где-то в районе Садовой-Черногрязской. Вдруг мы услышали над головой треск. На восток летел небольшой самолетик, похожий на этажерку. Потом мы увидели колонну разномастных автомашин с красноармейцами, направляющуюся туда же, на восток.

Оказывается, часть разгромленных мятежников сумела удрать из Москвы на автомобилях и верхом, увозя с собой орудия и пулеметы. В погоню за ними были направлены советские войска.

Гордые победой, мы возвращались к себе на курсы, таща трофеи: три пулемета и ручную тележку с наваленными на нее винтовками. У Мясницких ворот до нашего

слуха донеслась мадьярская речь: там стояли бойцы Интернационального отряда, участвовавшего в освобождении от мятежников почтамта и Центрального телеграфа.

Телеграф помещался тогда в угловой части нынешнего здания Московского почтамта, выходящей на бульвар и на Мясницкую улицу. Угол дома был срезан широкой дверью, к которой вела каменная лестница с площадкой.

День был жаркий, солнечный. В ветвях деревьев Чистопрудного бульвара, как то и положено, щебетали птицы. Пахло цветущей липой. Недавнего боя будто не бывало. На площадке перед дверью телеграфа, прямо на голых камнях, блаженно спал командир Интернационального отряда товарищ Бела Кун. Он пригрелся на солнце и спал так крепко, что не слышал, как отворялась дверь и проходившие на телеграф шагали прямо через него.

В одну ночь пролетарская Москва создала для подавления левоэсеровского мятежа около сотни хорошо вооруженных отрядов. Никогда еще в городе не было такого порядка и бдительного надзора. Москва была буквально оцеплена двойным кольцом рабочих-дружинников. Ни один прохожий не мог миновать их даже в самых глухих переулках

К вечеру мятеж был полностью подавлен. По улицам шли вооруженные отряды. Люди шли бодро, четко отбивая шаг, в них не чувствовалось усталости, они пели песни и охотно переговаривались с народом, толпившимся на тротуарах.

На углу у Мясницких ворот здоровенный дядя в замасленной тужурке держал речь, в которой давал исторический анализ событиям последних месяцев.

Заключая свою речь, он сказал:

— Картина перед нами ясная. Социалисты всех мастей постепенно, гуськом, перешли в лагерь контрреволюции.

— Гуськом! — с удовольствием повторил Владимир Ильич, когда ему передали это выражение. Очень оно ему понравилось!

...Сдав оружие, я побежала на работу. Растрепанная, грязная, ввалилась в комнату № 237.

Яков Михайлович разговаривал по телефону. Он кончил, положил трубку и закурил. Движения его были несколько замедленны, и рука с горящей спичкой не сразу нашла кончик папиросы.

— В Ярославле мятеж,— сказал он.— Город горит. Во главе мятежников — Борис Савинков...

«АНАКОНДА-ПЛАН»

Шестого июля начался контрреволюционный мятеж в Ярославле. Седьмого — в Рыбинске. Восьмого — в Муроме. В этот же день Кемь и северная часть Мурманской железной дороги были захвачены англо-французскими войсками и произошло соединение поволжской и сибирской групп белочехов.

Неизвестно было, как поведут себя немцы. Тело Мирбаха в оцинкованном гробу отправили в Германию. Берлин пока молчал.

Арестованные левые эсеры еще оставались в Большом театре. Здание театра было окружено латышскими стрелками, разбившими на Театральной площади настоящий лагерь — с орудиями, пулеметами и походной кухней.

В эти дни я несколько раз приходила в Большой театр. Свердлов поручил мне раздавать арестованным газеты. На окутанной мраком сцене, упираясь в балкон помещицы Лариной, стоял пулемет, направленный в полутемный зал. Кресла были сдвинуты беспорядочными кучами, на полу валялись окурки и обрывки измятой бумаги. Арестованные, узнав о провале мятежа, сразу как-то обмякли и потускнели. Куда только девалась их вчерашняя удаль!

Разобраться с арестованными было поручено Константину Степановичу Еремееву. Усевшись в фойе, со своей неизменной трубкой в зубах, он держал перед собой список фракции левых эсеров и отмечал карандашом, кого выпустить, а кого отвезти в тюрьму. Слева от него лежала горка револьверов и бомб, отобранных у мятежников.

Восьмого утром арестованных куда-то отправили. Зал убрали и проветрили. После обеда возобновились

заседания съезда. Приняв решение об исключении из Советов левых эсеров, солидаризирующихся с мятежом 6—7 июля, съезд перешел к обсуждению проекта Конституции.

Большевики сидели по-прежнему в левой части зала. Места справа, которые раньше занимали левые эсеры, оставались пустыми. На них никто не хотел садиться.

Заседание было в самом разгаре, когда вдруг один за другим раздались два взрыва, блеснул огонь, люстра под потолком закачалась, запахло пороховым дымом. Все вскочили — кто бросился к выходу, кто схватился за оружие. Но со сцены, перекрывая движение и шум, зазвучал голос Свердлова:

— Спокойно, товарищи! Заседание продолжается.

Потом выяснилось, что у одного из красноармейцев, дежуривших у входа в третий ярус, оборвались привязанные к ремню гранаты. В зале Большого театра с его великолепной акустикой этот взрыв прозвучал с такой силой, будто разорвалась многопудовая бомба.

Четырнадцатого июля в 11 часов вечера доктор Рицлер, исполняющий обязанности германского дипломатического представителя, явился к народному комиссару иностранных дел Чичерину и передал ему требование германского правительства: ввести в Москву для охраны германского посольства батальон немецких солдат в военной форме.

На следующий день в «Метрополе» состоялось заседание ВЦИКа нового созыва. За исключением двух или трех эсеров-максималистов, он состоял из большевиков.

В полной тишине члены ВЦИКа выслушали сообщение Ленина о германском требовании.

«...подобного желания,— прочитал Ленин,— мы ни в коем случае и ни при каких условиях удовлетворить не можем, ибо это было бы, объективно, началом оккупации России чужеземными войсками.

На такой шаг мы вынуждены были бы ответить, как отвечаем на мятеж чехословаков, на военные действия англичан на севере, именно: усиленной мобилизацией, призывом поголовно всех взрослых рабочих и крестьян к вооруженному сопротивлению...»

История нашей революции знает много минут, наполненных трагедийным пафосом. Одной из самых великих среди них была та, когда большевики — члены ВЦИКа, быть может сорок, быть может пятьдесят человек,— единодушно подняли руки в знак того, что они одобряют отказ Совета Народных Комиссаров от удовлетворения германского требования.

Было неизвестно, как ответят немцы на этот отказ. Ярославль пылал в огне. Чехословацкие части наступали на Симбирск. Добровольческая армия подходила к Армавиру. Англичане продолжали высадку войск и приближались к Онеге.

Двадцать пятого июля белочехи заняли Екатеринбург. В этот же день в Баку вступили английские войска, приглашенные правыми эсерами и дашнаками, захватившими руководство в Бакинском Совете.

Красноармейские патрули еженощно вылавливали на улицах Москвы сотни подозрительных личностей: мнимых «итальянцев», говоривших только по-польски; украинских «учительниц»-контрабандисток; офицеров-белогвардейцев, монахов-спиртоносов; пекарей с пудами «законных» пайков; книгонош с погромной литературой.

У одного из арестованных была найдена карта Москвы. Нанесенная на ней сетка разбивала город на квадраты. Правительственные центры и артиллерийские склады были обведены красными кружками. Около карандашных линий виднелась мелкая графитная пыль: следовательно, рука, которая их наносила, действовала совсем недавно.

Ясно было, что где-то тут, совсем рядом, раскидывает свои нити разветвленная контрреволюционная организация. По мановению той же руки, которая наносила сетку на карту Москвы, по стране полыхали кулацкие восстания, раздавался звон набата, давались тревожные гудки, рассылались гонцы с призывами подыматься против власти Советов, расстреливались изоляторы на телеграфных столбах, горели посевы, падали убитые из-за угла коммунисты и члены комитетов бедноты.

Отдельные нити заговора, попадавшие в руки ВЧК, неизменно приводили к иностранным посольствам.

Феликс Эдмундович Дзержинский, работавший день и ночь, подымаясь по лестнице, потерял сознание от усталости и недоедания, но, едва придя в себя, прошел в кабинет и принялся за работу.

Второго августа англо-американские войска заняли Архангельск. Третьего была опубликована декларация английского, американского и японского правительств по поводу совместной интервенции союзников в России.

И так день за днем: белогвардейский заговор в Новгороде, эсеровское восстание в Ижевске, падение Екатеринодара, аннексия Турцией Батума, Карса и Ардагана.

Если провести линию между пунктами, захваченными английскими, французскими, немецкими, американскими, японскими, белогвардейскими войсками, получится замкнутый круг.

Международная контрреволюция зажала молодую социалистическую республику в кольце. Она решила применить против нее тот же стратегический план, который был применен английскими армиями против Соединенных Штатов Америки во время войны за независимость.

Этот план носил название «Анаконда-план», «План-удав»!

«А ГЕНРИХ ГЕЙНЕ!»

«Высший пункт... критического положения достигнут»,— говорил Ленин в последних числах июля. Все теснее сжималось удавное кольцо. Если бы сэра Уинстона Черчилля тогда спросили, сколько времени еще продержится в России Советская власть, он наверняка ответил бы: «Неделю... Максимум десять дней».

Московский пролетариат готовился к вооруженному отпору врагам. По вечерам повсюду, куда ни бросишь взгляд, в лиловом сумраке темнели ряды людей с винтовками за плечами. Одни маршировали, другие строились, третьи делали перебежки. Доносились слова команды и стук винтовочных прикладов, ударявших-

ся о землю. Это шли занятия отрядов военного обучения.

Не помню уже почему, как раз в один из этих критических дней я попала на заседание Совнаркома. Председательствовал Владимир Ильич. Он сидел во главе длинного стола, около него лежала стопочка мелко нарезанных листков бумаги. Присутствовало человек двадцать, но состав присутствующих время от времени менялся: одни приходили, другие, когда заканчивалось решение их вопроса, уходили.

Заседание шло в очень быстром темпе. Докладчик кратко излагал существо дела, Владимир Ильич тут же формулировал решение. Если возражений не было, оно считалось принятым. Все вращалось вокруг военных и продовольственных вопросов.

Но как ни быстр был темп, в котором шло заседание, Владимир Ильич, со свойственным ему умением раздваивать внимание, успевал в это же время читать приносимые секретарем телеграммы, отвечать на них, писать на листках бумаги записки присутствующим, получать их ответы, решать попутно еще какие-то вопросы, как бы ведя одновременно еще одно заседание.

Подошла очередь Народного комиссариата просвещения. Все оживились, когда узнали, что речь идет о декрете по поводу постановки памятников деятелям революции.

Сказав несколько вводных слов, товарищ из Наркомпроса зачитал проект декрета. Он состоял из написанной в выспреннем стиле преамбулы и из перечня деятелей прошлого, которым предполагалось поставить памятники. Перечень этот был составлен в алфавитном порядке, имя Маркса находилось где-то в середине, между Лермонтовым и Михайловским, Достоевский соседствовал с Дантоном, а рядом с Салтыковым-Щедриным стоял Владимир Соловьев.

Ленин слушал нахмурясь.

— А Генрих Гейне? — сказал он.— Почему его нет?

Наркомпросовец что-то пробормотал.

— И почему вы решили увековечить Владимира Соловьева? Мистик! Идеалист! Этак вы в университетах будете обучать какой-нибудь реакционной философской чепухе!

Товарищ из Наркомпроса снова что-то пробормотал.

— Я думаю, товарищи со мной согласятся, что в таком виде декрет не может быть принят,— сказал Ленин.— Я полагаю, что на первое место надо выделить постановку памятников величайшим деятелям революции — Марксу и Энгельсу. Возражений нет? Дальше следует внести в список писателей и поэтов наиболее великих иностранцев, например Гейне. Думаю, что тут возражений тоже не будет. Принимается? Исключить Владимира Соловьева. Анатолия Васильевича здесь нет, так что, я полагаю, тоже принимается?

По собранию пробежал легкий смех...

— Так, так. Следующий пункт. Тут я предлагаю...

В этот момент секретарь подал Владимиру Ильичу ленту разговора по прямому проводу. Владимир Ильич искоса взглянул на нее и продолжал говорить о проекте декрета:

— ...включить в список товарищей Баумана и Ухтомского. Возражений, конечно, не будет? Окончательную формулировку декрета поручим Михаилу Николаевичу Покровскому. Принимается?

Далее переходим к списку. Предлагаю разбить его на две части. Первая — революционеры и общественные деятели: Маркс и Энгельс, Спартак, Тиберий Гракх, Брут, Бабеф, Бебель, Лассаль, Жорес, Лафарг, Марат, Робеспьер, Дантон... Тут товарищи подсказывают имена Вальяна и Гарибальди.

Вторая часть списка — писатели. Думаю, товарищи, что мы утвердим список Наркомпроса без изменений. Дело это архиважное, и я надеюсь, к годовщине Октябрьской революции в Москве будут уже установлены памятники и Марксу, и Энгельсу, и Льву Толстому, а к следующей годовщине такие памятники мы сумеем установить по всей стране — от финских хладных скал до пламенной Колхиды...

Теперь, товарищи, нам придется внести некоторые изменения в наши сегодняшние решения, ибо только что получено сообщение, что чехословацкие войска значительно продвинулись от Екатеринбурга на запад, создается угроза Перми, поэтому необходимо часть войск,

предназначенных для Самарского направления, перебросить в...

Совет Народных Комиссаров снова вернулся к военным вопросам.

СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЕ ОТЕЧЕСТВО В ОПАСНОСТИ!

Все в пыли, мы возвращались после учебной стрельбы с Ходынки. На вершинах деревьев догорали червонные отблески заката. В этот день, как уже много дней подряд, население Москвы не получило даже по восьмой, даже по шестнадцатой фунта хлеба.

— Пошли в Большой!

— А пропуск?

— Пройдем по партбилетам...

В Большом театре шло экстренное заседание Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета совместно с Московским Советом и рабочими организациями. Народу пришло столько, что зал вместе со всеми его ярусами был полон: даже в проходах, в оркестре и между кулисами стояли люди.

С трудом верилось, что меньше года тому назад здесь, в этом самом зале, заседало Московское государственное совещание. На трибуне, там, где сейчас выступал Ленин, стоял тогда генерал Корнилов. Зло прищуря узкие черные глаза и твердо чеканя каждый слог, он обещал подавить российскую социалистическую революцию железом и кровью. В первом ряду кресел восседал московский миллионер Рябушинский — тот самый Рябушинский, которому принадлежат напитанные звериной злобой слова: «Революция будет задушена костлявой рукой голода». В литерной ложе сидел Борис Савинков, чей опыт профессионального террориста был гарантией того, что революция будет удавлена петлею заговоров.

Российская контрреволюция выполнила свои угрозы с лихвой. Каждый, кто сидел сейчас в этом зале, не раз глядел за этот год в глаза смерти. Каждый знал — как ни трудны были прожитые месяцы, впереди его ждут еще более суровые испытания, еще более тяжелая борьба. И, зная это, каждый говорил себе: «Лучше смерть, чем рабство».

В торжественном молчании зал слушал Ленина.

Владимир Ильич говорил в тот вечер несколько медленнее, чем обычно. Эта замедленность с особенной силой подчеркивала всю напряженность момента, который переживала Советская республика. Лишь в движениях рук, сначала крепко сжимавших края кафедры, а потом поднявшихся в неповторимом ленинском броске, выразились волнение, тревога, надежда, которыми он жил.

— Вопрос стоит так, что на карту поставлены все завоевания рабочих и крестьян,— говорил он.— ...Совершая нашу социальную работу, мы шли против империализма всего мира, и эта борьба становится понятнее рабочим всего мира и все больше и больше их настоящее возмущение приближает к грядущей революции. Из-за этого именно и идет борьба, потому что наша республика — единственная страна в мире, которая не шла рука об руку с империализмом, не давала избивать миллионы людей из-за господства французов или немцев над миром...

Потом Свердлов прочитал резолюцию, которая звучала как зов, как клятва. Она объявляла социалистическое отечество в опасности и провозглашала задачей, которой должно быть подчинено все, мобилизацию пролетариата, массовый поход за хлебом, вооружение рабочих и напряжение всех сил для военного похода против контрреволюционной буржуазии под лозунгом: смерть или победа!

— Кто за?

Тысячи рук.

— Кто против?

Таких нет!

Только Великая пролетарская революция способна пробудить в миллионных массах такую стойкость, отвагу, бесстрашие, мужество!

ПИСЬМО

Как-то у нас в Союзе молодежи ребята подняли дикий шум:

— Безобразие! Скоро годовщина революции, а такое творится! Прямо как при царском режиме!

— Что случилось? В чем дело?

— Понимаешь, по всей Москве портреты буржуев развешаны. Морды здоровые, гладкие, в глаз воткнуты очки об одно стекло, а сами развалились и нахально скалят зубы на пролетарскую революцию.

— Да не порите вы чушь! Не может этого быть!

— Не может? А вот пойдем посмотрим!

Пошли... В Столешниковом переулке, на Неглинной и на Тверской висели огромные, во весь фасад, рекламные щиты папирос «Сэр». На них был изображен некий великосветский джентльмен с моноклем. Покуривая папироску, он пускал кольца дыма.

— Ну, что скажешь?

— Действительно безобразие.

Решили заявить протест в Московский Совет. Выслушали нас там со вниманием, редкостным даже по тем малобюрократическим временам, записали, что и где, обещали либо немедленно снять эти щиты, либо закрасить. И в самом деле, уже на другое утро на улицах появились рабочие-маляры с ведерками краски. Большими кистями они замазывали и буржуйские физиономии и вообще все рекламы под сочувственные замечания зрителей: «Развесили здесь эту дрянь, весь город изгадили. Все купи да продай. Будто ничего другого людям и не нужно!»

Мы прямо лопались от самодовольства: вот, мол! Пошли мы в Моссовет, сказали, там с нами сразу согласились и все сделали.

Но старшие товарищи посмеивались:

— Не хвалитесь своим великим разумом. Это сделало письмо.

— Какое письмо?

— Много будете знать, скоро состаритесь.

Так мы впервые узнали о существовании загадочного письма, которое работники Московского Совета получили от Владимира Ильича. Что это было за письмо, они никому не рассказывали, только что-то бормотали, покряхтывали, почесывались — и видно было, что чувствуют они себя неважно.

Так и не узнать бы мне содержания этого письма, если б несколько лет спустя оно не было опубликовано в одном из Ленинских сборников. Написано оно было в связи с постановлением Президиума Моссовета, в кото-

ром говорилось о том, что Народный комиссариат просвещения не снабдил Моссовет бюстами деятелей революции, поэтому Моссовет снимает с себя ответственность за украшение Москвы в годовщину Октябрьского переворота.

Вот это письмо:

«В Президиум Московского Совета Рабочих и Красноармейских Депутатов

Дорогие товарищи! Получил Вашу бумагу за № 24962 с выпиской из постановления Президиума от 7.X.

Вынужден по совести сказать, что это постановление так *политически* безграмотно и так глупо, что вызывает тошноту. «...Президиум вынужден снять с себя ответственность...» Так поступают капризные барышни, а не взрослые политики. Ответственность Вы с себя не снимете, а втрое ее усилите.

Если Комиссариат народного просвещения Вам не отвечает и не исполняет своего долга по отношению к Вам, то Вы обязаны *жаловаться* и с документами. Не дети же Вы, чтобы не понять этого.

Когда Вы жаловались? Где копия? Где документы и доказательства?

И весь Президиум и Виноградова[1], по моему мнению, надо бы на неделю посадить в тюрьму за бездеятельность.

Если Комиссариат народного просвещения «не выдает бюстов» (когда Вы требовали? от кого? копия и документ? когда Вы обжаловали?), — Вы должны были *бороться за свое право*. А «снять с себя ответственность» — манера капризных барышень и глупеньких русских интеллигентов.

Простите за откровенное выражение моего мнения и примите коммунистический привет от надеющегося, что Вас проучат тюрьмой за бездействие власти, и от глубоко возмущенного Вами

Ленина.

12.X.1918.»

[1] Работник Московского Совета по охране памятников искусства и старины.

Надо сказать, что подействовало это письмо самым отличнейшим образом: в течение месяца в Москве было установлено, наверно, больше памятников, чем за всю предшествующую и последующую ее историю.

В одно из воскресений, как раз в те дни, когда происходил Первый съезд комсомола, открывали сразу четыре памятника: Шевченко, Кольцову, Никитину и Робеспьеру.

— Куда бы пойти? — рассуждали ребята в общежитии делегатов съезда.— Кольцов? «Ну, тащися, Сивка...» Нет, это не по нашей эпохе. Никитин? «Пали на долю мне песни унылые...» — тоже не подойдет. Вот Шевченко бы посмотреть, а еще лучше Робеспьера: «Интерес народа — общий интерес; интерес богатых — частный интерес». «Необходимо снабдить санкюлотов оружием, страстью, просвещением. Надо истреблять и внутренних и внешних врагов республики или погибнуть вместе с ней». Одним словом, Неподкупный! Пошли, товарищи, на Робеспьера!

Памятник Робеспьеру решено было установить в Александровском саду. Когда мы пришли, монумент был покрыт куском золотистой материи, а пьедестал обвивали гирлянды живых цветов. Народу собралось тысяч пять, не меньше. Представители рабочих районов пришли с красными знаменами и венками белых и лиловых хризантем.

Вот появился председатель Московского Совета Смидович. Оркестр заиграл «Марсельезу». Смидович сдернул покрывало — и взорам присутствующих открылся памятник Робеспьеру. Слово было предоставлено французскому коммунисту Жаку Садулю.

Месяца два назад Жак Садуль был еще работником французской военной миссии. Его биография необычайна. Адвокат, сын участницы Парижской коммуны, он совсем молодым человеком вступил в ряды социалистической партии и был избран секретарем федерации партии в департаменте Вьенны. Во время первой мировой войны примкнул к социал-патриотам, работал в министерстве снабжения правой рукой ярого шовиниста Альбера Тома, который и командировал его в сентябре 1917 года во французскую миссию в России как человека,

способного урезонить русских рабочих и уговорить их, чтобы они продолжали оставаться пушечным мясом для империалистов Антанты.

Когда Садуль приехал в Россию и встретился с Лениным и другими большевиками, когда увидел собственными глазами русскую революцию, он начал отходить от позиций французского социал-патриотизма. Свои новые взгляды он изложил в ряде писем во Францию, которые затем собрал и издал книгой под названием «Да здравствует пролетарская революция!». В августе 1918 года Садуль окончательно порвал с французской военной миссией и вступил в Коммунистическую партию.

Он был истинным французом — веселым, живым, остроумным, галантным. Бывало, идешь рядом с ним по Москве, топаешь ногами, обутыми в огромные армейские ботинки. На тебе гимнастерка и вылинявшие солдатские брюки. А Садуль склонит к твоему плечу свой изящный стан, поддержит под руку при переходе улицы — и сразу почувствуешь, что ты — дама!

И вот сейчас Жак Садуль стоял у подножия памятника Робеспьеру и, обращаясь к русскому народу, произносил речь как коммунист и как француз.

— Буржуазия всячески старалась принизить значение французской революции и опорочить Максимилиана Робеспьера,— говорил он.— Она никого так не ненавидела, как этого честного и преданного революционера. Советская власть ставит памятник Робеспьеру, в то время как во Франции такого памятника нет. Буржуазия клеветала на Робеспьера так же, как она клевещет сейчас на наших вождей. Робеспьер знал, что создать новый строй можно, только уничтожив все старое. Проводя красный террор, он был лишь исполнителем воли народа и выразителем его пламенного гнева! Да здравствует бывшая французская революция и грядущая французская революция!

— Ура! — закричали кругом.— Да здравствует революция! Да здравствует коммунизм! Да здравствует французский пролетариат!

Оркестр играл «Марсельезу». Садуля качали, целовали, приглашали в гости.

За несколько дней памятники революционерам, поэтам, писателям были установлены чуть ли не на всех московских площадях. Лишь немногие из них были отлиты из бронзы, большинство было изготовлено из бетона, к тому же из скверного бетона. Во всяких художественных отделах сидели тогда товарищи, которые почему-то видели столбовую дорогу пролетарского искусства в футуризме. Поэтому памятники были сооружены в виде прямоугольных кубов, увенчанных приплюснутыми обрубками, изображавшими головы. В довершение ко всему время быстро обезобразило их своими разрушающими метами. Все это так! Но нам эти первые детища революции казались прекрасными — и мы были абсолютно искренни, когда с воодушевлением говорили, что памятники эти будут стоять века!

А сбоку на это глядела интеллектуальная плесень — из тех, о ком Чехов издевательски говорил: «Он очень умный, воспитанный, окончил университет, даже за ушами моет». Эта плесень слушала философские лекции Шпета, почитала себя поклонницей феноменологической школы Гуссерля, рукоплескала «Вехам», Милюкову, Струве и Туган-Барановскому, бывала на премьерах пьес Метерлинка, зачитывалась Владимиром Соловьевым, декламировала стихи Вячеслава Иванова, днем посещала вернисажи «Мира искусств» и «Бубнового валета», вечера заканчивала с певичками в отдельных кабинетах «Яра» — и по всему по этому полагала, что она, и только она, является солью земли русской. Не сумев или не успев пока удрать к Деникину и Колчаку, она по мере сил своих участвовала в контрреволюционных заговорах, ехидничала и шипела.

Она, эта плесень, ощупывала памятники колючими глазками, обнаруживала их уродливость, открывала пятна, нанесенные сыростью, тыкала пальцами в язвы и трещины в рыхлом бетоне—и торжествующе предсказывала, что памятники быстро развалятся. Это была правда, но только *их* правда, правда лишая, правда мокрицы.

А наша правда? В чем же она? В том, что пролетариат позвал великих людей прошлого встать рядом с ним, в его шеренгу,— и лучшие умы и сердца человечества пошли вместе с рабочим классом на осаду крепостей капитализма.

Там, где бой, там и жертвы. В ночь на седьмое ноября 1918 года памятник Максимилиану Робеспьеру у Кремлевской стены был взорван преступной рукой врага...

СКОРЕЙ БЫ!

Это было под вечер в одну из последних суббот перед Октябрьскими праздниками. Не помню уж почему, я бегом бежала через Кремль — и вдруг увидела Владимира Ильича и Надежду Константиновну. Они шли, держась за руки, посмеивались, переговаривались, посматривали на чуть розовое закатное небо.

— Пойдем к нам чай пить! — крикнула мне Надежда Константиновна.

— С медом,— подхватил Владимир Ильич.— Мы члены профсоюза, вот и получили!

По дороге к дому они пригласили еще кого-то из товарищей, которые с радостью пошли к «Ильичам».

Чай пили на кухне, совсем как в былые времена в парижской квартире на улице Мари-Роз. На столе стояла такая же разномастная посуда, клеенка так же была покрыта сетью трещин и щербинок.

Владимир Ильич жадно расспрашивал всех о том, что творится на свете. А рассказать было о чем! И первое заседание первой в мире Социалистической Академии общественных наук, и Первый съезд комсомола, и... Много чего — и все первое!

Владимир Ильич слушал, задавал вопросы, весело переглядывался с Надеждой Константиновной. Особенно заинтересовали его рассказы о разговорах в народе — о рабочем с Прохоровки, который сказал: «Советская власть начала с пустым кошельком, а хоть четвертью хлеба, но докормила до нового урожая»; о делегатке Первого съезда работниц, рассказывавшей о себе: «Я бросила тачку, чтобы с головой уйти в организационную работу».

— Так и сказала: «уйти в организационную работу»? — переспросил Владимир Ильич.

— Да, так.

— Как интересно, а, Надя! А какая она, эта женщина — молодая, старая?

— Лет двадцать пять. У нее трое детей.

Надежда Константиновна налила всем по второму стакану чая. Раздался стук в дверь. Это пришел секретарь Совнаркома Николай Петрович Горбунов. В руках у него был пакет, зашитый в кусочек черного шелка.

— Тут, Владимир Ильич, товарищ из Америки приехал и привез вам вот это,— сказал он.

Владимир Ильич распорол ножом шелк, вскрыл конверт и достал письмо, написанное на листке тонкой бумаги. За столом продолжался общий разговор.

Вдруг Надежда Константиновна вскочила с места:

— Володя, что с тобой?

У Владимира Ильича побелело лицо и даже губы стали белыми. Все невольно посмотрели на его левое плечо, в котором еще сидели эсеровские пули. Но он замотал головой.

— Нет, нет, ничего... Вот послушайте-ка.— И сдавленным голосом стал читать:

«Сан-Франциско (Калифорния), 4.VII — 1918 года. Тюрьма.

Ко всем моим товарищам и братьям рабочим в России.

Приветствую вас, товарищи, в ваших исканиях, в вашей величественной борьбе!

Привет вам, русские рабочие, и в несчастьях, в невзгодах и в скорби вашей.

Мне хочется сказать вам, что всем своим существом я с вами; что во мне, в моей скромной по своему значению личности, вы имеете искреннего вашего сторонника и горячего приверженца вашего великого дела.

Не проходит дня, чтоб я мысленно не был с вами. Ваши могучие усилия, ваши напряженные искания влекут мои думы к вам.

Искренние старания ваши направлены к тому, чтобы дать действительную свободу великому многострадальному народу.

Триста лет вы и деды ваши страдали под ярмом варварской тирании.

Одного этого достаточно, чтобы побудить вас прямо идти к своей цели и чтобы вы пили из того чистого источника свободы, которым вы обладаете.

Я ваш приверженец, я иду по вашим стопам, насколько условия моей теперешней жизни позволяют мне, а условия эти (таковы уж они) не слишком позволяют проявить себя.

Я печалюсь вашими печалями, страдаю, пока у вас неудачи, и ликую, когда вы одерживаете победы.

Мое личное положение весьма серьезно, но это вопрос лишь моего собственного спасения. Гораздо больше меня интересует спасение того, что достигнуто рабочим классом России в его борьбе. Он освободился от тяжкой неволи, от рабства прошлого, и теперь делает такие блестящие, такие великолепные попытки построить новое царство свободы.

Сердце мое рвется к вам, к вашей великой работе, к вашей благородной деятельности.

Еще больше сил, еще больше могущества я желаю вашему удивительному революционному духу, которым проникнуты все ваши честные намерения и благородные усилия.

Величайшее несчастье жизни моей — это то, что я не могу принять участие в вашей славной работе, вместе с вами.

Это послание я передаю с одним русским товарищем, который возвращается в Россию, чтобы присоединиться к русским борцам в их великой работе.

Я передаю его своими руками из «Сан-Францисской Бастилии» в надежде, что вы его получите.

Я надеюсь и верю, что переустройство вашей молодой экономики увенчается блестящим успехом.

Посылаю вам отсюда, из места моего заточения, мои сердечные поздравления и братские приветствия.

Искренне, честно, по-братски я ваш в деле освобождения от капиталистического рабства.

Том Муни»

Владимир Ильич кончил. Волнение долго не давало никому говорить.

— Когда назначена казнь? — глухо спросила Надежда Константиновна.

— На двенадцатое декабря,— ответил Горбунов.

Том Муни, американский социалист, в прошлом рабочий-литейщик, противник войны, был оклеветан и приговорен к смерти за то, что будто бы он вместе со своим другом Биллингсом бросил бомбу во время военного парада в Сан-Франциско в июле 1916 года. Уже более двух лет рабочие всего мира — в том числе русские рабочие — требовали отмены приговора и освобождения Муни.

— Помнишь, Надя, я тебе рассказывал, как на копенгагенском конгрессе II Интернационала мы с Томом Муни всю ночь катались на лодке? — спросил Владимир Ильич.— Том пел песни американских рабочих, а мы учили его «Дубинушке».

Владимир Ильич встал, подошел к окну, всматриваясь в смутный вечерний сумрак, потом обернулся.

— Скорей бы! — воскликнул он.— Кажется, тысячу раз отдал бы жизнь, только скорей бы!

Все поняли, о чем он думал: о победе пролетарской революции во всем мире.

Он сел за стол, взял стакан, подержал его и снова поставил, не отпив ни глотка.

— Я пойду поработаю часок-другой,— сказал он, поднимаясь.

Надежда Константиновна посмотрела на него. Ее любящий взор говорил: «Ты же хотел отдохнуть».

— Ступай,— сказала она мягко.— Мне тоже надо бы сходить по одному делу.

Прихватив с собой меня, она пошла пешком в Хамовники, в Рукавишниковский детский приют, и до позднего вечера занималась его бедами — скверной пищей, рваными простынями, вшами, отсутствием дров и учебников...

НАШ КОСТЕР...

Когда Владимир Ильич, думая о международной революции, воскликнул: «Скорей бы! Кажется, тысячу раз отдал бы жизнь, только скорей бы!» — он выразил чувства лучших людей России того времени.

Приближалось празднование первой годовщины Октября. По всему городу стучали молотки, приколачивались плакаты, знамена, картины, портреты. Ночью звенели трамваи, которые развозили картофель; его раздавали населению через домовые комитеты. В витринах магазинов устраивались выставки: «Земля и планеты», «Анатомия человека», «Есть ли бог и душа?». На здании бывшей Городской думы рядом с часовней Иверской богоматери появились высеченные из камня слова Маркса: «Религия — опиум для народа». Художники разрисовали Страстной монастырь и деревянные ларьки в Охотном ряду яркими, пестрыми фигурами и надписями: «Не трудящийся да не ест».

Повсюду заседали комиссии, разрабатывавшие программу праздника. Некий лохматый товарищ, выступая перед нами от имени секции изобразительных искусств Наркомпроса, говорил, что празднество предположено разделить на три части: борьба, победа, упоение победой.

— Первоначально настроение масс кульминирует,— говорил он, потрясая своими лохмами,— потом оно достигает апогея и в результате заканчивается весельем...

Московский Совет принял решение напрячь все силы, чтобы накормить 7 ноября все трудящееся население Москвы обедом: хлеб, щи с мясом или рыбой, два стакана чая с сахаром.

Всему гражданскому населению — без различия классовой принадлежности — было решено выдать по два фунта хлеба, по два фунта свежей рыбы, по полфунта сливочного масла и полфунта варенья. И удивительная вещь: мы, которые с такой яростью выступали против меньшевиков, отстаивая необходимость введения классового пайка, были счастливы тем, что в великий день 7 ноября продукты получат все без исключения и в равных количествах: в этом был прообраз будущих побед социализма!

И вот настало 6 ноября. Ровно в полдень протяжно загудели гудки московских фабрик и заводов. Трудовая жизнь Москвы остановилась. Толпы народа заполнили улицы и — выражаясь языком лохматого товарища из изобразительного отдела Наркомпроса — «кульминировали», не слишком-то разбираясь в том, какие чувства они испытывали: борьбы, победы или упоения победой.

Вечером зажглась иллюминация. На Красной площади с Лобного места выступали ораторы. Потом там же, на Лобном месте, было сожжено чучело старого мира.

В третьем часу дня открылся Шестой Чрезвычайный съезд Советов, приуроченный к годовщине Октябрьской революции. Зал Большого театра был задрапирован красным, от центральной люстры протянулись гирлянды зелени и ленты с надписями: «Да здравствует союз рабочих и бедняков деревни!», «Революция — локомотив истории!»

На этом съезде — впервые! — не было ни «правой», ни «левой»: весь зал от края и до края занимали большевики. На сцене стояли декорации Грановитой палаты из «Бориса Годунова». Свердлов, приглашая товарищей пройти из-за кулис и занять места в президиуме, сказал смеясь: «Пожалуйте, товарищи бояре!»

Он открыл съезд, произнес несколько вступительных слов и начал было фразу: «Слово предостав...»

Дальше уже ничего не было слышно — такое поднялось в зале. По всем пяти ярусам, как бы отвечая общему настроению, вспыхнули дополнительные люстры.

Владимир Ильич, поднявшись из задних рядов президиума, прошел к ораторскому месту, разложил записки, достал часы, поглядел на них и начал говорить...

Его речь неоднократно прерывалась аплодисментами, в конце ее зал устроил бурную овацию, которой, казалось, не будет конца.

Новой овацией были встречены телеграммы Либкнехта, Меринга и группы «Спартак», полученные съездом. «Ваша борьба — наша борьба,— писали товарищи.— Ваша победа — наша победа! Пусть счастье сопутствует

вам во всех бурях настоящего и будущего!». «Русская Советская Республика стала знаменем борющегося Интернационала! — восклицал Карл Либкнехт.— Она возбуждает отсталых, наполняет смелостью колеблющихся, удесятеряет смелость и решимость всех! Клевета и ненависть окружают ее, но высоко над всем потоком грязи возносится она — великое творение гигантской энергии и благороднейших идеалов, начинающийся новый, лучший мир!»

Когда стемнело, на улицах зажгли фейерверк. В здании оперного театра Зимина (позднее — филиал Большого театра) началась опера Бетховена «Фиделио». Режиссер Федор Комиссаржевский поставил спектакль так, что происходящее на сцене переплеталось с сегодняшним днем. Перед взволнованными зрителями развертывался рассказ о политических узниках, об убийстве тирана, об освобождении восставшим народом своего вождя — Флорестана, которого заточил в темницу преступный губернатор Пицарро. Герой оперы обратился к присутствующим с речью, которая заканчивалась призывом: «Мир хижинам — война дворцам!» В финале действующие лица пели вместе со всем залом «Интернационал».

День 7 ноября был ясным, солнечным. Он начался с того, что Ленин открыл на площади Революции памятник Марксу и Энгельсу. Оттуда он вместе с делегатами съезда Советов прошел на Красную площадь. Все выстроились около задрапированной красным шелком мемориальной доски в память жертв Октябрьской революции. Свердлов провозгласил, что открытие доски поручено самому любимому, самому дорогому для всех человеку — товарищу Ленину!

Владимир Ильич срезал ножницами печать, покровы упали — и глазам присутствующих представилась белокрылая фигура, держащая пальмовую ветвь с надписью: «Павшим в борьбе за мир и братство народов». Знамена склонились, раздались звуки похоронного марша, все обнажили головы.

— Товарищи! — сказал в своей речи Ленин.— Мы открываем памятник передовым борцам Октябрьской революции 1917 года. Лучшие люди из трудящихся масс отдали свою жизнь, начав восстание за освобождение народов от империализма, за прекращение войн между

народами, за свержение господства капитала, за социализм... Почтим же память октябрьских борцов тем, что перед их памятником дадим себе клятву идти по их следам, подражать их бесстрашию, их героизму. Пусть их лозунг станет лозунгом нашим, лозунгом восставших рабочих всех стран. Этот лозунг — «победа или смерть».

И вся площадь, словно эхо, повторила за Лениным: «Победа или смерть!»

«ЗИМНЯЯ СКАЗКА»

Положение в Германии становилось все более напряженным. Ясно было, что в ближайшие дни произойдут решающие события. Все мечтали о том, чтобы революция в Германии произошла 7 ноября — в тот же день, что и в России.

Перед самыми праздниками была перехвачена радиограмма о восстании матросов в Киле. На следующий день стало известно об образовании в Германии первых Советов. На всю Германию звучали требования о низвержении монархии Вильгельма и немедленном заключении мира.

Незадолго до этого германская социал-демократия сделала судорожную попытку спасти монархию: один из лидеров социал-демократической партии, Филипп Шейдеман, вступил в правительство. Но ничто не могло остановить надвигающийся революционный шторм.

Московская радиостанция получила распоряжение немедленно доставлять Ленину и Свердлову все сколько-нибудь значительные радиограммы, которые ей удастся перехватить.

Девятого ноября самокатчик привез в Большой театр, где заседал Шестой съезд Советов, сообщение лондонского радио о том, что Берлин охвачен всеобщей забастовкой, перед императорским дворцом собралась многотысячная толпа рабочих и Либкнехт объявил Германию социалистической республикой. Это сообщение было встречено такой овацией, что под потолком закачалась большая хрустальная люстра.

Через час появился другой самокатчик. Он привез новое сообщение: Филипп Шейдеман, вчерашний министр

кайзеровского правительства, провозгласил из окна рейхстага «Германскую свободную демократическую республику».

Прочитав эту радиограмму, Владимир Ильич помрачнел.

— Когда курица поет петухом, это к добру не приводит,— сказал он.

Все жили в ожидании того, что будет дальше. Было такое чувство, будто вновь вернулись времена Смольного.

Утром 10 ноября, когда я пришла на работу, Свердлов был уже в своем кабинете. Он сидел за столом, просматривая накопившуюся за дни праздников почту, но через каждые четверть часа поднимал телефонную трубку и звонил на радиостанцию и в РОСТА, спрашивая, нет ли новостей. Новостей не было. Наконец он не выдержал, бросил ручку и зашагал по комнате — так, как это делают люди, долго сидевшие в тюрьме: из угла в угол, по прямой.

— Не могу работать,— сказал он и стал читать вслух «Зимнюю сказку». Гейне был его любимым поэтом. Яков Михайлович читал стихи по-немецки наизусть.

Ein neues Lied, ein besseres Lied,
O Freunde. will ich euch dichten...
...Мы новую песнь, мы лучшую песнь
Теперь, друзья, начинаем:
Мы в небо землю превратим,
Земля иам будет раем.
При жизни счастье нам подавай!
Довольно слез и муки!
Отныне ленивое брюхо кормить
Не будут прилежные руки,
А хлеба хватит нам для всех...[1]

На этой строке: «Es wächst hienieden Brot genug...»— он остановился, потом присвистнул и сказал:

— Brot... Хлеб... А что, если...

Он бросился к телефону, попросил дать кабинет Ленина.

[1] Русский текст в переводе В. Левика.

— Владимир Ильич! Владимир Ильич! — заговорил он.— А что, если мне попробовать вызвать к прямому проводу Либкнехта? Да?.. Еду!

Вернулся он часа через два. Его умные черные глаза смеялись, кепка сбилась на затылок, воротник кожаной тужурки был расстегнут. Он только что беседовал с Берлином по аппарату Юза. К прямому проводу подошел дежурный по германскому министерству иностранных дел. Узнав, что вызывает Москва, он сделал попытку уклониться от разговора, но Свердлов потребовал под его личную ответственность, чтобы он немедленно разыскал Либкнехта и привез его к аппарату. Через полчаса дежурный снова подошел к прямому проводу и стал извиняться, что найти Либкнехта невозможно, ибо он выступает на митингах в разных районах Берлина.

...Эти подробности я узнала не сразу. В ту минуту, когда Свердлов приехал с главного телеграфа, он быстро прошел к телефону, поднял трубку «верхнего коммутатора», соединился с народным комиссаром продовольствия Цюрупой и сказал ему:

— Александр Дмитриевич! Наконец-то я вас поймал. Как с хлебом? Немедленно отправляйте в Берлин первый маршрут!

ЧЕРНЫЕ СУХАРИ

Хлеб! Хлеб для германских трудящихся!

В то время, когда начали нарастать события в Германии, Владимир Ильич, еще не оправившись после ранения, жил по предписанию врачей за городом. Вынужденное безделье его мучило, он рвался в Москву. Первого октября он написал Свердлову письмо, в котором предложил созвать на следующий же день объединенное заседание ВЦИКа, Московского Совета и рабочих организаций, чтоб провести практические мероприятия помощи германскому пролетариату.

«...Назначьте собрание в среду в 2 ч.,— писал Владимир Ильич в конце письма.— ...мне дайте слово на $^1/_4$ часа вступления, я приеду и уеду назад. Завтра утром пришлите за мной машину (а по телефону скажите только: *согласны*).

Привет! *Ленин*»

Надежда Константиновна Крупская рассказывает в своих воспоминаниях, как хотел Владимир Ильич выступить на этом собрании.

«Согласия на приезд Ильич не получил, несмотря на его страстную просьбу об этом,— рассказывает она,— берегли сугубо его здоровье. Объединенное собрание было назначено на 3-е, на четверг, а 2-го, в среду, Ильич лишь написал собранию письмо...

Ильич знал, что машины за ним не пришлют, а все же в этот день сидел у дороги и ждал... «А вдруг пришлют!»...»

В этом письме, зачитанном на объединенном собрании ВЦИКа и представителей трудящихся Москвы, Владимир Ильич Ленин призывал русских рабочих и крестьян напрячь все силы, чтобы помочь немецким трудящимся в предстоящих им тяжелых испытаниях, удесятерив усилия по заготовке хлеба и создав при каждом элеваторе запас для помощи немецким рабочим, если обстоятельства борьбы за освобождение от империализма поставят их в трудное положение.

«Докажем, что русский рабочий умеет гораздо более энергично работать, гораздо более самоотверженно бороться и умирать, когда дело идет не об одной только русской, но и о международной рабочей революции»,— писал Владимир Ильич.

И русский рабочий класс и крестьянство ответили Ленину так, как они всегда отвечали Ленину!

Народ, измученный войной, разрухой, голодом, интервенцией и контрреволюционными мятежами, не задумываясь, решил разделить свой кусок хлеба с германским народом.

Поделиться продовольствием решили все: и изголодавшийся Питер, и бесхлебная Кострома, и превращенный в развалины Ярославль.

— Наш долг, товарищи, помочь немецким рабочим, в крайнем случае за счет социалистического отечества, тем куском хлеба, который, может быть, придется с винтовкой брать у кулака,— говорил, выступая на общезаводском митинге, рабочий с завода «Дукс».

— Мы поделимся с вами последним куском хлеба, братья германские пролетарии,— заявлял Петроградский Совет.

По запорошенным первым снегом русским полям потянулись мужицкие обозы с мешками зерна. Красные знамена возвещали, что это зерно идет в фонд Ленина, в фонд Либкнехта, в фонд мировой революции.

Не обошлось, конечно, без тех, кого тогда прозвали «шипящими».

— Сами голодные,— шипели они.— Самим жрать нечего, скоро подохнем, а большевики последний хлеб немцам гонят!

Мне довелось услышать такой выпад во время митинга на фабрике Жиро. Но тут на трибуну поднялась немолодая работница.

— Я как мать говорю,— сказала она.— Мать сама недоест, а детей накормит. А Россия наша сейчас всем революциям мать! Так неужто же русский народ будет думать о своем брюхе, а не обо всей своей семье?

На элеваторах создавали запасы муки и зерна, а народ собирал и сушил черные ржаные сухари.

Черные сухари, черные сухари! Их приносили по два, по три в районные комитеты партии и комсомола, в профсоюзы и фабзавкомы, приносили бережно завернутыми в белую тряпицу и осторожно выкладывали на стол, чтобы не уронить ни одной драгоценной крошки.

Как много мог бы рассказать каждый из этих сухарей! Вот лежит сухой тонкий черный брусок геометрически правильной формы. Это разрезанная надвое пайковая четвертушка. А этот сухарь с полукруглым бочком был когда-то горбушкой круглого хлебца. Такого хлеба в Москве не пекут, его привезли из деревни. Быть может, тому, кто привез его в Москву, пришлось не одну ночь висеть на ступеньке или прижиматься к железной крыше вагона. А этот сухарь чуть светлее других. Такой, более светлый хлеб отпускают по детским карточкам. Кто принес его — мать или сын? А это овсяная лепешка, через два дня на третий овес дают по карточкам вместо хлеба.

Собранные сухари упаковывали в фунтики, перевязывали шпагатом и складывали в шкафы. Там они должны были ждать, пока представится возможность отправить их в помощь зарубежным братьям.

...Таков был хлеб, тот святой хлеб, который голодающая Россия посылала трудящимся Германии!

КРУПНЫМ ПЛАНОМ

Москва, август — октябрь 1919...

В один из первых дней августа мы подъезжали к Москве. Окна вагона были раскрыты, в них врывался ветер. Над городом ползла тяжелая гряда туч. С каждой минутой становилось темнее. Вот на мгновение блеснули золотые главы кремлевских соборов. Блеснули и скрылись, затянутые темной пеленой.

Наше отсутствие продолжалось около трех недель, но было такое чувство, словно прошли годы. Бегом по лужам бросились мы к себе, в «Свердловку». В общежитии было пусто, все ушли на практические занятия. Я побежала домой к маме, но встретила ее на лестнице. Она куда-то спешила, сунула мне ключ от квартиры, на ходу поцеловала меня, сказала, что отец в Москве и просит меня прийти к нему.

Главный штаб помещался в бывшем Александровском военном училище на Знаменке (ныне улица Фрунзе).

Пропуск мне был заказан. Я поднялась на второй этаж. Отец сидел в большой комнате за столом, заваленным бумагами. Позади него на стене была прикреплена карта с линиями фронта, обозначенными флажками.

Отец коротко рассказал о себе: он назначен членом Революционного военного совета Республики, будет теперь работать в Москве. Потом спросил обо мне. Разговор наш часто прерывался телефонными звонками. В комнату никто не заходил, мы были все время вдвоем. Но вот в дверь постучали. Я, чтобы не мешать, быстро пересела в кресло, стоявшее в углу. Отец сказал: «Войдите».

В комнату вошел человек лет пятидесяти пяти. Его осанка и легкость, с какой он носил свое большое, грузное тело, выдавали кадрового военного. Волосы его начали редеть, густая черная борода казалась крашеной. На лице играла добродушнейшая, приветливейшая улыбка.

Этот человек сразу показался мне крайне неприятным. Не замеченная им, я враждебно следила за каж-

дым его движением. Отец же, напротив, дружелюбно пожал ему руку, осведомился о здоровье, называл по имени-отчеству — Сергеем Алексеевичем, протягивал портсигар, предлагая папиросу.

Разговор между ними шел о перебросках военных частей. Этот Сергей Алексеевич предлагал снять с одного из фронтов значительные воинские соединения и перебросить на другой фронт. Отец соглашался, поддакивал; лицо его при этом стало, пожалуй, несколько глуповатым. Выслушав своего собеседника до конца, он попросил его еще раз повторить свои предложения и выдвинул ящик стола, чтобы взять лист бумаги и записать их.

Отец нагнул голову и пошарил рукой в ящике, что-то ища. Сергей Алексеевич глядел на него, думая, что его самого в эту минуту никто не видит. Что это был за взгляд! Сколько было в нем ненависти!

Все это продолжалось, быть может, секунду и исчезло, едва отец поднял голову.

— Слушаю вас,— сказал отец.

Сергей Алексеевич повторил свои предложения. Раскатисто распрощался, пошел к двери. Еще раз обернулся — улыбчивый, приветливый. Увидел любезную, снова глуповатую улыбку отца.

Но как изменился отец, едва тот вышел! Каким тяжелым и сумрачным был тот долгий взгляд, которым он проводил своего посетителя.

— Кто это? — не утерпев, спросила я.

— Это? — Отец говорил, как человек, который возвращается из глубокого раздумья.— Это начальник оперативного отдела Главного штаба Рабоче-Крестьянской Красной Армии — Кузнецов.

Интонация его показалась мне чем-то странной, но я промолчала.

Он помедлил. Поднял трубку. Попросил соединить с кабинетом Ленина. Сказал, что надо бы потолковать.

— Сейчас? — переспросил он.— Хорошо, Владимир Ильич. Дочка? Она у меня сидит. Прихвачу, прихвачу...

Вот, собственно, все. Два взгляда, как бы увиденных крупным планом. О том, что таилось за ними,— потом.

ВЕЧЕР В КРЕМЛЕ

Мы пришли в Кремль часу в десятом вечера. Владимир Ильич и Надежда Константиновна были у себя. Одеты они были по-домашнему: он — в стареньком пиджаке из альпага, она — в ситцевом платье в горошек.

Разговор отца с Владимиром Ильичем был сугубо секретный, и они ушли в другую комнату. Мы с Надеждой Константиновной остались на кухне. Она что-то чинила, я рассказывала, как жила все то время, что мы не виделись.

Потом Владимир Ильич и отец вернулись. «Ну и ну»,— сказал Владимир Ильич в дверях, оборотясь к отцу, и встряхнул головой, как бы желая что-то от себя отогнать.

Он не сразу сел к столу, а прошелся по кухне, затем решительным движением повернул стул, уселся на него верхом и, положив руки на спинку, принялся расспрашивать отца о военных делах.

Разговор шел в быстром темпе. Владимир Ильич задавал односложные вопросы: кто? где? как? когда? сколько? Выслушивая ответы, часто поругивался, любимыми ругательными словечками его были: «болван полосатый», «рохля», «безрукий растяпа».

Сначала речь шла о положении на Южном фронте, которое внушало обоим собеседникам чрезвычайную тревогу. Потом заговорили о только что назначенном Главнокомандующем вооруженными силами Республики Сергее Сергеевиче Каменеве.

— Он производит очень хорошее впечатление,— сказал Владимир Ильич.— Когда был у меня, развивал мысль, что в гражданской войне военные действия являются первым средством политики и политика с оружием в руках прокладывает себе дорогу. Интересное применение положения Клаузевица о войне, как продолжении политики, к условиям гражданской войны.

Владимир Ильич сделал паузу и добавил:

— Вот только имеется у наших военных специалистов, даже у лучших, воспитанная окопной войной склонность воевать для того, чтобы воевать, а не для того, чтобы побеждать. Но Каменев это понимает...

Потом заговорили о новых военачальниках и полководцах, выросших в ходе гражданской войны,— Блюхере, Азине, Чевереве, Буденном.

Владимира Ильича живо интересовали народный ум и творческая импровизация, которые вкладывали эти военачальники в свое полководческое искусство.

Отец с увлечением рассказывал ему о том, как Буденный, конница которого тогда только что была создана, водил по степным просторам свои полки. Как он описывал круги и восьмерки и держал своих людей и коней накормленными и напоенными, а преследовавшего его противника — голодным и без воды. Как сам делал переходы ночью, по холодку, а противника принуждал двигаться днем, по солнцепеку.

Много рассказывал отец Владимиру Ильичу о рано погибшем Александре Михайловиче Чевереве, которого близко знал.

Рабочий-деревообделочник, член партии с 1908 года, Чеверев во время наших тяжелых поражений на Восточном фронте в 1918 году сумел пробиться из Уфы со своим отрядом через расположение противника и соединиться с нашими войсками.

Примечательной чертой Чеверева было то, что на небольшом опыте командования двухтысячным отрядом он почувствовал своим пролетарским инстинктом ахиллесову пяту партизанщины и понял, что без знаний командовать нельзя. Он неоднократно приходил в штаб 2-й армии и беседовал с членами Реввоенсовета армии Шориным и Гусевым.

— Главная беда,— частенько повторял он,— что не знаем, как командовать. Во фланг? А как ударить во фланг — этого-то и не знаем. Эх, если б подучиться, всю бы сволочь живо расколотили! Учиться, учиться надо!

Он внимательно прислушивался к каждому указанию, и в ближайших же боях обнаружилось, каким способным учеником он был. Полк Чеверева оказался самым стойким из всех, наступавших на Ижевск. После окончания Ижевско-Воткинской операции он добился посылки в Академию генерального штаба, но, не проучившись и двух месяцев, сбежал от царившей там мертвящей схоластики преподавания.

— Артиллерию начинают с персидской и греческой катапульты,— жаловался он Гусеву.— На черта мне эта катапульта, ежели гражданская война разгорается с каждым днем? Дьявол их забери вместе с их катапультой!

Потом разговор перешел на новые формы борьбы, рожденные особыми качествами нового, революционного солдата и нового командира в условиях новой армии, ведущей гражданскую войну.

Поговорить тут было о чем! Народ, создающий свою армию, вложил в это дело все свое золотое умение. Это он породил знаменитую пулеметную тачанку. Это он, когда не хватало оборудованных бронепоездов, устанавливал на товарные платформы орудия и пулеметы, заменял броню мешками с песком и, дав такому составу звучное имя: «Ленинец», «Молния», «Борец», «Смерть белым», превращал его в бронепоезд, способный к бою.

Отец рассказывал Владимиру Ильичу, как во время наступления на Уфу наши части вышли на берег реки Белой. Никаких технических средств для переправы не было. Реку пришлось форсировать на лодках, кавалерия переправлялась вплавь. Темп операции сильно замедлился. В это время к командованию явился рядовой красноармеец, сказал, что он плотник и берется навести переправу с помощью пустых бочек и досок, почти без гвоздей. Несмотря на быстрое течение реки и огонь противника, переправа была наведена и оставшиеся части и обозы переброшены на другой берег.

Так, за разговорами, прошел вечер. Пора уже было уходить. Но тут Владимир Ильич, лукаво посмотрев на Надежду Константиновну (разрешит?.. не разрешит?..), сказал:

— А что, Сергей Иванович, если нам воспользоваться тем, что вы здесь и работать все равно уже не будете, и позвать сюда Красикова и немножко помузицировать?

Надежда Константиновна разрешила. Позвонили Красикову — это был один из деятельных участников женевской группы большевиков в эпоху II съезда партии. Жил он в Кремле и минут пять спустя пришел со своей скрипкой.

С его приходом все переменилось. Он вошел, напевая какую-то французскую песенку. Отец подхватил. Владимир Ильич и Надежда Константиновна переглянулись,

расхохотались — видимо, эта песенка напомнила им что-то смешное. И вдруг они все четверо наперебой заговорили о Женеве, о Мартове и Плеханове, о спорах в эмигрантской столовке на Рю Каруж, о времени страстной борьбы с меньшевиками после II съезда партии, изобиловавшей, как и всякая такая борьба, массой всяческих перипетий — и трагических и комических.

Из их разговора я поняла, пожалуй, только одну забавную историю, которая произошла с одним из русских социал-демократов в день его приезда из России в Женеву.

Отправляясь за границу, этот товарищ приобрел самоучитель французского языка. Перелистывая его, он узнал, что буква «е» на конце слов во французском языке не выговаривается. Потом он нашел личное местоимение «я» — по-французски «je», но не обратил внимания на то, что оно произносится «жё», и решил, что его надо произносить «ж».

В Женеве он снял комнату в старой части города, в одном из тех узких высоких домов, каждый этаж которых состоит из одной комнаты, и квартира представляет собой несколько этажей.

Оставив там вещи, он отправился на явку и весь день посвятил изучению внутрипартийных разногласий. Домой вернулся поздно, хозяева уже спали. Он постучал дверным молотком. Окно на верхнем этаже раскрылось, в нем появилась голова в ночном чепце и произнесла:

— Qui est ça?[1]

— Жжжжжж,— ответил он.

— Qui est ça? — снова послышалось сверху.

— Жжжжжж,— снова прозвучало в ответ.

Так он стоял и жужжал, пока окошко не захлопнулось. Ночевать ему пришлось на скамейке в городском саду.

Надежда Константиновна предложила перейти в ее комнату. Владимир Ильич сел на диван, Надежда Константиновна — рядом с ним.

---

[1] Кто это? *(франц.)*

Красиков поднял смычок и вопросительно посмотрел на отца. Тот утвердительно кивнул, и Красиков начал играть вступление к опере «Паяцы».

Владимир Ильич сидел, откинувшись назад и прикрыв глаза левой рукой. Видно было, что он весь ушел в слух. Скрипка не могла, разумеется, передать многоголосое звучание оркестра. Но Красиков неплохо ею владел, а главное — все так изголодались по музыке, что не могли не испытывать наслаждения.

В том месте, где раздвигается занавес и на сцену выходит актер, исполняющий партию «Пролога», зазвучал голос моего отца.

Я уже не раз слышала и от мамы и от товарищей отца рассказы о его голосе — о том, как Фигнер предложил ему сделаться солистом Мариинского театра, как шумное пение отца во время II съезда партии чуть ли не стало одной из причин переноса заседаний съезда из Брюсселя в Лондон. Рассказывали, что, когда отец был в ссылке в Березове, его пение было слышно с одного берега широкой Сотьвы на другом.

В тот вечер у Владимира Ильича он пел негромко, в четверть голоса. Теперь Владимир Ильич сцепил руки и сидел, слегка нагнувшись вперед. В открытое окно видно было звездное ночное небо. Голос отца то усиливался, то становился глуше.

Так он провел всю партию. Оставалась лишь одна фраза, последняя фраза. И тут отец не сдержался. Он вскочил, сделал шаг вперед, протянул к Владимиру Ильичу обе руки и взволнованно пропел в полную силу:

— Итак, мы начинаем!

Был в этом такой порыв, такая глубина чувства и мысли, что и для слушателей и для певца «Пролог» прозвучал не как пролог к рассказу о трагической судьбе семьи паяцев, а как совсем иной пролог к совсем иным событиям, которые переживала тогда великая русская революция.

ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ

В конце сентября Центральный Комитет партии обратился ко всем партийным организациям, ко всем членам партии с призывом удвоить, утроить, удесятерить энергию

партийных организаций в деле военной обороны Республики.

В этом письме чаще всего повторялся один и тот же глагол, который звучал словно звон вечевого колокола: должен! должны!

Партийные мобилизации следовали одна за другой. Двадцать процентов членов партии, тридцать процентов, пятьдесят! Некоторые партийные организации уходили на фронт целиком, полным своим составом.

Работа государственных учреждений подлежала предельному сокращению, а сотрудники — отправке на фронт. Мобилизация не касалась только трех ведомств: военного, продовольственного и социального обеспечения.

«Почему социального обеспечения? — думала я.— Ну, понятно, что военного и продовольственного, но при чем же это несчастное социальное обеспечение?»

Размышляя об этом, я шла по кремлевским коридорам к Владимиру Ильичу, для которого я приготовила по его просьбе кое-какие выписки из книг.

Вопрос меня настолько интересовал, что я выпалила его, едва войдя в кабинет Владимира Ильича.

Он сердито посмотрел на меня.

— Я слышу это сегодня по меньшей мере в пятнадцатый раз,— сказал он.— В том числе и от работников Комиссариата социального обеспечения. Чтоб не терять времени на разъяснения, я распорядился отпечатать вот этот документ — и даю его спрашивающим. Прошу прочесть внимательно!

Он достал из папки на столе машинописную копию какого-то документа и протянул мне.

«Мы, красноармейцы такого-то полка,— читала я,— едем на фронт для защиты и укрепления власти Советов и на помощь нашим товарищам, уже сражающимся на фронте два года. Из них уже много легло там на фронте, но мы знаем и верим больше, чем в себя, что наша Советская власть мозолистых рук их имена на странице истории запишет и их семейства не забудет. Со своей стороны мы заявляем: до тех пор не сдадим оружия, пока не разобьем наголову всю сволочь белогвардейцев, а также

социалистов в кавычках. Мы докажем нашей собственной власти, что мы, красноармейцы, отлично понимаем, за кого мы идем и для чего на фронте умрем, но не отдадим своих прав. Но наша просьба только в том: помните о нас и о наших семействах. А в случае, если здесь, в тылу, поднимут головы контрреволюционеры, то пусть знают, что мы пойдем и разделаемся с ними, что называется, как повар с картошкой, то есть ни одного не оставим в живых. Да здравствует Советская власть! Да здравствует мировой пролетариат!»

Пока я читала, Владимир Ильич просматривал сделанные мной выписки.

— Прочла? — спросил он, когда я кончила.— Запомни навсегда слова: «мы знаем и верим Советской власти больше, чем в себя». Только тот достоин высокого звания коммуниста, кто понимает, какие обязанности налагают на него эти слова...

В эти дни в письме группе иностранных коммунистов Владимир Ильич Ленин писал: «Дорогие друзья! Шлю вам наилучший привет. Наше положение очень трудное из-за наступления 14 государств. Мы делаем величайшие усилия».

Трудно измерить поистине титаническую работу, которая скрывалась за этими скупыми словами: «Мы делаем величайшие усилия». Тут и небывалое напряжение сил для создания решающего перелома на Южном фронте, и организация обороны Москвы, и помощь красному Питеру, который решено было защищать до последней капли крови.

Чуть ли не каждую ночь у нас, в номере «Лоскутной», в темноте раздавался настойчивый звонок «вертушки» (так называли телефоны внутренней связи Совнаркома). Отец вскакивал, брал трубку — и только и слышно было: «Хорошо, Владимир Ильич... Записываю, Владимир Ильич...», а едва уснешь — снова такой же звонок.

Выписки, которые я принесла Владимиру Ильичу, были сделаны мною из статьи, напечатанной без подписи автора в одном из американских изданий XIX века. Надежда Константиновна сказала мне, что Владимир Ильич

просил Румянцевскую библиотеку выдать ему это издание на дом, но библиотека отказала на том основании, что оно входит в состав фонда, из которого выдача книг на руки не производится. Поэтому Владимир Ильич поручил мне пойти в читальный зал библиотеки и переписать для него эту статью.

Статья называлась «Кавалерия». Автор ее занимался подробным анализом кавалерийского боя.

«Моральный фактор, храбрость, здесь сразу же превращается в материальную силу; — писал он,— наиболее храбрый эскадрон будет скакать с величайшим самообладанием, решимостью, стремительностью ensemble и сплоченностью. Ввиду этого никакая кавалерия не может совершать великие дела, если она не охвачена «порывом» [«dash»]. Но как только ряды одной стороны сломлены, в действие вступает сабля, а вместе с ней и индивидуальное искусство в верховой езде. По крайней мере части победоносной конницы приходится отказываться от своего тактического построения, чтобы саблей снять жатву победы. Таким образом удачная атака сразу решает судьбу боя; но если она не сопровождается преследованием и одиночными рукопашными схватками, то победа оказывается сравнительно бесплодной. Именно этим огромным превосходством стороны, сохранившей свою тактическую сплоченность и строй, над стороной, которая их утратила, и объясняется невозможность для иррегулярной конницы, как бы хороша и многочисленна она ни была, разбить регулярную кавалерию».

Владимир Ильич отчеркнул это место карандашом и написал на полях: «Товарищ Гусев! Прошу ознакомиться со статьей Энгельса, о которой мы говорили, и побеседовать с комиссаром Московской кавалерийской дивизии. Потом расскажете мне. Статью вернете».

РАЗДУМЬЕ

В тот год долго стояли ясные, солнечные дни. Холода наступили сразу. Накануне годовщины Октября вдруг подул ледяной ветер, а на второй день праздника разыгралась вьюга, снег мокрыми хлопьями залепил окна. Мы с

мамой колебались, идти ли на концерт в Большой зал Консерватории, куда у нас были билеты. Какое счастье, что мы все же решили пойти!

На улице мело. Лампочки иллюминации слабо светились сквозь снежную мглу. У Дома Союзов стояла деревянная статуя красноармейца. Символизируя победы, одержанные за последние недели над Деникиным и Юденичем, на его штык были нанизаны генералы, помещики, фабриканты.

Взявшись за руки, мы с мамой шагали навстречу ветру, который рвал знамена и раскачивал провода. К подъезду Консерватории вела дорожка, протоптанная в снегу. Гардероб не работал. Стряхнув с себя снег, мы поднялись наверх.

Когда мы вошли, зал был почти полон. Служители вносили пюпитры и раскладывали ноты. Билеты наши были в партер в пятый или шестой ряд. Прямо передо мной место было свободно. Кресло рядом с этим свободным местом занимал человек в шапке-ушанке, отделанной черным мехом. Он поднял воротник пальто и сидел, опустив плечи и сжавшись — то ли устал, то ли старался согреться.

Появились оркестранты—в шубах и шапках. Пианистка не сняла шерстяных перчаток. Вяло звучали настраиваемые инструменты, словно и звуки застывали в этом мертвящем холоде. Наконец вышел дирижер — Сергей Кусевицкий. На нем был фрак, но вместо белого крахмального пластрона из-под фрака выглядывал серый свитер. Кусевицкий быстро поклонился, подышал на руки и поднял палочку. Концерт начался...

Я запахнула поглубже пальто и приготовилась слушать, но мама осторожно дотронулась до меня. Одними глазами она показала мне на того человека, который сидел впереди, слева от нас. Теперь он снял шапку и опустил воротник. Я увидела, что это Владимир Ильич.

Мне довелось много раз видеть Владимира Ильича — выступающим на трибуне, председательствующим на заседании, у него дома. И всегда он бывал в действии, в движении. Сейчас, впервые, я видела его в минуту сосредоточенного раздумья, когда ему казалось, что он был наедине с самим собою.

Слушая и не слушая увертюру «Кориолан», я неприметно, боковым зрением, наблюдала за Владимиром Ильичем. Он сидел не шелохнувшись, поглощенный музыкой. Оркестр постепенно освобождался от оцепенения, но все еще звучал приглушенно, и только замерзший ударник, когда ему приходило время вступать, с непомерной силой колотил по своему инструменту.

— Как застоявшаяся лошадь бьет,— негромко пошутил кто-то сзади.

Но вот прогремел финал, раздались аплодисменты. Владимир Ильич слегка пошевелился. По его движению я поняла, что он старается устроить поудобнее левое плечо, из которого не были извлечены эсеровские пули.

Это движение напомнило мне, как работники Совнаркома и даже Секретариата Центрального Комитета партии, помещавшегося вне стен Кремля, в первые дни после ранения Владимира Ильича невольно ходили на цыпочках и разговаривали шепотом, а потом он стал выздоравливать, и какое это было счастье для нас, когда мы приходили на обед в кремлевскую столовую и видели через окно, как он гуляет по двору.

Новый взрыв рукоплесканий прервал мои думы. Теперь Владимир Ильич переменил позу и сидел так, что мне видна была правая половина его лица. Выражение его было сосредоточенным и даже грустным. И чувство огромной любви к нему охватило мою душу.

Мне вспомнился день Первого мая девятнадцатого года. Праздник международного пролетариата проводился тогда иначе, чем теперь. Вся революционная Москва стройными колоннами приходила на Красную площадь, слушала выступления ораторов, проходила мимо Ленина, пела, произносила клятву верности социалистической революции и, проведя здесь, на Красной площади, несколько часов, расходилась по своим районам, чтобы там закончить празднование Дня международной солидарности трудящихся всего мира.

И Красная площадь тоже была совсем не такой, как теперь. Вдоль Кремлевской стены голо и неприютно, об-

ложенные дерном, тянулись могилы жертв революции. Площадь была вымощена брусчаткой. По ней проходили две трамвайные линии. Трамваи со звоном и скрежетом одолевали подъем у Исторического музея, а потом с грохотом спускались к коротенькому, перекинутому с берега на берег, Москворецкому мосту. Сразу за храмом Василия Блаженного шел ряд невзрачных домов — и площадь от этого была меньше и теснее, чем в наши дни.

В тот день, Первого мая девятнадцатого года, она выглядела более празднично, чем всегда. На здании Верхних торговых рядов (нынешний ГУМ) были повешены огромные алые полотнища; на одном из них был нарисован рабочий, на другом — крестьянин. На каждом зубце Кремлевской стены трепетал красный флажок, и даже Минину и Пожарскому сунули в руки по красному флагу. На Лобном месте белое покрывало окутывало фигуру Стеньки Разина — памятник должен был быть открыт сегодня. Свежая могила Якова Михайловича Свердлова утопала в цветах.

Ярко светило солнце. Деревья были усыпаны почками и зеленоватым кружевом вырисовывались на фоне ясного неба. Настроение у всех было радостное. С фронтов приходили вести о победах Красной Армии. В толпе слышались песни, знакомые громко приветствовали друг друга еще только входившими в обычай словами: «С Первым мая, товарищи!» Молодежь хором декламировала строки из последнего стихотворения Демьяна Бедного:

О Шейдеман, лихая тварь,
Как буду я судьбой утешен,
Когда увижу тот фонарь,
На коем будешь ты повешен!

Около полудня на площади появился Владимир Ильич Ленин, бурно приветствуемый собравшимися. Он обратился к ним с приподнятой речью, которую закончил словами: «Да здравствует коммунизм!» Потом он спустился, чтоб перейти на следующую трибуну (их было установлено несколько, в разных концах площади — так, чтоб все, кто пришел, могли услышать Ленина и других большевистских деятелей). Но Владимира Ильича остановили и протянули ему лопату.

Дело в том, что в тот год день Первого мая был объявлен днем древонасаждения. Окруженная со всех сторон врагами, Советская республика решила высадить молодые деревья.

Владимир Ильич, лукаво усмехаясь, потер ладони, взял лопату и принялся копать землю у Кремлевской стены.

Когда ямка была вырыта, подъехала подвода с саженцами. Владимиру Ильичу вручили тоненькую липку. Он бережно поставил ее на предназначенное место, засыпал землей, полил водой — и только когда работа кругом была закончена, прошел вперед и поднялся на другую трибуну.

В первой своей речи в этот день он подводил итоги прошлого, теперь его мысль была обращена к будущему — к тому новому миру, который вырисовывался из-за туч порохового дыма, окутавшего Советскую Россию. Он видел это будущее и в детях, слушавших его, стоя у подножия трибуны, и в молодых деревьях, которые были только что посажены.

Опираясь на лопаты, собравшиеся вслушивались в слова Владимира Ильича.

— Внуки наши,— говорил он, протянув перед собой выпачканную в земле руку,— как диковинку, будут рассматривать документы и памятники эпохи капиталистического строя. С трудом смогут они представить себе, каким образом могла находиться в частных руках торговля предметами первой необходимости, как могли принадлежать фабрики и заводы отдельным лицам, как мог один человек эксплуатировать другого, как могли существовать люди, не занимавшиеся трудом. До сих пор, как о сказке, говорили о том, что увидят дети наши, но теперь, товарищи, вы ясно видите, что заложенное нами здание социалистического общества — не утопия. Еще усерднее будут строить это здание наши дети.

Он посмотрел на детей и, немного помедлив, сказал:

— Мы не увидим этого будущего, как не увидим расцвета деревьев, которые сегодня посажены; но это время увидят наши дети, его увидят те, кто переживает сегодня пору юности...

Шум аплодисментов возвестил об окончании первого отделения концерта. Все поднялись с мест, притопывая,

похлопывая себя, чтоб согреться. Встал и Владимир Ильич.

Он надел шапку, постукал кулаком о кулак, потом обернулся и увидел нас с мамой.

— А, Елизавет-Воробей,— окликнул он меня тем прозвищем, которое мне дали, когда я была девочкой. Он поздоровался с мамой, потом со мной своим крепким, быстрым рукопожатием...

Да, все это было...

И когда сегодня вспоминаешь об этом, тебя охватывает желание быть лучше, благороднее, быть всегда достойным высокого звания коммуниста!

НА ЛЕДОВОМ ПОЛЕ

1

Пожалуй, на это дело лучше было б послать кого другого. Многие так считали.

— Нет,— сказал Горячев, наш командир.— Пойдет она. Им (он подчеркнул это «им») тяп-ляп не годится. Им надо, чтобы было «шапки долой!» и побольше эдакого.

— Не вышло бы чего,— сказал кто-то.

— Да и ей, наверно, страшно...

Но он был неправ: мне не было страшно. Часа за два до этого меня сильно шарахнуло воздушной волной от пролетевшего неподалеку тяжелого снаряда, и до сих пор моя голова была словно налита водой. И я ничего не понимала. Не понимала, о чем идет спор. Не пони-

мала, почему мне велели сдать револьвер и тщательно проверили, не завалялся ли у меня в карманах случайный патрон. Не понимала, отчего надо спускаться вниз и вниз по крутой каменной лестнице с выбитыми, скользкими ступенями. Не понимала, почему — то впереди, то позади меня — гремят тяжелые железные засовы.

Прийти в себя помогли шапки, те самые шапки, которые так пленили Горячева, слышавшего меня на красноармейском митинге в Ораниенбауме,— бессмертные шапки из книги Артура Арну:

«Шапки долой! Я буду говорить о мертвецах Коммуны!»

Сколько раз уже эти великолепнейшие слова помогали мне, агитатору-неумехе, сразу овладевать вниманием аудитории. С них я хотела начать и на этот раз.

Но вдруг я увидела: у людей, к которым я должна была сейчас обратиться, не было шапок!

Да, у них не было шапок, и мертвенный свет утопленного в стене и зашитого тюремной решеткой ацетиленового фонаря падал на непокрытые, коротко остриженные головы, кое у кого замотанные грязными тряпками с пятнами засохшей крови.

У них не было шапок, лишь у одного на лоб низко надвинут ободок бескозырки, на ленточке которой едва угадывались буквы — «Петропавловск». Он сидел на нарах, подвернув ногу так, что подбородок упирался в острое, худое колено, и смотрел на меня темным, ненавидящим взглядом.

— Товарищи,— сказала я упавшим голосом и тут же осеклась, чувствуя, что говорю что-то не так.— Завтра, восемнадцатого марта тысяча девятьсот двадцать первого года, рабочие, и угнетенные, и эксплуатируемые всего мира, сняв шапки...

Так начала я доклад о пятидесятилетии Парижской коммуны, который мне поручено было сделать перед сидевшими в тюремном каземате Кронштадтской крепости пленными матросами — активными участниками Кронштадтского мятежа.

В жизни каждого человека есть рубеж, на котором кончается его молодость. Для людей моего поколения, тех, для кого слова поэта о молодости, что водила в сабельный поход и бросала на кронштадтский лед, не про-

сто поэтическая метафора, а одна из строк в их биографии, таким рубежом были полные драматизма события весны 1921 года. Сколько с тех пор прожито и пережито, сколько передумано и перечувствовано! Казалось бы, давно уже все должно быть позабыто. Но нет! Можно не вспоминать, можно не думать об этом годами, но вдруг какая-то словно бы совсем отдаленная ассоциация — обрывок бумаги, гонимый ветром по обледенелой, залубеневшей земле, туманная дымка над горизонтом, луч прожектора в ночном небе, слабый запах весны и тающего снега или же юношеское лицо с широко открытым, спрашивающим ртом и глухими, неслушающими ушами — все это вдруг заставляет тебя вздрогнуть и с новой остротой вспомнить и увидеть истинные события истинной истории и с их подлинно шекспировским фоном, и шекспировской силой, и трагичностью страстей.

«Что развивается в трагедии? Какая цель ее?»—спрашивал Пушкин в заметках о народной драме. И отвечал: «Человек и народ. Судьба человеческая, судьба народная...»

Такой трагедией, в которой судьба народная переплеталась с судьбами человеческими, и были события весны 1921 года. Как, почему не стали они до сих пор достоянием искусства и прежде всего достоянием кинематографа, единственного, пожалуй, искусства, которому они действительно по плечу? Не будем задавать эти вопросы, ответ на которые мы знаем. И знаем, что настало время, когда наше искусство сможет раскрыть их во всей глубине и неповторимости.

Будущие сценаристы, режиссеры, художники обратятся к архивам, к мемуарам свидетелей и очевидцев того времени.

Мне выпало на долю быть участником подавления Кронштадтского мятежа. На моих глазах происходили подготовка штурма и сам штурм мятежной крепости. Я знала многих военачальников, политических работников и рядовых бойцов, героизм которых привел к победе в небывалом в истории бою пехоты против морской крепости. То, что сохранила моя память, я углубила и расширила, изучая исторические документы.

Свой рассказ я веду от первого лица, но это не значит, что я являюсь его героем, хотя бы даже «лириче-

ским». Девятнадцатилетняя санитарка Н-ской части Южной группы Кронштадтского фронта со всем, что у нее было хорошего и плохого, умного и глупого, так бесконечно далека от меня сегодняшней, что я отношусь к ней, скорее, как к своей близкой знакомой, чем как к самой себе. И если я положила в основу своего повествования ее судьбу, если смотрю на события ее глазами, то делаю это только потому, что она является таким свидетелем событий тех дней, от которого я могу узнать больше, чем от кого-либо другого.

С какого же дня начать наш рассказ? Начнем его с третьего марта двадцать первого года.

Помню, накануне мы допоздна просидели над книгой Артура Арну о Парижской коммуне, готовясь к завтрашнему занятию: скоро исполнялось пятьдесят лет со дня провозглашения Коммуны, и Иван Иванович Скворцов-Степанов проводил в Свердловском университете, в лекторской группе которого я тогда училась, несколько семинаров по Коммуне, занимаясь с нами не только как со студентами, но и как с агитаторами, ибо мы должны были выступать с докладами во время торжественного празднования пятидесятилетия.

Хлеба утром нам не выдали, и мы отправились на семинар, попив голого кипяточку. Иван Иванович пришел с набитым книгами портфелем, разложил книги перед собой и начал говорить. Предыдущие занятия были посвящены деятельности Коммуны, на этом занятии речь шла о начале ее борьбы с версальцами. И вот как раз в ту минуту, когда Иван Иванович говорил, какой ошибкой со стороны Коммуны было то, что, проявив великодушие по отношению к своим врагам, она позволила буржуазии покинуть Париж и создать в Версале контрреволюционное правительство, в коридоре послышался шумный топот, дверь аудитории распахнулась, и вбежал кто-то из наших студентов, размахивая газетой и крича: «Товарищи! Правительственное сообщение! В Кронштадте мятеж!»

Занятия семинара были, конечно, смяты. По рукам пошел вырванный из тетради листок, на котором записывались добровольцы, желавшие ехать под Кронштадт. Появился секретарь партийной ячейки университета. Ему уже звонил секретарь райкома партии, который сказал,

что первая партия добровольцев отправляется через два часа. Мужчин брать всех, а женщин — только тех, что могут быть сестрами или санитарками.

Потом все было как всегда в таких случаях: из-под матрацев извлекалось нехитрое имущество; кто укладывался, кто делил полученные в каптерке хлеб и сахар; кто писал письма; кто, забыв обо всем на свете, «доспоривал» оставшиеся невыясненными положения изучавшегося тогда нами «Капитала». Как ни коротко было отпущенное на сборы время, но сами сборы оказались еще короче, так что мы успели и посмеяться, и погрустить, и спеть «Варшавянку».

Потом, закинув за спины тощие вещевые мешки, мы шагали по коричневой снежной жиже через всю Москву, стараясь как можно более четко отбивать шаг и держаться так, что все, мол, нам нипочем. Но на душе скребло: одна беда была б, если бы там, куда мы ехали, восстали сто, тысяча, десять тысяч генералов козловских. Но беда была ведь другая: мы ехали под Кронштадт, гордость революции Кронштадт, славу революции Кронштадт, и в мятеже участвовали не только царские генералы и офицеры, но и кронштадтские матросы — матросы, матросы, матросы, разворачивайтесь в марше, вы птицы морей альбатросы, кто там шагает правой? Левой, левой...

2

В Питере на вокзале наш эшелон встречали Михаил Иванович Калинин и член штаба обороны Петрограда Лашевич. Собрание было устроено в одном из залов ожидания. Здесь мы и узнали первые подробности того, что произошло в Кронштадте.

Первым говорил Калинин. Видно было, что он сильно измучен. К тому же у него были сломаны очки, от одного стекла остался лишь осколок, дужки были замотаны суровой ниткой. Михаил Иванович говорил недолго. Остальное досказал Лашевич.

Дело началось, собственно, задолго до самих событий. Еще в середине февраля, то есть тогда, когда в Кронштадте было еще спокойно, в парижских газетах появились телеграммы от «собственных корреспонден-

тов из Гельсингфорса», в которых описывалось восстание в Кронштадте против Советской власти, причем некоторые детали этого описания в точности совпадали с тем, что произошло две недели спустя.

Было ли это обычной газетной уткой? Едва ли. Больше похоже, что заговорщики попросту выболтали планы мятежа.

Сами события в Кронштадте начались двухдневным митингом на линкоре «Петропавловск», к которому присоединилась также и команда стоявшего рядом на рейде линкора «Севастополь». Приняв враждебную Советской власти резолюцию, митинг решил предложить эту резолюцию общегородскому собранию матросов, рабочих и красноармейцев и созвать это собрание на следующий же день, в воскресенье первого марта.

Открытые волнения на «Петропавловске» и в Кронштадте могли привести к вооруженным столкновениям. Чтоб не допустить до этого, Михаил Иванович Калинин решил немедленно же отправиться в Кронштадт. Вместе с ним поехал комиссар Балтийского флота Николай Николаевич Кузьмин.

Добирались они долго и трудно. Машина буксовала в снегу, не дотянула даже до вокзала. В Сестрорецк ехали на паровозе, а оттуда на лошади. Но и лошадь вязла в сугробах, так что большую часть пути они прошли по льду пешком.

По дороге их кто-то обогнал,— и когда они добрались наконец до Кронштадта, Якорная площадь была полна народу. Собралось тысяч пятнадцать, не меньше. Играл духовой оркестр, все выглядело вполне мирно.

Калинина и Кузьмина встретили доброжелательно — здоровались, расступались, освобождая проход к трибуне. А когда они поднялись на трибуну, устроили овацию.

Сначала выступил Калинин. Он говорил о положении в стране и о том новом, что намерена в ближайшее же время провести Советская власть. Объяснил, что «волынками» и беспорядками трудности не преодолеешь, а только усугубишь. Говорить ему было трудно, ветер относил слова, но слушали неплохо.

Однако тут в толпе прошло какое-то едва приметное, словно подводное движение.

— Вот так бывает, когда глянешь на реку и тенью проплывет крупная рыба,— пояснил Калинин, прервав Лашевича.

Люди, окружавшие трибуну, были оттеснены, и на их месте уже стояли другие, в большинстве из тех, кого тогда прозывали «жоржиками» и «иванморами». Кто-то крикнул Калинину:

— Хватит басни разводить, баснями нас не накормишь! Ты хлеба давай!

После Калинина выступил Кузьмин. Его все время перебивали выкриками, а когда он кончил, председатель митинга, судовой писарь с «Петропавловска» Петриченко — бушлат картинно распахнут, тельняшка от плеча до плеча открыта, бескозырка лихо заломлена,— закричал:

— Братва! Товарищи! Братишки! К нам прибыли делегаты петроградских рабочих!

На трибуне появились эти самые делегаты.

— Я человек беспартийный,— начал первый из них.

Тут Калинин снова прервал Лашевича.

— Там, на Якорной площади,— сказал Калинин,— лишь коммунисты говорили от имени своей партии. А остальные, все как один, называли себя беспартийными, хотя мы поименно знаем, что все это старые меньшевики, анархисты, эсеры...

Оратор, называвший себя представителем петроградских рабочих, сообщил, что Петроград охвачен всеобщим восстанием против Советской власти. Восставшие заняли почти весь город, советские войска удерживают только Смольный и Петропавловскую крепость. Это же подтвердили и его спутники. Говоря так, они в то же время подчеркивали, что они не против Советской власти, нет, ни в коем случае! Они, мол, «для лучшего». Они за Советы, но только «свободные», за Советы без коммунистов.

В толпе все время происходило какое-то движение, то стягивающееся к центру, то расходившееся кругами и спиралями. Настроение становилось все более взвинченным.

Теперь Петриченко решил, что настало время внести резолюцию, принятую на «Петропавловске».

Все пункты этой резолюции делились на «даешь!» и «долой!»

Даешь перевыборы Советов тайным голосованием! Даешь свободу слова, печати, собраний, союзов, крестьянских объединений! Даешь свободу торговли!

Долой политотделы! Долой «заградиловку»! Долой коммунистические боевые отряды!

А за всем этим — за «даешь!» и «долой!» — конечно, одно: долой коммунистов!

Резолюцию проголосовали не руками — глотками... Калинин потребовал еще раз слова и сказал, что сегодня кронштадтцы хоронят свое славное прошлое.

— Ваши сыновья и дочери,— сказал он,— будут проклинать вас за сегодняшний день, за эту минуту, когда вы предаете рабочий класс!

Его слушали теперь плохо, а Кузьмина и председателя Кронштадтского исполкома Васильева слушать и вовсе не захотели. Поднялся шум, толпа сорвалась с места и куда-то ринулась.

На Калинина никто не обращал внимания. Вместе с товарищами он зашел куда-то неподалеку. Обсудив положение, решили, что он должен уехать в Питер, а Кузьмин и Васильев останутся в Кронштадте.

К этому времени все выходы из города были уже заняты караулами мятежного «Петропавловска». Когда Калинин подъехал к заставе, его задержали и потребовали, чтоб он предъявил пропуск от штаба мятежников. Он вернулся в крепость, позвонил на «Петропавловск», назвался и сказал, в чем дело. Его попросили подождать у телефона. Ждал он довольно долго, пока уже другой голос не сказал, что он может ехать, и даже попросил у него извинения.

Выходя из Кронштадта, Калинин спросил матросов, дежуривших в карауле у заставы, неужели же они не видят торчащие за их спинами черные уши меньшевиков, эсеров, царских генералов? Матросы хмурились, отмалчивались.

На следующий день, второго марта, около полудня в Петроград позвонил остававшийся в Кронштадте Кузьмин.

Он сказал, что с самого утра на «Петропавловске» началось собрание делегатов судовых команд и мастерских по вопросу о перевыборах Советов. Как и на всех тогдашних собраниях в Кронштадте, председательствовал Петриченко. Неожиданно для собравшихся среди присутствующих оказался генерал Козловский.

Не обращая внимания на протесты Петриченко, Кузьмин взял слово и добился того, что собрание стало склоняться на его сторону. В тот момент, когда он звонил в Петроград, ему даже казалось, что все обойдется.

Но он ошибался. Несколько минут спустя в кают-компанию «Петропавловска», где шло собрание, ворвались какие-то люди, крича, что к «Петропавловску» приближается огромный отряд вооруженных коммунистов. Перекрывая шум, Петриченко предложил немедленно же создать повстанческий ревком, а так как положение критическое — утвердить в качестве ревкома президиум этого собрания.

На деле никакой вооруженный отряд не подходил, и слух о нем был пущен только для того, чтобы оглушить собрание и образовать мятежный ревком, который тут же арестовал Кузьмина, Васильева и остальных коммунистов, находившихся на собрании, и назначил бывшего царского генерала Козловского командующим вооруженными силами мятежников.

Таким образом, события развивались в точности так, как за две с лишним недели до того их описывала парижская газета «Эко де Пари»:

ВОССТАНИЕ БАЛТИЙСКОГО ФЛОТА ПРОТИВ СОВЕТСКОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА

От собственного корреспондента

СТОКГОЛЬМ, 18 февраля. Уже в течение некоторого времени циркулируют слухи о серьезных беспорядках, происходящих в Кронштадте. Согласно данным, полученным эстонской печатью, Кронштадтский совет отказался подчиниться центральной власти. Матросы, поддерживая Совет, арестовали верховного комиссара Балтийского флота и повернули пушки своих дредноутов на Петроград.

Только пушки еще не были повернуты. Но генерал Козловский уже отдал приказ о том, чтобы их повернуть.

Так произошла та «передвижка власти», о которой Ленин в докладе на Десятом съезде партии говорил, что как бы она ни была в начале мала или невелика, как бы незначительны ни были поправки, которые делали кронштадтские рабочие и матросы,— казалось бы, и лозунги остались прежние: «Советская власть», с небольшим изменением или только исправленная,— а на самом деле беспартийные элементы послужили здесь только подножкой, ступенькой, мостиком, по которому явились белогвардейцы.

Организаторы мятежа использовали в своих целях недовольство масс методами военного коммунизма, порожденными суровыми условиями гражданской войны.

Между тем еще задолго до Кронштадтского мятежа Ленин, который чутко прислушивался к дыханию народа, пришел к выводу, что продовольственная разверстка и вызванные ею ограничения свободы торговли должны быть отменены.

Центральный Комитет партии уже принял решение о замене разверстки натуральным налогом. Оно должно было быть утверждено партийным съездом, назначенным на начало марта. Но накануне съезда, как молния, которая вспыхивает и сверкает, освещая горизонт, вспыхнуло Кронштадтское восстание, мрачный огонь которого осветил новую форму контрреволюции — контрреволюции мелкобуржуазной. Как говорил Ленин тогда же, на Десятом съезде партии, в стране, где пролетариат составляет меньшинство, она более опасна, чем Деникин, Юденич и Колчак вместе взятые.

Она особо опасна прежде всего потому, что прокладывает путь Колчаку, Деникину, Юденичу и иже с ними, размахивая самыми «ррреволюционными», самыми «антиимперрриалистическими» лозунгами.

Член мятежного ревкома Волин счел нужным довести о событиях в Кронштадте до сведения исполкома Петроградского Совета. Связь шла через находившийся

в наших руках форт Краснофлотский. К аппарату подошел начальник форта Николай Сладков.

Докладывая в Петроград об этом разговоре, Сладков сообщил:

«Хотя они и старались меня обозвать, но сочли вести со мной разговор чисто искренне-дружеский. Я им ставил вопрос: «Зачем в Кронштадте переворот? Кому переворот нужен?» На это Волин, называя меня Колькой, заявил, что, мол, ты наш корабль знаешь, мы были и будем красным кораблем. На мой вопрос в ругательной форме: «Зачем вы арестовываете коммунистов и даете власть золотопогонникам, зачем допустили генералов и офицеров управлять этим переворотом, которые уже о перевороте сообщили Антанте?» — Волин ругательно заявил: «Что ты, Колька, говоришь? Неужели мы поддадимся золотопогонникам?.. Да ты должен понять, Колька...» На вопрос: «Ведь золотопогонники могут убежать в Финляндию, что вы будете делать, остолопы одураченные?» — ответ: «Мы как были, так и будем красным «Петропавловском» и не дадим над нами господствовать буржуям». Я им ставил еще вопрос: «Ведь форты, которые около Кронштадта, напичканы эсерами и меньшевиками. Не подумайте, что вы с вашим клешем упрыгаете далеко». На это Волин спросил, как смотрит на них Краснофлотский? Я ему ответил: «свирепит злобой снести вас, как предателей революции, за авантюру в такой тяжелый момент революции». Дальше я их стал ругать выражениями Степана Разина и потребовал от них, чтобы они освободили арестованных коммунистов, немедленно собрали бы собрание, выстроились бы невооруженные под красным знаменем, шли бы в сторону, обязательно взяв с собой всех изменников и провокаторов. Ответ Волина: «Ведь вы нас тоже будете расстреливать». Я им ответил: «Дуракам только влепить по шапке, честным морякам честь и слава в Красной Армии, а провокаторам, бунтовщикам и агентам Антанты дадим народный суд».

Тут Волин запустил многоэтажную трель «в разинских выражениях» и дал отбой.

На этом связь Петрограда с Кронштадтом была оборвана.

Калинин встал.

— Вот какая невеселая история, товарищи,— сказал он.— От Кронштадта до Петрограда двадцать пять верст, так что понимаете сами... Похоже, что нам придется перейти к решительным действиям...

3

В нетопленном вагоне уходившего из Петрограда поезда — из тех, что носили тогда прозвище «Максим Горький»,— было темно, из щелей дуло. Прижавшись друг к другу, чтобы хоть чуток согреться, мы то дремали, то просыпались, вздрагивая от толчков.

Время от времени кто-нибудь вскакивал:

— Приехали?

— Да нет еще... Спи!

Поезд шел медленно. Дула метель. Не раз нам пришлось выходить из вагонов и, вооружившись лопатами, расчищать путь.

До Ораниенбаума поезд так и не дошел, а остановился верстах в двух от станции, в чистом поле.

Железнодорожная линия шла у самой кромки берега Финского залива. Слева от нас взбирались на пологие холмы дома Ораниенбаума. Справа был лед. А вдали, за снежной пеленой,— погруженный в предрассветный сумрак Кронштадт...

Четвертого марта Петроградский Совет обратился с воззванием «К обманутым кронштадтцам». В нем он предупреждал рядовых участников мятежа об участи, которая ждет их, если они немедленно же не порвут со своими главарями:

«Все эти генералы Козловские и Буркселы, все эти негодяи Петриченки и Турины в последнюю минуту, конечно, убегут в Финляндию. А вы, обманутые моряки и красноармейцы, куда денетесь вы?»

На следующий день мятежному Кронштадту был предъявлен ультиматум: в двадцать четыре часа сдаться сложить оружие и выдать зачинщиков. Одновремен-

но ему было сообщено, что отдан приказ подготовить все для разгрома мятежа вооруженной силой.

Выполнение приказа было возложено на назначенного командующим Седьмой армией Михаила Николаевича Тухачевского.

Ультиматум не возымел действия. Чтобы исчерпать все, он был продлен еще на двадцать четыре часа.

В Ораниенбауме мужчин из нашего отряда немедленно направили в воинские части, а девушкам — Асе Клебановой, Леле Лемковой и мне — велели идти на станцию, где формировался полевой летучий госпиталь.

Не помню уж, кто там распоряжался. Пожалуй, никто. Хотя дело было днем, в помещении было темно, горели свечи. Выяснилось, что медикаментов и перевязочного материала почти нет, зато есть довольно много рваного, но чистого больничного белья. Нам предложили найти себе место и сесть щипать корпию — занятие, о котором мы знали только по романам времен Севастопольской обороны и войны 1812 года.

Как ни мало мы — растрепанные, еле умытые, одетые в шинели не по росту, обутые в громадные солдатские ботинки.— как ни мало мы были похожи на прелестных барышень Ростовых, но мы принялись за дело, которым занимались их прелестные ручки.

Щиплем, щиплем, щиплем — и, навострив глаза и уши, стараемся не упустить ничего происходящего вокруг.

Появился какой-то ординарец и кого-то куда-то вызвал...

Привели человека, облепленного снегом. Он мотает головой и мычит сквозь стиснутые зубы. Наверно, от боли. Его усадили на табуретку, врач разрезал рукав. Все в крови. Ранен в предплечье. Узнаем, что он перебежчик из Кронштадта.

Мы щиплем, щиплем, щиплем. Ох и медленно же растет кучка этой проклятой корпии!

— Что в Кронштадте? — спрашивает врач у перебежчика.

Тот только машет здоровой рукой.

Пришли двое красноармейцев, просят вазелину, чтобы смазать щеки. Обморозились. Выясняется, что они разведчики. Этой ночью подползли по льду к самому Кронштадту. В Кронштадте весь берег оцеплен, и видно, что ведутся военные приготовления.

Прибежала какая-то девица, постукала сапожками, сбивая снег, что-то прострекотала и убежала.

Бородатый дядя в полушубке и розовых сибирских пимах внес двухведерную бутыль карболки.

Мы щиплем, щиплем, щиплем. Кучка корпии еле растет. А стрелки висящих на стене часов-ходиков все ближе и ближе подползают к часу, когда истечет срок второго ультиматума.

До конца срока два часа... Час... Полчаса... Четверть часа... Все!

Что же будет дальше?

И тут мы услышали протяжный голос снаряда. Это орудия, установленные на холмах Ораниенбаума, открыли огонь по Кронштадту.

Телефонный звонок. Приказ командования: врачам и санитарам-мужчинам с санитарным имуществом прибыть в штаб. Женщин не брать. Женщинам подготовить госпиталь к приемке раненых.

Мы возмущены. Особенно негодует Леля Лемкова. Как?! Подобное отношение к женщинам на четвертом году революции и к тому же в самый канун Восьмого марта?!

Но приказ есть приказ, а работы много: и вымыть полы, и постелить на столах и лавках постели, и подготовить операционный инструмент.

Наша артиллерия продолжает обстрел Кронштадта. Ей начала отвечать артиллерия мятежников. Неподалеку от станции разорвалось несколько снарядов.

Потом настала долгая-долгая тишина. И вдруг еле слышно задребезжали оконные стекла.

Мы выбежали на улицу. Из влажной мартовской мглы доносились приглушенные туманом и расстоянием звуки далекого боя...

В эту ночь наше командование сделало первую попытку овладеть мятежным Кронштадтом. В бой были посланы небольшие отряды красноармейцев и курсанты

военных школ. Пользуясь туманом и метелью, они подползали по льду к самым стенам Кронштадта, но были обнаружены прожекторами противника, который открыл по ним интенсивный огонь. Несмотря на это, они ворвались в город.

Тут откуда-то из укрытия перед ними выросла фигура человека в матросской робе. Это был член Кронштадтского ревкома Вершинин. Размахивая руками, Вершинин закричал:

— Стой! Стой!

Курсанты приостановились.

— Товарищи! Братцы! — взывал к ним Вершинин.— Вы рабочие — мы рабочие, вы крестьяне — мы крестьяне. Так чего ж нам бить друг друга? Не лучше ли бить жидов и коммунистов?

Курсанты обезоружили Вершинина. Он отчаянно матерился, пробовал вырваться и бежать, но был благополучно доставлен в Ораниенбаум.

Эта первая попытка овладеть Кронштадтом оказалась неудачной. Победа требовала иных сил и средств.

Мы ждали раненых, но подошел санитарный поезд и увез их в Петроград. Нам осталось убрать приготовленные для раненых постели, щипать корпию и ждать.

И мы щиплем, щиплем, щиплем... Вдруг распахивается дверь и появляется Тухачевский!

Он входит — и сразу становится тихо. Он говорит вполголоса, но все его слышат.

Он обходит помещение. Мы щиплем, щиплем, щиплем свою корпию. Он приближается к нам. Мы все щиплем, щиплем, щиплем ту же корпию. Он останавливается перед нами. Мы продолжаем щипать, щипать, щипать корпию...

— Кто вы такие? — отрывисто спрашивает Тухачевский.

Мы объясняем.

Лицо Тухачевского темнеет.

— Почему вы посадили на эту ерунду людей, годных для боевой и политической работы? — говорит он здешнему начальнику.

И тут же приказывает откомандировать нас в распоряжение штаба, а на щипание корпии мобилизовать женщин из местного населения.

4

Тухачевский шагал так быстро, что мы еле за ним поспевали. Придя в штаб, он спросил, хотим ли мы есть. Конечно, хотим. Но еще больше хотим помыться.

— Устройте все для товарищей,— сказал Тухачевский вестовому. Но, заметив лукавый взгляд, который тот на нас бросил, добавил: — Только не в «Помпее».

Потом мы узнали, что «Помпеей», а вернее «Последним днем Помпеи», в штабе уже успели прозвать ванную комнату бывшего владельца дачи, расписанную совершенно непотребными картинами.

Часа через два нас позвали на совещание командного состава и политических работников Южной (Ораниенбаумской) группы войск, на котором выступил Тухачевский.

Он сказал, что брать крепость, а тем более крепость первоклассную — дело нелегкое. Перед нами же стоит задача, примера которой не знает история войн: взять морскую крепость со льда силами пехоты. Сегодняшняя наша неудавшаяся атака показала, что овладеть Кронштадтом с налета не удастся. Нужно найти новые формы тактического использования частей на льду, отличные от тех, которые применяются на суше. Но нас подпирает время. От захваченного этой ночью в плен члена Кронштадтского ревкома Вершинина мы узнали, что главари мятежников решили придерживаться оборонительной тактики, рассчитывая на то, что, пока мы подготовим штурм, тронется лед и мы не сможем наступать. Дорога каждая минута, каждая секунда. Вот-вот настанут весна, оттепель, ледолом, ледоход. Тогда на рейд мятежного Кронштадта придут суда империалистических держав и Кронштадт превратится в очаг гражданской войны и интервенции.

— Вас посылают в воинские части в качестве санитаров,— говорил, напутствуя нас, начальник политотдела Ораниенбаумской группы войск товарищ Лепсе.— И во

время боя вы будете санитарками. А пока побольше разговаривайте с красноармейцами, постарайтесь получше понять их душу, помогите им во всем разобраться.

И вот с направлением в кармане я стою посредине Ораниенбаума и спрашиваю, как пройти в назначенное мне место.

— Вот туда, вниз, налево,— говорит один.

— Да нет, направо, на горушку,— утверждает другой.

— Да, не направо, не налево, а топай прямо, во-он к тому домику, потом пройди через двор, увидишь дом с башенкой, подойди, спроси: «Это у вас курича на уличе яйчо снясла?» Тебе скажут: «У нас». Вот ты и пришла, куда надо.

Так я и сделала. И действительно пришла туда, куда мне было нужно. Только вот насчет «куричи» не спросила и хорошо сделала: этой «куричей» с присущей русскому народу любовью к высмеиванию местных говоров дразнили красноармейцев нашей части, в которой было немало псковичей.

Часть была молодая, сборная. Создана она была ее командиром Михаилом Степановичем Горячевым.

Весть о событиях в Кронштадте застала Горячева в Старорусском военном госпитале, куда он попал после ранения на Польском фронте. Он тотчас потребовал, чтобы его выписали, забрал с собой выздоравливающих, явился вместе с ними к губернскому военному комиссару, за два дня сколотил отряд, в который была влита рота красноармейцев из местного гарнизона, и, раздобыв два пулемета и небольшую пушчонку с прислугой и четырьмя обозными лошадьми, отправился вместе со своим отрядом под Кронштадт.

Постоянного названия эта часть так и не получила. За то время, что я в ней была, несколько раз ее куда-то «вливали», то к ней что-то «придавали». В зависимости от этих перемен, происходивших не столько в реальной жизни, сколько в штабных бумагах, перед ее названием появлялась приставка: то «арт», то «мор», то еще что-то. Командиром все время был Горячев, а комиссара дали

только тогда, когда под Кронштадт прибыли делегаты Десятого съезда партии.

Размещалась она, как и все новоприбывшие в Ораниенбаум воинские части, в большой старой даче и в избах местных жителей.

Идти в новую воинскую часть девушке всегда страшновато. И не из-за собственно военных дел.

До сих пор мне везло: куда бы я ни попадала, всегда находился пожилой солдат, который брал меня под свою опеку. Нашелся такой и здесь. Звали его Флегонтыч. Он воевал еще в японскую войну.

Спать меня он устроил в кладовушке, а для себя соорудил в коридорчике перед кладовушкой лежак. Тут же мы с ним оборудовали и медпункт, который по старому обычаю назывался «околоток».

Дом был старый, запущенный, с щербатыми стенами и тугими дверьми, отворяющимися в мрак сырой черной лестницы. Но у нас в околотке всегда топилась «буржуечка» и вечно было полно народу. Я более или менее впопад выдавала имевшиеся у меня лекарства — хину, касторку и бром, мазала кого йодом, кого вазелином и всячески старалась что называется «вести политическую агитацию».

5

Все последующие события уложились в десять дней и десять ночей. Из них девять суток подготовки и одни сутки штурма.

Сводки военных действий за дни подготовки лаконично сообщают об артиллерийских перестрелках преимущественно мелких и средних орудий. Ораниенбаум, Красная Горка и форт Краснофлотский обстреливают Кронштадт, батареи Кронштадта, «Петропавловска» и «Севастополя» ведут обстрел Ораниенбаумского побережья.

Обе стороны действуют явно не во всю свою огневую мощь. Само бесстрастие военных сводок свидетельствует,

что главное в том, что происходит в эти дни, не в этих — далеко не ежедневных — артиллерийских поединках. Главное...

Далеко, насколько видит глаз, простерлось беспредельное белое пространство, освещенное луной. Лед, лед, лед... О, этот лед Финского залива!

Перед командным составом и политическими работниками поставлена задача: в самые сжатые сроки превратить находящуюся в распоряжении командования живую силу в воинские части, способные к боевым действиям на льду в любую погоду и в любых условиях.

А это значит, что каждый — и ты в том числе — должен перебороть свой страх перед льдом —

льдом, который представляется тебе настолько тонким и слабым, что вот-вот провалится, и все, что на нем, будет поглощено морской пучиной;

льдом, который настолько крепок, что в нем нельзя вырыть не только окоп, но хоть какую-нибудь ямку, чтобы спрятать в ней голову;

льдом, таким белым, таким плоским, что ты весь, от макушки до пят, находишься на виду у невидимого для тебя противника.

Красноармейцы не говорят слово «лед». Они величают его «ОН», говорят о «НЕМ» шепотом:

«ОН» трещит... «ОН» вздыхает... «ОН» побелел, потемнел, посерел, потолщал, потоньшал... «ОН» помокрел, зазернился, шуршит, пухнет, млеет, преет, слезится...

Городская жительница, я знала о снеге, что он снег, обо льде — что он лед.

Теперь я узнала, что в зависимости от того, идет ли снег с дождем или туманом и изморозью, падает ли хлопьями или легкими снежинками, лег ли он пушистой пеленой или же смерзся в плотный пласт, он именуется лепень, чичега, искра, блестка, пороша, наст, пушной кид, падь. Что бураном называется метель, во время которой снег идет и крутится сверху, а когда метет по земле, это называется поземкой или понизовкой.

А вешний лед! Он бывает рыхлый, рассыпчатый, игольчатый, крупенистый. Но каким бы он ни был, он лжив и неверен, как бабья любовь, как кукушкино горе.

Вспоминали всякие приметы. И все они, проклятые, судили на этот год раннюю весну.

И еще отравляли жизнь святые.

Вдруг оказывалось, что через несколько дней, семнадцатого марта, будет день Алексея Теплого, или Алексея с-гор-вода. А значит — жди скоро оттепели.

— Но ведь этот Алексей по старому стилю,— выворачивалась я.

Но тогда вылезал Василий Теплый, который по старому стилю двадцать восьмого февраля, а по-новому тринадцатого марта. Получалось одно на одно с Алексеем.

В штабе армии также были озабочены прогнозами погоды. Запросили знаменитого фенолога Кайгородова. Увы, его приметы тоже предвещали, что весна будет ранней.

Медлить с наступлением было нельзя!

Мало того, что красноармейцы должны были преодолеть страх перед льдом, у них должны были выработаться маневренность, выносливость и умение действовать и побеждать в бою на ледяной равнине.

Каждую ночь, а в туман и днем бойцов выводили на прибрежный лед. Справа проводили обычные строевые занятия: важно было втянуть людей в действия на льду. Остальное время посвящалось упражнениям с новыми средствами, придуманными для будущего боя, которому суждено было протекать в столь необычных условиях.

Что это были за средства? Длинные лестницы — мостки для перехода через рыхлый снег и полыньи, образовавшиеся в местах разрыва снарядов. Неуклюжее сооружение, прозванное «утюгом»: на треугольник из бревен и досок накладывали камни, впрягали лошадей, они волокли его и таким образом утюжили дорогу, по которой потом тащили пушки.

Занятия на льду порой проходили не гладко: лед-то ведь и на самом деле и дышал, и трещал, и слезился, и даже охал. Людей охватывал страх. Но тут всегда выручал какой-нибудь смельчак из тех, что кидаются в огонь и в воду. Приговаривая не слишком-то цензурную

приговорку, он вылетал на лед, мчался по нему вприсядку, хлопал, топал, кружил юлой. Мелкие льдинки взметывались из-под его каблуков, а он победно отстукивал дробь: гляди, любуйся, честной народ, не проваливаюсь же!

Но самым трудным, самым особенным в то время был все же не лед.

Обычно это случалось среди ночи. Я спала в своей кладовушке. Вдруг меня будил Флегонтыч.

— Что такое?

— Вставай! Подметные листки...

Это значило, что ночью к нашему расположению подкрались кронштадтские лазутчики и раскидали листовки или свою газету «Известия временного Кронштадтского ревкома».

Некоторые не в меру ретивые политработники полагали, что эти «подметные листки» надо молча уничтожать. Но высокое наше начальство правильно рассудило действовать в открытую. Листки все равно проникнут к красноармейцам. Поэтому, когда они появляются, политработники должны сами читать их красноармейцам и тут же полемизировать с их авторами.

Дело это было нелегкое. Листовки кронштадтцев обладали манящей прелестью простых решений: сними «заградиловку», будет хлеб; отмени разверстку, крестьянин вздохнет с облегчением; повысь заработную плату, тогда рабочий сможет купить на рынке все, что ему нужно. А так как нажим, зажим и прижим идут от коммунистов, выгони коммунистов и выбери «свободные Советы».

Конечно, мы убеждали и разубеждали. Легче всего было спорить с политической программой кронштадтцев. Тут главари мятежников, среди которых было много эсеров, анархистов, меньшевиков (а председатель ревкома Петриченко успел побывать и в анархистах, и в эсерах, и в махновцах, и в петлюровцах), допустили явную промашку, выдвинув идеи, не вызывавшие сочувствия массы. И уж совсем бездарно повели себя те, что стояли за их спиной. Им бы держаться в тени, а они поперли вперед и с глупейшей развязностью раскрыли все свои карты.

Так что спасибо бывшему великому князю Дмитрию Павловичу, который, едва узнав о событиях в Кронштадте, пожаловал своей августейшей особой в Берлин, чтобы заявить о своих претензиях на российскую корону. Спасибо и Виктору Михайловичу Чернову, вылезшему с Учредительным собранием. Спасибо Гучкову и Рябушинскому, Второву и Путилову, Гусакову и Манташеву, этим новым «Мининым и Пожарским земли Русской», которые в патриотическом усердии, а также на радостях, что парижская биржа вновь стала котировать акции российских промышленных и финансовых компаний, развязали мошны, чтобы помочь «кронштадтским братьям».

Но самое большое спасибо капитану первого ранга барону фон Вилькену! Как он, нам не помог никто.

До революции барон фон Вилькен был командиром линкора «Севастополь». В февральские дни он едва спасся от рук матросов, которые хотели спустить его за борт. А через неделю после начала мятежа он собственной персоной пожаловал в Кронштадт, обошел крепость, познакомился с планом обороны, сообщил командованию мятежников, что в Финляндии формируется для помощи кронштадтцам офицерский батальон, а затем отправился на «Севастополь».

Старые матросы тотчас узнали барона. Они хмуро смотрели на то, как он ходил по кораблю, прошел в кают-компанию, побывал на верхней палубе и в капитанской рубке, потрогал пальчиком штурвал. Барон был весел, насвистывал игривый мотив, а уходя, преподнес каждому матросу по серебряному рублю царской чеканки.

6

Я видела такой рубль, подаренный бароном фон Вилькеном матросам с «Севастополя»,— блестящий серебряный рубль с двуглавым царским орлом на одной стороне и профилем Николая II — на другой.

Вот как это было.

По установленному в те дни порядку каждый вечер в штабе Южной группы войск проводилось нечто вроде летучек. Низовые армейские работники информировали

о положении в воинских частях, командование рассказывало им последние новости и давало директивы. Проводил эти летучки то командующий Южной группой Седякин, то кто-нибудь другой.

В тот вечер я пришла на летучку рано, народ только начинал собираться. За столом командующего сидел Павел Евдокимович Дыбенко и разговаривал с людьми, в которых сразу, даже не видя якорь, вытатуированный на запястье, можно было узнать бывших матросов. В Ораниенбауме тогда вообще было много бывших матросов, особенно кронштадтцев, и даже сугубо штатские люди порой усваивали у них походку вразвалочку и привычку окликать словом «эй!», подобно тому, как с корабля на корабль окликают: «Эй, на «Гангуте»!»

Дыбенко и его товарищи разговаривали весело, громко смеялись. Тем временем с улицы доносились звуки пушечной пальбы. Это Кронштадт вел обычную в те дни артиллерийскую дуэль с Ораниенбаумом.

Вдруг Дыбенко умолк, прислушался, вскочил, распахнул окно. Вместе с морозным воздухом в комнату ворвался ставший гораздо более слышным гром пушек.

Дыбенко схватил за руку одного из своих собеседников.

— Эй, слушай! — вскричал Дыбенко.— Слушай внимательно! Ты слышишь, как бьют! Очередями! Кто может дать команду: «Очередями!»? Матрос? Матрос не знает такой команды! Матрос знает команду «рассеянным огнем»... А где вели стрельбу очередями? На офицерском полигоне, да на царских смотрах, да еще когда нашего брата расстреливали...

Тут вошел кто-то из штабных и доложил Дыбенко, что только что на льду возле берега захвачены два кронштадтца.

Дыбенко приказал их привести. Он снова сел, и его собеседники раздвинули стулья, расположившись полукругом.

Ввели пленных. Поставили напротив Дыбенко.

Один был худой, высокий, смуглый. Он стоял неподвижно, глядя мимо, в одну точку, и за все время не произнес ни слова. Только пальцы левой руки у него дергались.

Другой был губастый, рыхлый, с чубчиком, в широченнейшем клёше. Идеальный подонок образца 1921 года.

Красноармеец, который привел пленных, выложил на стол перед Дыбенко все, что при них было обнаружено: листовки, прокламации, нарисованный от руки план Ораниенбаума, несколько номеров «Известий временного Кронштадтского ревкома», кисеты с махоркой и, наконец, серебряный рубль.

Дыбенко сначала не понял, что это за рубль, взял его, показал соседу.

— Знаешь этот фокус? — спросил он.— Если вот этаким манером к императорской башке приложить палец, получится свинья. Ей-богу, гляди-кось!

Потом он спохватился.

— Откуда этот рубль? — спросил он.

Выяснилось, что его отобрали во время обыска у губастого кронштадтца.

— А у тебя он откуда?

И тот, красуясь, похвастал, что этот рубль подарил ему барон фон Вилькен.

Никогда ни до, ни после этого я не видела, чтоб несколько человек одновременно могли так прийти в ярость.

Эта ярость проявила себя не столько зримо, сколько на слух. На какое-то время образовались как бы три звуковых плана — задний, за окном, где грохотала артиллерийская канонада; второй — в комнате, в которой настала словно звенящая тишина. И самый передний — тяжелое дыхание людей, сидевших полукругом у стола.

Но вот Дыбенко, а за ним и остальные в один голос, и слушая и не слушая друг друга, загремели так, что заглушили рев пушек и гром разрывов.

— А ты знаешь, сопля недорезанная, как этот фон Вилькен на «Севастополе» вашего брата мухрыжил?

— А за вице-адмирала Роберта Николаевича Вирена ты слыхал? А по приказу Вирена ты спускал посреди Кронштадта штаны, чтоб его буркалы твой штамп увидели? А мадам Virениха тебя по морде зонтиком лупцевала?

— А боцмановскую цепочку ты пробовал? А медяш-

ку, чтоб блестела, как «чертов глаз», драил? А что такое фельдфебельские «три счета», тебе известно? И что значит «сушиться»? И как под ружьем стоят? И как в угольных ямах гниют? И как пули адмиралов фон Эссена и Непенина по тебе щелкают?

К кому они обращались? К этому пащенку, что и сейчас смотрел на них с высокомерной насмешкой?

Нет! В их вопросах прорвалась безмерная горечь за позор, которым мятежники покрыли Кронштадт — Кронштадт, который был гордостью революции, Кронштадт, расстрелявший после Февральской революции Непенина и Вирена, а ныне почтительно принимавший барона фон Вилькена...

Двенадцатое марта. Дождь и туман. Красноармейцы принюхиваются к ветру и определяют, что это «вешняк», то есть теплый южный ветер, приносящий с собой весну.

Дальше становится известно, что двенадцатое марта — день святого Феофана. Феофан и туман — рифма. Это значит, что жди приметы. Вдруг она будет вроде: «На Феофана туман — лед как рваный кафтан?!» Я сама это только что придумала и сама пугаюсь: Феофан — Феофаном, а приметы-то ведь правильные...

Пронесло благополучно и даже без рифмы: «На Феофана туман — урожай на лен и коноплю». Но есть и вторая примета: «Если лошадь на Феофана заболеет, то все лето работать не станет».

Флегонтыч со вздохом отрезает добрую половину своей хлебной пайки, делит на четыре части и относит на конюшню нашим одрам Машке, Серому, Чернышу и Спотыке.

Днем совсем тепло. Дождь перестал. Небо поголубело. Ясно виден золотой купол Кронштадтского морского собора. Светит солнце. Сосульки. Капель.

Как там лед? Что будет, если он разойдется?

7

В первые же дни, когда с нашей стороны начали выходить на лед разведывательные партии, они заметили людей, пробиравшихся по льду из Кронштадта в Финляндию и из Финляндии в Кронштадт. В дальнейшем

разведка обнаружила на льду Финского залива хорошо наезженную дорогу из Кронштадта в Териоки.

Перебежчики из Кронштадта рассказывали, что в Кронштадт чуть ли не ежедневно прибывают какие-то лица в форме американского Красного Креста, не скрывающие, что они — белые офицеры. Офицерская группа, активизировавшаяся в Кронштадте с самого начала мятежа, теперь действует уже совершенно в открытую. На одном из заседаний ревкома генерал Козловский, отстранив председательствовавшего ревкомовца, громко сказал: «Ваше время прошло, я сам сделаю, что нужно».

В зарубежной печати промелькнули сообщения, что военные суда, которым после очистки Финского залива ото льда предстоит доставить в мятежный Кронштадт десантные войска, оружие и продовольствие, уже разводят пары.

Фактор времени приобретал для нас все более властную силу.

На одной из летучек кто-то вспомнил, как Ленин в период подготовки Октябрьского штурма сказал: «Промедление смерти подобно».

И сейчас в каждом нашем докладе, в каждом выступлении звучали эти слова:

«Промедление смерти подобно!»

Я мало говорю тут о Ленине. Поступаю я так потому, что Ленин в дни Кронштадта, Ленин во время раздумий о необходимости крутого поворота экономической политики, Ленин при переходе к нэпу — все это большая тема, требующая особого, глубокого и пристального внимания.

Но хотя я мало говорю здесь о Ленине, мысли мои, когда я пишу эти страницы, все время с ним, как были с ним наши мысли и чувства в дни, когда на побережье Финского залива шла подготовка к штурму восставшего Кронштадта.

День и ночь, порой под артиллерийским огнем, по железной дороге, по шоссе и проселкам к Ораниенбауму двигались войска и транспорты с оружием, боеприпасами, продовольствием.

Из людей, что прибывали тогда в Ораниенбаум, мне особенно запомнились рабочие какого-то петроградского завода, доставившие в Ораниенбаум прожекторы и электроосветительные установки. Заказ на них был дан заводу уже после начала мятежа, и, чтобы выполнить его в срок, рабочие работали почти не уходя из цехов. А сейчас их представители с гордой радостью доставили в Ораниенбаум то, что было сделано с таким большим трудом.

Встречал их сам командующий Южной группой Седякин. Он расцеловался с рабочими, а потом они выступали в воинских частях и рассказывали, как живет Петроград: вопреки распространяемым кронштадтским слухам, что Петроград охвачен всеобщим восстанием, на самом деле «волынки» прекратились и заводы работают...

Но однажды, когда я проходила мимо станции, подошли два воинских эшелона. Они остановились — один в хвост другому. Вагонов было много, так что, пока я шла мимо, уже началась выгрузка. Что-то было странное в этой выгрузке, а что — я сразу не поняла. Лишь потом до моего сознания дошло: угрюмая тишина и безмолвие, при которых она происходила.

Вернувшись к себе в часть, я увидела Флегонтыча. Вопреки своему обыкновению, он сидел без дела и на какой-то мой вопрос буркнул что-то вроде: «Будем еще поминать, когда станем кобылу за хвост подымать».

Ну, раз Флегонтыч заговорил присловьями — значит жди беды!

Это было уже не раз: хорошо, тихо, спокойно (в том относительном понимании тишины и спокойствия, какое возможно на открытом берегу, прямо под прицелом неприятельских орудий), и вдруг словно набежит туча и накроет все своей тенью.

Флегонтыч в таких случаях бывал верным барометром. Если он вместо обычной своей речи перешел на иносказательную, это значит, что хозяйка какой-нибудь избы, где стоят на постое наши красноармейцы, взбаламутила им души слухами и сплетнями; либо же из деревни пришло письмо, в котором после всех поклонов горем горьким льются жалобы на голодуху да на неуправства местных властей; либо ночью к нашим ребя-

там пробрался какой-нибудь кронштадтец, переодетый, как они теперь обычно делали, в красноармейскую форму, и, прикинувшись бойцом из соседней части, наплел им сорок бочек вранья.

А это уж значило, что снова зажужжат, зашепчут разговоры, что мы, мол, люди молодые, неопытные, в боях не участвовали, воевать не умеем, обороняться с берега готовы в любую минуту, а по открытому морю идти боимся.

Удивительно не то, что время от времени вспыхивали такие настроения. Удивительно другое: что мы могли их преодолевать своей — чего греха таить! — достаточно неуклюжей агитацией. Поговоришь с красноармейцами, и они уже смеются и дразнят друг друга теми самыми разговорами, которые сами только что вели.

Однако на этот раз взволнованность Флегонтыча была вызвана иными причинами: по «солдатской почте» уже докатились вести о событиях, разыгравшихся вскоре после прибытия в Ораниенбаум двух полков, входивших в 27-ю Омскую стрелковую дивизию.

Тех полков, выгрузку которых я случайно видела.

Существует рассказ тогдашнего начальника 27-й Омской стрелковой дивизии Витовта Казимировича Путна о причинах этих событий.

Вышло так, что многое сплелось в одно.

До переброски в Кронштадт 27-я дивизия стояла в Гомельской губернии. Условия были тяжелые: красноармейцы голодали, были раздеты, разуты, истощены до крайности. Старых бойцов, проделавших вместе с дивизией ее славный боевой путь, осталось немного, их сменили новобранцы. Расквартирована дивизия была в деревнях, среди населения малоблагожелательного к Советской власти, а политическая работа велась плохо.

Все же части отправились под Кронштадт в хорошем настроении. Но в пути ждали новые тяготы: теплушки грязные, теснота, горячей пищи нет, воды нет, хлеб когда дадут, а когда и не дадут, да и тот, что дадут, сырой, а о куреве и не мечтай. А только остановится поезд на станции, со всех сторон ползут слухи и страхи: вас ве-

зут на гибель... Поверх льда на аршин воды!.. Лед под вами подломится! Там уже пошли на дно кормить рыб пять тысяч... нет, семь... нет, десять тысяч курсантов... Кронштадт вам не взять... да и зачем вам его брать? Зачем губить свои молодые жизни? Ведь матросы восстали не против Советской власти, а потому, что хотят Советов без коммунистов...

Чем ближе к фронту, тем сильнее становился напор этой агитации. И когда 235-й Невельский и 237-й Минский полки выгрузились из эшелонов и получили приказ занять участок на берегу Финского залива, часть красноармейцев, выкрикивая: «Слыхано ли дело, чтобы пехота на флот ходила?», «На лед не пойдем!», «Нас гонят, чтобы утопить!», «Не желаем воевать против наших братьев матросов!»,— устремилась по шоссе из Ораниенбаума к Петергофу, делая попытки снимать встречные части и артиллерию.

Чтоб в полную меру оценить серьезность положения, надо учесть, что все эти события разыгрывались на Ораниенбаумском побережье, отлично просматриваемом из Кронштадта, а также и то, что в Кронштадте непременно услышали бы стрельбу, если б она поднялась. К каким последствиям это могло привести, объяснять не нужно.

Но обошлось без стрельбы и столкновений. В неповиновавшиеся полки выехал Андрей Сергеевич Бубнов, пытавшийся обратиться к ним с речью. Потом их нагнал Климентий Ефремович Ворошилов. Оба они только что прибыли из Москвы. С большим трудом, но они добились того, что их стали слушать. Тем временем в обход, бегом по глубокому снегу, бросились курсанты. Увидев на своем пути заслон, оба полка повернули к казармам и там по приказу командования сдали знамена и оружие.

Вероятно, все эти события не произошли бы, если б начальник дивизии Путна в то время находился в Ораниенбауме. Но он прибыл в Ораниенбаум лишь на другой день, пятнадцатого марта. Узнав о случившемся, он был поражен поведением полков и счел первым своим долгом поговорить с красноармейцами. Днем шестнадцатого марта 235-й Невельский и 237-й Минский полки

были выстроены на площади перед ораниенбаумскими казармами, чтоб встретиться со своим командиром.

Горькая это была встреча! С болью вспоминает о ней Путна.

«Жалкий и без того пришибленный вид разоруженных солдат,— пишет он,— усиливался еще тем, что при оборванности обмундирования красноармейцы были сильно истощены физически продолжительным хроническим недоеданием в прошлом. Я был взволнован и внутренне жалел их. Я знал, что будь им своевременно разъяснено дело, эксцесса не было бы. Несокрушимость силы Красной Армии ведь заключалась в том, что красноармеец всегда знал, с кем и за что он борется. Он привык знать, а в данном случае этого не было».

Первым выступил Ворошилов, который указал красноармейцам на исключительную тяжесть их вины и заявил, что при всем великодушии Советской власти все же с них будет взыскано по законам военного времени, а с активных зачинщиков и подстрекателей сугубо.

Потом со словом к бойцам обратился Путна.

Он говорил о боевом прошлом 27-й Омской дивизии, о тяжелом пути, пройденном ею в боях за Поволжье, Урал и Сибирь, об испытаниях, которые она перенесла, о той настойчивости, которая привела дивизию к взятию Омска и победам над Колчаком. Он вспоминал, как тогда, когда панская Польша напала на Советскую Россию и дивизия была переброшена с Восточного фронта на Западный, в трагических для нас боях на Буге Омская дивизия проявила стремительность в атаках, чем заставила противника ввести против нее резервы армии и фронта, и даже в моменты тяжелейшего разгрома сохранила способность драться, подчас с ощутительным для врага успехом.

Затем Путна перешел к тому, что случилось в Ораниенбауме.

Он сказал, что подобного позора еще не было в истории ни одной из составных частей дивизии. Никогда красноармейцы дивизии на виду у неприятеля не выражали недоверия командному и комиссарскому составу, и он, начальник дивизии, объят справедливым негодованием против тех, кто опозорил честь ее знамен.

Путна помолчал, заговорил снова.

Теперь он говорил, что в проступке, совершенном красноармейцами, он видит лишь минутное малодушие и как начальник жалеет тех, кто его совершил.

— Как командир дивизии,— сказал он,— я просил командование Южной группы дать вам возможность искупить свою вину при штурме Кронштадта. Пусть же сейчас те, кто хочет идти в первых рядах дивизии, поднимут руку.

И все как один человек подняли руки...

По ходатайству Путны полкам было возвращено оружие и вновь вручены боевые знамена. При развертывании полков для штурма 235-й Невельский и 237-й Минский полки были назначены в головную колонну. Путна решил идти на лед вместе с этими полками.

Когда я сейчас вспоминаю этот день, который для меня, как, наверно, для всех коммунистов, что находились тогда в Ораниенбауме, был одним из труднейших дней в жизни, когда минуту за минутой, слово за словом перебираю все, что тогда было, я почти физически помню, как события в 27-й дивизии вызвали у красноармейцев желание скорее пойти в бой и покончить дело.

Но люди не истуканы, а люди. Выступление полков Омской дивизии их глубоко взволновало. Нужно было, очень нужно, чтоб произошло новое, совершенно особенное событие, которое растопило бы тяжкие чувства этого дня.

Такое событие произошло. На Кронштадтский фронт прибыли делегаты Десятого съезда партии.

8

Они шли большой, шумной гурьбой по улицам Ораниенбаума, шли посередине мостовой, рядом с бесконечным обозом деревенских розвален. Накатанная снежная дорога блестела. С крыш свисали зубчатые гирлянды сосулек.

Кто был одет в шинель, кто в темное пальто. У одних за плечами горбились солдатские вещевые мешки, другие держали под мышкой портфели — не с бумагами, конечно, а с переменой белья и пачкой махорки. Все кругом вызывало их живой интерес: и встречные люди, и обозы с ящиками винтовок и боеприпасом, и сам город, в мгновение ока превратившийся из чиновничье-дачного захолустья в плацдарм будущего боя.

Среди них были члены Всероссийского Центрального Исполнительного комитета и члены губкомов партии, военные комиссары дивизий и командиры бригад, начальники политических отделов армий и редакторы газет.

Они прибыли со всех концов страны — с Урала и Кавказа, Крыма, Украины, Белоруссии, Поволжья.

Многие несли тючки с листовками. Это было отпечатанное в Петрограде письмо, с которым делегаты партийного съезда обращались к мятежным кронштадтцам.

«Что будет, если черное дело, на которое вас толкнули, одержит верх?» — спрашивало письмо.

И отвечало:

«Десять шкур спустят прежние хозяева с рабочих и крестьян, если вернутся... И тогда, очнувшись, протрезвев, вы поймете, что были орудием врагов народных, а дети ваши и те из вас, кто останется жив, будут с проклятием вспоминать про кронштадтцев, убивших рабоче-крестьянскую республику, и тогда в истории будет написано: «Первого марта 1921 года одураченные кронштадтцы, подойдя вплотную к возможности строить новую жизнь, вместо этого пошли против Советской власти и тем самым проложили дорогу белогвардейцам».

Но этого не будет! Вы должны одуматься!»

Увы, они не одумались и на этот раз...

Кронштадт утопал в туманной мгле. Все его пушки были нацелены в сторону Ораниенбаума и Сестрорецка. А когда спускалась ночь, голубоватые лучи кронштадтских прожекторов непрерывно шарили по льду Финского залива.

Делегаты Десятого съезда пробыли в штабе недолго. Еще в пути они приняли решение, что под Кронштадтом будут сражаться в качестве рядовых бойцов. И сейчас

они потребовали, чтоб их немедленно отправили в воинские части.

Весь этот вечер прошел в беседах. Собраний не устраивали, просто делегаты ходили по избам и при свете лучин разговаривали с красноармейцами, которые, растянувшись на полу, слушали их рассказ о заседаниях партийного съезда, о докладе Ленина, о принятых съездом решениях хранить как зеницу ока единство партии.

Делегатов было немного — в нашей Южной группе человек двести. Но в подготовке штурма они сыграли ту же роль, какую играет в химической реакции добавка необходимого для нее компонента. Произошел какой-то незримый процесс — и армия стала внутренне готова к бою.

Одного из делегатов Десятого съезда партии мне хотелось бы сделать главным героем... Показать его тревоги, сомнения, прислушаться к ночным разговорам, которые велись в поезде по пути в Петроград и в Ораниенбаум. Страстные споры. Проходящую через них доминантой веру в партию, в Ленина, в живые силы революции.

И знаете, куда повела бы я его в тот день, который он провел в Петрограде? Туда, где побывали мы, студенты-свердловцы: в Эрмитаж!

Полно, да было ли это, могло ли это быть? Чтоб тогда, в голодном, окоченевшем Петрограде был открыт Эрмитаж! Нет, это неправдоподобно.

Хотя моя память уверенно говорит, что это было, я решаю ее проконтролировать. Иду в библиотеку. Беру газетную подшивку. Добираюсь до газет за 6 января 1921 года. Читаю: «Петроград, 3 января. Состоялось торжественное открытие для публики всех картинных галерей Эрмитажа, в том числе тех, которые были эвакуированы из Петрограда еще во время Временного правительства. Возвращенные художественные ценности прекрасно сохранились».

Ну, хорошо, пусть Эрмитаж был открыт. Но до него ли было тем, кто отправлялся под Кронштадт?

В поисках ответа на этот вопрос я беру совсем желтое, истонченное временем письмо с датой: «14.III 1921 г. Ораниенбаум». Автор его, Андрей Прищепчик,

героически прошедший по путям гражданской войны, прибыл под Кронштадт одновременно с делегатами съезда.

Он не был в Эрмитаже, но вот как рассказывает он о дне, проведенном в Петрограде: «Пошли мы по городу, посмотрели памятники, Марсово поле, Неву, Петропавловскую крепость. Сейчас я в полковой школе 95-го стрелкового полка. Скучновато. Несем пока охранную службу да слушаем, как бухает наша и его артиллерия. Поскорей бы на приступ — взять да назад».

Андрей участвовал в приступе, шел в первых рядах своей части, но назад не вернулся, погиб во время штурма.

Товарищи, которые ехали с ним под Кронштадт, потом рассказывали, как в Петрограде Андрей непременно хотел побывать в Эрмитаже: даже хлеб не получил, чтоб успеть туда, но, к великому своему горю, опоздал.

Прежде чем говорить о дальнейших событиях, необходимо ясно представить себе, каким должен был быть этот будущий бой.

Кронштадт — первоклассная морская крепость, защищающая Петербург с моря. Основанная Петром Первым в 1703 году, она много раз укреплялась и перестраивалась, чтоб быть способной выдержать многомесячную осаду со стороны флота любой крупнейшей военно-морской державы своего времени.

Кроме крепостных сооружений на острове Котлине, Кронштадтская крепость включает в себя бетонированные форты, расположенные на мелких, частью искусственных островах в фарватере Финского залива.

К моменту мятежа в Кронштадте насчитывалось более ста сорока действующих орудий, в том числе более восьмидесяти тяжелых. Кроме того, у стенок крепости швартовались мятежные линкоры «Петропавловск» и «Севастополь», способные сосредоточить артиллерию на любой борт, а также ряд менее крупных военных судов. Хотя все они вмерзли в лед, но их сильная морская артиллерия активно действовала в бою.

Поскольку Кронштадт никогда не участвовал в боевых действиях и не расходовал боеприпасов, запас снарядов и взрывчатых веществ, которым располагали мя-

тежники, можно было считать практически неисчерпаемым, а глубокие каменные казематы, пороховые погреба и оборонительные стенки давали гарнизону надежное укрытие от огня и, употребляя выражение Путны, обеспечивали ему «жизнь и боевую упругость».

В период подготовки к предстоящему им бою мятежники усилили оборонительные сооружения в восточной части острова, со стороны Петроградских ворот, откуда они ждали нападения; построили блокгаузы с пулеметными гнездами, обнесли их колючей проволокой. Чтобы дать линкорам «Петропавловск» и «Севастополь» некоторую возможность эволюций, они взорвали сковывающий их ледовый припай.

Вспомним, что эта гигантская человеческая и материальная сила была окружена насквозь просматриваемой, насквозь простреливаемой ледяной равниной, по которой наши наступающие войска должны были пройти около десяти верст, не имея ни единого укрытия, ни единого вершка мертвого пространства. Вспомним, что каждый метр этой плоской белой равнины был пристрелян артиллерией Кронштадта. Вспомним, что мятежникам нужно было продержаться в практически неприступной крепости лишь несколько дней, всего лишь несколько дней, пока чуть потеплеет и лед сделается абсолютно непроходимым.

Вспомним все это — и мы поймем, перед какой совершенно необыкновенной по своей трудности задачей стояли наши войска.

9

Настало шестнадцатое марта, девятый день подготовки.

Сводка военных действий за этот день гласит:

«Весь день шестнадцатого марта прошел в ожесточенной артиллерийской перестрелке с Кронштадтом. Начавшись рано утром, после двухдневного затишья, она продолжалась с большой силой в течение всего дня. С двух часов дня она стала особенно энергичной и не прекращалась с обеих сторон до поздней ночи...»

В ночь на шестнадцатое ни один коммунист не спал.

Последнее партийное собрание. Последние вопросы. Последние напутствия. «Интернационал», спетый, как клятва.

А под утро — ожидание разведчиков, возвращающихся из ночного поиска.

Их нет, нет, нет... Наконец они появляются — потные, обмерзшие, улыбающиеся: лед крепкий!

По установленному у нас обычаю, они сначала делают доклад о состоянии льда командованию, потом рассказывают о нем на собраниях красноармейцев.

Это был тот самый день, в который решалась судьба вышедших из повиновения 235-го Невельского и 237-го Минского полков и Ворошилов и Путна выступали перед ними на площади Ораниенбаума.

Наши красноармейцы считали, что справедливое решение состоит в том, чтоб наказать виновных. Но еще более справедливое — простить им вину.

Когда стало известно, что они не только прощены, но им возвращены знамена и оружие, все кругом словно осветилось. Но не солнцем (не дай бог, чтоб оно показалось), а человеческой радостью

Все было как будто готово, но — так всегда бывает — оказалось, что еще много работы. Я долго возилась с бинтами, ватой, корпией. Поругалась с несколькими красноармейцами, пытавшимися обмишулить меня, захватив лишние индивидуальные пакеты.

Был, наверно, третий час дня, когда я вышла посидеть во дворе. За последние дни снег сильно осел и кое-где стал совсем редким.

Хотя сильно била артиллерия, во дворе шла обычная жизнь: дымилась походная кухня, повар орудовал поварешкой, сновали красноармейцы.

Но вот неподалеку разорвался снаряд, и поднялось высокое пламя. Это загорелась мельница. Та самая, у которой несла охрану наша часть.

Если когда-нибудь будет создан «Лист героев» и на нем будут записаны те, кто в годы гражданской войны

совершил особые подвиги, пусть не забудут внести в него рабочих ораниенбаумской мельницы!

Эта мельница была, по сути дела, единственным в Ораниенбауме военным объектом. Прекрати она работу, Южная группа была бы обречена на полный голод.

Мятежники понимали значение мельницы и во время артиллерийских дуэлей направляли огонь прежде всего на нее. Но мукомолы продолжали работать, не обращая внимания на обстрел. Только если уж очень близко разрывался снаряд, выбегал какой-нибудь обсыпанный мукой дядя и кричал в открытую дверь внутрь мельницы: «Перелёть», «Недолёть».

Я сидела на бревне. Рассеянным взглядом смотрела я на землю и вдруг увидела, как тонкая пленочка снега в одном месте расползлась, и прямо передо мной появилась черная плешина, посредине которой проклюнулся зеленый росток.

Он был совсем хилый и слабенький и даже скорее не зеленый, а белый, чуть отсвечивающий желтизной и зеленью.

Но что если этот росток п р и м е т а? Что если, увидев его, кто-нибудь напугает красноармейцев, говоря, что раз появился росток, то земля, значит, прогрелась и лед вот-вот тронется?!

Я протянула руку, чтоб вырвать росток. Но не смогла. Он был так беззащитен. Я не могла его убить.

Сгребая с боков снег, я стала прикрывать им плешину и росток.

Проходивший мимо Флегонтыч застал меня за этим занятием.

— Ты что? — сказал он.— В снежки играть собралась? Тоже... Агитаторша называется...

Вообще Флегонтыч относился ко мне хорошо, по-отечески обо мне заботился, жутко материл мужиков, если они позволяли себе хотя бы посмотреть на меня мужским взглядом. И в то же время совершенно презирал меня

как агитатора: и писклява я, и трясклява я, и о чем говорить, не понимаю.

В политчасы, когда я проводила беседы с красноармейцами, Флегонтыч усаживался чуть в сторонке, посматривал, кривился, а стоило мне сделать паузу, тут же встревал в разговор и полностью завладевал положением.

Единственной достойной темой бесед он считал рассказы про то, как Красная Армия била Колчака и Юденича. О Деникине разговору не было, так как Флегонтыч на Южном фронте не воевал.

Рассказывал он так: «Вот тут это стояли мы... А тут, стало быть, беляки... Ну, как мы выбежали на бугор — и сразу: хлоп, щелк, бац... Беляки и побежали...»

Дальше следовало находящееся за пределами любой цензуры описание того, что творилось с беляками (а больше с их штанами) после поспешного бегства. Красноармейцы гоготали, а Флегонтыч глядел на меня с победоносным видом: «Вот как надо агитировать, а не талдычить о «текущем моменте».

Я жаловалась на него Горячеву. Горячев его журил. Он хмуро слушал, потом вытягивал из-за пазухи медную цепочку для нательного креста, раскрывал нечто вроде большой ладанки, извлекал оттуда свой партийный билет.

— Ты партийный? — задавал он Горячеву риторический вопрос.— Так я тоже партийный. И партийность не хуже твоего понимаю.

После этого он гордо уходил. А назавтра все повторялось в том же виде.

По решению Политотдела темой бесед с красноармейцами шестнадцатого марта было пятидесятилетие Парижской коммуны.

Как мы любили Коммуну! Как восхищались ее бессмертным делом! Как преклонялись перед ее мужеством! С какой радостью давали предприятиям ее имя, имя Парижской коммуны, а не «Парккоммуны», в которое потом превратил его бюрократический воляпюк. И в канун ее пятидесятилетия, когда мы шли в бой, из которого мно-

гим из нас не суждено было вернуться, свое последнее слово мы обращали к ней, к Коммуне...

Доклад свой я делала чуть не дословно по книге Арну и по лекциям Скворцова-Степанова. Говорила о парижанах, штурмовавших небо. Кончила призывом: «Даешь Кронштадт!»

«Даешь Кронштадт!» — ответила мне аудитория. Даже Флегонтыч на этот раз остался мной доволен.

Едва кончилась беседа, во двор въехали розвальни, на которых высокими стопками лежали белые маскировочные халаты. Их тут же роздали красноармейцам. Получила халат и я. Раз привезли халаты — значит, штурм близок...

Буду откровенна и признаюсь, что первым душевным движением, которое возникло у меня, когда я получила халат и поняла, что уже в эту ночь, наверно, будет бой, было желание посмотреться в зеркало.

Своего зеркала у меня не было. Засунув халат под шинель, я побежала квартала за три к своей подружке Леле Лемковой.

Там я застала и Асю Клебанову. По очереди примерили мы халат, вертясь так и этак, чтоб получше рассмотреть себя в крохотном карманном зеркальце. Потом посидели, поговорили. Выяснилось, что все мы за это время успели отчаянно влюбиться. Но о любви нужно говорить вполголоса, а за окном так грохотали пушки, что настоящего разговора не получилось.

Насколько я помню, за эти дни я была влюблена уже в третий раз. Как и в предыдущие — тайно, безмолвно, беднадежно, навек.

Там, под Кронштадтом, было в кого влюбиться!

Уже начинало темнеть. Вдруг все кругом озарилось пляшущим оранжевым светом. Это загорелись от прямого попадания расположенные на самом берегу деревянные постройки спасательной станции.

Хорошо, что я не задержалась дольше. Только я вернулась, был передан приказ командарма-7 Тухачевского: «Частям быть готовыми к атаке, о начале которой последует дополнительное распоряжение».

10

В этот самый час в кронштадтскую следственную тюрьму явился заместитель председателя мятежного ревкома Романенко.

В тюрьме содержалось около двухсот арестованных коммунистов. Из них семьдесят в смертной камере.

Условия были тяжелые: отвратительная пища, холод. К тому же по решению ревкома у арестованных были отобраны теплая одежда и обувь.

Романенко прошел в смертную камеру и огласил только что вынесенный ревкомом приговор о расстреле двадцати трех коммунистов. При слабом свете тюремного фонаря он долго читал список этих двадцати трех, с трудом разбирая имена. Закончив чтение, добавил, что приговор будет приведен в исполнение в три часа утра семнадцатого марта.

Когда он ушел, заключенные снова принялись за прерванную его приходом работу: они готовили завтрашний номер выпускавшейся ими рукописной газеты, название которой у каждого номера было другим: «Тюремный вестник», «Тюрьма и коммунары», «Тюремный луч коммунара», но подзаголовок оставался неизменным: «Издание политузников Кронревкома».

В связи с новостью, принесенной Романенко, название номера завтрашней газеты, той, что должна была выйти семнадцатого марта, было изменено на новое: «Красный смертник».

Передовую статью для этого номера писал комиссар Балтфлота Николай Николаевич Кузьмин. В списке приговоренных к расстрелу его имя было первым.

Писал он легко, быстро и закончил словами, которые были повторены в стихотворении, появившемся в этом же номере: «Грянь же над Кронштадтом, красная гроза!»

Дописав передовую, Кузьмин принялся за статью о пятидесятилетии Парижской коммуны.

Эту статью он писал для того номера, который должен был выйти послезавтра, восемнадцатого марта.

Кузьмин торопился: до трех часов утра оставалось совсем немного времени, а никто из сидевших в смертной камере, кроме него, статью о Коммуне написать не мог.

11

По получении приказа командарма-7 из цейхгауза, устроенного на веранде, стали таскать ящики с боеприпасами. Красноармейцам были розданы ручные гранаты и ножницы для резки проволоки. Все это происходило в темноте, озаряемой отблесками пожаров.

Мы с Флегонтычем тоже сделали последние приготовления: поледенили полозья розвален, полив их водой, чтобы лучше скользили, накормили коня, погрузили перевязочный материал и медикаменты. «Мы» тут сказано не слишком точно: почти всю работу делал Флегонтыч, а я была, как говорится, «на подхвате».

Я вспоминаю тот вечер, запах конюшни, беззлобно поругивающихся красноармейцев, копошащегося над упряжью Флегонтыча. Так все тихо, мирно, обыденно. Между тем людям, которые там были, в эту ночь предстояло совершить подвиг, равного которому не знает история.

Они были обуты в покорежившиеся, чиненые-перечиненные сапоги, в расхлюпанные старые валенки. И тут встает вечный вопрос: как должно рассказывать о них Искусство? Как о людях в старых сапогах и рваных валенках, но совершающих подвиг? Или как о людях высокого подвига, но обутых в рваные валенки и старые сапоги?

Для меня там, где нет величия человеческого духа, нет Искусства. Отвергаю мелкотемье, мелкодушье, мелкомыслие.

Это не означает, разумеется, что красноармейцев, которым в эту ночь предстоял переход по простреливаемому насквозь ледовому полю и штурм Кронштадта, надо обувать в котурны или в боярские сапожки из разноцветного сафьяна.

Да, они были в старых валенках и сапогах. Искусство обязано правдиво, честно, прямо говорить об этих валенках, об этих сапогах. Только так сможет оно показать величие подвига тех, что были в них обуты.

Темный сарай. Звездочки цигарок-самокруток. Дверь, распахнутая в огненное зарево.

Такое бывает лишь однажды... Недаром эту ночь назвали потом «Ночью великих исповеданий».

Люди открывали самое сокровенное. Рассказывали свою жизнь со всем темным и светлым, что в ней было. Просили считать их коммунистами.

Так было у нас. Так было и на противоположном берегу Финского залива, где Северная группа войск ждала приказа к атаке.

Один за другим рассказывали люди свою жизнь. У большинства она была бесхитростно-проста: вырос в деревне, взяли в солдаты, потом война, революция, пошел в большевики, записался в Красную Армию. Но вдруг оказывалось, что какой-нибудь ничем не выделяющийся красноармеец во время первой мировой войны был отправлен с русским экспедиционным корпусом во Францию, сражался под Верденом, после революции с другими русскими солдатами потребовал возвращения на родину, как «бунтовщик» был брошен в военную тюрьму и отправлен в концентрационный лагерь где-то в Северной Африке, бежал, прятался в листьях пальм, добрался до Александрии, залез в трюм стоявшего на рейде парохода, зарылся в уголь, шесть суток не пил, не ел, был бы нож, кажется, отрезал бы ногу и съел, доехал до Одессы, был приговорен деникинцами к смертной казни, снова бежал, перешел фронт, вступил в Красную Армию, отправился на Польский фронт, был ранен, попал в госпиталь, а оттуда под Кронштадт.

Вот вышел Горячев. Рядовой солдат царской армии, он за участие в Свеаборгском восстании был осужден на восемь лет каторги, там встретился с политическими, стал большевиком, бежал в Америку, работал на заводах Форда в Детройте, после революции вернулся в Россию, поступил на Сестрорецкий завод, ушел в Красную гвардию, воевал с Колчаком, Деникиным, с польскими панами...

Вот заговорил Леня Сыркин — делегат Десятого съезда партии, направленный в нашу часть. Большие глаза его блестят, вязкий желтый свет фонаря падает на взвихренные волосы.

— Я не хочу больше обманывать, сегодня я должен сказать правду...— неожиданно начинает он.

Какой обман? Какая правда?

Оказывается, три года назад, когда во время германского наступления на Петроград Леня Сыркин записы-

вался в Красную Армию, он прибавил себе годы и вместо пятнадцати лет назвал восемнадцать, боясь, что иначе его не возьмут.

Едва вступив в ряды Красной Армии, Леня был избран председателем ротного комитета. Вместе с частями Красной Армии прошел боевой путь от берегов реки Вятки до берегов Байкала. В семнадцать лет был начальником Политического отдела 30-й стрелковой дивизии, а затем — помощником начальника Политотдела 4-й армии. Во время разгрома Врангеля вместе с 30-й дивизией штурмовал Перекоп и ворвался в Крым. От 4-й армии был избран на Десятый съезд партии, а со съезда отправился под Кронштадт.

Но все эти годы его томил тот «обман», который он совершил во время вступления в Красную Армию, а потом и в партию. И сейчас, охваченный торжественностью минуты, он решил рассказать об этом «обмане» товарищам.

Вот подошла очередь Флегонтыча.

В двух словах он описал свою крестьянско-солдатскую жизнь и хотел тут же сесть, но собрание загудело:

— Ты, кто как пьян бывает, скажи...

— Да вы что? Ошалели? — огрызнулся Флегонтыч.

Но собрание добродушно смеялось и настаивало. Флегонтыч отказывался и дал согласие только, когда сам Горячев попросил его «уважить товарищей».

Про то, «кто пьян бывает», Флегонтыч рассказывал лишь в особых случаях, да и то после долгих упрашиваний. Знал он об этом досконально, пожалуй, не хуже самого Даля.

— Пьяны, значит, бывают так,— начинал он.— Сапожник, когда пьян — накаблучился, портной — наутюжился, столяр — настукался, музыкант — наканифолился, купец — начокался, приказчик — нахлестался, лакей — нализался, барин — налимонился, а солдат...— Тут голос Флегонтыча звучал торжественно, даже патетически,— солдат — у п о т р е б и л!..

— Ста-но-вись!

Мы выстроились во дворе. При свете железнодорожного фонаря, светившего в одну сторону желтым, в дру-

гую — зеленым, в третью — красным светом, Горячев прочитал боевой приказ Тухачевского.

«В ночь с шестнадцатого на семнадцатое марта стремительным штурмом овладеть крепостью Кронштадт...»

12

Общий замысел нашего командования состоял в стремительном захвате Кронштадта путем атаки с трех сторон.

При этом Южная группа войск выступала двумя колоннами прямо на Кронштадт и, пройдя семь верст по льду, должна была взять крепость приступом со стороны Петербургских ворот, а Северная группа должна была повести удар с Лисьего Носа на северо-восточную часть острова Котлин, занять форты северного фарватера залива и вместе с тем отвлечь на себя значительную часть сил противника.

Важнейшим фактором победы была внезапность нападения. Сближение с неприятелем приказано совершить в предельно сжатые сроки. Войскам идти со скоростью пять верст в час.

Но они шли быстрее.

Было около двух часов пополуночи, когда наша часть выступила к назначенному ей исходному рубежу у кромки льда залива.

Артиллерийская перестрелка к этому времени замолкла. С запада дул сильный ветер. Спустился плотный, густо-белый туман, клубившийся голубым, когда сквозь него пробивались лучи кронштадтских прожекторов. Спасательная станция продолжала гореть, озаряя берег и лед летучим огненным светом.

Впереди колонны шли созданные по приказу командования штурмовые отряды. Их задачей было устранять препятствия на пути штурмующих колонн — перебрасывать мосты через воду и проруби и преодолевать проволочные заграждения и стены крепости.

За ними двигались остальные красноармейцы, а в интервалах — розвальни с санитарами и перевязочным материалом.

Ездовым у меня был Флегонтыч, а в розвальни впряжен был глупый, добрый, старый конь Спотыка. У него

были опухшие больные ноги, покрытые незаживающими ранами. Ступал он плохо, часто спотыкался, за что и заслужил свое незавидное имя.

В других розвальнях были сложены еловые вехи, которыми колонны отмечали свой путь по льду.

Пулеметы и патроны везли на ручных санках.

К тому времени, когда мы подошли к берегу, прошло уже более часа, как первая колонна вышла на лед и растворилась в тумане. Впереди было тихо. Что крылось за этой тишиной?

Исходный пункт для спуска нашей части находился неподалеку от спасательной станции. Рядом с нами должны были выступать полки 27-й Омской стрелковой дивизии.

Курить запрещено. Разговаривать тоже. Но оказавшийся рядом со мной Леня Сыркин, указывая на Спотыку, театрально вздымает руки к небесам и беззвучно вопрошает: «Куда ты скачешь, гордый конь, и где опустишь ты копыта?»

— Брысь отсюда,— шипит Флегонтыч, которому нет дела до того, что Леня вроде бы начальство. И, по своему вредному обыкновению, добавляет: — Тоже... делегат партийного съезда называется.

Последняя реплика — удар под вздох.

А впереди туман. Туман и тишина.

Но вот колонна приходит в движение. Настала минута, которой мы так долго ждали: мы спускаемся на лед.

Берег в этом месте пологий. Но Спотыка не упускает случая споткнуться. Розвальни съезжают на лед боком и продолжают катиться. В это самое время туманную мглу прорезает луч кронштадтского прожектора, делает несколько слепых движений и словно облизывает нашу колонну.

Все замирают. Все, кроме нас со Спотыкой, который никак не может удержать свои расползающиеся ноги.

Представляю, что мы услышали б, если бы запрещение разговаривать не распространялось также и на мат.

Прожектор еще несколько раз проводит по колонне своим голубым жалом и исчезает.

Нащупал он нас или нет? Об этом сейчас скажут кронштадтские пушки.

Они молчат... Можно выступать.

Туман по-прежнему плотен, но теперь он стал дымчато-синим. Это взошла луна.

Мы идем по льду, по твердому льду, плотному льду, крепкому льду, по твердому, плотному, крепкому льду Финского залива.

Кругом бескрайнее ледовое поле. А по нему — белым и по белому, как туман по снегу,— бесшумные тени красноармейцев.

Не сдавленная обычной теснотой узких прифронтовых дорог, колонна свободно движется по этой просторной ледяной равнине, покрытой тонким слоем снега.

Прожекторы противника нервно нащупывают то лед, то небо. Но колонна с монотонным шуршанием продолжает свой путь к окутанной ночным туманом мятежной крепости.

Красноармейцы идут налегке, даже без вещевых мешков. Только оружие да ломоть хлеба и баночка солдатских мясных консервов.

А впереди тишина...

Но что со Спотыкой?

Закинув голову, он вдруг рванулся и помчал размашистой рысью, обгоняя колонну.

Заворожила ли его эта тишина? Пригрезился ли ему какой-то лошадиный сон? Вспомнил ли он свою далекую боевую молодость?

Напрасно Флегонтыч, хрипя и тужась, натягивал вожжи. Розвальни бросало из стороны в сторону, я повалилась на дно, а Спотыка, екая селезенкой, продолжал мчать прежним аллюром. Остановил его какой-то красноармеец, схватив под уздцы.

Воображаю, что творилось в душе у Флегонтыча, лишенного самого простого человеческого счастья — громко

выругаться и вдобавок ко всему чувствовавшего позади себя шепоток:

— У них курича на уличе яйчо снясла, вот их и понясло...

13

Вообще же мы должны были бы сказать Спотыке спасибо: благодаря его нежданной выходке мы с Флеонтычем из того весьма арьергардного положения, которое занимали в колонне, оказались теперь во вполне авангардном. И поэтому увидели Витовта Казимировича Путну, который встречал на льду свои полки.

Он обратился к красноармейцам с речью. Что он говорил? Этого я не помню. Пожалуй, сами слова тут были не так уж важны. Важен был теплый звук его голоса, его волнение, которое передалось солдатам. Даже он сам, всегда такой сдержанный, с особенным чувством вспоминает эту минуту.

«Когда, уже будучи на льду, я встретил головную колонну 237-го Минского полка,— пишет он,— я сказал несколько напутственных слов... Колонна, как бы подтолкнутая какой-то невидимой силой, быстро приобрела большую стройность и ускорила движение... Настроение частей, идущих на штурм крепости, было напряженно бодрое...»

Это были те самые части, которые лишь немного часов назад, пришибленные, подавленные, лишенные самой высокой солдатской чести — знамен и оружия,— выстроившись на ораниенбаумской площади, ждали решения своей судьбы.

Тишина...

Тишину разрывает гром!

Сперва резко бьют два винтовочных выстрела. Это головные колонны 236-го Оршанского полка незаметно для противника подошли к форту № 1 Кронштадтской крепости и только теперь обнаружены наблюдателями.

И словно эти два выстрела были заранее намеченным сигналом, все наши береговые батареи и все пушки, вы-

каченные на лед, а также все батареи противника одновременно открыли огонь. На какую-то долю мгновения из тумана возник Кронштадт, опоясанный сплошной лентой орудийных вспышек. Но тут же мы были ослеплены пронзительным светом: это мятежники пустили в действие все средства, дающие возможность осветить наступающие колонны.

Триста одновременно бьющих орудий — это довольно много. Но особенную музыку Кронштадтского боя создавало то, что в нем действовали орудия самых различных калибров и типов и стрельба производилась самыми разнообразными снарядами. Прежде всего это относится к мятежникам, которые помимо обычных орудийных снарядов вели стрельбу морскими минами и бризантными снарядами, прозванными во время русско-японской войны «шимозами».

Никогда не видела я ничего подобного этому, казавшемуся теперь не белым, а синим, беспредельному ледовому полю, над которым плясали лучи прожекторов, рвались снаряды и вспыхивали красные, белые, желтые, зеленые ракеты.

Путна, когда вспоминает об этих минутах, говорит языком художника. Это не случайно: свой жизненный путь он начал, поступив в Училище живописи и ваяния. «Перед нами разыгралась картина красивого боя по своим внешним формам,— пишет он.— Два ярких полукольца почти не потухающих выстрелов, грохот и треск рвущихся снарядов, визг их, сверлящий воздух, и вой отскакивающих от гладкой поверхности льда, вырастающие и рассыпающиеся столбы воды и льда от подводных взрывов, содрогание льда на общем фоне ночи — все это производило неизгладимое впечатление. Все взятое вместе больше воодушевляло, чем удручало».

Вслед за артиллерийской канонадой заговорили пулеметы. Потом донеслись звуки стрельбы в той стороне, где вступила в бой первая колонна Южной группы войск.

И появились раненые.

Лучше всего я запомнила первого, которого перевязывала. Ему оторвало руку, кровь била струей и залила мне лицо и халат.

И еще одного. Он лежал на спине, неловко согнувшись, и было так светло от разрывов, что видно было, как он медленно открывал и закрывал глаза. Он умер раньше, чем мы с Флегонтычем успели снять с него шинель.

Пулевых ранений в это время еще не было, были только осколочные, очень разнившиеся между собой в зависимости от того, каким снарядом они были причинены.

Меньше всего было пострадавших от снарядов тяжелых орудий. Снаряды этого калибра, ударившись о ледовую поверхность, взрывались и уходили под воду вместе с огромной массой льда, увлекая за собой на дно людей, повозки и лошадей. Раненых после себя они почти не оставляли, а если и были после них раненые, то больше не осколками снарядов, а осколками льда.

Иное дело шимозы. Они летят с пронзительнейшим визгом, разрываясь не на земле, а в воздухе на множество разлетающихся во все стороны осколков. В отличие от тяжелых снарядов, после разрывов которых оставались полыньи со страшной черной, полной смерти водой, в тех местах, над которыми разрывались шимозы, лед бывал почти не поврежден, но круг за кругом лежали раненые и убитые мелкими и мельчайшими осколками, чаще всего в голову.

Артиллерийский огонь продолжался с неубывающей силой, но все громче звучал рокот пулеметов. Теперь били не только пулеметы противника: наши войска подошли уже к Кронштадту и приступили к штурму крепости.

Бой ушел вперед, оставив позади себя развороченный лед, темнеющие проруби, мертвых, раненых и санитаров.

Флегонтыч дежурил около розвален, на которых лежали двое раненых с очень тяжелыми ранениями, а я ходила по льду одна, перевязывала раненых, и мне было очень страшно.

Переходя от одного раненого к другому, я дошла до лежавшего ничком человека. Сперва я подумала, что он убит, но он застонал. Я попыталась его перевернуть, у меня не хватило силы, и я, размахивая шапкой, подозвала к себе Флегонтыча. Мы вместе перевернули раненого. Хотя он уже очень переменился, я его узнала: это был деле-

гат Десятого съезда от Донской армии Линдеман. Мы его перевязали — ранение было в грудь, осколочное, — положили на носилки и хотели нести.

В это время в той стороне, где стояли наши розвальни, послышался взрыв и поднялся высокий водяной столб. Мы бросились туда.

Снаряд угодил в розвальни прямым попаданием, но разорвался, видимо, не сразу, а уже подо льдом. Поэтому на месте разрыва осталась не особенно большая круглая прорубь, а от нее по льду во всех направлениях разбежались трещины.

Сами розвальни и лежавших на них раненых сразу втянуло под лед, а Спотыка застрял в трещине.

Жалобно крича, он цеплялся за лед передними ногами, пытаясь выкарабкаться. Но трещина сжималась, и, подбежав поближе, мы услышали, как хрустят его кости.

Когда мы вернулись к Линдеману, он уже умер.

Что же нам было делать? Раздумывать не пришлось.

На одних розвальнях убило ездового, а раненых надо было срочно доставить в госпиталь, и Флегонтыч повез их в Ораниенбаум.

На других розвальнях контузило санитарку — тоже москвичку, Риву Куперман. Она отказалась уходить, и мы стали перевязывать раненых вместе.

Теперь наши береговые батареи прекратили огонь, а со стороны кронштадтцев стрельба переместилась на одну сторону. Потом мы узнали, что к этому времени ее вели только линкоры «Петропавловск» и «Севастополь», стоявшие на углу Военной гавани.

Они стреляли тяжелыми снарядами (там, под Кронштадтом, говорили даже, что это не снаряды, а мины), направляя их чуть выше поверхности льда, как бы бреющим полетом.

Эти снаряды, подобно смерчу, неслись по нескольку верст, образуя воздушную волну огромной силы, а потом взрывались где-то в глубине залива. При их приближении слышался нарастающий вой и видно было, как они сметают на своем пути буквально все.

Воздушной волной задело и меня. На какое-то время я потеряла сознание, и потом мне долго казалось, что

все ледовое поле от края до края качается, как палуба корабля.

Было уже светло, когда мы с Ривой подошли к стенам Кронштадта.

Впрочем, назвать то, что мы увидели, стенами можно только условно. Это был многоэтажный ряд бетонных блокгаузов с встроенными в них пулеметными гнездами, опутанный по всем направлениям электрическим кабелем и колючей проволокой.

Чем ближе к Кронштадту, тем больше было на льду убитых и раненых. Метрах в двухстах от стены убитые, скошенные пулеметами, лежали тремя ровными рядами, с правильными интервалами.

Сейчас эти пулеметы кронштадтцев молчали. Наши войска ворвались уже в крепость севернее Петербургских ворот и продолжали развивать наступление. Шел уличный бой.

В мертвое пространство под стенами крепости сползлось много раненых. У этих были уже только пулевые ранения. Мы с Ривой кое-кого перевязали, но у нас кончился перевязочный материал. Завладев бесхозными розвальнями, мы уложили в них двух тяжелораненых, а третьего, раненного в ногу, взяли ездовым и поехали в Ораниенбаум.

Когда мы вошли в устроенный в помещении вокзала госпиталь, мы испугались — так там было душно, так ужасно пахло, так страшно кричали люди. А там испугались, увидев нас: мы с ног до головы были покрыты липкой кровью.

Мы помылись, нам дали чистые халаты. Рива осталась в госпитале, там не хватало персонала, а я решила вернуться в Кронштадт.

Патронная двуколка, на которой я пристроилась, выехала на лед около полудня. Небо расчистилось от облаков, грело солнце, и вся поверхность льда блестела и парила. Во многих местах лед был покрыт водой. «Петропавловск» и «Севастополь», окутавшись искусственной дымовой завесой, продолжали вести огонь. Но мы не так боялись их снарядов, как бесчисленных прорубей и полыней, образовавшихся в эту ночь.

Кронштадт был виден, как на ладони: купол собора, форты, сторожевые башни.

Еще шел уличный бой, еще продолжалась агония последних несдавшихся фортов.

14

Когда через Петербургские ворота мы въехали в город, я решила первым долгом разыскать своих. Мне повезло, я нашла их быстро, в караулке какой-то казармы неподалеку от тюрьмы.

В караулке было шумно, тесно, накурено. Свет масляного моргалика с трудом пробивался сквозь плотные облака махорочного дыма. Хотя бойцы только что вышли из жестокого боя и знали, что через несколько минут им снова идти в бой, но, как всегда в таких случаях, уже был найден повод для смеха, и все потешались, уверяя, что кто-то из отряда, очутившись посреди ледяной равнины, вел себя совсем как тот чумак, который заночевал в степи, развел костер, повесил над огнем котелок с кулешом, потянулся к огню, чтоб прикурить люльку, задел котелок, опрокинул кулеш и выругался: «От, бисова теснота!»

Мне обрадовались: думали, что меня убило. Тут же рассказали, кого ранило, кого контузило, кто убит. В числе контуженных был Леня Сыркин.

Рассказали и про бой: как бешеной атакой взяли форт «Павел», а потом повели наступление на крепость и под сильнейшим пулеметным огнем прорвали несколько рядов проволочных заграждений. Как, преодолев городской вал, ворвались в город. В данную минуту была утеряна связь с командованием. Горячев с группой красноармейцев пошел искать штаб, а остальным приказал ждать.

За это время бой ушел еще дальше. Наши взяли уже много пленных и привели их в тюрьму. Что делать с ними, никто не знал.

Потом Горячев вернулся, указал бойцам, куда им надо идти и что делать, а сам вместе с кем-то остался в караулке. Мне он задал несколько вопросов и велел, чтоб я легла поспать.

Я легла на стоявший тут же топчан, но от усталости долго не могла заснуть. Потом заснула и проспала, видимо, около часа.

Наконец я проснулась. Сон мне не помог, голова стала совсем тяжелая. Я все слышала, но ничего не соображала. Горячев увидел, что я не сплю.

— Ну как? Отошла? — спросил он.

— Отошла,— сказала я.

Он заговорил с собравшимися в караулке товарищами. Потом повернулся ко мне и сказал:

— Значит, тебе поручается вот такое вот дело...

И он сказал мне, что я должна сделать доклад. Какой, где, кому — этого я не поняла. Поняла только, что это доклад о пятидесятилетии Парижской коммуны и что начать его я должна словами Артура Арну: «Шапки долой! Я буду говорить о мертвецах Коммуны!»

Так я очутилась в тюремном каземате Кронштадтской крепости перед пленными матросами — активными участниками Кронштадтского мятежа. Так увидела я, что на них нет шапок, и, сбиваясь, стала говорить о Коммуне.

Лишь постепенно начала я различать окружающее: глубокую камеру, покрытые тряпьем нары, мокрые стены, белые пятна лиц. Что и говорить, все это не могло не произвести впечатления даже после всего пережитого в последние две недели и в последнюю ночь!

Но приказ есть приказ, и его надо выполнять. Сначала я сбивалась, но потом пошло лучше. Разумеется, я не помню сказанных мною тогда слов, но могу примерно представить себе, что и как я могла говорить.

— Парижская коммуна,— говорила я,— была великим выступлением авангарда рабочего класса всего мира, поднявшегося на беспощадную борьбу против буржуазии и всех эксплуататоров чужого труда, всех паразитов, привыкших за счет пролетария...

Тот, на голове которого был ободок бескозырки, понимающе усмехнулся.

— Я-то думаю, что это за явления такая,— сказал он.— А это богоноска партейная, как вошь на чело, приползла...

— Буржуазия лютой ненавистью ненавидела Коммуну. И когда после недели кровопролитных боев, вошедшей в историю под именем «Кровавой недели», парижские пролетарии потерпели поражение в неравной борьбе, версальцы предали рабочие районы города смерти и уничтожению. Свыше ста тысяч рабочих, жен и детей коммунаров отдали жизнь на баррикадах Парижа или же погибли в застенках и на каторге. Трупы валялись повсюду — на улицах, в домах, в квартирах. Воды Сены покраснели от крови. «Что бы ты ни делал, ты погиб! — так говорит об этих днях участник Парижской коммуны Артур Арну. — Если тебя возьмут с оружием в руках — смерть! Если ты сложишь оружие — смерть! Если ты ударишь — смерть! Если ты умоляешь — смерть! В какую бы сторону ты ни повернул глаза — направо, налево, вперед, назад, вверх, вниз, — смерть, смерть, смерть!»

Такая же — нет, в тысячу раз более страшная судьба была суждена пролетариям революционного Петрограда, если бы находящийся от Петрограда на таком же расстоянии, на каком Версаль находится от Парижа, мятежный Кронштадт...

Теперь я уже хорошо видела лица людей, сидевших напротив меня: презрительно-горделивое лицо молодого матроса у стены, искаженное животным страхом лицо мальчишки справа, непроницаемое лицо пожилого матроса, слушавшего меня, опустив глаза.

Но вот он поднял глаза — и безысходный их взгляд полоснул меня по сердцу...

— Парижская коммуна просуществовала всего семьдесят два дня. Однако за это короткое время она провела ряд законов, которые громче всяких слов свидетельствуют о великих замыслах пролетарской власти. Именно поэтому Коммуну так ненавидит буржуазия всего мира... Именно поэтому ее так ненавидел и мятежный Кронштадтский ревком...

В первый раз за все время по застывшим на нарах фигурам пробежало какое-то движение.

— Смотрите! Вот последний номер «Известий ревкома»! Смотрите, что здесь напечатано! Здесь напечатано

объявление ревкома о том, что по его решению праздиование пятидесятилетия Парижской коммуны отменяется. Теперь вы ие можете не понять...

Но в это мгновение послышалась стрельба, дверь стремительно распахиулась, кто-то схватил меия и выволок прочь из камеры.

Это был Флегоитыч. Ои возвратился из Ораниенбаума, отыскал иаших, узиал, что я в каземате, спустился вииз и все это время стоял под дверью, чтоб кинуться мне иа выручку, если что случится.

Наверху стреляли. Послышался крик: «Санитара! Санитара!» Мы бегом бросились по лестнице.

Какая-то группа мятежииков пыталась прорваться через иаше сторожевое охранение, чтоб выйти на лед и уйти в Финляидию. Завязалась перестрелка. У иас было трое убито и ранеи в грудь иавылет Горячев.

Я наложила первую повязку, а потом мы поиесли Горячева в госпиталь.

Из ружей и шинели соорудили носилки. Горячев усмехиулся бескровиыми губами: «Совсем как у атамаиа Чуркина».

Когда мы несли его в госпиталь, мие показалось, что бой стал ближе, чем раиьше. Так и было. Мятежиики, мобилизовав все свои резервы, перешли в контратаку и потеснили наши части.

Госпиталь был переполиен. С большим трудом мы иашли для Горячева место в коридоре на полу и решили не уходить, пока не устроим его как следует.

Мы провели около иего всю иочь. Звуки боя то приближались, то уходили дальше. Все время приносили иовых раненых. От них мы узнавали иовости... Из Ораииенбаума прямо по льду прискакал кавалерийский полк... Подошел отряд петроградских рабочих... Бой идет на Песочной улице... Наши заняли Песочиую улицу... Мятежиики засели в здаиии Машииной школы... Наши выбили мятежииков из Машииной школы... Бой идет на линии канала...

Потом в другом, почти противоположиом иаправлеиии возник новый очаг стрельбы — отчасти винтовочиой, но больше пулеметной. «Петропавловск» и «Севастополь», орудия которых не умолкали ни на минуту, также усилили огонь.

О том, что происходило в эти часы, мы узнали лишь наутро. Это войска Северной группы, продолжая захват фортов, ворвались в Кронштадт с северо-востока и к полуночи захватили помещение штаба крепости.

Последним оплотом мятежников остались те, что первыми подняли знамя мятежа: линкоры «Севастополь» и «Петропавловск». Но, оставшись одни, они продержались недолго.

Первым сдался «Севастополь».

С самого начала боя команда корабля, ведя огонь, находилась в казематах и погребах, люки которых были плотно задраены. На верхней палубе, в боевой рубке, оставался лишь командный состав, передававший свои приказания вниз по телефону. Поэтому матросы ничего не знали о том, что происходит снаружи.

Узнали они об этом только поздно вечером, когда к ним явился командир линкора Христофоров и предложил им покинуть корабль, чтоб взорвать его.

Большинство офицеров уже удрало, остальные собрали манатки.

Взбешенные матросы арестовали офицеров и выслали к нашим парламентера с заявлением, что они сдаются, но просят обещания, что им будет сохранена жизнь.

Примерно в это же время разведка одной из наших частей донесла, что на «Петропавловске» слышны крики и перестрелка. Как выяснилось потом, под влиянием старых матросов среди команды начались волнения, вылившиеся в открытое возмущение против офицерского состава.

В пять часов утра «Петропавловск» сдался, выдав всех своих офицеров.

К моменту сдачи он был со всех сторон окружен нашими войсками, подошедшими к самым бортам корабля.

Когда наши вступили на палубу корабля, один из офицеров вскричал: «Где это видано, черт возьми, чтобы пехота брала дредноуты?!»

При осмотре кораблей были обнаружены заложенные в различных местах пироксилиновые шашки: суда были подготовлены к взрыву.

В Кронштадте и на военных кораблях наши взяли много пленных, в том числе трех членов мятежного ревкома.

Но Петриченко среди пленных не было, не было и Романенко, не было Турина. Не было ни генерала Козловского, ни капитана Бурксера, ни пожаловавшего в Кронштадт барона фон Вилькена.

Все они заблаговременно укрылись на крайнем кронштадтском форте и под покровом ночи бежали в Финляндию. С ними бежала и часть матросов, и всю ночь восемнадцатого марта финские пограничные патрули собирали на льду брошенное беглецами оружие и подбирали замерзших и раненых кронштадтцев.

Петриченко укрылся на форте Ино. Сдачей матросов финским военным властям руководил генерал Козловский. Он же договорился о том, что матросы будут интернированы в специальных лагерях, с тем, что потом они будут переброшены в армию барона Врангеля.

И чуть ли не на следующий же день началось обратное бегство этих матросов в Советскую Россию. К середине лета вернулось около семисот человек. На устроенном ими собрании возвратившиеся приняли резолюцию: «искупить свою вину перед Республикой на трудовом фронте и стоять на страже ее интересов от нападения внешних и внутренних врагов».

Резолюция эта была принята единогласно, и чтение ее покрыто криками «ура» и пением «Интернационала».

Судьба тех, что не вернулись, сложилась трагически: их вербовали в белую армию, в штрейкбрехеры, посылали на самые тяжелые работы в рудники.

Но Советская родина протянула им руку помощи. Исходя из того что «разбросанные по разным странам участники Кронштадтского восстания, рабочие и крестьяне, вовлеченные в движение путем обмана и по своей несознательности, подвергаются эксплуатации как дешевая рабочая сила той же буржуазией, которая в свое время вовлекла их в борьбу против власти трудящихся», Президиум ВЦИК в ознаменование четвертой годовщины Рабоче-Крестьянской власти, то есть через полгода после подавления мятежа, объявил полную амнистию всем рядовым участникам мятежа, за исключением главарей, руководителей и командного состава, и предоставил им возможность вернуться в Советскую Россию на общих основаниях с военнопленными.

15

Но перенесемся снова в Кронштадт в день восемнадцатого марта.

Когда мы с Флегонтычем уходили из госпиталя, уже сдались последние форты — «Милютин», «Константин» и «Обручев», уже закончился последний эпизод сухопутных боев — арьергардное дело у батареи «Риф», прикрывавшей отход бежавших застрельщиков мятежа.

Утро вставало ясное, но солнце еще не взошло. Повсюду виднелись следы ночного боя — изрешеченные пулями стены, валяющиеся на снегу ружейные гильзы, черные, замерзшие лужи крови. На углу военной гавани угрюмо серели молчаливые «Петропавловск» и «Севастополь».

Мы шли, не зная дороги, да и плохо зная, куда, собственно, нам надо идти. Прошли вдоль гавани. Услышали протяжный чистый звук — это на кораблях медлительно пели склянки. Повернули к городу. Долго плутали, спрашивая у встречных, как нам найти то, что мы ищем: стоит казарма, рядом с ней тюрьма, тут же такой беленький домик. Впрочем, может, и не беленький... Так, кружа и плутая, мы очутились в каком-то саду. Флегонтыч посмотрел на деревья.

— Гляди,— показал он мне на густую прозрачную каплю, блестевшую на коричневой коре дерева.— Клен плачет...

И объяснил, что, если клен «плачет», пришла весна!

Из сада мы еще куда-то пошли — и в конце концов вышли на Якорную площадь. Ту самую, на которой восемнадцать дней тому назад собрался митинг, выступал Калинин и начался мятеж.

Сейчас площадь была пуста, утоптанный снег подернулся ледяной корочкой.

Мне показалось, что я узнаю дорогу.

— По-моему, нам сюда,— сказала я, показывая налево.

— Нет, сюда,— возразил Флегонтыч и показал направо.

Я собиралась заспорить, но тут мы увидели большую группу людей, вошедших на площадь.

Они шли навстречу нам, мы шли навстречу им. Солнце уже поднялось, оно светило прямо на них, и мы хорошо видели этих необыкновенных людей, приближавшихся к нам быстрым, легким шагом. И хотя я по ходу своего повествования употребляла выражение: «никогда ни до, ни после этого», но я не могу удержаться и сейчас, чтоб не сказать: никогда ни до, ни после этого я не видела такого средоточия мужества и силы, воли, ума и бесстрашия, какое являли собой эти люди.

Это были прославленные полководцы и лучшие боевые военно-политические работники Красной Армии — Тухачевский и Путна, Бубнов и Рухимович, Федько и Ворошилов, Дыбенко и Кузьмин — тот Кузьмин, что был приговорен Кронштадтским ревкомом к расстрелу, за несколько минут до приведения приговора в исполнение освобожден подоспевшими вовремя красными бойцами и тут же схватил винтовку и бросился в бой.

Сколько раз уже Советская Республика вручала им свою судьбу, полностью доверяя их чести, знаниям, таланту, воинской отваге, безграничной энергии и умной находчивости, и они оправдывали оказанное им доверие, находили выход из безвыходных положений, побеждали казавшегося непобедимым противника и увенчивали Красную Армию новой и новой славой.

Такое же доверие было оказано им и в час тяжелейшего испытания, каким был для Советской России Кронштадтский мятеж. Это они своим смелым поиском новых способов ведения боя в никогда не бывалых условиях, своим революционным бесстрашием, отважной мыслью и глубоко продуманным планом операции, своей верой в силу коммунистических идей сплотили массу красноармейцев, внушили им уверенность в победе и, сражаясь подчас плечом к плечу с рядовыми бойцами, осуществили героический штурм и овладели Кронштадтом.

...Страшно, немыслимо, невозможно примириться с тем, что все они — все, кроме одного,— в один и тот же час истории пали одной и той же смертью, самой ужасной смертью, какая только может выпасть на долю человека, коммуниста, борца...

16

Проводив их взглядом, мы, как то предлагал Флегонтыч, пошли направо, потом еще раз направо.

Ну, конечно же, он оказался прав: прямо перед нами были казармы, тюрьма, беленький домик — все, что мы искали.

Переступая через спавших на полу бойцов, мы пробрались к печке, топившейся в глубине караулки. Боже, как тепло, как хорошо.

— Пополдничаем? — спросил Флегонтыч.

— Пополдничаем,— согласилась я.

— Мой паек, твой приварок,— как всегда, сказал Флегонтыч.

— Мой приварок, твой паек,— сказала я.

Флегонтыч достал из вещевого мешка баночку мясных консервов и стал готовить суп.

Ели ли вы когда-нибудь суп из солдатских мясных консервов?

Чтоб приготовить его, надо поставить на огонь котелок с водой и открыть консервную баночку — такую высокую, скользкую от тавота белую жестяную баночку. Только открывать ее надо умеючи — с верха, а не с донышка. И когда нож взрежет жесть и приподнимет зазубренный по краям, чуть выгибающийся белый кружок, вы увидите слой застывшего желтоватого жира, на котором лежит лавровый листок и чернеют три блестящие черные перчинки. Этот жир надо снять ложкой и опустить в кипящую воду, а когда он распустится, выложить в нее остальное содержимое банки.

И когда вода снова закипит и пойдет крупными пузырями и вы зачерпнете ее ложкой, вы узнаете, какая это необыкновенно вкусная штука — суп из солдатских мясных консервов!

У этого супа только один недостаток: он слишком быстро съедается. Давно ли начали, а уже донышко котелка!

Корочками хлеба мы досуха вылизали котелок и ложки. Теперь оставалось сидеть у печки и ждать приказов начальства.

Флегонтыч скрутил цигарку, подымил, потом сказал:

— Загадаю я тебе загадку: велико поле колыбанское, много на нем скота астраханского, один пастух, ровно ягодка, летят за пастухом птицы, несут в зубах спицы. Что это такое?

— Знаю я эту загадку, ты уже загадывал. Поле — это небо, скот на нем — звезды, а пастух — месяц.

— Вот и дура,— довольным голосом сказал Флегонтыч.— Думаешь, раз говоришь докладно, так умна, а все равно дура. Пастух — это товарищ Ленин, птицы летят за ним — трудящийся народ.

— А спицы в зубах?

— То плотницкий инструмент... Для устроения социализму.

Флегонтыч был плотник, о себе говорил: «Мы плотнички-беспорточники»,— и профессию свою считал лучшей в мире.

Когда я вышла на улицу, все кругом было залито солнцем и дул «вешняк» — тот самый теплый, несущий весну «вешняк», которого мы так все это время боялись. Это значило, что лед вот-вот начнет таять.

Ну и пусть себе тает! Пусть преет, млеет, трещит, ломается, кувыркается, мнется, гнется, к дьяволу несется! Плевать! Кронштадт наш!

Шапки долой! Сегодня пятидесятилетие Парижской коммуны!

КОРОТКО ОБ АВТОРАХ

ПРИЛЕЖАЕВА Мария Павловна, родилась в 1903 году в Ярославле в семье учителя. Детство ее было тяжелым, пришлось работать с 13 лет. В 1920 году она окончила среднюю школу в Александрове и была направлена учительствовать в село Петрищево Переяславского уезда. Спустя два года поступила в педагогический техникум в Загорске, после окончания работала воспитательницей в детском доме в Харькове. В 1929 году М. Прилежаева окончила литературно-лингвистическое отделение 2-го Московского государственного университета. В течение ряда лет она затем преподает в школе, на рабфаках, в педтехникуме и одновременно занимается журналистикой, сотрудничает в газете «Московский строитель», «Учительской газете», журнале «Радио».

Первое значительное художественное произведение писательницы повесть «Этот год» была опубликована в журнале «Октябрь» (1941).

Затем последовали «Семиклассницы» (1944), «Юность Маши Строговой» (1948), «С тобой товарищи» (1949). В 1950 году по повести «С тобой товарищи» была сделана инсценировка.

В 1952 году вышел роман «Над Волгой» о детстве и юности М. И. Калинина, открывший цикл произведений на историко-революционную тему в творчестве М. Прилежаевой. Дальнейшим развитием этой темы явились повести: «С берегов Медведицы» (1956) и «Начало» (1957), а также роман «Под северным небом» (1959). Эти произведения повествуют о жизни и деятельности В. И. Ленина, Н. К. Крупской, М. И. Калинина и их соратников.

В юности, когда М. Прилежаева работала в селе Петрищево, ей приходилось много слышать от местных жителей о Ленине, о его приезде к А. А. Ганшину, поместье которого находилось вблизи села. Здесь печаталась книга В. И. Ленина «Что такое «друзья народа» и как они воюют против социал-демократов?».

Огромный интерес писательницы к личности Ленина побудил ее к детальному изучению биографии и творчества великого вождя. М. Прилежаева побывала почти везде, где довелось жить и работать В. И. Ленину, от скромной комнатки курсисток Невзоровых на Васильевском острове в Ленинграде до села Шушенского.

В 1966 году выходит повесть Прилежаевой «Удивительный год» о том периоде в жизни Владимира Ильича, когда в глуши и оторванности от внешнего мира, в селе Шушенском, он создает свою крупнейшую работу «Развитие капитализма в России», разрабатывает проект Программы партии, дает в «Протесте российских социал-демократов» решительный отпор «экономизму». Повесть «Три недели покоя» продолжает ленинскую тему в творчестве писательницы. Повесть в семидесяти пяти новеллах «Жизнь Ленина» рассказывает о Владимире Ильиче детям (1970).

М. Прилежаева много пишет о современной молодежи. Нашему юношеству, его исканиям посвящены повести: «Пушкинский вальс» (1961) и «Тетя Варя» (1963), а также пьеса «Сиреневые облака» (1962).

ДРАБКИНА Елизавета Яковлевна, родилась в 1901 году в семье профессиональных революционеров, членов партии с момента ее основания. Ей пришлось много кочевать вместе с родителями по ссылкам и в эмиграции.

В апреле 1917 года, в пятнадцать лет, Е. Я. Драбкина вступила в партию. Она работала в предоктябрьские дни в культурно-просветительном отделе Выборгской районной управы под руководством Н. К. Крупской. В 1918 году переехала в Москву. Была секретарем Я. М. Свердлова и сотрудничала в секретариате ЦК партии. Принимала участие в гражданской войне: была красноармейцем, пулеметчиком, политработником. В 1921 году участвовала в подавлении Кронштадтского мятежа. Окончила Коммунистический уни-

верситет им. Я. М. Свердлова (1921) и Институт красной профессуры (1927). Затем вела научную и пропагандистскую работу. Е. Драбкина — автор ряда работ по истории национального вопроса в России.

В художественной литературе она впервые выступила еще в 1934 году, опубликовав роман «Отечество». Свидетельница и участница величайших событий в истории человечества, Е. Драбкина в 1950—1960 годах создает циклы рассказов, объединенные в книгу «Черные сухари». В основу их легли воспоминания писательницы и ее записи тех лет. Е. Драбкина в своих рассказах-мемуарах стремится быть предельно, документально точной. «Мне выпало счастье,— пишет она, представляя читателям свою книгу,— быть свидетельницей событий необыкновенных. Я знала людей, чьи имена и деяния навеки вошли в историю человечества. Этим людям, этим событиям посвящены рассказы книги, предлагаемой вниманию читателя. Главная моя цель — передать дух великой эпохи, о которой идет речь...»

Писательнице посчастливилось много раз встречаться с В. И. Лениным, беседовать с ним. Воссоздавая картину революционной эпохи, Е. Драбкина в центре ее показывает Ленина таким, как он запомнился ей: в деловой обстановке, на трибуне, в домашнем кругу.

В 1961—1963 годах выходят две книги, посвященные Джону Риду. В 1966 году в журнале «Искусство кино» публикуются воспоминания писательницы о Кронштадтском мятеже «На ледовом поле». в 1967 году выходит «Баллада о большевистском подполье», а в 1968 году в журнале «Новый мир» печатается «Зимний перевал».

Кроме художественно-мемуарного жанра, Е. Драбкина выступает и как публицист. В пятидесятых годах вышли ее книги, разоблачающие бесчеловечные методы эксплуатации в странах капитала: «Где роботы вытесняют людей» и «Черным по белому». Е. Драбкина — автор множества публицистических статей.

СОДЕРЖАНИЕ

ПОВЕСТИ О ЛЕНИНЕ

Том I

Приложение к журналу «Дружба народов»

М., «Известия», 1970, 576 стр. с илл.

Редактор приложений **Е. Усыскина**

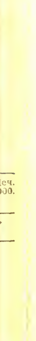
Редакторы **М. Серебрянникова** и **В. Полонская**
Художественный редактор **И. Смирнов**
Технический редактор **А. Гинзбург**
Корректоры **Е. Патина** и **Л. Сухоставская**

А 03199. Подписано в печать 27/VIII 1970 г. Формат 84×108¹/₃₂. Печ. л. 18,0. Усл печ. л. 30,24. Уч.-изд. л. 29,4. Зак. 1266. Тираж 100.000.

Цена 1 руб. 19 коп.

Издательство «Известия Советов депутатов трудящихся СССР»
Москва, Пушкинская пл., 5.

Типография «Известий Советов депутатов трудящихся СССР»
имени И. И. Скворцова-Степанова.



1 ПОВЕСТИ О ЛЕНИНЕ